

*Jean Jaures*  
HISTOIRE SOCIALISTE DE LA REVOLUTION FRANCAISE  
EDITIONS SOCIALES PARIS 1970

**Жан Жорес**  
**СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ**  
**ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

М.: Прогресс. 1977.  
Перевод с французского в 6-ти томах

Том II  
**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ**  
(1791 - 1792)

Перевод с французского *А.О.Зелениной* и *Д.Л.Каравкиной*  
под редакцией доктора исторических наук *А.В.АДО*

Веб-публикация: [Vive Liberta, 2013](#)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. ОТ ОДНОГО СОБРАНИЯ К ДРУГОМУ. КРЕСТЬЯНСКОЕ  
ДВИЖЕНИЕ

Вопрос о выкупе феодальных прав  
Протесты крестьян  
Крестьянские восстания  
Учредительное собрание упорствует  
Возобновление волнений  
Законодательное собрание и феодальный порядок  
Проект Кутона  
Доклад Комитета феодальных прав  
Проект Дорлиака  
Критические замечания Дёзи  
Призрак «аграрного закона»

Глава II. ВОЙНА ИЛИ МИР

Законодательное собрание и начало его деятельности  
Проблема войны  
Инициатива Бриссо  
Двор и иностранные державы  
Император отказывается от созыва конгресса  
Собрание, Жиронда и патриоты

Почему Собрание последовало за Бриссо?  
Отчаяние Марата  
Пессимизм Камиля Демулена  
Манифест газеты «Революсьон де Пари»  
Двор и фейяны  
Сожаления Барнава  
Министры  
Отставка Монморена  
Наступление Жиронды  
Выступление Верньо  
Декрет против Мосье  
Декрет против эмигрантов  
Тревога демократов  
Вето короля  
Вопрос о духовенстве  
Проект Франсуа де Нёшато  
Декрет против неприсягнувших священников  
Фейяны советуют королю сопротивляться  
Протест демократов  
Сторонники и противники войны  
Речь Даверу  
Речь Инара  
Демократы против войны  
Нарбонн и ультиматум от 14 декабря  
Политика фейянов  
Речь Нарбонна  
Игра Бриссо  
Речь Кондорсе  
Оппозиция Робеспьера  
Жиронда, двор и державы  
Мемуар фейянов  
Бриссо возобновляет попытку  
Верньо призывает к оружию  
Возражения Даверу  
Ответ Бриссо  
Суждение Кабе и мнение Лапоннерэ  
Декрет от 25 января 1792 г.  
Мемуар императора от 31 января 1792 г.  
Подлинная проблема  
Миссия Симолина  
Королева призывает Ферзена  
Император наконец решается  
Делессар и Нарбонн

Нота от 1 марта  
Ответ Кауница  
Обвинение, выдвинутое против Делессара  
Нарбонн и Бертран де Мольвиль  
Постановление о привлечении к суду Делессара  
Смерть императора

### Глава III. ВОЗВЫШЕНИЕ ЖИРОНДЫ

Жирондисты и фейяны  
Смена министерства  
Дюмурье  
«Жирондистское» министерство  
Война  
Проект Кондорсе о народном образовании  
Измена короля

### Глава IV. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В 1792 г.

Колониальный вопрос  
Жалобы негоциантов  
Манифест белых колонистов  
Выступление Бриссо  
Конкордат в Порт-о-Пренсе  
Делегаты с Мартиники  
Речь Блан-Жилли  
Декрет от 7 декабря 1791 г.  
Речь Гюаде в защиту цветных  
Декрет от 24 марта 1792 г.  
Колониальная торговля в 1792 г.  
Сахарные волнения  
Протекционизм или свободный обмен  
Проблема скупки  
Финансовый вопрос  
Кризис валютного курса  
Кризис цен  
Билеты доверия  
Рост классового сознания  
«Пер Дюшен»  
Продовольственные волнения  
Рабочие и крестьянские волнения  
Аграрные проблемы  
Секвестр имущества эмигрантов  
Вопрос о лесах  
Общинные земли и национальные имущества

Понятие собственности  
«Аграрный закон»  
Пьер Доливье и собственность  
Социальная позиция Робеспьера  
Социальные преобразования Революции  
Общественная помощь  
Взгляды Кондорсе  
Народное образование  
Проект Талеярана  
План Кондорсе  
Волонтеры

### Глава V. ДЕСЯТОЕ АВГУСТА

Жирондисты и первые поражения  
Дантон  
Декреты революционной обороны  
Требование Ролана  
Увольнение министров-жирондистов  
Дюмурье — военный министр  
Фейянский кабинет и демарш Лафайета  
События 20 июня  
Роялистская реакция  
Двор призывает на помощь иностранные державы  
Требования Лафайета и отступление Люкнера  
Верньо угрожает дворцу  
Отечество в опасности  
Поцелуй Ламурета и отстранение Петiona от должности  
Адрес Марселя по случаю дня Федерации  
Лафайет и похищение короля  
Подозрения Марата и советы Робеспьера  
Революционное и патриотическое движение  
Кампания за низложение короля  
Робеспьер требует созыва Конвента  
Деятельность Дантона  
Марсельский батальон  
Парижские секции  
Манифест герцога Брауншвейгского  
Комиссары секций по воспоминаниям Шометта  
Петиция о низложении короля  
Жиронда не хочет восстания  
Бессонная ночь двора  
Заседание 9 августа в Законодательном собрании  
Восстание

Красное знамя  
Набат  
Король ищет убежища в Собрании  
Штурм Тюильри  
Повстанческая Коммуна указывает Собранию, в чем состоит его долг  
Новые министры  
Последствия 10 августа  
Упразднение феодальных рент без возмещения  
Вопрос об общинных землях и землях эмигрантов  
Миссии в армиях  
Путь, пройденный с 1789 г.

Дополнительные замечания. Библиографическая справка

Указатель имен

Список иллюстраций

## Глава первая

### ОТ ОДНОГО СОБРАНИЯ К ДРУГОМУ. КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Выборы в Законодательное собрание начались еще до отъезда короля<sup>1</sup>. Они были приостановлены на несколько недель в дни кризиса, но затем закончены без помех. Как представляли себе свою задачу избиратели и избираемые? И как будет развиваться Революция, лишенная, так сказать, величия и силы Учредительного собрания? Рискую замедлить повествование о драматических событиях, мы должны прежде всего задаться вопросом, каково было подлинное умонастроение огромных крестьянских масс, какие пожелания, какие жалобы высказывали земледельцы в первых собраниях или на собраниях выборщиков, какие наказания

1. Речь идет о бегстве в Варенн 21 июня 1791 г. 14 сентября Людовик XVI принял конституцию, 30 сентября Учредительное собрание разошлось 1 октября 1791 г. открылись заседания Законодательного собрания. В силу Конституции 1791 г. законодательная власть принадлежала однопалатному Собранию, избираемому на основе цензовой системы двухстепенных выборов на два года. — *Законодательному собранию*, состоявшему из 745 депутатов. Оно обладало правом законодательной инициативы, пользовалось правом надзора за деятельностью министров, которые за преступления «против националь-

ной безопасности и Конституции» могли быть преданы Национальному Верховному суду. Собрание контролировало внешнюю политику через свой Дипломатический комитет, определяло контингент войск. Оно обладало всей полнотой власти в финансовой области; король не мог ни распоряжаться фондами, ни даже предлагать бюджет. Само собираясь на законном основании (король не имел права созыва) в первый понедельник мая, само назначая место своих заседаний и определяя продолжительность своих сессий, Законодательное собрание было независимо от короля, который не мог его распустить.

давали они своим избранныкам<sup>2</sup>. Но наказов не было, на выборах 1791 г. не было, собственно говоря, никакой программы, и мы не можем установить, как это было сделано для выборов 1789 г., что доподлинно думала крестьянская Франция. Однако земледельцы, несомненно, часто обсуждали с новыми избранныками вопросы, интересовавшие деревню.

Многие из новых депутатов были членами революционной администрации — департаментов, дистриктов, муниципалитетов; многие из них в то же время были юристами<sup>3</sup>. Ввиду всего этого они были хорошо осведомлены о трудностях, на какие могло натолкнуться осуществление революционных законов, а также о недостатках и изъянах, которые, по мнению крестьян, слишком часто препятствовали результатам, которых ожидали от этих законов. Особенно сильным было разочарование в деревне отменной феодальной порядка, столь торжественно провозглашенной декретами от 4 августа 1789 г. и столь неудовлетворительно осуществляемой декретом от 15 марта 1790 г. Этот вопрос, несомненно, часто обсуждался в повседневных беседах представителей революционной администрации с крестьянами, и новые избранные, безусловно, взяли на себя соответствующие обязательства. Беским доказательством этого служит то, что в апреле 1792 г., как раз тогда, когда Законодательное собрание переживало тяжелый военный кризис, оно заслушало доклад своего Комитета феодальных прав, предложившего в интересах крестьян внести глубокие изменения в законодательство в этой области<sup>4</sup>.

Как ставился вопрос? Попытаюсь ответить на это, воспользовавшись книгой Дониоля и особенно превосходной работой Саньяка «Гражданское законодательство Французской революции», а также путем тщательного изучения законодательных документов<sup>5</sup>.

## ВОПРОС О ВЫКУПЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ПРАВ

В августе Собрание провозгласило, что все права и повинности, связанные с личной зависимостью, отменяются без возмещения, а остальные феодальные права могут быть выкуплены<sup>6</sup>. Я сразу же отметил, еще говоря о решениях, принятых 4 августа,

2. Законом от 22 декабря 1789 г. Учредительное собрание приняло цензовую систему и разделило граждан на три категории *Пассивные граждане*, около 3 млн. французов, были лишены избирательного права на том основании, что они не платили прямого налога или платили его в недостаточном размере *Активные граждане*, около 4 млн., платили прямой налог в размере не менее трехдневной заработной платы для данной местности, то есть от 1,5 до 3 ливров; они собирались в *первичные собрания* для избрания муниципалитетов и выборщиков *Выборщики*, избравшиеся из расчета одного на 100 активных граждан, платили прямой налог размером не менее десятидневной заработной платы для данной местности, то есть от 5 до 10 ливров; они собирались в *избирательные собрания* в главном городе департамента для избрания депутатов, судей и департаментских властей

3. 745 депутатов, составлявшие Законодательное собрание, должны

были владеть какой-нибудь земельной собственностью и платить прямой налог в размере *марки серебра*, то есть около 52 ливров. Они были избраны выборщиками, объединившимися в департаментские избирательные собрания, с 29 августа по 5 сентября 1791 г. Это были новые люди, так как члены Учредительного собрания, по предложению Робеспьера, объявили себя не подлежащими переизбранию на основании декрета от 16 мая 1791 г. Это были молодые люди: большинство членов Законодательного собрания было моложе 30 лет. Многие из них начали свою политическую деятельность в департаментской и муниципальной администрации. В социальном отношении преобладали землевладельцы и адвокаты. О составе и политических группировках Законодательного собрания см. далее, глава вторая, стр. 51. Список депутатов приведен в работе: A. K u s c i n s k i. Les Deputés à l'Assemblée législative de 1791. Paris, 1900.

те огромные трудности, которые создавали условия выкупа для освобождения крестьян. Но само Собрание в марте 1790 г. вдвойне усугубило трудность этого освобождения.

Во-первых, существовало значительное число личных повинностей, принявших форму денежных платежей. Дворяне, сеньоры освободили сервов или избавили их от некоторых личных повинностей. Но в качестве возмещения они потребовали выплаты либо ежегодных поземельных платежей, либо «случайных» повинностей, как, например, пошлыны, выплачиваемой цензитарием при переходе имущества в другие руки. Казалось, что с того момента, как личная зависимость была отменена без возмещения, повинности, бывшие как бы продолжением и новой формой этой зависимости, тоже должны были быть отменены без возмещения. Но Собрание решило иначе: оно причислило их к категории выкупаемых прав и повинностей<sup>7</sup>.

Во-вторых, Собрание сделало выкуп почти невозможным для крестьянина, превратив все повинности, которые ему разрешалось выкупить, в одно неделимое целое. Несомненно, Собрание, казалось бы, освобождало крестьян, разрешая им выкупить все поземельные ренты и даже бессрочные аренды, такие, как вечная аренда в районах виноградарства Нижней Луары и вечнонаследственная аренда, распространенная в Провансе и Лангедоке. Но крестьянин не мог выкупить поземельные ренты, не мог выкупить обременявшие его ежегодные платежи — такие, как ценз, шампар, не выкупая *одновременно* «случайные» права, такие, как пошлина, выплачиваемая сеньору при переходе имущества в другие руки<sup>8</sup>.

Вся операция по выкупу как бы сразу приостанавливалась. Прежде всего крестьянам было трудно найти необходимые суммы для выкупа сразу всех повинностей. Кроме того, если крестьянин мог в крайнем случае решиться на немедленную жертву, чтобы освободиться от непосредственно обременявшей его ежегодной повинности, то от него трудно было добиться уплаты авансом довольно крупной суммы для выкупа такого права, как пошлина владельцу земли за переход собственности в другие руки, которая была лишь эвентуальной и необходимость которой могла возникнуть лишь в отдаленном будущем. Это было тем труднее, что крестьянин, видевший, как в великом революционном потрясении рушатся многие старые власти и старые права и повинности, разумеется, думал о возможности отмены и других повинностей, о том, что пошлина, выплачивавшаяся за переход собственности в другие руки, в свою очередь может быть унесена водоворотом событий и что было бы глупо с его стороны заранее выкупать повинности, которая вскоре, быть может, будет отменена без возмещения<sup>9</sup>.

Очевидно, Собрание, относившееся с большим уважением к собственности во всех ее формах, даже феодальных, опасалось,

как бы крестьяне, если они смогут сначала выкупить ежегодные повинности, не прониклись таким чувством полной собственности, что, когда возникнет случай платить пошлыну за право перехода собственности в другие руки, ее не удастся собрать. И оно распорядилось о полном одновременном выкупе всех повинностей, то есть сделало выкуп невозможным и тем самым фактически сохранило феодальный порядок. И одной из наиболее важных и наиболее интересных сторон революционных действий за пять лет и явятся как раз огромные усилия крестьянства добиться осуществления общего принципа, провозглашенного 4 августа 1789 г.

Видные историографы Революции, по-видимому, не обратили внимания на эти непрекращавшиеся революционные выступления,

4. 11 апреля 1792 г. депутат от департамента Орн, Лотур дю Шатель, предложил от имени Комитета феодальных прав отмену без выкупа «случайных» прав, не включенных в декреты Учредительного собрания об упразднении феодальных прав, за исключением случаев представления бывшими сеньорами первоначальных грамот (титулов). Депутат от департамента Верхняя Гаронна Дорлиак пошел еще дальше, предложив отмену на тех же условиях «значительного числа прав такого рода». Собрание постановило напечатать доклад Дорлиака; оно отложило проект декрета своего комитета до второго чтения. «*Moniteur*», XII, 102; «*Archives parlementaires*», XLI, 470.
5. H. D o n i o l. *La Révolution française et la féodalité*. Paris, 1883, 3<sup>e</sup> édition; P. h. S a g n a c. *La législation civile de la Révolution française*. Paris, 1898.
6. Статья 1 декрета от 11 августа 1789 г., одобренного во исполнение принципиальных решений, принятых ночью 4 августа, гласила: «Национальное собрание полностью отменяет феодальный порядок и декретирует, что из числа прав и обязательств, как феодальных, так и цензуальных, те, которые связаны с реальным или личным менмортом и с личной зависимостью, и те, которые их представляют [то есть из них вытекают], отменяются без возмещения. все остальные объявляются подлежащими выкупу, причем размер выкупных платежей и порядок их внесения будут определены Национальным собранием» (D u v e r g i e r. I, 39).
7. Статья 1 раздела III (о сеньориальных правах, подлежащих выкупу) декрета от 15 марта 1790 г. гласила: «Все полезные феодальные или цензуальные права и повинности, которые являются ценой и условием первоначальной уступки земли, подлежат выкупу и должны продолжать выплачиваться до полного его осуществления» (D u v e r g i e r. I, 141).
8. Статья 3 раздела I (Общие принципы) декрета от 3 мая 1790 г. гласила: «Ни один владелец фьефа или цензуальных земель не сможет выкупить раздельно ежегодные повинности и платежи, которыми обременен фьеф или цензива, не выкупая одновременно и случайных повинностей» (D u v e r g i e r. I, 190). О спорах, вызванных решением о выкупе вечной аренды в районах виноградарства, см. документы, опубликованные в работе: P. h. S a g n a c et P. S a r g o n. *Les Comités des droits féodaux et de législation et d'abolition du régime seigneurial 1789-1793*. Paris, 1907, p. 470.
9. О спорах, вызванных решением о выкупе пошлыны, вносимых при переходе имущества в другие руки, см. документы, опубликованные Ф. Саньяком и П. Кароном в работе, упомянутой в предыдущем примечании.

на этот нажим крестьян на буржуазию. Мишле, при всем своем остром чувстве экономических факторов, проглядел эту глубокую борьбу. Луи Блан, по-видимому, и не подозревал о ее существовании. Когда читаешь его труды, кажется, будто в ночь 4 августа вдруг брызнул сноп света и что Революция была подобна откровению. Что же касается последствий декрета от 4 августа, сопротивления, которое он встретил, борьбы, которую пришлось вести крестьянам, то все это он игнорирует. Так историки извратили в глазах народа течение и смысл Революции. Когда читаешь их труды, кажется, будто новое общество родилось сразу, словно вырвавшийся на поверхность кипящий ключ. Между тем даже в самый разгар Революции, с 1789 г. и до 1795 г., даже после отмены в принципе феодального порядка феодальная собственность уничтожалась лишь постепенно, под давлением непрестанных усилий<sup>10</sup>.

Если бы не упорное сопротивление крестьян, то феодализм, быть может, сохранился бы еще отчасти некоторое время, несмотря на ослепительное сияние ночи 4 августа. *Ликвидация феодального порядка совершалась по частям, даже в разгар Революции.* Это великий пример для нас, и он учит нас не пренебрегать частичной и постепенной ликвидацией капитализма. Революция не перестает быть революционной, даже если она совершается не сразу вся целиком в какой-то неделимый отрезок времени. Подлинное революционное воспитание заключается в том, чтобы внедрить в сознание пролетариата реалистическое понимание истории.

Одним из наиболее уязвлявших крестьян положений декрета от 15 марта 1790 г. было то, что сеньоры, для того чтобы по-прежнему взимать феодальные повинности, не обязаны были доказывать действительную правомерность своих требований к держателям. Достаточно было сорокалетней давности владения, а доказывать незаконность обложения должен был как раз держатель<sup>11</sup>. А доказать это было невозможно!

## ПРОТЕСТЫ КРЕСТЬЯН

Недовольство и раздражение стали проявляться с весны 1790 г. Было заявлено множество протестов. Заимствую текст многих протестов из приложения к книге Саньяка, обнаружившего их в Национальном архиве. Вот, например, выдержка из протокола административного собрания департамента Нижние Альпы (заседание 29 ноября 1790 г.). «Г-н Бернард сказал: раздел III, статья 3 закона от 15 марта указывает, что спорные вопросы относительно существования или размера повинностей, перечисленных в предыдущей статье, будут решаться на основе доказательств, предусмотренных статутами, кутюмами и правилами, коих придерживались до сего времени<sup>12</sup>.

Но какие правила решали у нас эти важные вопросы? На этот счет нет ни закона, ни определенных установлений обычного права; парламентская судебная практика в этой области поистине притеснительна; согласно всем нашим авторитетам, одного-единственного акта признания, подкрепленного тридцатилетней давностью, достаточно, чтобы заменить первоначальный титул для церкви, для сеньора, обладавшего правом высшей юстиции, а для простого сеньора требовались два акта признания; таким образом, сеньору с правом высшей юстиции, то есть тому, который обладал наибольшими средствами угнетения, предоставлялось больше возможностей завладеть правами, которые ему не принадлежали. *Если надо и ныне следовать подобным правилам, то любая узурпация окажется в полной безопасности.* Чем более сомнительными и химеричными были первоначальные титулы, тем более увеличивалось число актов признания (то есть случаев формального признания держателя, которое у него часто вырывали угрозами). И нет ни одного бывшего сеньора, который не принял бы в этом отношении мер предосторожности... Собрание пред-

10. Жорес изложил здесь чрезвычайно ценную точку зрения. Приходится констатировать, что, после того как он отметил несостоятельность в этом вопросе историографии Революции, она мало преуспела в этой области. Очерк истории борьбы крестьян за окончательное упразднение феодального порядка был дан А. Оларом (A. Aulard. La Révolution française et le régime féodal. P., 1919). Но лишь многочисленные локальные и региональные монографии позволили бы воссоздать подлинную общую картину частичных пережитков феодального порядка после 4 августа 1789 г., превратностей его судьбы и его окончательного исчезновения, как и аграрных волнений и жакезий, которые, начиная с Великого страха 1789 г. и до закона от 17 июня 1793 г., отметили революционную историю крестьянства. Мы, конечно, располагаем отдельными фрагментами и исследованиями фрагментарного характера, но история антифеодального крестьянского движения в целом до сего времени еще не написана. [Наиболее полно этот вопрос освещен в новейшей работе советского ученого А. В. Адо

«Крестьянское движение во Франции во время Великой буржуазной революции конца XVIII века». М., 1971.—Прим. А. З. Манфреда.]

11. Статья 29 раздела II (О сеньориальных правах, отменяемых без возмещения) декрета от 15 марта 1790 г. гласила: «Если владельцы сохраняемых прав... окажутся не в состоянии представить первоначальную грамоту (титул), они смогут заменить ее двумя актами признания [феодальной зависимости], ссылающимися на один более старый акт и не оспариваемыми более ранними актами признания, данными общиной жителей, когда дело будет касаться повинностей общины в целом, и заинтересованными лицами, когда дело будет касаться повинностей частных лиц, при условии, что они будут подкреплены фактическим непрерывным владением сорокалетней давности (D u v e r g i e r. I, 140).

12. Статья 3 раздела III (О сеньориальных правах, подлежащих выкупу) декрета от 15 марта 1790 г., выдержка из текста (D u v e r g i e r. I, 142). Речь идет о статье 3, а не о статье 36, как было у Жореса.

ставителей Конта-Венессена, одоблив декреты Национального собрания относительно феодальных прав, обошло молчанием тот, о котором я имею честь вам сообщить. Оно постановило, что первоначальные титулы на сохраняемые феодальные повинности могут быть заменены лишь двумя актами признания, *составленными до 1614 г.*<sup>13</sup>.

Нам совершенно необходим такой же закон. Надо, чтобы время, какого он потребует для обоснования прав, не подкрепленных первоначальными титулами, позволяло исключить какую бы то ни было узурпацию или же, если таковая все же будет иметь место, придало ей в некотором роде почтенный характер в силу давности, которая ее закрепит.

Собрание, заслушав генерального прокурора-синдика, постановило, что соображения, изложенные в этом сообщении, будут представлены законодательному корпусу, дабы он соблаговолил распорядиться о том, чтобы в тех случаях, когда бывшие сеньоры не смогут представить подлинных первоначальных титулов на свои права, объявленные выкупаемыми, они могли заменять титулы только двумя актами признания, ссылающимися на третий и при этом составленными до 1650 г. — Шампела, *председатель*.

Итак, земледельцы не требуют отмены феодальных повинностей без выкупа; они еще не осмеливаются на это, по многим сеньорам было бы трудно предъявить титулы, требуемые собранием департамента Нижние Альпы, и таким образом фактически феодальные повинности были бы упразднены.

Приведем выдержку из протоколов общего собрания администраторов департамента Кот-дю-Нор (заседание от 6 декабря 1790 г.): «Относительно заявления, сделанного одним из членов собрания о том, что тяжесть феодального порядка будет сохраняться и далее после его упразднения, если для выкупа рент, объявленных выкупаемыми согласно статье 6 декрета от 4 августа 1789 г.<sup>14</sup>, бывший вассал будет обязан выкупать одновременно и случайные права — пошлину при переходе имущества в другие руки, и уплачивать выкуп за солидарную повинность в целом (когда несколько бывших вассалов облагались солидарно какой-либо повинностью, они не могли выкупать порознь каждый свою долю: требовалось, чтобы выкуп совершался всеми сообща, что еще больше затрудняло его)<sup>15</sup>.

Совет, заслушав генерального прокурора-синдика, убежденный в том, что Национальное собрание всегда стремится к тому, чтобы все граждане пользовались его благодеяниями, *принимая во внимание, что благодеяния, вытекающие из отмены феодального порядка, будут почти прозрачными, пока лицо, обязанное по бывшим феодальным рентам, сможет освободиться от них, только выкупив пошлину, уплачиваемую при переходе имущества в другие руки, и выкупив, помимо своей части, долю своего содолжника, принимая во внимание всеобщие и обоюдные протесты против*

ограничений, которые свели на нет благотворные результаты декрета от 4 августа,

решил и постановляет, *поддерживая требования различных муниципалитетов и избирательных собраний*, поручить своей Директории обратиться к Национальному собранию с настоятельной просьбой издать декрет о том, что каждое лицо, обязанное по бывшим феодальным рентам, вправе выкупить причитающиеся с него платежи, не выкупая ни доли своего содолжника, ни пошлыны, выплачиваемой при переходе собственности в другие руки.

Подписали председатель и генеральный секретарь».

Здесь опять-таки речь идет не об отмене без выкупа феодальных прав, а об облегчении выкупа путем разделения выкупаемых прав. Но чувствуется, что гнев крестьян нарастает. Чтобы департаментское собрание, в котором преобладало буржуазное влияние, вступило на этот путь, действительно нужно было, чтобы оно подверглось мощному давлению со стороны сельских муниципалитетов и деревенских избирательных собраний. Уже в наказах 1789 г. резкие требования крестьян были смягчены городской буржуазией. Также и теперь, вероятно, буржуазные департаментские директории придадут более умеренную форму энергичным требованиям, выдвигаемым сельскими муниципалитетами<sup>16</sup>.

В таком же духе высказались 15 ноября 1790 г. администраторы дистрикта По<sup>17</sup>: «Возможность выкупа, предоставленная

13. Двумя актами признания, составленными до 1614 г., а не просто «подкрепленными фактическим беспрепятственным владением сорокалетней давности». См. статью 29 раздела II, прим. 11.

14. Статья 6 декрета от 4, 6, 7, 8 и 11 августа 1789 г. гласила: «Все вечные поземельные ренты, уплачиваемые натурой или деньгами, какого бы рода они ни были, каково бы ни было их происхождение, каким бы лицам их ни надлежало платить, владельцам ли земель, на которые распространялось право мертвой руки, удельных доменов, Мальтийскому ли ордену, подлежат выкупу, то же самое относится ко всякого рода шампарам, как бы они ни именовались...» (D u v e r g i e r. I, 40).

15. Статья 4 раздела I (Общие принципы) декрета от 3 мая 1790 г. гласила: «Когда земельный участок, представляющий собой держание на условиях фьефа или цезивы, обремененный ежегод-

ными солидарными платежами, принадлежит нескольким совладельцам, то ни один из них не сможет отдельно выкупить упомянутые повинности соответственно принадлежащей ему части...» (D u v e r g i e r. I, 190).

16. См. в связи с этим многочисленные петиции сельских муниципалитетов, приведенные в книге: P h. S a g n a c et P. C a r o n. Les Comités des droits féodaux..., p. 15, n. 19.

17. P h. S a g n a c. La législation civile..., p. 406, d'après AN, D XIV, carton 9. Этот документ воспроизведен в извлечении в работе: P h. S a g n a c et P. C a r o n. Les Comités des droits féodaux..., p. 625. [См. также старые работы русских историков, Н. И. Кареева и в особенности П. А. Кропоткина, а из новейших советских работ работу А. В. Адо.— Прим. А. З. Манфреда.]

владельцам фьефов и цензуальных земель, совершенно иллюзорна вследствие чрезмерной стоимости выкупа случайных повинностей, подлежащих выкупу одновременно с постоянными повинностями; таким образом черты феодального порядка становятся неизгладимыми; нация не должна надеяться на осуществление выкупа повинностей, связанных с находящимися в ее распоряжении доменальными и церковными имуществами, и на то, что она сможет воспользоваться капиталами, которые она могла бы таким образом получить, как средством для ликвидации государственного долга; наконец, нация обременена чрезмерными платежами, которые она должна внести бывшим сеньорам за освобождение от феодальных повинностей национальных имуществ, предназначенных ею для продажи; поэтому и для нации, и для владельцев фьефов и земельных участков, облагаемых случайными повинностями, одинаково важно, чтобы стоимость выкупа случайных повинностей была умеренной»<sup>18</sup>.

Администраторы попытаются связать в этом вопросе интересы государства с интересами цензитариев. Церковь, на имущества которой Революция наложила руку, владела не только землями; она владела еще и феодальными правами, и государство не может получить за них выкуп, так как стоимость его слишком высока. С другой стороны, церковные земли были обременены феодальными повинностями. Государство не могло назначить церковные земли к продаже, не освободив их от этих повинностей, и ему надо было выкупать их по очень высокой цене.

Итак, протесты раздавались с разных сторон и в различной форме. Но крестьяне не ограничивались протестами; они оказывали сопротивление, приводя в великое смятение революционную администрацию, часто весьма умеренную, и вызывая сильное негодование среди буржуазии.

### КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ<sup>19</sup>

12 января 1790 г. Луа, депутат от Перигора, составил мемуар о волнениях в Перигоре, Керси и Руэрге<sup>20</sup>.

*«Все крестьяне отказываются платить ренты; они собираются толпами, объединяются, выносят решения о том, что никто не будет платить ренты, а если кто-нибудь уплатит их, то он будет повешен. Они врываются в дома сеньоров, духовенства и других зажиточных людей, производят в них опустошения, заставляя возвращать им части рент, уже полученные некоторыми лицами; заставляют тех, кто уже успел продать высканый хлеб, или тех, кому, как они утверждают, были уплачены пошлины за право перехода земли в другие руки и иные незаконные, по их мнению, поборы, выдавать им акты признания и обязательства. Все непосредственно порождаемые этим насилия или неудобства*

имеют еще тот результат, что они мешают сеньорам фьефов, не знаящим, на что они могут рассчитывать, составлять свои налоговые декларации и выплачивать свой патриотический взнос; было бы очень желательно издать такой декрет, который бы возвратил спокойствие этим провинциям. На замок одного дворянина, которому было больше 80 лет, напала толпа крестьян; они начали с того, что поставили у главных ворот виселицу. Это так потрясло сеньора, что он скоропостижно скончался».

Бьют тревогу весьма умеренные, весьма буржуазные администраторы департамента Ло. 22 сентября 1790 г. они пишут Национальному собранию из Каора: «Господа, уже несколько дней, как наши совещания то и дело прерываются прискорбными известиями, поступающими к нам из деревень департамента. Опасения, возникшие у нас в связи с приближением обычного срока взимания рент, оказались более чем обоснованными, и мы тщетно старались не допустить беспорядков, которых боялись».

Стремясь удержать сельское население от нарушения им своего долга, мы пытались заставить его внять словам разума и закона; такова была цель нашей прокламации от 30 августа. Встреченная с признательностью добрыми гражданами, она послужила для людей злонамеренных поводом к самым гнусным инсинуациям и к действиям, внушающим огромную тревогу. *В одном месте муниципальные должностные лица не смеют огласить эту прокламацию; в другом им не дают дочитать ее до конца; в третьем*

18. Размер выкупа случайных повинностей установлен в IV разделе (Способ и размер выкупа ...) декрета от 3 мая 1790 г., статьи 24—40 (Duvergier, I, 190). Он, разумеется, менялся в зависимости от размеров самой пошлины, взимаемой при переходе имущества в другие руки. Эта пошлина обычно равнялась, в зависимости от районов, одной шестой, одной восьмой, одной двенадцатой продажной цены; в парижском районе — одной четвертой или одной пятой ее. Размер выкупа был, например, равен двадцать четвертой части продажной цены для пошлины, составившей одну двенадцатую часть продажной цены земли или другого имущества.

19. Картину пережитков феодальных отношений и крестьянских восстаний нарисовал Ф. Саньяк в своей уже упоминавшейся выше докторской диссертации «La lé-

gislation civile de la Révolution française» (1898).

20. Ж. Б. Луа, адвокат из Сарла, был депутатом третьего сословия от сенешальства Перигё.

О крестьянских восстаниях в Перигоре и Керси см.: J. V i g u i e r. Les émeutes populaires dans le Quercy.—«Révolution française», t. XXI, 1891, p. 36; G. B u s s i è r e. Etudes historiques sur la Révolution en Périgord. T. III, Paris, 1903; P. C a r o n. Le mouvement antiseigneurial dans le Sarladais et le Quercy.—«Bulletin trimestriel de la Commission de recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution», 1912, № 2; E. L a p e y r e. Les insurrections du Lot en 1790. Cahors, 1912. Эти работы были использованы А. Оларом в III главе его «La Révolution française et le régime féodal», 1919.



они не могут прочитать ее вторично. В одном муниципалитете юре, после того как он прочитал эту прокламацию, подвергся насилию и был вынужден заявить, что она подложная и исходит не от директории; в других народ вновь стал сажать майские деревья \*, этот всеобщий символ восстаний, которые опустошили в начале года часть королевства; во многих местах ставят виселицы как для тех, кто станет платить ренты, так и для тех, кто будет их взимать. Наиболее умеренные отказываются от платежей, пока они не проверят, говорят они, первоначальные титулы; владельцы фьефов нигде не смеют требовать уплаты причитающихся им повинностей. Господа, все эти беспорядки возникли совсем недалеко от нас, от административных властей. У ворот города, где происходят наши заседания, в деревне кантона Каор недавно была поставлена виселица и расклеены афиши, подстрекавшие к возмущению.

Целый день стояла эта виселица, красовались эти афиши и продолжалось это мятежное возмущение, а местный муниципалитет нисколько не был встревожен этим. Мы узнали об этих событиях от соседнего муниципалитета, попросившего у нас помощи. Афиши были сорваны, и виселица была сломана только тогда, когда мэр и прокурор коммуны увидели, что угрожают им самим, и когда они узнали о приближении национальных гвардейцев и линейных войск, которые выступили, проявляя величайшее рвение, по нашему требованию для восстановления общественного спокойствия и охраны собственности и личной безопасности жителей.

Больше всего нас удручает, господа, и увеличивает опасность этого зла то обстоятельство, что во многих местах муниципальные должностные лица являются либо тайными зачинщиками, либо соучастниками, либо равнодушными свидетелями беспорядков, картину которых мы вынуждены вам нарисовать. И что можно было бы ожидать, господа, — осмеливаемся мы сказать, — от столь слабых и столь невежественных корпораций, столь мало склонных подчинять частные интересы общественным, одним словом, от столь неспособных выполнять свое великое предназначение, какими оказалась большая часть сельских муниципалитетов?»

Это обращение, в котором сквозит страх буржуазии, представляет большой интерес. Прежде всего оно свидетельствует о силе крестьянского движения против продолжавшего существовать феодального порядка. Суть дела совсем не в насилиях. Несмотря на виселицы и афиши, которые могут снабдить историка из школы Тэна устрашающими картинками, в этом возмущении нет ничего такого, что напоминало бы нам кровопролитную жакерию; ни над одним дворянином не было учинено расправы; однако нам, желая нас растрогать, сообщают о смерти восьмидесятилетнего дворянина, скончавшегося от волнений.

На деле крестьяне действовали в основном силой пассивного сопротивления, всеобщим отказом от уплаты феодальных рент.

Но самое замечательное то, что им оказывали поддержку муниципалитеты. С каким презрением и гневом буржуа из департаментской директории, многие из которых обладали титулами на взимание феодальных рент, говорят об этих крестьянских муниципалитетах, превращавших в реальность призрачные декреты от 4 августа!

Крестьяне оказывали сопротивление и в парижском районе. 8 сентября 1790 г. директория департамента Сена и Марна пишет Национальному собранию: «Директория департамента Сена и Марна спешит сообщить вам о прекращении волнений, вызванных в Немурском дистрикте отказами крестьян платить десятину и шампар; она рада воздать должное директории Немюра, командующему парижской гвардией г-ну де Шато-Тьерри и офицерам линейных войск г-м де Монтальбану, Дюфренуа, де ла Рошу и де Сестаману. Их энергия, осторожность и находчивость превыше наших похвал; несмотря на упорное сопротивление, встреченное ими вначале, им удалось добиться покорности и уплаты шампара в большей части возмущившихся приходов».

Но сопротивление крестьян из года в год возобновлялось и усиливалось, в особенности когда приближался срок платежей, то есть взимания феодальных поборов.

## УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УПОРСТВУЕТ

Учредительное собрание, с трудом терпевшее волнения, происходившие летом и осенью 1790 г., хорошо понимало, что с наступлением лета 1791 г. борьба возобновится, и 15 июня, на следующий день после того, как оно вотировало закон Ле Шапелье, оно одобрило инструкцию, которая в случае последовательного ее осуществления сохранила бы феодальный порядок. Это «Инструкция Национального собрания относительно шампара, терража, агрье, арража, тьерса, соете, комплана, ценза, сеньориальных рент, пошлины при переходе земли в другие руки, рельефов \*\*

\* Посадка «майских деревьев» (mais) — старинный обычай в этих районах Франции. Раньше их сажали в честь сеньора, перед замком во время праздника. Теперь их сажали на площади деревни, местечка, городка как знак освобождения от феодального угнетения, символ свободы и равенства. — *Прим. ред.*

\*\* Агрье (agrier) — одно из наиболее распространенных названий натурального полевого оброка, особенно в областях писанного права, разновидность шампара. Этот вид

оброка падал на все продукты земли. Арраж (arrage), соете (soété, soyeté, soëté), комплан (complant) — виды полевого оброка из доли урожая, местные названия шампара.

Тьерс (tierce) — повинность, заменившая право «мертвой руки» и вносившаяся деньгами или натурой.

Рельеф (relief) — случайная повинность, уплачиваемая новым вассалом при переходе земли по наследству не по прямой линии. — *Прим. ред.*

и других бывших сеньориальных прав, признанных подлежащими выкупу по декрету от 15 марта 1790 г., санкционированному королем 28 числа того же месяца».

В первую очередь Учредительное собрание указывает крестьянам, что, отменяя феодальный порядок, оно желало обеспечить личную свободу каждого, но отнюдь не посягало, ни прямо, ни косвенно, на собственность. «Отменой феодального порядка, провозглашенной на заседании 4 августа 1789 г., Национальное собрание выполнило одну из важнейших миссий, возложенных на него верховной волей французской нации, но ни французская нация, ни ее представители не имели в виду нарушить этим священные и неотъемлемые права собственности».

*Поэтому, признав со всей решительностью, что ни один человек никогда не мог стать собственником другого человека и что, следовательно, права, присвоенные одним человеком над личностью другого, никогда не могли стать собственностью первого, Национальное собрание самым определенным образом сохранило все полезные повинности и обязательства, возникшие в результате земельных уступок, и только разрешило их выкуп».*

Итак, несмотря на свою пышную и почти пустую декларацию 4 августа, Собрание, попросту говоря, отнюдь не отменило феодального порядка. Оно не отменило всех тех денежных поборов, которые обременяли крестьянскую собственность к выгоде сеньоров. Оно просто упразднило сохранившиеся в обществе остатки рабства в собственном смысле слова, остатки серважа, личной зависимости. Но поскольку уже давно, по мере самого развития национальной жизни и в силу возраставшей изо дня в день изменчивости интересов и подвижности людей, эта прямая личная зависимость исчезла; поскольку уже в течение веков она должна была, чтобы сохраниться, обрести иное обличье и принять форму договора; поскольку почти повсюду видимые и, так сказать, материальные оковы рабства или серважа были заменены путами денежных повинностей и сеньоры благоразумно придали своей былой эксплуатации и былomu угнетению новый характер буржуазного права, то Учредительное собрание поистине ничего не изменило по существу. Оно вырвало из почвы несколько забытых слабых корней рабства и серважа, но дерево феодализма с его почти бесконечными разветвлениями в виде денежных повинностей продолжало отбрасывать свою тень на крестьянское поле. Отсюда непреодолимое расхождение между юристами буржуазного Собрания и революционными крестьянами.

Собрание должно было бы признаться самому себе и признать перед всеми, что феодальная собственность, даже если она приспособилась к юридическим формам современной жизни, носила не только устаревший, но и угнетательский характер, что она препятствовала необходимому развитию полной крестьянской собственности и что, даже рискуя задеть буржуазную собствен-

ность в тех случаях, когда она смыкалась с феодальной собственностью, надо последнюю уничтожить.

Именно этого требовал неодолимый инстинкт крестьян. Но Собрание исходило из прямо противоположных воззрений и изо всех сил старалось доказать крестьянам, что если они восставали, то лишь вследствие контрреволюционных происков или подстрекательства. Какие ребяческие небылицы!

Оно также изо всех сил старалось изобличить сельские муниципалитеты, этот естественный орган освобождения крестьян. «Разъяснения, данные по этому поводу декретом от 15 марта 1790 г., — заявляло Собрание, — казались, должны были навсегда восстановить в деревне спокойствие, нарушенное там ложными истолкованиями декрета от 4 августа 1789 г. Но сами эти разъяснения были неверно поняты или искажены во многих районах страны; и надо сказать, что росту заблуждений, распространявшихся по этому важному поводу, благоприятствовали и еще благоприятствуют две причины, прискорбные для друзей Конституции и, следовательно, общественного порядка.

Первая причина заключается в легкости, с какой жители деревень позволили вовлечь себя в волнения, к которым их подстрекали враги Революции, ибо они были твердо убеждены в том, что не может быть свободы там, где законы бессильны, и что, следовательно, всегда можно с уверенностью привести народ к рабству, если сумеет увлечь его за пределы, установленные законами».

*Вторая причина — в поведении некоторых административных органов. Конституция возложила на них обязанность обеспечить взимание терража, шампара, ценза или других платежей, полагающихся нации; но многие из указанных органов проявили в этой части своих обязанностей беспечность и слабость, которые привели к отказу от уплаты и умножили число таких случаев со стороны лиц, обязанных по этим повинностям государству, и под влиянием дурного примера распространялись среди тех, кто обязан повинностями частным лицам, духа неповиновения, алчности и несправедливости».*

Эти раздраженные жалобы Собрания говорят о революционной и народной силе муниципальной жизни.

В то время как в городах некоторые первичные собрания секций призывают бедняков, рабочих к участию в общественной жизни, от которой закон их отстранял, в деревнях муниципалитеты часто превращаются в соучастников, в покровителей крестьянских восстаний против буржуазного закона, опоры старой феодальной системы. И я отмечаю здесь одну особенность, по-видимому ускользнувшую от внимания Саньяка.

После того как муниципалитеты получили по закону право покупать у государства национальные имущества и управлять ими, пока они их не перепродадут частным лицам, многие из них

использовали этот период управления, чтобы подать пример полной отмены феодальных повинностей.

Церковные имущества включали феодальные права, поземельные ренты, шампар. Крестьянские муниципалитеты, которые приобрели эти права, систематически пренебрегали извлечением из них дохода: они не требовали от крестьян уплаты поземельных рент, которые те обязаны были платить на основании феодальных титулов. И таким образом они создали грозный прецедент, своего рода юридическую практику полной отмены, которой крестьяне затем воспользовались применительно к повинностям, полагающимся частным лицам.

Это явилось совершенно неожиданным последствием закона, привлечшего муниципалитеты к участию в распродаже национальных имуществ: так в бесчисленных муниципальных центрах ощущалось биение народной жизни; и подспудная разлагающая работа подрывала старое феодальное право вопреки стремлениям буржуазных юристов, пытавшихся укрепить его. Что могли, в конце концов, сделать буржуазные Собрания против этих упорных повсеместных усилий крестьянства, подтачивавших феодальный порядок?

Учредительное собрание тщетно возвышает свой голос, переходя к угрозам.

«Пора, наконец, пресечь эти беспорядки, если мы не хотим увидеть, как угаснет в своей колыбели Конституция, осуществление которой они нарушают и задерживают. Пора гражданам, чей труд делает поля плодородными и кормит страну, вернуться к исполнению своего долга и относиться к собственности с должным уважением».

Тщетный призыв, ибо юридические правила, намеченные Собранием, приходят в слишком резкое столкновение с инстинктом и надеждами крестьян и с тем представлением о декрете от 4 августа, которое у них сложилось в первый момент.

Собрание действительно не ограничивается напоминанием о том, что все феодальные повинности должны оставаться в силе до их выкупа, если они связаны с земельными уступками, сделанными некогда сеньором — собственником земли держателям. Оно самым решительным образом утверждает, что повинность будет считаться презумпированной как результат земельной уступки, пока держатель не представит доказательств противного. «Эта статья (статья 1 раздела III закона от 15 марта) распространяется на три вида повинностей: на постоянные повинности (как поземельная рента, уплачиваемая ежегодно), на случайные повинности, выплачиваемые при переходе земли в другие руки, и на случайные повинности, выплата которых связана как с переменной владельца земли, так и с переменной сеньора (фактически это и был весь комплекс повинностей, лежавших бременем на крестьянах)... Эти три вида повинностей имеют между собой то общее, что они никогда

не носят личного характера, а основаны исключительно на владении землей, которая ими обложена». Эта статья подчиняет указанные повинности двум основным положениям.

«Во-первых: для того, кто ими владеет (и когда владению этому сопутствуют все надлежащие особенности и условия, коих требуют на этот счет старые законы, обычное право, статуты или правила), они считаются презумпированными как цена первоначальной земельной уступки.

Во-вторых: такая презумпция может быть опровергнута в результате доказательства противного, но такое доказательство противного должно быть представлено лицом, обязанным повинностями, и если это обязанное повинностями лицо не в состоянии представить его, то законная презумпция вновь обретает полную силу и обязывает его продолжать платежи...»

Это значило, что крестьяне осуждены платить вечно. Ибо каким образом могли бы они представить доказательство противного? Предоставить опровергающее доказательство всегда затруднительно. Между тем сеньор освобождался от представления подтверждающего доказательства. Он освобождался от представления первоначального титула, на основе которого его предки уступили земельный участок на условиях выплаты вечного феодального оброка.

Для сеньора титулом, доказательством служил сам факт владения. Каким образом крестьянин мог опровергнуть этот титул? Каким образом мог бы он доказать, что первоначально, в далекой и глубокой тьме веков, его нищие предки не получили от сеньора этих земельных участков, но были принуждены к уплате феодальной повинности либо потому, что сеньор одолжил им денег и воспользовался своим положением кредитора, чтобы связать их цепью бесконечной вассальной зависимости, либо просто потому, что сеньор прибег к насилию и угрозам, либо, наконец, потому, что они были рабами, сервами, и согласие на уплату феодальных повинностей было для них выкупом за свободу?

Требовать от крестьян воскресить таким образом далекое туманное прошлое — то же самое, что спрашивать у камней, которые медленно точит вода, где находятся неведомые им истоки реки.

Еще и в наше время между такими специалистами, как Фюстель де Куланж или Вайц, нет согласия в вопросе о самом происхождении феодальной системы<sup>21</sup>. Представляет ли она собой своего рода закрепление военной иерархии системой земельных пожалований? Или трансформацию крупного галло-римского землевла-

21. Фюстель де Куланж (Fustel de Coulanges) (1830—1889) — автор «Histoire des institutions politiques de l'ancienne France» (1875—

1889, 3 vol.); Г. Вайц (G. Waitz) (1813—1886) — немецкий историк, начиная с 1875 г. руководил публикацией «Monumenta

дения? История не дает определенного ответа. Как же могли разобраться в этом крестьяне? Как могли бы они доказать, что их предки были полностью закрепощены и что *исключительно* для того, чтобы освободиться от этой крепостной зависимости, они и согласились на вечную уплату поземельных повинностей?

Однако именно этого доказательства требуют от крестьянина, дабы он мог избавиться от своего векового бремени.

«Когда в результате доказательств, представленных лицом, обязанным повинностью, оказывается, что повинность не является ни ценой земельной уступки, ни возмещением полученной в давние времена денежной суммы, а *единственно* плодом насилия или узурпации, или — что то же самое — выкупа из прежнего состояния *чисто личного* закрепощения, то, вне всякого сомнения, она должна быть просто-напросто отменена».

Поставить освобождение крестьянина в зависимость от представления крестьянином подобного доказательства было опять-таки насмешкой.

И все же в тот самый момент, когда Собрание притесняет земледельца, оно, по-видимому, вплотную подходит к принципу, который мог бы его освободить. Ибо если он должен быть освобожден от обязательств, явившихся ценой избавления от личного закрепощения или плодом насилия, то как можно не видеть, что все феодальные договоры в целом объясняются личной зависимостью или насилием? Нелепо предполагать, что деревенское население согласилось бы на все эти тяжелые поборы в течение длинного ряда столетий, если бы оно не подчинялось закону порабощения или власти силы.

Если бы Собрание провозгласило, что вначале крестьянский класс неизбежно подвергся насилию, то все здание феодального порядка рухнуло бы. Но Собрание не смеет выступить с этим великим историческим утверждением, которое освободило бы всех крестьян в целом. Собрание не рискует это сделать. Оно требует, чтобы каждый крестьянин в отдельности представил прямое доказательство того, что обременяющие его повинности возникли в результате особых актов угнетения и вымогательства.

И вот крестьяне осуждены вечно влачить свои цепи потому, что они не в силах найти их первое звено, установить, из какого металла оно изготовлено, и описать, так сказать, выковавший его молот.

Кроме того, Собрание провозглашает, что в случае тяжбы по поводу правомерности какой-либо повинности или ее размера судьи «должны, несмотря на тяжбу, предписать временное взимание повинностей, которые, хотя они и оспариваются, все-таки считаются обычно уплачивавшимися».

«Но в каких случаях ныне признаваемые повинности должны рассматриваться как *обычно уплачивавшиеся*? Общий принцип, который в течение веков выработала судебная практика,

основанная на здравом смысле, состоит в том, что, когда дело касается поземельных повинностей, так же как и обладания недвижимым имуществом, владение в предыдущем году должно, за исключением всех местных правил, которые могли бы противоречить этому, определять временно владение в текущем году. Но поскольку это правило должно применяться только тогда, когда право на взимание платежей или на их неуплату не является результатом насилия, и поскольку, к несчастью, одно насилие, примененное на деле или возмещенное угрозами, в течение двух лет избавило значительное число лиц от уплаты шампара, терража и других повинностей, Национальное собрание не выполнило бы первейшего долга справедливости, если бы оно не объявило — как оно делает это сейчас, — что, согласно смыслу и цели декрета от 18 июня 1790 г.<sup>22</sup>, нужно считать обычно уплачивавшимися все повинности, которые существовали и уплачивались либо в году посева, предшествовавшем 1789 г., либо в самом 1789 г., либо в 1790 г.».

Так Собрание сводило на нет все результаты восстаний крестьян. Кроме того, оно постановило, что крестьяне могут требовать от сеньоров представления титулов, но ознакомление с ними должно происходить в самих архивах.

«Никогда вассалы, держатели и цензитарии не могли притязать на то, чтобы им передали в собственные руки и доверили их добросовестности титулы, в уничтожении которых они были больше всего заинтересованы».

Наконец, после того как Учредительное собрание предложило муниципалитетам взыскивать феодальные повинности с национальных имуществ, оно напомнило департаментским директориям, что они, как и муниципалитеты, вправе прибегать к помощи сил общественного порядка, и таким образом поставило феодальную собственность, подвергавшуюся угрозе со стороны крестьян, под защиту городской буржуазии.

Germanias», автор книги «Le vieux droit des Francs saliens» (1846). О проблеме возникновения феодальной системы см.: M. Bloch. La société féodale. T. I: «La formation des liens de dépendance», t. II: «Les classes et le gouvernement des hommes». Paris, 1939—1940, 2 vol.; R. Boutruche. Seigneurie et féodalité. Paris, 1959. [См. также труды советских историков: Сказкин С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века. — Сказкин С. Д. Избранные труды по истории. М., 1973; Н е у с ы -

х и н А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества Западной Европы VI — VIII вв. М., 1956; У д а л ь ц о в а З. В., Г у т ц о в а Е. В. Генезис феодализма в странах Европы. М., 1970. (Доклад на XIII Международном конгрессе исторических наук). — Прим. ред.]

22. Декрет от 18 июня 1790 г. касался выплаты десятины за 1790 г. и выплаты натуральных поземельных повинностей, сохраняющихся до их полного выкупа (Duvergier. I, 252; «Archives parlementaires», XVI, 273).

После этого документа мало что осталось от декретов 4 августа. В тот момент, когда появился этот консервативный манифест Учредительного собрания, во многих местах уже начались выборы в Законодательное собрание. По-видимому, он предназначался не только для предотвращения волнений, которые сопутствовали времени жатвы, но и для воздействия на избирателей. И вне всяких сомнений, он стал предметом самого оживленного обсуждения в избирательных собраниях.

## ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОЛНЕНИЙ

Крестьяне не дали ни убедить, ни запугать себя. Протесты продолжались то в законной, то в насильственной форме. 7 августа 1791 г. директория департамента Сена и Марна пишет: «Возобновляются волнения по поводу взимания шампара. Серьезные волнения возникли в приходе Иши кантона Бомон; в приходе силой воспротивились всем попыткам, имевшим целью взывание шампара».

15 декабря 1791 г., через несколько недель после открытия заседаний Законодательного собрания, активные граждане коммуны Лурмарен (департамент Буш-дю-Рон) писали Собранию:

«С тех пор как 21 месяц назад был издан закон о феодальном порядке, ни один человек, обязанный платить связанные с ним ненавистные повинности, не выкупил их, и, движимые пророческим порывом, мы смеем вас заверить, что если Национальное собрание не позволит нам выкупить фиксированные, постоянные повинности, такие, как таск \* и шампар, отдельно от случайных повинностей, или пошлин, выплачиваемых при переходе земли в другие руки, то население, подчиненное этому гнусному порядку, не станет свободным и через тысячу лет».

Учредительное собрание имело лишь намерение освободить деревни от этого чудовища, но у него не было для этого возможности, ибо в состав его входили дворяне и дельцы, которые защищали чудовище своими интригами и своим молчанием, а те его члены, которые искренне хотели его уничтожить, не знали, куда нанести ему удар. Они лишь наметили общий план атаки, и его одобрили, сочтя достаточным, а чудовище, которое можно было поразить лишь в одном месте, продолжало торжествовать, неуязвимое для направленных против него бессильных стрел.

Учредительное собрание почти целиком состояло из горожан, которые облагались лишь незначительными прямыми налогами, а деревни, терзаемые таском, шампаром, агрье, пошлинами, взимаемыми при переходе собственности в другие руки, цензом, раздираемые сеньорами, их агентами, откупщиками [феодалных повинностей], их стражниками, были забыты; их интересы не защищал никто.

И что же, законодатели, эта все еще всемогущая когорта держит сельских жителей в оковах. Именно эти бывшие сеньоры, их агенты и их нынешние фермеры, объединяясь с неприсягнувшими священниками и всякого рода фанатиками, убивают революционное рвение простых и невежественных земледельцев, внушая им страх или мысль, что старый порядок вещей возвратится и что тогда бывшие сеньоры расправятся с теми, кто отстаивал общественные интересы.

Но мы со сладостным восторгом предсказываем: *уничтожение феодального порядка будет смертельным ударом для аристократов. Именно в надежде восстановить его они и эмигрируют, устраивают заговоры и сеют всякие волнения.* Вы почувствуете более чем когда-либо, что свобода и феодальный порядок несовместимы, что половина страны изнывает под гнетом этого отвратительного порядка, и притом наиболее ценная, так как она кормит другую; поэтому Революцией станут дорожить лишь отчасти и Конституция окажется малоустойчивой, если вы не облегчите в большей мере, чем это делалось до сего времени, выкуп феодальных повинностей...»

Вырисовывается тактика сторонников полной отмены феодального порядка. Они говорят Законодательному собранию, что контрреволюционная деятельность дворянства и неприсягнувших священников будет иметь в деревнях решающее значение, если крестьян не привлекут на сторону Революции в результате немедленного уничтожения феодального порядка.

Крестьяне ловко используют затруднения революционной буржуазии и угрожающие ей опасности, чтобы навязать ей, несмотря на ее отвращение, полное уничтожение феодального порядка. По правде говоря, они как будто еще требуют только большего облегчения выкупа, но тон их речей, если можно так выразиться, более резок, чем сами речи; в сущности, они хотят именно полной отмены феодального порядка и начинают надеяться на нее.

4 января 1792 г. дистрикт Шатобриан (департамент Нижняя Луара) обращается в Законодательное собрание с петицией, под которой стоит множество подписей, и на этот раз земледельцы восстают уже против самого выкупа.

«Неужели несчастный вассал должен продать часть небольшого наследия своих отцов, чтобы избавить другую его часть от порабощения и угнетения? Но кому сможет он продать эту часть отцовского наследия? Так называемым сеньорам, своим прежним тиранам: благодаря выкупу феодальных повинностей они одни будут располагать всеми наличными деньгами Франции и сконцентрируют в своих руках все ее богатства».

\* Таск (Tasque) — вид полевого оброка из доли урожая, развидность шампара, в некоторых

местах, в частности в Провансе.—  
Прим. ред.

Благодаря этому утратят их богатства, которыми они кичатся; благодаря этому они расширят свои владения и станут хозяевами всей собственности; благодаря этому, наконец, они усилят иго прежнего рабства, под которым некогда стонали наши отцы и которое еще сегодня заставляет нас краснеть. Таков, господа, всеобщий вопль, который раздается в деревнях и городах дистрикта Шатобриан, раздается по всей Франции».

Наконец, затронут наиболее существенный вопрос; смелое и спасительное слово и на этот раз исходит из Бретани.

Коммуна Касель-Бирон (департамент Ло и Гаронна) пишет Законодательному собранию 20 марта 1792 г.:

«Ренты и другие феодальные повинности, сохраненные и объявленные выкупаемыми декретом от 15 марта 1790 г., санкционированным 28 марта, вполне могут *вызвать гражданскую войну*, если Национальное собрание в своей мудрости не примет мер, изменяющих как размеры ренты, так и способ выкупа, декретированный Учредительным собранием.

И право, что побуждает человека, живущего в обществе, подчиняться законам и соблюдать их? Только та защита, которую они ему обеспечивают как в отношении его личной безопасности, так и в отношении владения и пользования своей собственностью.

Однако, если сумма недоимок по ренте, накопившихся с 1789 г. в силу обстоятельств, поглотит для большей части земель, прежде сеньориальных, стоимость владений, то не может быть сомнений в том, что эти люди, видя, что они лишаются всего своего имущества или — что почти одно и то же — обязаны платить столь непомерную ренту, что, несмотря на самую тщательную обработку земли, их доходы с нее недостаточны для уплаты ренты, *противопоставят силу силе и не остановятся перед тем, чтобы пожертвовать жизнью*.

*Поэтому коммуна требует, чтобы нация сама взяла на себя выкуп ренты».*

Очевидно, терпение крестьян истощилось: они повсеместно хотят быть просто-напросто избавленными от феодальных обязательств. Сеньоры либо совсем не получают возмещения, либо получают его от нации. Крестьянин отказывается платить феодальные ренты, он отказывается также их выкупать и во всеуслышание заявляет, что будет защищаться силой.

## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ И ФЕОДАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Это движение не могло не встревожить новых избранников, и все эти прокуроры, все эти адвокаты, все эти администраторы, ставшие депутатами, несомненно, с первого же дня пытались найти какую-нибудь юридическую уловку, посредством которой они могли бы придать законную форму экспроприации сеньоров.

### ПРОЕКТ КУТОНА

Сразу создается Феодальный комитет, и в нем уже больше не преобладает консервативное традиционалистское влияние Мерлена<sup>1</sup>. Но вопрос был перенесен на трибуну Законодательного собрания еще до того, как Феодальный комитет представил Собра-

1. Комитет феодальных прав Учредительного собрания, именованный также Феодальным комитетом, учрежденный 12 августа 1789 г., был фактически образован 9 октября. Он состоял из 30 членов; его секретарем был Мерлен из Дуэ. Законодательное собрание тоже имело свой Феодальный комитет, который оно избрало 27 октября 1791 г.; он был обновлен 8 марта 1792 г. Комитет «законодательства гражданского, уголов-

ного и касающегося феодальных прав» Конвента, попросту именованный Законодательным комитетом, учрежденный в принципе 2 октября 1792 г. и сформированный 14 октября, унаследовал функции комитетов предыдущих Собраний. Документы этих комитетов хранятся в Национальном архиве, в подсериях D XIV (Феодальный комитет) и D III (Законодательный комитет).

нию свой доклад. Первым, я полагаю, поднял его Кутон, пылкий друг Робеспьера<sup>2</sup>.

На заседании 29 февраля 1792 г. он сказал:

«Я прошу Собрание выслушать кое-какие соображения, которые я намерен ему изложить, относительно тех обстоятельств, в коих мы пребываем. Хотя вопрос о них не включен в повестку дня, но он чрезвычайно важен».

Собрание постановило выслушать его, и Кутон изложил самую суть ловкой тактики крестьян. Он доказал, что огромные внутренние и внешние опасности, грозящие Революции, повелевают ей ради общественного спасения обеспечить себе преданность земледельцев.

«Господа, быть может, близка минута, когда мы с оружием в руках выступим на защиту нашей свободы против объединенных усилий тиранов. Мы отстоим ее; сомневаться в этом было бы преступлением; великий народ, который твердо желает быть свободным, всегда непобедим; либо он раздавит своих врагов, либо оставит им, как плоды их побед, лишь пустыню и пепелища...

Проникнемся сознанием своих сил, но постараемся в то же время их обеспечить, укрепить и направить...

У нас есть внушительная армия, состоящая как из линейных, так и из национальных войск, но эта армия — беру на себя смелость предсказать — действительно оправдает наши ожидания только в том случае, если ее сила и сила Нации, исполненной благорасположения, сольются воедино и если народ объединится с нею в своих намерениях и, если понадобится, в своих действиях<sup>3</sup>.

Следовательно, именно этой моральной силы народа, более мощной, чем сила армий, именно этого общего мнения, столь важного для порядка и для всеобщего счастья, должно добиваться Национальное собрание и обеспечить их прежде всего.

До сего времени вам в виде единственного средства предлагали обращение к народу. Нисколько не осуждаю это средство, но, по моему мнению, это лишь второстепенная мера; предлагаемая мною — иного рода. Народ хотят просвещать, а я хотел бы ему помочь; его хотят привязать к Революции речами, а я хотел бы привязать его к ней справедливыми и благодетельными законами, помня которые постоянно, он всегда будет дорожить правами и обязанностями гражданина.

Среди многочисленных поводов, которые могут представиться для издания близких народу законов, я выберу один, на мой взгляд, не могущий вызвать значительных затруднений. Каждый из нас был свидетелем этой навсегда памятной ночи 4 августа 1789 г., когда Учредительное собрание, чистое на заре своих дней, в священном воодушевлении провозгласило отмену феодального порядка; этот замечательный декрет завоевал ему благодарность народа, особенно деревенского населения, столь ценного для страны и так долго забываемого. И если бы Учредительное собрание,

проявив последовательность, свято хранило память об этом спасительном законе и тщательно следило за тем, чтобы ему соответствовали изданные впоследствии частные законы, то о нем бы всегда думали с уважением и воздавали бы ему вечную дань восхищения и признательности.

Но вскоре эти замечательные постановления превратились для народа в прекрасный сон, обманчивая иллюзорность которого оставила ему одни сожаления.

Как мы видели, декрет от 4 августа 1789 г., встреченный с восторгом во всех концах страны, отменил феодальный порядок, ничем не ограничив эту отмену, но через восемь месяцев второй декрет сохранил все полезное из того же порядка. Таким образом, отнюдь не принеся пользы народу, Учредительное собрание даже не оставило ему утешительной надежды на возможность когда-либо освободиться как от деспотизма бывших сеньоров, так и от лихоимства их агентов<sup>4</sup>.

В самом деле, вы ведь понимаете, господа, что народ угнетали не почетные права, существовавшие при феодальном порядке. Они его, разумеется, оскорбляли, унижали, позорили, делая его положение отличным от обычного положения всех людей и поширая равенство, установленное природой.

Но наиболее обременительными для народа и существенно отражавшимися на его благосостоянии были полезные права, такие, как ценз, сеньориальные ренты, шампары, терраж, агрье, арраж, комплан, пошрины при переходе земли в другие руки,

2. Жорж Кутон (Couthon) родился в Орсе (департамент Пюи-де-Дом) 22 декабря 1755 г.; гильотинирован в Париже 10 термидора II г. (28 июля 1794 г.). Адвокат в Клермон-Ферране, выборщик от прихода Орсе на выборах в Генеральные штаты, председатель трибунала в Клермоне в 1790 г., представитель департамента Пюи-де-Дом в Законодательном собрании, затем в Конвенте. Биографии Кутона не существует; его переписку («Correspondance») опубликовал Ф. Меа (F. Mége) (Paris, 1872); о политической деятельности Кутона в Пюи-де-Дом см. статьи Р. Шнерб (R. Schnerb) в «Annales historiques de la Révolution française», 1928, p. 574; 1930, p. 323; 1932, p. 541.

3. Говоря о линейных войсках, Кутон имеет в виду полки королевской армии старого порядка. Национальные войска — это батальоны волонтеров, сформиро-

ванные после бегства короля, на основании декрета от 21 июня 1791 г., дополненного декретами от 22 июля и 4 августа. Кутон ясно ставит здесь вопрос о создании настоящей национальной армии.

4. Кутон ссылается здесь на двусмысленный текст статьи 1 декрета от 4—11 августа 1789 г.: «Национальное собрание полностью отменяет феодальный порядок». Но тотчас же после этой принципиальной декларации оно проводит различие между правами, отменяемыми без возмещения, и «всеми остальными, подлежащими выкупу». Второй декрет, на который намекает Кутон, это декрет от 15 марта 1790 г., определяющий порядок выкупа «полезных феодальных или цензуальных повинностей, которые являются ценой и условием первоначальной уступки земли». См. также декрет от 3 мая 1790 г., уточняющий способы выкупа.

рельеф и другие в этом же роде. Однако все эти права и повинности были сохранены декретом Учредительного собрания от 15 марта 1790 г.».

Кутон заявляет, что он не намерен требовать отмены этих повинностей всех без разбора. Он делит их на две категории. Существуют недавние повинности, основанные на титулах и действительно вытекающие из земельных уступок, сделанных сеньорами; они должны быть сохранены. Но все старые повинности являются исключительно следствием узурпаций, совершенных сеньорами, чудовищным осуществлением их мнимого права владения всей землей<sup>5</sup>.

«То, что я только что сказал о притязаниях бывших сеньоров на владение всей землей, доказано тысячей примеров, которые являют нам еще и в наши дни большинство наших департаментов. Ограничусь примером своего департамента (Пюи-де-Дом); там имеется много деревень, где сеньоры еще пользуются правом всем владеть, всем распоряжаться, не имея на то никаких иных титулов, подтверждающих их право собственности, кроме своего положения сеньора; в силу этого положения им принадлежит все; бедняк, не имея никаких средств, кроме своих рук, не имея никакого достояния, кроме лопаты, не вправе свободно пользоваться ими исключительно для удовлетворения своих нужд. Природа дает ему неблагоприятную почву, заброшенную, всю усеянную с сотворения мира страшными камнями.

И что же! Если он захочет оросить своим потом эту часть великого общего наследия, то к моменту жатвы появляется его бывший сеньор, чтобы отобрать у него четвертую или по меньшей мере пятую часть урожая, и все это в силу своего мнимого права собственности на все земли, из которого он делает вывод о подразумеваемой уступке земли несчастному земледельцу».

Учредительное собрание не только не отменило этих несправедливых повинностей, но организовало их выкуп таким образом, чтобы сделать его невозможным.

«Первое из этих постановлений требует, чтобы постоянные повинности не могли быть выкуплены без одновременного выкупа случайных повинностей.

Второе устанавливает солидарную ответственность обязанных по сохраняемым повинностям».

Обращаясь к Законодательному собранию, Кутон ограничивается призывом изменить только эти два пункта:

«Пора, господа, исправить столь порочные, столь несправедливые, столь неблагоприятные, столь неконституционные постановления. Именно прошение народа излагаю я вам, когда совершенно ясно предлагаю декретировать:

1) что всякий обязанный по сохраненным бывшим сеньориальным повинностям сможет выкупить их отдельно без того, чтобы в силу солидарной ответственности он был вынужден выплатить больше

своей доли; сохраненными и подлежащими выкупу будут считаться только те из упомянутых повинностей, которые будут подтверждены посредством установивших их титулов, за которыми последовали платежи, или по крайней мере тремя последовательными актами признания, за которыми тоже последовали платежи, причем самый старый из них должен ссылаться на титул о земельной уступке.

2) что принудительный выкуп случайных повинностей будет иметь место только в том случае, когда после выкупа постоянных повинностей произойдет действительный переход собственности в другие руки в результате продажи или акта, равносильного продаже».

Не знаю, не ошибаюсь ли я, но мне кажется, что слова Кутона о крестьянине, у которого нет ничего, кроме его рук и лопаты, и который хочет свободно обрабатывать часть великого общего наследия, имеют новый и более глубокий смысл, чем речи членов Учредительного собрания по этому вопросу. Человек, произносящий такие слова, не станет колебаться, чтобы в один прекрасный день решиться на полную отмену повинностей без выкупа. Но на первых порах он формулирует более осторожные предложения. Неожиданно в конце своей речи он опять связывает интересы крестьян с широкими интересами Революции.

«Хотите, господа, обеспечить быструю уплату налогов, хотите втрое повысить курс бумажных денег, хотите уничтожить спекуляцию, хотите действительно положить конец так называемым религиозным волнениям, хотите расстроить все замыслы недоброжелателей и завершить, одним словом, Революцию? Издайте подобные законы; позаботьтесь о народе; вы обязаны это сделать, поскольку он вам доверил самые дорогие для него интересы; Франция будет счастлива и свободна, если ваши деяния будут освящены благословением народа. Напротив, общественное спасение окажется под угрозой, если ваши декреты натолкнутся на мертвое безразличие общественного мнения». (Долгие аплодисменты среди членов Собрания и на трибунах.)

Итак, так же как в свете революционного зарева 14 июля появились крестьяне, так же как при первых революционных потрясениях они заставили буржуазию принять памятные декреты, так и теперь, в эти смутные и тревожные дни первой половины 1792 г., при первых всполохах гражданской и внешней войны, опять вырастает разочарованный и горестный облик крестьянина.

Ради своего спасения Революция окажется вынужденной дать крестьянину на деле то, что декрет от 4 августа дал ему только

5. В силу правила «нет земли без сеньора». Это правило позволило многим сеньорам превратить в цензивы аллоды, то есть земли,

свободные от феодальных прав и повинностей, которые оставались первоначально независимыми от сеньоров.



для вида. Юристы будут всячески изощряться в поисках различных тонкостей толкования или в возведении смехотворных систем для оправдания экспроприации сеньоров. Но Кутон указал на истинное основание права крестьян: общественное спасение, спасение Революции требовало, чтобы они стали свободны.

Но какое сплетение, какие неожиданные повороты событий! И какую сложную драму представляют собой революции, даже занимающие довольно короткий промежуток времени! Именно измена короля, вынудив революционную буржуазию начать отчаянную борьбу, заставила ее полностью уничтожить феодальный порядок, чтобы сплотить крестьян вокруг революционного знамени.

### ДОКЛАД КОМИТЕТА ФЕОДАЛЬНЫХ ПРАВ

11 апреля 1792 г. Лотур дю Шатель представил Собранию от имени Феодального комитета доклад и проект декрета «относительно отмены без возмещения различных феодальных повинностей, объявленных выкупаемыми по декрету от 15 марта 1790 г.». Феодальный комитет, следовательно, констатирует с самого начала, что труд Учредительного собрания был тщетным: «Учредительное собрание напрасно утверждало в своем декрете, что оно отменяет феодальный порядок, раз на деле оно допустило сохранение самого отвратительного бремени феодализма; мы имеем в виду платежи, которые каждый бывший сеньор взимал и все еще взимает при всяком переходе собственности из рук в руки или при наследовании земельного участка, относящегося к его бывшей сеньории.

Правда, Учредительное собрание объявило эту повинность выкупаемой, но такое право сводится на нет вследствие невозможности для весьма значительного числа землевладельцев внести сумму выкупа, ведь для внесения выкупа им понадобилось бы порой продать одну часть своих земель, дабы выкупить другую часть.

Из этого следует, что феодальный порядок отнюдь еще не отменен, поскольку бывший сеньор еще сохраняет настоящее феодальное право на владение землей, поскольку его бывший вассал не перестал им быть, раз он обязан признавать, что земля, которой он владеет, зависит от бывшей сеньории, объявленной упраздненной, раз в случае продажи им этой земли он платит бывшему сеньору ту же пошлину, какую платил и ранее.

Из этого следует, что отмененный фьеф бывшего сеньора будет существовать всегда, поскольку тот будет всегда вправе потребовать от своего бывшего вассала акт признания, подтверждающий, что земля, которой тот владеет, принадлежит к его фьефу, и это признание будет равносильно клятве в верности, какую ему приносили в прошлом.

Из этого следует, что в действительности обрублены лишь ветви феодального дерева, а его ствол уцелел во всей своей мощи, готовый пустить новые побеги.

Из этого вытекает необходимость упразднить феодальный порядок, дабы и следов от него не осталось, если мы не хотим увидеть, как он вновь возродится, еще более могучий».

Несмотря на столь решительный язык, Феодальный комитет допустил в своем докладе большую путаницу: путаницу в принципах, путаницу в выводах. Прежде всего он не осмелился провозгласить, что все феодальные повинности были пережитком социального строя, основанного на насилии, и что если даже в основе их лежал договор, первоначальная уступка земли, то феодальная форма этого договора должна была сделать недействительной его сущность. Феодальный комитет придумал странную историческую систему. По его мнению, все земли Галлии первоначально были свободными, и, когда вожди франков раздавали земли своим сподвижникам, они не обложили их феодальными повинностями; сеньоры обложили своих вассалов пошлиной, взимавшейся при переходе земельных участков из рук в руки, только в результате последующей узурпации; по-видимому, согласно исторической и юридической теории Феодального комитета, феодальные повинности были бы законными, если бы франкские вожди первоначально обложили ими своих сподвижников<sup>6</sup>.

Комитет, очевидно, отступил перед признанием необходимости экспроприации. Он не осмелился ясно заявить, что новая свобода требует упразднения форм собственности, связанных с прежним порабощением. И так же как неопределенны его принципы, так и неполны его выводы. Он освобождает крестьян только от пошлины, выплачиваемой при переходе земли в другие руки. Зачем же оставлять в силе ежегодные повинности, ценз, шампар, бывшие наиболее тяжелыми? Пока будут существовать эти повинности, прежние узы вассальной зависимости сохранятся не только в воспоминаниях. Если комитет не осмеливается их затронуть, то лишь потому, что эти повинности имеют близкое сходство с чисто поземельной рентой, с буржуазной рентой; и комитет боится, как бы не создалось впечатление, что он посягает на право собственности. Даже в отношении повинностей, выплачиваемых при переходе земли в другие руки, он признает, что они должны

6. Это теория исторического права. Главным поборником ее был граф де Буленвилль (de Boulainvilliers) (1658—1722), чьи сочинения были опубликованы после его смерти: «Histoire de l'ancien gouvernement de la France avec XIV lettres historiques sur les parlements ou états généraux» (1727), «Essais sur la noblesse de France contenant une

dissertation sur son origine et abaissement» (1732). Буленвилль старался дать историческое оправдание привилегий и притязаний дворянства: дворяне происходят от франков (голубая кровь), право завоевания является источником их превосходства над людьми из третьего сословия, потомками поработанных галло-римлян.

подлежать выкупу, если сеньоры представят титулы, доказывающие первоначальную уступку земли. Слабо обоснованное и опасное исключение. Ибо прежде всего эта первоначальная уступка, быть может, является самым гнусным проявлением тирании сеньоров. Лишь потому, что сеньор присвоил себе всю землю, другие люди могли стать владельцами небольших зависимых земельных участков только в результате уступки, сделанной сеньором. То, что Феодальный комитет признает свидетельством права, является несомненным признаком насилия. И это исключение поощряло сторонников сохранения повинностей к сопротивлению; оно давало им повод, на котором вскоре станет упорно настаивать один из них — Дёзи: «Значит, вы признаете, что в некоторых случаях повинности, связанные с переходом имущества в другие руки, представляют собой законную сделку; почему же вы, требуя представления первоначальных титулов, так затрудняете доказательство совершения честных сделок, существование которых вы сами признаете?»

Несмотря на все, проект Феодального комитета был сильным ударом по древу феодализма: он отменял без возмещения все случайные феодальные права, все повинности, вносившиеся при переходе земли в другие руки, за исключением тех случаев, когда сеньоры могли представить первоначальные титулы, устанавливавшие, что эти повинности явились ценой земельной уступки. Поскольку сеньорам было бы очень трудно раздобыть эти первоначальные титулы, так как у большинства из них не было никаких законных оснований, кроме факта владения или последующих актов признания, то это на деле означало отмену без возмещения целого ряда повинностей, которые Учредительное собрание объявило выкупаемыми. И кто не поймет, что вскоре, как неизбежное следствие этого, будут поставлены под вопрос и другие феодальные повинности, даже ежегодные — такие, как ценз, шампар и поземельная рента?

«Статья 1. Национальное собрание, отменяя статьи 1 и 2 раздела III декрета от 15 марта 1790 г. и все прочие касающиеся этого законы, постановляет, что с момента опубликования настоящего декрета все случайные повинности, известные под названием: пятина, пятая доля пятин, тринадцатая доля, трезен, иссю, ми-ло, раша, вантероль, плед, акапт, арьер-акапт \* и под другим наименованием, которые вследствие перемен, происшедших в собственности или во владении имуществом, обязаны были уплачивать продавец, покупатель, лица, получившие в дар, наследники и все остальные правопреемники прежнего собственника или владельца, упраздняются без возмещения.

Статья 2. Все выкупы перечисленных повинностей, по которым еще не совершены платежи, прекращаются либо в их полной сумме, если она еще не выплачена, либо в той ее части, которую еще осталось уплатить, даже если имели место экспертиза, предложе-

ние, согласие или соглашение, но то, что окажется выплаченным, не подлежит возврату.

Статья 3. Однако бывшие сеньоры смогут требовать уплаты указанных повинностей, которые и впредь будут считаться выкупаемыми согласно декрету от 15 марта 1790 г., в тех случаях, когда они смогут доказать, предъявив первоначальный титул о пожаловании, что они уступили и пожаловали землю лишь при определенном условии уплаты указанных повинностей, взимаемых при переходе земли в другие руки».

После принятия декрета от 4 августа это была первая серьезная попытка действительно отменить часть феодальных повинностей. И эта попытка была предпринята именно вследствие непрерывного давления со стороны крестьян. Но какой бы частичной и неудовлетворительной ни была эта попытка, она натолкнулась все же в Законодательном собрании на ожесточенное сопротивление.

## ПРОЕКТ ДОРЛИАКА

Депутат с Юга, ловкий юрист Дорлиак немедленно выступил с предложением комбинации, имеющей своей целью расширить, но в то же время смягчить систему, предложенную комитетом<sup>7</sup>. Дорлиак тоже пытается путем ученых рассуждений дать историческое объяснение происхождения феодализма. «Событие, позволившее сеньорам построить свою систему, состояло в том, что графы, пользуясь слабостью потомков Карла Великого, добились

\* Пятина (quint) — пошлина, взимаемая с нового владельца при продаже земли и составлявшая  $\frac{1}{5}$  продажной цены.

Тринадцатая доля (treizième) — пошлина в размере  $\frac{1}{13}$  продажной цены, взимаемая с нового владельца земли.

Трезен (treizain) — пошлина в размере  $\frac{1}{12}$  продажной цены земли, взимаемая с нового цензитария.

Иссю (issue) — одна из случайных повинностей при продаже цензивы.

Ми-ло (mi-lods) — случайная повинность, взимаемая при переходе цензивы к новому держателю не путем продажи, равнялась половине пошлины, вносившейся при продаже.

Раша (rachat) — пошлина, взимаемая при переходе феода по наследству к побочной линии.

Вантероль (venterolle) — налог в пользу сеньора при продаже цензивы, соответствовавший пятине.

Плед (plaid) — пошлина, вносившаяся при смене сеньора и васала.

Акапт (acapte) — единовременный налог, взимаемый в случае смерти сеньора с цензитария, а также в случае смерти цензитария с его наследников (арьер-акапт) в размере годичной ренты. — Прим. ред.

7. Дорлиак (1744—1814) — адвокат при Тулузском парламенте, член директории департамента Верхняя Гаронна, депутат Законодательного собрания. Он выступил после Латур дю Шателя в тот же день 11 апреля 1792 г.: «Opinion ... sur les droits féodaux, du 11 avril 1792». «Archives parlementaires», XLI, p. 474.

капитулярия, сделавшего должность графов наследственной и подчинившего их только праву инвеституры, от которого они вскоре избавились. Именно совершенные в дальнейшем узурпации по отношению к королевской власти и привели везде к возникновению фьефов, фьефов, подвластных другим фьефам, вассальной зависимости. Эти средства были придуманы исключительно для взаимной поддержки, которую поклялась оказывать друг другу против суверена толпа тиранов, которые впоследствии захватили земли, поработили народ и уничтожили все законы.

Они были в такой же мере деспотами и считали себя абсолютными властителями тех, чьими вожакими и покровителями были ранее, как и всего того, что входило в границы их сеньорий».

Странная философия истории! Дорлиак не рассматривает феодальную систему как определенный исторический момент в социальной эволюции. По его мнению, существовала законная власть, монархия Меровингов или Каролингов, и *узурпаторская* власть, власть сеньоров. И идея договора настолько властвует над умами юристов, что Дорлиак, по-видимому, готов признать законность феодальных повинностей, если они вытекают из договора об освобождении, если они являются ценой, на которую рабы или сервы согласились ради получения свободы. И действительно, он заключает свой длинный исторический экскурс следующими словами: «Таковы происхождение и история развития феодальных повинностей; они доказывают, насколько ложно утверждение тех, кто считает, что весь народ некогда находился в рабстве у сеньоров и получил от них земли, которыми он владеет; наоборот, из них вытекает, что большая часть взваленных на него повинностей представляет собой отвратительный плод тирании и обмана».

Возникает вопрос, неужели, по мнению Дорлиака, Франция должна была бы вечно нести бремя феодального порядка в том случае, если бы феодальные повинности являлись ценой выкупа для всего народа, некогда находившегося в рабстве.

Но каков практический вывод Дорлиака? Он заявляет, что поскольку феодальные повинности часто обязаны своим возникновением тирании и обману, то эти повинности могут быть законными только в том случае, когда сеньор докажет, что они являются ценой уступки земли.

В то время как Учредительное собрание исходило из предположения законности этих повинностей и требовало от держателя представления доказательств противного, Дорлиак, согласный в этом отношении с Феодальным комитетом, исходит из предположения незаконности этих повинностей и требует от сеньоров представить доказательства их законности. Он расходится с комитетом только в отношении характера доказательства: он гораздо менее требователен. При отсутствии первоначального титула он довольствуется «одним или двумя актами признания зависимости, подкрепленными фактом владения в течение ста лет».

Это огромная разница, ибо насколько сеньорам трудно было представить первоначальный титул, служащий доказательством уступки земли, настолько же им было легко представить один или два акта признания, вырванные их ловкими управляющими и февдистами у зависимых вассалов, причем чаще всего пользование этими правами действительно продолжалось более ста лет. Таким образом, система Дорлиака чрезвычайно облегчала доказательство для сеньора и фактически продлила бы для многих крестьян феодальный гнет. Дорлиак очень ловко изображает, будто он идет на уступки крестьянскому движению и поддерживает систему, предложенную комитетом, требуя представления доказательств от сеньора; но, по сути дела, он восстанавливает, во всяком случае очень часто, то, что он, казалось бы, упраздняет.

Он также предвидит, что вскоре попытаются добиться отмены не только случайных повинностей, но и ежегодных повинностей, ценза и шампара. И он придумывает целую замесловатую и сложную систему, которая на деле спасла бы права сеньора. Каждый сеньориальный домен, каждый фьеф были одновременно, так сказать, и должником, и кредитором. Такой-то фьеф обязан феодальным платежом своему сюзерену, но в то же время и сам он имел право взимать повинности с земель, находившихся в вассальной зависимости от него. Дорлиак предлагает, чтобы государство взяло на себя все эти обязательства и все эти права; оно заменит сеньоров при взимании повинностей, которые обязаны платить им держатели, и будет само платить сеньорам.

Таким образом, сеньоры не потеряют ни одного су из полезных прав, которыми они пользовались ранее, да и поборы с бывших держателей не уменьшатся ни на одно су. Но сеньоры будут получать эти суммы не как сеньоры, а как кредиторы государства, а держатели будут платить их не как держатели, а как должники государства. Феодальные отношения, связывавшие держателя с сеньором, будут уничтожены, и феодальную систему заменят новые юридические отношения, а именно юридические отношения буржуазного государства с его кредиторами или должниками, причем это юридическое преобразование ни в чем не изменит ни денежных выгод, которыми пользовался сеньор, ни денежных повинностей, от которых страдал крестьянин.

Статья 17 проекта Дорлиака гласила: «С этого момента (то есть после экспертизы, проведенной муниципалитетами и дистриктами), все ликвидированные таким образом права и повинности перестанут существовать и будут конвертированы в простые долги; земельные участки, упомянутые в оценках, будут объявлены свободными и освобожденными от всех феодальных или цензуальных повинностей. Все взаимоотношения между бывшими цензитариями и бывшими сеньорами будут упразднены; на Нацию будут возложены обязанности как по долгам, связанным с выплатой

[цензитариями.— *Ред.*] повинностей бывшим сеньорам, так и по правам, которые имели бывшие сеньоры, в качестве кредиторов своих бывших держателей, в связи с чем последние будут считаться обязанными вносить нации все платежи, таким образом, как это будет установлено решением директории дистрикта. Нация в свою очередь будет обязана вносить те же платежи бывшим сеньорам».

Весьма замысловатая комбинация, придуманная для того, чтобы сохранить в пользу бывших сеньоров материально-выгодные стороны феодального порядка, придав феодальным обязательствам форму современного договора. Это была, если можно так выразиться, буржуазная национализация феодального порядка, окончательное включение в рамки современного государства обязательств и повинностей, которые предусматривала феодальная система<sup>7</sup>. Дорлиак мог сказать, что в этом смысле он продолжает дело Учредительного собрания. Ибо когда оно объявило все феодальные права выкупаемыми, оно намеревалось сохранить приносимую ими выгоду, но в новой форме, заменив старые феодальные обязательства чисто денежными обязательствами. Поскольку нация вмешалась, чтобы модернизировать старые обязательства, она могла пойти дальше и взять на себя все права и обязательства, чтобы уничтожить старые личные узы между бывшими сеньорами и бывшими держателями.

На следующий день после этого невозможно было бы требовать отмены феодальных повинностей, так как феодальных отношений уже больше не существовало; пришлось бы требовать отмены долговых обязательств государству, а это было очень трудным делом.

Итак, под прикрытием современного государства и его руками бывшие сеньоры продолжали бы в течение неопределенного времени взимать повинности с крестьян. И проект Дорлиака имел в виду превратить государство к выгоде сеньоров в великого сборщика старых феодальных повинностей, крестьянских повинностей. Огромная выгода и солидная гарантия для сеньоров! Но и огромная опасность для нового государства, для революционной Франции! Ибо деревня в своем гневном поднялась бы против революционного государства, пришедшего на смену феодальным тиранам; революционная Франция унаследовала бы всю ненависть, порожденную феодальным порядком. И хотя проект Дорлиака и предусматривал возможность выкупа, крестьянам было бы так же трудно внести выкуп государству, как и своим бывшим сеньорам, и посему проект Дорлиака привел бы к постоянному антагонизму, к ежегодным конфликтам между революционным государством и крестьянами.

Должно быть, страх революционных юристов затронуть собственность или даже только породить это впечатление был очень велик, если они придумали спасти то, что считалось собствен-

ностью в феодальной системе, посредством ухищрений столь опасных и столь губительных для самой Революции<sup>8</sup>.

Законодательное собрание почувствовало опасность и не вступило на путь, который ему предлагал Дорлиак. Но оно долго не решалось одобрить проект Феодального комитета, который, как ему казалось, слишком легко жертвовал правом собственности, освященным договором или феодальным обычным правом.

Эта нерешительность особенно поражает потому, что в апреле 1792 г. Законодательное собрание объявило германскому императору войну<sup>9</sup>. Поэтому ему нужно было объединить вокруг Революции все силы, добиться всеобщей преданности, и, несомненно, именно эта мысль заставила Феодальный комитет принять упомянутое решение.

Волнения в деревне усиливались с каждым днем. Помимо отдельных документов, петиций и жалоб, опубликованных Саньяком и относящихся к апрелю и маю 1792 г., я нахожу тому решающее доказательство в речи самого Ролана, бывшего тогда министром внутренних дел<sup>10</sup>; он в еще весьма неопределенной форме и со знаменательными оговорками, но во имя общественного порядка, потребовал от Собрания, чтобы оно наконец приняло решение.

7. Нельзя не поражаться в данном случае силе анализа Жореса. Он особенно убедителен в свете других исторических примеров, в частности «отмены» феодального порядка в Японии после реставрации Мэйдзи. Реформа поземельного налога 1868—1872 гг. упразднила феодальные повинности, но на условиях возмещения: права землевладельцев (даймё) были куплены государством; в конечном счете бремя поборов пало на крестьян, обложенных новыми денежными поземельными налогами; это бремя приблизительно равнялось бремени старых повинностей натурой. Проведенная на основе таких принципов «отмена» феодального порядка была, следовательно, пустым звуком. См. глубокий анализ (поясняющий путем сравнения положение, имевшее место во Франции) в работе: Н. К. Такахаши. La place de la Révolution de Meiji dans l'histoire agraire du Japon.—«Revue historique», octobre-décembre 1953.

8. Чтобы понять значение проекта Дорлиака, необходимо, несомнен-

но, принять во внимание и политические соображения: желание предложить аристократии экономические и социальные основы для приемлемого политического компромисса. Проект Дорлиака, по-видимому, представлял собой одну из многочисленных попыток, предпринимавшихся с 1789 по 1793 г. из страха перед народными движениями, с целью положить конец Революции путем компромисса с аристократией.

9. Война была объявлена 20 апреля 1792 г. «королю Венгрии и Богемии», то есть одной лишь Австрии, а не Империи («Священной Римской империи германской нации»), в данном случае Францу II Габсбургу.

10. Ролан (1734—1793) — при старом порядке инспектор мануфактур Лионского податного округа, министр внутренних дел с 23 марта до 13 июня 1792 г. См.: E. Bernardin. Jean-Marie Roland et le ministère de l'Intérieur, 1792—1793. Paris, 1964.

«*Феодальные повинности*, — сказал он 16 апреля с трибуны Собрания, — являются другим источником беспокойства и недовольства; предмет этот законодателям всегда казался щекотливым; однако важно принять общую меру, которая охладит разгоряченные умы и, не попирая справедливости, несколько облегчит бедствия тех, кто страдает уже веками; мне не подобает что-либо указывать, но я должен напомнить о необходимости принять меры».

### КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ДЁЗИ

Но этого призыва Ролана, этого сигнала тревоги, оказалось недостаточно, чтобы преодолеть сопротивление собственнического духа, и, когда в июне состоялось третье чтение проекта, представленного комитетом, он подвергся самым ожесточенным нападкам. Принадлежавший к числу умеренных Дёзи подверг проект резкой критике, и более половины Собрания поддержало его громкими аплодисментами. Он противопоставил свою историческую систему происхождения феодализма системе комитета. По мнению Дёзи, наименование «феодализм» обнимало весьма различные институты. Имелись как бы три источника феодальных обязательств, расположенные на различной глубине.

Существовали, во-первых, пережитки древнего рабства, проявлявшиеся в правах, вытекавших из личной зависимости, которые отдавали одного человека под власть другого. Все, что проистекало из этого древнего источника рабства, должно было быть упразднено без возмещения, что и было действительно сделано Учредительным собранием. Затем имели место узурпации — такие, как право вершить суд, право патронажа и т. д., совершенные сеньором в отношении государственной власти; и, когда государственная власть восстанавливала узурпированные у нее права, это не обязывало ее к возмещению.

Наконец, существовали обязательства, вытекавшие из договора; существовали феодальные права, представлявшие собой результат первоначальной земельной уступки, и как можно было бы их отменить, не затронув самой собственности, столь же священной в этой форме, как и во всякой другой?

Впрочем, Дёзи доказывал, что сеньоры узурпировали не только феодальные права, но саму земельную собственность, как таковую, и спрашивал Собрание, хватит ли у него смелости отменить само право собственности на эти земли. «Если бы, следовательно, вместе с комитетом надо было заявить, что порочность первоначального происхождения этого права настоятельно требует его уничтожения даже тогда, когда существующие законы всегда рассматривали его как право собственности; если бы, говорю я, надо было принять этот неконституционный и разрушительный для всякого общества принцип, то для того, чтобы быть

последовательным и дать ему справедливое применение в соответствии с фактами, надо было бы сделать из него вывод не только об упразднении постоянных и случайных повинностей, но одновременно следовало бы добавить к нему уничтожение права собственности на наследственные владения, по крайней мере если будет доказано, что эти владения принадлежат к числу первоначально узурпированных сеньорами.

Эти двойкие последствия неизбежно неотделимы одно от другого, поскольку оба они проистекают из одного источника. Конечно, столь возмутительные притязания были бы странным забвением принципов и к тому же привели бы прямо к аграрному закону. Я убежден, что не найдется смельчака, который когда-нибудь внесет подобное предложение».

Дёзи прибавил, что, во всяком случае, феодальная собственность гарантирована давностью, что с ней связаны бесчисленные сделки и договоры, заключенные под сенью законов, и что ее нельзя отменить, не поколебав всей социальной системы. «И вы думаете, господа, что под предлогом поисков возникновения права, восходя к отдаленным и смутным временам, вам будет дозволено ныне уничтожить действие стольких договоров, на которых покоится состояние множества граждан? Пагубным результатом подобной несправедливости были бы тревога и горе, пришедшие во многие семьи, и полное разорение многих из них, и я мог бы привести вам немало примеров, когда все унаследованное имущество состояло из доходов, получаемых исключительно от постоянных и случайных повинностей. Да, господа, ваша честность убеждает меня в том, что вы поспешите отвергнуть столь возмутительную меру. Осмелюсь даже сказать, что она превышает ваши полномочия».

И в самом деле, во все времена и при всех обстоятельствах нация, сама по себе или в лице своих представителей, специальных уполномоченных, несомненно, имеет неотъемлемое право изменять форму своего правления и отменять все политические законы, регулирующие его различные сферы; но распространить эти права на гражданские законы, определяющие частную собственность, значило бы ниспровергнуть основные принципы общественного договора. Ибо тогда собственность приобрела бы иллюзорный характер, поскольку зависела бы от революций, периодически возникающих в стране, а известно, что прочность и безопасность и сохранение собственности являются одной из главных основ всякого политического общества»<sup>11</sup>.

11. См. статью 2 Декларации прав человека 1789 г.: «Целью любого политического сообщества является сохранение естественных и неотъемлемых прав человека. Эти права суть: свобода, соб-

ственность, безопасность и сопротивление угнетению». 24 апреля 1793 г. Максимилиан Робеспьер предложил совершенно иное определение: «Собственность есть право каждого человека,

Собрание было глубоко взволновано этим призывом Дёзи к высшему праву собственности, и, сказать правду, принадлежащим к буржуазии революционерам трудно было ему возразить. В сущности, был возможен лишь один достойный ответ: «Да, всякая собственность непрочна; да, всякая собственность представляет собой переходную форму социальной деятельности; но та или иная форма собственности может быть отменена только потому, что она пришла в противоречие с новыми потребностями общества; феодальная форма собственности ныне устарела и опасна, и поэтому мы ее упраздняем; наши потомки в свою очередь упразднят те формы собственности, которые ныне кажутся нам законными, если общее изменение социальных условий сделает эти формы собственности вредными».

Но сказать так значило бы считать буржуазную собственность порождением времени, значило бы швырнуть буржуазное право в волны исторического потока, а они хотели превратить его в извечно существующую, неизблемую скалу. Поэтому они скорее обходили возражения Дези, чем отвечали на них.

Майль оказался тем человеком, который осмелился наиболее ясно заявить, что, в сущности, именно в политических интересах, в интересах Революции феодальные повинности должны быть отменены без возмещения<sup>12</sup>. 9 июня, за три дня до большой речи Дези, направленной на их сохранение, он пытался исторически доказать феодальную «узурпацию». И наконец, он сказал в заключение: «Бывшие сеньоры, несомненно, будут жаловаться, но на что только они не жалуются?»

*Оправданием вам послужат благословения девяноста девяти сотых людей нашего поколения и благословения будущих поколений... Отмена без возмещения всех повинностей — это тот камень, которого недостает в фундаменте Революции... Когда нация сделает для своих членов все, что повелевает справедливость, то они поспешат сделать все, что потребуют интересы отечества; они с готовностью пойдут на все жертвы ради свободы, которая уже является моральной потребностью для просвещенных граждан и которую вы сделаете физической потребностью для всех французов».*

Тут собственность явно подчинена свободе, и мы видим зарождение того, что станет социальной концепцией Конвента: теории общественного спасения в применении к собственности, как и ко всему вообще. Но это внушало страх.

## ПРИЗРАК «АГРАРНОГО ЗАКОНА»

И 12 июня Луве несколько не успокоил Собрание, довольно подробно изложив ему эту теорию<sup>1</sup>.

«Что произойдет, господа, если эти повинности, которые хотят сохранить и которые поистине являются началом всех отделенных от них феодальных прерогатив, не смогут быть вскоре выкуплены? Они сохранили бы за классом, привыкшим господствовать, определенное влияние на тех, с кого бы они взымались, и влияние это не замедлило бы внести разложение в нашу избирательную систему, в наше представительное правление и превратилось бы в несомненное препятствие для Революции.

*Господа, знаменитые авторы политических сочинений говорили, что тот, кто владел землей, вскоре владел и людьми, что граждане не могли быть свободными, когда их собственность была порабощена...*

*Я, конечно, далек от мысли, что наступит момент, когда состояния смогут быть уравнены и равенство это сохранится; я далек от идеи мнимого раздела, о котором много говорят, но в который никто всерьез не верит и который здравомыслящему человеку никогда не придет в голову предложить или одобрить.*

пользоваться и распоряжаться той долей имущества, которая гарантирована ему законом». [См.: М. Робеспьер. Избранные произведения. Т. II, с. 320.]

12. Майль (1754—1834) — законовед в Тулузе, затем генеральный прокурор-синдик при директории департамента Верхняя Гаронна, депутат Законодательного

собрания, а затем депутат Конвента.

1. Луве (1757—1818) — адвокат, судья в трибунале Мондидьё, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Сомма. См.: «Opinion ... sur la question relative aux droits féodaux, casuels, prononcée ... le 12 juin 1792». Paris, s d ; BN, 8° Le<sup>833</sup> Q 6, imp. in-8°, 16 p.

Но я обращаюсь здесь к законодателям, обращаюсь к друзьям свободы и Революции, и на этом основании, как мне кажется, мне дозволено умолять вас, господа, принять во внимание, что у политического равенства и Конституции нет больших врагов, чем крайнее неравенство состояний, и что, быть может, первопричина установившегося во Франции неравенства состоит в феодальном порядке...»

Многие депутаты резко выражали свои опасения. Депутат департамента Верхняя Марна Анри воскликнул 14 июня<sup>2</sup>: «Чтобы добиться упразднения этих прав без возмещения, с этой трибуны утверждали, что политическое равенство исключает неравенство, чрезмерность состояний. Эта грабительская идея, которая кажется искрой, рожденной анархической системой аграрного раздела, эта идея, внушающая тревогу всем собственникам и ниспровергающая всякую социальную систему, будет задушена в зародыше.

Вы справедливо рассудите, что ей нельзя придавать никакого значения, так как вам известно, что неравенство личных состояний происходит от неравенства в ведении отдельных хозяйств, от интенсивности и постоянства повседневных работ, от готовности к лишениям, от промышленной и торговой деятельности, которые замерли бы под гнетом невыносимой, грубой и невозможной тирании системы равенства состояний».

Какая примечательная связь! Буржуазия не может установить верховной власти нации и ее контроля над общественными делами, не столкнувшись с прежними привилегированными классами; она не может их победить, не экспроприировав их хотя бы частично, но она не может экспроприировать их, не поставив под угрозу собственность, как таковую; и вот уже Луве бьет в своей речи по «чрезмерности» состояний, всех состояний, и вот уже с 1792 г. буржуазная собственность вынуждена защищаться от буржуазной Революции посредством тех же доводов, которые позже Бастиа выдвинет против коммунистов<sup>3</sup>.

В том же заседании очень резко выразил свои опасения Прувёр<sup>4</sup>: «Если право собственности будет однажды нарушено, то я хотел бы, чтобы мне сказали, где тот предел, на котором остановится общественное мнение. Руссо сказал: «Человек, первым построивший забор вокруг участка земли и сказавший: «Это мое!», был первым основателем общества»<sup>5</sup>. Что же! Я тоже говорю: человек, который сегодня первым разрушил бы барьеры, определяющие гражданскую собственность, был бы разрушителем всякой собственности. Скажу больше: слово «собственность», значение, придаваемое этому слову, — это свод того великого здания, которое объединяет 24 миллиона человек в нацию; поколебать этот свод, и здание рухнет. Нации больше не будет, а будут отдельные люди. Не развиваю дальше эту мысль; каждый может сделать выводы сам; она достаточно ясна, чтобы дать ответ на то, что вчера говорилось о неравенстве состояний. Что касается меня, то я знаю,

что если бы до сего времени я колебался в своем мнении, то после того, как было бы высказано только что приведенное мной возражение, я больше не испытывал бы неуверенности».

Отметим, что в Законодательном собрании уже нет представителей сословий и фактически нет уже дворян. Итак, это чисто буржуазное собрание, охваченное страхом перед последствиями, какие могло бы иметь первое посягательство на собственность, даже в ее феодальной форме. Те, чьи интересы были задеты, пришли в большое волнение. Все те, дворяне или буржуа (а последние были многочисленны), кто владел феодальными правами, стали издавать множество брошюр, предпринимать различные шаги.

В своей речи Луве рисует любопытную картину всей этой деятельности собственников: «Мне известно, господа, что интриганы и лично заинтересованные люди, беспрепятственно снующие вокруг этого зала, ничем не пренебрегли, чтобы эта дискуссия сложилась неблагоприятно для мнения, кое я поддерживаю: анонимные листки, неоднократно распространявшиеся у дверей этого зала; оскорбительные для вашего комитета замечания; письма о состоянии финансов, присланные председателю Комитета финансов; даже петиции, подаваемые у этого барьера то якобы людьми, платящими случайные повинности, которых заставили требовать сохранения этих прав, то якобы кредиторами владельцев этих прав, — все было пушено в ход, чтобы внушить вам предубеждение против проекта декрета комитета».

Точно так же как Сиейес, стремясь не допустить отмены десятины, заявлял, что эта отмена будет выгодна главным образом богатым собственникам, так и умеренные, стремившиеся сохранить феодальные повинности, изображали дело так, будто их отмена

2. Анри (1762—1850) — командир национальной гвардии Бурмона, депутат Законодательного собрания от департамента Верхняя Марна. «Moniteur», XII, 663.

3. Бастиа (1801—1850) — экономист и политический деятель, пылкий сторонник свободы торговли («Cobden et la Ligue»); депутат Учредительного собрания 1848 г., а затем Законодательного собрания, боролся с социалистическими идеями с той же страстью, с какой обличал протекционизм. Бастиа, бывший одним из главных представителей либеральной школы, оставил незаконченным свой большой труд — «Les Harmonies économiques».

4. Прувёр (1759—1843) — член совета эшевенов (conseiller-pensionnaire) Валапсьенна и член Штатов

провинции Энн при старом порядке, в 1790 г. судья в трибунале Валапсьеннского дистрикта, депутат Законодательного собрания от департамента Нор; «Opinion ... sur la suppression, sans indemnité, des droits féodaux casuels» [séance du 14 juin 1792], Paris, s. d.; BN, 8° Le<sup>33</sup> 3 Q 8, imp. in-8°, 14 p.; «Moniteur», XII, 661.

5. «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!» и нашел людей, достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества». [См.: Ж.-Ж. Руссо. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. — Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. М., 1969, с. 72.]

будет выгодна крупным землевладельцам, чьи земли обременены довольно тяжелыми повинностями. Гоёе ответил на этот довод<sup>6</sup>: «Послушать их, так именно та часть народа, облегчение участи которой постоянно должно занимать ваше внимание, единственная ничего не выиграла бы от отмены, о которой идет речь. Эта отмена была бы выгодна только богатым покупателям, только крупным собственникам; однако, в явном противоречии с этим, возражая против требуемой отмены, ссылаются именно на титулы этих богатых покупателей, этих крупных собственников. Так, чтобы провалить проект Феодального комитета, одновременно допускают и то, что он приведет к обогащению крупных собственников, и то, что он приведет к их разорению, в зависимости от того, хотят ли доказать, что проект несправедлив, или сделать равнодушными к нему именно тех, кто заинтересован в нем. Если бы казуальные (случайные) повинности платили только владельцы земель, превращенных в фьефы, то тогда с некоторым основанием можно было бы говорить, что вопрос, о котором идет речь, не касается той драгоценной части народа, коя слишком долго почти одна несла бремя налогов всякого рода. Но в тиранической иерархии феодального правления все, наоборот, было устроено таким образом, что сеньор фьефа не платил вышестоящему сеньору никакой дани, которую он с избытком не возмещал бы себе за счет вассалов; последние в свою очередь перекладывали ее на своих вассалов, если принадлежавшая им земля тоже была пожалована на условиях ленного владения, так что и ныне эта цепь угнетения действительно душист только тех, в чьих руках нет ни одного из ее звеньев».

Собрание приступило к голосованию лишь к концу заседания 14 июня, ибо борьба была очень беспорядочной. Один из умеренных, Дюмолар, предложил поправку, которая отчасти спасла бы феодальную собственность<sup>7</sup>: «Бывший сеньор может заменить представление первоначального титула о земельной уступке тремя актами признания, ссылающимися на указанный титул и подтвержденными общеизвестным, бесспорным владением в течение 40 лет»<sup>8</sup>.

Левая потребовала обсуждения вопроса о целесообразности рассмотрения этой поправки. При голосовании возникли сомнения, и потребовали поименного голосования. При поименном голосовании было решено 273 голосами против 227 обсудить поправку Дюмолара. Это была победа умеренных. В самом деле, можно было предполагать, что то же большинство, которым было решено обсуждение поправки, примет ее и по существу. Но умеренные лишились победы в результате весьма странного маневра. Потому ли, что их утомило долгое заседание, или, скорее, потому, что они, достигнув этой первой победы, хотели иметь время, чтобы упрочить ее, они потребовали закрытия заседания. Левая возражала против этого, и умеренные, желая заставить предсе-

дателя прекратить заседание, покинули зал, настолько в этом буржуазном собрании сильна была забота о защите собственности, даже в ее феодальной форме!

Но левую не смутил этот уход, обеспечивавший ей большинство: она продолжала заседание. Немногие умеренные, оставшиеся на своих местах, тщетно кричали: «Они вырвут этот декрет!» Тщетно Юа протестовал против голосования<sup>9</sup>: «Собрание только что постановило поименным голосованием уместность обсуждения поправки г-на Дюмолара. Я говорю о том, что ясно для всех, а именно: большинство высказавших свое мнение при поименном голосовании (*сильный шум на скамьях*)... когда речь идет о голосовании по существу, можно предположить, что те, кто голосовал за обсуждение поправки, голосовали бы за ее принятие. Что же получается, теперь, когда они ушли, хотят добиться принятия этого декрета? Я утверждаю, что в таком случае между первым голосованием и постановлением Собрания было бы чудовищное противоречие. Я требую, чтобы прения продолжались завтра в 9 часов на утреннем заседании».

Делакруа решительно возразил ему<sup>10</sup>: «Я против этого предложения. Собрание издало закон, направленный против общественных должностных лиц, покидающих свой пост. Здесь выступают в защиту противников декрета, ушедших, чтобы уклониться от выполнения своего долга. (*Аплодисменты на трибунах.*) Собрание не пожелало прекратить заседание; для вынесения решения достаточно присутствия двухсот его членов, а нас больше двухсот».

Собрание действительно голосовало и приняло следующий декрет:

«Национальное собрание декретирует, что все случайные феодальные права, относительно которых не будет доказано посредством первоначальных титулов, что они являются ценой земельных уступок, отменяются без возмещения»<sup>11</sup>.

В протоколе было отмечено, что в момент голосования «скамьи левой были заполнены, а остальные — почти пусты». Любопытная вещь: ночью 4 августа, хотя в Учредительном собрании присутствовали представители дворянского сословия, отмена в прин-

6. Гоёе (1746—1830) — адвокат при парламенте Бретани, депутат Законодательного собрания от департамента Иль и Вилан, в 1793 г. министр юстиции.

7. Дюмолар (1766—1819) — юрист в Гренобле, депутат Законодательного собрания от департамента Изер.

8. «Moniteur», XII, 663.

9. Юа (1759—1836) — адвокат при Парижском парламенте, в 1790 г.

судья трибунала Манты, депутат Законодательного собрания от департамента Сена и Уаза.

10. Делакруа (1754—1794) — адвокат, генеральный прокурор-синдик директории департамента Эр и Луар, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента; гильотинирован вместе с Дантоном.

11. «Moniteur», XII, 664.



ципе феодального порядка была провозглашена единогласно. А в исключительно буржуазном по своему составу Законодательном собрании едва набралось большинство для отмены на деле части феодальных повинностей. Дело в том, что ночью 4 августа речь шла о провозглашении принципа, а 14 июня 1792 г. о том, чтобы нанести чувствительный удар реальным интересам.

Среди споров подобного рода, среди криков ужаса, испускаемых частью умеренной буржуазии, начала распространяться мысль, что Революция способна в один прекрасный день предложить «аграрный закон», раздел земли поровну между всеми гражданами<sup>12</sup>. Враги Революции пытались запугать этим всех землевладельцев, и вполне вероятно, что они черпали свою аргументацию из дебатов о феодальной собственности. 14 июня, после вотирования декрета, отменявшего без возмещения феодальные случайные повинности, Шерон-Лабрюйер<sup>13</sup> попросил слова и предложил принять дополнительную статью. Он сказал: *«Нельзя не признать, что многие земельные владения были узурпированы. Я требую, в развитие декретированного принципа, чтобы все земельные владения, на которые не будут представлены первоначальные титулы, были объявлены национальными имуществами»*. Собрание не приняло никакого решения, несомненно испугавшись толков, которые вызвало бы обсуждение подобного дополнения.

17 и 18 июня Собрание закончило голосование статей проекта, предложенного комитетом: умеренные, после неудачи своего маневра 14 июня, не осмелились возобновить сопротивление. Но отмена феодального порядка была еще далеко не полной. Речь шла пока только о случайных правах. Новые и очень смелые шаги будут предприняты после революции 10 августа. Поэтому мы вернемся к вопросу о феодальных повинностях, к крестьянскому вопросу при описании дальнейших революционных событий<sup>14</sup>.

Если я в первую очередь остановился на этом вопросе, то я сделал это потому, что, ввиду отсутствия избирательных наказов, хотел сразу выяснить, что думали крестьяне. Очевидно, натиск крестьян вместе с волнениями в городах и неумолимой логикой событий и привели к тому, что революционная власть от умеренных перешла к демократам.

## Глава вторая

### ВОЙНА ИЛИ МИР

#### ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ И НАЧАЛО ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Законодательное собрание было довольно непоследовательным и нерешительным. Почти все его члены обладали некоторым революционным опытом. Не менее девятнадцати депутатов из каждых двадцати были выборными должностными лицами Революции: мэрами, мировыми судьями, членами администрации департаментов или дистриктов, прокурорами-синдиками, членами департаментских директорий. На их глазах, под их контролем осуществлялись великие революционные меры, продажа национальных

12. Одно название «аграрный закон», заимствованное из римской истории, внушало ужас деятелям буржуазной революции. Об использовании этого выражения и о превращениях его судьбы в ходе Революции см.: F. Brunot. Histoire de la langue française ... Т. IX: «La Révolution et l'Empire», deuxième partie, p. 706.

13. Шерон-Лабрюйер (1758—1807)— литератор, в 1790 г. член директории департамента Сена и Уаза, депутат Законодательного собрания.

14. Деятельность Законодательного собрания была важным этапом в упразднении феодального порядка. Оно выступило главным

образом против реальных (вещных) повинностей; оно уже не презюмирует безусловно их законности; представить доказательство должен уже не должник, а кредитор в виде первоначального титула; таким образом, представление титула, бывшее невозможным для должника, становится теперь невозможным и для кредитора, так как очень многие весьма старинные первоначальные титулы были сожжены или утеряны. Это были первые и весьма важные меры, направленные против решения этого вопроса Учредительным собранием (декреты Законодательного собрания от 18 июля, 20 и 25 августа 1792 г.).

имуществ. Им довелось близко познакомиться также и с кознями контрреволюционеров, интригами дворянства, мятежами неприягнувших священников. И они были, следовательно, всей душой преданы новому порядку и осведомлены о грозивших ему опасностях<sup>1</sup>.

Но у них не было никакой четкой, определенной политики. Многие из них были избраны под впечатлением июньских событий 1791 г. Они видели отчаянные усилия Учредительного собрания объединиться вокруг монархии, и попытка вступить на иной путь казалась им невозможной. Кровавые события на Марсовом поле, ответственность за которые возлагалась на демократов, тоже повлияли на выборы<sup>2</sup>.

В Париже одержали верх умеренные. Дантон потерпел поражение, а Бриссо был избран с большим трудом после того, как в десятке случаев голосование оказалось не в его пользу<sup>3</sup>. Но Париж, при выборах в Законодательное собрание отдавший предпочтение феианам, на муниципальных выборах отдал большинство голосов якобинцам и даже кордельерам. Мэром Парижа был избран Петтион, соперником которого на выборах был Лафайет, а заместителем прокурора Коммуны — Дантон<sup>4</sup>. Чувствовалась неуверенность и нерешительность. И о Законодательном собрании, по-видимому, можно было сказать то же, что Демулен сказал 21 октября 1792 г. о самой конституции<sup>5</sup>: «Находясь между государством народным и государством деспотическим, как колесо Иксиона \* между двумя крутыми обрывами, при малейшем наклоне она должна была устремиться либо в одну, либо в другую сторону».

Укрепит ли Законодательное собрание королевскую власть? Расширит ли оно, напротив, демократию? На первых порах оно, казалось, испытывало к королевской власти некоторое недоверие и даже проявляло, если можно так выразиться, провинциальную обидчивость. Газеты, издававшиеся двором, высмеивали новых законодателей, явившихся «в бабьих сапогах на деревянной подошве и с зонтиками». Они давали понять новому Собранию, что полное отсутствие в нем аристократии делало его почти смешным. Законодательное собрание имело слабость болезненно реагировать на эти уколы и старалось обрести, о чем говорили все его ораторы, «величественный вид», «величественный образ действий».

Но вместо того чтобы обрести этот «величественный образ действий» в твердости своих законов, в силе и последовательности своих декретов, оно прежде всего занялось пустяковыми вопросами этикета. Собравшись 1 октября, оно на одном из своих первых заседаний отменило церемониал, установленный Учредительным собранием для взаимоотношений Собрания с королем. Оно постановило, что короля больше не будут титуловать «Ваше Величество», так как величеств только два: величество народ и величество бог. Оно постановило, что король больше не будет сидеть в золо-

ченом кресле, более высоком, чем кресло председателя, а в совершенно таком же кресле<sup>6</sup>.

Но так как на следующий день после принятия этих довольно ребяческих декретов среди парижской буржуазии возникло доволь-

1. Точных исследований о социальном происхождении и политических взглядах каждого из 745 депутатов Законодательного собрания не существует. Список их имеется в работе: A. K u s c i n s k i. Les députés à l'Assemblée législative de 1791. Paris, 1900. Правая насчитывала 264 депутата, причислявших себя к феианам; будущи конституционными монархистами, они делились на две группы: *ламетисты* были сторонниками лозунгов триумвирата — Барнава, Дюпора и Ламета; *фейетисты* черпали вдохновение у Лафайета. Левую образовали 136 депутатов; как правило, это были члены Якобинского клуба; она находилась под влиянием Бриссо, давшего этой группировке свое имя (*бриссотинцы*), и под влиянием блестящих ораторов, избранных от департамента Жиронда (отсюда наименование *жирондисты*, популяризации которых способствовал пятьдесят лет спустя Ламартин). Центр состоял из аморфной массы в 345 депутатов — *независимых*, или *конституционалистов*.
  2. Выборщики были избраны в июне 1791 г. первичными собраниями; депутаты были избраны собраниями выборщиков в период с 29 августа по 5 сентября 1791 г., то есть после избития на Марсовом поле (17 июля), в возбужденной атмосфере, вызванной Пильницкой декларацией (27 августа).
  3. Бриссо (1754—1793) был избран двенадцатым из 24 депутатов от Парижского департамента. Среди этих, в основном умеренных депутатов отметим, однако, Кондорсе, неперменного секретаря Академии наук. Единственной удовлетворительной биографией Бриссо все еще остается работа: Miss E. E l l e r y. Brissot. Cambridge, Mass., 1915.
  4. Двор способствовал провалу кандидатуры Лафайета на пост мэра Парижа, взамен подавшего в отставку Байи; 16 ноября 1791 г. на этот пост был избран якобинец Петтион. Король и королева были довольны таким результатом. «Даже из чрезмерного зла, — писала Мария Ангуанетта 25 ноября, — мы сможем извлечь пользу скорее, чем это кажется». Это было осуществлением на практике политики «чем хуже, тем лучше».
  5. Из приблизительно 82 тыс. выборщиков, внесенных в списки, голосовало всего 10 632 человека. Петтион получил 6728 голосов, Лафайет — около 3100. 30 ноября 1791 г. прокурором Коммуны был избран Манюэль. 5 декабря заместителем прокурора 1162 голосами против 654, отданных за Колю д'Эрбуа, был избран Дантон. См.: «Actes de la Commune de Paris», publiés par S. Lacroix et R. Farge, 2<sup>e</sup> série, t. VIII, Paris, 1914, p. 210, 370.
  6. Лучшей биографией Камилля Демулена (1760—1794) остается биография, написанная J. C l a g e t i e. Camille Desmoullins, Lucile Desmoullins... Paris, 1908.
- \* Царь лапифов, оскорбивший богиню Геру и в наказание за это прикованный к огненному колесу среди змей в подземном царстве. — *Прим. ред.*
6. «Статья III. У председательского бюро на одной линии будут стоять два одинаковых кресла: кресло, стоящее по левую руку от председателя, будет предназначено для короля.
- Статья IV. В том случае, когда председателю или любому другому члену Собрания будет предварительно поручено Собранием обратиться к королю, он в соответствии с Конституцией будет титуловать его не иначе как *королем*

но сильное волнение, так как бывшие депутаты Учредительного собрания негодовали и сокрушались, а курс акций на бирже внезапно упал ввиду возможного конфликта между Законодательным собранием и королем, то Собрание, несколько растерявшись, отменило свой декрет. Неистовым депутатам Жиронды, сначала увлекшим Законодательное собрание на путь этих немного ребяческих демонстраций, пришлось бить отбой<sup>7</sup>.

Собрание избрало своим председателем Пасторе, принадлежавшего к умеренным<sup>8</sup>; он встретил короля цветистой речью, изобиловавшей словами «Его Величество», и дошел до того, что сказал королю: «Мы испытываем потребность любить своего короля»<sup>9</sup>. То принимая напыщенный вид, то умиляясь, Законодательное собрание в эти первые дни отнюдь не обрело того «величественного образа действий», к какому оно стремилось. Оно придумало также придать театральную пышность присяге в верности, которую должны были принести все члены Законодательного собрания<sup>10</sup>. Оно декретировало, что его депутация направится в Архив за экземпляром конституции.

За священным текстом конституции отправились старейшие по возрасту депутаты. Когда они возвратились в зал Собрания, то все встали, как при религиозной церемонии. Пронесли священный ковчег. Самые пылкие предложили, чтобы, пока конституция пребывает в стенах Собрания, депутатам не разрешалось выступать, так же как они не выступали в присутствии короля. Перед святыми дарами Революции подобало хранить молчание<sup>11</sup>.

Собрание не дошло до проявления такого несколько смехотворного мистицизма. Но посыпались самые странные предложения. Принося присягу, депутаты должны были *все время* держать руку на тексте конституции; прервать на секунду соприкосновение с ним значило бы лишить присягу силы.

Некоторые предлагали, чтобы формула присяги в верности конституции, нации, закону, королю была написана крупными буквами на плакате и чтобы этот плакат висел над трибуной в Собрании..

Так Законодательное собрание хотело придать своим заседаниям какую-то торжественность, и умеренные пытались превратить Конституцию 1791 г., столь монархическую, в своего рода священную книгу.

Но вскоре значительные трудности, требовавшие безотлагательного решения, заставили Законодательное собрание отказаться от этих ребяческих церемоний и сосредоточить свое внимание на опасности. Сначала оно получило два дурных известия — одно из Авиньона, другое из Сан-Доминго.

В Авиньоне фанатически настроенная католическая чернь убила в церкви секретаря мэрии патриота Лескюйе. Патриоты требовали отмщения, но совершили ошибку, оставив руководство

в руках бандита Журдана-Головореза. Последний с помощью обезумевших от гнева и крови людей устроил в Гласьере<sup>12</sup> ужасающую бойню.

В Сан-Доминго мулаты и негры, пришедшие в отчаяние от разочаровавшей их политики Учредительного собрания, подняли восстание и целую ночь жгли, грабили и убивали.

Но сколь ни были горестны и кровопролитны эти события, Революция не приняла их, так сказать, близко к сердцу. Восстание в колониях произошло далеко; Конта-Венессен была лишь недавно присоединена к Франции. Гораздо более тревожным, если не более печальным, было то, что повсюду пришли в движение контрреволюционеры, вновь ожили их надежды. Эмигранты, собиравшиеся небольшими отрядами у границ, сеяли смуту и вели себя вызывающе; в самой Франции неприсягнувшие священники возбуждали умы, и первые очаги гражданской войны, особенно в Вандее, запылали.

Но хотя всюду возникали трудности и даже опасности, мощь Революции оставалась по-прежнему огромной, и Законодатель-

*французов*. «Moniteur», X, 40, заседание 5 октября 1791 г.

Кутон выступил против употребления слов «Ваше Величество», «будто есть иное величество, кроме его величества закона и его величества народа», а также и слова «сир», «которое на старейший лад означает *монсеньёр*». «Moniteur», X, 39.

7. После бурных дебатов «Собрание решило огромным большинством, что декрет [принятый вчера] будет отменен». «Moniteur», X, 50, заседание 6 октября 1791 г.

8. Пасторе (1755—1840) — адвокат при Парижском парламенте, в 1791 г. генеральный прокурор-синдик Парижского департамента, депутат Законодательного собрания, избран председателем 3 октября 1791 г. при третьем туре голосования 263 голосами из 419. «Moniteur», X, 26.

9. «Вы нуждаетесь в любви французов, говорили Вы несколько дней назад в этом храме закона; и мы, Сир, мы тоже нуждаемся в вашей любви». «Moniteur», X, 57, заседание 7 октября 1791 г.

10. «Национальное собрание заявляет, что в соответствии с Конституционным актом присяга будет приноситься индивидуально

и будет зачитываться ее полный текст». «Moniteur», X, 32, заседание 4 октября 1791 г.

11. «Двенадцать комиссаров, сопровождаемые служителями Собрания и подразделением национальных гвардейцев и жандармов, входят в зал... Архивариус г-н Камю несет Конституционный акт. Все члены Собрания стоят с непокрытыми головами». «Moniteur», X, 32, заседание 4 октября 1791 г.

12. Лескюйе (1747—1791) — нотариус, был убит в Авиньоне 16 октября 1791 г. Патриоты отомстили за это убийство, устроив избяение в Гласьере 16 и 17 октября: более ста человек по приказу командира национальной гвардии Журдана было сброшено в колодезь башни Гласьер папского дворца. Бывший мясник, затем кузнец и, наконец, солдат, Журдан стал командиром волонтеров Воклюза. Арестованный за Гласьерское дело, он был обязан своим спасением мартовской амнистии 1792 г. В 1793 г. Журдан был начальником жандармов в Воклюзе. Арестованный и приговоренный к смертной казни за свои злодеяния, он был гильотинирован 8 прерияля II г.

ному собранию было бы достаточно проводить твердую и хладнокровную политику, чтобы обеспечить функционирование революционного порядка. Но именно хладнокровия и не хватало этому неопытному и непоследовательному в своих решениях собранию. Все приводило его в замешательство. Прежде всего оживлению надежд врагов Революции способствовал уход со сцены Учредительного собрания, великого Собрания, которое так часто — и 20 июня, и 14 июля 1789 г., и 21 июня 1791 г. — спасало Революцию.

Врагам свободы казалось, что победившей их огромной революционной силы уже более нет и что многое должно измениться.

Бессилие самого Учредительного собрания после Варенна, его своего рода суеверная покорность королевской власти, множась провокации и предательства, внушило мысль, что монархия неприкосновенна, что она одна была прочной и нерушимой силой и что можно, ничем не рискуя, сплотиться вокруг нее.

Преследования, которым после событий на Марсовом поле подверглись самые пылкие патриоты, даже в собраниях выборщиков, подобно Дантону, еще более усилили самонадеянность реакционеров, их дух сарказма и подстрекательства.

Казалось, настал час, когда Революция, утомленная и как бы испуганная своим собственным порывом, перестала наносить удары своим врагам и наносила удары самой себе.

Проявив осторожность и последовательность, Законодательное собрание позволило бы революционной энергии вновь окрепнуть. Но Законодательное собрание, не имевшее ни прошлого, ни престижа, не верило в свои силы и сразу решило, что ему следует кричать очень громко и делать угрожающие жесты, чтобы заставить себя бояться. Молодые, блестящие, страстные ораторы, которых было в нем немало, такие, как Гранженев, Инар, Гюаде и даже Верньо, находившие удовольствие в ораторских поединках, придавали ему необузданный, лихорадочный и немного искусственный пыл и своего рода внешний фанатизм<sup>13</sup>. Собрание беспрерывно колебалось между головокружительными предложениями жирондистов и подававшимися не без задней мысли советами фейянов соблюдать немощную умеренность и не было последовательным ни в умеренности, ни в проявлении силы.

Все Собрание носило черты чего-то поверхностного и искусственного. Оно не было носителем сильной, здоровой и честной мысли народа, отстраненного от участия в выборах законом о пассивных гражданах. С другой стороны, правящая буржуазия, сильно растерявшаяся и разделенная после Варенна, дала ему лишь весьма неясные и неопределенные полномочия. Поэтому оно как бы висело в пустоте, будучи во власти переменчивых веяний, случайных предложений или искусных интриг. И у ловких людей, у тех, кто считал себя «государственными людьми», естественно,

должен был возникнуть соблазн отнестись к этому непредусмотрительному Собранию с известным презрением и повести его, не приводя достаточных обоснований, к целям, которые они ему открывали лишь наполовину.

Именно таким образом на одном заседании Бриссо в своей речи внезапно поднял вопрос о войне. Но вопрос этот был отчасти надуманным и маскировал намерения, в которых не признавались.

13 Левая Законодательного собрания подверглась воздействию новых людей, влияние которых было решающим вплоть до июня 1792 г. В первую очередь следует назвать депутата от Парижа Бриссо и следующих депутатов от департамента Жиронда: Жансонне (1758—1793), адвоката, в 1790 г. прокурора коммуны Бор-

до; Гранженева (1751—1793), адвоката, в 1790 г. заместителя прокурора коммуны Бордо; Гюаде (1758—1794), адвоката, в 1790 г. председателя уголовного трибунала департамента Жиронда; Верньо (1753—1793), адвоката; Инар (1751—1825), торговец из Драгиньяна, был депутатом от департамента Вар.

## ИНИЦИАТИВА БРИССО

20 октября 1791 г. в связи с дебатами об эмигрантах на трибуне появился Бриссо. Его встретили громкими аплодисментами прежде, чем он заговорил. Очевидно, посвященные знали, какой удар собирается он нанести, какой «сверкающий молниями» горизонт он намерен открыть; и еще раньше, чем театральный машинист установил декорации, они воодушевляли, настраивали Собрание.

Бриссо начал с заявления, что было бы несправедливо и бесполезно бить без разбора по всей темной массе эмигрантов; следует потребовать возвращения вождей эмиграции, должностных лиц, покинувших свои посты, принцев—братьев короля, а в случае неповиновения надо лишить их титулов и прав.

Бриссо льстит себя надеждой остановить таким образом эмиграцию и нанести удар по главарям контрреволюции.

Нелепая претензия! Ибо французские принцы, решившиеся на смертельную войну против Революции, презирали все декреты о лишении прав и конфискации; какое им было дело до декретов «бунтовщиков»? А что касается их имуществ, то они частично их уже продали, а победив, без труда вернут обратно.

Однако Бриссо так воодушевлен этой мыслью, словно она заключает в себе смелый взгляд и решающее средство спасения:

«Господа, вы должны подняться на высоту Революции. Вы должны заставить мятежников, и особенно их главарей, уважать Конституцию, или же она падет, сраженная презрением. Уничтожению обречено одно из двух: либо дворянство, либо Конституция. Выбирайте. (*Громкие аплодисменты.*) О вас будут судить по этому декрету. Вас они считают робкими, страшацимися мысли нанести удар по людям, которых пощадило предыдущее Собрание. Пусть они наконец узнают, что вам ведом секрет вашей силы...

Не опасаетесь ли вы оказаться неосторожными, нанеся этот удар? Именно осторожность повелевает вам его нанести. Все ваши беды, все несчастья, тяготеющие над Францией, анархия, которую непрерывно сеют недовольные, исчезновение звонкой монеты, продолжающаяся эмиграция — все это исходит из мятежного очага, созданного в Брабанте и руководимого французскими принцами. *Потушите этот очаг, преследуя тех, кто разжигает его, упорно, неотступно преследуя их, только их, и бедствия исчезнут.*

Какое ребячество, вернее, какой ловкий прием приписывать все контрреволюционные волнения сборищу нескольких тысяч эмигрантов! Какое ребячество, вернее, какой ловкий прием утверждать, что для прекращения всех этих волнений достаточно пригрозить принцам, главарям эмиграции, хотя угрозы эти законодатели не могли привести в исполнение!

## ПРОБЛЕМА ВОЙНЫ

Для нас сегодня не существует проблемы, внушающей большую тревогу. Несомненно, может показаться ребячеством строить задним числом исторические предположения и спрашивать, что произошло бы с Революцией, Францией, Европой и всем миром, если бы революционная Франция сумела избежать войны.

Но, с другой стороны, эта великая военная авантюра принесла нашей стране и свободе столько зла, так сильно развязала во Франции, стране философии и Декларации прав человека, грубые инстинкты, так хорошо подготовила банкротство Революции и ее превращение в цезаризм, что мы обязаны задаться мучительным вопросом: была ли действительно необходима эта война Франции против Европы? Была ли она действительно продиктована приготовлениями иностранных держав и состоянием нашей собственной страны? Наконец, чтобы сказать уж все до конца, нам было бы крайне неприятно принижать или не признавать пламенного патриотизма, священного пыла, сопровождавших эту великую военную авантюру; но если при самом зарождении этой героической авантюры мы видим, какую роль играли интриги, мошеннические проделки и ложь, то наш долг предостеречь грядущие поколения.

После тщательного изучения документов я полагаю возможным сказать, что война в значительной степени была подстроена. Жиронда вела к ней Францию посредством стольких ухищрений, что мы не вправе утверждать, что война действительно была неизбежна.

Но вдруг, сам признавая тщетность этих мер, Бриссо противопоставляет революционную Францию уже не жалкой кучке эмигрантов, а всей монархической и феодальной Европе:

«Я уже предупреждал вас, что все ваши законы и против эмигрантов, и против мятежников, и против их главарей окажутся бесполезны, если вы не дополните их одной важнейшей мерой, единственно способной обеспечить им успех, и мера эта касается того образа действий, которого вы должны держаться по отношению к иностранным державам, поддерживающим и поощряющим эту эмиграцию и эти мятежи.

Я уже показал вам, что эта огромная эмиграция имела место только потому, что вы пощадили главарей мятежа, только потому, что вы терпели существование очага контрреволюции, который они создали за границей; и это происходит только потому, что до сего дня пренебрегали или боялись принять меры, надлежащие и достойные французской нации, дабы заставить иностранные державы прекратить поддержку мятежников.

Господа, все это — цепь обманов и соблазнов. Иностранные державы обманывают принцев, принцы обманывают мятежников, мятежники — эмигрантов. Заговорим наконец с иностранными державами языком свободных людей, и эта система мятежа, которая держится на искусственно созданном звене, очень быстро рухнет, и эмиграция не только прекратится, но эмигранты хлынут обратно во Францию, так как несчастные, которых похищают таким образом у их отечества, покидают его в твердом убеждении, что на Францию обрушатся несметные армии и восстановят в ней дворянство. Пора наконец развеять эти химерические надежды, вводящие в заблуждение фанатиков или неведающих, пора показать всему миру, кто вы такие — свободные люди и французы». *(Долго не смолкающие аплодисменты.)*

Увы! Какая мистификация, и с какой легкостью Собрание дает убедить себя столь же опасными, сколь и ребяческими доводами! Ибо если иностранные державы действительно обманывают эмигрантов, если они действительно несколько не склонны предоставить в их распоряжение солдат, то истина не замедлит стать очевидной для всех; разочарование вскоре заставит эмигрантов возвратиться, и все это обольщение развеется, а Франция не будет подвергнута риску восстановить против себя бахвальством и угрозами иностранные державы. Если державы в сущности миролюбивы, то зачем подвергать себя опасности, вызывая у них воинственные настроения?

Но вдруг, словно почувствовав легковесность своего тезиса, Бриссо сеет в умах членов Собрания тревогу с помощью самых отвратительных преувеличений и самых странных противоречий. Он взывает к жажде славы, к оскорбленному самолюбию. Он показывает, сколь малое значение придают державы революционной Франции и ее новой конституции. Везде, во всех странах, в Неапо-

ле, в России, в Швейцарии, в Льеже, нашим послам не оказывают почтения, на какое они имеют право. И Бриссо рисует общую пугающую картину и на мгновение показывает нам всю Европу, сговаривающуюся против нас.

«Правда ли, что во время пресловутого свидания в Пильнице был составлен заговор с целью уничтожить французскую Конституцию? Правда ли, что там составили ставшую известной декларацию, согласно которой государи обязуются поддерживать спокойствие в Европе и обратить свое оружие против Франции, если она не удовлетворит требований немецких князей? Правда ли, что прусский король в качестве курфюрста Бранденбургского выступит с той же декларацией перед сеймом в Регенсбурге? Правда ли, что российская императрица написала императору письмо, в котором она заявляет, что по многим соображениям и ради спокойствия в Европе считает себя обязанной рассматривать дело короля французов, как свое собственное? Правда ли, что она на самом деле предоставила значительные денежные суммы главарям мятежников, что она послала к ним, чтобы с ними сговориться, лицо, занимающее важное положение в ее государстве?..

Правда ли, что все государи решили созвать в Ахене конгресс, чтобы изменить нашу Конституцию и восстановить дворянство? Правда ли, что этот очевидный проект созыва конгресса собираются осуществить, несмотря на заявления короля, что он принимает Конституцию?»

Но если все это — правда, то существует всеобщий заговор государей Европы против революционной Франции и должна разразиться война. Но нам, нам-то известно, что все это неверно; что Бриссо, задавая эти грозные вопросы, уничтожает все оттенки, совершенно не принимает в расчет бесчисленные трудности, парализовавшие державы, оговорки, сводившие на нет их декларации. А именно нам уже известно, что в Пильнице австрийский император и прусский король взяли на себя лишь неопределенные обязательства, зависевшие от содействия других держав, которые, подобно Англии, от него уклонялись. Но в конце концов, если все это — правда, то действительно нечего было колебаться. Надо было открыть Франции глаза на размеры опасности и поднять всю страну на священную войну за свободу.

Но Бриссо вдруг объявляет нам, что державы, в сущности, хотя бы мира или неспособны вести войну и что все это одна лишь фантазмагория:

«Подумайте, господа, каких держав вас хотят заставить бояться, и вы увидите, должны ли вы употребить всю свою энергию на борьбу с ними или на борьбу с мятежниками, которым они благоприятствуют.

Английский народ радуется нашей Революции, хотя его правительство ненавидит ее, а чтобы судить о силах этого правитель-

ства, надо открыть книгу записей процентов, какие оно платит, выслушать дублинских волонтеров, окинуть взором опустошенные земли Шотландии и последовать за лордом Корнуоллисом в Серингапатам.

Именно Типу, будь он победителем или побежденным, мы обязаны умеренностью английского правительства, которого нечего опасаться, пока ему придется вести войну в обширном Хиндустане или управлять им. Я здесь не собираюсь умалять значение свободного народа, с которым, в силу природы вещей, мы должны поддерживать самые тесные связи, народа, призванного быть нашим союзником, нашим братом; но я хочу, я обязан умерить напрасные страхи.

Таковы же и страхи, которые внушает нам Австрия. Ее глава любит мир, хочет мира, нуждается в мире. (*Аплодисменты.*) Его огромные потери в людях и деньгами в последней войне, скромность его доходов, беспокойный и непостоянный характер народов, которыми он повелевает, недовольство Брабанта, непрерывно разжигаемое проповедью вонкистов<sup>1</sup> и разногласиями между [Брабантскими] Штатами и [правительственным] Советом, настроение войск, которые предчувствовали свободу, которые уже подали пагубные для дисциплины примеры, поощряемые неслыханным попустительством в австрийских войсках, — все это заставляло Леопольда прибегать к переговорам, а не к оружию.

Этому будут также способствовать привычки, вкусы и интересы наследника Фридриха Великого<sup>2</sup>, для которого не может быть политически оправданным союз с его врагом, если он хочет быть до конца честным; ведь Французская революция отчасти лишает Австрию ее веса в балансе германских государств.

Что же касается той государыни (российской императрицы Екатерины), чье властолюбие не знает границ, то против нее соединилось все: ее оскудевшая казна, ее разорительные войны, стихии и расстояния. Подчинить своему игу рабов за тысячи лье трудно; победить на таком расстоянии людей свободных невозможно». (*Аплодисменты.*)

В чем же дело? И чего хочет Бриссо? Если, несмотря на свои контрреволюционные демонстрации, державы либо хотят мира, либо неспособны вести войну, если их демонстрация против новой свободы Франции — одна лишь видимость, то они сами откажутся от нее, убедившись в том, что она напрасна, что Франция спокойна. Значит, существует только одна разумная политика: Франция должна сохранять хладнокровие и осуществлять свободную конституцию, не заботясь о том, что делается за границей. Одной своей выдержкой революционная свобода расстроит происки иностранных держав и победит все эти показательные проявления враждебности.

Но провоцировать державы, говорить с ними языком угроз, рискуя тем самым превратить их грубые показательные демонстрации

или неопределенные поползновения в действительно воинственные решения — это преступление против Революции, тем самым отдаваемой на произвол случая. Преступление это еще более отягчается, когда для того, чтобы склонить Францию к этим неосторожным шагам, намеренно преувеличивают слабость и трудности, испытываемые иностранными державами, внутренние затруднения которых, несомненно, были не больше затруднений самой Франции. Однако, введя в заблуждение этими софизмами Собрание, не осведомленное и не рассуждавшее, Бриссо опьяняет его хвастливыми словами:

«Франция вправе сказать правительствам соседних государств: мы уважаем вашу страну, но уважайте нашу; не давайте убежища недовольным, не присоединяйтесь к их кровавым замыслам; заявите нам, что вы не присоединитесь к ним, или же, если дружбе с великой нацией вы предпочитаете свои отношения с шайкой разбойников, ждите отмщения; отмщение свободного народа свершается не спеша, но разит оно без промаха». (*Аплодисменты.*)

Отвратительное опьянение невежеством и высокомерием! Даже «Са ира» прозвучала в речи Бриссо, «эта знаменитая песня, которая донесет историю Революции до самых отдаленных времен». Бриссо зачитал проект декрета, заканчивавшийся следующим образом: «Что касается иностранных держав, покровительствующих эмигрантам и мятежникам, то Национальное собрание оставляет за собой право принять в этом плане надлежащие меры, после доклада министра иностранных дел, отложенного до 1 ноября».

Это звучало угрожающе и неопределенно: это была зловещая туча, несущая в своем чреве войну. Когда Бриссо сошел с трибуны, с которой он произнес столько противоречивых, ослепляющих и зловещих слов, «значительная часть Собрания и трибун проводила его не раз возобновлявшимися аплодисментами». «Аплодисменты сопровождали г-на Бриссо, пока он шел к своему месту, и несколько минут длилось волнение». Это был роковой день.

Ни один оратор не осмелился ясно ответить Бриссо, что он чересчур дерзко ставит под угрозу мир и что Революция не должна рисковать собой в этой великой аванюре, не зная точно положения в Европе и без крайней необходимости. Одни скромно и чуть

1. Вонк — брюссельский адвокат, лидер партии реформ в бельгийских провинциях, находившихся под австрийским господством; руководил подготовкой к восстанию. В ноябре 1789 г. вонкисты захватили Гент; восстали Монс и Брюссель; в декабре австрийцы остави-

ли бельгийские провинции, которые были вновь заняты ими в ноябре и декабре 1790 г. Вонкисты эмигрировали во Францию.

2. Речь идет о Фридрихе Вильгельме II (1744—1797), короле Пруссии, племяннике и наследнике Фридриха Великого.

ли не смиренно сказали, что им только остается «прибавить несколько искр к ослепительным молниям Бриссо»; другие выступавшие ограничились заявлением, что он «полностью изменил постановку обсуждаемого вопроса», и требованием отложить прения.

Демократические газеты на какой-то момент растерялись. Газета Приюда «Револьюсьон де Пари», вскоре начавшая столь решительную и смелую кампанию против политики войны, на первых порах хранит молчание. Она едва упоминает о пространной речи Бриссо и не комментирует ее. Это молчание или почти полное умолчание о столь сенсационной речи уже само по себе было знаменательно: оно означало тайное порицание, которое еще не осмеливались выразить открыто. Смущен был даже Марат. Марат, который вскоре с такой силой обрушится на Бриссо, проявляет сдержанность; однако, при своей острой прозорливости, он раскусила софизмы и противоречия в речи Бриссо, но как бы не осмеливается открыто выступить с критикой, к которой она его побуждает, и его выводы весьма неопределенны. В номере своей газеты от 25 октября он пишет: «Я отнюдь не разделяю соображений г-на Бриссо относительно наших политических отношений с иностранными государствами, на которые мы должны смотреть как на врагов, если судить по оскорблениям, какие от них терпят французы — друзья свободы.

Бриссо думает, что, вместо того чтобы атаковать нас живой силой, они договариваются между собой о вооруженном посредничестве, с тем чтобы у нас было признано дворянство и создано правление по английскому образцу. Но к чему — быть может, скажет какой-нибудь рассудительный человек — столь решительно настаивать на необходимости потребовать от них немедленно объяснений, не ожидая, пока они внезапно нападут на нас, раз самые грозные из них не в состоянии нас испугать, в то время как другие заслуживают одного лишь презрения? И поскольку нам нечего опасаться со стороны этих держав, то зачем так тревожиться по поводу эмигрантов, требующих от них поддержки? Зачем преследовать их с таким ожесточением, не делая различий между перепуганными гражданами и трусливыми перебежчиками и коварными изменниками?

Именно жестокий удар, какой могут нанести свободе эти державы в союзе с заговорщиками внутри и вне нашей страны, и смертельные удары, которые они готовятся нанести отечеству, должны наконец заставить нас открыть глаза на грозящие нам опасности и принять действенные меры для возвращения беглецов-заговорщиков в пределы нашего государства.

Очевидно, возражения, которые Марат вкладывает в уста *рассудительного человека*, возникли у него самого, и речь Бриссо вызывает у него тревогу. Но он еще не решается перейти в наступление.

## ДВОР И ИНОСТРАННЫЕ ДЕРЖАВЫ

Итак, при своем провозглашении политика войны, казалось, полностью восторжествовала. А между тем намерения держав никогда не были столь неопределенными. Никогда, при проведении осторожной политики, не казалось так легко предотвратить всякое нападение и помешать сговору государей. Я уже приводил письмо английского короля, в котором он отказывал шведскому королю в каком-либо содействии и своим твердым заявлением о нейтралитете свел на нет Пильницкое соглашение. Я также приводил то, что писал Ферзен о негативных настроениях императора Леопольда. Не подлежит сомнению, что в октябре, в тот самый момент, когда Бриссо толкал Францию на решительный шаг, растерянность и колебания французского двора и среди иностранных держав были очень велики.

Королевская власть по-прежнему идет по пути измены. Ни Людовик XVI, ни Мария Антуанетта не приемлют Революции и конституции. Но они охвачены ужасом, они боятся, как бы какая-нибудь неосторожность со стороны эмигрантов не подвергла их свободу и их жизнь величайшей опасности. Они стараются парализовать усилия эмигрантов и просят иностранных государей созвать конгресс с тем, чтобы этот конгресс навязал Франции новую конституцию, проявляющую больше почтения к монархии. Это измена, но измена, к которой примешивается страх. Ибо Людовик XVI и Мария Антуанетта опасаются, как бы конгресс государей, если он сразу прибегнет к силе, не вызвал страшного возмущения всей Франции. Надо бы, чтобы он мог действовать путем своего рода давления. Но такое давление окажет свое действие только в том случае, если державы будут вполне единодушны<sup>3</sup>.

Но в тот момент такое полное единодушие было химерой. Державы медлят и ссылаются на признание конституции Людовиком XVI. Принцы, эмигранты, осуждаемые королем и вызывающие страх у королевы, надоевшие державам своей назойливостью, с каждым днем проявляют все более сильное раздражение, но их ярость бессильна.

20 октября, в тот самый день, когда Бриссо впервые затрубил в фанфары войны, граф Ферзен пишет шведскому королю<sup>4</sup>:

3. Со времени возвращения из Варенна и до начала 1792 г. Мария Антуанетта, в своей переписке с австрийским послом Мерси-Аржанто, упорно настаивала на организации конгресса держав в каком-нибудь пограничном городе. «Я по-прежнему продолжаю желать, чтобы державы вели переговоры, имея за спиной силу,

но думаю, что было бы чрезвычайно опасно создать впечатление, будто они хотят вступить в страну» (письмо к Мерси от 1 августа 1791 г.). См.: «Marie-Antoinette, Joseph II et Léopold II. Leur correspondance», publiée par le chevalier Alfred d'Arnet h. Leipzig, 1866.

4. «Le comte de Fersen et la cour de



«Сир, я уверен в том, что император намерен рассматривать санкцию, данную французским королем, как действительную и ничего не предпринимать в данный момент под тем предлогом, что его нельзя уличить во лжи. Но единственное, чего можно было бы добиться, — это немедленного объявления о созыве конгресса, выбора его места и назначения его участников. Предлогом для созыва конгресса мог бы послужить захват Собранием Авиньона. Надо было бы убедить папу потребовать вмешательства всех европейских держав против подобной узурпации. Подсказать этот демарш Его святейшеству мог бы испанский двор. *Однако я еще сомневаюсь в том, что император будет активно участвовать в этом демарше, если его не будут побуждать к тому другие дворы*»<sup>5</sup>.

19 октября Мария Антуанетта пишет Ферзену: «Я пишу г-ну де Мерси, чтобы ускорить созыв конгресса. Я прошу его сообщить вам содержание моего письма и поэтому не вхожу в подробности в своем письме к вам. Я виделась с господином дю Мутье<sup>6</sup>, который тоже очень желает этого конгресса. Он даже подал мне некоторые мысли относительно главнейших его основ, которые я нахожу разумными; он отказывается от министерства, и я его к этому даже побудила. Это человек, которого надо сохранить для лучших времен, а так мы потеряли бы его».

Она продолжает свое письмо словами, полными уныния, почти отчаяния. Она не знает, кого ей больше бояться — французов ли, находящихся вне Франции — эмигрантов, или французов, находящихся внутри страны — революционеров. «Все сейчас как будто довольно спокойно, но спокойствие это висит на волоске, и народ остается таким же, каким он был, готовым на всякие ужасы; нас уверяют, что он за нас, но я совершенно не верю этому, во всяком случае в отношении себя. *Я знаю цену, которую приходится платить за это. Чаще всего это оплачено*, и он любит нас лишь постольку, поскольку мы делаем то, что он хочет. Долго так продолжаться не может; в Париже не более безопасно, чем было прежде, а пожалуй, даже менее, так как привыкают видеть нас униженными. *Французы жестоки и тут и там. Нужно остерегаться, чтобы здешние [революционеры], если они одержат верх и придется жить среди них, не смогли в чем-либо нас упрекнуть; но нужно также думать и о том, чтобы не вызвать неудовольствия и находящихся за границей, если они вновь станут господами...*»

Это проявление беспредельного страха; королева не знает, какая партия одержит верх, и хочет ладить со всеми. Она уже не величественная и оскорбленная королева, которая обдумывает способы отмщения. Это доведенное до отчаяния создание, которое не хочет погибать. И с какой печалью убеждается она в ничтожности «народных» рукописаний, оплаченных из сумм гражданского листа!

Барон Таубе пишет Ферзену из Стокгольма 21 октября<sup>7</sup>: «Что касается французских дел, то вот что говорят принцы в своем письме к императрице [России]: медлительность, проявляемая кабинетами Вены и Мадрида, злонамеренность последнего (ибо у нас имеются веские основания считать его продавшимся нашим врагам<sup>8</sup>); наконец, интриги барона де Бретей, ибо пора уже назвать его Вашему Величеству: ведь он предпочитает все погубить, но только не видеть удачного осуществления планов, которые не он задумал, и т. п. и т. п.».

Итак, гнев и разочарование эмигрантов, ужас и двойственность королевы, нерешительность и бездействие держав — какая-то бесплодная и неуклюжая попытка измены и подготовки войны, которая окончилась ничем.

31 октября Мария Антуанетта пишет Ферзену: «Письмо Мосье \* [графа Прованского] барону [де Бретей] нас удивило и возмутило; но надо иметь терпение и в настоящий момент не слишком показывать свой гнев; все же я перепису его, чтобы показать сестре [принцессе Елизавете, сестре Людовика XVI, бывшей на стороне принцев]. Мне не терпится узнать, как она оправдывает его среди всего происходящего. *Наша жизнь — ад*; нельзя ничего сказать даже с самыми лучшими намерениями. Сестра настолько неосторожна, окружена интригами, а главное — подчинена влиянию своего брата, находящегося за границей, что с ней невозможно говорить или пришлось бы ссориться целый день. Я вижу, что честолюбие людей, окружающих Мосье, окончательно его погубит;

France. Extraits des papiers du grand maréchal de Suède, comte Jean Axel de Fersen», publiés par ... le baron R. M. de Klincksowström. Paris, 1878, 2 vol., t. I, p. 197.

5. Людовик XVI принял конституцию 14 сентября 1791 г. Император Леопольд был рад решению короля: ему не надо было отказываться от своей осторожной позиции. Что касается чувств, какие конституция вызвала у королевской четы, то они ясны из письма Марии Антуанетты к Мерси: «Вы уже, наверное, получили хатрию; это — сплетение неосуществимых нелепостей».

6. «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. I, p. 198: «Г-н дю Мутье», речь, несомненно, идет о маркизе де Мутье (1751—1817), полномочном представителе в Берлине, который был затем послом

в Константинополе, в 1792 г. покинул свой пост и присоединился к эмигрировавшим принцам.

7. «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. I, p. 200.

Барон Таубе (1737—1799) — первый камергер при дворе шведского короля Густава III; пользовался полным доверием короля в отношении французских дел; ему была поручена секретная переписка короля с Ферзенем. Ввиду того что барон Таубе был ближайшим другом Ферзена, их переписка представляет большой интерес.

8. Испанский король Карл IV ждал, пока Австрия начнет войну, чтобы не подставить себя под первый удар.

\* Мосье (Monsieur) — так титуловали со второй половины XVI в. старшего из братьев короля. — *Прим. ред.*

в первый момент он вообразил, что он все, но, как бы он ни старался, ему никогда не играть этой роли; его брат [Людовик XVI] всегда будет пользоваться большим доверием и иметь преимущество перед ним у всех партий благодаря постоянству и неизменности своего поведения. Очень жаль, что Мосье не вернулся сразу, когда нас задержали; он мог бы тогда следовать тому образу действий, о котором заявил: никогда нас не покидать, — и избавил бы нас от многих горестей и несчастий, быть может предстоящих нам в связи с нашими требованиями возвратиться, с которыми мы будем вынуждены обратиться к нему и на которые, особенно в таком виде — мы это хорошо понимаем, — он не сможет согласиться.

*Мы уже давно сокрушаемся по поводу большого числа эмигрантов. Мы понимаем все неудобство этого как для внутреннего положения в королевстве, так и для самих принцев. Ужаснее всего то, каким образом обманывали и обманывают всех этих порядочных людей, для которых вскоре не останется иного удела, кроме ярости и отчаяния.*

Тех, кто питал к нам достаточное доверие, чтобы посоветоваться с нами, мы остановили или по меньшей мере — если они полагали, что честь велит им уехать, — сказали им правду. Ну, и что же? Чтобы не выполнять нашей воли, у них вошло в обыкновение, в манию утверждать, что мы не свободны (что совершенно верно); и что, следовательно, мы не можем говорить того, что думаем, и что поступать надо наоборот... Однако, поскольку именно теперь они могут наделать глупостей, которые погубят все, я думаю, что их [принцев] во что бы то ни стало надо остановить; и так как я надеюсь, если судить по вашим сообщениям и по письму г-на де Мерси, что конгресс состоится, то полагаю, что следовало бы направить к ним отсюда верного человека, который смог бы объяснить им всю опасность и нелепость их плана; одновременно он объяснил бы им наше истинное положение и наши пожелания и доказал бы, что единственный для нас в настоящее время путь — приобрести доверие народа, что это необходимо и даже полезно при любом плане; что для этого необходимы единодушные действия, и раз державы не смогут в течение зимы прийти на помощь Франции крупными силами, то только конгресс мог бы собрать и объединить возможные средства для выступления всенной.

...У Испании была еще другая мысль, но я считаю ее скверной, а именно позволить принцам вторгнуться вместе со всеми французами при поддержке одного лишь шведского короля, как нашего союзника, и объявить манифестом, что они пришли не воевать, а объединить всех французов вокруг своей партии и провозгласить себя защитниками истинной свободы французов.

Великие державы дали бы все денежные средства, необходимые для этой операции, но не участвовали бы в ней прямо, оставаясь по ту сторону границы с войсками, достаточно значительными, чтобы навязать свою волю, но сами ничего бы не предпринимали,

дабы нельзя было использовать в качестве предлога вторжение и боязнь расчленения Франции. Но все это в таком виде неосуществимо, и я думаю, что если император поторопится объявить о созыве конгресса, то это — единственный приемлемый и полезный способ покончить со всем этим. Совершенно не понимаю, почему вы хотите отозвать сразу всех посланников и послов [аккредитованных в Париже державами]; мне кажется, что поскольку этот конгресс будет считаться созванным, по крайней мере на первых порах, как в связи с делами, интересующими все европейские державы, так и в связи с делами Франции, то для такого спешного отзыва нет оснований; *и затем, есть ли уверенность в том, что все державы будут действовать заодно, и не думают ли, что Англия, направляемая ею Голландия и сама Пруссия оставят своих посланников, дабы расстроить планы других? Тогда в мнениях Европы произошел бы разлад, который мог бы только повредить нашим делам. Я могу ошибаться, но думаю, что только полное согласие, хотя бы внешнее, могло бы произвести здесь впечатление*<sup>9</sup>.

Ясно, что Революции никакая непосредственная опасность не угрожала; у нее было время организоваться, укрепиться внутри страны, расстроить интриги, помешать изменам и, возможно, заставить Европу и королей признать себя благодаря своей мощи, не подвергая себя случайностям войны.

Какая неосторожность со стороны Бриссо и его друзей — возбуждать и объединять своими вызывающими речами, своими требованиями столь колебавшихся и несогласных между собой государей!

Еще 4 ноября Ферзен пишет шведскому королю из Брюсселя<sup>10</sup>: «Все утверждает меня в мнении, что венский кабинет не намерен ничего предпринимать. Венский кабинет своими речами уже вынудил короля дать свою санкцию, поставил Северные державы, единения которых он опасается, перед невозможностью действовать. Император только что принял посла Франции и новые верительные грамоты, которые тот ему вручил; он открыто выражает в Вене свое удовлетворение по поводу санкции, данной французским королем, и после того как он уверял меня, что единственной возможностью прийти на помощь королю было бы принятие им Конституции без каких бы то ни было изме-

9. Император Леопольд действительно выжидал; прусский король Фридрих Вильгельм должен был равняться на него. В Англии Георг III заявил, что, несмотря на участие, какое он принимает в Людовике XVI, он будет соблюдать нейтралитет. Испанский король Карл IV и король Сар-

диния Виктор Амедей III ожидали, чтобы инициативу проявила Австрия. Решительными сторонниками совместных действий были только Екатерина II и шведский король Густав III.  
10 «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. I, p. 213.

нений, он изображает теперь именно это принятие как основание для невмешательства<sup>11</sup>. Кроме того, я знаю, что приготовления, которые были начаты для выступления войск, только что отменены и что *граф де Мерси относится холодно к созыву конгресса*.

Князь фон Кауниц не любит Францию и будет рад унижению этой державы. Император слаб и позволяет министрам руководить собой, и притом сам он настроен проанглийски. Их пугает готовность прусского короля поддержать короля; они усматривают в этом его несомненный замысел вступить в союз с Францией; их же замысел, несомненно, состоит в том, чтобы заключить союз с Англией; в этом мнении меня утверждают кое-какие выражения из разговора, который граф де Мерси имел с неким лицом и подробности которого мне известны».

Смятение усугубляется также и тем, что российский двор открыто порицает, как слабость, как отступничество от дела государей, принятие конституции, даже притворное, Людовиком XVI: это прямо противоположно той тактике, которую рекомендовал император Леопольд.

Шведский посол в Санкт-Петербурге барон Стединг пишет графу Ферзену 25 октября (5 ноября): «Всех сбивает с толку то, что происходит в Тюильри в течение последнего месяца. Злонамеренные и нерешительные дворы пользуются этим как предлогом для оправдания своего бездействия. Враги монархии рукоплещут, а верных подданных короля это приводит в уныние.

Иногда мне кажется, что королева намерена завоевать привязанность народа, дабы восстановить королевскую власть теми же руками, которые ее разрушили... То, что я вам пишу, представляет собой не только мое личное мнение, но и мнение Ее Величества императрицы [российской, Екатерины], у которой светлый ум и очень верные суждения».

Граф Эстергази пишет Ферзену из Санкт-Петербурга 26 октября (6 ноября):

«Мы не ошибались насчет правительства императора [Леопольда]. Оно повредило, как только могло, нашим делам; 15 октября здесь даже сообщили, что маркизу де Ноайю [конституционному послу Франции] уже назначен день для аудиенции. Образ действий здешнего [российского] двора *несколько иной*. Он открыто высказывается, но пока еще ничего не предпринимает, и время года служит хорошим предлогом, поскольку так долго медлили. Швеция испытывает те же чувства, но, быть может, у нее больше желания действовать; но для того, чтобы успех был верным, *оба двора горячо желают установления согласия между Тюильри и принцами...*

Объясните нам намерения короля [Людовика XVI]. Если он искренен [принимая конституцию], то обрекает себя на унижение в глазах своих современников и потомства, а если он обманывает, то заходит слишком далеко, чтобы необходимость или опасность

могли послужить ему оправданием. Мне бы хотелось по меньшей мере, чтобы он доказал видимостью сопротивления, что вынужден идти на унижительные шаги, которых от него требуют. Это дало бы оружие тем, кто хочет ему служить даже вопреки его воле, и не позволило бы бездействовать слабым, которые только ищут предлога для этого.

Я согласен с тем, что основы нынешней Конституции столь ложны, что она не может быть долговечной; но, пока высшая сила не продиктует законов, не считаясь ни с чем, что было сделано, кое-что от нее сохранится, одну часть ее уничтожат, другую изменят, и это состояние неопределенности и инертности породит беспорядки другого рода, которые всегда будут вызывать анархию и бедствия, являющиеся ее следствием.

Вы, мой друг, чье единственное желание, как и мое тоже, — благо королевской семьи, употребите все средства, чтобы доказать, что без согласия можно причинить одно лишь зло. Прежде чем решить, кто будет управлять Францией, приведем Францию в такое состояние, чтобы ею можно было управлять; и прежде, чем обсуждать, кто войдет в правительство, подождем, пока там будет король. Всякое промедление в этой связи — столь великое зло, что, если оно хоть немного продлится, все будет непоправимо. Правда ли, будто эрцгерцогиня открыто говорит, что император не даст ни людей, ни денег, и, поскольку король доволен Конституцией, было бы безумием рисковать ради ее изменения? Пусть она поостережется! Провозглашая такой принцип, она добьется того, что ее снова смогут изгнать из Нидерландов, и, поверьте, зараза быстро распространится повсюду, где у государей не хватит воли резать по живому, как только гангрена перекинется к ним».

Итак, в то время как австрийский император пребывает в нерешительности и ищет всевозможных причин для невмешательства в дела Франции, в то время как Англия провозглашает полный нейтралитет, дворы Северных держав — Швеции и России — довольно громко говорят, но мало делают, а главное — ставят условием для своих действий невозможное для Людовика XVI изменение в его тактике. Они требуют от него, чтобы он подготовил восстановление абсолютизма, которое ему самому кажется неосуществимым. Они, наконец, требуют от него, чтобы он разоблачил себя перед французами и так ясно подчеркнул, что его принятие конституции было вынужденным, что ни один француз ни на секунду не сможет питать к нему доверие. Именно в этом духе шведский король пишет Ферзену 11 ноября: «Двусмысленное

11. 20 августа 1791 г. Леопольд дал знать, что державы признали бы конституцию, которую бы принял Людовик XVI. 14 сентября Людовик XVI одобрил конститу-

цию. Леопольд был рад решению короля и не оставил у Марии Антуанетты никаких иллюзий. «Какое несчастье, — писала она, — что император нас предал».

поведение этого государя [австрийского императора \*] и его непрерывные увертки предвещали решение, давно уже им принятое, и все то, что он делал, предпринималось исключительно для того, чтобы помешать другим державам действовать, заставляя их терять время; правда, позорное поведение французского короля весьма благоприятствовало его планам; и хотя мы должны были ожидать проявления слабости, но поведение французского двора, конечно, превзошло в трусости и позорности все, что можно было предполагать, и все примеры прошлого; но еще прискорбнее то, что, уронив так свое достоинство, он еще старается помешать усилиям, которые его братья и державы, интересующиеся судьбой этого государя и благом Франции, могут предпринять, чтобы помочь ему; и если королева предпочитает тяготы и опасности, среди которых она живет, зависимости от принцев, ее братьев [ее деверей], которой она, кажется, более страшится, хотя и совершенно напрасно, то я должен вам сказать, что императрица [российская] очень недовольна таким поведением».

И шведский король доходит до того, что начинает относиться к Марии Антуанетте с подозрением и требует от нее письменных доказательств ее ненависти к Революции. «Вы должны, следовательно, решительно заявить королеве, что ей надлежит дать письменные заверения, доказывающие, что к ней применялось и применяется насилие с тех пор, как она вновь будто бы пользуется свободой, дабы это письменное заявление послужило оружием против тех предлогов, к которым прибегнет император, и заставило этого государя взять на себя одного позор его поведения, который он теперь старается переложить на свою сестру».

Итак, среди врагов Революции царит несогласие, недоверие, бездействие. И это бессилие становится столь явным, что 26 ноября 1791 г. Ферзен в посланном Марии Антуанетте мемуаре, где он вкратце описывает все положение дел, определенно просит ее больше не рассчитывать на австрийского императора и обойтись без его помощи: «Если верно, как я полагаю, что Вы не можете больше рассчитывать на императора, то, безусловно, Вам надо возлагать надежды на других; этими другими могут быть только Северные державы и Испания, которые должны заставить Пруссию решиться и увлечь за собой императора».

Но это был ребяческий план. Во что превратился бы конгресс государей, ставящий своей задачей восстановить власть Людовика XVI, на который брат Марии Антуанетты, австрийский император, не явился бы совсем или явился бы по принуждению? Притом и сам Ферзен не мог думать, что прусский король совершит такую неосторожность, что ввяжется в политику, которая могла бы привести к войне, не склонив к ней одновременно австрийского императора. В мемуаре от 29 ноября Ферзен пишет: «Мне сообщают из Берлина: «Российская императрица обратилась к прусскому королю с письмом, в котором она самым настойчивым

образом предлагает ему принять вместе с нею суровые меры, дабы вернуть французскому королю его свободу и прерогативы его трона. Его Величество прусский король ответил, что он готов к этому и сохраняет те же чувства, которые были выражены в Пильнице, лишь бы все другие державы, а главное император, хотели содействовать достижению той же цели. Принцам тоже было передано, что в своих действиях они должны строго соотносываться с тем, что будет делать венский двор, и что если последний по-прежнему будет бездействовать, то прусский король ничего не предпримет со своей стороны».

Итак, по-видимому, проявляет решимость только российская императрица, но она слишком явно действует эгоистически. Ей хорошо известно, что в силу самой дальности расстояния она была бы обязана направить против революционной Франции лишь самую незначительную часть своих сил; никто тогда не мог предвидеть грозной дуэли между Наполеоном и Россией. Значит, Екатерина свергнет всю Европу в войну против Франции; чем более деспотический режим и более жесткие условия будут пытаться навязать революционной Франции, тем ожесточеннее будет, тем продолжительнее будет эта война, тем больше сил Австрии и Пруссии она поглотит. А тем временем влияние России станет господствующим в Польше, в Турции, на берегах Дуная. Итак, единственная держава, громко выражающая свое мнение, стремится толкнуть другие державы в ловушку, и самые ее старания усиливают всеобщее недоверие и неуверенность.

Несмотря на все, Людовик XVI и Мария Антуанетта не дают себя склонить к политике эмигрантов. Они упорно надеются на то, что император созовет конгресс. 19 октября Мария Антуанетта пишет графу Мерси-Аржанто: «Я вам сообщила мои соображения относительно конгресса. С каждым днем эта мера становится все более безотлагательной; братья короля сами оказались в таком положении, когда вследствие множества присоединившихся к ним людей они уже не смогут сдерживать тех, кого хотели бы сдержать, и, быть может, вскоре будут вынуждены выступить. Судите сами обо всем ужасе положения их и нашего. С одной стороны, мы принуждены выступить против них, и поступить иначе нам невозможно; с другой стороны, нас еще станут подозревать здесь в злонамеренности и в соглашении с ними...

Невозможно без содрогания представить себе последствия этого и опасности, которым мы бы здесь подверглись. Надо предупредить это любой ценой, а сделать это может только император,

\* В оригинале — германский император (l'empereur d'Allemagne), поскольку государи Австрийской монархии Габсбургов являлись также императорами «Священной Римской империи германской на-

ции». В настоящем издании, следуя принятому обычно в русской литературе упрощению, «l'empereur d'Allemagne» переводится как «австрийский император». — Прим. ред.

начав подготовку к конгрессу, указав немедленно место его заседаний и некоторых из его членов».

Если судить по записке, написанной графом де Мерси Марии Антуанетте 26 октября, то можно подумать, что император и в самом деле склонился к мысли о созыве конгресса. «Все указанное в письме [французской королевы. — *Ред.*] от 19-го о полезности конгресса урегулировано заранее; более чем вероятно, что державы присоединятся к этому предложению. В Вене к нему очень решительно склоняются, и туда будет без промедления послано это письмо от 19-го. Теперь принцы жалуются на императора и приписывают ему все проволочки и препятствия к осуществлению их планов. Подобные приемы внушают монарху большое отвращение; он употребляет все средства, кои в его власти, чтобы приостановить осуществление энергичных проектов принцев».

### ИМПЕРАТОР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СОЗЫВА КОНГРЕССА

Но 21 ноября Мерси-Аржанто сообщает Марии Антуанетте, что она не должна рассчитывать на созыв конгресса. Император полагает, что король должен испытать конституцию. Он должен по меньшей мере попытаться привлечь к себе симпатии, и только в том случае, «если бы произошло противоположное» тому, чего можно ожидать от этой политики, державы вмешались бы. «Исходя из этого плана, конгресс следует считать бесполезным, даже невозможным. Нельзя вступать в переговоры с узурпаторами верховной власти; король не может принять полномочия, возложенные ими на него, а если бы он их принял, то разве можно было бы требовать от него чего-то, что не противоречило бы взятым им на себя обязательствам, ведь все требования могли бы быть предъявлены только от имени короля и ради него? Этот монарх, взяв на себя ведение переговоров, должен был бы поддерживать обе стороны. Если бы в случае отказа решились на войну, то против кого вели бы ее, поскольку после принятия Конституции нельзя более отделять короля от Национального собрания?»

Итак, австрийский император не ограничивается отказом от всякого дипломатического вмешательства, равно как и от всякой вооруженной интервенции, но и пытается убедить Людовика XVI и Марию Антуанетту в том, что они, связанные принятием конституции, обречены на непоследовательность и бессилие, если не будут действовать в духе конституции.

Людовик XVI еще продолжает настаивать в мемуаре от 25 ноября, направленном барону де Бретей: «Вся политика должна сводиться к тому, чтобы отвергнуть мысль о вторжении, которое эмигранты могли бы попытаться совершить *самостоятельно*. Для Франции было бы несчастьем, если бы эмигранты находились

в первых рядах и если бы их поддерживали лишь некоторые державы. Кто знает, не оказали ли бы иные державы, например Англия, по крайней мере тайно, помощи другой партии и не извлекли ли бы выгоды из тяжелого положения Франции, раздираемой междоусобицей?

Надо убедить эмигрантов в том, что до весны они не смогут совершить ничего хорошего; что их интересы, так же как и наши, требуют, чтобы они перестали давать поводы для беспокойства. Вполне понятно, что, если бы они почувствовали себя покинутыми, они бросились бы в крайности, которых надо избежать; нужно отложить осуществление надежд одних на весну и надо позаботиться о нуждах других. Конгресс достиг бы желаемой цели, он мог бы сдержать эмигрантов и устроить мятежников.

Державы договорились бы между собой о том, каким языком разговаривать со всеми партиями. Только согласованные между ними действия и могут оказать влияние, не нанося ущерба интересам короля; помимо их частных интересов, быть может, возникнут случаи, когда такое вмешательство оказалось бы необходимым: если, например, захотят установить республику на развалинах монархии. Их, конечно, не может не беспокоить и то, что, поскольку Мосье и граф д'Артуа не возвращаются, герцог Орлеанский оказался ближе всех к трону. Сколько тем для размышлений!

Твердый и единый язык всех европейских держав, опирающихся на грозную армию, принес бы самые счастливые результаты. Он умерил бы пыл эмигрантов, роль которых стала бы второстепенной. Мятежники пришли бы в замешательство, а к добрым гражданам, друзьям порядка и монархии, вернулось бы мужество. Эти мысли относятся как к будущему, так и к настоящему... Король не может и не должен сам отречься от того, что было сделано; нужно, чтобы этого желало большинство нации *или же чтобы он был принужден к тому обстоятельствами*, а в последнем случае нужно, чтобы он приобрел доверие и популярность, действуя в духе Конституции; если она будет применяться буквально, то ее пороки станут очевидны скорее, особенно если будет устранено беспокойство, вызываемое эмигрантами. Если они вторгнутся, не имея крупных военных сил, они погубят Францию и короля».

Но даже возможность этого маневра — созвать европейский конгресс, на который вероломный властитель рассчитывал, чтобы безопасно для себя лишить Францию свободной конституции, в верности которой он поклялся, — определенно ускользала от короля и расстраивалась. 30 ноября Мерси с некоторым нетерпением и раздражением вновь сообщает об отказе императора. Он пишет Марии Антуанетте: «Доводы против созыва конгресса были уже перечислены; еще и по многим другим политическим соображениям этот конгресс был бы скорее вредным, чем полезным для

Франции; имеются признаки того, что это более чем вероятно. Разработан план, с помощью которого императора хотели бы заставить подвергнуться всем опасностям, взять на себя весь реальный риск, тогда как остальные обезопасили бы себя и от того, и от другого».

Между бароном де Бретей и графом де Мерси произошло очень резкое объяснение, о котором Ферзен рассказывает в своем мемуаре от 26 ноября: «Отказ императора созвать конгресс — новое доказательство того, как мало вы можете рассчитывать на его помощь и как важно, чтобы вы обратились по другому адресу. По этому поводу у барона произошел очень резкий разговор с г-ном де Мерси, причем он выразил последнему все свое огорчение тем, сколь малый интерес проявлял император к вашему положению, и сказал, что, как он предвидит, российская императрица с удовольствием сделала бы то, чего не пожелал попытаться сделать император; что именно ей и шведскому королю король оказался бы обязанным, тогда как ему было бы гораздо приятнее испытывать это чувство по отношению к императору; что в этом случае император должен был бы по крайней мере освободить его от признательности и не удивляться, если бы он изъявил ее тем, кто оказал бы ему столь великую услугу. Господин де Мерси защищался весьма слабо, он ссылаясь на то, что конгресс не принес бы никакой пользы и не имел бы никакого веса, что *за отсутствием предмета для переговоров* он остался бы бездейственным...» и т. д. Итак, за отсутствием предмета для переговоров австрийский император воздерживался от оказания давления на внутреннюю политику Франции. иб цг

Таким образом, осенью 1791 г., в первые два месяца деятельности Законодательного собрания, в октябре и ноябре, несомненно наличие двух важных фактов: первый — измена короля продолжается. Она совершается более осторожно и как бы сдерживается страхом; как и ранее, она преступна.

Король хочет отвести от себя ответственность за компрометирующие действия эмигрантов, но на деле он продолжает призывать иностранцев к вторжению, ибо этот конгресс, «опирающийся на грозную армию», — прелюдия к вторжению: если Франция не согласится на более чем полудеспотическую конституцию, которую ей предложит конгресс, то он попытается ее навязать ей силой оружия. Следовательно, король продолжает совершать измену, хоть и дрожащей рукой. Это первый неоспоримый факт; второй — это нерешительность монархической Европы или ее бессилие вмешаться в дела Франции.

## СОБРАНИЕ, ЖИРОНДА И ПАТРИОТЫ

Оба эти факта должны были бы определять всю политику Законодательного собрания. Оно должно было зорко следить за интригами короля, заставить его назначить министров-патриотов, друзей Революции, быть готовым поднять против него общественное мнение и народ в тот день, когда какой-нибудь его преступный шаг раскрыл бы его тайную измену, и всеми силами стараться не провоцировать Европу, избегать всех поводов к войне.

Происходит как раз обратное. В этот период, с октября 1791 г. до апреля 1792 г., Законодательное собрание, побуждаемое Бриссо, шадит короля-изменника и провоцирует иностранные державы, которые совсем не собирались нападать на Францию. Как объяснить это огромное и пагубное недоразумение? Мне хорошо известно, что Бриссо был человеком беспокойного и вздорного ума. Он был о себе высокого мнения и неизменно озабочен своей особой. Он рассказывает в своих «Мемуарах», что ребенком, читая описания игр и воспитания сына короля, он говорил себе: «Почему он, почему не я?» Он много читал, поспешно и поверхностно, и думал, что способен судить обо всем. Некоторое время он провел в Лондоне и знал жизнь за границей несколько лучше, чем его коллеги по Законодательному собранию и революционной прессе, и всегда охотно говорил о Соединенных Штатах, об Англии и мировой политике. Как прославиться он, если благодаря ему Революция охватит весь мир! Он мечтал о том, чтобы широко разгорелось пламя свободы, очагом которого служила бы Франция, и, не считав сил и опасностей, грезил о театральных эффектах.

Учредительное собрание замкнулось в узких рамках внутренней политики, оно отвергало все стремления к завоеваниям, всякую систематическую пропаганду за пределами страны; оно

даже долго противилось свободному присоединению Конта-Венесена, чтобы не вызвать недоверия за границей. Новым людям внутренняя политика, казалось, не сулила ни сильных ощущений, ни славы. Конституция была установлена или казалась установленной, и, какой бы несовершенной и неполной ни была она в глазах демократов, они не могли смелым ударом заменить ее другой. Поэтому внутри страны им не оставалось ничего другого, кроме благодарной задачи гасить огонь мятежей клерикалов, укреплять финансы, следить за работой механизма, созданного другими. Это необходимое, превосходное, но скромное занятие не удовлетворяло тщеславного в своем нетерпении Бриссо. И он обратил свои взоры за границу, на внешний мир. Там бесконечные осложнения могли предоставить ловким людям, «государственным людям» \* случай для действий, случай приобрести известность. Но как ввергнуть Францию в широкую мировую схватку? Как связать столь замкнутое до сего времени революционное движение с всемирным движением?

Бриссо не хотел ждать, пока пример свободной и счастливой Франции естественно воздействует на другие народы. Он хотел ускорить события. И он неожиданно раздувает этот мелкий вопрос об эмигрантах, чтобы вдруг открыть перед Францией некую волнующую и пьянящую перспективу безграничной деятельности. Через это вдруг расширившееся окошко Бриссо начинает бросать на мир взгляды, полные вызова.

### ПОЧЕМУ СОБРАНИЕ ПОСЛЕДОВАЛО ЗА БРИССО?

Но как случилось, что значительная часть Собрания и общественного мнения пошла за Бриссо? Как случилось, что Франция, казавшаяся сугубо миролюбивой при Учредительном собрании, заняла воинственную позицию? Она еще говорит о мире, но уже ясно, что она не желает во что бы то ни стало избежать войны, что она не предвидит всех ее опасностей и что в глубине души ее манит что-то беспокойное, жгучее, какое-то стремление к неведомому. Может быть, Собрание не знало истинного положения? Может быть, оно преувеличивало военные намерения иностранных государств? Но ведь мы видели, что даже в своем опасном и столь преисполненном противоречий выступлении Бриссо признавал, что Европа хотела мира.

И мы вскоре увидим из самих речей тех, кто вслед за Бриссо толкал Францию к войне, особенно из речей Рюля и Даверу, что им было в точности известно положение вещей и настрояние держав. С другой стороны, могли ли жирондисты питать полное доверие к королю? Могли ли они забыть бегство в Варенн и нарушение стольких клятв? Откуда же возникло в тот момент у Революции это внезапное легкомысленное отношение к войне? Откуда

возникла эта вызывающая неосторожность по отношению к иностранным державам и это кажущееся доверие к королю?

Казалось, умы охватила какая-то нервность. Сопротивление дворянства и духовенства длилось дольше, чем предполагали, и молодые ораторы в Законодательном собрании выражали свой гнев в резких речах, заставлявших их слушателей терять хладнокровие. Мало-помалу они вносили в вопросы иностранной политики, в которой в тот момент требовалась крайняя осторожность, те же приемы пылкой декламации. 31 октября Инар восклицал, говоря об эмигрантах <sup>1</sup>:

«Хотя мы и уничтожили дворянство и священников, эти пустые призраки все еще приводят в ужас малодушные сердца. Я скажу вам, что настало время, чтобы установленное в свободной Франции великое равенство обрело наконец устойчивость. Я спрашиваю вас, разве, ставя некоторых людей над законами, вы убедите граждан в том, что вы сделали их равными, разве, простив тех, кто хочет снова заковать нас в цепи, вы докажете, что мы намерены жить и дальше свободными. Я скажу вам, законодатели, что множество французских граждан, которые каждый день видят, как их карают за малейшие проступки, требуют наконец искупления великих преступлений; я скажу вам, что лишь тогда, когда вы осуществите эту меру, люди поверят в равенство и прекратится анархия. Ибо, не обманывайтесь, именно долгая безнаказанность преступников превратила народ в палача. (*Аплодисменты.*) Да, народный гнев, как и божий гнев, слишком часто служит лишь грозным дополнением к молчанию законов. (*Громкие аплодисменты.*) Я скажу вам: «Если мы хотим жить свободными, надо чтобы нами управлял закон, один только закон, чтобы его грозный голос звучал, гремел как во дворцах богачей, так и в хижинах бедняков, чтобы он был неумолим, как смерть: когда она поражает свою жертву, она не различает ни званий, ни титулов».

Пламенные слова, в которых Марат с радостью узнавал свой собственный голос; речь, «блистающая мудростью и исполненная пыла гражданской доблести», сказал Марат о речи Инара <sup>2</sup>.

Но сразу же, в том же возбужденном тоне Инар говорит о Европе: «Один оратор сказал вам, что снисходительность — долг силы, что Россия и Швеция разоружаются, что Англия мирится с нашей славой, что Леопольд думает о суде потомков, а я, господа, боюсь, я боюсь, что вскоре подобно вулкану вспыхнут заговоры и что нашу бдительность стараются лишь усыпить пагубными уверениями в безопасности. И я, я скажу вам, что деспо-

\* Так Марат называл в насмешку жирондистов. См.: Ж.-П. Марат. Избранные произведения. Т. III, М., 1956, с. 264—271.

из Драгиньяна, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента. «Moniteur», X, 268.  
2. «L'Ami du peuple», 3 novembre 1791.

тизм и аристократия не мертвы и не дремлют и что, если нация уснет хоть на миг, она проснется в оковах». (*Аплодисменты.*)

Огромным несчастьем для Законодательного собрания и страны было то, что в этот час в Собрании не нашлось ни одного человека с острым революционным чутьем, который, поддерживая священное и горячее стремление нации к свободе, предостерег бы ее от всяких воинственных увлечений. О, если бы Мирабо был жив и притом свободен от всяких тайных связей с двором! Тогда его гений, одновременно революционный и трезвый, пылкий и мудрый, возможно, спас бы свободу и отечество.

Однако ни тревожных притязаний Бриссо, ни ораторского пыла и воинственной риторики Инара недостаточно для объяснения этого столь странного и столь важного факта. Почему осенью 1791 г. Революция внезапно проявляет воинственность? Вот в чем, по моему мнению, решающее объяснение: в конце 1791 г. и в 1792 г. у революционеров возникло чувство глубокой тревоги, зачатки сомнений, и война смутно казалась им косвенным средством разрешения проблем, которые Революция не могла решить прямым путем. Ее терзали огромные трудности.

Точкой ее опоры была конституция; уничтожив ее, она боялась отдать все в руки врагов свободы. Но эта конституция в связи с существованием гражданского листа, в связи с тем, что король назначал министров и обладал правом приостанавливающего вето в течение двух легислатур, предоставляла королю такие полномочия, что, будь он недобросовестен, он мог бы законным, конституционным путем исказить Революцию, выдать ее врагу разоруженной. Итак, можно ли было действительно доверять королю? После Варенна было объявлено о его невиновности и он принял конституцию; казалось даже внешне, что он сообразуется с ней; но сколько было оснований не доверять ему! Разве не мог он вести тайные переговоры с иностранными державами? Какие гарантии против этого были у нации? И перед загадочным лицом короля, перед его переменчивой и так часто оказывавшейся вероломной душой революционная нация испытывала тревогу<sup>3</sup>. Кто разгадал бы эту загадку? Каким огнем испытать этот подозрительный сплав? О, если бы началась великая война, если бы королю надо было выступить против иностранных государей, вооружившихся якобы для защиты его дела! Тогда бы ему пришлось наконец открыться, разоблачить себя! Либо он вел бы войну честно, и Революция, уверенная в нем, наконец избавилась бы от неотступно преследовавших и терзавших ее подозрений; либо он изменил бы, и эта измена короля нации дала бы нации силу казнить короля<sup>4</sup>. Надо только представить себе состояние народа, который каждый день втихомолку задается вопросом, что делает его глава, верен он или вероломен или, быть может, в нем сочетаются в неведомой и переменчивой пропорции верность и вероломство?

Для народа это было загадкой, одновременно пугавшей и приводившей его в раздражение; это было одной из тех болезненных навязчивых идей, от которых надо избавиться любой ценой. Так в чем же дело? Не лучше ли воззвать к революционной энергии народа и свергнуть подозрительного короля, чем искать в войне, быть может, губительной, уж не знаю, какого испытания сомнительной честности короля? Да, но к концу 1791 г. революционеры-демократы больше не верили в революционный порыв народа. И сказать правду, сама Революция столь часто его подавляла, столь часто противилась народным движениям в их решающих усилиях, что казалось естественным не рассчитывать более на порыв народа, который отвергали столько раз.

17 июля народ одобрил петицию в пользу республики; Революция сама потопила его петицию в крови. Теперь народ безмолствовал, и, конечно, никакое другое потрясение, кроме войны, не могло бы вывести его из оцепенения. Итак, вовсе не бьющий через край энтузиазм, порожденный свободой, вызвал войну, как это утверждали многие историки.

Война возникла совсем не в результате революционного воодушевления, а, наоборот, вследствие слабости Революции. Имеется множество свидетельств этого ослабления, этого уныния демократов, революционеров именно в тот период времени, когда произносились зажигательные воинственные речи. В это время Марат был охвачен чувством отчаяния.

## ОТЧАЯНИЕ МАРАТА

В номере своей газеты от 21 сентября Марат заявляет, что Революция погибла, и рисует поразительную картину, показывая консервативные силы, развившиеся в ее лоне и, по-видимому, над нею восторжествовавшие. «Мы завоевали свободу посредством революции, самой удивительной из всех, но, не успев насладиться ею и дня, мы своей тупостью, своей трусостью дали ей погибнуть, и сегодня мы от нее дальше, чем до взятия Бастилии. Хотят, чтобы у нас были законы, устанавливающие наши права. Я сто раз доказывал, что законы эти смехотворны; но если бы они сами по себе не были пригеснительными, то люди, на которых возложено их применение, непримиримейшие враги отечества; они заставляют

3. В Законодательном собрании среди депутатов левой и депутатов центра, в массе своей конституционалистов, воспоминания о Варенне и о Пильнице рождали непреодолимое недоверие к королю.  
4. Такова была побудительная причина политики жирондистов. По-

средством войны они хотели сорвать маску с изменников и нанести им удар. «Отведем заранее место изменникам, и этим местом будет эшафот!» — воскликнул Гюаде 14 января 1792 г. А Бриссо еще до этого сказал: «Нам нужны великие изменения».



законы молчать или же говорить то, что им угодно. Они толкуют законы то в пользу врагов свободы, то против ее друзей, и меч правосудия всегда карает защитников прав народа.

Те, кто воздаст честь свершения Революции нашему мужеству, приписывают ее гибель нынешнему недостатку у нас энергии; они сетуют на то, что она все более и более слабела, и говорят, что теперь нам осталась от нее едва лишь искра. Но мы ныне представляем собой в точности то же, чем были три года назад: *кучку обездоленных, которые сокрушили стены Бастилии! Пусть им дадут взяться за дело, и они покажут себя, как показали в первые дни; они ничего не требуют, только одного — сражаться против своих тиранов; но тогда они были вольны действовать, а теперь они в цепях.*

Если внимательно проследить всю вереницу событий, подготовивших и приведших к тому, что произошло в результате 14 июля, то становится понятным, что совершить Революцию было самым легким делом. Она была вызвана исключительно недовольством народа, озлобленного притеснениями правительства, и переходом солдат, возмущенных тиранией своих начальников, на сторону народа.

Но если принять во внимание характер французов, умонастроения различных классов народа, противоположные интересы разных сословий граждан, ресурсы двора и столь же естественный, сколь и чудовищный, союз врагов равенства, то становится вполне понятным, что Революция могла быть лишь кратковременным кризисом и что Революция не могла найти себе опоры в тех причинах, которые к ней привели».

И Марат не ограничивается заявлением об окончательном крушении свободы. Он полагает, что в действительности искреннего и подлинного движения за свободу никогда не было; что когда вся Франция взялась за оружие в дни, которые предшествовали 14 июля и последовали за ним, то она сделала это совсем не для завоевания свободы, а из страха перед бедняками, перед «разбойниками», и что если революционная буржуазия немедленно использовала это великое восстание, то лишь для того, чтобы напугать двор и воспользоваться властью в интересах новой олигархии.

Итак, по мнению Марата, главной движущей силой Революции был страх, использованный кастовым эгоизмом.

В этот мрачный час, когда победа демократии и подлинного народного правления кажется ему совершенно немислимой, а Революция — проигранной, Марат, так сказать, бесчестит ее истоки.

«Напрасно думают, что, когда 14 июля люди взялись за оружие, это было всеобщее восстание против деспотизма, поскольку тогда даже приспешники деспота смешались с его рабами; нет, это была простая мера предосторожности граждан, у которых было что терять, против действий бедняков, только что разрушивших заставы.

*Эта мера предосторожности, продиктованная в столице боязнью, распространилась с быстротой молнии по всей стране в силу одного лишь примера; и только тогда, когда мелкие честолюбцы, вставшие во главе плебеев в Генеральных штатах, использовали обстоятельства, чтобы по выгоднее себя продать, эта демонстрация национальных сил оказалась направленной против деспотизма.*

Во время этого всеобщего восстания деспот, окруженный своей семьей, своими министрами и несколькими придворными, казался покинутым всей нацией; но тем не менее он сохранял бесчисленный легион своих клевретов и приверженцев, в том числе и в линейных войсках, только что предавшихся всем сердцем отечеству; вооружившись как будто против своего повелителя, они в действительности вооружились только для его защиты, для сохранения его владычества, для сохранения своих привилегий и чинов.

*Мы видели тогда наглых фаворитов двора, которые под маской патриотизма только и говорили что о верховной власти народа, о правах человека, о равенстве граждан и в мундирах солдат отечества [национальная гвардия] униженно выпрашивали для себя посты начальников или ловко покупали их под личиной благотворительности. Те, кто не сумел захватить командные должности в национальных войсках, захватывали власть в народных собраниях, места общественных должностных лиц; и мы впервые увидели во главе батальонов усатых важных судей; государственных советников в париках с косичкой, смиренно склонившихся над столами канцелярии дистрикта рядом со своими портными или своими нотариусами; высокомерных герцогов в платье горожан, заседающих в полицейском комитете рядом со своими прокурорами или судебными исполнителями, и мирных прелатов — хранителей арсенала, раздающих смертоносные орудия сынам Марса.*

*Вокруг этих честолюбивых интриганов, мерзких креатур двора, вскоре объединились его клевреты и приверженцы, дворянство, духовенство, армейский офицерский корпус, судейские и законники, финансисты, спекулянты, пиявки на теле общества, продажные ораторы, кляузники, сброд из Дворца правосудия — одним словом, все, чье величие, чье состояние, чьи надежды покоятся на злоупотреблениях правительства, кто существует благодаря его порокам, его посягательствам, его расточительности и кто старается сохранить эти беспорядки, чтобы извлекать выгоду из общественного бедствия. Мало-помалу к ним примкнули дельцы, ростовщики, ремесленники, изготавливающие предметы роскоши, литераторы, ученые, артисты — все, кто обогащается за счет счастливицков нашего века или папенькиных сынков-кутил. Затем явились негодяи, капиталисты, зажиточные граждане, для которых свобода является не более чем привилегией беспрепятственно приобретать собственность, надежно ею владеть и мирно наслаждаться. Потом явились трусы, которые боятся рабства меньше, нежели*

политических бурь, отцы семейств, страшащиеся малейшей перемены, которая могла бы привести к потере ими своего места или своего положения».

Да, великолепная по яркости и силе картина! Если бы Марат обладал более широким пониманием социального развития, он понял бы неизбежность торжества при новом порядке буржуазного класса, вооруженного знаниями и богатством и использующего сначала этот порядок к своей выгоде. Но он понял бы также и то, что это движение, это потрясение были благоприятны для самого народа и что будущее принадлежало демократии. На сей раз это уже не был громкий крик гнева и ненависти: это был вопль глубокого отчаяния, и Марат сам признает себя побежденным.

«Чтобы избежать ножа убийц, я осудил себя на жизнь в подполье; иногда, преследуемый толпой альгвазилов, я вынужден бежать, скитаться по улицам в ночи, порой не зная, где укрыться; отстаивая дело свободы под угрозой кинжалов, защищая угнетенных, когда голове моей угрожает плаха, я от этого становлюсь еще опаснее для угнетателей и мошенников, обманувших общественное доверие.

Жизнь такого рода, один рассказ о которой леденит самые закаленные сердца, я вел целые полтора года без единой жалобы, не сожалея ни о покое, ни об удовольствиях, не заботясь ни о потере положения, ни о своем здоровье и никогда не бледнея при виде постоянно занесенного над моей головой меча. Да что я говорю! Я ее предпочел всем выгодам подкупа, всем наслаждениям богатства, всему блеску короны. Мне покровительствовали бы, меня ласкали бы и прославляли, если бы я просто согласился хранить молчание; и сколько хлынуло бы ко мне золота, согласись я обеспечить свое перо! Я отверг презренный металл, жил в бедности, сохранил в чистоте свое сердце. Я был бы теперь миллионером, если бы отличался меньшей щепетильностью и не забывал бы постоянно о самом себе.

Вместо богатств, которых у меня нет, я владею долгами, которые на меня взвалили неверные дельцы, чьим заботам я доверил в первое время печатание и распространение моей газеты. Я предоставлю этим кредиторам остатки того небольшого, что у меня уцелело, и удалюсь без денег, без поддержки, без средств, чтобы прозябать в единственном уголке земли, где мне будет еще дозволено мирно дышать, удалюсь, предшествуемый отголосками клеветы и поносимый негодаями, обманувшими общественное доверие, которых я разоблачил, осыпая проклятиями всех врагов отечества... Быть может, я вскоре буду забыт народом, ради спасения которого принес себя в жертву».

Марат не выпустит тотчас из рук перо, но какой глубокий приступ отчаяния и как хорошо чувствовал он, что утративший свой пыл народ не откликается больше на его страстные призывы!

## ПЕССИМИЗМ КАМИЛЯ ДЕМУЛЕНА

Столь же глубокий и пессимизм Камиля Демулена. Он, так часто высмеивавший мрачные настроения Марата, говорит и думает в эти дни в точности то же, что и Марат, и в длинной речи, произнесенной им 21 октября с трибуны Якобинского клуба, тоже заявляет о банкротстве Революции.

Демулен с поразительным остроумием отмечает противоречия в конституции. Сначала, чтобы увлечь за собой народ, надо было показать ему все его основные права, «собрать их все вместе и открыть его взорам их пьянящую перспективу».

Это была Декларация прав. Но затем эту Декларацию прав как бы взяли обратно по мелочам, посредством бесчисленных реакционных постановлений; однако стереть все ее черты не посмели. «К этим остаткам стыда, иногда удерживавшим сторонников правительства, прибавьте взрывы патриотизма на трибунах и на террасе<sup>5</sup>, придававшие некоторые убеждения разложившемуся большинству легислатуры и заставлявшие его хотя бы немного считаться с общественным мнением. Из всего этого родилась Конституция, правда разрушившая свою вступительную часть, но не преминувшая позаимствовать из этой вступительной части так много вещей, разрушительных самих по себе, что я как гражданин хотя и одобряю эту Конституцию, но в то же время как гражданин, свободный выражать свое мнение и не отказавшийся от здравого смысла и от способности сравнивать, говорю, что эта Конституция антиконституционна, и смеюсь над секретарем Черутти, этим Панглоссом-законодателем\*, который предлагает объявить ее посредством постановления или декрета *наилучшей возможной Конституцией*<sup>6</sup>; наконец, как политик я не боюсь предсказать ей скорый конец. Я думаю, что она состоит из элементов, настолько взаимно разрушительных, что ее можно сравнить с ледяной глыбой, находящейся на кратере вулкана. Неминуемо либо пламя растопит лед и обратит его в пар, либо лед погасит пламя».

5. Речь идет о террасе Тюильри — месте патриотических сборищ. 9 ноября 1789 г. Учредительное собрание заседало совсем близко от нее, в манеже Тюильри, наспех приспособленном для этого. В этом же помещении заседало и Законодательное собрание.

\* Персонаж из романа Вольтера «Кандид», олицетворение нелепого оптимизма, человек, руководствующийся правилом «все к лучшему в этом лучшем из миров», даже в самых не подходящих для этого случаях. — *Прим. ред.*

6. Черутти (1738—1792) — бывший преподаватель, литератор, сотрудник Мирабо, один из издателей газеты «La Feuille villageoise», член администрации Парижского департамента, депутат Законодательного собрания. 4 октября 1791 г. Черутти предложил направить Учредительному собранию благодарственный адрес, «считая, что величайшим возможным благом является такая Конституция, как наша». «Moniteur», X, 33.

Однако Камилль Демулен нисколько не скрывал своего опасения, что лед может погасить пламя. По его мнению, «демон аристократии» в течение двух лет проявлял адскую ловкость. Отказавшись от прямой борьбы против Революции, он ее парализовал и усыплял; он протащил неравенство во всю конституцию; он предоставил избирательное право, право носить оружие только привилегированным; и народ, ни слова не говоря, дал себя ограбить: «Я назвал их пассивными гражданами, и они сочли себя мертвыми»<sup>7</sup>.

«Но Революцию совершил Париж, и именно в Париже ее суждено уничтожить. По мере того как отдаляется осуществление надежд патриотов и они понимают всю их несбыточность, охлаждает их первоначальный пыл и с каждым днем слабеет их партия. Единственная скорбь, которую не утишает, а лишь ожесточает время, скорбь об утрате имущества, непрерывно усиливает злобу всех пособников старого порядка. На мой взгляд, их партию укрепляет *корыстолюбие* всех лавочников, всех купцов, которые вздыхают по своим эмигрировавшим работодателям или покупателям; на мой взгляд, ее усиливают *опасения* всех рантье, чья боязнь банкротства так сильно помогла Революции; видя только бумажные деньги... внутри страны и приготовления к войне за ее пределами, они страшатся банкротства. А главное, на мой взгляд, эту партию усиливает *усталость* парижских национальных гвардейцев. В течение двух лет стараются, чтобы с утра до вечера били в барабан, дабы по возможности удерживать их вдали от их конторок, от их домашних очагов и от их постелей.

В условиях полнейшего мира столица в течение двух лет так ошетинена штыками, словно Париж оккупирован двумястами тысячами австрийцев. Парижанин, беспрестанно отрываемый от своего дома для патрулей, смотров, военных упражнений, утомленный своим превращением в пруссака, начинает предпочитать свою постель или свою конторку кордегардии; по простоте души (мягко выражаясь) он думает, что Национальное собрание не могло бы издавать свои декреты без шестидесяти батальонов, что только после Революции кончится для него кампания, более утомительная, чем Семилетняя война. Когда же эта Революция кончится? Когда начнет действовать Конституция? Мы были менее измучены при старом порядке».

Усталые, утомленные люди, партия усталости: Демулен, по-видимому, думает, что Революция более неспособна к усилию, и его речь показалась столь мрачной и обескураживающей, что многие якобинцы осудили его за нее, но никто не возразил ему<sup>8</sup>. Очевидно, к концу 1791 г. всех охватило чувство глубокой усталости, и демократы, Демулен, так же как и Марат, спрашивали себя, не иссякла ли революционная энергия.

## МАНИФЕСТ ГАЗЕТЫ «РЕВОЛЮСЬОН ДЕ ПАРИ»

Та же печальная нота, нота неверия, звучит и в газете Прюдона «Революсьон де Пари». В номере за 1—8 октября, в момент открытия заседаний Законодательного собрания, газета опубликовала своего рода статью-манифест<sup>9</sup>:

«К патриотам второго Национального собрания,

Представители народа, еще отнюдь не свободного, но не утратившего полностью надежды им стать, отнеситесь терпеливо к тому, что народ напоминает вам о ваших обязанностях; они более велики, чем вы думаете. Ваша задача менее блистательна, но она более трудна, чем задача ваших предшественников; они не сделали всего, раз они оставили столько дел на вашу долю. Опасности, каким они подвергались, были не столь велики, как те, что будут грозить вам.

*В их время деспотизм действовал открыто. Вашим предшественникам приходилось бороться только с одним врагом; перед вами, быть может, вскоре окажутся два: деспотизм и народ.*

*Обратили ли вы внимание на то, что двор уже старается вступить в союз с народом, который составлял всю силу первого Собрания и, быть может, послужит слепым орудием против второго? Нация устала; если вы не посчитаетесь с этим, она будет готова вернуться к своим старым привычкам.*

Рабам порой живется лучше, чем свободным людям, и короли, зная свое ремесло, устраивают так, что люди считают себя более счастливыми под сенью короны, чем под колпаком свободы. Именно вам должно напомнить об этих первых проявлениях энергии, одно воспоминание о которых заставляет двор бледнеть».

Газета пытается воодушевить новых депутатов посредством самых ужасных угроз и самых мрачных предсказаний: «Если бы после трех лет лишений и страхов, волнений и бедствий народ, только что поручивший вашему попечению свои самые насущные интересы, узнал, что вы тайно действуете заодно с Тюильри, если бы он заметил, что вы совершенно не в состоянии расстроить министерские и всякие прочие коалиции, что вы лишь дали нашим врагам время беспрепятственно плести свои злоеющие козни, то пути обычного правосудия были бы отвергнуты или отменены. *Всю Францию немедленно охватит великое движение, без которого свобода больше не может обходиться. Народ, недостойно обману-*

7. Об избирательном праве, разработанном Учредительным собранием, и о его критике журналистами-патриотами, в частности Камиллем Демуленом, см., т. I, кн. 1, с. 468—492.

8. Речь Камилля Демулена «многokrатно прерывалась аплодисмен-

тами на трибунах и части собрания, а также самыми недвусмысленными проявлениями неодобрения другой части Общества».

F. A. Aulard. *Jacobins*. III, 199.  
9. «Révolutions de Paris», № 117, 1<sup>er</sup>—8 octobre 1791.

тый в равной мере всеми вместе властями, к которым он сначала относился с полным доверием, тогда расправится со всеми властями разом и даст будущим поколениям печальный, но необходимый урок. Все эти армии, медленно приближающиеся и в настоящий момент тревожащие наш сон, нисколько не испугают тогда несколько миллионов человек, сражающихся каждый за свою личную свободу. К концу наступающей зимы готовится грандиозное зрелище.

Если нации, оставшейся без денег, зерна и запасов, преданной своими правителями, суждено еще быть преданной своими уполномоченными, то вы, если вы ее предадите или будете плохо ее представлять, готовьтесь стать первыми жертвами ее отчаяния.

Вскоре неизбежно должно произойти одно политическое событие; патриоты Законодательного корпуса, будьте готовы к катастрофе, гораздо более значительной, чем та, которая сделала из ваших предшественников героев на один день. Все предвещает нам такое событие, к которому Революция 1789 г. была лишь прелюдией; берегите свои силы, чтобы выдержать удар и способствовать развязке этой великой, но ужасной драмы, которая потрясет Европу».

Странные и загадочные слова, в которых заранее можно увидеть, как в мрачном волшебном зеркале, события 20 июня, 10 августа, процесс и смерть короля, падение самих жирондистов и террор?

Каким образом журналист, который утверждает, что нация устала, может в то же время предсказывать в ближайшем времени эти революционные возмущения? И как объяснить поразительную верность этих пророчеств? Очевидно, когда он обещает грандиозное зрелище к концу зимы, то есть в то время года, когда начинаются кампании, журналист думает о войне. Вскоре газета Приюдома поймет опасности, которым подвергает свободу и Революцию авантюристическая воинственная политика Жиронды, и будет бороться против нее всеми силами. Но в то время она еще не заняла определенной позиции и сделалась эхом таинственных проектов партии жирондистов: вызвать посредством войны с иностранными державами новый революционный взрыв.

В этом и заключается величайший секрет, о котором с момента открытия заседаний Законодательного собрания и еще даже до первых речей Бриссо шушукались посвященные, и я считаю вышеупомянутую статью одним из важнейших свидетельств тайной работы, которую с первых же дней вела Жиронда. В ней нашла отражение вся ее мысль: констатировать усталость нации и, чтобы толкнуть нацию дальше по революционному пути, пойти по которому она, казалось, не решалась, прибегнуть к войне, как к возбуждающему средству<sup>10</sup>.

Эту усталость, это своего рода ослабление революционного духа газета Приюдома отмечает опять в номере от 15—22 октября: «Парижане, мы с горечью говорим вам — нам кажется, что общественный дух не получил у вас никакого развития. Вам столько

раз говорили, что кризис миновал, что отныне речь идет лишь о том, чтобы жить спокойно и питать доверие к вашим руководителям. Начиная с первого должностного лица и кончая последним из ваших муниципальных чиновников, все должностные лица столь усердно проповедовали вам мир и порядок, что вы остаетесь инертны даже среди всякого рода волнений, которые ощущаются вокруг вас!

Разве Конституция не завершена? — говорят они вам. Разве она не принята? Чего же вам еще? — Но ведь эмигрируют? — Тем лучше, отечество очищается. — Но Людовик XVI сговаривается с эмигрантами? — Это невозможно; прочтите его прокламации, его послания. — Но министры не чистосердечны? — Возможно; поэтому их каждую неделю и вызывают к барьеру Собрания. — Но звонкая монета исчезла? — У вас остаются национальные бумажные деньги. — Но все эти находящиеся в обращении билеты доверия\*? — Кого винить в этом? Тех, кому угодно их принимать. — Но все эти разбойничьи притоны, открытые для игроков? — Кто же в этом виноват? Те, кто играет. — Но хлеб, эта главная пища бедняка, дорожает с каждым днем? — Это вполне естественно, когда мало денег. Терпение и мир, порядок и покорность — и все пойдет прекрасно. Любовь к королю, который делает все, что вы хотите. Повиновение должностным лицам, которые действуют только согласно закону; доверие к Законодательному собранию, каждое заседание которого отмечено актом мудрости, и *дело пойдет*, са пра (ça ira)<sup>11</sup>.

Вот то, что умеренные, сторонники правительства, роялисты, оставшиеся дома аристократы, более бесивые или более воинственные, чем их вормские приятели, беспрестанно внушают вам в своих газетах, в своих афишах, в кафе, среди собирающихся группами людей, и вы верите всему этому, потому что это потворствует вашей лени, и вы спите, доверившись всем этим хитро состав-

10. «Народ, после десяти веков рабства завоевавший свободу, — сказал Бриссо в Якобинском клубе 16 декабря 1791 г., — нуждается в войне: война нужна для ее укрепления».

\* Билеты доверия (billets de confiance) — различного рода бумажные денежные знаки, выпускавшиеся на местах в связи с нехваткой разменных бумажных денег (ассигнаты выпускались сначала только крупными купюрами); выпуск этих билетов не был санкционирован государством, и они не имели никакого реального обеспечения. — Прим. ред.

11. Популярная песенка, ставшая при Революции знаменитой. Она, по всей вероятности, возникла в мае или июне 1790 г. На празднике Федерации 14 июля 1790 г. парижане распевали ее с большим подъемом. Слова «Са пра» (их автор неизвестен) были приспособлены к мелодии «Carillon national» — кадрили, написанной Прекуром. «Са пра» верно следовала ходу самой Революции, убыстряя темп, когда этот грозный странник ускорял свою поступь», — писал Мишле.

ленным речам. К тому же, по-видимому, немного оживилась торговля. И вам оказалось этого с лихвой достаточно, чтобы высмеивать как панический страх и преувеличения то, что патриотические газеты сообщают вам о плачевном положении на наших границах, о намерениях тюльрийского кабинета и о значительном числе уже разложившихся членов Национального собрания.

Эти своего рода безразличие и апатию народа в тот период Революции отмечают не только демократы, но и королева Мария Антуанетта. В своем письме к Ферзену от 31 октября она говорит о парижанах:

*«Их занимают только дороговизна хлеба и декреты. В газеты они и не заглядывают. В Париже в этом отношении произошла явная перемена, и огромное большинство людей, не ведая, хочет ли оно этого порядка или другого, устало от волнений и хочет покоя. Я говорю только о Париже, так как полагаю, что в провинциальных городах дело в настоящий момент обстоит намного хуже, чем в Париже».*

Надо было, чтобы революционеры, демократы очень боялись этого упадка духа народа и даже его увлечения реакционными идеями, чтобы Марат захотел заставить молчать трибуны, до сего времени всегда проявлявшие революционный дух. 15 октября Марат пишет:

*«В стране, действительно свободной и желающей сохранить свою свободу, важно, чтобы представители народа постоянно находились на глазах у свидетелей, которые напоминали бы им об их долге, выказывая неодобрение, если они уклоняются от его исполнения, и поощряли бы их к добрым делам, рукоплещая им, когда они верно следуют своему долгу. Итак, аплодисменты и свистки — право каждого просвещенного гражданина, но право, которым важно пользоваться с большой сдержанностью и только в важных случаях, чтобы не растрчивать попусту это ценное средство. Едва ли найдется в мире нация, публика которой была бы достаточно хороша по своему составу, чтобы можно было без риска предоставить ей осуществление этого права; но, несомненно, невежественную, легкомысленную и непоследовательную публику, которая ничего не умеет ценить, увлекается словами, восхищается ловкими шарлатанами, попадаясь к ним на удочку, губит самое благое дело, предаваясь мгновенному порыву, и превращает самые серьезные дела в жизни в комедию, в смехотворный фарс, разумно лишить этого права. Такова парижская публика, не склонная свистеть, но готовая аплодировать. Печальный опыт, приобретенный нами в результате этой мании, должен был бы побудить нас отказаться от этого [права], если бы мы были способны извлекать уроки из своих недостатков, если бы мы не были неисправимы».*

Я говорю здесь не о толпах слуг, бездельников и шпииков, которыми плуты из комитетов заполняли трибуны, когда они собирались нанести какой-нибудь сильный удар, а об ослепленных

горожанах, у которых они срывали аплодисменты посредством лживой преамбулы, какую они предпосылали всем своим проектам пагубных декретов. Поэтому у французов разумно хранить строжайшее молчание в сенате нации, в административных собраниях и судах; но наша склонность ко всему тому, что льстит нашему тщеславию, так сильна, наше легкомыслие так велико, что едва только позитивный закон вменит нам в обязанность соблюдение тишины в публичных собраниях, как сами их члены или законодатели первыми нарушат ее.

*Мои читатели, быть может, обвинят меня в том, что я изменил свои убеждения. Не моя вина, если они не умеют читать. В ту пору, когда просвещенные патриоты заполняли трибуны Национального собрания и составляли аудиторию в судах, я часто призывал их напоминать знаками неодобрения депутатам, представителям народа, об их долге и я был прав. Ныне, когда патриоты больше не смеют показаться, и враги свободы заполняют трибуны сената и находятся повсюду, я требую, чтобы им мешали аплодировать и заставляли их соблюдать тишину; я стараюсь вырвать из их рук опасное оружие».*

Итак, к концу 1791 г. настроения общественного мнения внушали опасения деятелям Революции: они чуть ли не приводили в отчаяние тех, кто хотел действительно установить демократию, предоставить всем гражданам политические права и заставить исполнительную власть руководствоваться волеизъявлениями нации.

## ДВОР И ФЕЙЯНЫ

Двор, об интригах которого за границей можно было догадываться (но их нельзя было доказать), внутри страны проявлял рвение в тщательном соблюдении конституции.

Правда, конституция отводила еще королевской власти столь значительную роль, что та могла быть весьма могущественной, оставаясь конституционной. Чтобы вернее подготовить уничтожение конституции, король решил делать вид, что он относится к ней с уважением. И король, казалось, согласился считать своим советчиком и руководителем партию Ламетов и Барнава, уже больше не заседавшую в Собрании, но пытавшуюся продлить свое влияние с помощью тайных средств. До чего дошли в своих связях с королем и королевой Ламеты и Барнав? Сказать трудно. Как будто после принятия конституции между Барнавом и Марией Антуанеттой состоялась всего одна встреча; но, хотя Барнав и поспешил покинуть Париж, он, несомненно, часто давал советы<sup>1</sup>.

Эти сношения двора с некоторыми умеренными революционерами тревожили непримиримых приверженцев королевской власти. Мария Антуанетта была вынуждена написать Ферзену 19 октября<sup>2</sup>: «Успокойтесь, я не стану действовать вместе с бешеными, и если я вижу и поддерживаю отношения с некоторыми из них, то только для того, чтобы их использовать, и все они внушают мне слишком большое отвращение, чтобы я когда-нибудь могла действовать с ними вместе».

Они, разумеется, могли внушать королеве отвращение, однако самый факт, что она поддерживала с ними отношения, заставлял ее ладить с ними и считаться с их политикой. А их политика сводилась к двум моментам: внутри страны проводить в жизнь конституцию таким образом, чтобы мало-помалу революционный пыл

угас и можно было восстановить путем использования одной лишь конституции всю мощь исполнительной власти; за границей же сохранять мир, дабы избежать воздействия иностранной интервенции на умонастроения во Франции. Поэтому весьма вероятно, даже почти несомненно, что двор не посвящал Ламетов, Дюпора и Барнава в свои тайные переговоры с иностранными державами, имевшие целью созыв конгресса.

Однако в дневнике Ферзена имеется несколько строк, ужасных для памяти о Ламетах и Дюпоре. 14 февраля 1792 г. Ферзен пишет: «Королева сказала мне, что они виделись с Александром Ламетом и Дюпором и что те ей беспрестанно повторяли, что нет иного средства, кроме иностранных войск, что без них все будет потеряно, что так не может продолжаться, что они зашли дальше, чем хотели, и что этому способствовали нелепые поступки аристократов и поведение двора, который предотвратил бы подобный ход дел, если бы присоединился к ним [то есть к умеренной политике Триумвирата. — *Ред.*]. Они говорят, как аристократы, но она думает, что это вызвано их ненавистью к нынешнему Собранию, где они ничто и лишены всякого влияния, а также и страхом, ибо они видят, что все это должно измениться, и хотят заранее приписать себе заслуги»<sup>3</sup>.

Было бы преступно обвинять людей в измене на основании единичного и столь сомнительного свидетельства. Правильно ли поняла Мария Антуанетта смысл горьких слов Ламета и Дюпора? Точно ли она передала его? Верно ли понял его сам Ферзен? Это обращение к иностранным армиям полностью противоречило всей прошлой политике Барнава<sup>4</sup>; война отдавала умеренных во власть

1. Дюпор, Барнав и Ламет думали, что они руководили королем и королевой; они выбрали нескольких министров. В действительности же их влияние оставалось слабым. Барнав тщетно призывал вербовку контрреволюционеров в конституционную гвардию. *Триумвират* не поддерживал добрых отношений с Лафайетом, который не всегда соглашался с ним во время пересмотра конституции; он допустил избрание мэром Парижа его противника на выборах, убежденного патриота Петиона. А главное, члены Триумвирата не заседали в Собрании, большинство которого ускользало от их влияния. См.: G. M i c h o n. *Essai sur l'histoire du parti feuillant*. Adrien Duport, Paris, 1924.

2. «Le comte de Fersen et la cour de France...» t. I, p. 198. См. также

письмо Марии Антуанетты к Ферзену от 2 и 7 ноября 1791 г.: «Будьте совершенно спокойны; никогда я не стану действовать вместе с бешеными; их надо использовать, дабы предотвратить еще большее зло; но, к счастью, я хорошо знаю, что они неспособны его совершить». *Ibid*, t. I, p. 213.

3. Ферзен добавляет: «Несмотря на это, она считает их гадкими, не доверяет им, но использует их; это полезно».

4. Барнав был явно враждебен политике войны, как и Дюпор. Но последний до конца оставался на этой позиции, между тем как Барнав укрылся в Дофине. Придя к тем же выводам, что и Лафайет, он закончил советом своим друзьям поддерживать министров-патриотов.

либо революционеров левой, либо аристократов, и они вовсе ее не хотели или же хотели ограничить ее насколько возможно. В феврале, когда политика Жиронды, казалось, полностью одержала верх, неужели у одного из них вырвались эти неосторожные слова?

К тому же это странное место из дневника Ферзена противоречит другой записи в том же дневнике, от воскресенья 8 января 1792 г.: «Мемуар королевы Марии Антуанетты императору, написанный Барнавом, Ламетом и Дюпором, отвратителен; императора хотят испугать, доказать ему, что в его интересах — не вести войны, а поддерживать Конституцию из опасения, как бы французы не распространили свою доктрину и не внесли разложение в его войска. Однако видно, что они боятся».

Я весьма склонен думать, что только для того, чтобы оправдаться перед непримиримым Ферзеном в том, что она принимает помощь Ламета, Барнава и Дюпора, королева сказала ему несколько дней спустя: «Но вы не знаете их сокровенных мыслей; они, как и вы, полагают, что нет иного средства к спасению, кроме помощи иностранных армий».

Наконец, я полагаю, что смогу доказать (и я сделаю это несколько ниже), что весьма важный мемуар Марии Антуанетты, опубликованный графом д'Арнетом, действительно был в значительной части написан Барнавом. А это был миролюбивый мемуар, именно тот, против которого восстает Ферзен

## СОЖАЛЕНИЯ БАРНАВА

Во всяком случае, несомненно, что в октябре и ноябре 1791 г. Ламет, Барнав и Дюпор советовали двору проводить конституционную и миролюбивую политику. В своей замечательной книге, откуда я уже приводил много мест, Барнав весьма ясно высказал свою точку зрения. Прежде всего он утверждает, что державы хотели мира:

«Всякий, кто, помимо общих соображений, обладает еще некоторыми сведениями о положении дел в то время, и особенно *тот, кто видел дипломатические депеши*, не может иметь никаких сомнений на этот счет. Когда во внутренних делах, казалось, наступило успокоение, державы сочли, что они избавились от огромного бремени, так как они более не должны были с опасностью для себя поддерживать дело задержанного, взятого под стражу и отрешенного от власти короля; соглашения, по-видимому существовавшие между ними, и особенно то, что касалось нас в пресловутом Пильницком договоре, имели в виду лишь возможное повторение тех же событий; поистине положение вещей и новый порядок не казались державам достаточно прочно установившимися, чтобы они высказались по этому поводу, но осуществление всех их враждебных

намерений было приостановлено, и они выжидали, какой оборот примут наши внутренние дела, чтобы вынести в отношении нас окончательное решение.

Хотя эмигранты до странности извращали как положение в королевстве, в том, что касается общественного порядка, так и средства защиты, их вопли производили весьма слабое впечатление на кабинеты, которые, будучи совершенно равнодушными к интересам этих изгнанников, сообразовывали свое поведение только со своей собственной политикой».

И Барнав в главе под названием «Путь, которого следовало придерживаться» точно излагает политику, держаться которой он, очевидно, советовал двору: «Итак, именно тот оборот, какой могли принять наши внутренние дела, должен был определить поведение держав и во всех отношениях решить нашу участь. Не требовалось большого ума, чтобы понять, каким именно должен быть ход наших внутренних дел; он был так ясен, что все уже представляли себе его, если бы вскоре, в силу действия разных причин, соединившихся вместе, общественное мнение не было обмануто и развращено. Итак, надо было:

1. Завершить восстановление порядка и подавить анархию; Законодательное собрание, которое бы очень захотело этого и сумело бы заставить уважать себя, достигло бы этого в течение трех месяцев.

2. Укрепить новые власти против народной анархии и установить между ними подчиненность и конституционные отношения, которые одни только и могут обеспечить их регулярную деятельность; для этого было бы достаточно пяти-шести суровых декретов.

3. Поторопиться с взысканием налогов для обеспечения общественных нужд. Обращение ассигнатов, как я уже упоминал, весьма благоприятствовало установлению новой налоговой системы, и превосходный министр, стоявший тогда во главе этого дела, очень быстро привел бы его в лучшее состояние, если бы ему оказали поддержку и содействие.

4. Привести военную оборону в такое состояние, чтобы она внушала к себе уважение, не будучи разорительной для страны, и главным образом постараться восстановить дисциплину в армии, значительно укрепившуюся в течение последних месяцев.

5. Стараться поддерживать гармонию между двумя главными видами конституционной власти.

6. Начать действовать в соответствии с установленным порядком, издавать законы, упорядочить народное образование и т. п.

7. Заняться иностранными делами только для улаживания путем переговоров затруднений, возникших с владетельными князьями в Эльзасе, единственного серьезного повода к раздорам между иностранными державами и нами; но если бы споры эти затянулись, то он мог бы беспрестанно усиливать ожесточение

умов<sup>5</sup>. В остальном совершенно не думать об эмигрантах и о державах; проявлять по отношению к ним спокойствие, присущее силе; не проявлять никаких признаков страха перед иностранными державами и в то же время не давать им никаких поводов для обиды и всем своим поведением показывать, что мы, не признавая их влияния на наши внутренние дела, также предоставляем им свободно заниматься своими и что нам так же нет дела до их образа правления, как им до нашего.

Если бы последовали этому пути, то все препятствия, несомненно, вскоре исчезли бы.

И державы вскоре перестали бы бояться нас как источника заразы и, признав нас организованной державой, стали бы строить свои расчеты в отношении нас, сообразуясь с обычными взглядами на политику; каждая из них добивалась бы союза с нами и боялась бы нашей враждебности; мы вернулись бы в общую европейскую систему, где мы были бы вольны придерживаться взглядов, которые сочли бы для себя полезными, исходя из нашего нового образа жизни».

Вот советы, какие Барнав давал Марии Антуанетте и Людовику XVI, вот какие перспективы открывал он перед ними и, несомненно, прибавлял, продолжая мысль Мирабо, что таким образом король сперва обеспечил бы себе спокойствие и безопасность, а затем, при новых условиях, большую власть, чем прежде, возглавив свободный и более могущественный народ. Двор, без сомнения, делал вид, что разделяет взгляды Барнава, но обманывал его; ибо в то время как Барнав хотел, чтобы королевская власть смело, но честно использовала конституцию в консервативном и монархическом духе, двор притворялся, будто он ее уважает, только ради того, чтобы лучше подготовить ее принудительный пересмотр под угрозой иностранного вмешательства. Несмотря на все, благодаря самим своим сношениям с революционерами Учредительного собрания двор способствовал распространению мысли, будто он принял наконец конституцию, и, скрывая таким образом свою игру, почти не давал своим противникам поводов к нападкам. Во всяком случае, внешне поведение двора было достаточно корректным и достаточно согласным с законом, чтобы усыпить бдительность усталого и измотанного народа.

Обманутое этой видимостью, Законодательное собрание легко могло также склониться к модерантизму и мало-помалу подпасть под власть короля и его интриг. Мы видели, как быстро оно отменило свои первые решительные меры; оно оказалось мало пригодным для длительной и упорной борьбы против королевской власти.

Озабоченное упорядочением государственных финансов, озабоченное также укреплением администрации для повсеместного обеспечения свободной торговли зерном, Законодательное собрание могло очень легко, полагая, что оно укрепляет лишь общественный порядок, чрезмерно усилить власть Людовика XVI

как раз в тот момент, когда тот вел с иностранными державами переговоры с целью навязать Франции по меньшей мере аристократическую конституцию с верхней палатой, где наследственная власть дворянства поддерживала бы наследственную власть короля.

В письме от 7 декабря королева сообщает Ферзену, что она начинает надеяться на Законодательное собрание: «Наше положение немного улучшилось, и, по-видимому, все, называющие себя конституционалистами, объединяются, чтобы составить большую силу против республиканцев и якобинцев; они привлекли в свои ряды значительную часть гвардии, особенно гвардии наемной, которая будет через несколько дней организована и сформирована в полки. Они полны лучших намерений и горят желанием проучить якобинцев. Последние совершают всякие жестокости, на какие они способны, но в настоящий момент на их стороне одни лишь разбойники и злодеи; я говорю — в настоящий момент, потому что в этой стране всё день ото дня меняется и ориентироваться в этом невозможно».

Бриссо, который уже почувствовал почти подавляющую силу умеренных в парижском собрании выборщиков, где он был избран с большим трудом, не предавался иллюзиям относительно Законодательного собрания. Он хорошо знал, что необходимо какое нибудь страшное потрясение, чтобы снова вдохнуть в Собрание революционную энергию. Только мощное извержение потоков лавы могло прорвать огромное нагромождение перепутавшихся интересов, интересов старых и интересов новых, закупорившее кратер Революции. И какой иной пламень, кроме пламени патриотизма, разожженного войной, мог бы возродить вновь энергию народа, охладившего и как бы оцепеневшего? Какая иная сила, кроме ужаса при виде этого устрашающего и грандиозного зрелища, могла бы обуздать умеренных?

## МИНИСТРЫ

В тот момент, когда открылись заседания Законодательного собрания, министры не представляли собой ни гарантии для Революции, ни опоры для короля. Вспомним, что большинство из них приступило к выполнению своих обязанностей год назад, после отъезда Неккера<sup>6</sup>. Правительство было образовано из различных, но одинаково серых людей. Наиболее честные из них, как министр

5. Дело *владельцев князей* в Эльзасе возникло вследствие упразднения феодальных прав: многие немецкие князья, владевшие сеньориальными доменами в Эльзасе, сочли себя пострадавшими

и заявили Сейму германских государств протест против решений Учредительного собрания.

6. Неккер заявил Учредительному собранию о своей отставке 14 сентября 1790 г. («Moniteur», t. V,



юстиции Дюпор-Дютертр, были застигнуты врасплох варенискими событиями<sup>7</sup>. Трудно поверить, чтобы никакие признаки не говорили им о существовании заговора, о плаче бегства королевской семьи. Здесь, вероятно, была не измена, а слабость, неспособность и какая-то ленивая привычка чувствовать вокруг себя интриги двора и не делать никаких усилий, чтобы расстроить их.

Особенно двусмысленную роль играл министр иностранных дел Монморен<sup>8</sup>. Он ладил с левой Учредительного собрания и находился на своем посту с конца 1789 г. Это был единственный министр из кабинета Неккера, оставшийся на месте после того, как этот великий человек впал в немилость. Монморен был услужливым посредником между Учредительным собранием и двором.

Когда граф де Мерси, поддерживавший отношения с Мирабо при посредстве Ламарка, покинул в августе 1790 г. Париж<sup>9</sup>, было решено, что во взаимоотношения Мирабо и двора будет посвящен министр Монморен. Но хилый и безвольный Монморен, с его уклончивым умом и слабым здоровьем, никогда не заходил далеко ни в каком отношении. С одной стороны, он не сумел завоевать в глазах короля и королевы достаточный авторитет, чтобы удержать их на пути Революции; с другой стороны, хотя и кажется немислимым, чтобы он не догадывался о приготовлениях к бегству, он никогда не был доверенным лицом короля и королевы.

Ферзен ясно заявляет, что во Франции посвящены в тайну были только Буйе и он. Да и как мог двор посвящать в нее Монморена, раз он хотел скрыть ее от Мирабо? По-видимому, Монморен старался не вникать в интриги, о существовании которых он подозревал, из страха перед необходимостью принять решение и взять на себя ответственность<sup>10</sup>.

Когда открылись заседания Законодательного собрания, то он под давлением событий был вынужден занять несколько более твердую и ясную позицию. Прежде всего вследствие принятия конституции королем восстанавливались официальные отношения между конституционным королевством и иностранными державами. В то же время продолжалась тайная дипломатия двора. Какую роль будет играть Монморен? Положение становится трудным и даже опасным — тем более что все усиливающееся раздражение Собрания против эмигрантов, речи Бриссо и Инара, первые декреты против принцев, громкие угрозы по адресу Австрии — все предвещало приближение периода бурь, трудностей и опасностей. И Монморен ускользнул.

### ОТСТАВКА МОНМОРЕНА

Только так я могу себе объяснить его отставку. Он заявил Собранию о своей отставке 31 октября 1791 г., через одиннадцать дней после речи Бриссо<sup>11</sup>. Он сказал: «Я еще в апреле просил Его Величество согласиться на мою отставку, но, пока он не назна-

чил мне преемника, я был вынужден продолжать свою работу до получения ответа, который оказался отказом. После этого я не знал, что мне делать с прошением об отставке, и только надежда принести еще некоторую пользу в общественных делах и королю утешала меня в необходимости оставаться в правительстве при обстоятельствах, делавших для меня столь затруднительным исполнение моих обязанностей. Сегодня Его Величество соизволил принять мою отставку».

Зибель совершает небольшую фактическую ошибку, говоря, что отставка Монморена была вызвана декретом от 29 ноября против священников и эмигрантов; она была решена и объявлена еще в конце октября. Но Монморена заставила уйти именно все возрастающая трудность положения. Зибель, по-видимому, полагает, что Монморен подал в отставку потому, что ему не удалось склонить двор к более жесткой политике против Революции. И действительно, свидетельство Малле дю Пана, на которого ссылается Зибель, весьма определенно<sup>12</sup>.

р. 560). 18 сентября он покинул Францию. См. т. I, кн. 2, с. 276—277.

7. Дюпор-Дютертр (1754—1793) — адвокат при парламенте, выборщик от Парижа, заместитель генерального прокурора Коммуны, министр юстиции с 20 ноября 1790 г. до образования в марте 1792 г. жирондистского правительства. Преданный суду Революционного трибунала, был приговорен к смертной казни и казнен вместе с Барнавом 28 ноября 1793 г.
8. Монморен (1746—1792) — бывший посол в Мадриде, член Собрания нотаблей в 1787 г., министр иностранных дел с 14 февраля 1787 г. по 31 октября 1791 г.; член «Австрийского комитета» вместе с Малуэ и Бертраном де Мольвилем. Был убит в тюрьме Аббатства 2 сентября 1792 г.

[«Австрийским комитетом» весной 1792 г., после первых неудач на фронте, стали называть группировавшихся вокруг королевы враждебных Революции деятелей, которых обвиняли в тайной подготовке военного поражения Франции. — *Прим. ред.*]

9. Граф де Мерси-Аржанто (1727—1794) — австрийский посол в Па-

риже, скомпрометированный как один из членов «Австрийского комитета», был вынужден покинуть Париж. Из Брюсселя он продолжал следить за событиями во Франции. Умер в Лондоне в 1794 г.

10. Монморена, однако, обвиняли в том, что во время бегства короля он выдал паспорта королеве и старшему из братьев короля. После долгих дебатов Национальное собрание объявило его поведение безукоризненным. «Moniteur», VIII, 740—743.

11. Монморен заявил о своей отставке 31 октября 1791 г. после сделанного им доклада о дипломатической ситуации. «Moniteur», X, 294, 309; «Archives parlementaires», XXXIV, 550.

12. Малле дю Пан (1749—1800) — швейцарский журналист, живший в Париже с 1784 по 1792 г., убежденный противник Революции. Уехал в 1792 г. в Женеву, поддерживал оживленную переписку с иностранными дворами и эмигрировавшими французскими принцами. См.: «Mémoires et correspondance de Mallet du Pan pour servir à l'histoire de la Révolution française» recueillis et mis en ordre par A. S a u o u s. Paris, 1851, 2 vol., t. II, p. 257—259.

Малле пишет в ноябре 1791 г. в своих заметках: «К моменту своей отставки г-н де Монморен был *сильным человеком* в правительстве. Малуэ и я убедили его изложить королю план действий и использовать обстоятельства с соблюдением *всей законности*, а именно: отправиться в Национальное собрание и сказать депутатам, что, так как иностранные державы (депеша которых король передал бы им) не считают его свободным, надо было бы засвидетельствовать эту его свободу; ввиду этого он требует, чтобы ему разрешили поехать в Фонтенбло или в Компьен, назначить новое правительство, которое не принимало никакого участия в составлении Конституции и в ее принятии, причем поехать туда со своей собственной гвардией. Либо Национальное собрание ответило бы королю отказом и подтвердило бы его несвободу, либо дало бы ему свое согласие, и король избавился бы от зависимости от своего же Совета и сформировал бы новый сильный Совет из преданных ему роялистов. Г-н де Монморен настаивал на этом трижды; он бросился на колени перед королевой, но все было бесполезно: побоялись последствий, испугались *восстания*»<sup>13</sup>.

Я не верю ни единому слову из этого рассказа, когда дело касается Монморена. Он обманывал всех; он был совсем не прочь убедить Малуэ<sup>14</sup> и Малле дю Пана, доверивших ему дерзкое поручение и опасный план, в том, что он натолкнулся на непреодолимое сопротивление короля и королевы и, придя в отчаяние, попросил об отставке. Если бы он уходил потому, что ему было неприятно видеть, как отвергают его настоятельные советы, то он не просил бы (впрочем, тщетно), чтобы его оставили в Совете в качестве министра без портфеля с жалованьем 50 тыс. ливров. И он не оказался бы вновь замешанным в тайную политику Людовика XVI.

Он просто стремился уклониться от очевидной официальной ответственности, которая могла внезапно стать тяжелой. Король, не зная, можно ли воспользоваться его услугами и какое суждение вынести о его характере, не удерживал его. В это странное время пружины везде ослабели, энергия народа дремлет, мужество министров угасает.

Что касается двора, то он настолько плывет по течению, что у него нет даже никакого плана насчет того, кем следует заменить Монморена в наиболее важном в тот момент министерстве иностранных дел. Как будто двор даже опасается иметь там своего человека — из страха, как бы тот не погиб сам и не погубил двор. Он также не старается направить туда человека, известного своей преданностью Революции и способного успокоить умы, внушив им веру. 19 октября, когда Монморен уже вручил королю свое прошение об отставке, королева пишет<sup>15</sup>:

«Я виделась с г-ном дю Мутье, который тоже очень желает этого конгресса [держав]. Он даже подал мне некоторые мысли относительно главнейших его основ, которые я нахожу разум-

ными. Он отказывается от министерства, и я его к этому даже побудила. Это человек, которого надо сохранить для лучших времен, а так мы потеряли бы его».

С другой стороны, 1 ноября королева пишет де Мерси<sup>16</sup>: «Несчастье в том, что у нас здесь нет человека, на которого можно было бы положиться... Г-н де Сегюр отказывается от министерства иностранных дел, оно остается вакантным, и гласность всех этих отказов делает выбор почти невозможным».

Граф де Мерси настаивает в письме от 6 ноября<sup>17</sup>: «Нужно просвещенное и преданное министерство, и если здесь нет возможности его сформировать, то его следовало бы заменить, хотя бы и весьма несовершенно, Тайным советом, составленным из нескольких лиц, известных своей ловкостью, могущих выдержать любое испытание и способных посовествовать, какой линии поведения держаться в повседневных делах. Ничто еще не говорит о том, что формированием такого надлежащего министерства занялись. Выбор, павший на г-на де Сегюра, сперва указал на обратное. После его отказа сообщалось, что вместо него будет назначен г-н де Сент-Круа. Последний слывет везде самым отъявленным демагогом. Все кабинеты отнесутся к такому назначению с неудовольствием, и оно породит нежелательные догадки. Если этот выбор связан с тем планом, что нынешнее министерство не продержится долго и что его члены заранее обречены на скорое падение, то иностранные дворы сделают из этого вывод, что французский двор полностью покоряется случайностям революций».

13. «Mémoires et correspondance de Mallet du Pan...», t. I, p. 248. Зибель пишет: «Монморен напрасно бросился к ногам королевы, умоляя ее лучше пренебречь всеми опасностями, чем дать себя унижить величайшей снисходительностью». См.: Н. S y b e l. Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1800. Bd. 1—3. Frankfurt a. M., 1882. (См. русский перевод: Г. З и б е л ь. История Французской революции и ее времени. Т. 1—4 СПб., 1863—1867.)

14. Малуэ (1740—1814) — интендант флота в Тулоне, депутат Генеральных штатов от третьего сословия Риомского сенешальства; эмигрировал после 10 августа 1792 г.

15. «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. I, p. 198.

16. «Marie-Antoinette, Joseph II et

Léopold II. Leur correspondance», publiée par le chevalier d'A g n e t h. Leipzig, 1866, p. 219. См. также письмо Марии Антуанетты Ферзену от 19 октября 1791 г.: «Я полагаю, что графа де Сегюра собираются назначить вместо г-на де Мон; я бы хотела, чтобы он согласился; он умеет говорить, а это — все, что нужно в настоящий момент, когда мы не можем иметь здесь хороших министров, это, быть может, его погубит, но в том еще нет большой беды». — «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. I, p. 199.

Граф де Сегюр (1753—1830) — один из лучших французских дипломатов конца старого порядка, был послом в Берлине в январе — феврале 1792 г.

17. «Marie-Antoinette, Joseph II et Léopold II...», p. 220.

25 ноября королева отвечает ему<sup>18</sup>: «Министерство иностранных дел остается за г-ном Делессаром (перешедшим из министерства внутренних дел)<sup>19</sup>. Одно время называли г-на де Сент-Круа, но я бы его никогда не потерпела. Что же касается Тайного совета, о котором Вы говорите, то я думаю, что в некоторых отношениях это было бы хорошо, но многое также делает его невозможным».

А вскоре королева проявляет полное недоверие и к г-ну Делессару. Итак, все оставлено на волю случая; нет ни определенно конституционного министерства, ни Тайного совета, не проводится никакой решительной политики. В тот самый момент, когда кажется, что Революция не доверяет Революции, королевская власть не доверяет королевской власти, всюду наблюдается какое-то вялое и тревожное принятие временного положения. Не вникнув глубоко в эту тайну умонастроений путем самого тщательного анализа положения вещей, как можно было бы понять то необычайное влияние, какое в течение нескольких дней дала Жиронде ее отвага, к которой примешивается бездумность и легкомыслие? Она дерзала, и дерзала лишь она одна.

О военном министре Дюпорте и о морском министре Бертроне де Мольвиле я скажу немного<sup>20</sup>. Дюпорту приходилось преодолевать большие трудности; военные институты, созданные Учредительным собранием, были весьма сложными. Например, принимать национальных гвардейцев и направлять их на границу должен был военный министр; но набирать, снаряжать и вооружать их должны были директории департаментов. Отсюда повседневные осложнения и даже нескончаемые неприятности, которые могла одолеть только героическая преданность новому порядку. Однако Дюпорту этот порядок лишь терпел, но не любил, и малейшая критика со стороны Законодательного собрания выводила его из себя. Поэтому, несмотря на свои административные таланты, он был бессилён.

Бертран де Мольвиль занял пост морского министра 1 октября, в тот самый день, когда открылись заседания Законодательного собрания. Это был контрреволюционер, лгун и мошенник. Его мемуары<sup>21</sup> полны множеством нелепых утверждений и гнусной клеветы на деятелей Революции, и даже роялисты вроде Малле дю Пана не смогли добиться от него исправления совершенно ложных утверждений. Он считал себя очень ловким, поскольку при управлении таким обширным ведомством, как морское, где были многочисленные контрреволюционные элементы, умел создать видимость, будто буквально выполняет конституцию, парализуя ее действие с помощью своего рода тайного предательства и постоянного вероломства. Он беспрестанно повторяет, что надо было бы раскрыть истинный характер конституции, и бесстыдно признается в своем методе тайной дезорганизации. Например, в тот момент, когда высшие офицеры флота как будто устроили стачку и отказались от командования в Брестском порту, где неоднократно

восставали матросы<sup>22</sup>, бывший начальник эскадры г-н Пенье выразил готовность принять командование.

«Он уже давно жил в своем замке в горах Бигора и не поддерживал отношений ни с кем. Я придумал способ использовать это обстоятельство таким образом, чтобы увеличить свой авторитет в Совете и оказать услугу г-ну де Пенье, раскрыв ему глаза на последствия его согласия принять на себя командование. Я в тот же день огласил в Совете его письмо и, воздав ему хвалу по заслугам, предложил королю, посвященному мною в тайну, выразить г-ну де Пенье свое удовлетворение в письме, проект которого я прочитал, и немедленно назначить его командующим флотом в Бресте вместо г-на де ла Грандьера, отказавшегося от этого поста.

Оба эти предложения были приняты и весьма одобрены всеми министрами, которые высказали мнение, что к г-ну де Пенье следует послать курьера для вручения ему письма короля; но я указал, что он получит письмо почти немедленно по почте, которая отправлялась на следующий день, и что тем более бесполезно тратиться на отправку специального курьера, что в Бресте, где временно командует превосходный офицер г-н Бернар де Мариньи, не существует никакой опасности.

Истинным мотивом моего нежелания проявить поспешность в этом деле была важность, какую я придавал тому, чтобы письмо короля к г-ну де Пенье не пришло раньше, чем он получит письма, которые, как я рассчитывал, написали бы ему его друзья, чтобы сообщить о нынешнем состоянии флота и дать ему возможность принять окончательное решение со знанием дела; в результате г-н де Пенье в своем ответе на письмо короля отказался от командования флотом в Бресте и взял обратно свое согласие на новый

18. Ibid., p. 225.

19. Делессар (1741—1792) — докладчик в государственном совете, в 1790 г. генеральный контролер финансов, в 1791 г. министр внутренних дел, затем с 30 ноября того же года министр иностранных дел вместо Монморена. Делессар был против политики войны, что сделало его непопулярным. Преданный Национальному Верховному суду, он был убит 9 сентября 1792 г. при перевозе арестованных из Орлеана в Версаль.

20. Дюпорту (1743—1802) — подвижник Лафайета во время войны за независимость в Северной Америке; в 1788 г. бригадный генерал, в 1790 г. военный министр; подал в отставку 2 де-

кабря 1791 г. После вынесения 15 августа 1792 г. постановления о предании его суду он скрывался вплоть до 9 термидора. Эмигрировал в Америку, был вызван оттуда Бонапартом; погиб в море во время переезда в 1802 г.

Бертран де Мольвиль (1744—1818) — королевский интендант провинции Бретань, в 1791 г. морской министр; эмигрировал после 10 августа 1792 г., возвратился во Францию в 1815 г.

21. «Mémoires particuliers pour servir à l'histoire de la fin du règne de Louis XVI», Paris, 1816, 2 vol.

22. См.: O. H a v a r d. La Révolution dans les ports de guerre. Paris, 1911—1913, 2 vol. О событиях в Бресте см. т. II, p. 1—430.

чин, который ему был дан. *Признаюсь, что, несмотря на то что я присягнул Конституции, восстановление дисциплины в портах и на кораблях казалось мне невозможным при новом порядке, и я считал себя вправе по совести желать, чтобы все достойные морские офицеры оставили, по крайней мере на некоторое время, службу, которую они более не могли продолжать с честью, не подвергаясь опасности быть убитыми».*

Что за плут! Но эта система тайного предательства Революции не отличалась ни малейшей решительностью, и политика короля казалась столь же бессильной, сколь и сама Революция.

## НАСТУПЛЕНИЕ ЖИРОНДЫ

В обстановке такой всеобщей растерянности и как бы временного паралича партий и сил Бриссо, проявив необычайную смелость, усмотрел в войне единственное средство вызвать новое движение, подхлестнуть революционную энергию, подвергнуть короля испытанию и либо заставить его наконец покориться Революции, либо свергнуть его.

Война расширяла арену для действий, для свободы и славы. Она вынуждала изменников обнаружить себя, и тайные интриги сметались, как затопленный ураганом муравейник.

Война позволяла партиям действия увлечь за собой умеренных, а в случае надобности принудить их к тому, ибо равнодушие к Революции было бы осуждено как измена самому отечеству.

Наконец, чувства неизвестности и опасности, крайнее возбуждение национальной гордости, которые несла с собой война, оживляли энергию народа. Уже невозможно было повести его на штурм королевской власти, используя только средства внутренней политики. Казалось, над Революцией тяготел какой-то кошмар бессилия. Как! Ни 14 июля, ни 6 октября, ни даже после Варенна мы не сумели ни свергнуть короля, ни заставить его покориться! Более того, после каждого боя, который выдерживает королевская власть, даже после каждой ошибки, которую она совершает, ее сила, по-видимому, растет; и тогда, когда следовало бы покарать короля, преследуют одних только демократов! Чтобы рассеять эти вековые чары королевской власти, надо, чтобы она наконец покорилась Революции или же чтобы явной изменой отечеству она возбудила против себя гнев граждан, уже воспламененных борьбой против иностранных держав.

Итак, Жиронда хотела превратить войну в грозный маневр внутренней политики. Какая страшная ответственность! При мысли о неслыханных испытаниях, которым подвергнется Франция, при мысли о том, что за этот минутный подъем будет заплачено двадцатью годами кровавого цезаризма, а затем, с 1815 г. до 1848 г., можно даже сказать, с 1815 г. до 1870 г., Франция будет обладать меньшей свободой, чем при Конституции 1791 г., при мысли о том, что вооруженная пропаганда революционных принципов возбудила против нас национальное чувство народов и создала чудовищное военное государство, под игом которого гибнут народы, возникает вопрос, имела ли Жиронда право сыграть эту необычайную партию в кости.

Иностранные государи не хотели войны, и, по-видимому, если бы демократическая партия была сплоченной, бдительной и осторожной, если бы она боролась против подозрительных министров, если бы она постепенно заставила короля согласиться на назначение министров-патриотов, если бы она неустанно старалась распространять демократические идеи, если бы она в случае необходимости открыто объявила войну королевской власти, то она могла бы завершить Революцию, не подвергая ее превратностям военных авантюр. Но силу политики жирондистов составляло то, что в 1791 и 1792 гг. она казалась единственным средством к действию; ощущавшаяся внутри страны усталость народа заставляла партии действия искать новые источники энергии. Мишле сказал о войне, что океан Революции вышел из берегов и жирондисты явились на гребне его волн. Нет, океан Революции не выходил из берегов, наоборот, он утих, и именно из страха, как бы Революция, застывшая на спокойной поверхности моря, не оказалась во власти врагов, Жиронда и развязала войну, словно ветер, несущий бурю. С каким легкомыслием! С какой непредусмотрительностью и самонадеянностью! Когда для осуществления внутриполитического плана рассчитывают на чувства, которые вызовут в народе военные тревоги, когда рассчитывают на гнев, какой породит в народе измена, то надо готовиться к любым ужасам, к любым ослеплениям; надо заранее полностью принести себя в жертву, надо предвидеть, что подозрение в измене падает не только на предателей, но, быть может, и на честных граждан; надо быть готовым прощать поднятому таким образом народу все ошибки, все насилия.

Но жирондисты льстили себя надеждой, что они направят, куда им будет угодно, эти темные воды. Они льстили себя надеждой, что поставят предел и укажут путь патриотическому и народному гневу. Они считали себя непогрешимыми руководителями, вечными владыками, властителями темного океана и воображали, что направляемая ими ладья Революции вновь легко пересечет Стикс войны после того, как отвезет в ад мертвую королевскую власть.

Итак, обретает очертания политика Жиронды: она будет изводить и подвергать нападкам министров, пока не заставит их занять по отношению к иностранным державам провокационную позицию; она будет раздувать ничтожные инциденты на границе, возникающие в связи с присутствием нескольких тысяч эмигрантов в Кобленце и Вормсе. Вместо того чтобы умерять проявления национальной чувствительности, она будет беспрестанно ее раздражать и приведет Собрание, ультиматум за ультиматумом, к объявлению войны. Она будет готова и к тому, чтобы управлять именем короля, если он отдастся в ее руки, и к тому, чтобы свергнуть его во время великого военного кризиса и провозгласить республику. И, ведя немислимую двойственную игру, она будет и крайне возбуждать страну и в то же время успокаивать ее, она подготовит войну, утверждая, что державы ее не хотят, не могут ее хотеть.

Вначале, после первого опьянения речью Бриссо, Собрание, казалось, почувствовало опасность, давались советы соблюдать осторожность. Депутат от департамента Верхний Рейн Кох доказывал на заседании от 22 октября, что сборища эмигрантов никоим образом не могли представлять опасность.

## ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЕРНЬО

25 октября Верньо поддержал идею, выдвинутую Бриссо, заявив, что для революционной Франции безопасность в наступлении<sup>1</sup>: «Разумеется, я отнюдь не намерен рисовать здесь пустые страхи, от которых я сам очень далек. Нет, они ничуть не опасны, эти мятежники, столь же смешные, сколь и наглые, прикрывающие свои преступные сборища причудливым названием *«Внешняя Франция»*; их средства иссякают с каждым днем. Увеличение их числа только приближает их к полному истреблению всяких средств к существованию. Рубли гордой Екатерины и голландские миллионы тратятся на поездки, на переговоры, на беспорядочные приготовления; и к тому же их недостаточно для роскошного образа жизни главарей мятежа. Вскоре мы увидим, как эти высокомерные нищие, не сумевшие ужиться в стране равенства, будут искупать в позоре и нищете преступления, порожденные их гордостью, и обратят свои полные слез глаза к покинутому ими отече-

1. По словам Мишле, Собрание «вновь обрело в лице Верньо благородство и торжественность, существе Мирабо, величие его грома, если не блеск его молний. Но хотя тон Верньо был менее суровым и менее проникновенным,

достоинство и гармония его речей отражали достоинство и гармонию души, гораздо более уравновешенной и всегда витавшей в высоких и чистых сферах». *M i c h e l e t. Histoire de la Révolution française, t. I, p. 820.*

ству. А если их ярость, более сильная, чем их раскаяние, толкнет их с оружием в руках против их отчизны, то без поддержки иностранных держав, вынужденные полагаться на одни только собственные силы, чем окажутся они, как не жалкими пигмеями, в приступе безумия осмелившимися повторить попытку титанов, восставших против неба? (*Аплодисменты.*)

Что касается империй, которые они умоляют о помощи, то те слишком отдалены и слишком утомлены Северной войной, чтобы их планы могли внушить нам большие опасения. К тому же одобрение королем конституционного акта, по-видимому, расстроило все враждебные замыслы. Согласно последним новостям, Россия и Швеция разоружаются, а в Нидерландах эмигранты не получают никакой иной помощи, кроме гостеприимства.

А главное, поверьте, господа, что короли немало встревожены. Они знают, что для философского духа, давшего вам свободу, не существует Пиренеев; они не решатся послать своих солдат в земли, еще охваченные этим священным огнем; они будут трепетать от страха, как бы день сражения не превратил две неприятельские армии в единый братский народ. (*Аплодисменты.*) Но если бы в конце концов пришлось помериться силами и мужеством, то мы бы вспомнили, что несколько тысяч греков, сражавшихся за свободу, одержали верх над миллионами персов, и, сражаясь за такое же дело и с таким же мужеством, мы надеялись бы также восторжествовать.

Но как бы ни был я спокоен насчет событий, которые сулит нам будущее, я тем не менее полагаю необходимым принять все меры предосторожности, кои диктует осмотрительность. Небо еще затянато тучами, и было бы легкомыслием считать себя в полной безопасности от грозы; ничто не скрывает от нас недоброжелательства иностранных держав; его доподлинно доказывает целая цепь фактов, которые так убедительно представил вам в своей речи г-н Бриссо. Оскорбления, нанесенные национальным цветам, и свидание в Пильнице служат предостережением, которое сделала нам их ненависть и принять во внимание которое нас обязывает благоразумие. Быть может, их нынешнее бездействие таит в себе глубокое притворство. Нас старались расколоть. Кто знает, не хотят ли нам внушить опасную уверенность в безопасности?»

И, возбудив таким образом тревогу и преувеличив опасность, которой эмигранты косвенно могли подвергнуть Францию, Верньо прибавляет:

«Я слышу здесь голос, восклицающий: где законные доказательства тех фактов, которые вы приводите? Когда вы представите их, тогда настанет время покарать виновных. Вам, ведущим такие речи, следовало бы находиться в римском сенате, когда Цицерон раскрыл заговор Катилины! Вы тоже потребовали бы от него законных доказательств! Законные доказательства! Дождитесь вторжения, которое, несомненно, будет отражено вашим мужеством,

но подвергнет разграблению и погубит ваши пограничные департаменты и их несчастных жителей. Законные доказательства! Значит, вы не ставите ни во что кровь, которой они стоили бы вам. Ах! Лучше предупредим бедствия, которые могли бы их нам доставить.

Примем наконец решительные меры; не потерпим более, чтобы мятежники считали наше великодушие слабостью; внушим Европе уважение своим гордым самообладанием; рассеем призрак контрреволюции, вокруг которого хотят сплотиться безумцы, желающие ее; избавим нацию от жужжания насекомых, жаждущих ее крови, тревожащих и утомляющих ее, и вернем народу спокойствие». (*Аплодисменты.*)

И в заключение Верньо потребовал суровых мер против всех эмигрантов, но особенно против братьев короля, в сентиментальной и трогательной тираде о самом короле:

«Говорят о глубоком горе, от которого будет страдать король. Брут убил своих сыновей\*, совершивших преступление против отечества. Сердце Людовика XVI не будет подвергнуто столь тяжкому испытанию, но королю свободного народа подобает проявить себя столь великим, чтобы заслужить славу Брута... Если бы принцы оказались бесчувственными к словам любви и в то же время ослушались приказаний короля, то не явилось ли бы это в глазах Франции и Европы доказательством того, что они, будучи плохими братьями и плохими гражданами, стремятся не только захватить при помощи контрреволюции власть, которой Конституция облакает короля, но и ниспровергнуть саму Конституцию. (*Громкие аплодисменты.*)

В этом важном случае их поведение раскроет перед ним до конца всю их душу, и если для него будет огорчением не найти там чувств любви и покорности, которые они должны питать к нему, то пусть он, как пламенный защитник Конституции и свободы, обратится к сердцам французов и обретет в них утешение в своих потерях». (*Громкие аплодисменты.*)<sup>2</sup>

## ДЕКРЕТ ПРОТИВ МОСЬЕ

31 октября Собрание издало следующий декрет<sup>3</sup>:

«Национальное собрание, принимая во внимание, что наследник престола — несовершеннолетний и что французский принц

\* Согласно легенде, Луций Юний Брут, основатель Республики в Риме, осудил на смерть своих сыновей, когда узнал об их участии в заговоре в пользу изгнанного из Рима последнего царя Тар-

квиния Гордого. — *Прим. ред.*  
2. 30 октября 1791 г. Верньо был избран председателем Законодательного собрания. «Moniteur», X, 261.  
3. «Moniteur», X, 270.

Людовик Станислав Ксаверий, совершеннолетний родственник его, который первым должен быть призван к регентству, находится вне королевства, во исполнение статьи 2 раздела III французской Конституции<sup>4</sup> объявляет, что французского принца Людовика Станислава Ксаверия просят возвратиться в королевство до истечения двух месяцев, считая с того дня, когда прокламация Законодательного корпуса будет опубликована в городе Париже, служащем ныне местом его заседаний.

В случае если французский принц Людовик Станислав Ксаверий не возвратится в королевство по истечении вышеуказанного срока, он будет считаться отказавшимся от своего права на регентство в соответствии со статьей 2 конституционного акта.

Национальное собрание декретирует, что во исполнение декрета от 30 числа сего месяца<sup>5</sup> прокламация нижеследующего содержания будет по истечении трех дней напечатана, расклеена и обнародована в городе Париже и что исполнительная власть в течение трех последующих дней представит Национальному собранию отчет о тех мерах, какие она примет для исполнения настоящего декрета.

#### Прокламация

Французский принц Людовик Станислав Ксаверий, Национальное собрание в силу французской Конституции, часть III, глава 2, раздел III, статья 2, просит Вас возвратиться в королевство в течение двух месяцев, считая с сего дня; в противном случае по истечении упомянутого срока Вы будете считаться отказавшимся от своего права на регентство, если возникнет надобность в его осуществлении».

Это было довольно пустое заявление, так как было хорошо известно, что старший из братьев короля не возвратится; и какое для него значение имело лишение его права на регентство революционным Собранием, которое он намеревался разгромить? Но Законодательное собрание хотело создать впечатление, будто оно действует.

### ДЕКРЕТ ПРОТИВ ЭМИГРАНТОВ

8 ноября один из умеренных, Дюкастель, предложил от имени комитета проект декрета, направленного против всех эмигрантов<sup>6</sup>: «Национальное собрание, заслушав доклад своего Комитета гражданского и уголовного законодательства, полагая, что священные интересы отечества призывают всех бежавших французов возвратиться; что закон обеспечивает им полную защиту; что тем не менее большая часть их объединяется под главенством вожаков, враждебных Конституции; что они подозреваются в заговоре против Франции и что великодушные нации могут еще дать им время раскаяться, но что, если в течение этого срока они не рассеются, они обнаружат, продолжая сборища, свои преступные планы; что

тогда они превратятся в явных заговорщиков; что как таковые они будут подлежать преследованию и наказанию и что общественное спокойствие уже требует принятия решительных мер, декретирует следующее:

«*Статья первая.* Французы, собравшиеся за границами королевства, отныне объявляются подозреваемыми в заговоре против отечества».

Эта статья была принята единогласно; действительная трудность заключалась не в том, чтобы сделать общее и неясное заявление, а в том, чтобы организовать действенные санкции, и неуверенность проявилась уже во второй статье:

«Если к 1 января 1792 г. они все еще будут устраивать сборища, то они будут объявлены виновными в заговоре и как таковые будут преследоваться и караться смертью»<sup>7</sup>.

Эта фраза была страшной. Но как юридически и с несомненною доказать, что действительно существовало «сборище» и что определенное лицо участвовало в сборище? Кутон кратко и решительно подчеркнул эту трудность:

«Сборище — преступление, и в этом нет никакого сомнения; но, господа, главная трудность состоит в том, чтобы установить факты, доказывающие сборище. В состоянии ли вы сделать это обычным путем сбора сведений? У вас не будет иных свидетелей, кроме французов, которые сами бежали, а вы знаете, насколько можно полагаться на их свидетельства». (Ропот.)

И вот Кутон предлагает заменить доказательство в собственном смысле законной презумпцией и представляет Собранию следующую проект:

«Считаться участниками сборища, до предъявления доказательств противного, и подлежать преследованию и наказанию будут те из французов, которые без уважительной законной причины остались бы за пределами королевства и не возвратились бы в него до 1 января 1792 г.»<sup>8</sup>.

4. Более точно: часть III — О государственных властях, глава II — О королевской власти, регентстве и министрах, раздел III — О регентстве, статья 2: «Регентство принадлежит ближайшему родственнику короля, в соответствии с порядком престолонаследия, достигшему двадцати пяти лет, при условии что он француз и уроженец Франции, что он не является заранее объявленным наследником другой короны и ранее принес гражданскую присягу. Женщины к регентству не допускаются».
5. 30 октября 1791 г. Законодательное собрание подтвердило свой

декрет от 28 октября о том, «что должна быть составлена прокламация с целью просить старшего из братьев короля возвратиться в королевство в течение предписанного Конституцией срока». («Moniteur», X, 259.) Это был двухмесячный срок.

6. Дюкастель (1740—1799) — адвокат, член Руанского муниципалитета, депутат Законодательного собрания от департамента Нижняя Сена. («Moniteur», X, 325, 327; «Archives parlementaires», XXIV, 699.
7. «Moniteur», X, 325.
8. «Moniteur», X, 326.

Среди части собрания поднялся ропот. Но отныне уже начинает находить сильную поддержку доктрина общественного спасения. Депутат Горгеро заявил<sup>9</sup>:

«Я думаю, что, когда у вас есть внутреннее убеждение, которое разделяет с вами вся Франция, вся Европа, когда у вас есть убеждение, которое станет убеждением потомков, я думаю, господа, *этих моральных доказательств должно быть достаточно для государственного деятеля.* Надо спасти государство, а вы не спасете его, если хотите судить заговорщиков как обыкновенных нарушителей порядка... Переход от Учредительного собрания к нынешней легислатуре должен быть полным и непреложным разрывом преемственности между старым и новым порядком. При старом порядке все могущественные люди ускользали от закона; теперь закон должен карать их всеми возможными и доступными средствами. Скажу без колебаний, что вы должны отказаться от Национального Верховного суда и от трибуналов, *от юридических форм,* потому что ваш первейший долг — спасти страну, вверенную вашему попечению». (*Аплодисменты.*)

Кутон ограничил применение своей поправки принцами и общественными должностными лицами<sup>10</sup>:

«Обвиняемыми в покушении и в заговоре против общественной безопасности и против Конституции и, следовательно, подлежащими судебному преследованию будут считаться те французские принцы и государственные должностные лица, которые остались бы за пределами королевства и не возвратились бы в него до 1 января будущего года».

В этой новой форме поправка Кутона была принята почти единогласно в дополнение к предложенной комитетом и принятой статье 2. Остальные статьи были приняты почти без прений<sup>11</sup>:

«*Статья 3.* В течение первой половины того же месяца будет созван Национальный Верховный суд, если в этом окажется надобность».

«*Статья 4.* Доходы эмигрантов, заочно осужденных, при их жизни будут поступать в пользу нации без ущерба для прав жен, детей и кредиторов, законность которых должна быть признана до принятия настоящего декрета».

«*Статья 5.* Отныне все доходы французских принцев, находящихся вне королевства, будут секвестрованы. Никакая выплата содержания, пенсии или доходов не может быть произведена прямо или косвенно упомянутым принцам, их представителям или уполномоченным, пока Национальное собрание не решит иначе под страхом привлечения к ответственности и двухлетнего тюремного заключения для лиц, распорядившихся выплатить деньги и выплативших их. То же постановление применимо ко всем государственным должностным лицам, гражданским или военным, и лицам, получающим государственную пенсию, в том, что касается их жалованья и пенсий».

«*Статья 6.* Все иски, необходимые для взимания доходов и секвестра, декретированных двумя предыдущими статьями, будут предъявляться по требованию прокуроров-синдиков департаментов по искам прокуроров-синдиков каждого дистрикта, где окажутся упомянутые доходы, и получаемые от них суммы будут вноситься в кассы сборщиков дистрикта, которые и будут в них отчитываться. Прокуроры-синдики будут ежемесячно представлять отчет о состоянии этих исков, принимаемых во исполнение вышеупомянутой статьи, в министерство внутренних дел, которое тоже будет ежемесячно отчитываться перед Собранием».

«*Статья 7.* Все государственные должностные лица, находившиеся за пределами королевства без законной на то причины до амнистии, объявленной законом от 15 сентября 1791 г., и не возвратившиеся во Францию, лишаются своих должностей и всякого жалованья».

«*Статья 8.* Все государственные должностные лица, покинувшие королевство после амнистии без законной на то причины, также лишаются своих должностей и жалованья, как и своих прав активных граждан».

«*Статья 9.* Ни одно государственное должностное лицо не может выехать из королевства без разрешения министра, в чьем ведомстве оно состоит, под страхом вышеупомянутой кары».

«*Статья 10.* Всякий офицер, каков бы ни был его чин, прекративший выполнение своих обязанностей без отпуска или не получив отставки, будет считаться виновным в дезертирстве и караться как солдат-дезертир. (*Громкие аплодисменты.*)»

«*Статья 11.* В соответствии с законом в каждой армейской дивизии будет учрежден военный суд для разбора воинских преступлений, совершенных после амнистии; помимо этого, общественные обвинители будут возбуждать судебное преследование по обвинению в воровстве против лиц, похитивших имущество или деньги, принадлежащие французским полкам».

«*Статья 12.* Всякий француз, который за пределами королевства завербует и наберет людей для участия в сборищах, указанных в статьях 1 и 2 настоящего декрета, подлежит смертной казни. Такая же кара постигнет всякого, кто совершит это же преступление во Франции».

«*Статья 13.* Запрещается вывоз из королевства всякого рода оружия, лошадей, боеприпасов».

И наконец, статья 14, чреватая военными действиями:

«Национальное собрание поручает своему Дипломатическому комитету предложить ему меры, кои короля попросят принять».

9. Горгеро (1739—1809) — судья трибунала V округа Парижа, депутат Законодательного собрания.

10. «Moniteur», X, 327.

11. «Moniteur», X, 325, 332.



от имени нации, в отношении граничащих с Францией иностранных держав, допускающих на своей территории сборища бежавших французов».

Заседание было закрыто в 6 часов под аплодисменты и восторженные возгласы на трибунах <sup>12</sup>.

Политика Жиронды восторжествовала. После слабой попытки оказать сопротивление умеренным пришлось согласиться на законы против эмигрантов; они не могли упорствовать, не будучи обвинены в том, что своей снисходительностью потворствуют вооруженному заговору против отечества. Затем, если бы король санкционировал эти декреты, он стал бы жертвой обстоятельств; меры против эмигрантов оставались бы безрезультатными, если бы иностранные державы не рассеяли их сборищ; это, несомненно, вело к дипломатическим осложнениям, которые могли бы привести к войне, а война придала бы Революции новый порыв. Наоборот, если бы король отказался санкционировать декреты, то всем стало бы ясно, что только великий кризис, как внешний, так и внутренний, мог бы вновь привести в движение Революцию. Наконец, сама тщетность законов, изданных против эмигрантов, находящихся вне пределов досягаемости, естественно, внушила бы стране мысль о более решительных действиях. Бриссо мог с уверенностью ждать событий. Его план начал претворяться в дела.

## ТРЕВОГА ДЕМОКРАТОВ

Однако у некоторых демократов пробуждается недоверие. Робеспьера еще нет в Париже, он уехал на несколько недель в Аррас отдохнуть, но, несомненно, начинает беспокоиться, так как через две недели возвращается в Париж <sup>13</sup>. Газета Прюдома выражает смутную тревогу; она, по-видимому, еще не предполагает, что принятый курс ведет к войне. Но она спрашивает, не обманывают ли нацию <sup>14</sup>:

«Все задаются вопросом, но никто не знает, каковы будут последствия декрета. Прежде всего кажется весьма странным, что проект декрета представил г-н Дюкастель, излагавший в ходе дискуссии совершенно противоположные взгляды; еще более удивительно, что этот декрет не встретил заметного противодействия сторонников правительства... Змея прячется в траве. Будем остерегаться, как бы это не оказалось ловушкой или по меньшей мере игрой. Постановления Национального собрания недостаточно, нужна санкция короля, а санкционирует ли он? Подпишет ли он смертный приговор своим братьям? Если он этого не сделает, то какое решение следует тогда принять? А если сделает, то верить ли его искренности? И если предположить, что король санкционирует, если предположить, что он не станет противодействовать исполнению этого декрета, то рассеются ли отряды эмигрантов?

Возвратятся ли они во Францию? Хватит ли у них мужества для раскаяния? Все признаки заставляют полагать, что не хватит; эти отверженные не устоят перед ложным чувством славы; они не разойдутся; они нападут на свое отечество; если так, то никакой жалости, пусть закон будет непреклонен при вынесении судебных приговоров так же, как нестигаема будет шпага храбрых национальных гвардейцев на наших рубежах; нужно, чтобы внутри страны заговорщики нашли гражданскую смерть; *нужно, чтобы за пределами страны они пали от кинжала тиранубийц*; но пусть Национальное собрание остерегается министров; пусть оно остерегается короля; пусть оно остерегается всего того, что находится вблизи от него; если же оно приняло этот декрет лишь для того, чтобы обмануть народ, если оно не будет тщательно следить за его исполнением... то топор занесен; надо, чтобы он нанес сильные удары».

Очевидно, в умах революционеров из газеты Прюдома была полная растерянность и неясность <sup>15</sup>. Они не предостерегают народ от искусственного раздувания вопроса об эмигрантах; ведь таким образом преувеличенный, он будет разрешен только путем войны. Они делают широкие угрожающие жесты и, не подозревая того, способствуют воинственной политике Жиронды. Марат тоже еще действует ощупью. Он, по-видимому, верит в непосредственно угрожающее вторжение иностранных держав и 4 ноября пишет <sup>16</sup>:

«Вопреки миролюбивым заверениям Монморена и по его собственному признанию мы все еще имеем против себя державы, враждебных замыслов которых нам следовало бы опасаться; после подобного признания стоило ли еще труда нас убаюкивать? Но что я говорю? Его внезапная отставка служит самым верным признаком того, что на нас вот-вот нападут эти столь миролюбивые державы. Теперь, когда страшный взрыв разоблачит его обман и его происки, он боится, что каждую минуту может раскрыться все коварство преступных маневров, с помощью которых он восстановил их против нас, и он смеется над законом об ответственности, спасаясь бегством от более чем справедливой кары».

12. Декрет против эмигрантов был принят Законодательным собранием 8 ноября 1791 г. «в предварительной редакции». «Moniteur», X, 328. В окончательной редакции декрет был принят 9 ноября. «Moniteur», X, 332.

13. Освободившись от обязанностей депутата со времени открытия 1 октября 1791 г. заседаний Законодательного собрания, Робеспьер уехал в Аррас, куда он прибыл 14 октября. Он возвратился в Париж 28 ноября и в тот же вечер пришел в Якобинский

клуб, где его встретили с энтузиазмом и избрали председателем. E. Hamel. Histoire de Robespierre, t. II, p. 24. См. далее с. 134.

14. «Révolutions de Paris», № 70, 6—13 novembre 1791.

15. В это время в газете Прюдома сотрудничали Шометт, Фабр д'Эглантин, Сильвен Марешаль.

16. «L'Ami du peuple...», 4 novembre 1791. Заголовок: «Картина бедствий и несчастий, грозящих опустошить Францию».

Но если Марат ошибается насчет намерений держав в тот момент, то он, во всяком случае, избегает всего того, что может послужить поводом для войны. Он показывает истинную цену мероприятий Собрания против эмигрантов. Он доказывает, что они будут тщетны и что главная задача — бороться в самой Франции против королевской власти.

12 ноября он пишет <sup>17</sup>:

«Недумающий читатель будет, несомненно, возмущен моим суждением о декрете против эмигрантов-контрреволюционеров; так и должно быть, ведь нужны сведения, которыми не располагает большинство людей, чтобы различить его пороки, таящиеся за внешней суровостью, вполне способной произвести внушительное впечатление на неразмысляющую массу. Прожужжите все уши народу громкими фразами о любви к отечеству, о монархии, о свободе, о защите прав человека, о суверенитете нации; что за важность, если обманщики, у которых слова эти не сходят с уст, пускают их в ход для того, чтобы заковать народ в цепи, он им оглушительно рукоплещет... Что же будет, если вы станете как будто строго наказывать тех, на кого он привык смотреть как на врагов, как на изменников и заговорщиков? Услыхав о конфискации имущества тех, кто будет осужден, он стал издавать крики радости, не задумываясь о том, будут ли они когда-нибудь осуждены. Услышав о смертной казни, ожидающей главарей заговора, он стал изливать свои восторги, не думая о том, сможет ли когда-нибудь постигнуть их эта кара...

Что же делать? — спросил меня один патриот, несколько умерив свою радость, после того как узнал мое мнение о декрете, который он мне передал. — *Готовиться к гражданской войне, ставшей наконец неизбежной, ждать ее и прежде всего раздавить наших врагов внутри страны, занимающих все места, дающие власть и предполагающие доверие; только истребив их, мы сможем успешно действовать против наших врагов вне страны, сколь бы многочисленны они ни были.* До этого, что бы мы ни предпринимали, все будет совершенно бесполезно; ибо если предположить, что законодатель наконец решится спасти Францию и добиться торжества свободы (чему я совсем не верю), то какому государственному должностному лицу доверит он исполнение своих декретов, кто бы уже не продался или не готов был бы продаться государю? А ведь сам государь является главой заговорщиков против отечества. Будьте уверены, что, пока ключи от государственной казны будут в его руках, он будет душой всех предприятий».

Итак, Марат хочет, чтобы Революция завершилась непосредственно внутри страны, а не гибельным, окольным путем войны; чтобы Революция поставила на все важные посты своих верных людей и чтобы она закончилась штурмом Тюильри; Марат советует осуществить то, что произошло 10 августа, но без предварительного объявления войны державам; если бы все революционе-

ры-демократы договорились между собой, чтобы успокоить возбуждение народа против мнимой опасности со стороны эмигрантов и направить усилия народа на борьбу с внутренними врагами, то это было бы спасением для Революции <sup>18</sup>. Не известно, осмелились ли бы державы напасть на Революцию, победившую своих врагов внутри страны. Во всяком случае, надо было попытаться использовать эту возможность Революции, сохраняя мир, а не разжигать внешние конфликты, чтобы подогреть Революцию пламенем войны.

Нетрудно представить себе, что Марат, пока еще выражающий лишь некоторую тревогу, не замедлит выступить против политики жирондистов.

## ВЕТО КОРОЛЯ

12 ноября король дал знать Собранию через хранителя печати Дюпора-Дюерттра, что он санкционирует декрет против своего брата. Относительно общего декрета против эмигрантов он сообщил, что он *его рассмотрит*; это была официальная формула отказа в санкции. Собрание ответило на это сообщение глубоким молчанием. Но когда хранитель печати Дюпор-Дюерттр хотел объяснить, почему король отказал в санкции, поднялся ропот и Собрание заявило, что не желает выслушивать объяснения <sup>19</sup>.

Непосредственное столкновение между Собранием и королем было куда менее резким, чем можно было ожидать. Камбон даже дошел до того, что заявил <sup>20</sup>: «Наши враги получили в настоящий момент самое убедительное доказательство того, что король свободен среди своего народа и даже волен противиться всеобщему желанию; он только что наложил вето на весьма важный декрет. (*Аплодисменты.*) Я рукоплещу этому поступку, только что совершенному представителем [королем]; это величайшее свидетельство преданности Конституции, какое он только мог дать». (*Аплодисменты.*)

Нелегко понять, почему Людовик XVI отказался санкционировать этот декрет. В самом деле, он был для эмигрантов не очень опасен. Конфискацией имущества должны были караться лишь государственные должностные лица; в отношении прочих эмигрантов было трудно предъявить законные доказательства их участия в сборищах, и, поскольку как раз в этот момент тактика

17. «L'Ami du peuple...», 12 novembre 1791.

18. Это именно та аргументация, к которой вновь прибегнет Робеспьер в своих больших речах против войны: Кобленц находится в Париже.

19. «Moniteur», X, 360, 363; «Archives

parlementaires», XXXV, 27 et 103.

20. Камбон (1756—1820) — неопиант, в 1790 г. член муниципалитета в Монпелье, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Эрп. «Moniteur», X, 363.

Людовика XVI состояла в том, чтобы приобрести доверие народа, он мог бы, казалось, санкционировать этот декрет.

Он, конечно, опасался вызвать у эмигрантов еще большее раздражение и толкнуть их на неосторожные шаги, если бы им показалось, что он покинул их. Не утратил ли бы он и то малое влияние, которым он еще пользовался среди них, если бы они могли обвинить его в том, что он выдал их Революции? Чтобы смягчить в глазах Собрания и страны впечатление от своего отказа в санкции, король 16 ноября ознакомил Собрание со своей прокламацией к эмигрантам и со своим письмом к братьям<sup>21</sup>. Он уговаривал эмигрантов возвратиться и отказаться от всяких планов насильственных действий. «Возвращайтесь, таково желание каждого из ваших сограждан, таково воля вашего короля». Он уговаривал также вернуться и своих братьев. «Я докажу весьма торжественным актом и притом в деле, до вас касающемся, что я могу действовать свободно. Докажите мне, уступив моим настояниям, что вы — мой брат и француз. Ваше подлинное место — рядом со мной. Ваши интересы, ваши чувства тоже подсказывают вам, что вы должны вернуться и вновь занять его, и я, я тоже призываю вас к этому и, если надо, приказываю».

Напрасные призывы, тщетность которых Людовик XVI хорошо знал. Но этих документов оказалось достаточно, чтобы помешать какому бы то ни было резкому выступлению общественного мнения против отказа в санкции. Стране хотелось убедить себя в том, что король, доказав этим отказом свою свободу, честно пытался положить конец действиям эмигрантов и интригам принцев, и конфликт между королевской властью и Революцией не обрел резкого характера.

15 ноября кресло председателя Законодательного собрания вместо Верньо занял глава умеренных Вьено-Воблан<sup>22</sup>.

## ВОПРОС О ДУХОВЕНСТВЕ

Но в Собрании был поднят другой жгучий вопрос: стало необходимым спешно пресечь мятежные происки неприсягнувших священников. 12 ноября 1791 г., выступая с докладом от имени Законодательного комитета, Верьё нарисовал весьма тревожную картину клерикальной агитации<sup>23</sup>. «Нет таких средств, к каким не прибегли бы священники-смутьяны, чтобы испровергнуть, если это возможно, Конституцию, которую мы поклялись защищать, чтобы свести ее на нет среди ужасов гражданской войны. Коварные инсинуации, пагубные действия, мятежные речи, поджигательские сочинения, клевета на закон, вырвавший нас из рабства, домашние раздоры, оскорбления, установленных властей, отказ в совершении церковных таинств лицам, купившим национальные имуществы, со стороны незамещенных священников;

объединение этих священников с бывшими дворянами; открытые бунты против назначения священников, пекущихся об евангельской чистоте; кровные обиды, наносимые им у подножия алтарей; сборища, устраиваемые у церквей, чтобы мешать богослужению; толпы введенных в заблуждение и бунтующих женщин; изгоняемые, преследуемые, убиваемые священники; наконец, ожесточенные, одержимые фанатической ненавистью граждане, готовые перерезать друг другу горло, — вот, господа, беглая, общая картина бедствий, постигших часть Французского государства».

Но комитет, в котором преобладало влияние умеренных, 14 ноября ограничился предложением проекта декрета, требовавшего от духовенства принесения гражданской присяги и лишения тех, кто от нее откажется, пенсий и жалованья<sup>24</sup>.

Инар снова произнес громовую речь: «Я утверждаю, господа, что для преступлений подобного рода действительно применим только один закон: закон об изгнании из королевства священников-смутьянов. (*Аплодисменты на трибунах.*) Именно к этому средству прибегли против иезуитов, и иезуиты забыты<sup>25</sup>; вам удастся положить конец тлетворному влиянию виновного, только изгнав его; надо разлучить его с его прозелитами, ибо, наказав его любым иным способом, вы оставите ему возможность проповедовать, служить мессу (*смеж*) \*, исповедовать (и вы не сможете ли-

21. «Moniteur», X, 362. Прокламация короля от 12 ноября 1791 г. «Moniteur», X, 369. Письмо короля французским принцам, его братьям, от 16 октября 1791 г., за которым последовало письмо короля французскому принцу Людовику Станиславу Ксаверию от 11 ноября 1791 г. и письмо французскому принцу Шарлю Филиппу. Эти письма были опубликованы: «Lettre du roi aux princes français, ses frères», Paris, 1791; BN, 4° Lb<sup>39</sup> 5547, imp. in-4° 4 p.

22. Воблан, граф де Вьено (1756—1845) — накануне Революции офицер в отставке, в 1790 г. председатель директории департамента Сена и Марна, депутат Законодательного собрания. Воблан был избран его председателем 15 ноября 1791 г. 257 голосами из 343 голосовавших. «Moniteur», X, 379.

23. Верьё (? — 1799) — адвокат в Тулузе, судья трибунала дистрикта, депутат Законодательного собрания.

24. «Статья 1. ...Начиная с 1 ян-

варя будущего года каждый француз, проживающий в королевстве, получающий жалованье или пенсию от государственной казны, не сможет их получать, если не докажет выданным ему по месту жительства удостоверением муниципалитета, заверенным директорией дистрикта, что он принес гражданскую присягу, предусмотренную статьей 5 части II Конституции королевства». («Moniteur», X, 373.) Формула гражданской присяги гласила: «Я ланусь быть верным нации, закону и королю и поддерживать всеми моими силами Конституцию королевства, декретированную Национальным собранием в 1789, 1790 и 1791 гг.»

25. В 1762 г. Парижский парламент объявил устав Ордена иезуитов противоречащим общественному порядку. Эдиктом от ноября 1764 г. иезуитам было разрешено жить в королевстве только в качестве частных лиц.

\* В оригинале «messes». Оратор иронически употребил несуществующий глагол от слова «messes».

шить его этой возможности, пока он остается в королевстве); слабо наказанный, он причинит вам больше зла, чем прощенный. Я смотрю на священников-смутьянов, как на больных чумой, которых следует отправить в лазареты Испании и Италии... (*Аплодисменты, ропот и возгласы одобрения.*) Виновного священника надо наказывать. Отныне всякий путь умиротворения бесполезен, и я спрашиваю, что дало нам до сего времени такое множество повторных помилований. Наша снисходительность усилила наглость наших врагов; надо, следовательно, изменить систему и применить наконец суровые меры. Ах, пусть мне не говорят, что мы, желая уничтожить фанатизм, удвоим его силу: это чудовище уже не то, каким было; оно долго не проживет в атмосфере свободы; уже раненное философией, оно не сможет оказать сильного сопротивления; сократим же его опасную и судорожную агонию, нанеся ему последний удар мечом закона. Весь мир будет рукоплескать этой великой казни, так как во все времена и у всех народов фанатики-священнослужители были бичом общества, убийцами рода человеческого; все страницы истории запятнаны их преступлениями; они повсюду делают легковерный народ слепым, терзают невинность страхом и сличком часто продают преступникам те небеса, которые бог дарует одним только праведникам». (*Долгие аплодисменты.*)

Таким образом, ясно наметилась ожесточенная борьба между Революцией и церковью.

Но пылкому жирондисту Инару не терпится вступить в бой, по-видимому грозящий всему миру. Ветер его слов далеко разносит жгучие семена войны.

«И вы могли бы поверить, — восклицает он со странным смешением вдохновения и высокомерия, — вы могли бы поверить, что Французская революция, самая удивительная из тех, что озарялись лучами солнца, революция, которая внезапно вырывает у деспотизма его железный скипетр, у аристократии — ее бичи, у теократии — ее золотые россыпи; которая с корнем вырывает дуб феодализма, поражает молнией парламентский кипарис, обезоруживает нетерпимость, рвет монашеские облачения, опрокидывает пьедестал дворянства, разбивает талисман суеверия, душит сутяжничество, уничтожает налоговую систему; революция, которая, несомненно, *всколыхнет все народы*, заставит корону склониться перед законами, поставит министров перед выбором между долгом и казнью и *осчастливит весь мир*, — совершится мирно, без того, чтобы не предприняли новых попыток сорвать ее? *Нет, Французской революции нужна развязка.*»

В тот момент Жиронду охватывает эта поспешность, это лихорадочное стремление покончить со всеми врагами, внутренними и внешними. Всегда во всех речах жирондистов, о чем бы они ни говорили, пламенем охвачен мировой горизонт. Этот воинствующий энтузиазм исполнен величия, но он исполнен и опасности для дела

свободы. Речь Инара несколько испугала Собрание. Один из его членов воскликнул: «Я требую, чтобы эту речь отослали Марату!» И вопреки настояниям левой Собрание отказалось вотировать ее напечатание. Оно искало промежуточного решения между чересчур примирительными законами комитета и законами об изгнании, предлагаемыми Инаром. И оно потребовало от комитета нового доклада и нового проекта.

## ПРОЕКТ ФРАНСУА ДЕ НЁШАТО

Проект, представленный Франсуа де Нёшато, был принят почти целиком<sup>26</sup>. Статья 7 вызвала довольно оживленную дискуссию, причем Инар безуспешно повторил свое предложение о высылке мятежных священников. Оно было отвергнуто, но докладчик Франсуа де Нёшато ограничился возражением, что оно «преждевременно». И добавил: «Это одна из тех общих мер, которые вы отложите, пока вы не заслушаете отчеты, затребованные вами от департаментских директорий»<sup>27</sup>.

Таким образом, Революция сохранила это грозное оружие. Возникли также споры по поводу дополнительной статьи, предложенной Альбиттом<sup>28</sup>. Последний, видимо, опасался вызвать раздражение у части католического населения, лишив его всех средств для совершения богослужения, если оно не последует за конституционным священником. Он предложил следующую поправку: «Церкви или принадлежащие нации здания смогут быть *использованы бесплатно* для нужд только того культа, отправление которого совершается за счет нации. *Однако всякое объединение верующих сможет купить те из упомянутых церквей, которые не используются для упомянутого культа, и публично совершать там свое богослужение* под надзором установленных властей в соответствии с законами о поддержании общественного порядка»<sup>29</sup>.

се» — «месса, обедня», что и вызвало смех. — *Прим. ред.*

26. Франсуа де Нёшато (1750—1828) — адвокат, в 1790 г. член администрации департамента Вогезы, депутат Законодательного собрания. «Archives parlementaires», XXXV, 88.

27. «Moniteur», X, 407. Проект статьи 7 гласил: «В случае неповиновения постановлению директории департамента виновные будут привлекаться к суду и караться одним годом тюремного заключения». Инар предложил поправку: «и караться двумя годами высылки за пределы ко-

ролевства. Это мера одновременно и более мягкая, и более действенная». Несмотря на поддержку со стороны Дюзма и Альбитта, эта поправка была отвергнута.

28. Альбитт (1761—1812) — адвокат, notable из Дьепа, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Нижняя Сена.

29. «Moniteur», X, 467, заседание от 25 ноября 1791 г. После обсуждения Собрание приняло предложенную Альбиттом дополнительную статью в предварительной редакции.

Это казалось весьма либеральным, но сводило на нет закон, если только это постановление не было совершенно пустым. Если бы католики, не признававшие конституционного священника, могли покупать здания, в которых не отправлялся признанный законом культ, в приходах, где его влияние было бы ничтожным, то церкви вскоре стали бы принадлежать неприсягнувшим священникам. Но должно ли требовать от последних присяги? Если бы ее от них потребовали, то поправка Альбитта утратила бы всякий смысл. Если бы они были освобождены от присяги, то это свело бы на нет весь закон и священникам, отказавшимся присягнуть, было бы разрешено публично служить мессе в тех же церквях, где еще накануне совершалось официальное богослужение, при единственном условии, что объединившиеся вокруг них верующие приобрели бы эти церковные здания на свои деньги.

Несомненно, стремясь не доводить до крайности эту религиозную войну, Верньо и Гюаде некоторое время, по-видимому, относились положительно к предложению Альбитта. Но что за непоследовательность со стороны жирондистов! Они боялись разжечь в стране фанатизм католиков; они хотели по возможности смягчить конфликт между конституционным культом и старыми привычками, и в то же время они терпели и поощряли маневры Бриссо, который и в Дипломатическом комитете, и с трибуны Собрания толкал Францию к войне с Европой. Словно трагический конфликт Революции с иностранными державами не усугубил бы во много раз всех внутренних конфликтов! Воинственные громовые речи жирондиста Инара раздирали слух и напрягали нервы до крайности в тот самый момент, когда его друзья пытались хоть сколько-нибудь смягчить столкновение, в которое пришли католические предрассудки с Революцией. Франсуа де Нёшато легко доказал, выступая от имени комитета, что поправка Альбитта, вновь открывавшая храмы неприсягнувшим священникам, находилась в полном противоречии с направленным против них законом, и, желая добиться окончательного принятия проекта в целом, он резюмировал в немногих кратких и сильных словах светскую доктрину Революции:

«Я спрашиваю, можно ли требовать терпимости к мнениям, являющимся не теологическими воззрениями, а совершенно явными причинами смуты, поводами мятежа, зародышами раздоров и междоусобной войны. Я спрашиваю, является ли то жестокостью и притеснением со стороны законодателя, если он, желая предотвратить эту смуту, обяжет священников, подозреваемых в том, что они держатся системы, столь противоречащей общественному порядку, принести гражданскую присягу. Я спрашиваю, можно ли предоставить тем, кто отказывается этому подчиниться, возможность отправлять так называемый частный культ, который в действительности отличается от оплачиваемого государством только тем, что служители последнего проявили себя

достойными гражданами и содействовали своим патриотизмом Революции, давшей нам свободу и равенство прав.

Господа, я резюмирую.

Церковь находится в государстве, но государство не находится в церкви. Вы не совершите такой ошибки, вы не допустите существования государства в государстве; вы не подчините всего общества, великой семьи, суверенного народа, чьи интересы доверены вам, честолюбию и алчности нескольких личностей. Вы скажете этим личностям, что они, если они добросовестны, не должны отказываться дать тому доказательство; что их церковь, если она хочет быть принята в государстве, должна подчиняться законам государства; ее служители должны принести присягу в повиновении и верности государству». (*Долгие аплодисменты.*)

Как мы видим, Законодательное собрание было еще дальше, если это возможно, чем Учредительное собрание, от всякой мысли об отделении церкви от государства. Наоборот, церковь должна быть связана законом государства, законом Революции. И мы сами в тот день, когда Республика упразднит бюджет культов и отменит конкордат, мы не должны забывать о смелой революционной мысли: церковная организация не должна образовывать «государства в государстве».

## ДЕКРЕТ ПРОТИВ НЕПРИСЯГНУВШИХ СВЯЩЕННИКОВ

Под впечатлением сильной речи Франсуа де Нёшато Законодательное собрание 29 ноября 1791 г. вотировало специальный закон об охране общественного порядка в связи с отправлением религиозного культа; закон, вокруг которого развернутся ожесточенные схватки и с полным текстом которого важно ознакомиться.

«Национальное собрание, заслушав доклад гражданских комиссаров, посланных в департамент Вандею, петиции многих граждан и доклад Комитета гражданского и уголовного законодательства о волнениях, вызванных под предлогом религии во многих департаментах королевства врагами общественного блага; принимая во внимание, что общественный договор должен связывать, равно как и защищать всех членов государства;

что важно недвусмысленно определить пределы этого обязательства, дабы путаница в словах не могла вызвать путаницы в мыслях; что чисто гражданская присяга есть залог, который каждый гражданин должен дать в своей верности закону и преданности обществу, и что различие религиозных убеждений не может служить препятствием для принесения присяги, поскольку Конституция обеспечивает каждому гражданину полную свободу религиозных убеждений, лишь бы их проявление не нарушало

порядка» или «не приводило к актам, наносящим ущерб общественной безопасности»;

что служитель какого-либо культа, отказываясь признать конституционный акт, разрешающий ему публично исповедовать свои религиозные убеждения, не налагая на него иных обязательств, кроме уважения к «установленному закону порядку» и к «общественной безопасности», объявил бы самым этим отказом о своем намерении их не уважать; *что, не желая признавать закон, он добровольно отрекся бы от преимуществ, которые может ему гарантировать один только закон;*

что Национальное собрание, собиравшееся спешно заняться разрешением важных задач, требующих его внимания для укрепления кредита и финансовой системы, к своему огорчению, оказалось вынужденным в первую очередь заняться беспорядками, которые могут привести к расстройству все общественные дела, препятствуя быстрой раскладке и мирному взысканию налогов;

что, доискиваясь причин этих беспорядков, оно слышало от всех просвещенных граждан по всей стране ту великую истину, что для врагов Конституции религия служит одним только предлогом, которым они злоупотребляют, и оружием, которым они смеют пользоваться, чтобы во имя неба устраивать смуту на земле;

что их затаенные преступления легко ускользают от обычных мер воздействия, кои не властны над тайными церемониями, в которые облечены их козни и посредством которых они имеют невидимую власть над душами;

что пора, наконец, рассеять этот мрак, дабы можно было отличить мирного и честного гражданина от мятежного и злокозненного священника, вздыхающего по былым злоупотреблениям; и не могущего простить Революции их уничтожение;

что эти причины настоятельно требуют от Законодательного корпуса принятия решительных политических мер для обуздания мятежников, прикрывающих свой заговор священным покровом;

что действительность этих новых мер зависит в значительной степени от патриотизма, осторожности и твердости муниципальных и административных органов и от энергии, какую данный ими толчок может придать всем установленным властям;

что в этих обстоятельствах администрация департаментов в особенности может оказать нации величайшую услугу и покрыть себя славой, стараясь оправдать доверие Национального собрания, которое всегда радо отметить ее заслуги, но в то же время будет сурово карать тех общественных должностных лиц, чье равнодушие к исполнению закона походило бы на молчаливое потворство врагам Конституции;

что, наконец, именно прогрессу здравого смысла и хорошо направленному общественному мнению предназначено во всяком случае обеспечить торжество закона, открыть глаза деревенским жителям на корыстное лицемерие тех, кто хочет убедить их в том,

будто создавшие Конституцию законодатели посягнули на религию их отцов, и не допустить, к чести французов, повторения в наш просвещенный век тех ужасных сцен, которыми суеверие и так слишком запятнало их историю в те века, когда невежество народа было одним из средств управления;

Национальное собрание предварительно декретирует, что дело неотложно и окончательно декретирует следующее».

Эта прекрасная преамбула, вызвавшая одновременно и к силе закона, и к силе просвещенного общественного мнения, могла узаконить и более суровые меры, чем те, какие собиралось принять в тот момент Законодательное собрание; ибо фактически она устанавливала, что неприсягнувшее духовенство, отказываясь от нового договора, от «общественного договора», само ставило себя вне закона, вне нации. Она уже тогда была теоретическим оправданием законов об изгнании и о высылке непокорных священников, которые Революция примет лишь несколько месяцев спустя.

29 ноября Законодательное собрание решает подавляющим большинством:

*«Статья 1.* В течение недели с момента опубликования настоящего декрета все церковнослужители, кроме подчинившихся декрету от 27 ноября прошлого года, обязаны явиться в муниципалитеты по месту своего жительства, чтобы принести там гражданскую присягу в форме, установленной статьей 5 части 2 Конституции, и подписать протокол, который будет составлен об этом бесплатно.

*Статья 2.* По истечении вышеуказанного срока каждый муниципалитет представит в директорию департамента через дистрикт список живущих на подчиненной ему территории духовных лиц с указанием тех из них, кто принес гражданскую присягу, и тех, кто от нее отказался. Эти сведения послужат для составления списков, о которых будет сказано ниже.

*Статья 3.* Те из служителей католического культа, которые подали пример повиновения законам и преданности своему отечеству, принесли гражданскую присягу в форме, предписанной декретом от 27 ноября 1790 г., и которые от нее не отrekliсь, освобождаются от каких бы то ни было новых формальностей. За ними неизменно сохраняются все права, предоставленные им предыдущим декретом.

*Статья 4.* Что касается прочих священнослужителей, то отныне никто из них не сможет получать, требовать или добиваться пенсии или жалованья из государственной казны, не представив доказательства принесения им гражданской присяги в соответствии со статьей 1. Казначей, сборщики денег или кассиры, которые совершат выплаты, противоречащие указаниям настоящего декрета, будут приговорены к возмещению выплаченных ими сумм и к отстранению от должности.

*Статья 5.* Ежегодно из пенсий, которых будут лишены церковнослужители вследствие своего отказа или отречения от присяги, будет составляться известная сумма. Эта сумма будет распределяться между 83 департаментами для использования генеральными советами коммун либо на благотворительные работы для трудоспособных неимущих, либо на помощь нетрудоспособным неимущим.

*Статья 6.* Помимо лишения всякого жалованья и пенсии, церковнослужители, которые откажутся принести гражданскую присягу или отрекутся от нее после того, как уже ее принесли, будут считаться вследствие самого этого отказа или отречения подозреваемыми в мятеже против закона и в злых умыслах против отечества и как таковые будут поставлены под особый надзор установленных властей.<sup>1</sup>

*Статья 7.* Ввиду этого всякий священнослужитель, отказавшийся принести гражданскую присягу или отрекшийся от нее после принесения ее, который окажется в коммуне, где произойдут волнения, причиной или поводом для коих послужат религиозные убеждения, может быть на основании постановления директории департамента, по представлению директории дистрикта, сначала выслан из места своего постоянного жительства, причем это не предпрещает вопроса о предании его суду, смотря по тяжести обстоятельств.

*Статья 8.* В случае неповиновения решению директории департамента нарушители будут преследоваться по суду и караться тюремным заключением в главном городе департамента; срок этого тюремного заключения не должен быть больше года.

*Статья 9.* Всякий церковнослужитель, уличенный в подстрекательстве к неповиновению закону и установленным властям, будет караться двумя годами тюремного заключения.

*Статья 10.* Если в связи с религиозными волнениями в какой-нибудь коммуне возникнут бунты, которые потребуют переброски войск, то расходы, понесенные государственной казной на эти цели, будут возложены на граждан, проживающих в этой коммуне, с предоставлением им права взыскать убытки с главнейших подстрекателей и участников мятежей.

*Статья 11.* Если учреждения или отдельные лица, облеченные общественными функциями, отнесут небрежно к предоставленным им законом средствам для предотвращения или подавления этих мятежей или откажутся от их применения, то они будут нести за то личную ответственность, против них будет возбуждено судебное преследование, их будут судить и карать по закону от 3 августа 1791 г.

*Статья 12.* Церкви и здания, используемые для отправления культа, по которому несет расходы государство, не могут служить для отправления какого-либо иного культа. Принадлежащие нации церкви и молельни, признанные административными

властями ненужными для отправления оплачиваемого нацией культа, смогут быть куплены или арендованы гражданами, исповедующими какой-либо иной культ, дабы там публично совершать богослужение под надзором полиции и администрации; но это право не будет распространяться на церковнослужителей, отказавшихся от гражданской присяги, требуемой статьей 1 настоящего декрета (либо отрекшихся от нее), и вследствие этого отказа или этого отречения объявленных, согласно статье 6, подозреваемыми в мятеже против закона и в злых умыслах против отечества).

Далее следовали постановления о конкретном порядке исполнения декрета. Закон был суров. От всех священников требовалась гражданская присяга, присяга в верности всей конституции в целом (включая гражданское устройство духовенства); если они отказывались от нее, то они не только лишались всякого жалованья, всякой пенсии, но и объявлялись подозрительными, ставились под надзор административных властей и при малейших волнениях в их коммунах выселялись с места своего жительства; это было, так сказать, изгнание внутри страны, а в случае преступного деяния — тюрьма.

Более того, на коммуны, где действия мятежников потребовали бы вмешательства военной силы, возлагалась коллективная денежная ответственность с правом взыскивать убытки с зачинщиков и участников волнений. Революция наконец решилась защищаться против губительной агитации клерикалов. Было чрезвычайно важно, чтобы закон был санкционирован и применялся, ибо интриги церкви, использовавшей против Революции тупой фанатизм населения, свикшегося с вековым игом, были неизмеримо опаснее для рождающейся свободы, чем все сборища эмигрантов за пределами страны. Именно на это должны были быть направлены все или по меньшей мере главные усилия Революции. И в интересах самого короля, будь он способен свободно и сколько-нибудь широко мыслить, было положить конец агитации священников, ибо королевская власть в том виде, в каком ее установила конституция, могла бы укрепиться и осуществляться с легкостью только в том случае, если бы революционная страна не опасалась насильственного возврата к старому порядку.

## ФЕЙЯНЫ СОВЕТУЮТ КОРОЛЮ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ

Между тем оппозиция церкви пробудила все недоверие, весь гнев Революции. Ханжество короля, узорность его мышления, само его бессилие осуществить до конца принятую им политику притворства и лицемерия по отношению к конституции помешали ему присоединиться к Революции в ее борьбе против церкви. Но по какому заблуждению умеренные советовали королю отверг-

нуть эти законы, защищавшие Революцию? Ведь им было хорошо известно, что отказ в санкции явился бы поощрением для церкви, и фанатизм католиков, усиливавшийся благодаря самой безнаказанности, вскоре вынудил бы Революцию принять еще более суровые меры.

И затем, в ноябре и декабре 1791 г., умеренные не хотели войны. Они еще не примкнули к авантюристическим и темным планам измены.

Они предчувствовали, какие пламенные страсти разжег бы во Франции вооруженный конфликт с Европой, и боялись этого грозного неизвестного. По какому же безрассудству сыграли они на руку Бриссо, который рассчитывал именно на поражение всей революционной политики внутри страны, чтобы сделать неизбежной великую внешнюю диверсию.

Как случилось, что Ламет, Дюпор и особенно Барнав, обычно столь проникательный, не почувствовали опасности? В своих работах о Революции Барнав с большой силой и ясностью отмечает опасности, крившиеся для конституционной монархии и для умеренной партии в воинственной политике Жиронды<sup>29</sup>. Но в намеряемом им плане примирительной, рассудительной и осторожной политики он ни слова не говорит о религиозном вопросе. Но этот вопрос не мог ускользнуть от его внимания, и он знал его важность, ибо именно он потребовал и добился от Учредительного собрания принятия первого декрета, обязывавшего священников принести присягу, того самого декрета от 27 ноября 1790 г., на который год спустя ссылается Законодательное собрание<sup>30</sup>.

Я не могу иначе объяснить себе это странное молчание, этот вызывающий удивление пробел в мысли и действиях Барнава иначе, чем желанием играть при короле и королеве тайную роль. Он, несомненно, опасался, напомнив о своем участии в борьбе против церкви и потребовав от короля одобрения новых мер Революции, поразить Людовика XVI в самое чувствительное место и навсегда погубить свой авторитет советчика, свое влияние тайного министра.

В самом Законодательном собрании революционное движение в пользу закона было столь сильным, что сопротивление умеренных оказалось весьма неуверенным. Все ораторы отмечают, что наиболее суровые статьи закона были приняты подавляющим большинством голосов. Но как только закон был принят, фейяны начинают против него кампанию, а члены директории Парижского департамента полностью присоединяются к ней и предпринимают чрезвычайно важный, чрезвычайно опасный шаг. Как нам известно, закон, принятый Учредительным собранием, запрещал коллективные петиции установленным властям<sup>31</sup>. Члены директории обошли это затруднение, подписав петицию индивидуально, но указав рядом с именем должность члена директории.

8 декабря Жермен-Гарнье, Брусс, Талейран-Перигор, Бомец, Ларошфуко, Деменье, Блондель, Тион де ла Шом, Ансон и Даву обнародовали свое обращение к королю<sup>32</sup>. Они умоляли его не санкционировать закона, по их мнению инквизиторского и нетерпимого, который обязал бы администраторов нарушать тайну совести всех священников, закона, который, запрещая некоторые формы культа, ожесточил бы религиозные страсти и в разгар Революции привел бы к возврату деспотизма и произвола

«Тщетно будут говорить, что неприсягнувший священник подозрителен. А разве в правление Людовика XIV в глазах правительства не были подозрительны протестанты, когда они отказывались подчиняться господствовавшей религии? А разве в Англии католики в течение долгого времени не считались подозрительными?»

Пусть за неприсягнувшими священниками следят, пусть их безжалостно карают именем закона, если они нарушат его, но до этого пусть уважают их культ, как и всякий другой...»

Умеренные забывали об одном. о гражданской войне, начавшейся к этому времени в некоторых районах Франции. Они думали, что Париж был обязан религиозным миром, которым они наслаждались, политике терпимости своих администраторов. Они забывали, что в Париже невежество и фанатизм были меньшими, чем в Вандее. Парижскую директорию, несомненно, вдохновили на этот шаг фейяны, увидевшие со страхом, что Революция, которую они считали остановившейся, снова идет вперед. Однажды вступив в религиозную борьбу, Революция отдалась бы на волю партий левой, энергичных и боевых. Парижская директория, недовольная происходившим в Законодательном собрании сдвигом, хотела сразу остановить это движение. Но, считая католическую

29 См «Introduction a la Revolution française» Seconde partie, chap XV «Dispositions des membres de la nouvelle assemblée», et chap XVI «Fautes de la nouvelle assemblée», в «Oeuvres de Barnave», t I, p 208 et p 241

30 См настоящее издание, т I, кн 2, с 251—254

31 10 мая 1791 г Учредительное собрание запретило коллективные петиции, если 9 августа оно и указало право петиций среди основных установлений, гарантируемых конституцией, то оно уточнило, что петиции должны подписываться индивидуально «Moniteur», VIII, 51, IX, 353

32 «Парижский департамент Петиция, поданная королю директо-

рией департамента 5 декабря 1791 г » «Moniteur», X, 570 См. письмо членов Парижской директории от 9 декабря 1791 г. «Moniteur», X, 622 «Не существует никакой петиции директории, не существует никакого акта директории, никакого акта департамента. Петиция подана индивидуально; она является лишь выражением мнения подписавших ее лиц. Просим вас поместить настоящее заявление в ближайшем номере вашей газеты»

Примечание А Матеза «Это обращение было составлено Адриеном Дюпором и Барнавом» («Notes et souvenirs» de Théodore Lameth, p 117.)



опасность ничтожной, умеренные в то же время обращали внимание короля на опасность со стороны эмигрантов. Какое необъяснимое искажение пропорций! В сравнении с церковью, разжигавшей фанатизм масс и пытавшейся парализовать самое сердце Революции, сборища эмигрантов были не более чем пустой возней, быть может раздражавшей, но неопасной. И как эти умеренные, эти будто бы благоразумные люди не видели, что решительные меры, которых они требовали против эмигрантов, могут быстро привести к войне с Европой и что эта война означает гибель конституционной монархии и умеренных партий?

Фейяны играют здесь с неслыханной беспечностью на руку воинственной Жиронде; по воле возникает вопрос, нет ли и здесь интриги. Кто знает, не казалась ли в тот момент умеренным война, которой руководил бы король, полезной акцией, отвлекающим маневром, средством для укрепления королевской власти, тогда как для жирондистов она была средством эту власть уничтожить? Во всяком случае, надо отметить как тревожный симптом следующие фразы из обращения Парижского департамента:

«Священным именем свободы, Конституции и общественного блага мы просим вас, государь, отказаться санкционировать декрет от 29 ноября и от предыдущих дней относительно религиозных волнений; но в то же время мы заклинаем вас поддержать всей своей властью только что изложенное вам Национальным собранием с такой силой и с такой рассудительностью желание принятия мер против мятежников, устраивающих заговоры на границах королевства. Мы заклинаем вас принять, не медля ни секунды, твердые, энергичные и вполне решительные меры против этих безумцев, смеющихся столь дерзко угрожать французскому народу»<sup>33</sup>.

## ПРОТЕСТ ДЕМОКРАТОВ

Шаг, предпринятый Парижской директорией, произвел очень сильное впечатление. Демократы усмотрели в нем целый план короля, направленный на то, чтобы вызвать общее выступление департаментских директорий, которые почти все были умеренными, и противопоставить силу их мнения еще неуверенному курсу Собрания. Значительное число парижских секций послало делегатов к барьеру Собрания заявить протест против действий Парижской директории. Они сделали это крайне резко и не пощадили ни короля, ни его вето<sup>34</sup>. 11 декабря Камилль Демулен представил Собранию петицию, блиставшую остроумием и полную революционных угроз, под которой подписалось 300 человек<sup>35</sup>.

«Достойные представители! Аплодисменты — это цивильный лист народа. Не отвергайте же справедливой награды, присуждаемой вам народом. Выслушайте краткие похвалы, как вы не раз выслушивали продолжительные насмешки. Снискать похвалы доб-

рых граждан и оскорбления дурных — значит получить все голо-са». (Аплодисменты).

Он насмеялся над Людовиком XVI:

«Беря пример с самого господина, чьи заповеди совсем не требуют невозможного, мы никогда не потребуем от бывшего суверена невозможной любви к национальному суверенитету, и мы несколько не находим дурным, что он противодействует своим вето именно лучшим декретам».

Он обвинил Парижскую директорию в нарушении закона о коллективных петициях. И воскликнул, как бы желая приобщить Законодательное собрание к революционному плану:

«Продолжайте, верные уполномоченные, и если вам упорно не будут разрешать спасти нацию, ну что ж, нация спасет себя сама, как она уже это сделала (аплодисменты): ведь сила королевского вето имеет предел, и с помощью вето не помешать взятию Бастилии».

Эти слова как бы предвещали события 20 июня и 10 августа. Демулен закончил следующим образом:

«Не сомневайтесь более во всемогуществе свободного народа, но если дремлет мысль, то как же будет действовать рука? Не поднимайте больше этой руки, не поднимайте больше национальной палицы, чтобы давить насекомых... Преследовать надо вожakov. Ударьте по голове, обрушьте громовой удар на принцев-заговорщиков, хлыст — на наглую директорию и изгоните демона фанатизма постом».

Демулену рукоплескала левая, и агрессивный тон этой речи сильно отличался от его пространного и грустного выступления 21 октября. Революционная энергия, которую демократы сочли в какой-то момент ослабшей, по-видимому, пробуждалась. И отныне, казалось, долг революционеров стал ясен: им следовало вызвать народное движение против вето и против модерантизма, настаивать на проведении в жизнь декретов против мятежных священников, дать министрам почувствовать, что они ответят головой за всякую политику слабости, хитрости или измены; а если бы королевская власть стала упорствовать или хитрить, то сосредоточить свои усилия на ней и, наконец, одолеть монархию так же, как одолели Бастилию; вооружить тем временем народ как

33. «Moniteur», X, 571; «Archives parlementaires», XXXV, 668.

«Подписавшие этот нелепый акт были, однако, умными людьми», — пишет Мишле.

34. Обращения секций Французского театра, Мокоусей, Кенз-Вен, Хлебного рынка, Арсенала («Moniteur», X, 606, 608, 611, заседания от 11 декабря 1791 г.); обращение секции Пале-Рояля

(«Moniteur», X, 663, заседание от 18 декабря 1791 г.). См. также «Moniteur», XX, 764, заседание от 28 декабря 1791 г.

35. «Moniteur», X, 606. Речь идет об обращении секции Французского театра, под которым стояло 300 подписей. Законодательное собрание постановило напечатать это обращение и включить его в протокол.

для борьбы против внутренних врагов, так и против всех возможных внешних опасностей, но остерегаться переносить революционные действия за границу, воздерживаться от всяких бесполезных провокаций, которые могли бы развязать войну.

Итак, разве не было возможности разжечь революционное воодушевление народа и прийти к Республике, не вступая на дорогу войны и на те опасные окольные пути, которые придумала Жиронда? Но речь Бриссо от 20 октября уже оказала свое влияние. Воинственная горячка уже начала охватывать неблагоразумный народ, который сквозь дым сражений, уже окутывавший рассудок, не мог различить близкие бездны военного рабства. И в речах представителей секций, сменявших друг друга в декабре у барьера Собрании, звучал воинственный клич<sup>36</sup>.

## СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ ВОЙНЫ

Каким образом усилилось это движение? 22 ноября во исполнение предложения Бриссо и Верньо, принятого 8 ноября<sup>1</sup>, Дипломатический комитет представил Собранию доклад о «мерах, какие следует принять в отношении граничащих с Францией иностранных держав, допускающих на своей территории сборища бежавших французов».

Докладчик Кох был весьма умерен в своих выражениях. Он возвестил мир: «Господа, главные европейские державы уже отвергают эти нелепые проекты контрреволюции, которыми тщетно пытаются запугать нас в своей бессильной ярости враги Конституции».

Предложенный им проект декрета был осмотрительным и в то же время неопределенным:

«Национальное собрание, заслушав свой Дипломатический комитет и принимая во внимание, что сборища, скопления и вербовка беглецов из Франции, которым благоприятствуют имперские князья, в округах Верхнего и Нижнего Рейна, а также насилия, совершенные в разное время по отношению к французским гражданам на территории Страсбургского епископства по ту сторону Рейна, являются посягательством на международное право

36 См., например, адрес секции Французского театра от 11 декабря 1791 г («Moniteur», X, 606): «Если прогремит пушка наших врагов, то молния свободы сотрясет землю, озарит мир, поразиет тиранов Вооружимся.»

1. Статья 14 декрета, принятого 8 ноября в предварительной ре-

дакции: «Национальное собрание поручает своему Дипломатическому комитету предложить ему меры, кои королю попросят принять, от имени нации, в отношении граничащих с Францией иностранных держав, допускающих на своей территории сборища бежавших французов» («Moniteur», X, 333.

и явным нарушением государственных законов империи, что они несовместимы с дружбой и добрососедскими отношениями, которые французская нация желала бы поддерживать со всеми германскими государствами, декретирует, что исполнительная власть будет предложено принять самые срочные и самые действенные меры в отношении иностранных держав, дабы прекратить эти беспорядки, восстановить спокойствие на границе и добиться соответствующего возмещения ущерба, жертвой которого оказались в особенности граждане Страсбурга).

Как я сказал, проект декрета был сдержанным и преследовал миролюбивые цели; тем не менее он был опасен, так как открывал путь для всяких случайностей. В тот момент существовал только один шанс сохранить мир; надо было сказать: «Оставим без внимания интриги эмигрантов, отнесем к ним с презрением; ради того, чтобы пресечь их, не будем вступать в переговоры, могущие привести к войне; приготовимся только к самозащите и придадим Революции великую силу внутри страны; пена эмиграции разобьется об эту скалу». Таков был язык мира; все прочее, даже сказанное в самой умеренной форме, таило в себе, хотели того или нет, возможность войны, зародыш войны. Но 22 ноября у демократов еще не существовало партии мира.

Робеспьер все еще отсутствовал, Марат продолжал хранить молчание о внешних делах. Между тем этим неуверенным первым шагам воинственной политики надо было воспрепятствовать сразу: сама умеренность первых формулировок и первых демаршей лишь усугубляла опасность, скрывая ее.

Уже 27 ноября Рюль и Даверу повышают тон, стараясь подстегнуть самолюбие нации. Кроме того, в то время как Бриссо в своей речи от 20 октября<sup>2</sup> еще принимал в расчет сложность положения вещей и умонастроений и рисовал лишь картину полу-воинственной Европы, Рюль и Даверу, высмеивая эмигрантов, разоблачают воинственные замыслы государей и усиливают тревогу своими утверждениями, более чем наполовину ложными, как нам теперь известно. Рюль говорит в Собрании<sup>3</sup>:

«Итак, господа, на всех обширных просторах Германии имеются всего три священнослужителя, которые готовятся обрушить на вас молнии и превратить всю Францию в груды пепла, истребив племя неверных, живущее в ней. Это его светлейшее высокопреосвященство монсеньёр барон Эрталъ, архиепископ-курфюрст Майнцский, который сам может выставить 4 тыс. солдат, если его подданные, жители Майнца, так глухи, что пойдут на такие расходы; это его светлейшее высочество монсеньёр Трирский, который может выставить армию в 7 тыс. солдат (*смеж*), включая вспомогательные войска монсеньёра князя Нейвидского, его соседа; это его светлейшее высочество и его высокопреосвященство монсеньёр Луи Рене Эдуард, кардинал де Роган, который, помимо 600 или 700 головорезов, главнокомандующим которых он имеет честь быть

(*смеж*, *аплодисменты*), может выставить армию в 50 человек, сплошь отборных солдат (*смеж*), ведь только к 50 солдатам сводится численность армии, какой ему позволяют располагать законы империи.

Итак, господа, вам придется иметь дело не с ордами варваров, а с солдатами тевтонской церкви, в изобилии оснащенными четками и благословениями, с солдатами очень мягкими и покладистыми, когда Луи Жозеф де Бурбон во главе своих странствующих рыцарей обрушится на вас, сея смерть и чиня резню. Но хотя, господа, у меня и есть основание предполагать, что вы не особенно испугаетесь грозящей вам бури, которую вы не считаете достаточно сильной, чтобы омрачить сияющее над вами небо, тем не менее верно и то, что для большинства столь великой нации, как наша, недостойно долее терпеть этот театральный огонь, дым которого нам докучает (*аплодисменты*), и безнаказанно допускать оскорбления этих отвратительных кривляк, наглость которых заслуживает кнута. Частное лицо может ответить презрением на бахвальство буяна, но великая нация должна оберегать свою славу, она должна сурово карать наглецов, смеющих относиться к ней без надлежащего уважения, она должна в самом начале уничтожать малейшие зародыши противодействия ее верховной воле, как только эта воля была торжественно провозглашена перед лицом всего мира, как только она была законно выражена всем индивидуумам, составляющим нацию.

Господа, пусть вас не обманывает мнимый сон окружающих вас деспотов: это сон льва, подстерегающего свою добычу и бросающегося на нее, как только он уверится, что она больше не сможет ускользнуть от его когтей и зубов. *Этот Леопольд, которого вам изображали таким миролюбивым, чьи публичные распоряжения так противоречат желаниям наших эмигрантов, но чьи тайные распоряжения вам неизвестны, этот Леопольд никогда не простит вам того, что вы осуществили на практике принцип, гласящий, что короли созданы для народов и что народы не являются собственностью королей.* (*Аплодисменты.*)

С каким легкомыслием, с какой дерзостью Рюль приписывает здесь австрийскому императору тайный план нападения! Из приведенной мною переписки, не только открытой, но и тайной, мы, напротив, знаем, что эмигранты ненавидели Леопольда за то, что он не хотел вмешаться в борьбу и приводил этим в отчаяние свою сестру Марию Антуанетту. Эти легкомысленные и неверные предположения постепенно разжигали в умах воинственный пыл.

2. См. выше, с. 59.

3. Рюль (1737—1795) — протестантский пастор, прокурор налогового ведомства в Страсбурге в 1789 г., член директории департамента

Нижний Рейн, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента. «Moniteur», X, 484; «Archives parlementaires», XXXV, 360.

## РЕЧЬ ДАВЕРУ

В своей речи, весьма противоречивой, Даверу тоже толкал к войне <sup>4</sup>. Его основную мысль можно свести к следующему: эмигранты пока еще не очень многочисленны и не очень опасны, но их партия может усилиться, и они могут стать опасными, если внезапно нападут на Францию в такой момент, когда ее будут раздирать внутренние раздоры. Иностраные державы разделены несогласиями, особенно в вопросе о Польше, но в тот день, когда безнаказанность эмигрантов убедит их в нашей слабости, в тот день, когда Франция, раздираемая междоусобными распрями, покажется им легкой добычей, они помирятся, чтобы напасть на нас. Вывод: надо переходить в наступление.

«Эмигранты рассчитывают на внутренние беспорядки, которые они вызывают и поддерживают всеми средствами, а также на тайные связи, которые у них, возможно, сохранились в некоторых пограничных крепостях. При помощи иностранного золота, скорее имея возможность использовать события и удобный случай, чем обладая силой вызывать эти события, они тревожат, угрожают, интригуют, чтобы умножить свои ряды, и медлят, выжидая удобного момента; вот каковы их военное положение и их политическая система. Достаточно сообщить об этом, чтобы доказать, что наша система должна носить как раз противоположный характер.

Всякое промедление с нашей стороны увеличивает беспокойство добрых граждан, охлаждает их пыл, усиливает надежды тайных врагов, порождает мятежи и подготавливает для лиц, находящихся по ту сторону Рейна, тот благоприятный момент, которого они выжидают.

Не будем обольщаться. Наши силы будут внушительными лишь постольку, поскольку они будут направлены должным образом; но если бы наши враги осуществили свой план тогда, когда часть этих сил была бы занята подавлением мятежей; если бы значительное число недовольных, находящихся в стране, присоединилось к неприятельской армии; если бы тревоги и беспорядок парализовали часть наших средств; если бы наши генералы, не зная, в каких пунктах будет совершено нападение, поддались на обман; если бы быстрое продвижение неприятельской армии привело в смятение слабые души и выявило подлинную сущность случайных патриотов; если бы в этот момент не было согласия между обеими властями; если бы в самом Париже при приближении неприятельской армии нашлись изменники, подкупленные иностранцами, — то каково было бы наше положение?

Позвольте, господа, привести пример из недавнего прошлого. Преследуемый в Голландии, едва не сложив там голову на эшафоте за дело свободы <sup>\*</sup>, я видел, как это величественное дело погибло вследствие медлительности. Голландия находится в щелях из-за того, что она прибегала к полумерам; что она вовремя не разда-

вила своих противников; что она была занята последствиями, не борясь с причинами; что она выжидала до той поры, пока ее врагов не поддержала одна из самых могущественных держав.

Не думайте, что, находясь на более обширной арене и имея возможность располагать более значительными средствами, вы могли бы безнаказанно презреть пример, какой являет для наций поработанная Голландия».

Я уже указывал, что эта речь полна противоречий. Прежде всего, если эмигранты смогут стать опасными только в результате внутренних раздоров во Франции, то, прежде чем поднимать бурю за границей, надо проводить смелую политику революционного действия внутри страны. Если Франции не следует ждать, пока ее враги выберут удобный для себя момент, если она должна их опередить, то она должна начать военные действия не только против эмигрантов и против мелких имперских князей, предоставляющих им убежище, но против всех государей Европы, враждебных ей или подозреваемых во вражде к ней. Итак, под предлогом того, что не следует ждать, пока эмигрантов поддержит одна из великих держав, надо вызвать против революционной Франции образование коалиции великих держав.

Наконец, Даверу опасается, что иностранные державы нападут на нас как раз тогда, когда в королевстве будут происходить внутренние волнения, как раз тогда, когда возникнут разногласия между обеими властями, то есть между Собранием и королем. Но какая у него может быть уверенность в том, что Франция, начав наступление, избежит этой ужасной судьбы? Уж не надеется ли он на то, что борьба будет закончена одним ударом? А если она, наоборот, затянется, если невзгоды и успехи будут сменять друг друга, то всякие внутренние кризисы, всякие проявления анархии усилятся именно тогда, когда враг удвоит свой натиск? И действительно, все опасности, каких Даверу хочет избежать, начав наступление, обрушились на революционную Францию, когда она начала наступление: мятеж в Вандее, смертельный поединок между Революцией и королем, сентябрьские избиения, когда погибли те, кого народ, до безумия перепуганный вторжением, счел «измен-

4. Даверу (Daverhoul) (1756—1792) — член директории департамента Арденны, депутат Законодательного собрания. «Opinion... sur les précautions à prendre relativement à la situation actuelle du royaume, prononcée... le 27 novembre 1791», Paris, s. d.; «Moniteur», X, 482.

\* Даверу был голландским политическим эмигрантом. В 1786 г. в обстановке широкого народного движения и острой политической

борьбы власть в Голландии захватила партия «патриотов», выражавшая в основном интересы демократически настроенной части буржуазии. Однако в результате интервенции прусских войск в 1787 г. движение было подавлено и была восстановлена власть статхаудера Вильгельма V из дома Оранских. Множество «патриотов» эмигрировало, в особенности во Францию. — Прим. ред.

никами, которых подкупили иностранцы», — все самые мрачные черты ужасной картины, нарисованной Даверу, сбылись именно тогда, когда Революция стала воинственной. Под влиянием какой необычайной иллюзии деятеля 92 года могли поверить, что они избегнут всех опасностей, какие они предвидели, развязав европейскую войну с ее неисчислимыми и ужасными случайностями? Даверу закончил свою речь предложением, гораздо более твердым, более явно воинственным, чем предложение докладчика Коха.

«Национальное собрание декретирует, что депутация в составе 24 его членов должна направиться к королю, дабы сообщить ему от имени Собрания о его беспокойстве в связи с опасностями, грозящими отечеству вследствие коварных замыслов французов, вооружившихся и объединившихся в сборища за пределами королевства, и тех, кто плетет заговоры внутри страны или подстрекает граждан к возмущению против закона; дабы заявить королю, что нация с удовлетворением встретит все разумные меры, какие король сможет принять, чтобы потребовать от курфюрстов Трирского и Майнцского и от епископа Шпейерского в соответствии с международным правом роспуска в течение трех недель упомянутых сборищ, образованных эмигрировавшими французами; что с такой же верой в мудрость его мер нация отнесется к тому, что будут собраны войска, необходимые для того, чтобы силой оружия заставить этих князей уважать международное право, в том случае, если по истечении указанного срока эти сборища еще будут существовать.

И наконец, что Национальное собрание сочло своим долгом сделать это торжественное заявление, дабы король получил возможность доказать в своих официальных сообщениях об этом важном шаге Регенсбургскому сейму<sup>5</sup> и всем европейским дворам, что его намерения и намерения французской нации едины». (Аплодисменты.)

А если князья откажутся повиноваться этому требованию? Если они потребуют помощи от Сейма и от главы империи, Леопольда? И еще, а если король, решившись на эти шаги, тайной изменой подготавливает поражение Франции? В последней фразе предложения Даверу содержится ужасная двусмысленность: неизвестно, хотело ли Собрание предоставить королю случай доказать свою честность Европе или Франции. Война, затеянная как своего рода испытание огнем революционной искренности короля, — какой зловеющей обходной маневр и какая слабость самой Революции, которая не осмеливается сразу сорвать маску с короля-изменника и нанести ему удар прямо в лицо! Нескольким депутатам с трудом удалось добиться, чтобы предложение Даверу не было с восторгом принято<sup>6</sup>.

В тот момент в революционном сознании царило какое-то удивительное и тревожное смешение экзальтации героизма и нервозности. Для защиты своей свободы революционная Франция

готова была бросить вызов всему миру; по словам Рюля, она скорее готова была «похоронить себя под развалинами храма», чем отказаться от своего права. Она хотела бороться, дерзать, «пусть даже все силы ада восстанут против нее, чтобы ввергнуть ее снова в отвратительную бездну рабства». Но у нее не было мужества в его высшем проявлении: спокойного героизма, ожидающего, пока опасность не станет очевидной, и не спешащего ей навстречу под влиянием своего рода болезненного ослепления и лихорадочного нетерпения.

Со всем этим как бы спешили покончить, что предполагает необычайный подъем нравственных сил, но также и начало смятения. О, какую ни с чем не сравнимую услугу оказали бы Франции человек или партия, которые сумели бы поддержать в ней это героическое воодушевление, но придали бы ей больше терпения и прозорливости!

Но, может быть, это было выше сил человеческих, чтобы вся нация обладала таким поразительным благоразумием при таком поразительном горении и таким полным самообладанием при пламенной готовности к самопожертвованию.

29 ноября, через два дня после речи Даверу, Дипломатический комитет, увлекаемый нарастающим возбуждением умов, присоединился к предложению Даверу.

Однако комитет чувствовал таившуюся в нем опасность и попытался несколько уменьшить ее: он предложил не требовать от рейнских курфюрстов роспуска сборищ в течение короткого трехнедельного срока.

«Ваш комитет признал неблагоприятным уже теперь прибегнуть к угрожающим и оскорбительным средствам, еще не исчерпав утиных способов общения между нациями, освященных обычаем.

Подобный образ действий был бы тем более неуместен, что мы находим возможным с уверенностью заявить, что многие князья и государства империи очень хотели бы избавиться от этих беглецов, которые им досаждают, и сами с нетерпением ожидают момента, когда на наших границах восстановится спокойствие».

Это была истинная правда, но что же в таком случае означали все эти драматические заявления и угрозы?

Что за странное искушение навлекать на себя дремлющую тучу, чтобы из нее ударила молния войны? И какое значение могли иметь эти робкие оговорки в тот час, когда умы казались наэлектризованными?

5. Регенсбург был с 1663 и до 1806 г. местом заседаний Сейма «Священной Римской империи германской нации».

6. «Собрание почти единогласно с воодушевлением требует напеча-

тания этой речи и проекта декрета. Некоторые члены Собрания предлагают немедленно поставить этот проект на обсуждение, другие стараются отложить его». «Mopiteur», X, 483.

## РЕЧЬ ИНАРА

Инар вновь был охвачен своим воинственным воодушевлением и никогда не был так красноречив и так опасен. Грубая спесь, воинствующий национализм, которые вскоре примешаются к Французской революции, уже звучат в его словах; слушая его, можно подумать, что Революция унаследовала гордыню Людовика XIV; он говорил об освобождении мира тоном завоевателя и с видом превосходства; души волнует стремление не только к свободе, но и к могуществу и славе, и первый хмель великого наполеоновского опьянения уже начинает кружить головы. Послушайте Инара: он начинает с краткого доказательства, что твердость намечаемых шагов приведет лишь к укреплению мира, устранив державы, но спешит прибавить:

«Предлагаемая мера диктуется уважением к достоинству нации.

**Французский народ стал самым замечательным народом в мире; его поведение должно соответствовать его новой судьбе. Будучи рабом, он был неустрашим и велик; неужели, став свободным, он будет слаб и робок?** (Аплодисменты.) *При Людовике XIV, самом гордом из деспотов, он с успехом боролся против части Европы; неужели теперь, когда оковы упали с его рук, он побоится всей Европы?*

Относиться ко всем народам, как к братьям; уважать их покой, но требовать от них того же уважения; никому не наносить оскорблений, но и ничьих не терпеть; обнажать меч только по призыву отечества, но вкладывать его в ножны только под клики победы (аплодисменты); отказаться от каких бы то ни было завоеваний, но побеждать всякого, кто захотел бы завоевать наше отечество; быть верным своим обязательствам, но заставлять и других выполнять свои; быть благородным и великодушным во всех своих действиях, но страшным в своем справедливом мщении; наконец, всегда быть готовым сражаться, умереть, даже скорее совсем исчезнуть с лица земли, чем снова надеть на себя оковы, — вот каков, я думаю, должен быть характер француза, ставшего свободным. (Долгие аплодисменты.)

Этот народ покрыл бы себя несмываемым позором, если бы его первый шаг на блестящем поприще, которое, как я вижу, открывается перед ним, был отмечен трусостью: я хотел бы, чтобы этот шаг был таким, что поразил бы нации, дал им самое высокое представление об энергии нашего характера, надолго остался у них в памяти, навеки упрочил Революцию и составил эпоху в истории. (Аплодисменты.)

И не думайте, господа, что наше нынешнее положение лишает Францию возможности нанести в случае надобности самые сильные удары. «Ошибаются, — говорит Монтескье, — если считают, что народ, совершающий революцию ради достижения свободы, пред-

расположен к тому, чтобы быть побежденным; наоборот, он готов побеждать других». И это совершенно верно, потому что знамя свободы — это знамя победы, и времена Революции — это такие времена, когда о домашних делах забывают ради общего дела, когда жертвуют состояниями, проявляют благородную преданность и любовь к отечеству, воинственный энтузиазм. Так не бойтесь же, господа, что энергия народа не соответствует вашей, наоборот, бойтесь, чтобы он не стал сетовать на то, что ваши декреты не соответствуют вполне его мужеству. (Аплодисменты.)

...Нет, мы не обманем таким образом доверия народа. Будем в данном случае вполне на высоте нашей задачи. Будем говорить с нашими министрами, с нашим королем, с Европой языком, подобающим представителем Франции. Скажем министрам, что до сего времени их образ действий не удовлетворял нацию (аплодисменты); что отныне им придется выбирать между признательностью общества и мщением законов; что если они осмелятся обмануть великий народ, то это им не пройдет даром, и что под словом «ответственность» мы понимаем «смерть». (Снова аплодисменты в зале и на трибунах.)

Скажем королю, что в его интересах, в его величайших интересах честно защищать Конституцию; что его корона зависит от сохранения этой святыни; скажем ему, чтобы он никогда не забывал, что он — король только благодаря народу и для народа; что нация — его государь и что он подвластен закону. (Аплодисменты.)

Скажем Европе, что французы хотят мира, но что, если их заставят обнажить шпагу, они очень далеко забросят ножны и пойдут искать их только тогда, когда будут увенчаны лаврами победы; и что если бы даже они оказались побежденными, то их враги не насладились бы своим триумфом, ибо властвовали бы только над трупами. (Аплодисменты.)

Скажем Европе, что мы будем уважать государственное устройство всех стран, но что если кабинеты иностранных дворов попытаются вызвать войну королей против Франции, то мы вызовем войну народов против королей. (Аплодисменты.)

*Скажем ей, что десять миллионов французов, воспламененные огнем свободы, вооруженные мечом, разумом, красноречием, смогли бы, если их разгневать, изменить лицо мира и заставить всех тиранов трепетать на их тронах.*

Скажем, наконец, что все битвы, происходящие между народами по приказу деспотов... (Аплодисменты.)

Не аплодируйте, господа, не аплодируйте; уважайте мой энтузиазм, это энтузиазм свободы.

Скажем ей, что все битвы, происходящие между народами по приказу деспотов, похожи на удары, которые наносят друг другу в темноте два друга, подстрекаемые коварными наущениями. Как только наступит рассвет, они бросят свое оружие, обни-

мутся и отомстят тому, кто их обманывал. (*Шум и аплодисменты.*) И если в тот момент, когда неприятельские армии будут сражаться с нашими, свет философии коснется их глаз, народы точно так же обнимутся перед лицом свергнутых тиранов, умиротворенной земли и удивительного неба. (*Аплодисменты.*)

Я заканчиваю просьбой к Собранию принять единогласно предложенный проект декрета: я говорю «единогласно» потому, что только при совершенном согласии представителей нации нам удастся внушить французам полное доверие, духовно их объединить, заставить всех наших врагов всерьез считаться с нами и доказать, что, когда *отечество в опасности*, в Национальном собрании существует только единая воля». (*Громкие, продолжительные аплодисменты в зале и на трибунах.*)

В этой речи Инара содержится вызывающая удивление смесь героизма, и фанфаронства, священного восторга перед свободой и воинственного опьянения, любви к человечеству и национального бахвальства. Это еще не законченная идея пропагандистской войны; он говорит, что «государственное устройство других стран» будут уважать; но Инар с таким воодушевлением говорит о войне народов против королей, что очевидно, что он ее хочет. И он ни на секунду не задумывается над вопросом, не превратится ли вскоре такая свобода, принесенная миру не силой примера, но грубой силой оружия, в безмерное военное порабощение и для Франции, и для всего мира.

Он уже прославляет «лавры победы», которые увенчают героев свободы, но он не предвидит, что наступит день, когда этими лаврами будет украшено чело одного только цезаря.

И затем, какое несоответствие между горячностью его слов и истинным положением вещей в Европе! Послушать Инара, так кажется, что земля Франции уже захвачена, а между тем в этот час еще неясно: может быть, Франции и удалось бы избежать войны и спасти свободу и мир посредством решительной внутренней политики и большого дипломатического искусства.

Но люди утратили всякое чувство меры. Бриссо мог радоваться сделанному им делу. Один из его противников сказал о нем, что он превосходно сумел «зажечь солому».

Несколько суетное воображение Инара действительно разгорелось, как солома Прованса \*, и эта «зажженная солома», далеко разносимая вихрем слов, воодушевления, героизма и тщеславия, раздует мировой пожар и скоро поглотит саму свободу.

Собрание единогласно принимает проект нового декрета, предложенный комитетом, и так же единогласно поручает своему председателю Вьено-Воблану, принадлежавшему к числу умеренных, зачитать королю обращение, составленное комитетом в сильных выражениях. Все партии, казалось, стремились к войне †.

## ДЕМОКРАТЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Однако демократы начинают сознавать опасность. Вернувшийся из Арраса Робеспьер 28 ноября произносит речь в Якобинском клубе †. Он вдруг почувствовал окружающую его накаленную атмосферу и не осмелился прямо выступить против политики войны.

Быть может, он еще не принял решения, удивленный внезапной силой движения, выросшего в его отсутствие в течение нескольких недель.

Но, во всяком случае, он, по-видимому, сразу заметил непоследовательность и лицемерие политики Бриссо. Бриссо непоследователен, если воображает, будто достаточно будет напасть на мелких князей на берегах Рейна, чтобы рассеять тревогу и очистить горизонт. Он лицемерен, если предвидит, что эта первая стычка приведет к большой войне с Австрией, но скрывает это от страны, чтобы с большей легкостью вовлечь ее в войну.

И сперва кажется, что Робеспьер советует немедленный и открытый разрыв:

«Надо сказать Леопольду: вы нарушаете международное право, если терпите сборища кучки бунтовщиков, которых мы отнюдь не боимся, но которые оскорбительны для нации. Мы требуем, чтобы вы разогнали их в указанный срок, иначе мы объявим вам войну от имени французской нации и от имени всех наций, враждебных тиранам... Надо последовать примеру того римлянина, который, когда ему было поручено потребовать от имени Сената ответа от врага республики, не дал ему никакой отсрочки. Вокруг Леопольда надо начертить такой же круг, какой вокруг Митридата начертил Попилий\*\*». Вот декрет, приличествующий французской нации и ее представителям †.

\* Инар был родом из Прованса.—  
Прим. ред.

7. «Moniteur», X, 504. «Новые аплодисменты прерывают чтение этого проекта, превращенного единогласным решением в декрет, под приветственный шум на трибунах и аплодисменты Собрания».

8. «Под громкие аплодисменты входит г-н Робеспьер. Занимавший кресло вице-председателя г-н Колло д'Эрбуа требует, чтобы этот член Учредительного собрания, справедливо прозванный Неподкупным, занял кресло председателя». F.-A. Aulard. La Société des Jacobins, III, 264.

\*\* Попилий был в 173 г. до н. э. римским консулом. Сенат послал его к царю Сирии Антиоху IV Эпифану (а не Митридату), который

вторгся в Египет, чтобы потребовать от него оставить захваченные земли. Царь попросил время на размышления, тогда Попилий начертил вокруг него круг, сказав: «Прежде чем ты выйдешь из этого круга, дай мне ответ, который я должен сообщить Сенату». Потрясенный Антиох подчинился.—  
Прим. ред.

9. «Oeuvres de Maximilien Robespierre», t. VIII: «Discours (3<sup>e</sup> partie). Octobre 1791 — septembre 1792», édition ... M. Bouloiseau, G. Lefebvre, A. Soboul. Paris, 1954, p. 24; «Histoire de Robespierre...» par E. Hamel. Paris, 1866, t. II, p. 27; J. Massin. Robespierre. Paris, 1956, p. 81.

Итак, сперва кажется, что Робеспьер борется против воинственной политики жирондистов, лишь впадая в еще большее преувеличение. Что это с его стороны — увлечение или тактика? Не хотел ли он предотвратить войну, раскрывая перед страной перспективы страшной и дорогостоящей большой войны? Или же он стремился прежде всего сохранить свою популярность, избежать слишком резкого столкновения с общественным мнением, уже увлеченным идеей войны? Во всяком случае, не такой двусмысленной речью, как произнесенная им 28 ноября, в которой мысль о мире скрывалась под ультравоинственной аффектацией, он мог успокоить умы, и в этой речи от 28 ноября есть что-то фальшивое и тягостное. Этот первый период воинственности не был периодом искренности<sup>10</sup>. Все партии, прикрываясь напускным воодушевлением, двоедушничают и хитрят.

Марат, словно в этом вопросе о войне его пронизательность притупилась, хранил молчание и после заседания 27 числа, и после заседания 29 числа, и после предложения Даверу, и после обращения Собрания к королю<sup>11</sup>. Искал ли он своего пути? Был ли он оглушен воинственным красноречием Инара и не задавался ли он вопросом: может быть, и ему следует начать яростно трубить о войне? Но в номере своей газеты от 1 декабря он как бы вдруг пробуждается, упрекает себя за чересчур долгое молчание, разоблачает политику войны и начинает ожесточенную кампанию против Жиронды<sup>12</sup>. Возникает вопрос, не получил ли он какого-нибудь совета от Робеспьера, к которому всегда питал полное доверие?<sup>13</sup> Подвергнув разбору речь Рюля, произнесенную четыре дня назад, Марат пишет:

«Вот, без сомнения, речь плута, подкупленного, чтобы побудить Собрание сделать неразумный, гибельный шаг, вызвав разрыв с несколькими мелкими имперскими князьями, и *вскоре иметь против себя всех их союзников*. Если бы этот пагубный совет не был подозрителен из-за тяжелых последствий, какие он бы неизбежно имел, будь он принят, то можно ли сомневаться, что он исходит из тюльрийского кабинета, раз эмиссар министерства, подавший его, сам менее всего уверен в его необходимости?»

*Чтобы погасить театральный огонь* [Марат печатает жирным шрифтом эти слова Рюля], *он советует зажечь факел войны ради редкого преимущества не терпеть беспокойства от дыма*.

И, понимая, что факел войны может быть уже зажжен, Марат обвиняет себя в допущенной им оплошности:

«Я глубоко сожалею, что не мог ранее заняться этим делом, дабы раскрыть ловушку; я очень опасаясь, как бы в нее не попались патриоты, и дрожу при мысли, что подталкиваемое шарлатанами, продавшимися двору, Собрание само согласится увлечь нацию в бездну».

И вот в противовес тактике Жиронды, стремящейся к войне либо для того, чтобы свергнуть короля, либо для того, чтобы под-

чинить его опеке жирондистов, начинает определяться тактика демократов, говорящих, что война — это ловушка, что ее хочет двор.

Одновременно с Маратом, словно передовой партии был дан общий лозунг, газета Приюдома в номере от 3 декабря обрушивается на политику Бриссо<sup>14</sup>. Ее аргументация такова:

«Станьте сначала свободными внутри страны; избавьтесь от внутренней тирании, представляющей собой непосредственную опасность, вместо того чтобы устремляться за пределы страны против сомнительных опасностей. Национальное собрание намеревается заявить немецким князьям: «Мы недовольны сборищами, которые вы допускаете у себя; мы требуем, чтобы вы прекратили их, иначе мы будем вынуждены объявить вам войну. Представители, мера эта была бы хороша, если бы вы представляли совершенно свободный народ».

И газета требует отмены королевского *вето*.

«Почему бы не заменить королевское *вето* волей нации?.. Если бы Национальное собрание обладало величием, оно бы смело приступило к рассмотрению этого вопроса, оно обсудило бы это *вето* на нескольких своих заседаниях [*вето*, наложенное королем на декрет против эмигрантов], оно доказало бы его недействительность, вероломство короля и кончило бы обращением к департаментам».

Итак, газета Приюдома хотела бы, чтобы по вопросу о *вето* Собрание вызвало волнение по всей стране и сделало ее судьей в споре между ним и королем. Это было первое, немного запоздалое усилие вернуть в русло демократической Революции поток народной энергии, вновь ставший полноводным, который, как мечтали жирондисты, должен захлестнуть весь мир.

10. Текст этой речи ясен: первым побуждением Робеспьера было выступить за войну, его охватил патриотический порыв. Таково и толкование Мишле: «Робеспьер... по прибытии (28 ноября) проявил себя вначале столь воинственным, как никто другой. Он даже изменил своему обычному поведению...» M i c h e l e t. Histoire de la Révolution..., t. I, p. 837.

11. На деле Марат стал обличать политику войны 25 ноября 1791 г. В этот день заголовок «L'Ami du peuple» гласил: «Хитрая ловушка Дипломатического комитета с целью вовлечь нацию в пагубную войну с империей».

12. Заголовок «L'Ami du peuple»

от 1 декабря 1791 г.: «Придворные плуты меняют тактику. Тайные происки министров с целью вовлечь нацию в пагубную войну».

13. Не было ли скорее наоборот? По возвращении в Париж 28 ноября Робеспьер выступает за войну; свою кампанию в противоположном направлении он начинает только 9 декабря; первую большую речь против войны он произнес 18 декабря. Между тем Марат вел кампанию против войны с 1 по 15 декабря.

14. «Révolutions de Paris», № 125, 26 novembre — 3 décembre 1791. Заголовок: «Беспомощность Национального собрания. — Аристократия наших скоморохов».



«Если бы Национальное собрание приняло предложенное нами решение, если бы решение это было санкционировано большинством департаментов, если бы нация и Национальное собрание перестали заниматься не заговором, но заговорщиками [эмигрантами], если бы они относились к ним с презрением, какого те заслуживают, то мы увидели бы, как они сами рассеялись, и вскоре краснели бы от стыда при мысли, что на какой-то момент мы их испугались»<sup>15</sup>.

Это было проявлением высокой мудрости, но уже несколько запоздалой; над нею, несомненно, одержит верх инстинкт борьбы и авантюры, пробужденный в народе.

Почти все сменявшие друг друга у барьера Собрания представители секций, подававшие петиции протеста против действий директории Парижского департамента, были настроены весьма воинственно. В обращении граждан Кале говорилось: «Такова воля нации! **Война! Война!**»<sup>16</sup> И трибуны Собрания рукоплескали. Лежандр, выступивший 11 декабря от имени делегации секции Французского театра, воскликнул<sup>17</sup>: «Представители народа, приказывайте: орел победы и слава веков парят над вашими и нашими головами! Если прогремит пушка наших врагов, то молния свободы сотрясет землю, озарит мир, поразит тиранов... Прикажите выковать тысячи пик наподобие тех, какие были у римских героев, и вооружите ими всех».

*Орел победы!* О безрассудные! Они не знают, что наступит день, когда этот римский орел, ставший императорским орлом, унесет в своих когтях Революцию, пораженную насмерть!

## НАРБОНН И УЛЬТИМАТУМ ОТ 14 ДЕКАБРЯ

Что же делал двор в то время, когда между революционерами начались разногласия по вопросу о войне и слепому увлечению первых дней стали противопоставлять некоторое раздумье? В этот момент произошли перемены в правительстве. Как мы уже знаем, Монморен, испугавшийся все возрастающей ответственности за свою двусмысленную роль, заявил о своей отставке. 29 ноября, в тот самый день, когда Собрание решало вопрос об обращении к королю, Людовик XVI сообщил Законодательному собранию, что он заменил в министерстве иностранных дел Монморена Делессаром, бывшим ранее министром внутренних дел, а министром внутренних дел назначил Каё де Жервиль<sup>18</sup>. 2 декабря военный министр Дюпортай, тоже перепуганный, заявил о своем выходе в отставку и 7 декабря был заменен де Нарбонном<sup>19</sup>.

Нам уже известно, что двор не сумел или не осмелился ввести в правительство, и особенно в министерство иностранных дел, своих людей, преданных его тайной политике. Каё де Жервиль, призванный на пост министра внутренних дел, был революционе-

ром-конституционалистом, умеренным, но довольно решительным. Ход Революции неизбежно влиял на назначение министров королем. Пытаясь хитрить с революционным народом, король избегал назначать министрами людей, чьи имена послужили бы вызовом. Однако только назначение новым военным министром Нарбонна оказало некоторое влияние на события.

Это был своего рода интриган и авантюрист старого порядка, отчасти примкнувший к Революции, своего рода Дюмурье, но без блеска гения или удачи. Двор не любил его и даже презирал; он был тогда или раньше любовником дочери Неккера, молодой мадам де Сталь, расточавшей перед политическими деятелями огонь своего ума, перед военными — пыл своего темперамента<sup>20</sup>. Она красноречиво и с ученым видом рассуждала о конституции, и Мария Антуанетта ненавидела ее вдвойне — и как королева, и как женщина. 7 декабря она пишет Ферзену:

15. «Революсьон де Пари» продолжала свою кампанию в следующих номерах: в № 127 за 10—17 декабря 1791 г. («Задуманная двором война и нынешнее положение Франции»), в № 128 за 17—24 декабря 1791 г. («Опасности наступательной войны. — По вопросу о вето»).

16. «Оружие у нас в руках; чтобы рассеять этих эмигрантов было бы достаточно горстки французов, а нас миллионы!» «Moniteur», X, 604, вечернее заседание 10 декабря 1791 г.

17. «Moniteur» X, 606. См. выше с. 133, прим. 36. Лежандр (1752—1797) — владелец мясной лавки на улице Бушери-Сен-Жермен в Париже, член администрации дистрикта, а затем секции Французского театра, постоянный оратор клуба Кордельеров, депутат Конвента от Парижа

18. «Moniteur» X, 498. Каё де Жервиль (1751—1796) — адвокат при Парламенте, помощник прокурора-синдика Парижской коммуны; в 1791 г. министр внутренних дел; в 1792 г. был заменен Роланом. О его назначении в министерство внутренних дел см.: «Moniteur», X, 486, 498; «Archives parlementaires», XXXV, 433, 454.

19. Нарбонн, граф де (1755—1813) — полковник Пьемонтского полка,

в 1790 г. командующий национальной гвардией департамента Ду, с 7 декабря 1791 г. и до 10 марта 1792 г. военный министр, после 10 августа 1792 г. эмигрировал, вернулся после 18 брюмера. О деятельности Нарбонна как министра см.: E. Dard. Le comte de Narbonne. Paris, 1943; J. Poregen et G. Lefebvre. Etudes sur le ministère de Narbonne.—«Annales historiques de la Révolution française», 1947, p. 1, 193, 292. О его назначении в военное министерство см.: «Moniteur», X, 567 et 574; «Archives parlementaires», XXXV, 627.

20. Салон мадам де Сталь был центром интриг сторонников Лафайета. Он и его друзья рассчитывали взять в свои руки командование армиями. Война, которая по мнению жирондистов, должна была уничтожить королевскую власть, казалась им, напротив, способной ее упрочить: она оправдала бы меры против бунтовщиков, и в случае надобности для подавления их можно было бы использовать победоносные войска. Тайные мысли Нарбонна, любовника мадам де Сталь, совпадали с замыслами сторонников Лафайета. Маркиз де Кондорсе служил связующим звеном между ними и бриссотинцами.

«Со вчерашнего дня военным министром стал наконец граф Луи де Нарбонн. Какая честь для мадам де Сталь и какое для нее удовольствие иметь в своем распоряжении всю армию!»

Но она прибавляет:

«Он сможет быть полезен, если захочет, так как у него достаточно ума, чтобы объединить конституционалистов, и нужный тон, чтобы говорить с нынешней армией... Но понимаете ли вы мое положение и роль, какую я вынуждена играть весь день? Иногда я сама себя не понимаю и должна подумать, в самом ли деле это я говорю, но что делать? Все это необходимо, и поверьте, что мы пали бы еще ниже, если бы я сразу не приняла этого решения; по крайней мере мы таким образом выиграем время, а это — все, что нужно. Какое это будет счастье, если я когда-нибудь вновь стану достаточно сильной, чтобы доказать этому сброду, что им не удалось меня обмануть!»

Итак, в тот момент до чрезвычайности усложнилась интрига, связанная с изменой и ложью. И действительно, двор доведет свою мнимую революционность до того, что согласится на войну. Она даже делает войну основой своей политики. Он начинает надеяться, что король благодаря этому сможет стать во главе войск и вскоре обуздать Революцию.

Именно новый министр Нарбонн убедил двор принять эту тактику, прельщавшую его честолюбие авантюриста. Он тогда приобрел бы славу и популярность, так как, выступив против эмигрантов, угодил бы желаниям патриотов, и вскоре, использовав свой престиж для установления во Франции своего рода ограниченной монархии по английскому образцу, он предстал бы как человек, восстановивший королевскую власть и ограничивший свободу Безрассудная мечта! Развязав войну и возбудив до крайности революционные страсти, как смог бы авантюрист совладать с событиями?

Но король и королева были настолько растеряны, что поддались этим иллюзиям и этому совету, и с середины декабря в политике войны происходит поворот; провозглашается уже не война Жироуды, а война во главе с королем и двором<sup>21</sup>. Насчет намерений и взглядов Нарбонна не может быть никакого сомнения. Много лет спустя он говорил (в высказываниях, собранных Вильменом):

«Армия, будучи сформирована, могла бы послужить для Людовика XVI опорой для его освобождения, прибежищем, откуда он поддержал бы здравомыслящее большинство и запугал клубы, как это хотел и попытался сделать, но слишком поздно и слишком изолированно, г-н де Лафайет».

По-видимому, именно между 7 декабря — днем своего вступления в должность министра — и 11 декабря Нарбонн уговорил и увлек короля и королеву на путь войны. Луи Блан приводит письмо Марии Антуанетты от 6 декабря к Мерси, где излагается

весь воинственный план двора<sup>22</sup>. Это на три четверти искаженный текст письма от 10 декабря. Луи Блан был введен в заблуждение одной неточной и даже мошеннической публикацией.

Со времени вступления Нарбонна в правительство Мария Антуанетта возлагала на него какие-то смутные надежды: главное, она думала, что он сможет служить связующим звеном между конституционалистами и двором, но едва ли он тогда уже приобрел короля и королеву к тактике войны. Даже 7 декабря, когда Нарбонн впервые появился в Собрании, Мария Антуанетта отзывалась о нем неблагоприятно: «Господин де Нарбонн, — пишет она Ферзену, — явился в Собрание и произнес там речь, невероятно пошлую для умного человека».

Но 14 декабря дело принимает совсем иной оборот. Король направляется в Собрание, чтобы ответить на послание от 30 ноября. Его сопровождают все министры, «с господином де Нарбонном во главе», как мы узнаем из письма аббата Саламона от 19 декабря<sup>23</sup>. Если употребить современное выражение, то г-н де Нарбонн выглядел председателем совета министров. Он появился как глава кабинета. Король, стоя и без шляпы, прочитал Собранию декларацию...

«Вы сообщили мне, что нация охвачена всеобщим движением и что клич всех французов был: «Лучше война, чем гибельное и уничтожительное терпение!» Господа, я долго думал, что обстоятельства требовали большой осторожности в средствах; что нам, едва вышедшим из волнений и бурь Революции, при первых шагах рождающейся Конституции не следовало бы пренебрегать ни одним из средств, которые могли бы оградить Францию от неисчислимых бедствий войны. Все эти средства я использовал... Император выполнил то, чего следовало ожидать от верного союзника: он запретил и рассеял все сборища в своих владениях. Мои демарши перед некоторыми другими государями не имели того же успеха; на свои требования я получил довольно несдержанные ответы. Эти несправедливые отказы диктуют решения иного рода. Нация высказала свое пожелание, вы приняли его; вы взвесили его последствия; вы выразили мне его в своем послании. Господа, вы не опередили меня; как представитель народа я почувствовал нанесенное ему оскорбление и сейчас сообщу вам решение, какое я принял, дабы добиться удовлетворения.

21. Жорес правильно указывает на тайную перемену в политике двора, которая ускорила приближение войны. См.: G. L e f e b v r e. La Révolution française..., p. 239.

22. «Marie-Antoinette, Joseph II et Léopold II», p. 229.

23. Саламон (Salamon) (1760—1829)—

с 1790 по 1801 г. папский интерпундий в Париже. «Correspondance secrète ...avec le cardinal de Zelada (1791—1792)», publiée par le vicomte de R i c h e m o n t. Paris, 1898, p. 202. См. также его «Mémoires inédits...», Paris, 1890.

Я приказал объявить курфюрсту Трирскому, что если до 15 января он не положит в своих владениях конец всем сборищам и проявлениям враждебности со стороны бежавших туда французов, то я буду видеть в нем отныне лишь врага Франции. (*Громкие аплодисменты, крики «Да здравствует король!»*) Подобную же декларацию я прикажу направить также всем, кто стал бы благоприятствовать сборищам, нарушающим спокойствие в королевстве, и, гарантируя иностранцам полную защиту, какую они должны ожидать от наших законов, я буду вправе требовать, чтобы оскорбления, которые могут быть нанесены французам, были немедленно и полностью искуплены. (*Аплодисменты.*)

Я пишу императору и прошу его продолжать свое доброе посредничество и, если понадобится, воспользоваться своей властью главы империи, чтобы отратить бедствия, которые неминуемо повлекло бы дальнейшее упорство некоторых членов объединения германских государств. От его вмешательства, несомненно, можно многого ожидать, но я в то же время принимаю меры, наиболее способные заставить уважать эти декларации. (*Аплодисменты.*)

Но, смело полагаясь на это решение, поспешим употребить все средства, единственно могущие обеспечить ему успех. Обратите ваше внимание, господа, на состояние финансов, укрепляйте национальный кредит, заботьтесь об общественном достоинстве. Пусть ваши решения, всегда соответствующие конституционным принципам, получают серьезное, гордое и величественное воплощение, единственно подобающее законодателям великой страны. (*Громкие аплодисменты части Собрания и на трибунах.*) Пусть установленные власти уважают сами себя, чтобы внушать уважение другим, и пусть они оказывают друг другу взаимную помощь, вместо того чтобы чинить друг другу препоны, и, наконец, признают, что они различны, но не враждебны. Пора показать другим нациям, что французский народ, его представители и его король составляют единое целое». (*Громкие аплодисменты.*)

И король закончил следующими одновременно двусмысленными и льстивыми словами:

«Что касается меня, господа, то тщетны были бы старания внушить мне отвращение к осуществлению доверенной мне власти. Заявляю об этом перед всей Францией: ничто не сможет ни ослабить мою настойчивость, ни умерить мои усилия. Не моя в том будет вина, если закон не станет опорой для граждан и угрозой для возмутителей. (*Громкие крики одобрения.*) Я буду верно хранить сокровище Конституции, и никакие соображения не смогут побудить меня снести посягательства на нее; и если люди, которые хотят только беспорядка и смуты, воспользуются этой твердостью как предлогом для того, чтобы оклеветать мои намерения, то я не унижусь до того, чтобы опровергать словами оскорбительное недоверие, которое им будет угодно распространять. Те, кто вни-

мательно, но без недоброжелательства наблюдает за действиями правительства, должны признать, что я никогда не отступаю от конституционной линии и глубоко чувствую, как прекрасно быть королем свободного народа». (*Аплодисменты продолжают несколько минут, несколько членов Собрания восклицают: «Да здравствует король французов!» Эти возгласы подхватываются на трибунах и в зале многими гражданами, вошедшими в него в составе свиты короля и занявшими места на крайне правой стороне. Трибуны, расположенные по обе стороны зала, а та же члены Собрания, сидевшие на крайне левой стороне, хранили глубокое молчание.*)

Действительно, все это было хорошо разыграно, и бойкий авантюрист, подсказавший королю эту речь, очень широко размахнулся<sup>24</sup>. Язык короля был достаточно рассчитан на популярность и выдержан в духе конституции, чтобы тягостные воспоминания о Варенне, казалось, рассеялись. Новая тактика была хорошо намечена: решительно добиваться популярности, стараясь создать впечатление, что король разделяет воинственные настроения или даже опережает их; ограничить войну узкими рамками, объявить непричастным к делу австрийского императора и заверить в его добрых намерениях; предъявить ультиматум только мелким рейнским князьям и таким образом вызвать безобидную войну, которая обманула бы стремление нации к действию и позволила бы королю взять на себя командование войсками. До этого момента король и Нарбонн были согласны друг с другом. Затем они разошлись в своих тайных мыслях: министр полагал, что завоеванного таким образом престижа было бы достаточно для пересмотра конституции; король упорствовал в своем мнении, что для этого необходима помощь держав, собравшихся на конгресс, и надеялся, что война вызовет события, которые потребуют созыва такого конгресса<sup>25</sup>.

24. Эта речь была составлена Ламетами (B a s o u r t. Correspondance de Mirabeau avec La Marck, t. III, p. 286). Ламеты надеялись, что Леопольд полюбовно договорится с немецкими курфюрстами. Они хотели обеспечить королю успех, поднять тем самым его престиж, думали избежать войны путем соглашения с императором. (См.: G l a g a u. Die französische Legislative und der Ursprung der Revolutionskriege. Berlin, 1896. [Примечание А. Матьеза.]

25. Следует подчеркнуть двуличие короля и двора. Отчаявшись

в совместном выступлении королей, о котором он тщетно умолял, Людовик XVI решил принудить их силой: если на них нападут, то им придется прийти к нему на помощь. Жирондисты, как и приверженцы Лафайета, играли ему на руку. Королева писала Ферзену 9 декабря 1791 г.: «Я думаю, что мы объявим войну... Эти глупцы не понимают, что если они сделают подобную вещь, то они окажут нам услугу». («Le comte de Fersen et la cour de France...», t. I, p. 271.

А пока король утверждал свою конституционную волю, и когда он говорил об отвращении, какое «стараятся внушить ему к осуществлению им своей власти», то не известно, имел ли он в виду эмигрантов или революционеров. Собрание не старалось это уточнить и, охвативное восторгами энтузиазма, шло к пропасти. И право, какое бедствие могло быть хуже для Революции, чем война, ведением которой завладел бы двор и вел бы ее со столькими задними мыслями об измене. Но умы были так разгорячены, и Жиронда так безрассудно разжигала в них пламень войны, что всякая пронизательность казалась утраченной. Однако крайне левая в Собрании и на трибунах хранила молчание. Робеспьеру и Марату удалось заронить зерно недоверия.

### ПОЛИТИКА ФЕЙЯНОВ

Не толкнули ли короля на путь авантюры, открытый Нарбонном, Ламеты, Дюпор и Барнав, ставшие после Варенна тайными советчиками двора? <sup>26</sup> Так думали современники. Аббат Саламон, которому было поручено осведомлять римский двор, писал 19 декабря кардиналу Дзелладе:

«Члены Учредительного собрания, не зная, к каким средствам прибегнуть, чтобы раздавить якобинцев и преобразовать Конституцию, решили, что надо поймать этих якобинцев на слове и объявить войну, потому что тогда произошла бы какая-нибудь вспышка, которая могла бы привести к желаемой цели, то есть к некоторому смягчению Конституции. Луи де Нарбонн, горячий, умный и честолюбивый, желая удержаться на месте, усеянном опаснейшими подводными камнями, убежденный, что военный министр может по-настоящему действовать лишь во время войны, не только одобрил этот проект своих друзей, бывших членов Учредительного собрания; более того, как уверяют, именно он предложил его в Совете и представил его королю как единственное средство расстроить замыслы Собрания и якобинцев и добился его одобрения. Именно после этого решения мы прочитали в газетах эту жалкую речь, которую вложили в уста королю».

По крайней мере Барнав, вероятно, не поощрял этой политики; он, по-видимому, хотел сохранения полного мира, но другие «учредилловцы», вероятно, посоветовали пойти на авантюру. Под заголовком «Ошибки нового Собрания» Барнав пишет следующее:

«Поведение правительства и партии конституционалистов должно было бы состоять в решительном противодействии войне и вообще в твердом сопротивлении во всех решающих делах, но во всем другом следовало избегать всяких потрясений... Действительно ли министры, принявшие решение об этих мерах, направили их краткое изложение королю и полагали, что в его глазах они будут иметь большой вес, если их поддержат два бывших

депутата, которые несколькими месяцами ранее помогли ему сохранить свой трон и свою жизнь, это мне совершенно не известно, но это могло бы оказаться и правдой.

Действия правительства никогда не были последовательными; оно почти всегда попадало в ловушки, расставляемые ему его противниками; едва последние осмелились открыто заговорить о войне, как короля в декабре месяце побудили произнести речь, в которой он, казалось, объявлял о ней нации и хотел увлечь нацию на этот путь; именно тогда война показалась вероятной; так называемая умеренная партия, до того времени питавшая отвращение к войне, видя, что правительство возглавляет сторонников такого мнения, начала соглашаться с ним, и те немногие прозорливые люди, которые хотели воспротивиться этому безумию, прослыли усыпителями».

Итак, в декабре, когда Нарбонн побуждал короля вести политику ограниченной войны, Барнав решительно выступает против какой бы то ни было войны; но окружающие его умеренные революционеры и монархисты, по-видимому, тоже склоняются к тактике министра-авантюриста. Ламеты и Дюпор, без сомнения, сопротивлялись ей меньше, чем Барнав <sup>27</sup>. Быть может, Барнава заставили покинуть Париж именно невозможность добиться того, чтобы прислушались к его советам, и досада, вызванная тем, что тайное влияние, которое Барнаву удавалось сохранять на короля и королеву, было уничтожено в один миг сверкающим легкомыслием Нарбонна. Его, несомненно, пугала и страшная запутанность внутренних и внешних дел. Как он сам сообщает нам, он покинул Париж в первые дни января 1792 г. и возвратился к себе на родину.

### РЕЧЬ НАРБОННА

Впрочем, Нарбонн отнюдь не скрывал от Собрания, что именно он внушил королю мысль о целесообразности этой политики.

На том же заседании 14 декабря, выступив сразу после короля, он отнюдь не скрывал, что говорит как руководящий министр, и ясно заявил, что в его лице именно умеренная партия, партия

26. Об этой проблеме см. третью часть уже упоминавшегося сочинения: G. Michon *Essai sur l'histoire du parti feuillant...*, ch. I, p. 345.

27. Дюпор, Барнав и коллеги Нарбонна по министерству были враждебны политике последнего. Они все же покорились ее требованиям, рассчитывая на императора Леопольда, к которому первые двое обратились с мемуаром, рекомендуя ему рассеять

сборища эмигрантов. На этом кончились их совместные усилия. Здесь мы не согласны с Жоресом. Дюпор действительно продолжал бороться с Нарбонном и Жирондой. «Но Барнав удалился в Дофине, откуда он, придя к таким же заключениям, что и Лафаетт, стал советовать своим друзьям поддерживать министров-патриотов». (G. Lefebvre. *La Revolution française*, p. 239.)

конституционалистов, собирается взять на себя руководство войной, определять ее характер и ее пределы. «Это та же нация, это та же держава, которая сражалась при Людовике XIV. Неужели мы позволим думать, что наша слава зависела только от одного человека и что память о целом столетии сохранила лишь одно имя? Нет, господа, я не думал этого, когда желал того решения, какое только что принял король. Я знаю, что кое-кто уже хотел или, быть может, еще захочет клеветать на это решение, что среди тех, кто его горячо требовал, найдутся люди, готовые оспаривать его, как только окажется, что правительство согласилось с ним; но вы расстроите подобные замыслы, а мужественную нацию не убедить в том, что для защиты ее свободы достаточно пустых речей».

После этого удара по якобинцам и, несомненно, даже по Жиронде Нарбонн ясно дает понять самым выбором военачальников, что ведение военных операций будет поручено революционерам явно монархического и умеренного толка. «Было признано необходимым создать три армии: г-на де Рошамбо, г-на де Люкнера и г-на де Лафайета»<sup>28</sup>. *(Трехкратный взрыв аплодисментов.)*

Наконец, смело открывая свои карты, он взывает к силам порядка и консерватизма и доказывает, что война должна послужить поводом для укрепления исполнительной, то есть королевской власти. «Мы постараемся доказать Европе, что внутренние бедствия, о которых мы особенно скорбим потому, что иногда, быть может, сами отказывались справиться с ними, порожились беспокойным рвением к свободе и что в тот момент, когда дело свободы пришлось бы открыто защищать, жизнь и собственность были бы в полной безопасности внутри королевства. Мы будем считать врагами только тех, с кем нам придется сражаться, и неприкосновенность каждого беззащитного человека станет священной. Так мы отстоим честь нашего характера, о котором долгие смуты могли бы внушить неверное представление. Если раздастся злобный военный клич, то, во всяком случае, для нас он будет желанным сигналом к установлению порядка и справедливости. Мы почувствуем, насколько своевременная уплата налогов, от которой зависят кредит и судьба кредиторов государства, насколько защита колоний, от которой зависят доставляемые торговлей богатства; насколько исполнение законов, сила всех властей, доверие, оказываемое правительству, чтобы дать ему средства, необходимые для обеспечения общественного достояния и имущества частных лиц, уважение к державам, сохраняющим нейтралитет,— мы почувствуем, говорю я, насколько выполнения этих обязанностей властно требуют от нас честь нации и дело свободы».

И Нарбонн объявил, что он немедленно отправляется в инспекционную поездку по границе; он потребовал от Собрания одобрения первого кредита в 20 млн.<sup>29</sup>

Эта речь одновременно и обрадовала, и встревожила Жиронду. Обрадовала потому, что жирондисты хорошо понимали, что эта

первоначально ограниченная война вскоре неминуемо превратилась бы во всеобщую войну, в великое испытание королевской власти; встревожила потому, что Нарбонн, хотя бы на время, казалось, отнимал у Жиронды ее войну, превращал войну Революции в войну короля. Страшный момент, когда для всех партий война служила маневром внутренней политики: маневром короля, надеющегося осуществить таким образом свою мечту о созыве конгресса государей; маневром конституционалистов, желающих укрепить исполнительную власть и обуздать якобинское влияние; маневром Жиронды, желающей швырнуть королевскую власть в разбушевавшееся море, чтобы наконец взять в свои руки кормило старого корабля, подняв на нем флаг с новыми цветами, или же пустить его ко дну. И для этой игры, для того чтобы сперва согласиться на руководство двора в войне, предназначенной для борьбы с двором, для того чтобы бесстрашно подвергать себя опасностям королевских интриг и измен, как и всеобщей враждебности беспрестанно провоцируемых европейских государей, революционерам Жиронды нужна была такая вера в Революцию и в новую Францию, в лучезарную силу свободы и в героизм народной, что неизвестно, следует ли питать отвращение к их легкомысленной воинственности или же восхищаться их энтузиазмом?

Кто знает, не возникла ли бы в конце концов коалиция королей, несмотря на всю осторожность и сдержанность революционных партий? Кто знает, не окружила ли бы постепенно и не зажала ли бы в тиски мирную Францию эта коалиция с помощью неторопливой и тайной измены короля и не было ли это мудростью перейти в наступление и обрушить на мир меч Революции? Ум колеблется и мутится перед решением этой страшной проблемы и покорно склоняется перед судьбой.

## ИГРА БРИССО

Еще на заседании 14 декабря Бриссо, отвечая военному министру, выказал свою досаду по поводу речи, только что произнесенной Нарбонном: «Я отнюдь не против напечатания отчета, только что представленного военным министром; отчет этот за-

28. Люкнер (1722—1794) поступил в 1763 г. на французскую службу, 14 декабря 1791 г. был назначен командующим Рейнской армией, 28 декабря стал маршалом Франции... был предан суду Революционного трибунала, приговорен к смертной казни и 4 января 1794 г. казнен.

Рошамбо (1725—1807) поступил на службу в 1742 г., командо-

вал французскими войсками, посланными в Северную Америку, 14 декабря 1791 г. был назначен командующим Северной армией, 28 декабря стал маршалом Франции; после поражения под Кьевром потребовал своей замены и 20 мая 1792 г. передал командование Люкнеру.

29. «Moniteur», X, 753.

служивает самого серьезного внимания, но мне хотелось бы, чтобы ко многим содержащимся в нем истинам не примешивались несправедливые выпады, более подходящие... (*Ропот, смех и возгласы; аплодисменты на трибунах.*) Я требую, чтобы обсуждение этого важного отчета началось только после его напечатания и чтобы оно было отложено до будущей субботы, и тогда будет видно, заслуживают ли патриоты возводимые на них обвинения». (*Аплодисменты на трибунах.*)<sup>30</sup>

Итак, Бриссо не отступает. Он не заявляет, что, опасаясь интриг модерантизма, которые могли бы теперь извратить характер войны, он отказывается от совета воевать. Наоборот, он заявляет, что «патриоты», демократы продолжают желать войны.

С этого дня Жиронда начинает очень сложную игру с Нарбонном. Она щадит его, так как он, настраивая правительство в пользу войны, служит, сам того не сознавая, интересам Революции или по меньшей мере политики жирондистов. Но в то же время Жиронда старается вывести войну за рамки, начертанные Нарбонном и королем. Прежде всего надо удвоить ожесточение против эмигрантов и князей, чтобы обострить борьбу между Революцией и двором. Затем надо втянуть императора в конфликт, который король хотел бы ограничить войной с мелкими рейнскими князьями<sup>31</sup>.

29 декабря Бриссо возобновляет бой. В связи с голосованием о предоставлении 20 млн., потребованных военным министром, он в очень длинной речи вновь излагает всю внутреннюю и внешнюю политику. Насчет намерений Европы он повторяет сказанное им 20 октября: не следует опасаться нападения большинства государей. К тому же народы относятся дружелюбно к революционной Франции: «Не следует теперь ограничиваться рассмотрением мелких страстей и мелочных расчетов королей и их министров.

Французская революция потрясла всю дипломатию. Хотя народы еще не свободны, однако все они теперь что-то значат в балансе политических сил; короли вынуждены в чем-то считаться с их пожеланиями... Отношение английского народа к Революции не внушает более сомнений, он симпатизирует ей... В Венгрии раб борется против аристократии, а аристократия — против трона... Мы не похожи на эту горстку батавских буржуа, которые хотели отвоевать у статхаудера свободу, не собираясь разделить ее с неимущим классом...

Политические кабинеты тщетно будут вести бесконечные тайные переговоры; тщетно будут они возбуждаться и приводить в возбуждение всю Европу, чтобы напасть на Францию; все их усилия потерпят неудачу, потому что, в конце концов, чтобы платить солдатам, нужно золото, чтобы сражаться, нужны солдаты, а для того, чтобы иметь много солдат, нужно прочное согласие. Но народы более не склонны тратить свои последние

силы ради войны королей, дворян и особенно ради безнравственной, безбожной войны».

Итак, Бриссо верит, что война непременно примет демократический и народный характер. И он, по-видимому, думает, что европейские государи уже подвергаются столь сильной опасности со стороны своих народов или настолько парализованы ими, что европейская революция явится почти немедленным следствием безопасной войны. В номере своей газеты от 15 декабря<sup>32</sup> он говорит уже с большей ясностью, чем решается сказать это с трибуны; он представляет себе войну в виде вооруженной революционной пропаганды. «*Война, война!* — пишет он. — *Таков клич всех патриотов, таково желание всех друзей свободы, разбросанных по всем странам Европы; они только и ждут этого счастливого случая, чтобы напасть на своих тиранов и свергнуть их.*

К этой искупительной войне, которая обновит лицо мира и водрузит знамя свободы на дворцах королей, на сералах султанов, на замках мелких феодальных тиранов, на храмах пап и муфтиев, — к этой священной войне призывал Национальное собрание Анахарсис Клоотс, призывал во имя рода человеческого, имени друга которого он никогда не заслуживал в большей мере»<sup>33</sup>.

Какая пропасть между этой войной ради всемирной Революции и войной ради сохранения монархии, которой теперь хотел двор! И какой неустранимостью должна была обладать Жиронда, чтобы стремиться к первой, пройдя через вторую! Но она умудряется опрокидывать планы двора повсюду и везде. Бриссо хочет, чтобы Революция вступила в схватку со всем старым миром: «Неужели только что нарисованное мною изображение держав окажется ложным? Неужели князья пожелают войны, хотя все диктует им необходимость мира? Я готов на миг это допустить и говорю, что нам следует поторопиться, чтобы опередить их.

30. «Moniteur», X, 637. Собрание постановило напечатать речь Нарбонна и включить ее в протокол.

31. Жорес ошибается, полагая, что король хотел лишь ограниченной войны, только для видимости. В тот же вечер 14 декабря Людовик XVI послал инструкцию барону де Бретей, его тайному эмиссару при монархах, предписывая ему повлиять на императора в том смысле, чтобы курфюрст Трирский не уступал его ультиматуму и чтобы война стала всеобщей: «Партия Революции, — писал он, — проявила бы слишком много высокомерия, и

этот успех в течение некоторого времени поддерживал бы интригу». 3 декабря Людовик XVI написал лично прусскому королю письмо с просьбой о его вмешательстве. См.: S o r e l. L'Europe et la Révolution française, t. II, p. 332. [Примечание А. Матвева]

32. «Le Patriote français». Директор — Бриссо, главный редактор — Жире-Дюпре.

33. Вечером 13 декабря 1791 г. Анахарсис Клоотс огласил у барьера Собрания адрес, разоблачавший контрреволюционные планы иностранных дворов («Moniteur», X, 627). Клоотс именовал себя «оратором рода человеческого».

Тот, кто опережает своего противника, уже наполовину победил его. (*Аплодисменты.*) Такова была тактика Фридриха, а Фридрих был мастером в этом деле.

Итак, я допускаю, что император и Пруссия, что Швеция и Россия были искренни и добросовестны в только что заключенных ими договорах; допускаю, что они обязались уничтожить силой французскую Конституцию или же изменить ее, включив в нее верхнюю палату, дворянство; допускаю, что для получения этого странного сплава им понадобится созвать всеобщий конгресс европейских держав; допускаю, что они вызовут туда на суд французскую нацию, что они будут ей угрожать, если она не покорится. Я спрашиваю вас, я спрашиваю всю Францию: кто этот трус, который ради спасения своей жизни согласился бы на позорную капитуляцию? (*Аплодисменты.*)

Война со всех точек зрения необходима Франции. Она ей нужна во имя чести, ибо Франция была бы навеки опозорена, если бы несколько тысяч разбойников смогли безнаказанно бросить вызов 25 млн. свободных людей; она нужна ей ради внешней безопасности, ибо последняя гораздо больше пострадала, если бы мы спокойно ждали дома пожара, которым нам грозят, чем если бы мы, предупредив эти враждебные намерения, сами принесли его в притоны разбойников, которые смеют бросать нам вызов.

Она нужна для обеспечения спокойствия внутри страны, ибо недовольные опираются только на Кобленц, взывают только к Кобленцу, наглеют только потому, что существует Кобленц. (*Аплодисменты.*) Это центр, куда тянутся все связи фанатиков и привилегированных; значит, надо мчаться в Кобленц, если мы хотим уничтожить и дворянство, и фанатизм.

Как мы видим, это та же тема, что и в речи от 20 октября: это то же предвзятое мнение о необходимости войны. Если враждебность государей к Революции в самом деле значительна, то надо напасть на них, чтобы предупредить опасность; если она притворна, то на них надо опять-таки напасть, чтобы положить конец этому шутловству. Здесь налицо то же странное противоречие: весь мир, открывающийся для пропаганды Революции, а затем вдруг этот необъятный, залитый ярким светом горизонт суживается до жалких размеров вопроса об эмигрантах. Но за это время отвага Бриссо возросла, как возросли и воинственные настроения страны, и на сей раз он не боится требовать от короля решительных шагов против нескольких великих держав. Россия не признала наших представителей; Испания проявила злонамеренность; Швеция взбудоражена; император ведет себя уклончиво; пусть у всех у них потребуют объяснений; пусть королевских министров обяжут сообщить Собранию результат этих шагов.

Итак, сеть войны, которая сначала, казалось, должна была захватить только мелких рейнских князей и эмигрантов, вдруг

распространяется на всю Европу. Таким образом послы попадают в смертоносные тиски, ибо, если их демарши будут вызывающими, если они спровоцируют ответы в таком же духе и если они сообщат эти ответы Собранию, то они невольно втянут в войну всю Европу. Если же они предпримут лишь неуверенные шаги, если они смягчат полученные ими враждебные ответы, если они доведут до сведения Собрания лишь часть правды, то их обвинят в измене, и Жиронда от имени революционной Франции возьмет на себя дальнейшее руководство операциями. В этот момент Бриссо и Нарбонн походят на двух рыбаков, сидящих в одной лодке. Но Нарбонн, несмотря на свои широкие жесты и бахвальство, как будто угрожающие всему пространству вод, хочет поймать лишь мелкую рыбешку, князей. Бриссо же не хочет дать уйти крупной рыбе, и Нарбонн в этой легкомысленной игре, полной лживого подражания, будет вынужден работать на своего соперника и приманивать крупную рыбу, которую тот выловит. Да простят мне этот образ: мне его внушили происки и интриги, пришепивавшиеся к первым приготовлениям к войне. Но нация в своем нарастающем возбуждении была уже выше всех этих расчетов и, считая войну неизбежной, готовилась сражаться героически, среди бури огня и меча, которая должна была вот-вот разразиться, она старалась также сохранить свою спокойную гуманность, свою великую любовь к другим нациям.

## РЕЧЬ КОНДОРСЕ

На том же заседании 29 декабря Эро де Сешель заявляет, что он раскрыл «широкий заговор против свободы Франции и будущей свободы рода человеческого», придавая тем самым Революции мировой размах<sup>34</sup>. Кондорсе соглашается на войну как на крайность, необходимую для спасения свободы, находящейся под угрозой; но он старается, чтобы сама эта война была, так сказать, проникнута миролюбием, и предлагает проект обращения к нации, в котором сквозь горький дым сражений еще просвечивает лучезарный мир<sup>35</sup>. Это как бы возвышенное и мучительное усилие прими-

34. Эро де Сешель (1759—1794) — помощник прокурора Парижского парламента, судья трибунала I округа в 1790 г., в 1791 г. королевский комиссар при касационном трибунале, депутат Законодательного собрания, затем Конвента. См.: «Moniteur», X, 762.

35. Антуан Кондорсе (1743—1794) — с 1773 г. постоянный секретарь Академии наук, депутат Законо-

дательного собрания, затем Конвента от Парижского департамента. См. «Moniteur», X, 755, 763. «Г-н Кондорсе... предложил проект торжественной декларации, которая ставила иностранные державы в известность о принципах и политике возрожденной Франции. Этот проект обращения был принят под всеобщие аплодисменты и возгласы одобрения». «Moniteur», X, 755.

рять философию XVIII века, философию разума, мира, терпимости, с неизбежной войной; это братское обещание, несмотря на выказывание силы; это оливковая ветвь, шелестящая под грозным ветром. «Французская нация не перестанет видеть дружественный народ в населении стран, занятых мятежниками и управляемых согласно принципам, которые им благоприятствуют. Мирные граждане, чью территорию займут ее армии, отнюдь не станут ее врагами; они даже не станут ее подданными. Сила и власть, которые будут временно в ее руках, будут употреблены лишь на то, чтобы обеспечивать их спокойствие и охранять их законы. Гордясь тем, что она вновь завоевала права нации, она не оскорбит этих прав, если они принадлежат другим людям. Дорожа своей независимостью, решившись скорее похоронить себя под ее обломками, чем потерпеть, чтобы кто-нибудь осмелился диктовать ей законы или даже гарантировать ей ее собственные законы, она не посягнет на независимость других наций. Ее солдаты будут вести себя на чужой земле так, как они вели бы себя на земле своего отечества, если бы им пришлось сражаться на ней, и убытки, невольно нанесенные ее войсками гражданам, будут возмещены...

Франция явит миру новое зрелище истинно свободной нации, среди бурь войны подчиняющейся законам справедливости и всюду, всегда, по отношению ко всем людям уважающей права, одинаковые для всех». (*Аплодисменты.*)

Очевидно, война внушает Кондорсе отвращение. Он признает или делает вид, что признает ее необходимость; но кажется, что, отказываясь прямо противиться воинственному движению, он пытается применить своего рода отвлекающий маневр, напоминая Революции о ее мирном идеале. По-видимому, он больше всего боится «пропагандистской войны». Он понимает, что освободить силой другие народы означало бы снова поработать их. Несколькими днями ранее популярный оратор Луве с необычайным лиризмом воскликнул в Собрании<sup>36</sup>: «Война! И пусть Франция сразу берет за оружие. Возможно ли, чтобы коалиция тиранов была полной? О, тем лучше для вселенной! Пусть сразу тысячи граждан-солдат с быстротой молнии ринутся на все владения феодализма! Пусть они остановятся только там, где окончится рабство; пусть дворцы будут окружены штыками; пусть Декларацию прав несут в хижины; пусть чувство первоначального достоинства повсюду вернется к просвещаемому и освобождаемому человеку! Пусть род человеческий поднимется и вздохнет! Пусть нации сольются в единую нацию! И пусть эта неисчислимая братская семья пошлет своих священных уполномоченных принести клятву на алтаре равноправия, свободы вероисповеданий, вечной философии, народного суверенитета, клятву всеобщего мира!»

Это воодушевление, не знавшее меры, тревожило Кондорсе. Он предвидел, что, желая осуществить силой оружия всеобщее братство и всеобщий мир, революционная Франция рисковала бы

усилить конфликты и ненависть; кроме того, при такой системе невозможны были бы никакие сепаратные переговоры с различными государствами. И он требовал уважения к законам и даже к предрассудкам других народов.

Но не значило ли это лишить дух воинственности одного из его элементов? Кондорсе, как математик, соизмеряющий силы, по-видимому, отказался от мысли подавить чрезвычайно сильное воинственное движение, развязанное в последние месяцы, но стараясь его сдержать.

## ОППОЗИЦИЯ РОБЕСПЬЕРА

Газета Прюдома и Робеспьер ведут прямую борьбу: они пытаются сокрушить военное течение, усиливающееся с каждым днем. «Революсьон де Пари» помещает в номере за 17—24 декабря написанную с большой силой статью об опасности наступательной войны.

«Что король, что министры и двор хотят войны, что аристократы хотят войны, что фанатики хотят войны, что все враги свободы хотят войны — в том нет ничего удивительного, война может лишь служить их человекоубийственным планам. Но что многие патриоты тоже хотят войны, что мнения патриотов о войне могут расходиться, — вот это непостижимо, но это правда, свидетелями которой мы являемся...

*Честь французов оскорблена!* И таким языком говорят люди, считающие себя патриотами! Людовик XVI тоже, Нарбонн тоже, фейяны и сторонники правительства тоже говорят нации о *чести*. Еще раз повторяю: свободные люди никогда не знали, что такое *честь*. Честь — это достояние рабов; честь — это коварный талисман, с помощью которого деспоты попирали ногами священное человеколюбие.

После 14 июля мы больше не слышим речей о *чести*. Зачем вдруг опять оживлять это слово и заменять им слово «добродетель»? Пусть будет народ добродетелен, пусть будет он силен — это для него все, но *честь*... Честь в Кобленце, и какое дело французской нации до мнения кучки тиранов, кучки рабов, бежавших на заре свободы?.. Но во имя этой *чести* Бриссо потребовал *войны*».

Несколько дней спустя, обсуждая обращение Верньо, содержащее слова «нас ожидает слава», смелая газета провозгласила:

36. Луве де Куврэ (1760—1797) — служащий в книжной лавке и литератор, во времена Революции — журналист, депутат Конвента от департамента Дуаре. 25 декабря

1791 г. во главе депутации от секции Ломбар Луве представил Законодательному собранию петицию. См.: «Moniteur», X, 727.



«Слава— мы ее не хотим, мы хотим только счастья»— и привадила следующие значительные и прекрасные слова: «Будем по крайней мере надеяться, что Собрание не позволит чужим народам следовать его предписаниям, *предписаниям оказывать сопротивление угнетению*».

Речи, произнесенные Робеспьером против войны в Якобинском клубе 2 и 11 января 1792 г., поражают своей смелостью, проникновенностью и силой; очень сожалею, что не могу привести их полностью<sup>37</sup>. Нам приятно, что именно наиболее демократическая партия, та, которая хотела добиться действительного осуществления народного суверенитета, наиболее энергично противилась войне; позже, когда война будет уже развязана, когда революционной Франции придется защищать свою свободу против всего мира, составившего против нее заговор, революционные демократы будут защищать ее с неукротимой энергией; но пока мир казался им возможным, они боролись за его сохранение даже вопреки страстному воинственному увлечению народа.

Значит ли это, что в положениях Робеспьера не было ни ошибок, ни пробелов, ни недостатков? Чтобы заставить революционеров свернуть с пути войны, на который они уже вступили, ему нужно было возбудить их недоверие. И он подчеркивал участие двора, большее, чем это было в действительности, в движении за войну. Робеспьер усматривал в войне хитрый замысел короля; он ошибался<sup>38</sup>. Король и королева долго боялись войны. Только когда они увидели, что возбуждение умов стало почти непреодолимым, то по совету Нарбонна они решили использовать его и взять на себя руководство операциями. Но в тот момент, когда выступал Робеспьер, было безусловно верно, что войну, во всяком случае, вел бы двор и что он связал бы ее со своими контрреволюционными планами.

«Если остроумные построения, если блестящая и пророческая картина успехов в войне, которая закончится братскими объятиями всех европейских народов, являются достаточными доводами для решения столь серьезного вопроса, то я, пожалуй, соглашусь, что г-н Бриссо превосходно решил его; но в его речи имеется, как мне показалось, порок, несущественный для академической речи, но имеющий некоторое значение при обсуждении важнейшего политического вопроса; а именно: он все время избегал самой сути вопроса, чтобы, не касаясь ее, построить всю свою систему на совершенно непрочном основании.

Так же как и г-н Бриссо, я, конечно, одобряю войну, принимаемую для расширения царства свободы, и я тоже мог бы доставить себе удовольствие рассказывать о ней всякие чудеса. Если бы я был хозяином судеб Франции, если бы я мог по своему усмотрению распоряжаться ее силами и ее ресурсами, я бы уже давно послал армию в Брабант, я помог бы льежцам и разбил, оковы батавцев; такие экспедиции вполне в моем вкусе. Правда,

я не стал бы объявлять войну мятежным подданным; я бы отбил у них всякую охоту устраивать сборища; я бы не позволил более грозным и ближе находящимся врагам [двору] покровительствовать им и создавать для нас более серьезные опасности внутри страны. Но при том положении, в каком находится мое отечество, я с тревогой осматриваюсь вокруг и задаюсь вопросом, будет ли война такой, какую нам обещает воодушевление; я задаюсь вопросом, кто, каким образом, при каких обстоятельствах и почему ее предлагает.

Весь вопрос именно в этом, в нашем совершенно особенном положении. Вы беспрестанно отводили от этого свои взоры; но я доказал то, что было ясно для всех, а именно что предложение начать ныне войну явилось результатом плана, давно уже составленного внутренними врагами нашей свободы; я вам показал его цель; я указал вам на средства его осуществления; другие вам доказали, что эта война — не что иное, как явная ловушка; нет человека, который бы не увидел этой ловушки, если бы поду-

37. «Oeuvres de Maximilien Robespierre», т. VIII: «Discours (3<sup>e</sup> partie). Octobre 1791 — septembre 1792», р. 74 et 95. См. выше, с. 115, прим. 13. После своей речи в Якобинском клубе 28 ноября 1791 г. Робеспьер 9 декабря, отвечая на воинственную и язвительную речь Карра, начал менять свою позицию. 11 декабря он потребовал более длительного обсуждения: «Сторонники правительства проповедуют необходимость наступления, и с этим мнением согласны многие настоящие патриоты; никогда закон, единодушно одобряемый обеими партиями, не бывает хорошим». 12 декабря он сказал: «Война — самое большое бедствие, какое могло бы угрожать свободе при тех обстоятельствах, в которых мы находимся». 16 декабря Бриссо заявил в Якобинском клубе: «Народ, завоевавший свою свободу, нуждается в войне». Робеспьер ответил ему 18 декабря. Четыре большие речи Робеспьера против войны были произнесены 18 декабря 1791 г., 2, 11 и 25 января 1792 г. См.: G. Michon. Robespierre et la guerre révolutionnaire, 1791—1792. Paris, 1937.

38. Жорес не обратил внимания на переписку королевы с Мерси-Аржанто, где ее желание войны проявляется начиная с сентября 1791 г. Она возмущается проволочками со стороны своего брата Леопольда и рада воинственной инициативе жирондистов. «Я думаю,— пишет она Ферзену 9 декабря 1791 г.,— что мы объявим войну, но не державе, у которой имелись бы средства для борьбы с нами, для этого мы слишком трусливы, а курфюрстам и нескольким немецким князьям в надежде, что они не смогут защищаться. Глушцы! Они не понимают, что если они сделают подобную вещь, то они нам окажут услугу, потому что если мы начнем, то потребуются наконец вмешательство всех держав, чтобы защитить права каждого». Таким образом, Робеспьер превосходно понимал игру двора [Примечание А. Матьеза].— «Lettres de Marie-Antoinette». Recueil de lettres authentiques de la reine, publié pour la Société d'Histoire contemporaine par M. de La Rochette et le marquis de Beaucourt. Paris, 1895—1896, 2 vol.

мал, что, после того как эмиграции и мятежным эмигрантам постоянно покровительствовали, ныне предлагают объявить войну их покровителям, причем одновременно продолжают защищать внутренних врагов, находящихся с ними в союзе.

Вы сами согласились с тем, что война отвечает желанию эмигрантов, что ее хотят правительство, придворные интриганы, эта многочисленная клика, слишком хорошо известные нам главари которой давно уже руководят всеми действиями исполнительной власти. Сигнал к ней подают одновременно все рупоры аристократии и правительства; наконец, всякого, кто мог бы поверить, что поведение двора с самого начала этой Революции не находилось всегда в противоречии с принципами равенства и уважения к правам народа, приняли бы за безумца, если бы он был искренним; не лучшей оценки заслужило бы и суждение того, кто мог бы сказать, что двор предлагает столь решительную меру, как война, не связав ее со своими планами; можете ли вы утверждать, что для блага государства безразлично, любовь ли к свободе будет руководящим мотивом войны или дух деспотизма, верность или коварство? И все-таки, что ответили вы на все эти решающие факты? Что сказали вы, чтобы рассеять столько справедливых подозрений?

Недоверие, сказали вы в своей первой речи <sup>39</sup>, *недоверие — это отвратительное состояние; оно мешает обеим властям действовать согласованно; оно мешает народу верить в добрые намерения исполнительной власти, ослабляет его преданность, ослабляет его повиновение.*

.. Недоверие—это отвратительное состояние! И это язык свободного человека, который полагает, что нет такой слишком высокой цены, которую нельзя было бы заплатить за свободу? Оно мешает обеим властям действовать согласованно! Опять-таки, вы ли говорите это? Как! Исполнительной власти мешает действовать недоверие народа, а не ее собственная воля?»

В этом пункте Робеспьер безжалостно атакует Бриссо. Кажется, что здесь у Робеспьера действительно было явное преимущество, так как если бы война была объявлена, то это была бы с самого начала война двора. И Бриссо должен был бы заявить с уверенностью: король не изменит; или же смело сказать: если нам изменят, то тем лучше, так как впечатление от измены будет таково, что руководство войной ускользнет от двора.

Бриссо говорил одновременно и то и другое. И право, то он жаловался на крайнее недоверие и, казалось, верил в «удивительный ум» Нарбонна, то он провозглашал, что спасение кроется именно в измене. Даже в Якобинском клубе в речи, на которую отвечал Робеспьер, он сказал <sup>40</sup>: «Спрашивается, знаете ли вы такой народ, который завоевал бы свою свободу, ведя внешнюю, религиозную и гражданскую войну под руководством деспотизма, который его обманывал?

Но какое нам дело до того, было это или не было? Разве в древней истории была революция, подобная нашей? Укажите нам народ, который после двенадцати веков рабства вновь обрел свободу? Мы создадим то, чего прежде не существовало.

Да, либо мы победим и эмигрантов, и священников, и курфюрстов, и тогда мы упрочим наше общественное доверие и благосостояние, либо мы будем разбиты и преданы... и изменники будут наконец уличены и наказаны, и мы сможем наконец добиться исчезновения всего того, что препятствует величию французской нации. Сознаюсь, г-да, у меня только одно опасение, а именно что мы не будем преданы. Нам нужны великие измены: в этом ваше спасение, ибо в лоне Франции еще есть сильные дозы яда, и нужны мощные взрывы, чтобы их удалить: тело здорово, бояться нечего».

Я нахожу эти слова наиболее смелыми из всех, произнесенных накануне великих событий. Но заметьте, что, несмотря на все, Бриссо в данном случае строит одни только предположения: он предвидит возможность измены и не боится ее; напротив, он желает ее, потому что она очистит Францию и Революцию от тайного яда, парализующего их. Но Бриссо не осмеливается сказать прямо и утвердительно: «Настроение двора таково, логика королевского деспотизма такова, что нас сначала неминуемо предадут, и мы, лишь пройдя сквозь огонь измены, придем к великой революционной, республиканской и освободительной войне».

Нет, Бриссо маневрирует и виляет. Так же как он желает и подготавливает войну с великими европейскими державами, но успокаивает нацию, уверяя ее в том, что они хотят мира; точно так же он готовится завершить Революцию благодаря измене короля, которая обнаружится в ходе войны, но остерегается объявить эту измену неминуемой. Итак, он колеблется или как бы колеблется между двумя концепциями: между идеей войны сообща с двором и идеей войны против двора.

Он не хочет или не осмеливается сделать выбор, и Робеспьер пользуется этой неуверенностью, этим замешательством, чтобы

39. Робеспьер отвечал на речь Бриссо в Якобинском клубе, произнесенную 30 декабря 1791 г. «Jacobins», III, 303; E. Hamel. Histoire de Robespierre..., t. II, p. 58.

Бриссо произнес в Якобинском клубе три речи по вопросу о войне: «Discours sur la nécessité de déclarer la guerre aux princes allemands qui protègent les émigrés prononcé le 16 décembre 1791». Paris, 1791 (B.N., 8° Lb<sup>40</sup> 652, imp. in 8°, 24 p.); «Second dis-

cours sur la nécessité de faire la guerre ... prononcé dans la séance du 30 décembre 1791». Paris, s.d. (B.N., 8° Lb<sup>40</sup> 666, imp. in-8°, 29 p.); «Troisième discours... sur la nécessité de la guerre, prononcé le 20 janvier 1792». Paris, s.d. (B.N., 8° Lb<sup>40</sup> 675, imp. in-8°, 18 p.).

40. «Second discours sur la nécessité de faire la guerre... 30 décembre 1791». См. предыдущее примечание.

изобразить его услужливым союзником двора. Это была ловкая тактика, но она не соответствовала величию задачи и размерам опасности. Робеспьер ошибался и умалял значение спора, когда говорил, что войны хотела, ее подготавливала и замышляла королевская семья<sup>41</sup>.

Напротив, воинственные импульсы исходили от части нации, и двор примкнул к уже возникшему движению, чтобы его возглавить, исказить и использовать. Робеспьер был бы намного сильнее, если бы он сказал всю правду. Но может быть, он ее не видел. Он не обладал пониманием тех широких и смутных движений, того инстинктивного нетерпения, той потребности в решительных и немедленных действиях, которые порою охватывают нацию, измученную ожиданием, неуверенностью и опасностью. Если бы он все ясно видел, если бы мелкая интрига двора не заслонила от него национального возбуждения, он сказал бы Бриссо: «Да, нация начинает терять терпение и идет к войне, чтобы проявить свою силу, чтобы осознать ее, чтобы заставить всех своих скрытых врагов сбросить маску. Но у двора остается еще достаточно сил, чтобы сбить движение с пути. Да, возможно, даже если двор изменит, революционная сила сможет пережить этот период измены, но ценой каких испытаний! А главное, что означает этот окольный маневр? Неужели вы действительно считаете войну очистительным средством, необходимым для Революции? И если она действительно не может обрести в своей мудрости, в своей любви к свободе силу, необходимую ей для уничтожения контрреволюции, то не опасно ли подвергать превратностям войны нацию со столь недостаточно развитым самосознанием?»

В этом заключалась подлинная проблема. Была ли война действительно необходима Революции? Действительно ли диктовалась война потребностями нашей внутренней политики?

И я осмеливаюсь утверждать, что Бриссо и Робеспьер в своих противоположных выводах совершили одну и ту же ошибку: им обоим не хватало веры в Революцию.

Да, несмотря на его внешнюю отвагу, несмотря на его смелые парадоксы насчет измены, у Бриссо не было достаточной веры в Революцию, если он думал, что война была необходимой судорогой, скажем прямо, «необходимым рвотным средством», чтобы организм Революции изверг содержащиеся в нем вредные элементы. И у Робеспьера тоже не было достаточной веры в Революцию, раз он не видел возможности внутри страны революционных действий, способных немедленно исторгнуть все эти вредные элементы.

Тем, кто горячился и хотел двинуться на Кобленц, надо было сказать: «Нет, двинемся на Тюильри». Но хотя Робеспьер говорил или ясно давал понять, что подлинная опасность была не в Кобленце, а в Тюильри, он не предлагал, не позволял надеяться на скорые революционные действия. Все более и более омрачав-

шийся и темневший горизонт должен был очиститься от удара молнии — молнии войны или молнии народной и республиканской Революции. Робеспьер не обещал и не желал ни той, ни другой. Он был одновременно за мир с иностранными державами и за законность внутри страны: это значило требовать слишком многого от народа, чьи возбужденные либо ослабленные нервы вновь напряглись после нескольких месяцев апатии<sup>42</sup>.

Поэтому, хотя борьба Робеспьера против войны была велика и благородна, она все же оказалась безрезультатной. Но какое поразительное чувство реальности, а главное — какое чувство трудностей, препятствий у человека, которого обычно называют идеологом, абстрактным теоретиком! И как рассеивает он пустые мечты тех, кто верил, как писала об этом газета Приюдома, что, «принеся народу Декларацию прав человека на острие штыков», можно без труда установить всемирную свободу! «Нужды нет, — говорит он Бриссо с разящей глубокой иронией, — сначала вы сами беретесь завоевать Германию; вы ведете нашу победоносную армию ко всем соседним народам; вы повсюду учреждаете муниципалитеты, директории, национальные собрания, и вы сами восклицаете, что эта мысль возвышенна, словно судьба государств определяется риторическими построениями. Наши генералы, руководимые вами, — только миссионеры Конституции; наш лагерь — только школа публичного права; союзники иностранных монархов, ни-

41. Робеспьеру было безызвестно, что Бриссо, Клавьер, Инар и Коцдорсе встречались с Нарбонном и Талейраном в салоне мадам де Сталь. (Beaulieu. Mémoires, t. III, p. 78; Lascroix. Histoire, t. III, p. 32; Dumont. Souvenirs, p. 372; Dumouriez. Mémoires, t. II, p. 132.) Робеспьер не только ошибался, но даже недооценивал эту истину, так как двуличие короля превосходило его догадки. [Примечание А. Матьега.]

42. Отвечая Бриссо в начале января в Якобинском клубе, Робеспьер позволил разгадать его тайный замысел: «Подобная война может лишь изменить настроение общественного мнения, отвлечь нацию от справедливых опасений и предупредить благоприятный кризис, к которому могли бы привести посягательства врагов свободы». (Buche et Roux. Histoire parlementaire, t. XIII,

p. 134.) Итак, Робеспьер был против войны, потому что она задерживала кризис, который сверж бы короля. Глагау убедительно доказал, что между Робеспьером и Бриссо имелись коренные разногласия.

Бриссо считал, что Революция уже дала достаточно народу. Он боялся господства улицы, выступлений против собственности. Робеспьер же, упорно борющийся против пересмотра конституции после избения на Марсовом поле и даже требовавший в этой связи созыва Конвента, ожидал спасения именно от внутреннего кризиса, который лишил бы буржуазию ее классовых привилегий; и этот кризис, который привел бы к свержению монархии, он хотел вызвать, воспользовавшись для этого самой конституцией, как законным оружием. См.: Glagau. Die Französische Legislative, S. 123. [Примечание А. Матьега.]

сколько не препятствуя выполнению этого плана, мчатся к нам навстречу, но для того, чтобы слушаться нас.

Досадно, что истина и здравый смысл<sup>1</sup> опровергают эти великолепные пророчества. *Природе вещей соответствует медленное развитие разума. Самый порочный образ правления находит мощную поддержку в привычках, в предрассудках, в воспитании народов.* Деспотизм сам по себе до того развращает сознание людей, что заставляет их себе поклоняться и делает для них свободу подозрительной и пугающей на первый взгляд. Самая сумасбродная мысль, которая могла бы прийти в голову политику, — это думать, что достаточно одному народу прийти с оружием в руках к другому народу, чтобы заставить последний принять его законы и его конституцию. Никто не любит вооруженных миссионеров, и первый совет, какой дают природа и осторожность, — оттолкнуть их как врагов. Я сказал, что подобное вторжение могло бы скорее пробудить воспоминания о пфальцских пожарах \* и о последних войнах, чем породить конституционные идеи, так как в тех краях народным массам эти события известны лучше, чем наша конституция. Рассказы просвещенных людей, осведомленных о них, опровергают все то, что нам толкуют о страстном стремлении этих стран к установлению нашей конституции и появлению наших армий. Прежде чем влияние нашей Революции даст себя почувствовать среди других наций, надо чтобы она сама упрочилась. Желать дать им свободу раньше, чем мы сами ее завоевали, — значит утвердить одновременно и наше порабощение, и порабощение всего мира; думать, что, как только один народ установит у себя конституцию, все другие народы мгновенно откликнутся на этот сигнал, — значит составить себе преувеличенное и абсурдное представление о вещах.

Разве примера Америки, который вы привели, было бы достаточно, чтобы разбить наши оковы, если бы время и стечение самых счастливых обстоятельств не привели мало-помалу к этой Революции? Декларация прав не свет солнца, в одно и то же мгновение озаряющий всех людей; это и не молния, одновременно поражающая все троны. Написать ее на бумаге или выгравировать на бронзе легче, чем возстановить в сердцах людей священные письмена, стертые невежеством, страстями и деспотизмом. Да что я? Разве от нее ежедневно не отрекаются, не попирают ее ногами, не игнорируют даже среди вас, ее обнародовавших? Разве равноправие где-нибудь существует, кроме как в принципах нашей конституционной хартии?

Разве деспотизм, аристократия, воскресая в новых формах, не поднимает своей отвратительной головы? Разве именем законов и самой свободы не угнетает она снова слабость, добродетель, невинность? Разве Конституция, которую называют дочерью Декларации прав, действительно похожа на свою мать?.. Как же можете вы думать, что в то самое мгновение, которое наши

внутренние враги выберут для войны, она совершит чудеса, каких ей еще не удалось совершить?»

Дальнейшие события показали, что Робеспьер был прав, предвещая сопротивление народов вооруженной Революции. Разумеется, великие войны Революции поколебали во многих странах старый порядок, но они его там не свергли, и не одной нации понадобилось больше столетия, чтобы завоевать лишь часть тех свобод, какими в 1792 г. обладала Франция. Кто может утверждать, что пропаганда одним примером подействовала бы медленнее? Но войны Революции повсюду вызвали воинственный и ожесточенный национализм, и нельзя без горького сожаления думать о том, каковы были бы взаимоотношения народов и всеобщая цивилизация, если бы Революция смогла сохранить мир.

Стараясь разрушить распространяемые Жирондой иллюзии, Робеспьер достигает такой глубины социального анализа и — да простят мне это слово! — революционного реализма, которыми нельзя не восхищаться. Он, говорящий иногда неопределенно, что Революцию совершил «народ», признает, что сперва нужно было, чтобы пришли в движение сами привилегированные классы, во всяком случае богатые классы.

*«Хотите ли вы получить надежное противоядие, — сказал он, — от всех иллюзий, какие вам внушают? Поразмыслите только об естественном ходе революции. В государствах, устроенных, как почти все европейские страны, существуют три силы: монарх, аристократы и народ, или, скорее, народ там ничто. Если в такой стране происходит революция, то она может быть только постепенной; ее начинают дворяне, духовенство, богатые, а народ поддерживает их, когда его интересы совпадают с их интересами, чтобы сопротивляться господствующей власти, власти монарха. Так, у нас толчок к Революции дали парламенты, дворяне, духовенство, богатые; затем выступил народ. Они об этом пожалели или по крайней мере хотели остановить Революцию, когда увидели, что народ может обрести наконец свою суверенную власть; но начали именно они; и без их сопротивления и их ошибочных расчетов нация еще находилась бы под игмом деспотизма. Сообразно с этой исторической и нравственной истиной вы можете судить, в какой мере вы вообще должны рассчитывать на европейские нации; ибо у них аристократы, отнюдь не склонные подать сигнал к восстанию, наученные нашим примером и столь же враждебные народу и равенству, как наши, как и они, объединились с правительством, чтобы по-прежнему держать народ в невежестве и оковах.»*

Поэтому, по мнению Робеспьера, надежда на быстрое всеобщее распространение Революции несбыточна и усилия свои надо со-

\* В 1687—1688 гг., накануне войны с объединением германских протестантских князей (Аугсбургской

лигой), Пфальц по приказу Людовика XIV был подвергнут опустошению. — *Прим. ред.*

средоточить против контрреволюционных сил Франции: «Но что я говорю? Разве у нас внутри страны есть враги? Вам они неизвестны, вы знаете только Кобленц. Разве вы не говорите, что все зло исходит из Кобленца? Значит, в Париже его нет? Значит, между Кобленцем и другим местом, расположенным недалеко от нас, никакой связи нет?.. Так знайте же, что, по мнению всех просвещенных французов, настоящий Кобленц находится во Франции... Вы говорите, я обескураживаю нацию; нет, я ее просвещаю; просвещать свободных людей — значит пробуждать в них мужество, значит не допускать того, чтобы само их мужество превратилось в камень преткновения для их свободы. И если бы я ничем другим не занимался, как только разоблачал столько ловушек, опровергал столько ошибочных идей и вредных принципов, сдерживал порывы опасного воодушевления, то и тогда я подвинул бы вперед общественное мнение и послужил бы отечеству!»

Да, но речи Робеспьера не хватало революционного духа: он, казалось, больше не надеялся ни на успех народного движения внутри страны, ни на успех войны: «Когда народ пробуждается и проявляет свою силу и свое величие, что случается один раз в столетия, все склоняется перед ним, деспотизм падает ниц и притворяется мертвым, как трусливый и свирепый зверь при виде льва; но вскоре он поднимается и приближается к народу с ласковым видом; он сменяет силу на хитрость; его считают обращенным в новую веру, слышали, как с его уст слетело слово «свобода»; народ предается радости, энтузиазму, в руках деспота накапливаются несметные сокровища, которые ему дает общественное достояние; ему вручают огромную власть, он может предлагать честолюбию и алчности своих сторонников неотразимые приманки, тогда как народ может платить своим слугам лишь своим уважением... Наступает момент, когда всюду царит раскол, когда все ловушки тиранов расставлены, когда союз всех врагов свободы полностью заключен, когда во главе его стоят лица, облеченные публичной властью, когда та часть граждан, которая обладает наибольшим влиянием благодаря своим знаниям и своему богатству, готова примкнуть к их партии. И вот нация поставлена перед выбором между порабощением и гражданской войной. Все части расколотой таким образом страны не могут восстать одновременно, а всякое частичное восстание рассматривается как мятежный акт...»<sup>43</sup>

Но как не понять, что этим своим пессимизмом Робеспьер играл на руку Жиронде и способствовал войне? Если Революция до такой степени увязла, если ее не может спасти ни всеобщее, ни частичное восстание, то по крайней мере испробуем великий окольный маневр, предлагаемый жирондистами. Робеспьер не предвидел событий 20 июня; он не верил в возможность того, что случилось 10 августа, и его чисто отрицательная критика не могла умерить

порыв безрассудных и пламенных страстей, разбуженных Жирондой.

В тот момент нужна была партия действия, которая не была бы партией войны. Робеспьер не сумел создать ее, и единственным выходом оставалась война. Но в ходе всех этих споров между Робеспьером и Бриссо росла взаимная ненависть; именно тогда и начался конфликт между Жирондой и Горой. В тот момент, когда жирондисты считали возможным осуществить план, который предоставлял им власть, отдавал королевскую власть на их милость и должен был вызвать взрыв мировой революции, они вдруг наткнулись на непреклонное противодействие патриота, демократа, чей моральный авторитет был огромным. Они чувствовали, что именно в тот час, когда они надеялись поразить все умы, увлечь за собой все силы, от их влияния ускользает часть общественного мнения, часть революционной силы. А гордость педантичного, недоверчивого и самолюбивого Робеспьера была уязвлена блестящей и хвастливой отвагой Жиронды в такой же мере, как и его благоразумие.

Сначала противники, казалось, щадили друг друга, но вскоре стали наносить друг другу сокрушительные удары. Жирондисты были легкомысленными клеветниками, Робеспьер — глубокомысленным клеветником. Бриссо с большой легкостью и недобросовестностью представил слова Робеспьера об осмотрительности как оскорбление, нанесенное народу. А Робеспьер с каждым днем все более коварно намекал на то, что Бриссо и его друзья действовали в интересах двора<sup>44</sup>. В самом деле, именно потому, что жирондисты хотели войны и хотели начать ее немедленно неведомо какими средствами, они брали на себя страшную ответственность. Искусная и жестокая игра Робеспьера будет состоять в том, чтобы объединить их с легкомысленным Нарбонном, с обгаренным пролитой на Марсовом поле народной кровью Лафайетом, а вскоре и с Дюмурье. Задеть Робеспьера, который не действовал, который, по существу, ни за что не ручался, было гораздо труднее<sup>45</sup>.

43. Две речи Робеспьера, от 2 и 11 января 1792 г., вызвали восторженные отклики части газет. «Г-н Робеспьер произнес речь, исполненную самого высокого красноречия» («Les Annales patriotiques», 13 janvier 1792). «L'Orateur du peuple» писала, что это был «шедевр красноречия, который должен был возвестить потомству, что Робеспьер жил ради общественного благоденствия и сохранения свободы» (t. X, № 18).

44. Это была не клевета, а истина, что доказывают письма королевы. См. ценное исследование: G. Michon. Robespierre et la guerre.—«Annales révolutionnaires», 1920. [Примечание А. Матъеза.] См.: G. Michon. Robespierre et la guerre révolutionnaire 1791—1792. Paris, 1937.

45. Это суждение представляется нам слишком суровым. Обратимся к Лефевру (G. Lefevre. La Révolution française, p. 240): «Внутри самой левой война на-

## ЖИРОНДА, ДВОР И ДЕРЖАВЫ

Среди этих [споров Революция] все более и более склонялась к войне, и результаты непрекращавшихся провокаций Жиронды начинали сказываться. 31 декабря 1791 г. министр иностранных дел Делессар огласил в Собрании ноту, которую 21 декабря вручил французскому послу австрийский министр князь фон Кауниц<sup>1</sup>:

«Придворный и государственный канцлер со своей стороны имеет честь сообщить, что монсеньёр курфюрст Трирский также только что сообщил императору о ноте, вручить которую было поручено венскому посланнику в Кобленце; что этот государь одновременно уведомил Его Императорское Величество о том, что в отношении сборищ вооруженных французских эмигрантов и беглецов и в отношении поставок оружия и боеприпасов он придерживался тех же принципов и правил, какие были приняты в австрийских Нидерландах; но поскольку среди его подданных и в окрестностях распространяется сильная тревога по поводу того, что спокойствие границ и владений может быть нарушено набегами и насилиями, несмотря на эту разумную меру, то монсеньёр просил у императора помощи на случай, если события подтвердят его опасения.

Что император совершенно спокоен относительно справедливых и скромных намерений христианнейшего короля и не менее убежден в крайней заинтересованности французского правительства не бросать вызов всем иностранным суверенным государям насильственными действиями против одного из них, но что повседневный опыт не внушает достаточной уверенности в твердости и преобладании принципа умеренности во Франции, в повиновении властей, особенно провинциальных и муниципальных властей, что-

бы не приходилось опасаться, что насильственные действия будут совершаться вопреки намерениям короля и без внимания к их опасным последствиям. Его Императорское Величество как ввиду своей дружбы с курфюрстом Трирским, так и обязательного для него внимания к общим интересам Германии как совокупности государств и к своим собственным интересам как соседа почитает себя вынужденным предписать главнокомандующему его войсками в Нидерландах маршалу Бендеру оказать немедленную и самую действенную помощь владениям курфюрста Трирского в случае, если на них будут совершены нападения или если они окажутся под непосредственной угрозой таковых.

Император слишком искренне предан Его Христианнейшему Величеству и слишком дорожит благоденствием Франции и всеобщим спокойствием, чтобы не стремиться отвлечь эту крайность и неизбежные последствия, которые она повлекла бы за собой как со стороны главы Германской империи и входящих в нее государств, так и со стороны других государей, вступивших в сообщество, объединившихся ради сохранения общественного спокойствия и ради безопасности и чести своих корон, и именно в силу этого стремления придворному и государственному канцлеру поручено откровенно, ничего не утаивая, высказать все это г-ну французскому послу».

Это еще не была война, но крупный шаг к войне, весьма обрадовавший Бриссо. Прежде всего, выражая свои взгляды на ход внутренних дел во Франции, император оскорблял национальную и революционную гордость, уже и без того до крайности возбужденную. Затем он говорил о сообществе государей и, хотя и отводил ему чисто оборонительную роль, давал этим понять, что мысль о созыве контрреволюционного конгресса не оставлена. Наконец, и это главное, как и надеялся Бриссо, это была уже не стычка Революции с эмигрантами, а прямое столкновение Революции с императором, следовательно возможность большой войны, такой, какой не хотел двор, но хотела Жиронда. Король скрыл свой испуг и направил в Собрание следующую декларацию<sup>2</sup>:

шла своего наиболее решительного противника, и притом единственного, который упорствовал до конца. Какое-то время Дантон, Камиль Демулен, некоторые газеты его поддерживали; постепенно они смолкли, но Робеспьер упорствовал до конца. С поразительной пронительностью он показывал связанные с ней опасности сопротивление народов «вооруженным миссионерам», неизбежную диктатуру, непосильные налоги, усталость и разоча-

рование. Особенно он раздражал Жиронду, разоблачая ее двусмысленную позицию так вот кто ручается за Лафайета, «героя» Марсова поля, и кто требует доверия к Нарбонну, министру короля, потому что война требует единства! Разгадав замысел фейянов, он утверждает, что, прежде чем сражаться, надо подчинить себе короля и изгнать из армии офицеров-контрреволюционеров».

1 «Moniteur», XI, 5.  
2 «Moniteur», XI, 5.

«В ответе, который я направляю императору, я ему повторяю, что я не требовал от курфюрста Трирского ничего такого, что не было бы справедливым, ничего такого, примера чему не подал бы сам император. Я напоминаю ему о том, что французская нация тотчас позаботилась о предотвращении сборищ брабантцев, которые, по-видимому, желали устраивать их по соседству с австрийскими Нидерландами. Наконец, я вновь выражаю ему желание Франции сохранить мир, но в то же время заявляю ему, что если к указанному мною сроку курфюрст Трирский действительно и окончательно не рассеет сборищ в своих владениях, то ничто не помешает мне предложить Национальному собранию, как я уже об этом заявил, применить силу оружия, дабы его к этому принудить. (*Аплодисменты.*)

Если эта декларация не окажет действия, на какое я вправе надеяться, если участь Франции — сражаться против своих сынов и своих союзников, то я оповещу Европу о справедливости нашего дела; французский народ поддержит его своим мужеством, и нация увидит, что у меня нет иных интересов, кроме ее интересов, и что я всегда буду почитать поддержание ее достоинства и безопасности за самую главную из своих обязанностей». (*Громкие аплодисменты.*)

В то время как король, связанный своими первыми действиями и к тому же увлекаемый Нарбонном, обращается с такими словами к Собранию и к Франции и кажется решившимся на войну, даже на войну против Австрии, двор предпринимает двусмысленные и несогласованные шаги, чтобы воспрепятствовать войне, хотя бы войне с императором<sup>3</sup>. Во время этого кризиса королева прибегла к мудрости своих советчиков-конституционалистов, Ламетов, Дюпора и Барнава.

## МЕМУАР ФЕЙЯНОВ

По-видимому, между ними не было согласия насчет тактики, которую предлагал Нарбонн. Можно предполагать, что Ламет и Дюпор несколько не осуждали ее; наоборот, Барнав был явно против нее, но всех их объединяло стремление предотвратить всякое расширение войны, всякий конфликт между королем и императором. Именно в этот момент, за несколько дней до окончательного отъезда Барнава из Парижа, они совместно составили мемуар, который королева послала императору. Напоминаю свидетельство Ферзена, которое не оставляет сомнений на этот счет<sup>4</sup>:

«Мемуар королевы императору, написанный Барнавом, Ламетом и Дюпором, отвратителен; императора хотя испугать, доказать ему, что в его интересах — не воевать (8 января 1792 г.)»<sup>5</sup>.

Очевидно, именно об этом мемуаре говорит Мария Антуанетта в своем январском письме к брату Леопольду II<sup>6</sup>:

«У меня есть надежная оказия отсюда в Брюссель, и я пользуюсь ею, чтобы написать Вам, мой дорогой брат, несколько слов. Вы одновременно получите мемуар, который я *вынуждена* Вам *послать*, так же как письмо, которое меня заставили написать Вам в июле. Предполагалось и письмо, но, поскольку в нем говорилось бы то же, что содержится в мемуаре, я сочла излишним его писать. Весьма важно, чтобы Вы прислали мне ответ, который я могла бы показать и где бы Вы сделали вид, будто верите, что я действительно думаю так, как сказано в обоих этих документах, — точно так же, как Вы ответили мне этим летом»<sup>7</sup>.

Но почему же Мария Антуанетта вынуждена переписывать и посылать императору мемуар и письмо, составленные Барнавом, Ламетом и Дюпором?<sup>8</sup> Очевидно, она заинтересована в том, чтобы ладить с конституционалистами; но если бы по вопросу о войне они не отражали, хотя бы в некоторой степени, мнения двора, то она сумела бы со всей определенностью предупредить об этом брата. Она лишь слагает в себя ответственность за высказанные в мемуаре взгляды на внутреннюю политику Франции<sup>9</sup>. Этот мемуар не был целиком составлен Барнавом, поскольку он отчасти посвящен оправданию политики Нарбонна, которой Барнав не одобрял, но Барнав, несомненно, участвовал в его составлении. Помимо точного свидетельства Ферзена, самый стиль некоторых мест равносителен подписи для тех, кто знаком со слогом Барнава.

«Чтобы здраво судить о французских делах, не только не следует прислушиваться к голосу ни одной из партий, поскольку все они одинаково ослеплены своими интересами и страстями; но

3. Жорес смешивает здесь миролюбивые устремления министров-фейянов с воинственной политикой короля и королевы, обманывавших своих министров. [*Примечание А. Матъеза.*]

4. «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. II, p. 2.

5. Ферзен продолжает: «...но поддерживать Конституцию из опасения, как бы французы не распространили свою доктрину и не внесли разложения в его войска. Однако видно, что они боятся».

6. «Marie-Antoinette, Joseph II et Léopold II...», p. 241.

7. В письме к Ферзену от 4 января 1792 г. Мария Антуанетта пишет: «Главное, император должен быть вполне уверен, что здесь нет ни одного слова, которое бы исходило от нас, ни нашего взгляда на вещи; но тем не менее пусть он даст мне ответ, как если бы он верил, что это мои взгляды,

который я могла бы показать; ибо они здесь настолько недоверчивы, что потребуют ответа». «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. II, p. 111.

8. Этот мемуар был опубликован д'Арнетом. См.: «Marie-Antoinette, Joseph II et Léopold II. Correspondance...», Leipzig, 1866, p. 269—281.

9. В письме к графу Мерси от начала февраля Мария Антуанетта пишет: «Пусть же император хоть раз почувствует, что оскорбления наносят ему самому; пусть он появится во главе других держав с военными силами, и, уверяю вас, здесь все задрожит от страха...» Итак, она хотела, чтобы император не соглашался на требования мемуара фейянов, который она была *вынуждена* послать. [*Примечание А. Матъеза.*]

не следует и надеяться, что о положении вещей можно узнать из высказываемых мнений. Мнения в настоящий момент не настолько всеобщие и не настолько глубоки, чтобы быть надежным показателем для людей, желающих рассуждать о политике. Особенно надо считаться с характером французов и с их способностью самозабвенно увлекаться общими, абстрактными идеями свободы, патриотизма, славы, монархии и т. п., всецело отдаваться внезапным и быстротечным побуждениям. Из этого вытекает, что ими легче руководить в гуще событий, искусно располагая предметы их ненависти или их любви, чем подчинить их поведение расчету».

Подвергнув анализу состояние умов, авторы мемуара пытаются убедить императора в том, что между республиканским меньшинством и контрреволюционным меньшинством среднее положение занимает огромное большинство умеренных и мирных граждан, которые вновь возьмут на себя руководство делами, если мир будет сохранен. Таким образом, они выражают сильную тревогу, вызванную у них официальным посланием императора от 21 декабря<sup>10</sup>.

«Приказ, данный маршалу Бендеру, прийти на помощь курфюрсту Трирскому в случае нападения на него или в случае непосредственной угрозы враждебных действий произвел здесь самое тягостное впечатление, чему сильно способствовала неясность мотивов, приведенных для объяснения такого шага: в этом усмотрели отказ императора от принципов умеренности и справедливости, которым он следовал до сего времени, и его согласие со взглядами, противными счастью и спокойствию Франции. Никто не думал, что столь просвещенный государь может разделять нелепые опасения курфюрста Трирского, будто он подвергнется нападению муниципалитетов или провинций, совершенному без приказаний короля. Вообще из этого был сделан вывод, что император ухватился за этот предлог, чтобы поддержать князей и приблизить свои войска к французской территории. Раздался всеобщий призыв к войне, и здесь больше не сомневаются, что она будет иметь место.

Но прежде чем ввязываться до такой степени, что нельзя уже будет отступить, следовало бы обратить свой взор на всяческие бедствия и последствия войны.

Легко представить себе все зло, какое она причинила бы Франции; если бы такой ценой можно было восстановить порядок и благоденствие, то можно было бы согласиться на эту ужасную жертву, но думать так — значило бы жестоко заблуждаться. Война, если она начнется, будет ужасна. Ее будут вести самым свирепым образом; ожесточившиеся люди, поджигатели одержат верх, их советы получают преобладание в общественном мнении. Король, вынужденный воевать со своим шурином и союзником, будет окружен подозрениями; чтобы не усиливать их, он должен будет принимать крутые меры, доводить до крайности свои намерения. Он больше не сможет соблюдать умеренность или благоразумие

без того, чтобы не показалось, будто он действует заодно с императором, и чтобы не дать тем самым очень сильного оружия своим врагам и даже той части честных людей, которую всегда так легко ввести в заблуждение. Эмигранты, рассчитывая на помощь императора, станут более упорны, их будет труднее обуздать, и тогда между обеими крайними партиями возникнут раздоры, а умеренные, благоразумные партии и истинное благо будут так же забыты, как и принципы гуманности».

Это отчаянный призыв к миру, это предсмертный стон конституционалистов, умеренных, которые чувствуют, что их окончательно погубит приближение большой войны. В какой мере королева разделяла мысли, которые она переписывала и передавала? Это трудно сказать, так как в глубине души она, должно быть, испытывала тревогу и смятение. Она должна была бояться кризиса большой войны, который, так сказать, до крайности распалит все страсти и усилит все опасности. Но королева также начинала чувствовать, что все средние пути не приводили ни к чему, и могла надеяться на окончательное спасение в результате большого потрясения. Ее наиболее пылкие друзья, такие, как Ферзен, хотели войны. И вот она полумашинально, в душе соглашаясь с ними только отчасти, переписывала мемуар Барнава и Ламетта, полагаясь более всего на волю случая. Барнав догадался о шаткости всего этого и уехал в Дофине, оставив в бумагах, хранившихся в Тюильри, следы, оказавшиеся для него гибельными.

Не вынул ли отъезд Барнава мысль о том, что между двором и конституционалистами произошел полный разрыв? Газета Бриссо [«Le Patriote français»] пишет в номере от 16 января:

«Царствование Барнава и Ламетов при дворе миновало. В субботу они впали в немилость. Уверяют, что король сказал: «Эти люди со своими советами лишили бы меня десяти королевств».

Вполне вероятно, что, по мере того как усиливалась возможность войны и политика средней линии Барнава и Ламетов становилась более неосуществимой, желание двора избавиться от них возрастало, и передача мемуара императору была последним проявлением их влияния.

Нельзя сказать, что с этого момента война стала неминуемой. Император все еще не решался вызвать ее, но она представлялась ему все более и более вероятной, и он, несмотря на свое недоверие к Пруссии, 4 января заключил с нею оборонительный союз. 2 января граф де Мерси писал королеве:

«Курфюрст Трирский, напуганный угрозой войны, обратился за помощью к императору. Монарх распорядился вручить послу Франции ноту, где говорится, что королю не приписывают наме-

10. Этот мемуар был составлен вскоре после 14 декабря 1791 г. К нему была сделана приписка

после получения официального послания императора.



рения напасть на Германию, что если бы группировки принудили к этому короля, то в этом случае император был бы обязан поддерживать входящие в империю государства, и что из предосторожности маршалу Бендеру отдан приказ двинуть один корпус войск на помощь курфюрсту, если на него будет совершено нападение. *Все это, в сущности, нисколько не меняет положения вещей.* Курфюрст сказал, что не будет допускать у себя сборища; большего от него и не требовали; следовательно, нет никаких причин нападать на него; но французские принцы хотели бы воспользоваться случаем и затеять ссору, — и тут они следуют ошибочному плану, — вместо того чтобы предоставить Собранию нести всю вину и навлечь на себя осуждение за несправедливое нападение, хотя и ясно, что оно совершит эту ошибку, которая вызовет негодование всей Европы. Поэтому правильная политика состоит в том, чтобы все подчинить этому плану; приняв такое решение, можно полагать, что самое лучшее — придерживаться прежнего образа действий и поведения, пока все это не получит решающего развития. Известия из Вены, куда, без сомнения, обратятся, придадут событиям определенный ход. *Морально невозможно, чтобы дело кончилось без гражданской или внешней войны; вероятно даже, что и та и другая разразятся одновременно.* Как ни опасна подобная возможность, она может быстрее и надежнее, чем всякая иная, возвысить трон, и если не совершат ошибок, если привлекут и сохранят сочувствие общественного мнения, то положение станет более выгодным, чем было когда-либо ранее».

Поскольку война начинала казаться неизбежной, советы Барнава были только обременительны для двора. И двор отделился от него.

## БРИССО ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОПЫТКУ

Нетрудно догадаться, что официальное послание императора, сообщенное Собранию 31 декабря, дало Бриссо новый повод настаивать на военных действиях, втягивать Революцию в войну.

17 января, выступив в прениях по докладу Жансонне, он воскликнул:

«Маска наконец сброшена, ваш подлинный враг известен; из приказа, отданного генералу Бендеру, вы узнаете его имя, это император. Курфюрсты были только подставными лицами, эмигранты были лишь орудием в его руках. Отомстить за нацию этим бунтующим нищим принцам должен Верховный суд. *(Аплодисменты на трибунах.)*

Кромвель принудил Францию и Голландию изгнать Карла. Подобное преследование было бы слишком большой честью для принцев; наложите арест на их имущество и оставьте их прозябать в ничтожестве. *(Аплодисменты.)*

Курфюрсты не более достойны вашего гнева; страх заставляет их повергнуться к вашим ногам. *(Аплодисменты.)*

Однако их покорность может оказаться только игрой; но какое значение имеет для великой нации это лицемерие мелких князей? Меч всегда в ваших руках и должен быть порукой их хорошего поведения в будущем.

Ваш подлинный враг — император; к нему, только к нему, должны быть прикованы ваши взоры; против него должны вы бороться. Вы должны заставить его разорвать союз, созданный им против вас, или вы должны победить его. Середины нет, бесчестие не пристало свободному народу». *(Аплодисменты.)*

Поистине теперь, когда мы начинаем чувствовать, что война неизбежна, что Франция увлекаема к ней людскими страстями или силой вещей, возбуждением умов и маневрами партий; накануне этой великой и трагической борьбы, когда Революция вступит в схватку со всем старым порядком и будет сражаться против всех измен, нам бы хотелось набросить покров на ошибки ее друзей, на интриги ее защитников. Но трудно не выразить некоторого раздражения в связи с этими речами Бриссо.

Чтобы разжечь воинственные страсти, до крайности возбудить гнев и гордость, для него все средства хороши, и его не останавливают самые вопиющие противоречия. То, что он говорил на этом заседании 17 января, было прямо противоположным тому, что он говорил в октябре, в декабре и даже в начале января. Тогда, чтобы успокоить Францию, чтобы постепенно сделать ее жертвой обстоятельств, он говорил: «Мы имеем дело с курфюрстами, с эмигрантами; император хочет мира, он нуждается в мире».

Теперь, когда курфюрсты разгоняют эмигрантов, Бриссо восклицает: «Что вам за дело до курфюрстов, что вам за дело до эмигрантов? Ваш враг — император; против императора вы и должны бороться». Это почти циничное предвзятое решение начать войну, это война во что бы то ни стало. Я почти склонен утверждать, что единственным оправданием Жиронды служит именно грубость ее ухищрений. Для того чтобы они возымели успех, нация должна была испытывать невероятную глубокую потребность решительными действиями рассеять все тревоги и все кошмары. Но в этом нервическом нетерпении, которое отдает Францию во власть почти оскорбительных софизмов, почти исполненных презрения противоречий Бриссо, я усматриваю в то время не столько величие, сколько бессилие <sup>11</sup>.

11. Бриссо предложил: «1. Пусть королю предложат уведомить императора от имени французской нации, что она рассматривает договор 1756 г. как утративший силу ввиду его нарушения им

самим и ввиду того, что он противоречит принципам французской Конституции. 2. Уведомить его, что нация рассматривает как враждебный акт его отказ выступить в роли посредника и приме-

## ВЕРНЬО ПРИЗЫВАЕТ К ОРУЖИЮ

Верньо прикрыл политиканские и воинственные плутни Бриссо своим красноречием, своего рода благородной ораторской страстью:

*«Не стану говорить вам о смутной тревоге, терзающей умы, о беспокойстве, томящем сердца, об унынии — обо всем том, что в слабых душах могут породить долгие треволения Революции. Не стану указывать вам на то, что будут употреблены все средства обольщения, чтобы заставить граждан сойти с пути патриотизма.»*

Вы ступаете по окружающей вас со всех сторон пылающей лаве, и я хочу верить, что вам нечего бояться сильных извержений. Но я скажу: Конституцию поклялись поддерживать, потому что льстили себя надеждой стать благодаря ей счастливыми. Если вы допустите, чтобы граждан беспрестанно терзали жестокие тревоги, постоянные конвульсии, если вы позволите их врагам чересчур долго приносить им несчастья, если вы дадите установиться мнению, что источник этих несчастий — Революция, то не придется ли вам тогда увидеть, как каждый грядущий день будет возвещать новую измену народному делу?..

*Но это состояние неуверенности и тревоги, эти горькие предчувствия, как мне кажется, в тысячу раз страшнее, ужаснее, чем состояние войны.* Война, несомненно, влечет за собой огромные бедствия; она может даже привести к роковым ошибкам; но, в конце концов, народ, который не хочет жить без свободы, она может также привести к победе и обеспечить благодаря ей спокойный и прочный мир. Напротив, состояние, в каком хотели бы вас оставить, поистине губительно и может принести вам лишь позор и смерть. *(Громкие аплодисменты.)*

Итак, к оружию, к оружию! Этого требуют спасение отечества и честь. К оружию, к оружию! Иначе, став жертвой ленивой беспечности и прискорбного доверия, вы с вашей апатией незаметно вносите под иго ваших тиранов; вы погибнете бесславно, вместе с вашей свободой вы похороните надежду на свободу всего мира и, взяв на себя тем самым вину перед всем родом человеческим, вы не будете иметь в утешение даже его сострадания к вашим несчастьям». *(Громкие аплодисменты.)*

И действительно, именно какая-то тоска, страх увязнуть заставили Революцию сделать большой прыжок к войне.

Верньо требует полного разрыва заключенного с Австрией договора о союзе, на котором с 1756 г. основывалась вся политика королевской власти<sup>12</sup>.

«Взоры Европы в этот момент устремлены на нас. Покажем же ей наконец, что такое Национальное собрание Франции. *(Крики «браво», громкие аплодисменты.)* Если вы будете вести себя с подбавляющей великому народу решимостью, то вы заслужите ее рукоплескания, ее уважение и вам будут предлагать союзы.

Напротив, если вы поддадитесь малодушным соображениям, постыдной осторожности, если вы упустите случай, который providение как бы посылает вам, чтобы разорвать унижительные оковы, если, когда нация свергла иго своих внутренних деспотов, вы согласитесь, вы, ее представители, чтобы ее поработал иностранный деспот, то — осмелюсь сказать вам — бойтесь ненависти Франции и Европы, презрения ваших современников и потомков». *(Крики «браво», громкие аплодисменты.)*

Да, но в чем же фактически выражались действия этого иностранного деспотизма? И в этом ли было действительное препятствие, на которое наталкивалась Революция?

«...Демосфен в своей громовой речи против Филиппа говорил афинянам: «Вы ведете себя по отношению к македонскому царю так, как варвары ведут себя на наших играх; если вы ударяете их по плечу, они подносят к нему руку; если вы ударяете их по голове, они подносят руку к голове. Они думают о самозащите только тогда, когда они ранены; их предусмотрительность никогда не доходит до того, чтобы отразить удар. Так и вы, афиняне, если вам говорят, что Филипп вооружается, то и вы вооружаетесь; если вам говорят, что он сложил оружие, то и вы складываете его; если говорят, что он угрожает кому-нибудь из ваших союзников, то вы посылаете войска для защиты этого союзника; если говорят, что он угрожает одному из ваших городов, то вы посылаете войска на помощь этому городу. Таким образом, вы действуете по приказам Филиппа; ваш враг — вот кто ваш полководец.»

И если окажется возможным, что вы предадитесь опасной беспечности, потому что вам сообщат, что эмигранты покидают Трирское курфюршество; если вы дадите ввести себя в заблуждение ложными известиями, ничего не доказывающими фактами или ничего не значащими обещаниями, то и я скажу вам: если вам сообщают, что эмигранты собираются в Вормсе и в Кобленце, то вы посылаете армию на берега Рейна; если вам говорят, что они собираются в Нидерландах, то вы посылаете армию во Фландрию; если вам говорят, что они удаляются в глубь Германии, то вы отзываете своих солдат домой.

нить свои силы, чтобы рассеять эмигрантов, как и оказываемое им покровительство курфюрстам. 3. Уведомить его, что будут приняты самые срочные меры для наступательных действий, если до 10 февраля он не даст такого удовлетворения, которое рассеяло бы все тревоги нации...» («Moniteur», XI, 143). О договоре 1756 г. см. следующее примечание.

12. Речь идет о Версальском союз-

ном договоре от 1 мая 1756 г. между Францией и Австрией, имевшем своей целью противодействовать Англии, объединившейся с Пруссией по Вестминстерскому договору (январь 1756 г.). Это была перемена союзов (перегруппировка держав), приведшая к Семилетней войне. В 1761 г. фамильный пакт, о котором вел переговоры Шаузель, объединил Францию с Бурбонами Мадрида, Неаполя и Пармы.

Если оглашаются письма и официальные послания, в которых вас оскорбляют, то это возбуждает ваше негодование и вы хотите сражаться. Если же вас смягчают лживыми речами и обманывают ложными надеждами, то вы поддаетесь на вкрадчивые уверения, ваш гнев утихает и вы думаете о мире. Итак, господа, вами командуют эмигранты и Леопольд. Это они руководят всеми вашими действиями. Это они распоряжаются вашими гражданами, вашими богатствами; это они — властители вашего покоя, вершители вашей судьбы!» (*Крики «браво», продолжительные аплодисменты.*)

Мне, запоздалому комментатору, почти стыдно, что может показаться, будто я осуждаю эти пламенные речи, породившие пламенные события. К чему мне бежать за огненной колесницей, повторяя: «Берегитесь! Какой демон авантюризма увлекает вас?» Ослепительная и страшная колесница, колесница свободы и войны, света и грозы мчится своим путем. И если вскоре бог обернется цезарем, мечом разящим, и если обманутые народы, отупевшие от молний войны, превратятся не более, чем в огромную толпу слепых рабов, то значит ли все это, что слова Жиронды были совершенно не обоснованными? Однако, если в это горячее время критическая мысль и благоразумие еще сохранили какое-то право на существование, почему Верньо возмущается тем, что меры предосторожности, принимаемые свободным народом, соотносятся с самим ходом событий?

Как будто ограждать себя от неясной и меняющейся опасности — значит стать рабом этой опасности. Как будто, чтобы избавиться от этого рабства, надо идти прямо навстречу самой опасности, разбудить дремлющую войну, чтобы не приходилось оберегать ее сон.

«Господа, — сказал в заключение велеречивый и благородный оратор, — у меня только что родилась великая мысль; я выскажу ее и на этом закончу. Мне кажется, что тени усопших поколений столпились в этом храме; что они заклиают вас теми бедствиями, на которые обрекло их рабство, избавить от него будущие поколения вашей энергией; внемлите этой мольбе так долго угнетаемого человечества. Будьте великодушным провидением для будущего. Осмельтесь поддержать дело вечной справедливости; спасите свободу от поползновений тиранов; и вы станете не только благодетелями своего отечества, но и благодетелями рода человеческого!»

Странно, что в Законодательном собрании не возвысился ни один голос, даже голос Кутона, чтобы поддержать идею Робеспьера, чтобы протестовать против войны во имя демократии и Революции. Сопротивлялись одни только умеренные. Матьё Дюма решительно заявил, что для объявления войны нет никаких веских оснований, что «принимать последнее официальное послание императора за формальный разрыв значило бы отравлять будущее»<sup>13</sup>.

Он обрушился на друзей Бриссо, которые, «кажется, боятся, что приемлемые меры, искренние действия, прочный мир отнимут у них их химеру».

«Не следует, — прибавил он, — чтобы обманутый народ видел в этом ужасном стремлении патриотическую меру; его отвага не нуждается в возбуждении; хотеть или не хотеть войны одинаково нелепо: ее надо вести, если она неизбежна для сохранения Конституции; но не надо делать ее неизбежной ради того, чтобы ее вести».

Но чего можно было достигнуть этими спокойными словами?

## ВОЗРАЖЕНИЯ ДАВЕРУ

Даверу, толкавший, как мы видели, на первые решительные меры против эмигрантов и курфюрстов и таким образом расчистивший путь для общей войны, теперь страшится широких воинственных планов Жиронды и резко и прямо разоблачает их:

«Итак, если я доказал, что этот союз государей — только оборонительный, что только от нас самих зависит расстроить своими действиями внутри страны намерения тех, кто хотел бы изменить нашу Конституцию на конгрессе; если доказано, что все государи нуждаются в мире и уже дали вам тому свидетельство, рассеяв сборища эмигрантов, посягавшие на наше внутреннее спокойствие, то чего стоят тогда разглагольствования тех, кто хотел бы побудить вас начать несправедливую войну?»

Перед вами, да еще в прениях, где речь идет о спасении отечества, я не могу кривить душой.

Вас вводят в заблуждение, когда, руководствуясь предположениями и обманывая пустыми страхами, хотят побудить вас напасть на императора, чтобы заставить этот союз государей обрести наступательный характер, ибо заявление о расторжении договора 1756 г. и требование удовлетворения равносильны объявлению войны. И вот с этой трибуны путем жалких уверток достоинству французской нации противопоставили достоинство одного коронованного лица. Пока соседние с нами нации не изменят у себя образа правления, человек, стоящий во главе их, является их фактическим представителем и его достоинство становится национальным достоинством.

Не стану повторять вам, что договор с Австрией обременителен для вас; это знает вся Франция, доказывать это не имеет смысла, да и не здесь повторять прописные истины, но вашего внима-

13. Матьё Дюма (Mathieu Dumas) (1753—1837) — бригадный генерал, в 1790 г. королевский комиссар в Эльзасе, депутат Зако-

дательного собрания от департамента Сена и Уаза. «Moniteur», XI, 156.

ния заслуживает другое — рассмотреть вопрос о том, подходящий ли это для вас момент, когда у вас нет никаких союзников, когда между различными дворами установлены всевозможные связи, не только разрывать этот договор, но и толкать Леопольда на войну в сомнительной надежде на то, что с вами заключат союз другие державы.

Следует ли нам действовать, господа, исходя из столь ненадежных данных, когда дело идет об общественном спасении? И — да будет мне позволено воспользоваться столь избитым выражением! — неужели, строя воздушные замки, мы отстоим свободу и Конституцию Франции?

Не закрывайте глаза на то, что император и Пруссия, одни имеющие 500 тыс. штыков в своем распоряжении, останутся единственными и будут поддержаны союзом всех других держав, если война будет несправедливой с вашей стороны и если в глазах всех народов ее необходимость не будет оправдана поведением этих держав.

Вам приводили пример Англии, но не сказали, что Англия, обладая превосходством на море, могла не бояться за себя благодаря своему географическому положению. Вам указывали на Карла XII, но умолчали о Полтавской битве.

*Господа, скажем правду: друзья свободы хотели бы прийти на помощь философии, оскорбленной союзом государей; они хотели бы призвать все народы к установлению этой свободы и распространить всюду священное восстание; вот истинная причина неосмотрительных шагов, которые вам предлагают. Но не следует ли вам предоставить самой философии заботу о просвещении мира, чтобы путем более медленного, но более надежного прогресса заложить основы счастья человечества и братского союза всех народов? Иначе ради того, чтобы ускорить достижение этой цели, вы рискуете погубить вашу свободу и свободу всего рода человеческого, провозглашая среди резни и разрушений Права Человека.*

Это начинание будет благородным, великим и достойным вас лишь тогда, когда вас спровоцируют на войну, ставшую таким образом справедливой и необходимой для вас, когда нападение станет единственным средством обороны, когда, открывая военные действия, вы сможете доказать всему миру, глядящему на вас, и Франции, которая доверила вам свои самые дорогие интересы, что только ради сохранения ее Конституции, хранителями коей вы являетесь, вверяете вы судьбу Франции и жизнь ваших братьев случайностям войны.

Так предоставим же философии заботу о просвещении мира, а если этот союз государей в своей слепоте ускорит час, предвзвешенный вечностью для основания единственно прочного царства, царства разума, то пожалеем об участи страждущего человечества, которое узрит тогда свет этих прекрасных дней лишь после ужасной грозы.

## ОТВЕТ БРИССО

Речь Даверу произвела впечатление, и Бриссо счел себя обязанным ответить на нее заметкой, помещенной в «Патриот франсэ» 26 января:

«Г-н Даверу отверг мой план, потому что, по его словам, он основан на ложном предположении существования союза держав, направленного против Франции. Отвечаю:

во-первых, это вовсе не предположение; наличие союза доказано разными актами, на которые я указал;

во-вторых, я говорю, что моя система связана с дилеммой: либо император хочет напасть на нас, либо он хочет нас только испугать; в первом случае надо его опередить, во втором — заставить отказаться от своего замысла.

Ни г-н Даверу, ни нападавшие на меня ораторы не разрешили этой дилеммы».

Ответ Бриссо был жалок. Прежде всего, он отнюдь не доказал существования наступательного союза. Затем, эта претензия свести к одной дилемме изменчивую и сложную мировую действительность была чудовищной нелепостью. На самом деле император находился под воздействием весьма различных сил и противоположных требований. Он страдал при мысли об опасностях, каким подвергалась его сестра, но не хотел необдуманно, опрометчиво объявлять войну. Его братские чувства, вопрос чести монарха побуждали его вмешаться, а его политические интересы — воздержаться от вмешательства. И он маневрировал, дабы примирить эти противоположности. Поэтому от самой Франции и от Собрания могло зависеть, к какому решению склонится наконец Леопольд, и педантичные и плоские хитросплетения Бриссо, сводившего к жалкой дилемме огромный вопрос о мире или о войне и само будущее свободного человечества, предстают в этой заметке в весьма непривлекательном виде.

Фактически во время всех прений единственно правдивое и глубокое слово было сказано Верньо, указавшим на состояние тревоги, мучительного беспокойства, заставлявшее страну торопиться с решением; надо было заставить болезнь «обнаружиться». Но ни у кого в Собрании не хватило мужества спросить: «Эта наша тревога, чем она вызвана? Внешними или внутренними делами?»

В действительности говорить надо было об отношениях между Революцией и изменнической, неискренней и парализующей королевской властью.

Законодательное собрание уклонилось от решения этой ужасной проблемы; оно бросилось в величайшую войну подобно тому, как терзаемый неотвязной мыслью человек бросается в бурю, дабы заглушить заботу, которую не может прогнать, и избавиться от тяжести неразрешимых сомнений. И жалкий Мефистофель

Жиронды выждал этот час глубокой усталости Революции, чтобы заставить ее заключить договор о войне.

Теперь, когда я пишу эти строки, договором этим еще связан весь мир. Когда же социалистическое человечество разорвет его?

Он настолько прочен, настолько опутал более столетия назад души и умы, что даже самые возвышенные мыслители, даже те, чьи сердца преисполнены миролюбия и братских чувств, по-видимому, не понимают, что Революцию можно было отделить от войны.

На этом же заседании 25 января Кондорсе, не пытаясь даже поддержать Даверу и воспротивиться несправлимым шагам, старается лишь очистить войну от всяких слишком грубых завоевательных устремлений и ограничить ее. Он полагает, что открыто революционная дипломатия легко могла бы заключить союзы, особенно с Англией, и требует, чтобы исполнительная власть обновила весь состав своих представителей за границей<sup>14</sup>.

### СУЖДЕНИЕ КАБЕ И МНЕНИЕ ЛАПОННЕРЭ

Позднее, в 1832 г., коммунист Кабе, благородный и мягкий человек, посвятив Французской революции одну из глав своего труда, даже не коснулся этого вопроса<sup>15</sup>. По-видимому, он и не подозревает, что была возможна иная политика, чем роялистская и миролюбивая политика фейянов или революционная и воинственная политика жирондистов.

«Однако патриоты, ежедневно получающие предупреждения, которых тревожит и пугает тысяча признаков, беспрепятственно спрашивают: *«А не предает ли нас король? А не решились ли иностранные державы на войну?»*

Члены Учредительного собрания и умеренные, объединившиеся в клубе Фейянов (тогдашние *доктринеры* \* и сторонники *«золотой середины»*), желая сосредоточить всю власть в руках буржуазии, боясь подлинного народа, верят или делают вид, что верят, в искренность Людовика XVI или хотя бы льстят себя надеждой, что мягкость и уступки в конце концов победят его отвращение к Революции; они полагают, что короли боятся Франции гораздо больше, чем она должна бояться их; что мир настолько необходим, главным образом для них; что их угрозы — одно бахвальство; что их приготовления носят чисто оборонительный характер; что надо избегать всех мер, которые могли бы их встревожить, и что войны можно избежать, если Революция будет благоразумна. Их девиз — *законность, конституция, доверие, умеренность и мир*.

Людовик XVI выбирает среди них своих министров, но тайно сговаривается с теми из них, кто хочет стать его сообщником, и обманывает других; он скрывает от них свою частную переписку, враждебные решения иностранных держав, их приготовления

к нападению и даже передвижение их войск к нашим границам.

С другой стороны, он беспрепятственно ссылается на Конституцию, дающую ему достаточную власть, чтобы он мог найти способ ее [Конституцию] уничтожить. . .

Иные, и их значительно больше, причем среди них находятся известные *жирондисты, герцог Орлеанский и его сын*, собирающиеся в Якобинском клубе, убеждены в том, что Людовик XVI никогда не смирится с умалением его прежней власти; что он злоумышляет против Конституции; что он сговаривается с эмигрантами и с иностранными державами; что в интересах королей — задуть Революцию; что они хотят не только восстановить абсолютную власть, но главным образом расчленив королевство; что их приготовления враждебны, что война неизбежна; что опасность неминуема и велика, наконец, что общественное спасение требует, чтобы к войне готовились, чтобы от иностранных правительств категорически потребовали объяснений насчет их намерений и планов».

Эта нарисованная Кабе картина была бы превосходна при своей краткости, если бы в вопросе о войне в ней не было некоторых неточностей и неясностей, а также одного странного провала. Убедить страну в том, что иностранные государи хотят мира и боятся Франции, вначале хотели вовсе не умеренные, не фейяны, а жирондисты и Бриссо. И против «недоверия» борется опять-таки Бриссо.

Неверно и то, что умеренные, все без исключения и притом систематически, выступали против войны, против всякой войны. Вдохновляемые Нарбонном, г-жой де Сталь и даже некоторыми

14. «Discours sur l'office de l'Empereur, prononcé... le 25 janvier 1792», Paris, 1792; «Moniteur», XI, 214. Кондорсе предложил следующий текст декрета: «Национальное собрание, принимая во внимание, сколь важно для французской нации иметь точные сведения о намерениях различных европейских держав в отношении нее, заявляет, что короля будут просить направить к этим державам людей, достойных доверия французского народа, и поручить им предлагать и вести переговоры о заключении договоров о союзе, торговых и о гарантиях, способных обеспечить мир и благоденствие этой страны».

15. Кабе (1788—1856) — [французский утопический коммунист был автором труда под названием

«Révolution de 1830 et situation présente expliquées et éclairées par les Révolutions de 1789, 1792, 1799 et 1804 et par la Restauration», Paris, 1832. Приводимый Жоресом текст находится на с. 17. Кабе ничего не говорит о позиции Робеспьера. Им же была написана «Histoire populaire de la Révolution française de 1789» (Paris, 1839—1840), где подчеркивается позиция Робеспьера. По-видимому, Жорес не знал об этой работе.

\* Так называли в период реставрации Бурбонов во Франции группу умеренных буржуазных либералов, сторонников конституционной монархии. К их числу принадлежали проф. философии П. Руайе-Коллар, известные историки Ф. Гизо и А. Барант и др. — Прим. ред.

из бывших членов Учредительного собрания, они хотели попытаться счастья в войне.

Наконец, Кабе совершенно забывает и, по-видимому, даже не знает об огромных усилиях Робеспьера, газеты Прюдома, весьма значительной части якобинцев, усилиях, направленных на то, чтобы не полагаться ни на двор, ни на Жиронду, ни на модерантизм, ни на войну, а направить неуправляемый поток революционных сил в сторону демократии и мира.

В революционной традиции, в несколько искаженном представлении, передаваемом из поколения в поколение, война и Революция связаны между собой. И если можно так выразиться, это наслаивание представлений не раз делало возможным совместные выступления республиканцев и бонапартистов против пошток насильственного восстановления старого порядка.

Любопытный факт. Пламенный робеспьерист Лапоннерэ, превосходно знавший всю жизнь Робеспьера и издавший его сочинения, в своих популярных лекциях по истории Революции, читаемых им в 1831 г., даже не упомянул об огромных усилиях Робеспьера, направленных на сохранение мира<sup>16</sup>. Однако с острой ненавистью пронизательностью он указывает на двуличие жирондистов при подготовке войны<sup>17</sup>:

«Для торжества жирондистов оставалось *только поссорить короля с Европой* и поставить его перед необходимостью объявить войну деспотам, составившим заговор, чтобы вернуть ему его прежние prerogatives; они принялись за это, и их усилия увенчались успехом. . . *Министерство Людовика XVI, однако, еще могло (в апреле) предотвратить военные действия без урона для чести; оно предпочло начать их. . .*

Перчатка брошена, ристалище открыто, стороны вот-вот ринутся одна на другую. Завяжется кровопролитная борьба, которая будет длиться 25 лет. В течение четверти века Европа будет наступать против Франции, а Франция — против Европы, Франция вторгнется в Европу, и этот поединок между одним народом и двадцатью народами, между одной нацией и всем миром окончится позорным нашествием, которым наше несчастное отечество заплатит за действия одного из величайших полководцев эпохи.

Война, вначале оборонительная, станет наступательной, так как не в нашем характере ждать врага, укрывшись в окопах; французы сражаются, атакуя и идя в штыки. Эта война, справедливая, законная и всецело пропагандистская, пока она будет защищать интересы Революции, несколько лет спустя станет несправедливой, завоевательной, грабительской, когда солдат, враждебный свободе, захватит руководство ею в свои руки, чтобы заставить ее служить его честолюбивым планам.

Вот как пламенный робеспьерист, поклонившийся своему герою, как святому, излагал в 1831 г. суть великой драмы Революции и войны, истоки которой мы ищем в настоящий момент.

Он нисколько не обманывается насчет жирондистского маневра и не думает, что война была неизбежна; но как осторожно и робко его указание! Несомненно, из страха вызвать негодование у слушавших его рабочих так старательно обходит он молчанием столь славную борьбу, которую вел Робеспьер против воинственных увлечений! Он, по-видимому, одобряет эту «пропагандистскую войну», против которой так решительно возражал Робеспьер.

Таким образом, соблазнительный и мутный поток, в котором Жиронда смешала волны Революции и волны войны, проложил себе путь даже в твердое как скала сознание монтаньяров и их наследников.

Может быть, именно потому, что мир и согласие между народами кажутся нам неперемным условием возвышения пролетариата и социальной революции, мы переносим на прошлое и даже на буржуазно-демократическую революцию наше мнение о необходимости мира.

Подменять нашим восприятием восприятие людей 1792 г. значило бы исказить его исторический смысл; но, указывая на интриги, софизмы, скрытую первозность, уже тогда сопутствовавшие воинственной политике, мы, быть может, предохраним новые поколения от напыщенных героических и пустых фраз, сеющих лишь слепую или подлую злобу и дух реакции.

## ДЕКРЕТ ОТ 25 ЯНВАРЯ 1792 г.

Собрание завершило все эти январские прения принятием на заседании от 25 января декрета, поистине походившего на объявление войны<sup>18</sup>:

I. Королю будет предложено посредством послания объявить императору, что отныне он не сможет вести никаких переговоров ни с одной державой иначе как от имени французской нации и в силу полномочий, предоставленных ему Конституцией.

II. Королю будет предложено спросить императора, намерен

16. Лапоннерэ (1808—1849) [представитель французского утопического коммунизма 30—40-х гг. XIX в.] читал в 1831 г. курс истории Франции 1789—1830 гг.; чтение этого курса было запрещено. Он опубликовал книгу: *Lapouneray. Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1840*. Paris, 1844—1846. Пламенный робеспьерист, Лапоннерэ составил в 1834 г. сборник «*Œuvres de Maximilien Robespierre avec une notice*

historique», в который вошли речи Робеспьера против войны.

17. *Lapouneray. Cours public d'histoire de France depuis 1789 jusqu'en 1830*. (Седьмое занятие), p. 111. Чтение бесплатного курса лекций для рабочих было начато 6 ноября 1831 г. в Париже на ул. Тевено, № 12, а 4 декабря оно было прекращено по приказанию королевского прокурора.

18. «*Moniteur*», XI, 215—217; «*Archives parlementaires*», XXXVII, 657.

ли он как глава Австрийского дома жить в мире и в добром согласии с французской нацией и отказывается ли он от всяких переговоров и соглашений, направленных против суверенитета, независимости и безопасности нации.

III. Королю будет предложено объявить императору, что если до 1 марта он не даст нации полного и совершенно удовлетворяющего ее ответа на изложенные выше вопросы, то его молчание, равно как и всякий уклончивый и расплывчатый ответ, будет рассматриваться как объявление войны.

IV. Королю будет предложено продолжать принимать самые срочные меры, дабы французские войска были готовы выступить по первому отданному им приказу.

Национальное собрание поручает своему Дипломатическому комитету немедленно представить ему свой доклад о договоре от 1 мая 1756 г.»

Словно для того, чтобы подчеркнуть воинственный смысл этого декрета, командующий одной из трех армий, сосредоточенных на границе, маршал де Рошамбо присутствовал в этот день на заседании Законодательного собрания. Он потребовал от Собрания принятия разных мер военного характера и закончил свою речь следующими словами, вызвавшими бурные аплодисменты: «Надеюсь, господа, что своими декларациями вы хотели бы поддержать рвение, вдохновляющее на службе государству старика, коему уже за шестьдесят, старика с пламенной еще душой в немоющем теле»<sup>19</sup>. Героическое и горячее дыхание Революции омолаживало тело и душу.

Какое впечатление произвел этот декрет Собрания на французский двор, на австрийского императора, на министров Людовика XVI? Ясно, что война показалась всем намного более вероятной и более близкой, но ничего определенного еще не произошло.

Мерси, настороженный дебатами в Собрании, начинает предвидеть возможность войны и в согласии с королевой организует шпионскую службу. *«То, что произошло в Собрании, — пишет он 24 января королеве, — оправдывает сложившееся в Вене мнение о беспомощности и даже неуместности конгресса. По-видимому, приближается момент, когда дворы объяснятся между собой самым откровенным образом. Нужно, чтобы сведения об этом поступали непрерывно. Если вспыхнет война, то будет весьма важно, чтобы в Тюильри знали о действиях, предпринимаемых изо дня в день, и об интригах всех партий. Для этого понадобятся умные и деятельные наблюдатели. Существует мнение, что для этого очень подошел бы. . . При его посредстве было бы достигнуто согласие во взглядах и принимаемых мерах; без такой согласованности от нас ускользнет много важного. Настоятельно прошу обратить внимание на это замечание».* Измена короля приобретает определенность.

## МЕМУАР ИМПЕРАТОРА ОТ 31 ЯНВАРЯ 1792 г.

Но, несмотря на позицию Собрания, с каждым днем становившуюся все более вызывающей, несмотря даже на принятый декрет, император все еще колеблется. Он весь поглощен своими обширными планами в Польше. Много лет старался он вырвать Польшу из-под влияния России и Пруссии, чтобы спасти ее от анархии и учредить в ней наследственную монархию, связанную союзом с Австрией, которая оказывала бы на нее сильное моральное влияние. 3 мая 1791 г. в Польше произошла направленная на достижение этой цели революция под руководством короля Станислава, наконец склонившегося к взглядам Леопольда II. Право вето, то есть признаваемое за каждым дворянином право приостановить любое решение Сейма одним своим возражением, было отменено\*.

Крестьянам были даны гарантии, буржуазии были предоставлены политические права, и была учреждена двухпалатная система. Правительство должно было управлять от имени наследственной монархии. Польскую корону должен был получить представитель дома курфюрста Саксонского, бывшего в союзе с Австрийским домом.

Таким образом, объединенные Польша и Саксония, соединившись, представляли бы собой в Германии крупную силу, противостоящую Пруссии и России, и влияние Австрии в мире необычайно возросло бы: Пруссия больше не смогла бы вырвать из-под этого влияния Германию, Россия больше не смогла бы противодействовать успехам Австрии в Турции. Разумеется, Леопольду II трудно было отказаться от этого превосходного плана, чтобы начать дорогостоящую и опасную войну против Революции.

Ему трудно было договариваться с Пруссией о союзе против Франции, тем самым перечеркивая свои замыслы в отношении Польши, которые Пруссия не потерпела бы. Поэтому он все еще старался по меньшей мере отсрочить разрыв с Францией, и мемуар, направленный им 31 января Марии Антуанетте, несомненно, отражает его мысли.

Хотя королева и просила его в своем письме прислать ответ, «который [она] могла бы показать», ясно, что этот мемуар отражает именно политику самого императора: «31 января 1792 г.

19. «Moniteur», XI, 217. Ответ председателствующего Гюаде: «Вы... привыкли сражаться и побеждать во имя свободы. Ныне вам доверено то же дело... Собрание обеспечит вам все средства, необходимые для победы».

\* Речь идет о движении за реформы, развернувшемся в Польше в кон-

це 80-х — начале 90-х годов XVIII в. 3 мая 1791 г. Четырехлетний сейм (1788—1792) принял конституцию, которая, сохраняя господство шляхты и феодально-крепостнические отношения, вводила, однако, ряд изменений, имевших прогрессивное значение.— *Прим. ред.*

Дорогая сестра, я думаю, что в эти критические минуты я не могу лучше выразить свою нежную любовь к Вам и к королю, чем без утайки раскрыв Вам свои мысли. Делаю это с полной сердечностью в настоящем мемуаре, который служит ответом на мемуар, переданный мне Вами через графа де Мерси. Радуюсь тому, что наши мысли и взгляды сходятся по наиболее существенным вопросам, могу предвидеть лишь счастливый исход. Он будет и мирным, и счастливым, если будет соответствовать пожеланиям, внушаемым мне горячей и вечной привязанностью, с какой я Вас обнимаю».

Прежде всего Леопольд II излагает план пересмотра конституции, который, по его мнению, следовало бы осуществить: «Несовершенство новой французской конституции делают необходимым внесение в нее изменений, дабы обеспечить ей прочное и спокойное существование. В связи с этим император одобряет разумность тех пределов, которыми Их Христианнейшие Величества ограничивают свои желания и намерения.

Восстановление старого порядка неосуществимо и несовместимо с благоденствием Франции; ниспровержение главных основ Конституции противоречило бы нынешним настроениям нации и обрекло бы ее на самые ужасные бедствия. Увязать эту Конституцию с основными принципами монархии — единственная разумная цель, к какой можно стремиться.

Пути, ведущие к осуществлению этой цели, с замечательной точностью указаны в мемуаре королевы \*. Сохранить трону его достоинство и подобающее ему положение, чтобы добиться уважения к законам и повиновения им; обеспечить все права и согласовать все интересы, считая формы церковного, судебного и феодального порядка предметом второстепенным, тем не менее вернуть дворянству, как неотъемлемой части всякой монархии, политическое значение, которого его лишили, включив это в Конституцию. Эти поправки содержат все то, чего необходимо желать.

Четыре месяца назад император разделял надежду, что одного времени плюс разум и опыт будет достаточно для осуществления этих поправок. Прилагаемые тайные сообщения докажут добросовестность, с какой он, питая эту надежду, поддерживал решимость короля и королевы и не жалел забот, чтобы такие же взгляды были одобрены всеми дворами (во всяком случае, они были одобрены большинством из них, даже всеми, если судить по последствиям), равно как и братьями короля и эмигрантами.

Император все еще продолжает верить, что цель должна и может быть достигнута без смут и войны, ибо он глубоко убежден: создать что-нибудь прочное можно только в согласии с волей и при поддержке наиболее многочисленного класса нации, состоящего из тех, кто, желая мира, порядка и свободы, столь же глубоко предан монархии; но так как между ними нет полного согласия; так как они медлительны в своих действиях и решениях;

так как их преданность Конституции объясняется скорее упрямством, чем ясным пониманием, то все заставляет императора опасаться, что этот же класс людей, предоставленный самому себе, либо всегда будет позволять господствовать над собой, либо его благие намерения будут предупреждены и сделаны бесплодными республиканской партией, у которой фанатизм одних ее членов и развращенность других возмещают численность благодаря энергичным действиям, интригам и решительным согласованным мерам, которые непременно восторжествуют над унынием, разладом или равнодушием первых. Чем сильнее руководящие этой партией главы (так хорошо охарактеризованные в мемуаре) чувствуют, что время и спокойствие уничтожат их влияние, тем более отчаянные и насильственные меры принимают они и стараются увлечь нацию к непоправимым крайностям, дабы подменить всеобщим фанатизмом скудость ресурсов и недостаточность конституционных средств.

Таков истинный источник нынешнего кризиса. Сборища эмигрантов, общая численность которых достигает всего 4 тыс. человек и которых легко было подавить мерами, соответствующими незначительности этой опасности, были использованы — с заранее обдуманной целью — как предлог, чтобы поставить под ружье 150 тыс. солдат, составивших три армии, сосредоточенные у границ Германской империи [«Священной Римской империи германской нации». — *Ред.*]. Вместо должной осторожности в ответ на умеренный образ действий императора, который в довершение недавно разоружил эмигрантов в Нидерландах; вместо примирения с князьями империи, которых ограбили, в сущности, вопреки договорам, императора и империю надменными и угрожающими декларациями и чрезмерными вооружениями вынуждают позаботиться о безопасности своих границ и о спокойствии своих владений...

Желания испорченных людей, приведших к этим крайностям, были бы удовлетворены, если бы император, уязвленный подобным образом действий и окончательно отчаявшись в успехе примирительных средств, дал вовлечь себя в проекты разрыва, открыто поддерживая дело эмигрантов и объединившись с теми, кто желает полной контрреволюции. Они, несомненно, ждут с нетерпением этого момента, дабы подавить умеренную партию и насильственными мерами привести нацию к новому положению вещей, которое будет хуже нынешнего и будет сопровождаться бесчисленными бедствиями, но предотвратить их или что-нибудь изменить уже не будет никаких средств.

Император, если это окажется возможным, оградит Францию и всю Европу от такой развязки. Прежде всего он увеличит численность своих войск в Верхней Австрии приблизительно на 6 тыс.

\* Речь идет о мемуаре, составленном триумвиратом. — *Прим. ред.*



человек; эта мера необходима, если принять во внимание хотя бы тот мятежный дух, который уже пустил ростки в краях Германии, расположенных на берегах Рейна. Он будет содействовать созданию еще более значительных вооруженных сил, соразмерных вооруженным силам Франции, поскольку последние прямо угрожают безопасности и чести Германской империи и спокойствию Нидерландов. *Но император, ограничивая цель этих мер соображениями обороны и предосторожности, делаящими их проведение необходимым, отнюдь не отказываясь и не возражая против разумных и спасительных принципов, веру в которые он разделяет с королем и королевой, приложит все свои старания к тому, чтобы сочетать их с теми мерами, о каких идет речь, а также чтобы добиться их одобрения всеми дворами, которые примут участие в новом соглашении, предложив в качестве главной его основы и непременного условия своего содействия:*

что делу и притязаниям эмигрантов ни в коей мере не будут оказывать поддержку; что во внутренние дела Франции не будут вмешиваться с помощью каких бы то ни было активных мер, за исключением того случая, если безопасность короля и его семьи окажется под новой явной угрозой; что ни в коем случае не будут добиваться уничтожения Конституции, а ограничатся лишь содействием ее изменению в соответствии с вышеуказанными принципами, и притом мягкими и умиротворяющими средствами).

Итак, еще в конце января австрийский император хотел мира и твердо надеялся на него. Правда, составленный им план полумонархической конституции совершенно фантастичен и реакционен. Но какое до этого дело Франции, какое до этого дело Революции, раз Леопольд II не хочет вмешиваться, чтобы его навязать?

Правда, он еще заявляет, что вмешается, если «безопасности» Людовика XVI и Марии Антуанетты будет грозить явная опасность. Но ему и в самом деле было неудобно говорить с сестрой иным языком. И он не только совсем не хочет войны, но даже, по мнению конституционалистов, пытается убедить короля и королеву Франции в том, что война погубила бы их.

## ПОДЛИННАЯ ПРОБЛЕМА

Но что же это все значит? Допускаем ли мы хоть на миг, что Революция должна была терпеть какое-либо вмешательство, даже мирное, даже умиротворяющее, иностранных держав в ее внутренние дела? Нет и нет. Пусть здесь не будет никаких недоразумений: первейшим долгом Революции, условием ее спасения и самого существования было твердо заявить, что она хочет развиваться свободно, идти вперед по своему усмотрению и что ни угрозы, ни советы не заставят ее свернуть со своего пути. Но Жиронда

побуждала Революцию напасть на иностранные державы, на императора именно тогда, когда тот определенно отказывался от всякого вмешательства.

Что же это все значит? Полагаем ли мы, что при большем благоразумии можно было бы, несомненно, избежать войны? Нет и нет. В этом не может быть уверенности. Возможно, несмотря ни на что, столкновение революционной демократии с абсолютистской и феодальной Европой произошло бы. Вполне вероятно даже, что в тот день, когда Революция, покончив с двусмысленным положением и карая измену, ложь и клятвопреступление, подняла бы руку на королевскую власть и на короля, иностранные державы пришли бы в движение.

Революцию, логически и неизбежно идущую к республике, не должны были остановить угрозы Леопольда II или оскорбления, наносимые им республиканской партии. Но я утверждаю, что в тот момент, когда Жиронда объявила войну, она действительно не могла считать и не считала войну неизбежной, что она сделала все, дабы развязать ее. Суть в том, что она забыла, что если бы Франция ожидала нападения Европы, если бы она начала с того, что внутри страны избавилась бы от королевской измены, прежде чем вызывать войну с иностранными державами, то она была бы гораздо лучше вооружена, чтобы выдержать борьбу. Я утверждаю, что рассчитывать на войну, чтобы возбудить революционный пыл, — все равно как рассчитывать на действие алкоголя, чтобы возбудить энергию и мужество. Да, Жиронда полагала, что Революция наполовину обессилела, что без этого искусственного возбудителя она не сможет одолеть контрреволюцию и свергнуть королевскую власть; и она почти предательски заставила Революцию проглотить опьяняющее зелье войны, зелье высокомерия, подозрительности и ярости, которое вскоре предаст подавленную свободу во власть цезаризма и реакции.

Что же это, в конце концов, значит? Даже если мы не ошибаемся, даже если честолюбивое и тщеславное легкомыслие Жиронды действительно толкнуло Революцию на путь авантюры, мы все же должны извлечь из этой ошибки, сделанной людьми, урок на будущее, а не довод против самой Революции.

Она остается во всем мире правом, надеждой на свободу, и мы будем всем сердцем с нею в том грозном бою, который она, быть может, дерзко, в нервном напряжении начнет преждевременно против сил угнетения, мрака и посредственности, подстерегавших все ее неосторожные шаги, следивших за всеми ее движениями и меривших своей близорукой мыслью полет ее мечты.

По возможности в мирное время, а если понадобится, то и в военное, мы последуем за великим народом, взявшим Бастилию и ставшим великим народом, сражаясь при Вальми; но пусть новые поколения черпают из чаши Революции чистый героизм свободы, а не перебродивший осадок воинственных страстей.

## МИССИЯ СИМОЛИНА

К этому времени император проявляет еще такую неуверенность, что королева Мария Антуанетта считает необходимым побудить его к действиям. Ранее она избегала обращаться к российской императрице Екатерине II, которую она подозревала в чрезмерном, по ее мнению, расположении к эмигрантам; но теперь королева прибегает к ней и отправляет поверенного в делах России в Париже Симолина в Вену поторошить ее брата [Леопольда II]<sup>20\*</sup>. Она приняла решение: подобно Жиронде, она хочет покончить с неопределенностью и решительно предпочитает войну со всеми ее опасностями состоянию тревоги и нервного напряжения, в каком она уже так долго жила. Итак, Революция и королевская власть решились на великое испытание приблизительно в одно и то же время. Королева пишет в начале февраля графу Мерси<sup>21</sup>: «Г-н де С. [Симолин], который увидится с Вами, сударь, согласился взять на себя мои поручения... Полное неведение, в каком я нахожусь относительно намерений венского кабинета, с каждым днем делает мое положение более прискорбным и более критическим. Я не знаю, ни как себя держать, ни какой усвоить себе тон; все меня обвиняют в притворстве и фальши, и никто не может поверить (с полным на то основанием), что брат так мало интересуется ужасным положением своей сестры, чтобы беспрестанно подвергать ее опасности, ничего ей не говоря. Да, он подвергает меня опасности, и в тысячу раз большей, чем если бы он действовал. Ненависть, недоверие, наглость — вот три движущие силы, приводящие в настоящий момент в движение эту страну.

Наглость вызывается у них безмерным страхом и в то же время уверенностью, что за границей ничего не предпримут. Это ясно; достаточно вспомнить время, когда они думали, что державы действительно заговорят с ними надлежащим тоном, особенно после официального послания императора от 21 декабря; пока они не успокоились, никто тогда не смел ни пикнуть, ни пошевелиться.

Пусть же император хоть раз почувствует, что оскорбления наносят ему самому; пусть он появится во главе других держав с военными силами, но с внушительными силами, и, уверяю Вас, здесь все задрожит от страха. Беспокоиться о нашей безопасности не следует: войну вызывает именно эта страна; ее хочет Собрание.

С одной стороны, защитой королю служит усвоенный им конституционный образ действий; с другой стороны, существование его и его сына настолько необходимо всем окружающим нас негодяям, что это служит залогом нашей безопасности. И я утверждаю, что нет ничего хуже, чем оставаться в таком положении, как наше, и нечего и долее ждать, что нам поможет время или кто-нибудь внутри страны.

Пережить здесь первый момент будет трудно, потребуется большая осторожность и осмотрительность. Как и Вы, я думаю, что понадобятся ловкие и надежные люди, но где их взять?»

Какой мрак опускается в этот час на землю Франции! В то время, когда Революция пребывает в состоянии крайней нервозности и жирондисты убеждают ее в том, что император, старающийся уклониться от войны, — враг, которого надо уничтожить, перед нами королева, принимающая за страх неизбежные промедления, которые позволяют себе жирондисты в их стремлении склонить страну к мысли о войне. Измученная неопределенностью королева, как и жирондисты, устремляется на путь, где ей суждено погибнуть и где погибнут они. И вот теперь она уговаривает своего колеблющегося брата вторгнуться во Францию.

Она обещает изменять Франции настолько, насколько ей это позволят жалкие возможности, которыми она располагает. И все это потому, что королевская власть ни на минуту не решалась искренне принять конституцию, которая приспособлялась к современности, обновляла, быть может, на века, силу королевской власти! Какая слепота! Какой мелочный эгоизм! Тирания привычек! Безрассудное честолюбие! Пусть все решает сила, пусть разразится гроза, если в этой всепоглощающей тьме единственно возможный свет — это свет молнии, молнии войны, молнии, несущей смерть! И пусть судьба каждого свершится!

Ферзен, находившийся в Брюсселе, 9 февраля упоминает в своем дневнике о проезде Симолина<sup>22</sup>: «Симолин прибыл в 11 часов, не встретив никаких помех; я обедал вместе с ним у барона де Бретей; он направляется в Вену с поручением королевы — сообщить императору об их положении, о состоянии Франции

20. Симолин был назначен российским послом в Париже в 1785 г. 5 июня 1791 г. именно он снабдил Марию Антуанетту паспортом на имя баронессы Корф, которым она воспользовалась во время бегства в Варенн.

\* Весьма ценные донесения Симолина в Петербург хранятся в Архиве внешней политики России (АВПР) Архива МИД СССР. Иван Матвеевич Симолин (1720—1799) был на дипломатической службе с 1743 г. и в 1784 г. имел чин действительного тайного советника, был назначен послом в Париж, где оставался до февраля 1792 г. После устного доклада в апреле 1792 г. Екатерине II Симолин был вновь направлен для наблюдения за развитием событий

во Франции в Берлин, Брюссель и другие города, откуда продолжал посылать донесения, их общее число превышает тысячу. Частично (в малой доле) они были опубликованы в «Литературном наследстве» (т. 29—30), М., 1937 г., и прокомментированы Н. М. Лукиным (см.: Н. М. Лукин и н. Избранные труды, т. I, М., 1960). Многочисленные донесения Симолина о революции, специфический, но ценный источник, остались неизвестными и не использованными французскими историками.— *Прим. ред.*

21. «Marie-Antoinette, Joseph II et Léopold II...», p. 244.

22. «Le comte Fersen et la cour de France...», t. II, p. 4.

и об их настоящем желании, чтобы им была оказана помощь. Он виделся с ними тайно; королева сказала ему: *«Скажите императору, что нация слишком нуждается в короле и его сыне, чтобы они должны были бояться чего бы то ни было; именно их важно спасти; сама я ничего не боюсь и предпочитаю подвергнуться всевозможным опасностям, лишь бы не продолжать жить в том униженном и бедственном положении, в каком я нахожусь».*

Симолин был растроган до слез разговором с нею. Он рассказал мне о прелестных письмах королевы к императору, императрице и князю фон Кауницу. *Г-н де Мерси, с которым он виделся, говорил ему то же, что и обычно. Симолин высказал ему упрек по поводу образа действий императора, столь отличающегося от того, о котором шла речь в его декларациях в Падуе<sup>23</sup>, и сказал, что он обманул державы; тот был вынужден согласиться с ним».*

Итак, королева рассчитывает, что король и его сын будут казаться нации столь необходимыми, что она пощадит их даже во время войны, предпринятой от их имени и ради них. И у нее ни на мгновение не возникает мысли, что подло предавать народ, все еще связанный со своим королем такими узами! В то время, когда она полагает, что влияние короля будет господствовать над нацией даже при страшном кризисе, вызванном войной, объявленной в интересах короля, она не думает о том, что, если бы король стал верным слугой конституции и народа, он, не подвергая себя никакой опасности, спокойно пользовался бы огромной властью!

Но опять-таки обратите внимание на то, что Мерси говорит Симолину «то же, что и обычно», то есть он, насколько возможно, старается преуменьшить вероятность войны, развеять хмель высокомерия и легкомыслия. Впрочем, он сам пишет Марии Антуанетте 11 февраля:

«Я неустанно буду повторять, что было бы несправедливо обвинять императора в колебаниях и медлительности, отнюдь не зависящих от него. С очевидностью доказано, что этому монарху, который должен нанести удар первым, на самом деле никто не оказывает эффективной поддержки. Ему создают тысячу мелких хлопот, тысячу помех; Англия возражает против всех его мер, а французские принцы расстраивают их иным способом. Я собрал последние силы, чтобы моя беседа с г-ном Симолиным о положении вещей была вполне содержательной. Я ему сказал и то, какого тона следует держаться в Вене, и то, каким образом всего лучше обрисовать вещи в их истинном виде. Думаю, что он хорошо справится с поручением... Взрыв неминуемо произойдет скоро; но главное заключается в том, чтобы он был всеобщим; был дан совет в особенности следить за Испанией...»

Тактика затяжек и отсрочек продолжается. Леопольд II находит, что эмигранты требуют слишком многого, а Англия делает мало; он до такой степени ставит свои действия в зависимость от всеобщих действий Европы, в тот момент невозможных, что

фактически уклоняется от них. При проезде Симолина через Брюссель Мерси как бы оглушил его своими обескураживающими мыслями. Успокоить все страсти и выиграть время — только об этом и думали император, фон Кауниц и его доверенное лицо — Мерси.

## КОРОЛЕВА ПРИЗЫВАЕТ ФЕРЗЕНА

Однако королева уже приняла решение, так как она тотчас же призвала к себе Ферзена. В субботу 11 февраля, в половине десятого утра, он выехал из Брюсселя переодетый, рискуя головой. Королева знала, что Ферзен был сторонником войны, и если она просила его приехать, то для того, чтобы укрепить в ней это опасное решение; накануне этого грозного кризиса ей нужно было иметь рядом человека, чувствовавшего то же, что и она. Никогда ее одиночество не было более глубоким. Советы конституционалистов, Ламета и Дюпора, ужасно ей надоели, поскольку она хотела войны, а они были против войны.

Министр иностранных дел Делессар, которого Жиронда вскоре обвинит в преступном соучастии с двором, старался не допустить войны, то есть действовал одновременно и против двора, и против Жиронды. Между ним и королевой не существовало никаких отношений. Она приняла Симолина совершенно тайно и дала ему поручение, о котором министр не знал. И в тот момент, когда королева решила на войну, она чувствовала себя более, чем когда-либо, чужой сестрам Людовика XVI, так как решалась на нее совсем с другой мыслью; она продолжала таить в сердце ненависть к эмигрантам и к принцам — братьям короля. Король был человеком нерешительным и тяжелодумом. Королева могла теперь говорить с доверием только с одним человеком, с тем, кто пренебрег всеми опасностями, чтобы подготовить бегство в Варенн; взаимная любовь, грустная и подавляемая, связывала Ферзена с королевой, и эта любовь доходила у него до самопожертвования, у нее — до принятия этой жертвы. Правда, поездка Ферзена была одинаково опасной и для него и для королевы. Если бы того, кто был кучером во время бегства в Варенн, узнали, то это погубило бы его; но королева, если бы ее загодозрили или обвинили в том, что она замышляет новый план бегства, тоже была бы скомпрометирована. Должно быть, они испытывали сильное волнение, когда в полном опасностях уединении Тюильри говорили об этой печальной поездке в Варенн, когда королева рассказывала о некоторых подробностях ее, о которых Ферзен упомянул в своем дневнике.

23. После бегства в Варенн и ареста короля император предложил 6 июля 1791 г. в Падуанской декларации различным европей-

ским дворам совместно выступить для спасения королевской семьи и французской монархии.

Но этот щемящий возврат к прошлому мог быть лишь кратковременным. Надо было думать о будущем. Ферзен вновь пытается склонить короля к бегству или по меньшей мере связать бегство с войной. Он выступает перед королем как представитель абсолютистских тенденций. Ему кажется, что если после объявления войны Людовик XVI останется в революционной Франции в роли посредника, которую ему предназначает германский император, то он сделает чересчур много уступок новым идеям. Напротив, пусть он скроется, пусть согласится быть похищенным интервентами; тогда он уже вмешается не как посредник между Революцией и контрреволюцией, а как предводитель контрреволюционных сил.

«Вторник, 14 (февраля): Прекрасный теплый день. В 6 часов вечера виделся с королем. *Он не хочет уезжать* и не может из-за строжайшего надзора; но, по правде говоря, его мучит совесть; ведь он так часто обещал остаться, а он — честный человек. Однако он согласился на то, чтобы, когда армии вступят, скрыться с контрабандистами и, пробираясь лесами, соединиться с отрядом легкой кавалерии. Он хочет, чтобы конгресс прежде всего занялся его требованиями и, если на них согласятся, настаивал на его выезде из Парижа в назначенное для ратификации место. Если откажут, то он согласен на выступление держав и идет на всяческие опасности. Он думает, что ничем не рискует, так как мятежники нуждаются в нем, чтобы добиться капитуляции. Он [король] носил красную орденскую ленту. Он видит, что нет иных средств, кроме силы, но вследствие своей слабости считает невозможным вернуть себе всю свою власть. Я доказывал ему противоположное, утверждал, что это возможно силой и что именно таково желание держав. Он согласился. Однако если его все время не подбадривать, то я не уверен, что он не попытается вступить в переговоры с мятежниками. Затем он сказал мне: «О, ведь мы одни и можем поговорить. Знаю, что меня обвиняют в слабости и нерешительности, но никто никогда не находился в моем положении. Знаю, что я упустил момент, это было 14 июля; следовало уехать, и я хотел это сделать; но как мог я так поступить, если сам Мосье просил меня не уезжать, а маршал де Брольи, командовавший войсками, ответил мне: «Хорошо, мы можем отправиться в Мец. Но что мы будем делать, когда окажемся там?» Я упустил подходящий момент, и с тех пор он больше мне не представлялся. Все покинули меня». Он просил меня предупредить державы, чтобы они не удивлялись ничему из того, что ему пришлось делать, что он делал это поневоле, в результате принуждения. «Нужно, — сказал он, — чтобы меня оставили в покое и предоставили мне свободу действий».

Какая растерянность! Какое падение! Не говорю уже об этом ребяческом плане пробираться через леса навстречу неприятельскому авангарду, чтобы дать себя похитить. Но почему этот король,

сам признающий, что он не может вернуть себе всю свою прежнюю власть и что, следовательно, Революция была неизбежна, почему он еще упорствует в своей борьбе против нее? И главное, как это король французов настолько утратил понимание настроения Франции, чтобы поверить, будто она испугается первых же действий противника и трепеща бросится искать у него защиты? Неужели этот народ, на протяжении своей мучительной истории так часто вновь поднимавшийся со дна пропасти благодаря своему необычайному мужеству, теперь падет к ногам завоевателя? Это и есть подлинное отречение короля. Это и есть его подлинное низложение. Он больше не знает, какова нация, главой которой он является. 22 февраля Ферзен уехал обратно в Брюссель.

## ИМПЕРАТОР НАКОНЕЦ РЕШАЕТСЯ

Между тем император наконец выработал свой план, в согласии с Пруссией, но какой он еще неопределенный! По-видимому, он решил на вмешательство во внутренние дела Франции, то есть на войну. Ибо в соответствии с соглашениями, заключенными между Австрией и Пруссией<sup>24</sup>, как пишет Мерси королеве 16 февраля:

«1. Иностранные державы, воздерживаясь предписывать что-либо относительно формы [королевской власти], тем не менее уполномочены потребовать, чтобы она была подобающей.

2. Франция должна прекратить свои враждебные демонстрации против Германии, отведя три армии, по 50 тыс. солдат каждая, откровенно предназначенные для боевых действий.

3. Владетельные князья в Эльзасе, несправедливо и насильственно лишены того, что им гарантируют самые торжественные договоры, должны быть полностью восстановлены в своих правах и владениях.

4. Авиньон и Конта-Венессен должны быть возвращены папе.

5. Французское правительство должно признать законную силу договоров, существующих между ним и другими европейскими державами».

24. 17 января 1792 г. совещание министров в Вене одобрило план европейского соглашения, который 25 января был представлен Пруссии. Фактически Австрия предлагала Пруссии двусторонний союз; каждая из держав должна была выставить по 50 тыс. солдат, из них 6 тыс. должны были выступить немед-

ленно; от Франции потребовали бы восстановить в их владениях немецких князей и папу, отправить королевскую семью в безопасное место и гарантировать во Франции монархическую форму правления. Пруссия сразу согласилась и потребовала дополнительно запрещения якобинских манифестаций.

Император вызвал бы негодование Франции одним изложением этих условий. Но он все еще хочет избежать того, что может привести к взрыву.

«Французская нация, — пишет Мерси, — разделена на различные партии. Это разделение важно поддерживать; оно одно без тяжких потрясений может привести Конституцию к гибели. Если последняя подвергнется открытому нападению извне, то все партии объединятся для ее защиты и вся нация, подавшись очарованию своих мнимых свободы и равенства, сочтет себя обязанной пожертвовать ради них своими внутренними разногласиями».

И даже относительно этих перечисленных выше точных и, по видимому, провокационных условий Мерси прибавляет в том же письме от 16 февраля:

«Дабы придать этим предложениям и декларациям необходимый вес, чтобы с ними считались, император предлагает независимо от его армии, уже находящейся в Нидерландах, выставить 40 тыс. человек при условии, что прусский король согласится двинуть армию равной численности для успеха намеченного плана; эти войска не должны начинать активных действий и смогут их предпринять только тогда, когда французская нация каким-либо актом насилия и непоправимой оплошностью сама приведет к крайнему обострению положения».

Вся эта политика Австрии еще двойственна, уклончива, и Революции поистине не приходилось отражать или отводить от себя стремительный военный поток. Возможно, что, если бы она захотела, у нее имелись некоторые шансы сохранить мир, ни от чего не отрекаясь и не идя ни на какие уступки. Мария Антуанетта очень хорошо поняла из этого письма, что речь шла о том, чтобы выиграть время, и 2 марта она отвечает Мерси:

«Нация действительно разделена на различные партии, но имеет-ся одна, господствующая над другими. Из трусости, равнодушия или из-за внутренних разногласий во взглядах никто не смеет выступить; только под воздействием внешней силы, когда они будут уверены в том, что их поддержат, у них хватит смелости отстаивать свои подлинные интересы и интересы короля. Идеи императора хороши, и статьи декларации мне кажутся удачными, но было бы лучше делать все это полгода назад. Это опять приведет к потере времени, а здесь, действуя против нас, его не теряют. Каждый день приносит новые несчастья и усугубляет зло. Утрата частными лицами всех их богатств, банкротство, дороговизна зерна, невозможность перевозить его из одного места в другое, полное отсутствие звонкой монеты, недоверие к бумажным деньгам и, наконец, способ, с помощью которого с каждым днем все больше и больше унижают власть короля, будь то в писаниях или в речах или во всем том, что его заставляют говорить, писать и делать, — все предвещает близкий кризис, и если не будет под-

держки извне, то каким образом можно будет придать этому кризису благоприятный для короля оборот?»

Королева пишет это 2 марта, а накануне, 1 марта, министр иностранных дел Делессар сообщил Законодательному собранию ответ императора на требование объяснений, предъявленное ему по решению Собрания. Но и этот ответ императора кажется королеве двусмысленным и маловразумительным.

«Не буду говорить о последней депеше, оглашенной вчера в Собрании. Ее могла продиктовать политика; я недостаточно разбираюсь в последней, чтобы судить о ней. У меня о ней может составить мнение только на основании ее последствий и оказанного ею влияния».

## ДЕЛЕССАР И НАРБОНН

Министр иностранных дел Делессар уже в течение двух месяцев находился в очень трудном и даже опасном положении. Сам он хотел сохранить мир; он полагал, что война погубила бы умеренную партию, и всячески старался предотвратить ее. Таким образом, он не действовал заодно с двором, который, как мы показали, в конце января и в феврале настойчиво добивался войны. Двор тщательно скрывал от Делессара свои воинственные намерения. Более того, Делессар питал неприязнь к военному министру Нарбонну, чьи фантазии и замыслы казались ему весьма неосторожными. По мнению Делессара, если бы война началась, то ее уже не смогли бы сдержать и, начав с показательной войны, предлагаемой Нарбонном, неминуемо кончили бы большой пропагандистской войной Бриссо; сама логика воинственной политики заставляла Нарбонна постепенно склоняться на сторону Жиронды, падившей и даже иногда отчасти хвалившей его в своих газетах в ущерб его коллегам. Нарбонн хорошо понимал, что он истощит свои силы в пустых демонстрациях и манифестациях, в смотрах и пышных фразах, если не наложит руку на внешнюю политику, и старался заменить Делессара. Последний, постоянно опасаясь, что легкомыслие Нарбонна увлечет его за черту, какую он себе наметил, старался устранить Нарбонна. Итак, между обоими министрами существовал острый конфликт. Королева говорит об этом конфликте в письме к Мерси, написанном в начале февраля:

«В настоящий момент идет открытая война между министрами Делессаром и Нарбонном. Последний хорошо понимает, что его место опасно, и хочет занять место первого; поэтому они нападают друг на друга по любому поводу; это производит жалкое впечатление. Лучший из них — полное ничтожество».

Из них особенно Делессар находился в ложном и опасном положении по отношению к Собранию. На него возложили весьма

щекотливое поручение в отношении императора: он должен был потребовать у императора объяснений насчет его сокровенных чувств, вырвать у него тайну его мыслей, его намерений по отношению к Революции. Это требование, высказанное языком угроз или даже слишком настойчиво, немедленно привело бы к войне с Австрией, и Делессар не хотел брать на себя ответственность за эту войну, но не из попустительства двору, скрывавшему от него свои изменнические действия и презиравшему его, а из осторожности, из щепетильности, а также из преданности конституционной и умеренной партии, которая нуждалась или думала, что нуждается в мире.

Напротив, это требование, высказанное сдержанным тоном, не изменило бы положения вещей. Оно продлило бы мир, а жирондисты хотели войны. Оно также продлило бы неопределенность, и предстоящий обмен дипломатическими посланиями ничего не решил бы. Ожидания тех, кто хотел, чтобы все это так или иначе кончилось — войной или надежным миром, — были бы обмануты, и министр должен был бы вызвать разочарование и раздражение.

#### НОТА ОТ 1 МАРТА

1 марта Делессар огласил в Собрании ноту, врученную им венскому кабинету через французского посла, и полученные им ответы<sup>25</sup>.

Послание Делессара было бесцветным и вялым. Кое-где он довольно решительно утверждал, что Франция не позволит посягать на ее конституцию, но кое-где также он как будто ссылался на обстоятельства, смягчающие вину Революции: «Тщетной была бы попытка изменить силой оружия нашу новую Конституцию; для огромного большинства нации она стала своего рода верой, которую она с воодушевлением приняла и будет защищать с решимостью, присущей пылу чувств». (*Долгие аплодисменты.*)

И он прибавлял: «Вы неоднократно сообщали мне, милостивый государь, что в Вене были крайне поражены явным беспорядком в нашей администрации, неповиновением властей, недостаточным уважением, порою проявляемым по отношению к королю. Следует иметь в виду, что мы едва вышли из одной из величайших революций, которые когда-либо имели место; что эта Революция в том, что составляет ее главную суть, сперва совершилась с необычайной быстротой, а затем затянулась из-за разногласий между различными партиями и из-за борьбы страстей и интересов.

После такого противодействия, таких усилий, стольких новшеств и стольких жестоких потрясений неминуемо еще долго должны были продолжаться волнения, и есть основание ожидать, что порядок может быть восстановлен только со временем».

Делессар заявлял, что именно угрозы эмигрантов крайне возбуждали умы французов: «Пусть перестанут тревожить нас, угрожать нам, лить воду на мельницу тех, кто хочет одних только беспорядков, — и порядок восстановится очень скоро. (*Аплодисменты.*)»

Впрочем, этот поток пасквилей, совсем затопивший нас, уже значительно уменьшился и уменьшается с каждым днем. Равнодушие и презрение — вот оружие, каким надо бороться с бедствием подобного рода. Неужели Европу можно взволновать и она может поставить в вину французской нации то, что у нее оказалось несколько крикунов и газетных писак? И неужели их удостоили бы чести, ответив им пушечными выстрелами?» (*Смех, редкие аплодисменты.*)

Затем Делессар пытается отговорить императора от всякой мысли о нападении, изображая ему опасности, которые таит для него самого победа; это предположение, казалось обрекавшее Революцию на поражение, возмутило Собрание. «Возвращаюсь к сути дела, к вопросу о войне. Выгодно ли императору дать себя склонить к этому роковому шагу? Если угодно, я допущу исход, самый благоприятный для его армии. И что же? Что из этого выйдет? Кончится тем, что успехи поставят императора в более затруднительное положение, чем его неудачи, и единственным плодом этой войны для него будет то печальное преимущество, что он уничтожил своего союзника и увеличил мощь своих врагов и соперников». (*Ропот.*)

Министр заканчивал в весьма умеренном, примирительном и немного униженном тоне:

«Вы должны постараться, сударь, получить объяснения по трем вопросам: 1. По поводу официального послания от 21 декабря. 2. По поводу вмешательства императора в наши внутренние дела. 3. По поводу того, что именно Его Императорское Величество подразумевает под *сообществом государей, объединившихся для защиты чести и безопасности корон.* Каждое из этих объяснений, которых мы требуем от его справедливости, может быть дано с достоинством, подобающим его особе и его могуществу...»

Сударь, подводя итог, выражу Вам одним словом желание короля, желание его совета и — не боюсь сказать это — желание здоровой части нации: мы хотим мира. Мы требуем прекращения этого разорительного состояния войны, к которому нас привело роковое стечение обстоятельств; мы требуем возврата к мирному

25. «Moniteur», XI, 522; «Archives parlementaires», XXXIX, 246. Нота Делессара послу в Вене Ноайю датирована 21 января 1792 г. «Эта депеша, — уточняет Делессар, — отнюдь не была предназначена для огласки; она

была передана конфиденциально министру императора; вопреки принятому порядку и в некотором роде злоупотребив доверием, он использовал ее таким образом, что сделал неизбежным предание ее гласности».

состоянию. Но нам дали слишком справедливые основания для беспокойства, чтобы мы не нуждались в полном успокоении».

Главный порок этого документа — это, так сказать, согласие на обсуждение наших внутренних дел с императором, с иностранными державами; это старание добиться мира для Революции, обещая, что она будет смирной, позволяя надеяться на то, что, если ее оставят в покое, она не перейдет за определенную черту. Министр, казалось, требовал лишь условного признания Революции. И право, как мог бы он поставить вопрос иначе? Требуя от императора, брата Марии Антуанетты, публичного и безусловного признания Революции, требуя, чтобы он заявил, что ни в коем случае не нападет на Францию, даже если Франция свергнет королевскую власть, даже если, по примеру Англии 1648 г., она отрубит королю голову, Жиронда ставила императора в безвыходное положение: либо сделать заявление, на которое он не мог пойти, либо война. Свободу Революции и миролюбивые расчеты Леопольда II можно было согласовать только молчанием.

Но Жиронда хотела больше всего, чтобы молчание было нарушено; министр иностранных дел, не имея возможности молчать и не желая произнести непоправимые слова, был вынужден говорить вялым и слабым языком, в котором, конечно, не ощущалось ни гордости Революции, ни гордости Франции. Жиронда, со скрытой, как сказал бы я, дерзостью, постепенно вела Францию и Европу к войне, которую она, однако, не смела объявить сразу.

## ОТВЕТ КАУНИЦА

Понятно, что ответ императора показался Марии Антуанетте маловразумительным. Очевидно, он и на этот раз только старался выиграть время, не идя на разрыв с Францией и не унижаясь перед Революцией. Но министр Кауниц выполнил порученную ему задачу так неуклюже, с таким незнанием французской обидчивости и революционных страстей, что это не делало чести австрийской дипломатии. Он не стал излагать ни одного из условий, ни одного из требований — возвратить папе Конта-Венесен, восстановить политическую власть дворянства, — которые именно в это время являлись основой для неопределенных переговоров между Австрией и Пруссией.

Но он грубо и неудачно высказался о волнениях во Франции. Он признал, что в Пильнице было подписано соглашение о том, чтобы оградить французского короля от усиления «анархии». Он прибавил, что после принятия конституции королем соглашение это имеет только «эвентуальное» значение.

Он резко обвинял левые партии: «Пока внутреннее положение Франции, вместо того чтобы оправдывать благое предсказание г-на Делессара о восстановлении порядка, о власти правитель-

ства и исполнении законов, будет, напротив, обнаруживать усиливающиеся с каждым днем признаки непостоянства и брожения, дружественные Франции державы будут иметь самые справедливые основания опасаться повторения в отношении короля и королевской семьи тех же крайностей, каким они неоднократно подвергались, а также опасаться, что Францию опять постигнет величайшее из зол, какое может поразить большое государство, а именно народная анархия.

Но из всех зол это зло наиболее заразительно для других народов; в то время, когда немало иностранных государств уже послужило пагубным примером его распространения, понадобилось бы оспаривать у других держав то же право сохранения своих конституций, какое Франция требует для сохранения своей, дабы не согласиться с тем, что никогда не было основания для тревоги и всеобщего соглашения, более законного, более неотложного и более важного для спокойствия Европы.

Понадобилось бы также отвергнуть свидетельство повседневных и действительно происшедших событий, чтобы приписать главную вину за это внутреннее брожение во Франции упорству эмигрантов или их планам... Вооруженные отряды эмигрантов распущены, а Франция продолжает вооружаться. Император, отнюдь не поддерживающий их планов или их притязаний, настаивает на сохранении ими спокойствия; имперские князья следуют его примеру...

Нет, истинная причина этого брожения и всех его последствий слишком очевидна для Франции и всей Европы. Это — влияние и необузданность республиканской партии (*сильный ропот*), осужденной принципами новой Конституции и Учредительным собранием; на ее влияние на нынешнюю легислатуру с горечью и страхом взирают все те, кому искренне дорого спасение Франции».

Он вполне разгадал план Жиронды — установить во Франции республику посредством войны. «Именно вожаки этой партии с того времени, как новая Конституция провозгласила нерушимость монархического образа правления, беспрестанно стараются его свергнуть или подорвать его основы либо своими предложениями или прямыми нападениями, либо с помощью последовательного плана его фактического уничтожения, побуждая Законодательное собрание присвоить себе главные функции исполнительной власти или же принуждая короля уступать их желаниям с помощью вызываемых ими вспышек, а также подозрений и обвинений, падающих на него в связи с их уловками.

*Ввиду того что они убедились в нежелании большей части нации согласиться на их республиканскую систему, вернее, на анархию, и так как они отчаялись в возможности увлечь нацию, если в стране восстановится спокойствие и сохранится внешний мир, то они всеми силами стараются не допустить прекращения смуты и вызвать внешнюю войну.*

\* \*\* ... Вот почему, вместо того чтобы рассеять скрытую тревогу, давно уже возникшую у иностранных держав из-за их тайных, но доказанных происков, имеющих своей целью подстрекать другие народы к неповиновению и мятежам, они теперь плетут свои козни совершенно открыто, пользуясь средствами, беспрецедентными в истории всех цивилизованных правительств на земле. Они, разумеется, рассчитывали на то, что государи перестанут наконец противопоставлять их оскорбительным и клеветническим разглаживаниям *свое равнодушие и презрение*, увидев, что Национальное собрание не только терпит их у себя, но и одобряет и распоряжается печатать их. (*Долгий ропот.*) ... Несмотря на столь вызывающие действия, император даст Франции самое очевидное доказательство своей постоянной и искренней преданности, сохраняя спокойствие и умеренность, какие ему внушает его дружеское участие к положению этого королевства». В заключение Кауниц ограничивается заявлением, что если будет совершено нападение на имперских князей, то император их защитит <sup>26</sup>.

Каков истинный смысл этого документа? К вызывающим и оскорбительным словам примешивается явная забота избежать разрыва. Я говорил, что император прежде всего хотел выиграть время; но вовсе не для того, чтобы лучше подготовиться к войне, а для того, чтобы появились шансы сохранить мир. Очевидно, что его беспокоит и раздражает пример революционной Франции, тайная и неизбежная пропаганда свободы. Тем не менее он не объявляет Революции войны во имя принципов, так как прикрывается решениями Учредительного собрания, решениями великого Собрания, провозгласившего Декларацию прав человека и суверенитет наций. Почему же, желая мира, еще надеясь на него, он бросает теперь столько оскорбительных слов по адресу значительной и влиятельной части Собрания? Причин для этого, без сомнения, несколько. Прежде всего, продолжая желать мира, император склоняется перед необходимостью войны и начинает считать ее неминуемой; если война возникнет, то больше всего он хочет, чтобы ответственность за нападение падала на Францию. Поэтому он и не прочь вызвать возбуждение умов. Затем он, возможно, предполагал, что резкость тона произведет впечатление и что столь прямо обвиненные партии левой отступят. Странное непонимание силы революционного порыва <sup>27</sup>. Я также думаю, что, прямо указывая на план Жиронды, или, как он ее называет, республиканской партии, то есть на намерение сделать внутреннюю политику более решительной посредством внешней войны, император хотел предостеречь короля и королеву, что они напрасно играют с огнем. И он оправдывал таким образом перед всем миром свою собственную медлительность, свои колебания и осторожность, в которых его так резко упрекали непримиримые среди эмигрантов и монархистов.

Итак, мир был возможен, но при одном условии: если бы в тот момент революционная Франция обладала достаточно ясным умом и твердостью, чтобы понимать всю истину. Нужно было бы, чтобы министр иностранных дел мог представить Собранию и его Дипломатическому комитету доказательство того, что император действительно хочет мира и противится двору. Нужно было, чтобы Дипломатический комитет и Собрание могли питать доверие к этому министру. Но все было смутно, фальшиво, ненадежно в это печальное время подготовки войны; у партий все было ложью, предательством, двоедушием, низким притворством, тайным расчетом. Король и королева изменяли, изменяли цинично, но без всякой логики; то они боялись войны, то желали ее, но ради того, чтобы вернее спастись при поддержке иностранных держав. Бывшие члены Учредительного собрания, желавшие конституции и мира, вели сомнительные переговоры с двором: они соглашались передать императору свой дипломатический мемуар через посредство королевы, чья честность не могла не внушать им подозрений. Жирондисты интриговали и старались обманом вызвать войну.

Исполненные нерешительности и лукавства в душе, они не знали, как подступиться к королевской власти, то мечтая ниспровергнуть ее посредством величайшего внешнего кризиса, то рассчитывая утвердиться при ней, словно победители в старом доме, и укрепить свою министерскую власть престижем древней монархии. Наконец, Робеспьер, который мог бы избавить умы от ослепления внешними делами, только указав на великое усилие, которое Революция должна совершить внутри страны, ограничивался тем, что неясным и робким жестом указывал на Тюильри. Революционная Франция была достойна восхищения вчера, когда она провозгласила Декларацию прав человека, свою возвышенную веру в разум, свободу и мир. Она будет достойна восхищения завтра, когда будет защищать оказавшуюся в опасности Революцию, будущее всего мира против адского заговора всех тираний. Но в это время темной и скрытой подготовки войны все было бы жалко и низко, если бы порою не чувствовалось, что в глубине души народа рождается возвышенная надежда на всеобщее освобождение и героический вызов всем силам, несущим смерть.

Собрание выслушало все эти сообщения с тягостным чувством. Была минута, когда оно даже аплодировало Делессару, но вскоре вспыхнуло недовольство.

26. Собрание постановило напечатать эти документы и передать их Дипломатическому комитету. «Moniteur», XI, 528.

27. Он лишь разделял заблуждение королевы и самого Делессара, очень довольного своей потой. [Примечание А. Матъеза.]



## ОБВИНЕНИЕ, ВЫДВИНУТОЕ ПРОТИВ ДЕЛЕССАРА

На вечернем заседании Собрания Ру́йе разоблачил то, что он считал сговором императора с министром<sup>28</sup>:

«Я мог бы сказать вам, — воскликнул он, — что сам Дипломатический комитет, когда министр Делессар сообщил ему об этих коварных ответах, рассмеялся ему в лицо, заявив: «И вы не стыдитесь подобных документов, на которые Собрание посмотрит как на ваше собственное творение?!» (*Возгласы «браво, браво». Долгие аплодисменты на трибунах*)... Но разве ему платят за то, чтобы он сообщал империи об опасениях нации и лгал иностранным державам? Свободный народ ничего не боится и смеется над усилиями, которые могут быть направлены против него. В деспотах, которые пожелали бы напасть на него, он хочет и может видеть лишь побежденных. Но пока мы будем находиться в руках у таких продажных людей, как он, нас заставят говорить подобным языком. Поэтому я обвиняю министра иностранных дел и — пусть я паду жертвой своего патриотизма! — не перестану его преследовать до тех пор, пока закон не решит дела между обвинителем и обвиняемым!» (*Крики «браво, браво». Долгие аплодисменты.*)

Итак, обвинительный акт предъявлен. Наймит? Делессар не был им. Он не предавал Революции в интересах двора, который его презирал. Но существовал ли сговор между Делессаром и императором? Было только совпадение во взглядах. Был момент, когда умеренные конституционалисты, чьим рупором был Делессар, и император держались одинаковых взглядов, питали одни и те же надежды. Делессар и император одинаково хотели мира, и, желая мира, оба надеялись, что руководство Революцией не перейдет в руки партии жирондистов, партии войны. Когда Ру́йе и враги министра говорили, что он продиктовал и составил ответ императора, они были не совсем неправы. Ибо, с одной стороны, письмо, посланное Делессаром французскому послу в Вене, было очень сходно с мемуаром, который Барнав, Ламет и Дюпор передали в начале января императору через посредство королевы; с другой стороны, данный г-ном Кауницем официальный ответ точно совпадает с мемуаром, посланным королеве императором в ответ на полученный им от нее. Именно умонастроение фейянов служит связующим звеном между Тюильри и венским двором. Император пользуется их формулировками. В частности, фейяны нарисовали в своем мемуаре картину того, что они называют «республиканской партией», в выражениях, почти тождественных тем, какими пользуется Кауниц в документе, оглашенном в Собрании.

Однако, повторяю, император, нуждавшийся в мире, но побуждаемый призывами своей сестры, Марии Антуанетты, льстил себя надеждой, что события не заставят его вмешаться, и, таким обра-

зом, естественно, держался того же образа мыслей, что и конституционалисты, которых вследствие этого нельзя было обвинить в измене.

Бриссо прежде всего старается подчеркнуть это согласие между фейянами и императором: «Мы находим излишним, — пишет он в «Патриот франсэ» от 2 марта, — подробно разбирать этот ответ, являющийся не чем иным, как немецким переложением наиболее важных мест из наших министерских документов... От императора совсем не ждали выступления в роли защитника Конституции; но именно это у него общее с фейянами, и нас только удивляет, что он не привел знаменитого лозунга: «Конституция, вся Конституция, ничего, кроме Конституции!»

Затем Бриссо с иронией напоминает о нападках императора на народные общества: «Он не скрывает, что если он держит армию в состоянии *пассивного наблюдения*, то для того, чтобы помешать этой ужасной силе якобинцев ниспровергнуть *свободную монархию* во Франции, к которой он питает столь нежное участие; кроме того, такова цель соглашения, которое он заключил с различными державами: подобная лига не излишня против этой чудовищной секты. Разумеется, эти ужасы и угрозы были встречены громкими взрывами смеха; эти разглагольствования, казалось, заставили покраснеть даже сторонников правительства. Они хотели вызвать несколько тирад против республиканцев и якобинцев; но изображать их как силу! Это значило учернить и *подсказчиков и ученика*.

Нота прусского посла, указывавшая, что его владыка согласен с заключениями императора и вынужден воспрепятствовать любому вторжению на территорию империи<sup>29</sup>, и послание короля завершили эту дипломатическую комедию.

Король заявляет императору, что он считает ниже достоинства великой нации и несовместимым с ее независимостью обсуждать эти различные вопросы, касающиеся внутреннего положения в королевстве; что он желал бы получить более категорический и более точный ответ относительно заключенного державами соглашения; что это соглашение совершенно бесцельно и он требует его расторжения, дабы был положен конец тревож-

28. Ру́йе (1761—1819) — в прошлом морской офицер, мэр Безье, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Эро. «Moniteur», XI, 544; «Archives parlementaires», XXXIX, 255.

29. Письмо графа фон Гольца, чрезвычайного посланника прусского короля во Франции, адресованное Делессару и датированное 23 февраля 1792 г. «Moniteur»,

XI, 528. «...Вторжение французских войск на территорию империи не могло бы рассматриваться германскими государствами иначе как объявление войны, вследствие чего Его Величество прусский король совместно с Его Императорским Величеством не смог бы воздержаться от противодействия этому всеми своими силами».

ному состоянию, в каком нация не хочет и не может оставаться. Он предлагает следующее: он разоружится, если император ответит часть своих войск.

*Простота и ясность этого ответа, полная противоположность немецкой запутанности депеш венского кабинета, снискали аплодисменты Собрания... Людовик XIV, хотя он и не был королем свободной нации, был бы менее терпелив; но свободная нация предпочитает исчерпать добрые средства.*

Каковы бы ни были последствия данного ответа, друзья народа должны порадоваться этому дню.

*Он показал превосходство этой нации, предавшейся народной анархии. Император повинился желанию нации, ответив до истечения назначенного ему срока.*

*Он был вынужден оправдываться перед народом, который попирали.*

*Он раскрыл великую тайну интриги, объединяющей оба кабинета — венский и Тюильри; ими руководит один и тот же дух, жалкий дух нескольких интриганов, которые, желая отомстить сорвавшим с них маску людям и обществам, прибегают к перу монарха и министров, достаточно слабых, чтобы согласиться с их пошлыми происками.*

Наконец, этот день погубил и дипломатов, и репутацию глупокомыслия политических кабинетов. Может ли быть что-нибудь более жалкое, чем эти депеши? Теперь понятно, почему министры так любят окружать себя таинственностью: слабость и невежество так в ней нуждаются. И вот плод шестидесятилетнего опыта! Кауниц обманут молодыми честолюбцами, крайне невежественными и наглыми! Кауниц должен сражаться против Республики и якобинцев! Какой урок в восемьдесят лет!<sup>30</sup> Ошибок таких не загладить! Кауниц показал меру способностей, и своих, и своего государя; но при таких способностях не покорить великую нацию, желающую свободы».

Бриссо торжествует, он опьянен успехом; он свысока смотрит на Европу. Но какой-то момент его тщеславие как бы мешает его планам. Он так гордится получением от императора ответа на продиктованные им требования, что на минуту забывает о своем намерении разжечь войну. Ибо если, как говорит Бриссо, император уже унижен, то зачем нужно еще далее преследовать его и требовать от него более формальных заявлений? Если он предпочел разрыву такое унижение, то почему бы Революции не постараться сберець появившиеся шансы на мир?

Если император — игрушка в руках фейянов, если Барнав, Ламеты и Дюпор вертят им, как хотят, то не ясно ли, что император надеется, придав с их помощью умеренность внутренним событиям во Франции, избежать вмешательства, которое страшит его? Почему отныне не идти быстро и твердо по революционному пути, не терзаясь мыслью о призраке, который появится

извне, не ища в войне гибельной диверсии? Если ответ Людовика XVI прост и искренен, если он заслуживает рукоплесканий всего Собрания, то как можно будет нападать на королевскую власть? Как можно будет нападать и на министра иностранных дел, составившего от имени короля этот ответ и получившего от императора поспешно составленное и унижительное для него послание? Эта статья Бриссо была лучшей защитой для министра, постановления об измене которого десять дней спустя Бриссо добьется. Эта статья была лучшим выступлением в защиту мира, нарушить который Жиронда будет упорно и страстно стараться.

И что означают эти заигрывания с Людовиком XVI, который к этому времени действительно стал предателем по отношению к нации? Но какое значение имели для Бриссо все эти противоречия? В эту минуту он был преисполнен тщеславия, он самодовольно говорил себе, что у него больше гордости, чем у Людовика XIV. Уже одно то, что он заставил императора ответить, приводило его в восторг. О, жалкий выскочка, лишенный чувства революционной гордости, нуждавшийся, казалось, в том, чтобы император одобрил Революцию!

Что еще может означать такое умаление значения своей собственной партии, республиканцев и якобинцев? Они действительно были организованной силой Революции. Император не ошибался, указывая на их мощь. Впрочем, якобинцы приняли вызов с законной гордостью<sup>31</sup>. Но Бриссо пошло унижал своих друзей, чтобы иметь возможность высмеять императора. Недостойное тщеславие, мелкое интриганство!

Однако Бриссо, у которого хмель ребяческой гордости на мгновение прервал и затмил политическую мысль, вскоре понял, что из событий 1 марта он может извлечь двоякую выгоду. Он может усилить подозрительность нации и довести до крайности нервное напряжение народа, утверждая, что император хотел вмешаться в наши дела и что его двусмысленный ответ оставляет после себя мучительную неопределенность. Он может также, нанеся удар Делессару, дезорганизовать министерство, терроризовать двор и поставить его наконец под опеку Жиронды.

30. Князь фон Кауниц родился в 1711 г., в 1735 г. поступил на государственную службу, в 1741 г. вступил на дипломатическое поприще. Он вел переговоры о заключении Ахенского договора (1748 г.). Будучи государственным министром и послом при французском дворе с 1750 по 1753 г., он добивался «перемени союзов», что ему удалось осуществить в 1756 г. Имперский канцлер с 1753 г., он почти тридцать

лет руководил внешней политической Австрии. Умер в 1794 г. 31. См. заседание Якобинского клуба от 2 марта 1792 г. и его циркуляр дочерним обществам [буквально: «аффилированным»] обществам, то есть присоединившимся к Якобинскому клубу народным обществам на местах, которые являлись фактически его отделениями (филиалами) — *Прим. ред.*] F. A. Aulard. *Jacobins*, t. III, 419, 421.

В субботу 3 марта он пишет о вечернем заседании 1 марта, на котором выступал Руйе:

«У нас было время поразмыслить над дипломатическим фарсом, разыгранным утром, и, как можно было заметить, одно из его главных действующих лиц было также и его вдохновителем. Это — г-н Делессар, против которого г-н Руйе выдвинул формальное обвинение. Шарлье поддержал это обвинение и высказал мнение, что министра следует объявить утратившим доверие нации<sup>32</sup>. Дипломатическому комитету было поручено изучить секретную ноту г-на Делессара нашему послу в Вене, ноту, которую можно считать завязкой этой эпистолярной интриги. Впрочем, документ будет напечатан, и можно будет путем сравнения выяснить, не вышли ли письма и ответы на них из-под одного пера».

### НАРБОНН И БЕРТРАН ДЕ МОЛЬВИЛЬ

Бриссо будет несколько дней обдумывать и подготавливать обвинительную речь, которая, поразив Делессара, приведет к распаду умеренного министерства и откроет Жиронде путь к министерской власти. В интересах короля, столкнувшегося с подобной тактикой, было сохранить свое министерство единым, защитить Делессара, уберечь Нарбонна и заявить, что один из этих двух министров представляет политику мира, а другой — воинственной бдительности. Но министерство распалось вследствие тайного конфликта между Делессаром и Нарбонном и особенно вследствие острого конфликта между Нарбонном и реакционером Бертраном. Последний, подвергаясь резким нападкам в Собрании, был крайне раздражен уловками Нарбонна снижать популярность. Нарбонн был подчеркнуто предупредителен по отношению к комитетам Законодательного собрания, к которым Бертран относился с пренебрежением. Морской министр жаловался на то, что Нарбонн провоцирует нападки на него в якобинских газетах. И действительно, хотя в первых числах марта газета Бриссо довольно часто выступает против Нарбонна, но всегда крайне сдержанно, а «Хроник» Кондорсе часто его хвалит<sup>33</sup>.

Но король доверял одному Бертрану, который с каждым днем все более входил в доверие к Людовику XVI, оказывая ему даже личные услуги, доставал для него путем мошеннического изъятия из кассы морского министерства золотую монету, которую король предпочитал ассигнатам.

Нарбонн почувствовал себя в опасности. Он попросил поддержки у назначенных им генералов: Рошамбо, Люкнера, Лафайета. Они вмешались, опубликовав письма, которые вызвали раздражение короля, и он отстранил Нарбонна<sup>34</sup>.

9 марта Бриссо пишет: «Сегодня утром король лишил Нарбонна портфеля военного министра. Уверяют, что вместо него

назначен г-н де Грав<sup>35</sup>. Причины отставки Нарбонна не вполне ясны. Одни связывают ее с интригами министра Бертрана с братьями, которые его поддерживают; другие полагают, что двор ненавидел Нарбонна, потому что, по мнению двора, он стал чересчур популярен; наконец, третьи думают, что поводом к отставке послужили опубликованные в газетах письма генералов к г-ну Нарбонну.

В этих письмах генерал Рошамбо и Лафайет просят министра не покидать своего поста в такой момент, когда он может оказать столь великие услуги, и уверяют его в том, что его отставка была бы общественным бедствием. Лучшего средства погубить г-на Нарбонна нельзя было найти.

Г-н Нарбонн может упрекнуть себя в одной ошибке. В своем ответе он говорит, что хотел уйти из-за несогласия с одним из своих коллег (с Бертраном), которого он уважает лично, но не одобряет его образа действий как министра.

Как может г-н Нарбонн уважать человека, который лгал перед лицом Европы, который опровергал утверждения короля, министром которого он был, и беспрестанно проявлял самую бесстыдную недобросовестность?»

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СУДУ ДЕЛЕССАРА

Как мог король решиться таким образом расстаться с Нарбонном? Следуя его советам, принять политику ограниченной войны и отстранить его именно тогда, когда видимость популярности, приобретенной им, могла защитить двор, — это была ошибка, доказывавшая либо полное бессилие, либо полную непоследуемость королевской власти. Это решение короля губило Делессара. Не осмеливаясь открыто порицать решение короля, касавшееся министров, Собрание отыграется, объявив одного из министров виновным в измене. Не стану подробно разбирать обвинительный акт, оглашенный 10 марта с трибуны Собрания<sup>36</sup>.

В сущности, все аргументы можно свести к одному: Делессар совершил преступление, не сделав всего того, что привело бы

32. Шарлье (1754—1797) — адвокат в Шалоне на Марне, член администрации дистрикта, депутат Законодательного собрания, затем Конвента от департамента Марна. «Archives parlementaires», XXXIX, 256.

33. Речь идет о «Chronique de Paris», вышедшей с 24 августа 1789 г. до 25 августа 1793 г. Имя Кондорсе впервые появилось в ней

17 ноября 1791 г. и в последний раз — 9 марта 1793 г.

34. См. письмо маршала Люкнера г-ну Нарбонну. «Moniteur», XI, 582, 10 mars 1792.

35. Де Грав (1755—1823) сменил Нарбонна на посту военного министра 10 марта 1792 г. «Moniteur», XI, 594.

36. «Moniteur», XI, 596; «Archives parlementaires», XXXIX, 334.

к войне. Бриссо ставит ему в упрек, как измену, даже осторожность его дипломатического языка. Он ставит ему в упрек, как измену, слова и образ действий, вчера еще бывшие словами и образом действий самого Бриссо. «По-видимому, — говорит он, — г-н Делессар хотел скрыть сведения (о сообществе государей) или сообщить их возможно позже; по-видимому, он хотел утаить эту новую тему для объяснений и переговоров, чтобы умерить пыл французской нации, горевшей желанием напасть и отомстить за нанесенные ей оскорбления.

Искусный министр-патриот усмотрел бы в этом сообществе источник всех бурь, которые могли угрожать Франции; он бы упорно старался его уничтожить. Г-н Делессар, напротив, щадил этот источник и занимался только некоторыми ответвлениями, или сборищами эмигрантов, владетельными князьями».

Но мы знаем, что в действительности такого наступательного союза не существовало. Мы знаем, что Леопольд всегда искал средства оттянуть время. И мы помним, что именно Бриссо говорил: «Источник зла в Кобленце». Он уверял, что император хотел мира, нуждался в мире.

Бриссо разбирает каждое слово из письма Делессара: «Как слабо говорит министр об этом сообществе, существование которого вполне доказано и цель которого настолько противоречит интересам Франции. «Все были крайне поражены, — говорит он, — этими выражениями: *государя, заключившие соглашение*; в этом видели признак наличия союза, образованного без ведома Франции и, быть может, против нее». Признак! Как могло вырваться у министра столь трусливое, столь пресупное выражение?»

Итак, Бриссо намерен требовать предания министра Верховному суду в Орлеане \* потому, что выражение «*признак*» в дипломатической переписке ему кажется недостаточно сильным.

И еще: «Не способно ли было старание Делессара проповедовать мир скорее навлечь на нас войну или по меньшей мере оскорбительные ответы? Читайте конец его письма: «Мы хотим мира...» Кто здесь не знает, господа, что австрийский министр должен был увидеть в этих возгласах о мире лишь ярость бессилия и малодушие?..»

Столь вескими доводами Бриссо обосновывает свое требование предъявить обвинение. Оно содержит тринадцать пунктов. Делессар был виновен потому, что «*униженно просил мира*». Это пункт седьмой. Он виновен еще потому, что «*сообщил австрийскому министерству такие подробности о внутреннем положении Франции, которые могли создать неблагоприятное представление о ситуации в стране и вызвать гибельные для нее решения*», словно Делессар, намекая на волнения и конфликты, естественно последовавшие во Франции за великим революционным потрясением, сообщал за границу что-нибудь неизвестное там.

И в этой полной софизмов обвинительной речи против министра

нет ни слова о короле, ни слова о дворе. Все та же система лицемерия и лжи. На протяжении месяцев хитрецы и трусы отравляют совесть Революции. Короля решено щадить; решено разжигать национальные страсти, дабы оживить революционный пыл, который, как они считают, ослабел. Приняв такое решение — не задевать королевскую власть, разве что окольным путем, не нападать на нее, разве что косвенно, они осуждали себя на плутни и ложь. И, не смея сказать народу жестокую и горькую истину, что королевскую власть и короля надо окончательно свергнуть, они доводят страну до безумия подозрениями, выдумками об измене. Против Делессара, который ограничивался честным проведением мирной политики умеренных, Бриссо исчерпал все средства своей пошлой диалектики. Но против короля, который изменяет, предает отечество, но все еще распределяет министерские портфели, Бриссо не произнес ни одного слова угрозы. Но если король не изменяет, то ради чьей выгоды изменяет Делессар?

На том же заседании 10 марта, после всех этих ухищрений софиста и педанта, Собрание с чувством облегчения выслушало полную великого гнева яркую речь Верньо против Тюильри.

«Позвольте мне, господа, высказать одно соображение. Когда Учредительному собранию предложили декретировать деспотизм христианской религии, Мирабо произнес следующие памятные слова: «*С этой трибуны, откуда я к вам обращаюсь, видно окно, из которого французский монарх, вооруженный против своих подданных гнусными мятешниками, смешивавшими свои личные интересы со священными интересами религии, выстрелил из аркебузы, что и послужило сигналом к Варфоломеевской ночи*».

Так вот, господа, в этот момент кризиса, когда отечество в опасности, когда составляется столько заговоров против свободы, я тоже восклицаю: я вижу с этой трибуны окна дворца, где развращенные советчики вводят в заблуждение и обманывают короля, которого нам дала Конституция, куют оковы, в которые они хотят нас заключить, и подготавливают средства выдать нас Австрийскому дому. Я вижу окна дворца, где замышляют контрреволюцию, где обдумывают средства вновь свергнуть нас в жестокое рабство, после того как заставят нас пережить все беспорядки анархии и все ужасы гражданской войны. (*Громкие аплодисменты всего зала.*)

\* Компетенции Национального Верховного суда, согласно Конституции 1791 г., подлежали преступления министров и других высших должностных лиц исполнительной власти, а также преступления против безопасности государства по вынесении Законодательным собра-

нием постановления о предъявлении обвинения. Поскольку Национальный Верховный суд должен был заседать на заседании не менее 15 лье от места заседания Законодательного собрания, местом его пребывания был определен Орлеан. — *Прим. ред.*

Наступил день, господа, когда вы можете положить конец такой дерзости, такой наглости и наконец привести в замешательство заговорщиков. В былые времена именем деспотизма из этого знаменитого дворца часто исходили отчаяние и ужас. Пусть сегодня они вернутся туда именем закона. *(Долгие аплодисменты.)* Пусть ими проникнутся там все сердца. Пусть все его обитатели знают, что наша Конституция предоставляет неприкосновенность одному только королю. Пусть они знают, что закон достигнет там всех виновных без различия и что ни один человек, уличенный в преступлении, не ускользнет от его меча. Я требую голосования декрета о предъявлении обвинения. *(Оратор сходит с трибуны под громкие аплодисменты Собрания и публики.)*

Наконец-то смелая рука разорвала завесу: измена короля была прямо избличена. Голос Революции вновь обрел свою свободу и силу. Угроза королеве была ужасна. Обвинительный акт против Делессара был одобрен. Друзей Марии Антуанетты охватил страх за нее.

Ферзен отмечает это в своем дневнике 23 марта: «Вернувшись, я застал у себя Гогеда. Он ехал через Кале, Дувр и Остенде. Он выехал неделю назад. Их положение [короля и королевы] внушает ужас. Депутаты говорили: «Делессар выпутается, но королеве не выпутаться». Двое других, говоря на террасе Фейянов об отъезде короля, сказали: «Эти пройдохи не уедут, вот увидите».

18 марта он делает следующую запись: «Шевалье де Куаньи сообщил о проекте якобинцев заточить королеву в монастырь или отвезти в Орлеан \*, чтобы устроить ей очную ставку с Делессаром».

Поистине именем Революции отчаяние и ужас вошли во дворец.

## СМЕРТЬ ИМПЕРАТОРА

Почти одновременно, словно для того, чтобы окончательно привести двор в уныние, пришло известие о кончине императора Леопольда II <sup>37</sup>. Газета Бриссо пишет 11 марта: «Смерть императора уже не подлежит сомнению, о ней объявлено официально. Смерть эта меняет всю политическую систему Германии. Это известие, как и известие о принятии декрета о предъявлении обвинения Делессару, вызвало во дворце растерянность».

Строго говоря, Бриссо преувеличивал надежды двора на императора. Непримиимые друзья Марии Антуанетты, приверженцы абсолютизма, не особенно горевали о кончине медлителя, беспрепятственно откладываявшего начало войны и желавшего примирить французскую королевскую власть с Революцией.

Ферзен пишет в четверг 8 марта в Брюсселе: «Виконт де Верах, епископ и многие другие полагали, что это [смерть Леопольда II] все изменит и все задержит, вызовет промедления. Я не разделял

этого мнения, я им это доказывал и знаю, что барон де Бретей был одного мнения со мной. Тогда я решил написать королеве и сообщить ей свое мнение об этом».

И на следующий день: «Генералы не выражают ни малейшей печали, даже скорее наоборот. Тугут сказал барону, что он этому рад. В городе это не вызвало никакой сенсации, офицеры даже обрадовались» <sup>38</sup>.

Но хотя в деле осуществления своих планов вооруженной контрреволюции королева не могла похвалиться помощью брата, его внезапная смерть делала неизвестность еще более тягостной.

Во всяком случае, система фейянов, связывавших с Леопольдом II надежды на установление умеренного режима и на мир, рушилась как за рубежом из-за смерти императора, так и внутри страны из-за обвинения, предъявленного Делессару.

У Людовика XVI и Марии Антуанетты, оказавшихся в безвыходном положении, охваченных ужасом, было лишь одно средство: образовать жирондистское министерство. Это они и сделали, и в марте 1792 г. к власти пришла Жиронда. Это был огромный шаг вперед, сделанный Революцией.

Несмотря на все легкомыслие и честолюбие жирондистов, они были носителями революционного духа, готового разгромить внутри страны всех мятежников из среды дворянства и духовенства, готового вызвать на бой и победить за пределами страны всех тиранов, составивших заговор, всех, кто угрожал новой свободе, а также всех тех, кто хотел ее ограничить.

В то время как изменническая королевская власть теряет самообладание и полностью себя выдает, волонтеры тысячами направляются к границе. По пути они заверяют Собрание в своей готовности пожертвовать жизнью, и оно прекращает на минуту свои споры и шум, чтобы приветствовать их; а они, не причастные ни к каким интригам, не ведающие о том, сколько искусственного примешивалось к воинственному кличу Жиронды, убежденные в необходимости и святости революционной войны, идут сражаться, победить или умереть и, освобождая себя, освободить весь мир.

\* Национальный Верховный суд заседал в Орлеане. — Прим. ред.

37. Император Леопольд умер 1 марта 1792 г. Приход к власти Франца II мог лишь ускорить конфликт: у него не было осторожности и либерализма его отца, и интервенция во Францию получила его безоговорочное одобрение. Известие о смерти Леопольда II было получено в Страсбурге 8 марта в 2 часа дня

и немедленно послано с чрезвычайным курьером во Францию. «Moniteur», XI, 591, 11 mars 1792.

38. «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. II, p. 12. Тугут (1736—1818) — австрийский дипломат, был в 1791 г. в Париже, затем в Брюсселе; в 1794 г. стал преемником Кауница, возглавив министерство иностранных дел.

## Глава третья

ВОЗВЫШЕНИЕ  
ЖИРОНДЫ

## ЖИРОНДИСТЫ И ФЕЙЯНЫ

Даже тогда, даже в марте 1792 г., жирондистская и якобинская партия фактически не имела большинства в Законодательном собрании. Но фейяны, умеренные, за несколько месяцев погубили себя своей бездарностью, своей непоследовательностью, своей неспособностью понять Революцию. Что касается внешней политики, то они не изменяли, они не советовали изменять, но согласились стать советчиками двора, который изменял.

Некоторые из них, вынужденные отойти от политической деятельности в силу закона, запрещавшего переизбрание членов Учредительного собрания, нашли себе прибежище в тайной деятельности. Но их отношения с двором не были столь секретными, чтобы укрыться от взоров недоверчивой Революции, они были достаточно таинственными, чтобы вызвать подозрения и породить легенду (наполовину правдивую) об «Австрийском комитете».

В вопросе о войне они так же хитрили и лукавили, как и Жиронда, но с гораздо меньшей последовательностью и прозорливостью.

Жиронда могла лукавить и обманывать. Она могла замышлять большую пропагандистскую войну, чтобы при этом сначала казалось, будто она предлагает нечто вроде полицейской экспедиции против эмигрантов. Она хорошо знала, что война, раз начатая, развивалась бы в силу своей страшной логики.

Напротив, фейяны, по меньшей мере некоторые из них<sup>1</sup>, питали безрассудную надежду, что они могут без риска начать войну, управлять ее ходом, ограничивать ее по своему усмотрению и придать ей такой оборот, что она укрепит королевскую власть. Они сами приводили в действие чудовищную машину, которая должна была их раздавить.

Такую же слепоту, такую же несостоятельность они проявляли и во внутренней политике. Они не поняли, что их могли спасти только сильные меры, предназначенные для подавления контрреволюции. Ибо для Революции, сильной внутри страны, было бы гораздо меньше соблазна во внешней диверсии, а примирение преобразованной королевской власти и Революции было возможно только в условиях мрака.

Они парализовали проведение в жизнь декретов против мятежных священников; и вдохновенное ими выступление директории Парижского департамента позволило Людовику XVI наложить свое вето на законы против непокорных священников<sup>2</sup>.

Их образ действий во время событий на Юге, в Арле, Авиньоне и Марселе, был медлительным и вялым, и они, не поддержав вовремя патриотов, которым угрожали дворяне и паписты, допустили воцарение на Юге кровавой анархии. Солдаты полка Шатовё, осужденные после событий в Нанси, вызывали у революционеров живое сочувствие. Бегство в Варенн раскрыло происки Буйе против Революции, и солдаты предстали мучениками. Мысль вырвать их с каторги и устроить им в Париже пышную встречу, естественно, должна была возникнуть у друзей свободы. Фейяны с неспостижимым ожесточением противились их освобождению и устройству этого торжества, и великий поэт Андре Шенье, бывший лирой фейянов, расточал свое язвительное остроумие, свои великолепные и горькие ямбы, насмехаясь над освобожденными солдатами и их друзьями или оскорбляя их. Жалкая и неумелая политика! В конце концов фейяны, так сказать, разошедшиеся с Революцией и с каждым днем все меньше понимавшие ее, вообразили себе, что революционное и демократическое движение было искусственным, что его поддерживали только клубы. И они вступили с якобинцами в бессмысленную полемику, которая раздражала тех и в то же время их возвеличивала. Именно им обязан австрийский император своим заявлением, что все «крайности» Революции исходят из клуба на улице Сент-Оноре. Депутат Муиссе, принадлежавший к числу умеренных, дошел до требования открыть по вечерам зал заседаний Собрания для депутатов, желающих устраивать неофициальные обсуждения<sup>3</sup>. Это был способ создать в противовес Якобинскому клубу нечто вроде легального, ныне мы сказали бы парламентского, клуба. Против депутатов, которые не явились

1. В действительности мнения фейянов разделились по вопросу о войне. Барнав и Дюпор были враждебны воинственной политике Нарбонна, которую, напротив, поддерживали друзья Лафайета.  
2. 19 декабря 1791 г., по требованию директории Парижского департамента, Людовик XVI отверг де-

крет против неприсягнувших священников. См. выше, гл. II, с. 129, прим. 32.

3. Муиссе (1755—1818) — судья в трибунале дистрикта Вильнёв, депутат от департамента Ло-и-Гаронна. О его предложении см.: «Moniteur», XI, 458; XII, 395.

бы на заседание Собрания, но присутствовали бы на заседаниях клубов, были даже предложены карательные меры.

И, придумывая эти жалкие полицейские уловки, умеренные, из расчета примкнувшие к плану войны, постепенно теряли всякую способность к сопротивлению. Если бы с самого начала они действовали как партия, открыто выступающая за мир, они могли бы причинить Жиронде большие затруднения. Они могли бы использовать против нее обвинения, выдвинутые Робеспьером. Поддерживая Нарбонна, они сами лишали себя возможности серьезно говорить о мире, допустили, что создалась воинственная и лихорадочная атмосфера, в которой рождались всяческие подозрения, и лишь очень немногие из них осмелились вяло выступить в защиту Делессара против предъявленного ему обвинительного акта, составленного Бриссо, хотя он был полон софизмов<sup>4</sup>. Ни у кого из них не хватило мужества напомнить Бриссо, что он сам не раз говорил о мирных намерениях императора в тех же выражениях, какие он теперь вменял в преступление Делессару. Поэтому, несмотря на численное преобладание, какое фейяны все еще сохраняли в Законодательном собрании, они не обладали в марте никакой реальной силой. Жиронда, смелая и исполненная революционного порыва, должна была одержать верх.

## СМЕНА МИНИСТЕРСТВА

Король, охваченный растерянностью после того, как из-за раздоров между Нарбонном и Бертраном распалось министерство, было принято решение о предании суду Делессара и после смерти императора, искал в назначении жирондистского министерства не спасения, а нескольких месяцев передышки. 16 марта король сообщил Законодательному собранию, что он назначил де Лакоста морским министром, а Дюмурье — министром иностранных дел<sup>5</sup>. Впрочем, словно желая подчеркнуть упадок королевской власти, Дюмурье опередил короля и несколькими часами ранее сам сообщил об этом Собранию<sup>6</sup>. Де Грав уже несколько дней находился на посту военного министра<sup>7</sup>. 24 марта король сообщил Собранию, что он назначил Клавьера министром финансов или, как тогда говорили, государственных налогов, а Ролана де ла Платьера — министром внутренних дел<sup>8</sup>.

И на этот раз король прислал Собранию послание с объяснением причин своего выбора<sup>9</sup>. Это было признание человека, утратившего волю, плывущего по течению, самостоятельность которого проявлялась лишь в тайной измене.

«Господа, глубоко тронутый бедствиями, постигшими Францию, и сознавая возложенный на меня Конституцией долг заботиться о сохранении порядка и общественного спокойствия, я неизменно применял все средства, какие она предоставляет в мое

распоряжение, дабы восстановить порядок и заставить исполнять законы. Своими первыми уполномоченными я избрал людей, заслуживших уважение общественного мнения и известных честностью своих принципов. Они вышли из правительства; *тогда я шел себя обязанным заменить их другими, снискавшими популярность своим образом мыслей*. Вы так часто заявляли мне, господа, что это — единственная партия, которая могла бы устранить нынешние беды, что я признал своим долгом верить ей, дабы не оставалось никакой возможности злонамеренно сомневаться в моем постоянном и неизменном желании применять все мыслимые средства для достижения счастья нашей страной. Ввиду этого ставлю вас в известность о сделанном мною выборе, о назначении г-на Ролана де ла Платьера министром внутренних дел и г-на Клавьера министром государственных налогов.

Закон, принятый Учредительным собранием, не разрешал депутатам быть министрами<sup>10</sup>. Поэтому назначать министрами надо было лиц, не являвшихся членами Законодательного собрания, и наиболее блестящие вожди Жиронды не могли лично войти в правительство. Но двор, разумеется, сделал свой выбор под влиянием Бриссо, которому помогал ловкий Дюмурье. Еще во вторник 13 марта Бриссо открыто прочил в своей газете Дюмурье на пост министра иностранных дел: «Люди, желающие смелости, знаний и патриотизма, хотели бы видеть на этом месте Дюмурье».

4. Решение о привлечении к суду Делессара было одобрено 10 марта 1792 г. благодаря коалиции жирондистов со сторонниками Лафайета.

5. «Moniteur», XI, 648; «Archives parlementaires», XL, 56. Барон де Лакост (1730—1820) — комиссар-распорядитель кредитов морского ведомства, в начале Революции комиссар на Наветренных островах, морской министр с 16 марта до 10 июля 1792 г. О Дюмурье см. ниже, с. 227, прим. 16.

6. Письмо Дюмурье, которым он сообщил о своем назначении министром иностранных дел, было оглашено в начале заседания 16 марта 1792 г., письмо короля — в копье заседания. «Moniteur», XI, 645, 648.

7. См. выше, с. 215, прим. 35. Маркиз де Грав (1755—1823), до революции придворный кавалер герцога Партрского, эмигрировал после 10 августа 1792 г.

8. «Moniteur», XI, 712, 719. Клавьер (1735—1793) — банкир, родом из Женевы, заместитель депутата Законодательного собрания от Парижа. О Клавьере см.: E. Ch a p u i s a t. Figures et choses d'autrefois. Genève, 1925, p. 9—170. Клавьер часто упоминается в связи с его финансовыми операциями в трехтомнике: J. V o u c h a r y. Les manieurs d'argent à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, особенно в I томе (Paris, 1939). О Ролане см.: Edith Bernardin, Jean-Marie Roland et le ministère de l'Intérieur, 1792—1793. Paris, 1964.

9. «Moniteur», XI, 719.

10. 7 ноября 1789 г., желая удалить Мирабо из министерства, Учредительное собрание декретировало, что ни один депутат не может «заниять министерский пост во время сессии».

В четверг 15 марта, еще до официального сообщения об этом назначении, газета «Патриот франсэ» писала: «Утверждают, что министром иностранных дел назначен патриот Дюмурье. Никогда еще министр не оказывался в столь благоприятных условиях для развития своих талантов и проявления своих гражданских добродетелей. Г-н Дюмурье, разумеется, не забудет, что он дорог патриотам, а поэтому будет помнить, что они будут ему тем более строгими судьями, что его призвали на этот пост по их желанию; он будет помнить, что суровость ответственности, какая на него ляжет, будет соразмерна проявленному им патриотизму»<sup>11</sup>.

Эти заявления объединяли Дюмурье с Жирондой. Именно Бриссо и Дюмурье приходят к Ролану уговаривать его войти в министерство. Г-жа Ролан сообщает об этом в своих «Мемуарах»<sup>12</sup>: «Между тем некоторые депутаты Законодательного собрания иногда собирались у одного из них, на Вандомской площади<sup>13</sup>; бывать там пригласили и Ролана, в котором ценили патриотизм и знания; из-за дальности расстояния он ходил туда очень редко. Один из наших друзей, бывавший там часто, сообщил нам в середине марта<sup>14</sup>, что двор, оказавшись в затруднительном положении, в страхе старался предпринять что-нибудь такое, что вернуло бы ему популярность; что двор был бы не прочь назначить министрами якобинцев и что патриоты были озабочены тем, чтобы его выбор пал на способных и серьезных людей; это было тем более важно, что со стороны двора могла быть ловушка: двор несколько не огорчился бы, если бы его толкнули на назначение непригодных людей, на которых он мог бы жаловаться или смеяться над ними. Он прибавил, что кое-кто подумал о Ролане, чья известность в ученом мире, административные познания и общепризнанные справедливость и твердость внушали уверенность. Ролан тогда довольно часто посещал Общество якобинцев и работал в их Комитете переписки. Эта мысль показалась мне нелепой и не произвела на меня никакого впечатления.

21 числа того же месяца вечером ко мне пришел Бриссо и повторил то же самое в более определенной форме; он спросил, согласился ли бы Ролан взять на себя это бремя; я ответила ему, что беседовала с мужем еще тогда, когда разговор об этом зашел впервые, и мне показалось, что он, понимая все трудности и даже опасности этого, в своем рвении и стремлении к деятельности ничего бы не имел против, но тем не менее это надо еще обдумать более обстоятельно. Ролан при его мужестве не испугался; сознание своих сил внушало ему надежду на то, что он будет полезен свободе и родине, и такой ответ был на следующий день передан Бриссо.

В пятницу 23 марта, в 11 часов вечера, я увидела что он входит вместе с Дюмурье, который после заседания Совета явился сообщить Ролану о его назначении министром внутренних дел и приветствовать коллегу. Они пробыли у нас четверть часа и условились о свидании на следующий день для принесения

присяги. После их ухода я сказала мужу о Дюмурье, которого видела в первый раз: «Вот человек с тонким и пронизательным умом, лживым взглядом, человек, к которому, быть может, придется относиться с большим недоверием, чем к кому бы то ни было на свете. Он выразил свое огромное удовлетворение патриотическим выбором, о котором ему поручили сообщить, но я не удивлюсь, если в один прекрасный день он постарается добиться твоей отставки». И право, даже при беглом взгляде на Дюмурье я нашла, что он настолько отличается от Ролана, что их долгая совместная деятельность показалась мне невозможной. В одном я видела олицетворение прямоты и откровенности, суровую справедливость, не ведающую уловок придворных; в другом — весьма остроумного повесу, дерзкого кавалера, которому, должно быть, все было безразлично, кроме своих интересов и своей славы».

## ДЮМУРЬЕ

Хотя Бриссо сам не входил в Совет министров, это первое жирондистское министерство в действительности было министерством Бриссо — Дюмурье, и главным образом министерством Дюмурье<sup>15</sup>. Ловкий и блестящий авантюрист, солдат и дипломат, он должен был играть решающую роль при образовании нового правительства. Быть может, он даже подсказал саму идею его создания. Дюмурье мог лучше всякого другого служить посредником между Жирондой и двором.

С одной стороны, он совсем недавно доказал в Вандее свою преданность Революции; там он познакомился с Жансонне, посланным туда в конце 1791 г. в качестве комиссара, производящего

11. Дюмурье был членом Якобинского клуба. «Moniteur», XI, 640.

12. Мемуары г-жи Ролан (1754—1793) были опубликованы Бервилем и Барьером в 1820 г. в 2 томах («Mémoires» de Madame Roland publ. par Berville et Barrière, Paris, 1820, 2 vol.). Единственное заслуживающее полного доверия издание см.: M. J. Roland, Mémoires, par Cl. Perroud. Paris, 1905, 2 vol.; стараниями Перру были изданы также «Lettres de Madame Roland, 1780—1793», Paris, 1900—1903, 2 vol.

13. Речь идет о Верньо или, точнее, о его возлюбленной, г-же Додэн, вдове генерального откупщика,

которая держала на Вандомской площади салон, где собирались жирондисты.

14. Речь идет о Лантенá (1754—1799), парижском враче, которого Ролан пригласил на службу в свое министерство в отдел народного образования. В дальнейшем был членом Конвента. Упомянутый факт относится к 15 марта 1792 г.

15. Это буквально верно. Именно большой друг Дюмурье, финансист Сент-Фуа предложил двору его кандидатуру через посредство интенданта гражданского листа Лапорта. (См. документ № 10 третьего сборника документов из железного шкафа.) [Примечание А. Маттеза]



расследование<sup>16</sup>. Он сохранил дружеские отношения с ним и, несомненно, благодаря ему сблизился с группой жирондистов. С другой стороны, он не прекращал отношений с двором; в железном шкафу был найден его мемуар о политическом положении, адресованный королю и написанный в конце 1791 г. Одно время он имел такие же шансы, как и Нарбонн, стать военным министром. У него, разумеется, сохранилась возможность поддерживать связь с королем и его окружением. Кроме того, двору казалось менее унижительным временно положиться — или сделать вид, будто он полагается, — на блестящего военного с манерами кавалера старого порядка, чем на адвокатов или журналистов, ожесточенно обличавших королевскую власть.

И когда 15 февраля король распорядился сообщить Дюмуре, бывшему тогда генерал-майором 12-й дивизии в Вандее, о его производстве в генерал-лейтенанты и переводе в Северную армию, то король, несомненно, не сожалел о повышении в чине ловкого человека, который мог быть полезен.

За несколько месяцев, в течение которых Дюмуре находился в Вандее для подавления волнений и защиты патриотов, внимательные наблюдатели вполне оценили его характер. Несмотря на свои пятьдесят пять лет, он отличался бодростью духа и тела, удивительной энергией молодости, какой-то веселой легкостью, которая, казалось, облегчала всякое бремя, чрезвычайной ясностью мысли и ярко выраженным огромным эгоизмом, над которым был не властен ни один предрассудок и которому не могли помешать никакие твердые убеждения. Со старым порядком, не признававшим его, он не был связан никакими узами признательности и не считал к двору ни жалости, ни рыцарских чувств. Но он вовсе не желал исчезновения королевской власти, и я допускаю, что он предпочитал сложное и неопределенное положение, когда королевская традиция сочеталась бы с демократией, придворные интриги — с интригами клубов, так как считал себя способным продвигаться и лучше других преуспеть среди всех этих сложностей<sup>17</sup>.

Ему казалось, что чистая демократия или чистая монархия, упрощая до чрезвычайности проблему, увеличивали в ущерб ловким людям число людей, способных ее решить. Он так же не чувствовал почтительной жалости к королю и королеве, как и не испытывал страстного и глубокого восхищения Революцией. Он ценил в ней лишь новую, молодую силу, приводившую в движение неиспользованную энергию. Мерсье дю Роше в своих неизданных мемуарах, из которых Шассен привел очень интересные выдержки<sup>18</sup>, рассказывает о разговоре с Дюмуре, состоявшемся у него в сентябре 1791 г. в Вандее и превосходно его рисующем:

«Дюмуре пригласил нас к себе на ужин в дом Данфе, стоявший на лужайке... ужин был скромный, разговор — оживленный. Генерал, пройдоха и хитрец, рассказывал нам о своих походе-

ниях при старом порядке, о своем заключении в Бастилии<sup>19</sup> и обещал нам принудить всех недоброжелателей к повиновению. Он прибавил, что, в то время как в Якобинском клубе в Париже его действия одобряют, в Нантском клубе его считают аристократом, так как он приказал освободить дворян, заключенных в крепость этого города, и что ему совсем не по душе такие насилия, хотя он и заклятый враг контрреволюционеров.

Он говорил нам о Революции, о короле, о Национальном собрании с легкомыслием французского офицера; он сказал, что Собрание не более чем шляха, которую надо поскорее выпроводить. Это сравнение было верным во многих отношениях. Он рассказывал нам о своих друзьях, о зяте (маркизе д'Ован де Перри), женившемся на его сестре.

У него был и другой зять, граф, а именно Ривароль, сестра которого жила с ним самим<sup>20</sup>. Она, конечно, находилась в его доме; но так как она была молода и красива, так как ему было пятьдесят четыре, а мы, его гости, все были моложе, то он и решил, что нам лучше не ужинать с его любовницей. Он стяжал лавры на Марсовом поле и боялся, как бы кто-нибудь из нас не похитил у него его миртов\*.

Его действия в Вандее были решительными и искусными. Он открыто примкнул к патриотам и, переезжая из одного города в другой, произносил приветственные речи в обществах якобинцев, часто устраивал гражданские празднества и участвовал в плясках вокруг ярко освещенных алтарей отечества. Так он приобрел доверие патриотов; он советовал им соблюдать благоразумие и умеренность: «Будем думать, что мятежники, если они еще появятся, — это французы, введенные в заблуждение фанатизмом и предрассудками... Будем суровы, как закон, который нами движет; но не будем жестоки и несправедливы».

16. Дюмуре (1739—1823) находился в Нанте и командовал войсками в департаменте Нижняя Луара, когда Жанссин и Галуа были направлены 16 июля 1791 г. Учредительным собранием для расследования обстоятельств волнений в Вандее. См. их доклад на заседании Законодательного собрания 9 октября 1791 г. «Moniteur», X, 73, 329, 345.

17. У Дюмуре были те же замыслы, что и у Лафайета и Нарбонна: вести недолгую войну, вернуться затем с победоносной армией, чтобы восстановить власть короля и управлять его именем.

18. Мерсье дю Роше (1753—1816) — член администрации департамента Вандея. См.: Ch.-L. Cha-

sin. *Études documentaires sur la Révolution française. La préparation de la guerre de Vendée. 1789—1793.* Paris, 1892, 3 vol.

19. Выполнив в 1773 г. секретное поручение графа де Брольи к шведскому королю Густаву III, Дюмуре был арестован в Гамбурге по приказу герцога д'Эггьюна, возвращен в Париж, полгода находился в заключении в Бастилии, затем в Канском замке.

20. Речь идет о Ривароле (1753—1801), контрреволюционном журналисте и сочинителе памфлетов, именовавшем себя графом, но в действительности бывшем сыном трактирщика.

\* У римлян мирт посвящали Венере, богине любви. — *Прим. ред.*

С солдатами он говорил языком Революции; солдатам 51-го полка, прибывшего из Ла-Рошели в Люсон, он сказал: «Военный — это гражданин, и его первый долг перед отечеством — защищать свободу. Следовательно, если он окажется перед выбором: исполнить ли приказ командира и посягнуть на эту свободу или последовать велению своей совести француза-патриота, то, отказавшись повиноваться начальнику, он не станет нарушителем закона. Вот почему во главе армии должны стоять только генералы-патриоты».

И он добавил, обратившись к командирам: «Приказываю вам разрешать солдатам посещать народные общества». В Фонтене национальная гвардия вышла навстречу армейскому отряду; оба отряда смешались и прошли по городу с пением «Са ира».

Эти подробности стали известными в центральном Обществе якобинцев и весьма способствовали популярности Дюмурье. В то же время он использовал свое революционное влияние в войсках, чтобы удерживать солдат от грабежей и насилий. Он хорошо знал всю черствость и жестокость, чудовищный эгоизм вандейской контрреволюции. Собственно говоря, крестьянское население восставало, движимое не религиозным фанатизмом, во всяком случае это было скорее фанатизм привычки, чем фанатизм веры. Оно восставало, движимое ненавистью к новой, более деятельной, более свободной, более смелой цивилизации, которая, обеспечив права, собиралась возложить и обязанности. В сущности, эти вандейские крестьяне хотели бы прозябать, сохраняя свои исконные обычаи, подобно растениям в стоячей воде. Они боялись движения, новизны, жизни; они не хотели налогов, не хотели носить оружие и, не питая особой любви к старому порядку, предпочитали снова попасть под его власть, только бы не платить за Революцию кратковременным проявлением мужества, готовностью к жертвам, действиями<sup>21</sup>. В феврале 1792 г. муниципалитет Эпесса писал Дюмурье: «Наш патриотизм — это труд и любовь к миру, и тот, кто приносит его нам, — для нас бог. Мы платим воинам за то, чтобы они защищали наши жизни, и тот, кто оторвет нас от наших плугов, чтобы вложить нам в руки оружие, будет в наших глазах злодеем. Однако наши заключенные тела вовсе не изнежены и не слабы; мы сознаем свое простодушие и свою силу, и если бы мы обратили против кого-нибудь свои кося, в чем нас обвиняют, то мы бы сумели внушить к себе уважение. Народ кроток, как ягненок, и силен, как лев, а если он увидит из себя, то его ярость будет яростью тигра».

Итак, Дюмурье был предупрежден, и ему были известны все силы дикой рутин, которые могли обратиться против Революции на западе. Многие речи его, относящиеся к этому времени, свидетельствуют о том, что он не строил себе иллюзий относительно размеров опасности, но благодаря своему ловкому обращению к наименее замешанным в мятежах приходским священникам своей приветливости, своему искусству разделять интересы и уме-

рять самолюбия он умел смягчить и устранить столкновения. Именно эту тактику — ловкости и интриги, смелости и обольщения — он намерен применить к Революции в целом.

Первым его действием после того, как он завоевал расположение Бриссо и Жиронды, было отправиться в Якобинский клуб. Он появился там в понедельник 19 марта. Приход министра-«патриота» в клуб — какое огромное новшество! И так как этим министром был министр иностранных дел, то каким резким ответом явилось это на послания императора и Кауница, обвинявших во всем якобинцев!

Это привело якобинцев в восторг. Дюмурье поднялся на трибуну и по обыкновению, установленному несколько дней назад ораторами Общества, надел красный колпак. Он обладал высоким умением не проявлять половинчатости, предпринимая шаги, подсказанные ему политическими соображениями.

«Братья и друзья! — сказал он. — Каждое мгновение моей жизни будет посвящено исполнению воли нации, и я постараюсь оправдать выбор, сделанный конституционным королем. Я приложу к переговорам все силы, какими обладает свободный народ, и очень скоро переговоры эти приведут либо к прочному миру, либо к решающей войне. (*Аплодисменты.*) И в последнем случае я сломаю свое перо политического деятеля и займу свое место в армии, чтобы победить или умереть свободным вместе со своими братьями. Братья, на мне лежит великое и тяжкое бремя; я нуждаюсь в советах, вы будете подавать их мне в своих газетах. Прошу вас говорить мне правду, самую горькую правду. Но отвергайте клевету и не отталкивайте ревностного гражданина, чье усердие всегда было известно вам». (*Всеобщие аплодисменты.*)

Робеспьер сделал несколько оговорок.

«Заявляю г-ну Дюмурье, что среди членов этого Общества он не найдет ни одного врага, а лишь большую поддержку и защитников, пока явными проявлениями своего патриотизма, а главное — действительными услугами, оказываемыми народу и отечеству, он будет доказывать, во исполнение своего счастливого предсказания, что он — брат добрым гражданам и ревностный защитник народа. Я не боюсь, что присутствие какого-либо министра может повредить этому Обществу, но заявляю, что с той минуты, когда министр приобретет в этом Обществе больше влияния, чем добрый гражданин, постоянно отличающийся своим патриотизмом, он будет вредить Обществу, и я клянусь именем

21. Причины Вандейской контрреволюции представляются вам более сложными, чем указывает здесь Жорес. Тут в значительной мере играли роль не разрешенные Революцией аграрные проблемы,

в частности вопрос о феодальных правах и вопрос о национальных имуществах. См.: M. Faucheu x. L'insurrection vendéenne de 1793. Aspects économiques et sociaux. Paris, 1964.

свободы, что этого никогда не будет и что оно [Общество] будет всегда ужасом для тирании и опорой свободы».

«После этого, — записано в протоколе заседания Якобинского клуба, — г-н Дюмурье бросился г-ну Робеспьеру в объятия. Члены Общества и граждане на трибунах, усматривая в этих объятиях предвестник доброго согласия между министерством и народом, разразились бурными аплодисментами».

### «ЖИРОНИСТСКОЕ» МИНИСТЕРСТВО

Против участия патриотов, якобинцев (Ролан был секретарем Общества якобинцев) в образованном королем министерстве не было выдвинуто никаких принципиальных возражений. И действительно «друзья Конституции» \* не могли противиться осуществлению конституции, дававшей королю право назначать министров. До сих пор Собрания всегда старались не создавать даже впечатления, что они контролируют назначение министров королем. Последний мог по своему усмотрению их назначать и отстранять, и на революционный характер движения, вызванного отставкой Неккера (которое к тому же предшествовало принятию конституции), нельзя сослаться как на признак существования противоположной практики; даже тогда Учредительное собрание заявило, что оно отнюдь не собиралось оказывать давление на волю короля. По правде говоря, парламентская система тогда еще не родилась.

Даже в 1792 г. министры были не столько орудием большинства, сколько слугами короля: они были ответственны, и их, как Делессара, можно было привлечь к судебной ответственности, но такая ответственность не распространялась на действия, при которых они были лишь орудием прерогативы короля. Так, когда министры передавали Собранию отказ короля в санкции, в Собрании никто не возвышал голос, чтобы спросить министров: «Почему вы соглашаетесь передавать отказ в санкции декретов и законов, которым представители нации придают величайшее значение?» Ведь могло показаться, что вменять министрам в вину сообщение о *вето* значило бы посягать на самое право *вето* и упразднить конституционное право короля, лишая его средств осуществлять это право.

Однако когда король, оказавшись в тупике, был вынужден призвать не роялистов вроде Берграна, не «монархистов» \*\* вроде Делессара, даже не умеренных конституционалистов вроде Дюпора-Дютертра и Кайе де Жервиля, а патриотов, демократов, якобинцев вроде Дюмурье и Ролана, то возникает смутное ощущение, что в отношениях между министерством и королем что-то переменилось. Можно было предвидеть, что новые министры не смогут, подобно своим предшественникам, играть пассивную роль по отно-

шению к прерогативе короля, что они неминуемо расширят свою ответственность; и это было первым признаком, первым проблемным возникающей парламентской системы.

Я нахожу указания на эту работу мысли в статье «О новых министрах», напечатанной в газете «Революсьон де Пари» за 24—31 марта <sup>22</sup>.

«Мы часто говорили, что главный недостаток французской Конституции состоит в том, что она опирается не на незыблемые основы, а лишь на предполагаемую безукоризненную честность исполнительной власти и ее уполномоченных. Мы подвергаем ее тяжелому испытанию с 14 июля 1789 г., а особенно после принятия Людовиком XVI конституционного акта <sup>23</sup>. Г-да Дюпор, Делессар, Бертран, Дюпортай, Монморен и др. принесли народу несчастье, не пожелав быть честными людьми. Какой вывод следует сделать из этого? Двойкий, который покажется весьма странным: 1) что Конституция, в том что касается порядка управления, почти не обладает преимуществом над деспотизмом; 2) что нынешние министры могут тем не менее, если они того захотят, немедленно принести счастье своей родине.

Объясним эти мнимые парадоксы. Народ выбирает своих должностных лиц, своих судей, своих представителей. Представители народа заинтересованы в том, чтобы поддерживать и защищать народное дело, являющееся их делом, и будут его поддерживать ввиду своей личной заинтересованности в нем, если не сочтут для себя более выгодным изменить ему. Но какой посторонний интерес заставляет часть представителей народа сойти с правильного пути? Это гражданский лист, это должности по назначению исполнительной власти <sup>24</sup>; следовательно, Законодательный корпус был бы по необходимости чист, если бы исполнительная власть получала умеренное вознаграждение и никакие общественные должности не находились в ее распоряжении.

Раз доказано, что только влияние исполнительной власти может побудить Законодательный корпус к мерам, противоречащим народному благу, то доказано и то, что Конституция покоится лишь на предполагаемой безукоризненной честности главы

\* Официальное название Якобинского клуба было «Общество друзей Конституции». — Прим. ред.

\*\* «Монархисты» — возникшая при Учредительном собрании крайне умеренная буржуазная политическая группировка (Лалли-Толадаль, Малуэ, Муве и др.), включавшая и представителей либерального дворянства (Клермон-Тоннер), которая выступила за ком-

промисс с дворянством и монархией. — Прим. ред.

22. Номер 142.

23. 13 сентября 1791 г.

24. «Нация, заботясь о великолепии трона, назначает гражданский лист» (статья 10, раздел I, глава II, часть III Конституции 1791 г.). «Король является верховным главой администрации королевства» (статья 1, раздел I, глава IV, часть III).

исполнительной власти; ибо если Законодательный корпус неподкупен, то его декреты будут спасительными и справедливыми, народом будут хорошо управлять во всех тех случаях, когда эти самые декреты будут точно исполняться, а они будут точно исполняться, если исполнительная власть нисколько не будет заинтересована в том, чтобы они не исполнялись; но если исполнительная власть заинтересована в том, чтобы законы не исполнялись, то она исполнять их не будет, и что бы ни делалось, что бы ни декретировалось, дело пойдет ничуть не лучше, ничуть не успешнее.

*Из этого можно с уверенностью заключить, что при неприкосновенности короля<sup>25</sup>, когда никто не вправе потребовать от него отчета в его бездеятельности или в его действиях, Революция почти сводится на нет, если он упорно остается на месте и непрерывно противодействует ходу Революции.*

*Из вышеизложенного вытекает, что в соответствии с истиной народ, имеющий такой образ правления, при котором король пользуется неприкосновенностью и его никакими средствами нельзя заставить действовать, не более свободен, чем те народы, для которых воля короля — высший закон; ибо нет никакого различия между тем, чтобы повиноваться воле третьего лица, и тем, чтобы приказывать тому, кто вправе не повиноваться. Если представители Франции не могут надеяться на то, что страна достигнет счастья без содействия короля, то страна не счастливее и не свободнее, чем была бы в том случае, если бы ее счастье и свобода зависели только от короля; однако так как король не может действовать один, поскольку он не может ничего приказать без содействия министров<sup>26</sup>, то несомненно, что сумма добра или зла в итоге деятельности правительства всегда будет зависеть от воли министров, которых ничто не заставляет оставаться на своих местах и которые в случае надобности должны уметь от них отказаться. Именно в этом смысле мы и сказали, что нынешнее министерство, если оно столь благонамеренно, как мы этого вправе ожидать, сможет дать народу возможность наслаждаться известным счастьем и свободой, которые будут длиться до тех пор, пока королю будет угодно их сохранить».*

Демократы хорошо видели главное противоречие конституции. Она устанавливала выборность всех властей, всех, кроме верховной власти. Выборные представители нации принимали законы; но глава исполнительной власти, всегда неприкосновенный, всегда неответственный, мог либо посредством *вето* отсрочить на годы введение закона, либо посредством выбора исполнителей, проникнутых контрреволюционным духом, парализовать и извратить этот закон.

На деле это теоретически неразрешимое противоречие могло бы быть устранено, если бы монархия поняла дух нового времени, если бы она честно приняла новую конституцию. Но конституция

несла в себе тайного врага, который подрывал ее, так сказать, изнутри. Пусть король окажется вынужденным назначить на министерские посты демократов, патриотов, якобинцев, признанных революционеров; тогда скрытый недуг конституции неизбежно выйдет наружу. Либо занимающие министерские посты уполномоченные королевской власти заставят эту власть идти вместе с Революцией, либо, вынудив короля их отстранить, они сделают для всех совершенно очевидной несовместимость по существу Революции и монархии. Именно поэтому приход к власти «жирондистского» министерства имел революционное значение<sup>27</sup>,

## ВОЙНА

Дюмурье поспешил, как он и обещал, внести во внешнеполитическое положение ясность. Он был давним противником союза с Австрией. При старом порядке очень многие сожалели о заключении договора 1756 г., приписывали ему все беды Франции в Семилетнюю войну и желали иной группировки держав.

Революционные события представлялись Дюмурье превосходным поводом для осуществления этого дипломатического замысла. Борьба против Австрии и вести переговоры с Пруссией — таков был его план, отчасти совпадавший с планом Бриссо, но исходивший из совершенно иной идеи и преследовавший совершенно иную цель. В ответ на требование дополнительных объяснений князь фон Кауниц 18 марта повторил свои прежние соображения, утверждая, что они соответствуют взглядам нового императора Франца II. Дюмурье направил в Вену послание<sup>28</sup> с требованием

25. «Особа короля неприкосновенна и священна» (статья 2, раздел I, глава II, часть III Конституции 1791 г.).

26. «Исполнительная власть передается королю и должна осуществляться под его руководством министрами и другими ответственными уполномоченными» (статья 4, часть III Конституции 1791 г.).

27. «Жирондистское» министерство дается в кавычках потому, что это выражение двусмысленно. Жиронда, пустившись в опасную авантюру, приняла на себя ответственность власти, не взяв на себя руководство, которое оставалось в руках Дюмурье. Последний взялся укротить демократов, предоставив несколько

портфелей Жиронде. Якобинцы, став министрами, говорил друг Дюмурье, банкир Сент-Фуа, не будут якобинскими министрами. Надежда Дюмурье осуществилась, Робеспьер имел все основания разоблачать компромисс «интриганов» с двором. Разрыв стал окончательным. Это было началом смертельной борьбы между Горой и Жирондой.

28. Нота Дюмурье, довольно умеренного тона, написана 18 марта 1792 г. Она разминувшись с нотой Кауница. См.: «La vie et les mémoires du général Dumouriez, avec des notes et des éclaircissements historiques» par MM. Вегвилле и Барриере. Paris, 1822—1824, 4 vol., t. II, p. 204 et 427.

твердого обещания отказаться от созыва конгресса государей.

Князь фон Кауниц в краткой ноте от 7 апреля ограничился ссылкой на свое письмо от 18 марта; после этого Дюмурье посветовал Людовику XVI объявить войну «королю Богемии и Венгрии». Король, оказавшийся в безвыходном положении, испуганный и, кроме того, надеявшийся, что война даст конгрессу государей повод проявить себя, согласился в соответствии с конституцией предложить Собранию объявить войну.

20 апреля король прибыл в Собрание. Дюмурье огласил мемуар, в котором доказывал необходимость войны и повторял упреки, уже не раз высказанные Бриссо.

«Король несколько изменившимся голосом, — говорится в протоколе, — произнес следующие слова: «Вы только что выслушали, господа, сообщение о результатах переговоров, которые я вел с венским двором. Выводы доклада отражают единодушное мнение членов моего Совета. Я тоже разделяю их: они отвечают пожеланиям, неоднократно высказанным мне Национальным собранием, и чувствам, засвидетельствованным мне очень многими гражданами из разных концов королевства. Все предпочитают войну, чем терпеть и далее оскорбления достоинства французского народа и угрозы безопасности нации.

Я должен был предварительно исчерпать все возможные средства сохранить мир. Сегодня, согласно Конституции, я предлагаю Национальному собранию объявить войну королю Богемии и Венгрии».

Возразить против этого попытался только один депутат — Беккэ.

Решение объявить войну было принято огромным большинством голосов на заседании 20 апреля<sup>29</sup>.

Между старым монархическим феодальным миром и демократической Революцией приближалось величайшее столкновение. Тогда никто из тех, кто голосовал за войну, не предвидел огромных размеров и продолжительности этой войны. А может быть, они думали, что война ограничится участием в ней Австрии, или рассчитывали, что революционный дух, распространившись в мире, в несколько дней согнет старые власти, как сгибаются и вянут под грозным ветром стебли травы. Но революционная Франция была охвачена таким пылом страсти, такой пламенной гордостью за свободу, что, даже если бы Франция могла точно представить себе масштабы борьбы, в которую она вступала, она бы не отступила. Одно лишь, призрак военного деспотизма, выраставший на горизонте, могло заставить Францию, пожалуй, поколебаться. Но горение, порывы бурного восторга скрывали от ее взоров опасность<sup>30</sup>.

## ПРОЕКТ КОНДОРСЕ О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Любопытное и поистине драматическое событие! В тот момент, когда Людовик XVI вошел в зал, чтобы предложить Собранию объявить войну, на трибуне находился Кондорсе, излагавший превосходный и обширный план народного образования.

Как мы видели, Кондорсе считал войну неизбежной, но старался ограничить ее и, так сказать, заранее пытался выдвинуть на первый план блестящие мирные проекты.

План народного образования в том виде, как он его излагал, действительно предполагал мир. Кондорсе предусматривал быстрое расширение первых предложенных им мероприятий. «Нас можно было бы упрекнуть в том, — говорил он, — что мы слишком ограничили образование, даваемое всей массе граждан, но необходимость довольствоваться одним учителем для каждого заведения, необходимость приблизить школы к местожительству детей, недолгий срок, какой дети из бедных семей могут посвятить учению, — все это заставило нас ограничить начальное образование узкими рамками; их будет легко расширить, когда улучшение положения народа, более равномерное распределение богатств, являющееся неизбежным следствием хороших законов, улучшение методов преподавания сделают это своевременным; наконец, когда сокращение государственного долга и излишних расходов позволит употреблять более значительную часть государственных доходов на действительно полезные дела».

Вот великая мечта миролюбивой, просвещенной, эгалитарной демократии, которую Кондорсе раскрывал перед слушателями как раз в тот момент, когда появился король с официальным объявлением войны, которой было суждено поглотить на многие годы все средства страны. То, что Кондорсе пришлось сойти с трибуны для того, чтобы с нее прозвучало объявление войны, служит поразительным символом отклонения Революции на путь войны.

Когда на следующий день он продолжил изложение своего плана, он сказал, что усердие в учении, в науке должно найти тем большее распространение, что в новом мире люди, не находя применения для своей страсти к воинским подвигам и завоеваниям, должны будут направить свою энергию на все более страстные поиски истины.

«Мы уступили. — сказал он в превосходной речи, — всеобщему стремлению умов к знанию, которое, по-видимому, все более воз-

29. Никакой серьезной оппозиции не было. Ставшие впоследствии монтаньярами Камбон, Карно, Шабо, как и прочие, голосовали за это предложение.

30. Решение объявить войну было с нескрываемой радостью встречено газетами конституционалистов, как и газетами жирондистов.

растает в Европе. Мы почувствовали, что благодаря ряду успехов рода человеческого<sup>31</sup> эти научные занятия, дающие его деятельности вечную, неисчерпаемую пищу, стали тем более необходимыми, что усовершенствование социального порядка должно давать меньше возможностей для проявления честолюбия и алчности; что в стране, где захотели соединить бессмертными узлами мир и свободу, нужно суметь без скуки, не прозябая в праздности, согласиться быть просто человеком и гражданином; что важно было обратить на полезные цели эту потребность в деятельности, эту жажду славы, для которой состояние хорошо управляемого общества не дает достаточно широкого поля деятельности, и таким образом заменить стремление господствовать над людьми стремлением их просвещать».

Вот доклад, который был неожиданно прерван; вот, если можно так выразиться, надежда, погубленная объявлением войны. Предполагал ли Кондорсе, что война будет кратковременной? Или он думал, что, даже если она продлится много лет, может быть в течение жизни нескольких поколений, надо сразу сформулировать высший идеал Революции, идеал знания и мира?

Этот всеобъемлющий ум, привыкший размышлять о веках, не старался ли он ясно определить само отдаленное будущее? Есть несравненное величие в двойственной и единой душе Революции, которая готовится спасти свободу посредством войны и размышляет о средствах вдохнуть жизнь в мир. В конце концов эти ее двоякие усилия не потерпели поражения, так как силы старого порядка были разбиты войной, а растущая демократия, несмотря на тяготы войны, способствовала распространению знания. Но какую испытываешь печаль, какую шемящую грусть при мысли о том, во что мог бы превратить Францию идеал Кондорсе, если бы ее сначала не вдохновила, а затем не поработила война!

Именно потому, что мы жестоко страдаем от этого отклонения Революции, мы сурово, быть может даже слишком сурово, судим эту неосторожную и вздорную Жиронду, которая, исходя из предвзятого мнения, ускорила развитие еще неопределенных событий, чтобы привести страну к войне. Она лишила нас утешения — знать с уверенностью, что война была неизбежна. Но человечество простит это Жиронде ради высокого идеала свободы и мира, которому она хотела служить воинственными средствами, и в изумительном свете мысли Кондорсе я уже не различаю интриг Бриссо.

## ИЗМЕНА КОРОЛЯ

Непростительным, неискусимым преступлением было преступление лукавой, лживой, изменнической королевской власти, которая так никогда и не смирилась с новой свободой, так никогда честно и не приняла конституции, которой она клялась служить,

и посредством тайного и подлого предательства, которое всегда чувствовалось, но было неуловимо, привела доведенную до крайнего нервного напряжения Францию к решению начать войну и ускорила вмешательство колебавшихся иностранных держав.

Когда король читал декларацию о войне, у него задрожал голос<sup>32</sup>. Дрожал ли он от боли, от гнева, от страха или от стыда? Был ли он раздражен и унижен тем, что из тактических соображений он вынужден был так низко пасть, что объявил войну именно тому государю, у которого просил помощи? Не спрашивал ли он себя со страхом, какова будет для него развязка этой драмы? Или, быть может, сознание того, что он обманывает нацию, что он готовится ее предать, заставляло слегка дрожать его голос, когда он говорил перед представителями Франции?

В тот самый момент, когда король соглашался объявить войну Францу II, он старался ускорить вторжение захватнических армий, которые должны были попать землю и свободу Франции, и осведомлял врага о вероятных действиях французских армий.

24 марта барон де Бретей комментирует поручение к императору Францу II, возложенное на Гогела под именем Данмартена<sup>33</sup>. Гогела вез краткую записку королевы:

«Верьте во всем, мой дорогой племянник, лицу, которому я поручаю передать эту записку. *Мария Антуанетта*».

И следующую приписку от короля:

«Я думаю совершенно то же, что и вапа тетушка, и питаю к нему такое же доверие. *Людовику*».

Итак, Бретей писал:

«Государь, узнав от г-на Данмартена подробности, Вы убедитесь, что невозможно допустить, чтобы на головы все тех же лиц обрушилось столько всевозможных самых душераздирающих и возмутительных бедствий и опасностей. Точно известно, что клика, властвующая в королевстве, решила довести свою наглость до объявления войны; она хочет не откладывая совершить нападение одновременно в двух местах: на империю и на владения короля Сардинии».

Принимаясь за осуществление этих двух операций, они решили для начала отрешить короля от власти, разлучить королеву

31. Кондорсе во время своей про- скрипции во II году написал «Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain», поистине философское завещание века Просвещения. [См.: Ж. А. К о н д о р с е. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936.]

32. Мадам де Сталь, присутствовавшая на заседании, говорит, что король «предложил войну таким

тоном, каким он мог бы предложить самый безразличный для всех декрет». Madame de Staël. Considérations sur la Révolution française. 1826, t. II, p. 38. [Примечание А. Матвега.]

33. Барон де Гогела, капитан полка Артуа, доверенное лицо королевы, адъютант Буйе во время бегства в Варенн, после 10 августа 1792 г. эмигрировал и перешел на австрийскую службу.

с Его Величеством под предлогом различных обвинений, изложенных в девятнадцати пунктах, из которых главное состоит в том, что покойного императора призывали образовать совместно с великими европейскими державами конфедерацию в защиту королевской прерогативы. Нельзя без содрогания подумать о том до чего эти негодяи могут довести свой мерзкий план, как и закрывать глаза на то, что их жестокость безмерна, ибо она не знает узды.

Только Вы, Ваше Величество, могли бы достаточно быстро наложить на них крепкую узду, чтобы сдерживать их. Король уверен в том, что найдет в принципах и в душе Вашего Величества готовность оказать ему действительную помощь, ставшую ныне необходимой ввиду опасностей, грозящих как ему и королевски лично, так и восстановлению монархии.

Государь, узнав о плане нападения мятежников и об их намерении низложить короля, вы почувствуете, сколь важно, чтобы развертывание сил, которые, как надеется король, Ваше Величество, как и покойный император, хочет двинуть совместно с прусским королем, непременно произошло до объявления королю войны державам, заинтересованным в судьбе королевского дома и французской монархии. Сосредоточение на Рейне объединенных сил Вашего Величества и короля Пруссии произвело бы внушительное впечатление на злодеев и сказалось бы на осуществлении ими своих чудовищных планов внутри страны и своих враждебных намерений против наших соседей».

Итак, в конце марта, за месяц до того, как Людовик XVI сам предложил Собранию объявить войну Францу II, он через своих агентов Гогела и Бретёя торопит Франца II войти в соглашение с Пруссией и двинуть свои войска на Рейн. А королева Мария Антуанетта пишет 26 марта графу Мерси:

*«Не сомневаясь более в согласии держав относительно движения войск, г-н Дюмурье собирается начать первый нападением в Савойе и в районе Льежа. Для последней операции предназначена армия Лафайета. Такое решение принято на вчерашнем заседании Совета; хорошо, что мы знаем об этом плане: это позволяет нам быть настороже и принять все надлежащие меры. Видимо, все произойдет очень скоро».*

Это была явная, преступная измена. И напрасно было бы ссылаться на то, что королева, дочь Австрийского дома, прежде всего оставалась верна узам родства; ведь сама традиция королевской власти ставила интересы нации выше семейных привязанностей. Напрасно было бы также ссылаться и на то, что короля и королеву, которым грозила опасность, можно оправдать в том, что они искали помощи извне. Ибо долготерпение Революции после попытки государственного переворота 23 июня, после неудавшегося государственного переворота 14 июля, после бегства в Варенн достаточно ясно показывает, что королю и королеве

не угрожала бы никакая опасность, если бы они согласились признать волю нации, не строить козней, не лгать, не изменять. Наконец, нельзя ссылаться и на естественные предрассудки королевской власти, так как королю был хорошо известен пример Англии, где монархия в течение столетий применялась к конституционным законам, и только самый нелепый и глупый эгоизм, самое пошлое и трусливое ханжество, самое ребяческое тщеславие могли побудить короля бороться против Революции, неизбежность которой он сам признавал и которой он сам открыл путь.

Оправдания здесь нет, и эшафот будет единственно возможной карой. Один французский посол рассказывал мне, что князь Лобанов, бывший министром иностранных дел России \*, написал краткое исследование о Революции, где, судя о событиях и людях, как аристократ и сторонник абсолютизма, однако патриот, он писал, что люди, совершившие 14 июля, были мятежниками и их надо было повесить; но король изменил своему народу, и его надо было гильотинировать.

Война, объявленная 20 апреля, не сразу приведет к решающим событиям и историческим сражениям. Поэтому мы можем на время прервать свой рассказ, чтобы поинтересоваться, каково было в 1792 г. экономическое и социальное положение Франции, каковы были стремления, идеи, страсти различных классов. Надо знать, какова была та руда, которая будет брошена в горнило войны.

\* Речь идет о князе Лобанове-Ростовском А. Б. (1824—1896), русском дипломате, министре ино-

странных дел России в 1895—1896 гг. — *Прим ред.*

## Глава четвертая

## ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В 1792 г.

### КОЛОНИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Как я уже говорил и доказывал выше, Франция, собравшаяся дать бой всей Европе, отнюдь не была страной обнищавшей и обескровленной вследствие спада хозяйственной активности. Напротив, товароборот и производство в 1792 г. были на подъеме. И все же торговле Франции к концу 1791 г. стала угрожать опасность из-за волнений в колониях; в Сан-Доминго, как мы уже видели, вспыхнуло страшное восстание негров, поддержанное частично мулатами, которое явилось ответом на нерешительную политику Учредительного собрания, направляемого эгоистичной и жадной кликой белых колонистов, представителями которых были Барнав, братья Ламет и клуб в особняке Массиака.

27 октября 1791 г. этот вопрос был поставлен в Законодательном собрании в связи с письмами, переданными ему Франсуа де Нешато<sup>1</sup>. В них сообщалось о восстании негров. И немедленно партия умеренных, партия консерваторов постаралась свалить вину на демократов. Это они, утверждали умеренные, своими бессмысленными проповедями, своими идеями равенства, своими обещаниями освободить негров, которые они расточали в колониях, взбудоражили негров и подготовили разорение Сан-Доминго, разорение Франции.

Ответить на это было нетрудно, ибо негры-рабы не взбунтовались бы, если бы свободные мулаты-собственники остались едиными с белыми колонистами, да они и остались бы с ними, когда бы им предоставили политическое равноправие, когда бы в Учредительном собрании умеренным и колонистам не удалось парализовать действие майского декрета, предоставлявшего право голоса свободным цветным; когда бы несколько позже, в сентябре, они не добились аннулирования самого майского декрета.

Бриссо стал безрассудно оспаривать подлинность писем, оповещавших о восстании негров, но эта новость очень скоро подтвердилась, и началась борьба, одна из величайших экономических и социальных битв той эпохи, битва между расовой слесью и идеей равенства, между Правами Человека и собственностью, понимаемой как узаконение самого рабства.

### ЖАЛОБЫ НЕГОЦИАНТОВ

Умеренные потребовали прежде всего, и к тому же безотлагательно, посылки войск на выручку в Сан-Доминго. Крупные торговые города, особенно те, у которых были с Сан-Доминго наиболее широкие деловые связи, направляли в Собрание настойчивые письма и депутации. Большая группа негониантов из Ла-Рошели писала в Законодательное собрание 6 ноября:

«Вы бы разделили, господа, чувства, которые мы испытываем, слыша доходящие до нас ужасающие подробности; но вам никогда не представить себе, какая подавленность и какое отчаяние царят в наших портах.

Нет среди нас ни одного человека, кто в дни бедствий, обрушившихся на Сан-Доминго, не тревожился бы за брата, родственника, друга; нет человека, который не предчувствовал бы в разорении колоний потери своего состояния, уничтожения всех своих средств к существованию. На вас, господа, лежит обязанность охранять общественное благосостояние. Это в полной мере касается и колонии Сан-Доминго... Мы предоставляем в ваше мудрое распоряжение суда, снаряжение, провиант, денежные средства, войска, прозорливых военачальников-патриотов.

Итак, триста негониантов, подписавших данную петицию, откровенно встали на сторону белых колонистов, проявивших столь преступный и столь безрассудный эгоизм. Они требовали только оружия, дабы раздавить восставших негров и сражавшихся бок о бок с ними мулатов; они не желали прибегать ни к каким справедливым мерам, которые, успокоив хотя бы мулатов, изолировали и обезоружили бы негров. А между тем даже с точки зрения просто меркантильной было нелепо надеяться на умиротворение острова с помощью одной голой силы на службе у привилегии.

Тот же эгоизм, то же ослепление проявили и негонианты из Бордо. Директория департамента Жиронда обратилась к Собранию 5 ноября одновременно с директорией Бордоского дистрикта. Они известили об отправке депутации, которой «поручено пред-

1. Франсуа де Нешато (1750—1828)— адвокат при парламенте, генеральный прокурор при Высшем совете в Кап-Франсе, в Сан-До-

минго, с 1782 по 1787 г., мировой судья в Вишере, член администрации деп. Вогезы в 1790 г., депутат Законодательного собрания.



ложить нации суда для транспортировки войск и продовольствия». Вот что сказала бордоская делегация 10 ноября<sup>2</sup>. «Граждане Бордо послали нас сюда, чтобы просить вас самым серьезным образом отнестись к бедствиям, обрушившимся на Сан-Доминго. Рассказать вам о бедах, которые опустошают эту драгоценную колонию, — это значит говорить о наших собственных бедах, изобразить горе, печаль, парящие во всех приморских городах: такой же удар может быть нанесен и любой другой колонии в Америке; он может поразить насмерть главную отрасль национальной промышленности, иссушить самый обильный источник общественного кредита.

*После долгого и мучительного зстоя в торговых операциях наконец-то оживилась коммерческая деятельность; в Бордо были снаряжены сорок девять судов, очень многие из них предназначались для колонии Сан-Доминго, и большинство — для злосчастной ее северной части. При первом же известии об опустошениях, которые ее постигли, надежды сменились отчаянием, горе поселилось в наших стенах.*

Ах! Какой француз мог бы хладнокровно слушать рассказ о несчастьях своих собратьев! Узы крови, узы дружбы, более прочные, нежели законы выгод, приказывают нам мчаться им на помощь, и для нас будут легкими и драгоценными все жертвы.

Но, занимаясь облегчением бедствий колонистов, не должны ли мы оглядеться вокруг себя? Граждане Бордо, их администраторы стали бы добычей новых тревог, если бы работы в порту, уже замедлившиеся, приостановились бы надолго. Эти работы, столь оживленные, столь разнообразные, обеспечивали существование огромной массы рабочих всякого рода, и нечего скрывать от себя, что общественное спокойствие будет нарушено, если этот заслуживающий сочувствия класс наших сограждан будет лишен этого единственного ресурса в самую суровую пору года, когда вдобавок положение с нашим урожаем можно считать бедственным.

Господа, спокойствием, столь счастливо царившим в нашем департаменте и в тех, что с нами соседствуют, мы, возможно, обязаны примерам доброго порядка и уважения к законам, которые отличали город Бордо в самые трудные минуты. Он и сегодня жаждет явить новое доказательство своей преданности, и в тот самый момент, когда тяжкие невзгоды угрожают его процветанию, он предлагает вам сделать все, что еще в его силах, чтобы содействовать усмирению волнений в колониях и оказать необходимую помощь тем из наших братьев, которые переживут эти бедствия и на сохранение собственности которых еще можно возлагать кое-какие надежды...» (*Бурные аплодисменты.*)

Итак, ни единого слова, я уж не говорю о рабах, но даже о свободных цветных, столь гнусно ограбленных себялюбивыми и лицемерными белыми колонистами, лишившими их даже права, которое за ними признало Учредительное собрание.

Невзирая на нетерпение умеренных, невзирая на давление портовых городов, Собрание не решалось послать войска в Сан-Доминго; ибо оно сильно опасалось, как бы этим не усилить дух олигархии и привилегий; оно хотело выждать, во всяком случае, до тех пор, пока не получит более исчерпывающие сведения. Мерлен из Тионвиля, непримиримый противник любой колониальной политики, выступив 6 ноября, заклинал Собрание сосредоточить все военные силы Франции на границах, которым угрожают деспоты; и слова его вызвали немалый ропот<sup>3</sup>.

«Господа! Будем же последовательны в своих принципах: в чем состоит дух Конституции? На чем она основывается? Она основывается на свободе, побудившей вас разбить свои оковы... (*Ропот.*) Ах, моя возмущенная душа восстает против вашего вчерашнего постановления, в котором вы благодарите английскую нацию за то, что она позаботилась прийти на помощь одним людям, чтобы заковать в цепи других людей. (*Позвольте! Позвольте!*)<sup>4</sup> Сегодня вы торопитесь еще больше закрепить эти цепи, но вы забываете, что только с помощью священных восстаний вы сбросили свои; будьте же последовательны сами; или вы собираетесь, судя по вашим нынешним принципам, аплодировать вскоре Леопольду и прочим тиранам мира, когда они уничтожат вашу свободу и погубят ваше Отечество... Пусть нам оставят наши войска, они нам понадобятся гораздо скорее, чем этого ожидают.» (*Аплодисменты на трибунах.*)

Вот в какие тиски попало Собрание: защищать в Европе свободу во имя Прав Человека и сохранять на островах расовые различия и само рабство; противоречие было убийственным, и Мерлен безжалостно подчеркивал его.

Собрание, взволнованное и раздраженное, его освистало, но не осмелилось принять решение, а отложило рассмотрение вопроса. Между тем Бриссо, овладевший собой и получивший документы, стал настаивать, чтобы Собрание открыло широкие дебаты о положении колоний в целом. Колониальный комитет, где верховодили друзья колонистов, явно не торопился представлять свой доклад<sup>5</sup>; возможно, что разбор весьма объемистого

2. «Moniteur», X, 341; «Archives parlementaires», XXXIV, 732.

3. Мерлен из Тионвиля (1762—1833) — юрист, муниципальный служащий в начале Революции, депутат Законодательного собрания от департамента Мозель. «Moniteur», X, 307; «Archives parlementaires», XXXIV, 660.

4. 5 ноября 1792 г. в Законодательном собрании было зачитано письмо английского посла министру иностранных дел, в котором

тот ссылается на письмо губернатора Ямайки от 7 сентября, сообщавшего, что он отправил колонистам Сан-Доминго помощь оружием и продовольствием. «Moniteur», X, 303.

5. Комитет «законов и постановлений, касающихся колоний», проще говоря, Колониальный комитет, был создан Законодательным собранием 14 октября 1791 г. Среди двенадцати его членов следует упомянуть Верньо.

досье действительно требовал много времени. Может быть, также умеренные опасались дискуссии, во время которой вновь прозвучат слова о справедливости и свободе, а ветер Революции, не боящийся больших расстояний, донесет их до Антильских островов. Однако Бриссо объявил, что 1 декабря, даже если Колониальный комитет не будет готов, он сам откроет дебаты. И они действительно были открыты.

## МАНИФЕСТ БЕЛЫХ КОЛОНИСТОВ

Уже 30 ноября депутаты Генерального собрания французской части населения Сан-Доминго были допущены к барьеру, и один из них, Мийе, изложил точку зрения белых колонистов. То была резкая декларация против демократии, против Общества друзей чернокожих, против Бриссо, против аббата Грегуара<sup>6</sup>; то была теория рабства, сформулированная белыми собственниками с островов; и, поскольку я не буду цитировать никаких других документов в таком же роде, я сделаю из настоящего обширные выдержки. Вначале оратор вознамерился пробудить сочувствие Собрания, нарисовав страшную картину насилий негров.

...«В тот же момент рабы Флавиля, те самые, которые поклялись прокурору в верности, вооружившись, поднимают бунт, врываются в жилища белых, убивают пятерых находившихся там людей. Жена прокурора на коленях умоляет пощадить жизнь ее мужа; негры неумолимы, они убивают супруга, а несчастной супруге заявляют, что она и ее дочери будут отданы им на утеху.

Г-н Робер, плотник, работавший в том же поселении, был схвачен своими неграми, которые связали его, зажав между двумя досками, и стали медленно распиливать. Одному юноше шестнадцати лет, дважды раненному, удалось избежать ярости каннибалов, и именно от него мы узнали обо всех этих фактах.

Книжалы сменяются факелами. Поджигают сахарные плантации поселения; за ними очередь строений... Одного колониста задушил как раз тот негр, которого хозяин осыпал милостями; супруга его, брошенная на труп мужа, стала жертвой похоти злодея...

Г-н Потье, житель порта Марго, обучил своего негра-надсмотрщика читать и писать, он даровал ему свободу, которой тот наслаждался; он завещал ему 10 тыс. ливров, которые ему должны были выплатить, кроме того, он подарил матери упомянутого негра участок земли, с которого она собирала урожай кофе; это чудовище поднимает бунт на плантациях благодетеля своего и своей матери; поджигает и разоряет их имущество; за эти действия его производят в генералы».

Тут я прерываю рассказ об этих насилиях, об этих жестокостях, отнюдь не пытаюсь их порицать. По правде говоря, негр, о котором рассказывалось в конце и который, хотя и был лично освобожден, встал на сторону своих братьев-рабов и пошел на то, чтобы сжечь поле, подаренное его матери, представляется мне человеком достаточно сильной и большой души. Но, конечно, не подлежит сомнению, что восставшие черные рабы, в чьей африканской крови кипели дикие страсти, в чьих уязвленных сердцах скопилось много старого горя и застарелой ненависти, нередко допускали ужасные зверства и доводили жестокость до неправдоподобной изощренности. Но тут встает вопрос: каким образом этих людей, до сих пор столь покорных, охватило такое бешенство, что они восстали? И не было ли это виной тех, кто не понял, что Французская революция должна была означать для колонистов необходимость проведения законных реформ? Вот почему вся эта вереница кровавых преступлений и похоти ни о чем не говорит и заключение оратора на этот счет является пристрастным и вздорным.

«Чтобы быть кратким, скажу: если бы кровавые намерения этих грубых и свирепых людей по отношению к белым осуществились, если бы они истребили белых поселенцев до полного их исчезновения в колониях, то очень скоро Сан-Доминго являло бы картину всех зверств Африки. Порабощенные владыками, имеющими неограниченную власть, раздираемые жесточайшими войнами, они обращали бы в рабство пленников, которых им удалось захватить, и умеренное рабство, при котором они жили среди нас, превратилось бы в рабство, отягощенное самым изощренным варварством».

Но на самом деле речь шла совсем не об этом. Никто не собирался истребить всех белых, отдать остров во власть черных рабов, которые восстановили бы африканские племена и поработали бы или пожирали друг друга. Никто не собирался делать выбор между «умеренным» рабством, которое белые даровали неграм, и рабством жестоким, убийственным, какое навяжут друг другу негры-людоеды. Даже самые смелые, как, например, Марат, требовали всего лишь, чтобы свободным цветным, мулатам-собственникам было предоставлено равенство в политических правах, дабы благодаря согласию, достигнутому на основе этого равенства, был сохранен порядок, а постепенное и благо-разумное освобождение рабов мало-помалу избавило бы Францию

6. Общество друзей чернокожих было основано в 1787 г.; его вдохновителями были Бриссо и Кондорсе... Аббат Грегуар (Grégoire) опубликовал в 1789 г. «Мемуар в защиту цветных и людей смешанной крови в Сан-Доминго и на

других островах Америки, принадлежащих Франции...» («Mémoire en faveur des gens de couleur ou sang-mêlé de Saint-Domingue et des autres îles françaises de l'Amérique», Paris, 1789.)

от этого чудовищного позора, не подрывая основ экономической жизни в колониях. Вот чего требовали до того момента наиболее смелые, и было довольно наивно противопоставлять этим пожеланиям фантастическую картину острова во власти дикарей, где черные демоны носятся, размахивая адскими факелами, и истребляют всех белых до единого. В этом изложении креолов очевидна грубая стряпня, одновременно наивная и бесстыдная. Но вот перед нами нарисовали причудливую идиллию. где душа работодателя ликует в спокойной кротости.

*«Мы жили в мире, господа, среди наших рабов. Отеческое управление вот уже в течение лет смягчает участь негров, и мы смеем утверждать, что миллионы европейцев, мучимых всевозможными заботами, преследуемых нищетой, встречают меньше доброты, чем те, кого изображают вам и изображают во всем мире закованным в цепи, испускающим дух после бесконечных пыток. Положение негров по сравнению с их положением в Африке, где они лишены собственности, лишены политической, а также гражданской жизни, где они всегда игрушка бессмысленного жестокого произвола тиранов, которые делают между собой эту обширную и варварскую страну, изменилось, когда они попали в наши колонии в терпимые и спокойные условия. Они ничего не потеряли, ибо свобода, которой они и не пользовались, — это растение, и поныне не приносящее плодов на их родной почве; и чтобы ни говорили люди пристрастные, какие бы небылицы ни измышляли, никогда им не удастся убедить людей сведущих в том, что негры Африки живут в условиях свободы.*

Последний из путешественников, посетивших не известную до наших дней область этого огромного континента, за время своего долгого, интересного странствия смог описать лишь историю кровопролитий и ужасов. Люди, населяющие Абиссинию и Нубию, племена галласов и фунги, от берегов Индийского океана и до границ Египта, как будто спорят в своей жестокости и кровожадности с гиенами и тиграми, которых этими свойствами наделила сама природа. Иметь рабов там — дело чести, и жизнь в этой ужасной стране есть дар, который не охраняет никакой закон и который кровопийца-деспот всецело держит в своих руках.

Пусть же человек чувствительный и образованный сравнит плачевное положение людей в Африке со спокойными, умеренными условиями, в каких они живут в наших колониях; пусть он отвернется от декламаций и картин, которые удобно рисовать лже-философам, скорее чтобы завоевать себе имя, чем защитить человечность. Пусть вспомнит, какими методами мы управляли нашими неграми до того, как их сбили с пути истинного, превратили в наших врагов; обеспеченные всем, что им нужно для жизни, пользующиеся достатком, неизвестным в большинстве сельских местностей Европы, спокойно наслаждающиеся своей собственностью, ибо они владели таковой и она была священной; получающие

в случае болезни лечение, на которое тратится столько средств и внимания, какие вы тщетно будете искать в хваленых английских больницах; опекаемые и окруженные уважением в старости, когда теряют работоспособность; живущие мирно, безмятежно среди своих детей, своей семьи, своих любимых друзей; наделяемые работой, сообразно силам каждого, ибо здесь классифицируют и людей и виды работы, так как, не говоря уже о человеколюбии, выгода заставляет заботиться о сохранении людей; освобожденные, если они оказали какие-нибудь важные услуги, — вот какова правдивая и неприукрашенная картина управления нашими неграми, и это патриархальное управление все более совершенствовалось, особенно за последние десять лет, с усердием, подобного какому вы не найдете во всей Европе.

Самая искренняя привязанность связывала господина с его рабами: мы спали спокойно, окруженные этими людьми, которые стали нашими детьми, и во многих наших домах не имелось ни замков, ни запоров.

Нельзя отрицать, господа, и мы не собираемся этого скрывать, что среди плантаторов еще существует небольшая часть хозяев жестокосердных и беспощадных, но какая участь ожидала этих злых людей? Заклейменные общественным мнением, внушающие ужас порядочным людям, изгнанные из всякого общества, не пользующиеся кредитом в делах, они жили, окруженные позором и бесчестьем, и умирали в нищете и отчаянии. Их имя всегда произносится в колониях с возмущением, а их репутация служит наглядным уроком для тех, кто, еще не обладая достаточным опытом в управлении плантациями, мог бы прибегнуть вследствие неустойчивости своего характера к крайним мерам, вред которых для разумного управления доказал опыт, а просвещение и смягчение нравов способствовали их запрету.

Мы закликаем здесь не тех, кто сочиняет романы, чтобы создать себе репутацию людей добросердечных, чтобы завоевать мимолетную известность, которой их очень скоро лишит всеобщее возмущение, но тех, кто сам посетил колонии, кто их хорошо знает: пусть они скажут — правдив ли приведенный нами рассказ, не сгустили ли мы краски, чтобы привлечь ваше внимание к нашему делу.

Самая дерзновенная защитительная речь, с какой рискнули выступить в пользу рабства; произнесенная рабовладельцами перед революционным Собранием, она звучит наглым вызовом логике событий и идей. Она заставляет взволнованную, смущенную буржуазию задуматься, заглянуть глубоко в свою душу и спросить себя — стоит ли она за собственность, пусть даже рабовладельческую, или же за Права Человека.

Мы последуем совету оратора, мы отбросим всякую декламацию. Мы не станем напоминать, что, как бы ни были ужасны условия жизни негров в Африке, в их родной стране, их, однако,

силой, против их воли, вырвали из родной почвы. Мы не станем говорить, что со стороны работорговцев было бы лицемерием утверждать, что лишь ради блага негров, ради их полусвободения они их похищали и возили в трюмах.

Нам хочется думать, и это было нередко правдой, что хозяева на Сан-Доминго и на островах мягко обращались со своими рабами. Но оратор сам вынужден признать, что есть и дурные хозяева, так что раб, даже тот, с кем обращаются хорошо, никогда не гарантирован, ибо он отдан на милость хозяина, зависит от перемен его настроения, от приступов его гнева, капризов его чувственности. И наконец, в самом рабстве заключено роковое противоречие: либо с рабом обращаются дурно, его бьют, бичуют, и он бунтует или смиряется, либо с рабом обращаются мягко, он постепенно становится членом семьи, и сама эта мягкость, воспитывая в нем тонкость чувств и приближая его к хозяину, заставляет его понять, что такое свобода, и стремиться к ней.

Восстание черного населения не свидетельствовало обязательно против колонистов; наоборот, оно могло говорить о том, что пробуждавшаяся долгами годами гордость зародилась среди рабов именно благодаря умеренности и доброте господ. Но неизбежные последствия сказались, страсть к свободе должна была однажды проснуться и благодаря этой молчаливой страсти, жившей в глубине сердца и как бы затаившейся под прежней видимостью патриархальной покорности, все взаимоотношения между хозяевами и рабами подспудно изменились. Чего действительно не хватало в ту пору белым колонистам, так это достаточной силы мысли. Они рассуждают так, словно им вменяют в вину чудовищное преступление торговли живым товаром, торговли, которая столь долго опустошала побережья Африки. Они рассуждают так, словно их всех обвиняют в насилии, в жестокости; они забывают, что сам ход событий, эволюция идей и нравов необратимо вели рабство к гибели и что умеренность добрых хозяев подготовила его падение в такой же мере, как и крайности дурных. Но главное — они забывают, что даже колонии не могут рассматривать Революцию как не стоящее внимания явление и что с точки зрения Декларации прав человека взгляд на проблему неизбежно изменился.

А что они сделали, чтобы приспособиться к новым требованиям? Что они сделали, чтобы примирить привычки и потребности колониального производства со свободными установлениями и с принципами человеческого права! Ничего они не сделали, ровно ничего, они даже и не попытались ничего сделать. Они умели только хитрить, изворачиваться, лгать, даже искажать смысл декретов Учредительного собрания, противодействуя своей косностью осуществлению наиболее умеренных и наиболее мудрых его законов; они застыли, если можно так выразиться, в своей надменной лености ума, заостенели в своих расовых предрассуд-

ках. Даже в этот момент, перед Законодательным собранием, в час, когда Сан-Доминго охвачен огнем и во что бы то ни стало необходимо доискаться до правды, они все еще хитрят, они все еще плутуют. Они и в самом деле плутуют, когда так выпячивают на первый план вопрос о рабстве, который все партии в Учредительном собрании и вне его если и не отвергли, то, во всяком случае, отложили его обсуждение.

Возлагать всю ответственность на одно общество, а именно Общество друзей чернокожих, словно это общество, в котором состоял Мирабо, в котором состоял аббат Грегуар, не было само выражением благородного духа XVIII века, одним из многочисленных органов, созданных его мыслью, тоже значило плутовать.

И наконец, это плутовство и бесчестье со стороны белых колонистов — отрицать ответственность, какую они несут за свое высокомерное и вероломное отношение к свободным цветным. Послушайте только надменные обвинения этих добреньких рабовладельцев, которые в претензии на весь мир за пожар, зажженный их эгоизмом и недалекновидностью:

«Между тем, господа, во Франции создается общество, и оно исподволь готовит раздоры и смуты, жертвой коих мы становимся. Поначалу никому не известное и скромное, оно выказывало лишь желание смягчить долю рабов, но оно не знало всех средств для этого смягчения, столь хорошо изученных на французских островах, ибо мы занимались этим непрестанно; и, отнюдь не достигнув своей цели, оно и нас заставило от нее отказаться, ибо сеяло дух непослушания среди наших рабов и беспокойство среди нас. Чтобы все более улучшать участь рабов, чтобы множить число освобожденных, следовало тщательнейшим образом охранять безопасность хозяев, но это мудрое средство никак не способствовало популярности, а жажда славы подсказывала, что надо бросить колонии на произвол судьбы, отдать их во власть пустозвонных ораторов, ввергнуть нас в атмосферу тревоги и ужаса, подготовить бедствия, которые мы предсказывали с первых шагов Общества друзей чернокожих и которые теперь стали явью».

Все те же софизмы консерваторов. Они объявляют, что осуществили бы реформы, если бы только они одни на них настаивали. Но в то же время они требуют сохранения торговли неграми, которая обеспечивает в отвратительных условиях бесперебойную поставку рабов.

«Вскоре, — говорят они, — это общество потребует запрета торговли неграми; а это значит, что прибыль, которую могут извлекать из этой торговли французские негоцианты, попадет в руки иностранцев; ибо романтическая философия этого общества никогда не убедит все державы Европы, что их долг — отказаться от развития колоний и оставить жителей Африки во власти их жестоких тиранов, вместо того чтобы использовать их в другом месте под началом более добрых хозяев для обработки

земли, которая без них осталась бы невозделанной и богатый продукт которой служит для владеющей им нации неисчерпаемым источником производства и процветания».

Но разве делегатам из Сан-Доминго было неизвестно, что в английском парламенте вопрос о запрещении работорговли был поставлен уже несколько лет назад, что Уилберфорс благодаря своему изумительному упорству постепенно завоевывал для своего проекта все больше сторонников и что он так взбудоражил умы, что очень скоро, 2 апреля 1792 г., сам Питт выступил в палате общин со своей знаменитой речью и потребовал запрещения работорговли? Правда, предложение Уилберфорса: «Мнение комитета (то есть палаты общин, которая образовала комитет для обсуждения вопроса) таково, что торговля, ведущаяся английскими подданными с целью приобретения рабов на побережьях Африки, должна быть запрещена»<sup>7</sup> — было принято с добавлением слова «постепенно», которое предложил Дэндас. Но тогда казалось, что этой омерзительной торговле нанесен смертельный удар. Это можно было предсказать еще в конце 1791 г., когда в Законодательном собрании выступили наши рабовладельцы, и с их стороны было большим бесстыдством утверждать, будто Общество друзей чернокожих собирается подарить иностранным негодьям доходы от этой торговли.

Они жалуются на то, что Декларация прав, «творение бесмертное и спасительное для людей просвещенных, но неприменимое, а посему даже опасное при нашем порядке», была в избытке распространена в колонии; что ее там читают и обсуждают на плантациях и открыто объявляют, будто она провозглашает свободу негров. Меж тем в действительности ни от Друзей чернокожих, ни от белых колонистов не зависело заглушить мощный и неминуемый отголосок Революции. И если колонисты боялись чересчур резкого потрясения, им, безусловно, следовало привлечь на свою сторону свободных цветных, предоставив им политическое равноправие, и таким путем создать из них, *в духе Революции*, умеряющую силу, которая позволила бы осторожно и постепенно приступить к освобождению самих рабов.

Однако эти гордецы, эти безумцы, видимо, не нашли ничего лучшего, чем оскорблять мулатов; жалкими выглядят объяснения колонистов по вопросу о свободных цветных, единственному, который был практически поставлен перед Учредительным собранием.

«Когда стало известно, — говорят они, — что надежда заставить Национальное собрание высказаться за освобождение рабов оказалась тщетной, то начали сеять раздоры среди нас, склоняя Собрание к тому, чтобы оно само обсудило вопрос о цветных.

Мы попросили, чтобы нам дали возможность самим выработать законы по этому вопросу, который требовал большой осторожности и осмотрительности при подходе к нему; мы заверили, что законы эти будут гуманными и справедливыми. Но такое благо-

деяние белых колонистов, которое навсегда закрепило бы узы любви и доброжелательства, существовавшие между этими двумя классами людей, было представлено Обществом друзей чернокожих как тщеславная претензия, как средство уклониться от справедливых требований».

Да, ребяческое тщеславие, лицемерие и ложь! Если белые колонисты и впрямь намеревались предоставить свободному цветному населению политическое равноправие, почему же они так яростно и исподтишка боролись все сообща, чтобы помешать Учредительному собранию принять закон об этом равенстве, а затем чтобы добиться его отмены?

Поистине для белых колонистов не было ничего оскорбительного в том, чтобы цветные получили хартию своих прав от великого суверенного Собрания. Какой расчет величайшего высокомерия руководил ими, когда они домогались еще больше унижить цветных, швырнув им равенство как милостыню? И если они хотели, чтобы это новое законодательство скрепило узы между «двумя классами людей», если они хотели заслужить признательность цветного населения, в их руках было для этого решающее средство, а именно: побудить Национальное собрание принять справедливый закон, а потом честно применять его.

И наконец, чтобы обратить себе на пользу сами несчастья, которые они породили, делегаты колонистов закончили свою обвинительную речь перед Законодательным собранием, потребовав не только посылки войск и помощи, но и запрещения и осуждения всех «крамольных писаний» Общества друзей чернокожих.

Законодательное собрание в молчании выслушало эту обвинительную тираду. Она потворствовала кое-каким консервативным страстям, но была ужасающе компрометирующей. Учредительное собрание могло еще убеждать себя, что оно не узаконило рабство. Из какого-то чувства стыда, к которому примешивалась изрядная доля буржуазного лицемерия, но также и доля уважения к гуманности, оно вынесло решение о свободном цветном населении; но, полностью гарантируя колонистам «их собственность», то есть фактически сохранение рабства, оно не захотело произнести слово

7. Уилберфорс (1759—1833) — английский филантроп, друг Питта, избранный в палату общин в 1784 г.; автор «Речи об уничтожении работорговли» (1789), основатель в Лондоне клуба, содействующего освобождению цветных, который поддерживал связь с Обществом друзей чернокожих. Уилберфорс добился запрещения работорговли 2 апреля 1792 г. («Moniteur», XII, 206). [Внесенный Уилберфорсом законопроект

был отвергнут палатой лордов; только в 1807 г. Уилберфорс и его сторонники добились принятия билля об отмене работорговли в британских владениях.— *Прим. ред.*] По предложению Бриссо Законодательное собрание присвоило ему 26 августа 1792 г. звание гражданина Франции («Moniteur», XIII, 541.) Уилберфорс скончался в 1833 г., через три дня после того, как палата общин приняла закон об отмене рабства.

«рабы»; в тот день, когда один из его членов, как бы желая покончить с недомолвками, представлявшими для колонистов опасность, захотел внести в текст закона слово «раб», в Собрании вспыхнуло сильное возмущение.

Итак, намеренно закрывая глаза, Собрание сохранило status quo, но оно не пожелало официально включить рабство в систему Революции. Теперь, когда негры восстали, вопрос о рабстве выступил из мрака задворков, куда он был задвинут с общего согласия. Черные рабы с факелами в руках ринулись вперед, и взрыв их ярости не допускал более замысловатых уверток, за которыми укрывалось Учредительное собрание.

Сами белые колонисты, торопясь утвердить свое «право», открыто говорили о рабстве: «Мы жили счастливо среди наших рабов». И Законодательное собрание вынуждено было выслушивать систематическое оправдание, чуть не прославление рабства. Оно было вынуждено выслушать приговор о вечном отлучении от общества определенной части человечества, лишенной человеческих прав.

«Эти грубые люди неспособны познать свободу и разумно пользоваться ею, а потому скороспелый закон, который разрушил бы их предрассудки, был бы и для них и для нас равносильен смертному приговору».

Вот он — жизненно важный предрассудок, постоянно необходимый в общественной жизни. Негров, которые являются людьми, но, не зная этого, сами себя ставили ниже людей, надо на веки вечные держать в этом унижительном, но необходимом заблуждении. И от Законодательного собрания требуют, чтобы оно присоединилось к этому методическому калечению человечества. Перед ним доказывают, что торговля неграми — извечная необходимость, прибыльная национальная спекуляция, на которую запрещено посягать хотя бы из чувства патриотизма. Надо полагать, что Собрание испытывало большую неловкость, пока рабовладельцы выступали с речами; я не обнаружил в протоколах ни аплодисментов, ни порицания. Только в конце, когда председатель Собрания Дюкастель<sup>8</sup> пригласил делегатов почтить своим присутствием заседание, на скамьях крайне левой вспыхнул репот, и Базир воскликнул<sup>9</sup>:

«Как, господин председатель! Вы приглашаете на заседание людей, которые позволяют себе оскорблять философию и свободу, которые позволяют себе поносить...»

Но уже эти слова Базира возбудили все консервативные и буржуазные страсти в Собрании... Хотя оно с чувством неловкости выслушало прославление рабства, однако оно не намеревалось ничего делать, чтобы его отменить, и огромным большинством проголосовало за то, чтобы речи делегатов были напечатаны. Но какое значение имела эта ярость собственников и капиталистов? Какое значение имела эта наглость белых колонистов и эгоизм

их сообщников, арматоров французских портов, работорговцев или акционеров, вложивших деньги в эксплуатацию рабовладельческих плантаций?

Рабство могло сохраняться только в тиши, так сказать, в отдалении. Все, что его приближало, все, что приводило его в соприкосновение с Декларацией прав человека, с силой и мыслью Революции, вело к его гибели.

## ВЫСТУПЛЕНИЕ БРИССО

Бриссо выступил 1 декабря, причем он подверг глубокому, хотя порой и тенденциозному анализу различные интересы, различные социальные и политические силы, столкнувшиеся в Сан-Доминго<sup>10</sup>.

«Население Сан-Доминго, — сказал он, — можно подразделить на четыре класса: белые колонисты, владеющие крупной собственностью; маленькие белые, не имеющие собственности и живущие промыслом; цветные люди, имеющие собственность или же занимающиеся честным промыслом; и наконец, рабы.

Белых колонистов следует разделить на два класса соразмерно их состоянию и положению их дел.

Есть такие, что имеют обширные владения, мало обремененные долгами, ибо в делах у них царит порядок. И есть гораздо больше таких, что погрязли в долгах, так как в их делах наблюдается полный хаос.

Первые любят Францию, уважают ее законы и подчиняются им, ибо они чувствуют необходимость в ее покровительстве для сохранения своей собственности и поддержания порядка. Эта первая категория колонистов любит и поддерживает цветных, она их рассматривает как подлинный оплот колонии, как людей, наиболее способных удерживать негров от бунтов. К числу этих уважаемых колонистов принадлежит г-н Жерар, депутат предыдущего Собрания. Он не переставал умерять запальчивость своих коллег, которые голосовали только за насильственные меры, ибо эти меры казались им наиболее способными породить смуты, необходимые для их роскошной жизни, которая была им не по средствам.

Колонисты-расточители, задуренные долгами, не любят ни французских законов, ни цветного населения и вот почему: они

8. Дюкастель (1740—1799) — адвокат, член муниципалитета Руана, депутат Законодательного собрания от департамента Нижняя Сена.

9. Базир (1764—1794) — адвокат, член администрации Дижонского

дистрикта в 1790 г., депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Кот-д'Ор. «Moniteur», X, 512.

10. «Moniteur», X, 516 et 518; «Archives parlementaires», XXXV, 473.

чувствуют, что свободное государство не может существовать без хороших законов и без соблюдения каждым своих обязательств; стало быть, рано или поздно они будут вынуждены в силу тех же законов платить свои долги; они будут вынуждены делать это более неукоснительно, нежели при деспотическом правлении, потому что деспотизм падок на лесть аристократов и дарует им приказы об отсрочке платежей и постановления о приостановке взысканий, препятствуя осуществлению закона о наложении ареста на имущество. Но свобода не знает ни приказов об отсрочке, ни постановлений о приостановке взысканий. Она говорит и скоро скажет каждому на островах: если ты должен — плати или отдай свое имущество кредитору.

С другой стороны, белые колонисты-расточители, завязшие в долгах, не более расположены к цветным гражданам, чем к неграм, ибо они ясно предвидят, что эти цветные жители, почти все свободные от долгов, аккуратно ведущие свои дела, будут всегда стоять на страже закона и что благодаря их отваге, их многочисленности и их рвению они могут сами по себе, даже без помощи европейских войск, обеспечить выполнение законов.

Еще одна причина подогревает вражду белых колонистов-расточителей к цветным: предрассудок, осуждающий цветных на приниженность, которой последние больше не хотят терпеть. Они считают преступлением их стремление к равенству; и, в то время как они громят министерский деспотизм, они хотят узаконить и заставить собрание свободных людей узаконить деспотизм людей с белой кожей...

Вот чем объясняется живущая в сердце одного и того же колониста одновременная ненависть к цветным людям, требующим признания своих прав, к негоциантам, требующим уплаты долгов, и к свободному правлению, требующему, чтобы справедливость распространялась на всех людей.

Вот почему, господа, вы должны рассматривать врагов людей с цветной кожей — как самых ярых врагов нашей Конституции. Они ее ненавидят потому, что усматривают в ней конец своей спеси и своих предрассудков; они оплакивают и охотно вернули бы старый порядок вещей, если бы видели в нем гарантию того, что им будет дозволено безнаказанно угнетать людей, не подвергаясь в то же время угнетению со стороны министров.

Дело цветных является, следовательно, делом патриотов, бывшего третьего сословия и, наконец, делом народа, столь долго терпевшего притеснения.

Тут я должен предупредить вас, господа, что, описывая вам колонистов, которые в течение трех лет прибегали к самым преступным ухищрениям, чтобы порвать узы, связующие их с матерью-родиной, чтобы подавить цветных, я имею в виду только один класс колонистов — нищих, несмотря на их колоссальные владения, расточительных, несмотря на свою нищету, надменных,

несмотря на свою полную никчемность, наглых, несмотря на свою трусость, роскошествующих, не имея на то средств, тех колонистов, наконец, которых пороки и долги постоянно толкают к смутам и которые в течение трех лет в различных колониальных собраниях настаивали на создании независимой аристократии. Хотите ли в единый миг получить о них представление? Порамыслите над словами одного из них, сказанными из угодничества монарху, в то время еще могущественному. «Сир, ваш двор состоит сплошь из креолов». Он был прав: их роднили пороки, аристократия и деспотизм. (*Аплодисменты.*)

Этот сорт людей имеет огромное влияние на другой класс людей, не менее опасный, так называемых «маленьких белых», который состоит из авантюристов, личностей беспринципных, почти сплошь безнравственных. Этот класс и есть подлинный бич колоний, ибо он пополняется только за счет подонков Европы. Этот класс со злобой взирает на цветных людей — как на ремесленников, потому что к тем, поскольку они работают лучше, за более дешевую плату, более охотно обращаются, так и на собственников, потому что их богатство вызывает его зависть и уязвляет его гордость. Этот класс жаждет только смуты, ибо стремится к грабежам, только независимости, ибо, став хозяевами колоний, «маленькие белые» надеются поделить между собой то, что они награбят у цветного населения.

«Маленькие белые» в основном облюбовали крупные города, населенные людьми другой категории, более почтенными, а именно негоциантами и комиссионерами, связанными своими интересами с Францией, радеющими о деле цветного населения, ибо они видят, что от него зависит рост потребления и процветания.

Что, однако же, представляют собой эти цветные, чьи стоны так давно уже достигают слуха Франции? Это, господа, не черные рабы (и необходимо повторять это неоднократно, дабы покончить с коварными инсинуациями колонистов), это — люди, в чьих жилах либо в первом, либо во втором поколении течет европейская кровь, смешанная с африканской. Неужели вы не содрогнетесь, господа, при мысли о жестокости, с какой белые стремятся унижить мулатов? Ведь они унижают свою кровь; ведь это на челе своего сына они ставят клеймо бесчестья; ведь они хватаются за меч закона, чтобы нанести удар своему сыну, ведь это его хотят они предать бесчестью.

Заметьте также, что цветные, требующие уравнивания в политических правах с белыми, своими братьями, почти все, как и белые, свободны, владеют собственностью и платят налоги; они более, чем белые, являются подлинным оплотом колоний: они представляют собой здешнее третье сословие, такое трудолюбивое и тем не менее так презираемое существами, столь глубоко порочными, столь бесполезными и тупоумными. Эти последние, чтобы избавиться от необходимости быть справедливыми по отношению

к цветным, имели глупость сообщить Франции в начале Революции, будто на островах нет третьего сословия, конечно, с целью не пробудить во французском народе чувства отеческой нежности. какое он мог питать по отношению к людям полезным, которые познали ту же участь, что и он, только в другом полушарии; впрочем, сейчас не время входить во все эти подробности, я ограничусь здесь рассмотрением различных категорий людей, населяющих Сан-Доминго, ибо тут вы нащупаете нить, которая, несомненно, приведет вас к истокам происходящих волнений.

Последний класс — это рабы, класс, наиболее многочисленный, ибо он насчитывает свыше 400 тыс. душ, в то время как белые, мулаты и свободные негры, вместе взятые, составляют едва ли шестую часть этого количества.

Я не стану задерживать ваше внимание описанием участи этих несчастных, лишенных своей свободы, своей родины, чтобы без малейшей надежды удобрять своим потом и своей кровью чужую почву под свист бичей жестокосердных хозяев. Несмотря на двойную пытку — изнывать в рабстве и видеть рядом свободно живущих людей, рабы в Сан-Доминго оставались покорными до последних смут, даже среди сильных потрясений, охвативших наши острова; иногда до них доносилось пленительное слово «свобода»; и тогда сердца их бились сильнее, ведь сердце негра, так же как и наше, стремится к свободе (*аплодисменты*); и тем не менее они молчали, они продолжали влечь свои цепи в течение двух с половиной лет, и если они их сбросили, то лишь по наущению людей жестоких, с которыми вам предстоит познакомиться.

Вот какого рода люди населяют Сан-Доминго; и на основе моего беглого описания можно догадаться, какие чувства должны были охватить каждый из классов при известии о Французской революции. Честные колонисты и добропорядочные собственники поверили в то, что навсегда избавятся от деспотизма министров, что его заменит колониальное народное правление; и они полюбили Революцию. Цветные усмотрели в ней надежду на уничтожение предрассудков, державших их в позорном состоянии, на восстановление их прав; и они тоже полюбили Революцию. Колонисты-расточители, которые до сих пор раболепствовали в передних интендантов, губернаторов или министров, с восторгом встретили унижение последних; и, чтобы со всей дерзостью выразить им свое презрение, они превозносили свободу, как все настоящие политические хамелеоны, которых мы видели то лакеями двора, то лакеями народа, которые нацепляли, сбрасывали и вновь нацепляли то символы рабства, то национальную кокарду. (*Аплодисменты*.) Колонисты свергли министров деспотизма, ибо, подобно дворянам во Франции, они надеялись сами остаться полновластными деспотами.

«Маленькие белые», до сих пор удерживаемые на их землях администрацией, частенько подвергавшиеся наказаниям с ее

стороны, жадно ухватились за возможность низвергнуть, разбить вдребезги идолов, перед которыми они были вынуждены падать ниц. Итак, первый клич, всеобщий клич на островах, был во славу свободы; второй клич во имя личного деспотизма раздался среди колонистов-расточителей и «маленьких белых», меж тем как честные колонисты и цветные жаждали только порядка, мира и равенства; и вот где, господа, источник распрей, раздирающих наши острова.

Я счел нужным воспроизвести эту широкую картину, этот серьезный социальный анализ прежде всего потому, что он действительно дает ключ к событиям, а во вторую очередь потому, что она лишней раз доказывает, насколько поверхностны и ложны упреки в исключительной приверженности к «абстрактной идеологии», адресованные Революции\*, одновременно такой идеалистической и такой реалистической. Это не означает, что каждая из этих важных черт не требует некоторых поправок или смягчения. Так, из самих писем, которые я цитировал, когда речь шла об Учредительном собрании, становится ясно, что «маленькие белые» были более разобщены, чем это изображает Бриссо. Некоторые из них по крайней мере приняли сторону цветных, отчасти побуждаемые духом справедливости и великодушия, отчасти из ненависти к белой аристократии. Но точно так же, как мы видели плебеев-христиан, объединившихся против евреев с патрициями-христианами в надежде на легкую поживу, возможно, что и плебеи среди мелких белых колонистов, не обладавшие ни социальной устойчивостью, ни классовым сознанием, примкнули к аристократии крупных белых собственников, чтобы в первую очередь уничтожить, а затем ограбить мулатов-собственников.

Очень может быть также, что Бриссо, показывая дух аристократии и олигархии у определенной части белых колонистов, несколько преувеличивает влияние, которое оказали на их поведение гнетущие их долги. Гордость, желание удержать в подчинении мулатов и навсегда изгнать с острова всякую мысль об освобождении рабов в достаточной степени объясняют их сопротивление, их сепаратистские попытки. Но вот верное и глубокое наблюдение — задолженность огромного числа мятежных колонистов, их ярая реакционность, вызванная расстройством в их делах. Действительно ли они мечтали или даже замыслили, как это утверждал Бриссо в своей речи, отколоться от Франции? Желали ли они основать на островах чуть ли не независимое государство? Думали ли они о том, чтобы даже заменить верховную власть Франции чем-то вроде американского или английского протектората? Колонисты и умеренные решительно возражали против

\* Речь идет о реакционной концепции Французской революции, выдвинутой И. Тэнном, которую Жорес подверг критике в т. 1. *Приж. ред.*



подобных обвинений. Но на деле наверняка тут существовал, если можно так выразиться, некий конституционный сепаратизм. Крупные белые колонисты считали, что Декларация прав человека не создана для колоний, что законы, издаваемые Собраниями Франции, не подходят для них, и они относились к ним как к чему-то, не стоящему внимания. Колониальные собрания претендовали на полный суверенитет во всем, что касалось личного статуса.

Какое решение предлагали Бриссо и его друзья в условиях чрезвычайного кризиса? Среди жирондистов можно было наблюдать некоторые колебания. Бриссо, депутат от Парижа, был свободен в выражении своих чувств; но такие, как Жансонне, как Верньо, представляли Бордо, а крупная буржуазия портовых городов была крепко привязана к Революции, но так же крепко она была привязана к своим колониальным богатствам, а потому они оказались в более затруднительном положении. Надо отдать им справедливость: они не отступили от своего долга. Бриссо, который довольно охотно решал проблемы привлечением к суду, предложил весьма категорический декрет: распустить ныне существующие Колониальные собрания, предать Верховному суду их важнейших членов, обвиняемых в измене Франции, и вместе с ними губернатора Бланшеланда<sup>11</sup>, виновного в том, что он не разоблачил их сепаратистских и изменнических происков; создать новые Колониальные собрания, которые будут избраны при участии всех свободных людей, белых или цветных, при соблюдении единственно общих условий, которым должны отвечать и избираемые, и избиратели, условий, установленных для всех французских граждан.

И наконец, он требовал отправки комиссаров, отобранных из членов Собрания и снабженных официальным мандатом, дающим им полномочия провести в жизнь в Сан-Доминго, Мартинике, Сент-Люси и Гваделупе эти энергичные предписания. То было логическое завершение его речи, которую он закончил следующими грозными словами: «Все эти акты измены не останутся безнаказанными»<sup>12</sup>.

Однако это заключение было столь же решительным, сколь и незавершенным; и тут вновь проявляется странный ум Бриссо, который часто угадывал правильно, распутывал сложнейшие проблемы, бросался вперед как бы в импульсивном порыве по опасным путям, но не умел охватить взглядом все поле действий и не доводил до конца необходимые решения. Он всегда останавливался на полпути между осторожностью и большой отвагой, которая вновь превращалась в осторожность. Предложенному им декрету, смелому на первый взгляд, не хватало существенного условия: урегулирования положения черных рабов. Бриссо словно позабыл, что их восстание сейчас было в полном разгаре. В момент, когда они поднялись, угрожающие, страшные, нельзя было предавать осуждению их прямых врагов, крупных белых колонистов,

членов Колониальных собраний: это могло лишь чрезмерно разжечь надежды рабов. И что же предлагал им декрет Бриссо? Ничего. Он искоренял влияние олигархии белых; но он не организовывал колониальной демократии, к которой получили бы доступ постепенно освобождаемые негры, и это был ужасающий пробел.

## КОНКОРДАТ В ПОРТ-О-ПРЕНСЕ

Верньо и Гюаде не пошли по пути Бриссо, одновременно опасному и безнадежному. Они ограничили проблему гораздо более узкими рамками. Озабоченные тем, чтобы смягчить обиды и страхи крупных негоциантов Бордо, они не возражали против немедленной отправки войск, предназначенных для Сан-Доминго. Но они требовали, чтобы на вооруженные силы была возложена обязанность защищать все соглашения, все комбинации, которые способствовали бы сближению белых колонистов со свободными цветными. Два обстоятельства помогли им найти промежуточное решение. Прежде всего между белыми колонистами и свободными цветными в районе Порт-о-Пренса 11 сентября был заключен конкордат<sup>13</sup>. Белые колонисты, напуганные восстанием негров, попытались привлечь на свою сторону свободных цветных; они обязались соблюдать мартовский декрет (еще не зная, естественно, о декрете от 24 сентября, которым Учредительное собрание аннулировало свой майский декрет) и обеспечить свободному цветному населению политическое равноправие.

«*Статья 1.* Белые граждане будут действовать заодно с цветными гражданами и всеми своими силами и всеми своими средствами способствовать точному соблюдению всех параграфов декретов и инструкций Национального собрания, санкционированных королем; и сие без всяких ограничений и без всяких произвольных толкований.

11. Бланшеланд (1735—1793) — губернатор Сан-Доминго в 1789 г., принял сторону контрреволюционеров во время волнений на острове. Был смещен, препровожден во Францию, предстал перед Революционным трибуналом, был осужден на смерть и казнен 11 апреля 1793 г.

12. «Да, Франция обязана обеспечить белым гражданам защиту, безопасность, справедливость, но такие же обязанности у нее есть и по отношению к цветным. Франция обязана взять под защиту тех, кто обеспечивает обще-

ственный порядок. Она должна гарантировать безопасность тех, кто обеспечивает общественный порядок. Она должна гарантировать справедливость всем, в том числе и людям виновным». «Moniteur», X, 521; «Archives parlementaires», XXXV, 490.

13. «Moniteur», X, 538. На Западе, в районе Порт-о-Пренса, цветные взялись за оружие, разбили войска, посланные их рассеять, и навязали белым колонистам конкордат, предоставлявший им равенство политических прав.

*Статья 2.* Белые граждане обещают и обязуются ни прямо, ни косвенно никогда не противиться осуществлению декрета от 15 мая сего года, который, как говорят, еще официально не опубликован в этой колонии; они обязуются даже протестовать против всех возражений и требований, противоречащих положениям вышеназванного декрета, а также против любых обращений к Национальному собранию, к королю, к 83 департаментам, к различным торговым палатам Франции с целью добиться отмены этого благодетельного декрета.

*Статья 3.* Вышеупомянутые граждане просят в ближайшем будущем созвать и открыть колониальные и первичные собрания всех активных граждан в соответствии со статьей 4 инструкции Национального собрания от 28 марта 1790 г.

*Статья 4.* Делегировать непосредственно в Колониальное собрание депутатов, избранных среди цветных граждан, которые получат как депутаты свободных граждан право совещательного и решающего голоса...

*Статья 7.* Цветные граждане требуют, чтобы в соответствии с законом от 1 февраля сего года<sup>14</sup> и дабы не оставалось ни малейших сомнений в искренности готового свершиться объединения отныне были прекращены и отменены все проскрипции; чтобы лица, подвергшиеся высылке, а также те, против которых были вынесены приговоры в связи с волнениями, имевшими место в колонии с начала Революции, были немедленно возвращены и взяты под священную и непосредственную защиту всех граждан, чтобы в надлежащем порядке и торжественно была восстановлена их честь...»

Совершенно ясно, что если бы этот дух царил в колониях с самого начала, если бы он был всеобщим и искренним, то согласие между белыми колонистами и свободными цветными предотвратило бы волнения и позволило бы разумно и спокойно взяться за разрешение проблемы рабства. Но уже в тот момент, когда уполномоченные национальной гвардии белых колонистов Порт-о-Пренса и уполномоченные национальной гвардии цветных того же города обсуждали, «какие средства наиболее пригодны для того, чтобы примирить граждан всех классов и предотвратить развитие восстания и его последствия, восстания, угрожающего всем без исключения классам в колонии», уже тогда чувствовалось, что это лишь чисто местное непрочное соглашение и что оно полно недомолвок.

Так, например, в то время как все статьи были приняты без оговорок, одна, та, что касалась амнистии для цветных людей, заканчивалась следующими словами: *Принять в части, касающейся нас*<sup>15</sup>. Уполномоченные не осмеливались взять на себя ответственность за чувства людей, которых они представляли. И цветные выразили вполне оправданное недоверие статье 11: «Вышеупомянутые цветные граждане, кроме того, отмечают, что

искренность, доказательство которой им только что явили белые граждане, не позволяет им умолчать об опасениях, которые их волнуют; а потому они заявляют, что никогда не откажутся от признания своих прав, а также прав своих братьев из других округов, что они были бы очень огорчены и опечалены, если бы готовое свершиться в Порт-о-Пренсе и в других местностях той же области примирение натолкнулось на трудности в других областях колонии; они заявляют, что, случись такое, никакие преграды не смогут помешать им объединиться с теми из их братьев, которые по причине старинных злоупотреблений колониального режима встретили бы препятствия в признании своих прав и, следовательно, в достижении счастья».

Итак, цветные, столь жестоко обманываемые в продолжение двух лет, благородно оставляют за собой право присоединиться к своим братьям, если соглашение, заключенное в Порт-о-Пренсе между двумя расами, не будет распространено на весь остров. Мы видим, насколько хрупким было это соглашение. Большинство белых колонистов, кстати, почти не считались с ним. Тон и речи делегатов, заслушанных в Законодательном собрании, достаточно ясно показывают, что соглашение, заключенное в Порт-о-Пренсе, не отражало подлинного настроения умов. И все же Верньо, Гюаде, Дюко<sup>16</sup> приняли этот конкордат всерьез, и вся их тактика была направлена на то, чтобы придать ему общий характер и укрепить его. Возможно, они и впрямь лелеяли надежду положить таким образом конец волнениям. Возможно, кроме того, что они были счастливы сообщить бордоским негодьям, что в конце концов, обеспечив свободным цветным политическое равноправие, они лишь санкционировали пожелания самих белых колонистов. И последнее — этот конкордат давал им возможность обойти декрет, принятый Учредительным собранием 24 сентября. Учредительное собрание аннулировало свой декрет от 15 мая и постановило, что Колониальные собрания в конечном счете сами будут разрешать вопросы, касающиеся политических прав. Это означало полную капитуляцию перед особняком Массиак. Казалось, однако, что будет нелегко добиться от Законодательного собрания решения, прямо противоположного решению Учредительного собрания. Поэтому Верньо и его друзья заняли

14. Этим законом был учрежден институт гражданских комиссаров на Сан-Доминго, облеченных правом «приостанавливать рассмотрение уголовных дел, которые могли бы быть возбуждены в связи с волнениями, имевшими место в этой колонии, а также исполнение тех приговоров, которые могли бы быть вынесены». «Moniteur», VII, 284.

15. «Moniteur», X, 539.  
16. Гюаде (1738—1794) — адвокат, председатель уголовного трибунала в департаменте Жиронда в 1790 г., депутат Законодательного собрания, а затем Конвента. Дюко (1765—1793) — негодья из Бордо, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента.

позицию, находящуюся, так сказать, вне пределов законных действий. Они ухватились за договор, подписанный в Порт-о-Пренсе, как за частное соглашение, и поручили войскам, отправляемым в Сан-Доминго, обеспечить его осуществление и помочь его распространению. В то же время Жиронда старалась насколько возможно отделить интересы негоциантов портовых городов Франции от интересов белых колонистов. По сути дела, между теми и другими не было коммерческих связей. Крупные арматоры и коммерсанты Бордо отнюдь не были заинтересованы в том, чтобы поддерживать на острове Сан-Доминго гнет белой олигархии. Предоставление свободному цветному населению политических прав отнюдь не подрывало товарооборот, напротив, оно даже ему благоприятствовало, создавая для колониального режима более широкую основу. Но многие негоцианты портовых городов являлись членами командитных товариществ и кредиторами белых собственников в Сан-Доминго, и, опасаясь потерять свои капиталы, они безрассудно поддерживали претензии своих должников.

Жиронда старалась доказать бордоским капиталистам, что они поступают неблагоприятно и что их подлинные интересы требуют организации в колониях законной процедуры, которая позволит кредиторам легко взыскивать причитающиеся им суммы. Несколько членов бордоского Общества друзей конституции, отчасти по убеждению, отчасти, чтобы помочь депутатам-жирондистам выпутаться из затруднительного положения, написали в Собрание письмо в этом духе<sup>17</sup>, и Бриссо поторопился возрадоваться этому в своем выступлении 3 декабря<sup>18</sup>:

«Какого бы мнения вы ни придерживались, — сказал он, — самая срочная задача состоит сейчас в том, чтобы внушить доверие коммерсантам и арматорам, которые поддерживают непосредственную связь с колониями и могут предоставить им спасительные авансы. Однако вы не сможете внушить такое доверие, пока не искорените основной порок в режиме колоний, порок, который неизбежно влечет за собой великий беспорядок и внушает недоверие капиталистам, а также тормозит распашку новых земель. Все плантаторы, приступая к подъему целины, требовали авансы у метрополии; между тем негоциант не может наложить арест на плантации для обеспечения выплаты данного им аванса, когда он требует возвращения долга от нечестного или недобросовестного плантатора. Кредитор фактически находится в его власти; из страха перед произволом своего должника он соглашается на новые авансы, дабы не потерять тех, какие уже предоставил, а должник, уверенный в своей власти, не знает удержку в своих требованиях, всегда сопровождаемых угрозой разорить своего заимодавца. Отсюда и столь безграничное пренебрежение колонистов к любому закону, ко всем принципам, к любой морали; отсюда их безумная роскошь, их фантазии, не знающие пределов, — одним словом, все их поведение, напоминающее во всем поведение

богатых мотов, в которых дурное воспитание вскормило всякие пороки; отсюда и их разорительные взаимоотношения с кредиторами, ведущие к повышению цен на товары, насущно необходимые плантаторам как для процветания их предприятий, так и для повседневного потребления.

Могут ли люди, окруженные с колыбели рабами, люди, которые не знают никакой узды, научиться правилам и обязанностям разумной бережливости? И может ли тот, кто ссужает их деньгами, принять другие меры предосторожности, кроме как создавать условия, служащие ему страховой премией, гарантирующей его против ненадежного должника? Следует ли удивляться этому постоянно гнетущему бремени долгов, которое заставляет колонистов всегда жаждать перемен и которое держит в вечном страхе их кредиторов.

Капиталисты боятся не столько потери торговли и колоний (ибо они покоятся на солидно обоснованных договорах), сколько банкротства, которое враз поглотило бы значительные капиталовложения и на долгое время прервало бы их традиционные связи. Вот, господа, в чем заключается секрет союза, который так долго связывал колонистов с негоциантами. Первые бесцеремонно диктовали свою волю вторым. Они говорили коммерсантам: предоставьте нам во Франции кредит, чтобы мы могли раздавить наших врагов, потакать нашей спеси и т. д. Вот каков этот союз, породивший в защиту колонистов вопреки филантропии умоляющие адреса, в которых попираемые кредиторы еще вынуждены защищать и превозносить своих должников, в глубине души ими ненавидимых. Вот каков этот союз, который город Бордо, к чести своей, первым порвал, восстав против несправедливых притязаний колонистов; он, наконец, осознал, что солидная торговля, особенно в свободной стране, может покоиться только на уважении принципов и обязательств и что не подобает людям свободным обманывать свою совесть ради продажи нескольких бочек вина или получения какой-то прибыли на свой капитал; он осознал, что добрый закон о торговле с колониями сослужил бы лучшую службу колониальной торговле и обеспечению долга колоний, нежели торговля, основанная на лжи и оскорблениях. (*Аплодисменты.*)

Прийти в настоящий момент на помощь арматорам метрополии означает прийти на помощь колонистам: вы неизбежно откроете им новый источник кредита, который очень скоро возместит их потери. Издав закон, предоставляющий кредиторам реальное право накладывать арест на собственность должников, не имеющий обратной силы, вы обеспечите им помощь, неизмеримо более значительную и более плодотворную, нежели любые деньги, какие

17. «Moniteur», X, 421, заседание Законодательного собрания 20 ноября 1791 г. «Мы видим, что при сложившемся положении цвет-

ные являются оплотом колоний».

18. «Moniteur», X, 534; «Archives parlementaires», XXV, 536.

вы имеете возможность извлечь из национальной казны, чтобы подарить им или дать взаймы... Почему бы, господа, колонистам противиться справедливому во многих отношениях закону? Такой закон существует в английских колониях. И это первый закон, какой ввели бы англичане, если бы измена, предполагавшая сделать их хозяевами наших колоний, увенчалась успехом»<sup>19</sup>.

Жиронда приложила много усилий, чтобы разъединить негониантов и колонистов, и, по правде говоря, как могла она продолжать в колониях политику Бриссо, вооружив ее против себя буржуазию портовых городов, представителями которой были ее наиболее выдающиеся деятели?

### ДЕЛЕГАТЫ С МАРТИНИКИ

Тактике Жиронды весьма удачно способствовали делегаты Сен-Пьера с Мартиники. В Сен-Пьере, как мы уже видели, были негонианты, которые играли в отношении крупных землевладельцев острова ту же роль заимодавцев, капиталистов, какую торговая буржуазия портовых городов Франции играла в отношении землевладельцев Сан-Доминго. И вот негонианты явились к барьеру Законодательного собрания, чтобы пожаловаться именно на недобросовестность и реакционные расчеты своих погрязших в долгах должников. Делегаты Крассу и Кокий-Дюгомье выступили в Собрании 7 декабря<sup>20</sup>. «Во имя истины я обязан сказать, что первые веяния свободы взволновали одинаково все округа Мартиники, все с известным энтузиазмом приветствовали разрушение Бастилии. Но результаты этого энтузиазма были не везде одинаковы; радость была искренней в Сен-Пьере; граждане его считали, что они являются частью нации, что они не могут сбиться с пути, пока идут вместе с нею; они возлагали все надежды на великие принципы равенства и свободы; они создали комитет, муниципалитет, народные собрания, национальную гвардию; они забыли, что они были кредиторами, и в деревнях они приобрели много друзей, подражателей, буквально целые приходы; во всяком случае, у них появилось много сторонников».

Однако в Колониальном собрании, которое граждане Сен-Пьера сами и создали, они очень скоро оказались в меньшинстве среди крупных собственников. «Окружение губернаторов, владельцы крупнейших поместий, командиры милиции или стремящиеся стать таковыми, почти все поголовно погрязшие в долгах, подчинили Революцию своим корыстным и честолюбивым расчетам, и Колониальное собрание стало для них лишь средством установления своей власти».

Делегаты Сен-Пьера напоминают (и мы уже отметили этот факт), что крупным белым землевладельцам удалось натравить мулатов на негониантов и капиталистов Сен-Пьера. Ничто не могло

бы вызвать более сильного недовольства со стороны негониантов Франции, чем подобный союз. Как! Белые колонисты Сан-Доминго сетуют на то, что свободные цветные, которых они столь долгое время отталкивали, объединяются с взбунтовавшимися неграми! А белые колонисты на Мартинике, дабы восстать против своих кредиторов, против негониантов, разжигают бунты среди свободных цветных и даже среди рабов! Не ясно ли, что белые колонисты являются повсюду, как в Сан-Доминго, так и на Мартинике, потерявшими совесть должниками? Бордоская буржуазия должна бы почувствовать некоторое беспокойство, и делегаты Сен-Пьера, безусловно, произвели впечатление, когда на примере г-на Дюбюка показали, к каким предательским и подлым ухищрениям способны прибегнуть должники на островах, чтобы избежать уплаты своих долгов. «Г-н Дюбюк-отец, бывший служащий морского ведомства и генеральный интендант колониального ведомства, должен государству солидную сумму в 1 580 627 французских ливров плюс проценты с этого капитала за два года, составляющие 26 тыс. ливров. Под эту сумму, подтвержденную договором, заключенным с г-ном де Кастри, морским министром, 22 февраля 1786 г., была выдана закладная на поместье, расположенное в округе Трините на Мартинике; ссуда была ему предоставлена для устройства рафинадного завода».

Еще задолго до Революции г-н Дюбюк письменно возражал против концентрации торговли в Сен-Пьере, он мечтал привлечь ее в округ, где находился его сахарный завод. В 1787 г. тогдашнее Колониальное собрание побудило переложить бремя колониального налога на торговлю Сен-Пьера, и он внушил сельским жителям желание разрушить этот город.

Город был объявлен врагом колонии, ибо он был в дружеских отношениях с метрополией; поклялись его погубить, ибо он являлся непреодолимым препятствием для осуществления планов, содержание которых я узнал из писем господина Бельвю-Бланшетьера, чрезвычайного депутата Колониального собрания. Я не стану приводить здесь все его желчные выпады против Учредительного собрания, нового порядка вещей; но вот что он писал 28 марта 1790 г. г-ну Дюбюку-сыну:

*«Я полагаю возможным, что в тот час, когда Вы будете читать это письмо, если оно, конечно, дойдет до Вас, Вы уже будете*

19. Бриссо предложил «поручить Законодательному комитету и Колониальному комитету подготовить закон об ипотеке, не имеющий обратного действия, с целью защитить интересы кредиторов плантаторов» «Moniteur», X, 536.

20. «Moniteur», X, 567; «Archives parlementaires», XXXV, 623 Крассу (1745—1829) — адвокат при Высшем совете Мартиники, в дальнейшем — депутат Конвента. Дюгомье, по прозвищу Кокий (1738—1794), — депутат от города Сен-Пьер, командир волонтеров-конфедератов Мартиники, генерал Итальянской армии 1793 г.

*подданным Англии. Ежели это случится, подумайте о том, что предстоит сделать важный шаг в связи с долгом г-на Дюбюка королю. Этот долг тогда перейдет к королю Англии; следовало бы представить соглашения, оформленные здесь, которые лишили бы победителей права требовать уплаты этого долга».*

Поистине это было довольно поспешно выраженное мнение по поводу господства Англии [во французских колониях]; а когда кто-то столь готов предвидеть, что победа врага возволит ему избавиться от долга Франции, то он не так далек от того, чтобы желать ее.

Таким путем негодянты из Сен-Пьера помогали Жиронде пробудить недоверие буржуазии портовых городов к белым колонистам.

Между тем при всех этих схватках вопрос о рабах не был ясно поставлен. Фактически в Законодательном собрании шла борьба между двумя различными системами подавления восставших негров. Делегаты колонистов Сан-Доминго желали, чтобы Франция послала войска, дабы расправиться одновременно и с черными рабами и с примкнувшими к ним свободными цветными.

Жиронда во главе с Гюаде и Верньо хотела, чтобы в основу умиротворения был положен конкордат от 11 сентября, заключенный в Порт-о-Пренсе, чтобы примирили белых колонистов с цветными, предоставив последним политическое равноправие, и тогда с помощью этой вновь обретенной силы положили конец восстанию рабов. Но никто не предложил пойти хоть на малейшую уступку рабам, дать им хоть какое-нибудь обещание, чтобы их умиротворить.

## РЕЧЬ БЛАН-ЖИЛЛИ

Блан-Жилли, депутат от департамента Буш-дю-Рон, возмущился этим молчанием, он подготовил свои соображения «о полной бесполезности мер, предпринимаемых для успокоения волнений в Сан-Доминго, если одновременно не улучшить положение негров-рабов, если не запретить колонистам чрезмерную жестокость, какую они себе позволяют по отношению к последним»<sup>21</sup>.

Он сказал:

«Можно ли удивляться этому восстанию негров? Кто из нас не слышал с самого детства, что колонии погибнут когда-нибудь из-за поголовного истребления [белых]? Кто из нас не слышал о многочисленных попытках, которые предпринимают негры вот уже более века, чтобы сбросить иго своей нестерпимой неволи? Кто из нас, наконец, может не знать, что месть рабов уничтожила величайшие империи?»

И он утверждал, что Собрание, всецело поглощенное раздорами между белыми колонистами и мулатами, кажется, совершенно забыло о черных рабах.

«Как! Наиболее многочисленный, наиболее униженный из трех классов не имеет никаких прав и даже права заставить считаться со своими жалобами! Разве не естественно было бы изучить вопрос о причинах его отчаяния, вместо того чтобы призывать к порядку того из нас, кто хочет произнести хотя бы слово в защиту негров? Ужасающая доля негров-рабов еще недостаточно известна, а те, кто имеет хоть какое-то представление о ней, бесспорно, думают, что нет никакой возможности мало-мальски облегчить их положение... Очень важно опровергнуть эту мнимую невозможность смягчить без осложнений чрезмерную жестокость рабства».

И депутат от Буш-дю-Рон, делясь своими воспоминаниями, поведал о ряде случаев жестокости, о которых он узнал еще в детстве, из рассказов мореплавателей:

«Истерзанные в ключья, они тысячами погибали под ударами бича или же сами кончали с собой, разбивая голову о камни, к которым они были прикованы. Поверите ли вы, что не падают даже женщин, которые вот-вот должны родить? Поверите ли вы, что после восьми лет работы, когда у самого сильного человека истощаются все силы, его безжалостно выгоняют, предоставляя ему питаться мышами и падалью? Путешественник нередко наталкивался в пути на подобное страшное зрелище, когда один труп пожирает другой. Назвать вам двух знаменитых братьев, богатых колонистов из Порт-о-Пренса, которые сожгли нескольких своих негров, причем вина одного из них состояла лишь в том, что он пересолил рагу? Назвать ли вам кое-кого из колонистов с Мартиники, которые недавно жгли своих негров на кострах? Гваделупа породила даже одного такого, который обрекал своих рабов на медленную смерть, заставляя их глотать горячую золу; и если они порой разбивают свои цепи, то можете ли вы представить себе, что на этих несчастных беглецов устраивается облава, как на диких зверей, что их травят собаками и, когда в конце концов загоняют до смерти, головы их торжественно несут в город? Вот какой ценой выращиваются роскошные яства, предназначенные для нашей услады».

Блан-Жилли предложил план постепенного освобождения и гарантий, который необходимо здесь процитировать, ибо, если я не ошибаюсь, то была первая попытка поставить вопрос перед французским Собранием, и в этом смысле план Блан-Жилли, хотя дело не дошло до обсуждения, хотя его и не вынесли на трибуну, а только распространили в печатном виде, хотя он в тот момент показался попыткой, чуть ли не скандальной, о которой

21. Блан-Жилли — негодянт из Марселя, член администрации департамента Буш-дю-Рон, депутат Законодательного собрания. Выступление Блан-Жилли состоя-

лось 11 декабря 1791 г., в «Монитер» об этом не было никакого упоминания. (См.: «Archives parlementaires», XXXV, 713.)

следовало бы молчать, был тем не менее прелюдией к законам об освобождении негров и потому приобретает подлинно историческое значение:

*Статья 1.* На всем протяжении французских владений колонисты отныне не имеют права, ни под каким предлогом, подвергать своих рабов побоям и статья Свода законов о неграх, ограничивающая допускаемое количество ударов кнута, отменяется.

*Статья 2.* Колонист, который подвергнет своего раба наказанию бичом, теряет на него все права. Колонист считается уличенным в преступлении, если шесть посторонних свидетелей, не из числа его рабов, подтвердят этот факт своими показаниями в суде. Полицейский суд обязан принять устную жалобу раба. В течение трех дней, заслушав свидетелей, суд выносит приговор об освобождении раба, если факт будет подтвержден.

*Статья 3.* Колонист, у которого возникнет недовольство кем-либо из его рабов по причине отказа от работы или в случае воровства, может потребовать его наказания на основании нижеизложенного постановления. В центре каждого кантона будет учреждена тюрьма. В эту тюрьму, которая будет называться арестным домом для негров, будут заключаться те, на кого поступят жалобы от их хозяев. Их можно будет обменивать на определенный срок, по соглашению между их господами, если же обмен не состоится, негр останется в заключении и будет содержаться за счет своего хозяина...

*Статья 6.* Негры, которые потеряли трудоспособность вследствие увечья или старости, должны по-прежнему продолжать получать пропитание, а хозяев, которые бы в этом отказали, обязать содержать их в богадельне при больнице, куда негры явятся.

*Статья 7.* Рабам, у которых окажется достаточно средств, чтобы выкупить себя, это будет отныне разрешено, если они того потребуют. Сумма выкупа определяется средней продажной ценой на рынке в течение года. Документ об освобождении выдается безвозмездно и без взимания каких бы то ни было пошлин.

*Статья 8.* Дети негров-рабов отныне считаются свободными от рождения. Хозяева вправе требовать от них посильных им услуг до двенадцатилетнего возраста, предоставляя им за это пропитание, а по истечении этого срока дети негров могут требовать сверх того по два су в день, пока им не исполнится семнадцать лет, если они захотят остаться у своих хозяев...

*Статья 10.* Негры, которые к данному моменту состоят в рабстве четыре года у одного и того же хозяина, будут освобождены и отпущены на волю в течение четырех лет, начиная с опубликования настоящего закона. Вновь купленные негры будут освобождены и отпущены на волю на тех же условиях через восемь лет со дня их первой продажи с торгов. С этого времени они обязаны будут работать либо на себя, либо наниматься поденно. Дневной заработок составит 6 франков в колониальных деньгах и пропи-

тание. В городах дневной заработок не будет твердо установлен, но муниципалитеты должны будут лимитировать число работающих там негров, с тем чтобы не пострадала торговля и чтобы негры из сельских местностей не уходили в города».

Бесполезно спорить о целесообразности этого плана, поскольку Собрание даже не стало его обсуждать. Но это была первая попытка разрешить проблему рабства в законодательном порядке, и, с каким бы пренебрежением и даже подозрением к ней ни отнеслись, она сохраняет для истории большую ценность.

Все партии в Законодательном собрании согласились отложить решение вопроса о черных рабах. Но даже проект Гюаде и Верньо, при всей его умеренности, лишь признававший акт конкордата между свободными цветными и белыми колонистами и предлагавший более широкое его распространение, натолкнулся на сопротивление большинства. Умеренные ссылались на то, что Учредительное собрание своим сентябрьским декретом, имевшим конституционную силу, отменило предыдущие декреты, благоприятные для цветного населения, и предоставило Колониальным собраниям право решать вопрос совершенно самостоятельно. Вмешиваться, дабы придать почти законную силу конкордату, который предоставлял свободному цветному населению политические права, значило бы нарушить или извратить декрет Учредительного собрания, а значит, нарушить саму конституцию. И так велика была власть собственнических интересов и так велик был первое время в Законодательном собрании чуть ли не суеверный пиетет перед делами Учредительного собрания, что Гюаде и Верньо пришлось отказаться от своего предложения

## ДЕКРЕТ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 1791 г.

Жансонне, депутату от Бордо, пришлось урезать это предложение до такой степени, что оно лишалось всякого значения, ибо в нем уже не было речи о том, чтобы распространить конкордат на весь остров, но только о том, чтобы помешать попыткам его нарушения<sup>22</sup>. Вот этот бледный и беспомощный декрет, принятый 7 декабря<sup>23</sup>:

22. Прения были чрезвычайно сумбурными, выдвигались самые противоречивые предложения. Они возобновились 6 декабря 1791 г. После дискуссии, которая не дала ничего нового — повторялись лишь уже не раз приводившиеся аргументы, опасения и обвинения, — Собрание отка-

залось отложить посылку войск и открыло дебаты, дабы найти формулу, ограничивавшую дозволенное использование отправленных подкреплений. «Moniteur», X, 558, 563, 567.

23. «Moniteur», X, 568; «Archives parlementaires», XXXV, 640.

«Принимая во внимание, что согласие между белыми и свободными цветными способствовало главным образом прекращению негритянского восстания в Сан-Доминго; что это согласие привело к ряду соглашений между белыми и цветными и к принятию 20—25 сентября текущего года Колониальным собранием, заседавшим в Капе, различных постановлений, касающихся цветных, Национальное собрание

постановляет данным декретом: обратиться к королю с просьбой, чтобы он распорядился, дабы национальные военные силы, предназначенные для отправки в Сан-Доминго, были использованы исключительно для подавления восстания негров и чтобы их ни прямо, ни косвенно не использовали для защиты или поддержки попыток, имеющих своей целью посягнуть на статус свободных цветных, как он был определен в Сан-Доминго 25 сентября текущего года».

Между тем Колониальное собрание в Капе отнюдь не признало за свободными цветными политических прав. Оно лишь предоставило им право собирать для составления петиций и «объявило о своем намерении улучшить их положение». Это была постыдная уловка, а декрет Законодательного собрания — жалкое, слабое отражение лицемерия колонистов — был бессилем восстановить мир на острове.

Новости, доходившие до Собрания в декабре, январе, феврале, марте, еще более усилили волнение общественности; беспорядки пирились: свободные цветные, доведенные до отчаяния, мало доверяющие ненадежным конкордатам, которые были заключены в некоторых местностях острова, объединялись с восставшими неграми или даже сами подстрекали их к бунтам. И казалось даже, что там, где свободные цветные сохраняли спокойствие, черные рабы тоже не восставали. Словом, с каждым днем делалось все очевиднее, что если и сохранялся шанс умиротворить остров, то он заключался в том, чтобы вновь привлечь на свою сторону мулатов, предоставив им политическое равноправие.

## РЕЧЬ ГЮАДЕ В ЗАЩИТУ ЦВЕТНЫХ

Умеренные, представители белых колонистов тщетно упорствовали в своем сопротивлении. Необходимость перемен с каждым днем становилась все более настоятельной; впрочем, влияние Жиронды непрерывно возрастало, и во второй половине марта, как раз в тот момент, когда жирондистское министерство пришло к власти, начались решающие прения. Открыл их Гюаде, который со свойственным ему язвительным и пылким красноречием настаивал на том, что декрет от 24 сентября, принятый Учредительным собранием, не является частью конституции, что ввиду этого его можно изменять и что этого требуют соображения политики<sup>24</sup>.

Как бы для того, чтобы лучше подчеркнуть в этом вызывавшем столько споров вопросе о колониях победу жирондистов над фейянами, Гюаде не раз цитировал речь Барнава, произнесенную тем в сентябре 1791 г., чтобы опровергнуть ее. Этот своего рода ретроспективный бой против Барнава свидетельствует о яркой памяти, оставленной молодым и блестящим поборником умеренной буржуазии. «Я изучаю, — восклицал Гюаде, — только принцип, установленный г-ном Барнавом, и, заимствуя его собственные выражения, повторяя вслед за ним, что прошлое — это преддверие будущего<sup>25</sup>, я вам заявляю: хотите спасти Сан-Доминго? Отмените декрет от 24 сентября и сохраните в силе декрет, принятый в мае. В этом отношении не остается больше ни сомнений, ни неуверенности, все заинтересованные стороны признали, что лишь эта мера принесет спасение колониям; заключенный между заинтересованными сторонами конкордат заранее осудил как губительный декрет от 24 сентября. Желать его исполнения значило бы желать полного разрушения колоний, это значило бы навлечь на королевство самые большие, самые тяжкие бедствия. Спешите же, — восклицаю я в свою очередь, — немедленно разрешить вопрос так, как я имею честь вам предложить. Не страшитесь крупной, широкой и решительной акции, которая должна, несомненно, спасти наше отечество; ваше сегодняшнее обсуждение будет решающим для судеб Франции; ибо не заблуждайтесь: если вы, сохранив декрет от 24 сентября, оставите на усмотрение белых колонистов политический статус цветных, то Сан-Доминго погиб и вы оставите в наследство вашим потомкам не только вечную войну и нескончаемые восстания, но и на месте самой процветающей в мире колонии — развалины и кучи пепла».

Разоблачая малодушные и ошибочную точку зрения Барнава, он горячо восклицает: «Представители народа поверили, что угнетатели более сильны, нежели угнетенные, и покинули последних на произвол судьбы, опасаясь, что колония погибнет вместе с ними. К счастью, однако, этот расчет, столь обескураживающий для друзей свободы, оказался ложным; тираны (то есть белые колонисты) оказались слабее, да что я говорю, они оказались побежденными, они даже не посмели сопротивляться; они не посмели воспользоваться этим декретом, который, как имели наглость утверждать мятежники из их партии, должен был обеспечить спасение колонии; они его аннулировали заранее, и только этой мерой они спасли свою собственность, свою жизнь да и всю

24. «Moniteur», XI, 711 et 714, заседание Законодательного собрания 23 марта 1792 г., «Archives parlementaires», XL, 405.

25. «Прошлое — всегда лишь пред-

дверие будущего, и у последнего следует спрашивать совета по поводу мер, наиболее подходящих для спокойствия колоний» (Барнав).

колонии... Какая же причина может вас еще удерживать? О вы, принявшие этот варварский, но необходимый, по вашей мысли, декрет, что же вы медлите его отменить? Вы дали мне лекарство для исцеления, но выяснилось, что оно должно меня убить; неужели вы допустите, чтобы я его проглотил, неужели не вырвете у меня из рук роковой чаши? (*Продолжительные аплодисменты.*)

Простите, господа, что я так настаиваю на этом вопросе, но ведь вся трудность заключена именно в нем. Ибо — я говорю об этом с сожалением, но обязанности, которые я здесь выполняю, обязывают меня к этому — что следует изучить в первую очередь? Следует установить, какой из двух декретов, от 8 марта или от 24 сентября, должен погубить колонии; не потому, что, на мой взгляд, судьба Франции навечно зависит от их сохранения, но потому, что по крайней мере в данный момент дело обстоит именно так; потому что в связи с бедствиями, неразрывно связанными с Революцией, перед лицом усилий, которые делаются со всех сторон, дабы заставить ее отступить, среди опасностей всевозможного рода, которые нам угрожают, внезапная потеря наших колоний могла бы иметь решающее значение для потери нашей свободы.

Стало быть, — скажут мне, — вы жертвуете принципами ради выгоды; вы ставите политику выше справедливости... Ах, господа, как я далек от этой мысли: политика исходит от людей, а справедливость исходит от бога; и я надеюсь, что никогда об этом не забуду». (*Аплодисменты.*)<sup>26</sup>

Обратите, кстати, внимание на эту черточку деизма, которая, я думаю, осталась незамеченной и которая вспомнится нам, когда в скором будущем Гюаде резко осудит Робеспьера за то, что он произнес в Якобинском клубе слово «провидение»<sup>27</sup>.

У меня мало времени, и я могу дать здесь лишь слабое представление о великолепной речи Гюаде, столь настойчивой, столь богатой оттенками, где за острой и воинственной аргументацией скрывалось живое человеческое чувство. Я отмечу всего лишь два момента: то, что он говорит об общественном мнении в портовых городах, и то, что он говорит о так называемом конституционном и необратимом характере декрета от 24 сентября. «Мне, возможно, противопоставят совсем иные пожелания, высказанные некоторыми торговыми городами, и мне повторят то, что говорил г-н Барнав 23 сентября, а именно что интересы коммерсантов являются здесь интересами самой Франции. Однако в число этих торговых городов, надо полагать, не будет включен самый важный из них — Бордо, который не переставал требовать для свободных цветных гражданских прав и который, гордясь как таким своим поведением, так и оскорблениями, которые он благодаря ему навлек на себя со стороны г-на Марта де Гуи<sup>28</sup>, никогда от него не отрекался и никогда не отречется. Среди торговых городов,

которые возражают против отмены декрета от 24 сентября, наверняка не назовут и город Нант, который, получив наконец достоверные сведения о беспорядках на Сан-Доминго и о средствах их пресечения, как одно из этих средств назвал в петиции, подписанной 600 гражданами, отмену декрета от 24 сентября.

Кто же, собственно, остается? Гавр. Так вот, недурно вспомнить, что этот город поддерживает коммерческие связи в наших колониях только с белыми, что у него, кстати сказать, имеются там торговые дома и что, следовательно, интересы белых колонистов являются в некотором роде и его интересами.

Ну а не будь этого, господа, можно ли было бы понять ожесточение, какое проявили купцы этого города против цветных? Можно ли было бы понять, каким образом этот город, между прочим не чуждый патриотизма, мог превратиться в очаг заговора против принципов гуманности и справедливости, которыми руководилось Национальное Учредительное собрание в отношении цветных вплоть до 15 мая? Можно ли было бы понять жестокое злорадство, которое он так бурно выразил при известии о казни Оже\*? Можно ли было бы понять все эти проклятия, которыми он осыпал эту несчастную жертву ярости белых колонистов?»

Таким образом, жирондисты, конечно, не без преувеличения льстили себя надеждой, что за ними пошла в этом вопросе почти вся буржуазия портовых городов. Одно им, во всяком случае, удалось — расколоть ее.

Что касается второго момента, то, доказав, не без известных ухищрений, что Учредительное собрание, когда оно принимало декрет от 24 сентября, уже исчерпало свои конституционные полномочия, поскольку оно само объявило о завершении своей деятельности, Гюаде восклицает: «Господа, я не буду настаивать на том, что принцип, который я здесь отстаиваю, является оскорбительным для суверенитета народа; я ограничусь замечанием, что если долг честного гражданина состоит в том, чтобы горячо выразить свое уважение и свою любовь к Конституции, то отнюдь не пристало свободному человеку подчеркивать свое идолопоклон-

26. Жансонне предложил проект декрета, предоставлявшего мулатам и свободным неграм те же избирательные права (избирать и быть избранными), какими пользовались белые колонисты, и предписывавшего переизбрание новым избирательным корпусом колониальных и муниципальных собраний.

27. Намек на заявление Робеспьера в Якобинском клубе 26 марта 1792 г., оно не оставляет ни малейших сомнений в убеждениях

Робеспьера: Неподкупный верил в существование бога, души, загробной жизни.

28. Луи Март де Гуи д'Арси (1753—1794) — маркиз и негодянт, председатель избирательного собрания дворянства [на выборах в Генеральные штаты] в Мелёне, депутат Генеральных штатов, а затем Учредительного собрания от Западной провинции Сан-Доминго.

\* См. настоящее издание т. I, кн. 2, с. 180—181.



*ство перед учредительным корпусом и заявлять, будто он, подобно богу, сохраняет всю полноту власти после того, как завершил свое дело».* (Аплодисменты.)

Замечательные слова: ибо впервые, мне кажется, суверенитет народа был поставлен выше Конституции 1791 г. «Идолопоклонству» перед священным актом, который молодежь и старики торжественно перенесли в Законодательное собрание, сейчас был нанесен удар. Да и на самом деле, в вопросе колоний Учредительное собрание оказалось столь недалеким и столь непостоянным, что Франция не могла связать себя навеки последним из его противоречивых декретов.

### ДЕКРЕТ ОТ 24 МАРТА 1792 г.

Несмотря на хитроумные возражения Вьено-Воблана и Матьё Дюма, Собрание почти единогласно приняло предложение жирондистов. Жансонне зачитал его в окончательной редакции 24 марта 1792 г.

«Принимая во внимание, что враги общественного блага воспользовались такого рода разногласиями, чтобы подвергнуть колонии опасности полного развала, подстрекая к бунтам рабов на плантациях, дезорганизуя силы общественного порядка, внося раскол среди граждан, лишь объединенные усилия коих могли бы предохранить их собственность от ужасов разграбления и поджогов;

что этот подлый комплот, по-видимому, связан с проектами заговора, который затевался против французской нации и должен был осуществиться одновременно в двух полушариях;

принимая во внимание, что Национальное собрание имеет основания надеяться на любовь всех колонистов к своей отчизне, на то, что, позабыв о причинах их разобщения и о взаимных обидах, явившихся его следствием, они безоговорочно вернутся к чистосердечному и искреннему союзу, единственно способному предотвратить восстания, жертвами которых они все стали в равной мере, и дать им возможность наслаждаться благами прочного и длительного мира;

Национальное собрание постановляет, что дело это не терпит отлагательств. Национальное собрание признает и объявляет, что свободное цветное население и свободные негры должны наравне с белыми колонистами пользоваться равенством политических прав; и, установив безотлагательность этой меры, принимает следующий декрет:

*Статья 1. Немедленно после обнародования настоящего декрета во всех французских колониях на Навстринных островах и Подветренных островах приступить к переизбору Колониальных собраний и муниципалитетов в соответствии с правилами, пред-*

*писанными декретом от 8 марта 1790 г. и инструкцией Национального собрания от 28 числа того же месяца*<sup>27</sup>.

*Статья 2. Свободные цветные, мулаты и негры, будут, так же как и белые колонисты, пользоваться политическим равноправием; они будут допущены к голосованию во всех первичных собраниях и собраниях выборщиков и будут иметь право избираться на все должности, если они, конечно, будут отвечать условиям, предусмотренным статьей 4 инструкции от 28 марта.*

*Статья 3. Королем будут назначены гражданские комиссары; трое для колонии Сан-Доминго и четверо для островов Мартиника, Гваделупа, Сент-Люси и Табаго.*

*Статья 4. Комиссарам предоставляется право приостанавливать деятельность или даже распускать существующие ныне Колониальные собрания; принимать все необходимые меры для ускорения созыва приходских собраний и поддерживать в них единство, порядок и мир; а также временно, до обращения к Национальному собранию, решать все вопросы, какие могут возникнуть в связи с правилами созыва и порядком проведения собраний, порядком выборов и правом граждан быть избранными.*

*Статья 5. Они также облечены правом собирать любые сведения, какие смогут раздобыть, о зачинщиках беспорядков в Сан-Доминго и о продолжении этих беспорядков, если оно будет иметь место, устанавливать личности виновных, арестовывать их и препровождать во Францию для привлечения их к суду на основании декрета Законодательного корпуса, если таковой будет принят.*

*Статья 6. Гражданские комиссары обязаны в таких случаях направлять Национальному собранию доклады в форме протоколов, которые они составят, а также показания, которые они получат относительно упомянутых задержанных лиц.*

*Статья 7. Национальное собрание разрешает гражданским комиссарам прибегать к помощи сил общественного порядка всякий раз, когда они сочтут это необходимым, будь то для их собственной безопасности или же для осуществления приказов, изданных ими на основании предыдущих статей.*

*Статья 8. Исполнительная власть обязана содержать в колониях достаточное количество вооруженной силы, состоящей главным образом из национальных гвардейцев.*

*Статья 11. Законодательный комитет, комитеты торговли и колоний должны безотлагательно на объединенных заседаниях заняться составлением проекта закона, обеспечивающего кредиторам право брать в залог имущество своих должников во всех наших колониях».*

27. Декрет относительно формирования и компетенции Колониальных собраний (8 марта 1790 г.). Инструкция для коло-

ний, дополняющая декрет от 8 марта (28 марта 1790 г.). См. статью 4 этой инструкции.

Этот кардинальный декрет знаменует собой в колониальном вопросе конец политики фейянов и олигархии белых колонистов. Данные распоряжения были достаточно суровы для того, чтобы на сей раз декрет выполнялся. Правда, гражданские комиссары назначаются королем. Собрание не осмелилось назначить их самостоятельно. Однако в первой редакции Жансонне предусматривал, что комиссары будут отбираться не из членов Собрания, но назначать их будет оно само. Это уже шаг к суверенным полномочиям, которыми в дальнейшем будет наделять Конвент. Но Законодательное собрание возражало против этого; было решено почти единогласно — с одной стороны, фейянами, которые боялись пробить непоправимую брешь в исполнительной власти, с другой — жирондистами, делавшими вид, что они успокоились насчет действий короля после назначения новых министров, — отказаться от рассмотрения целесообразности обсуждения этого предложения.

Мерлен из Тионвиля, который почти в единственном лице представлял в Собрании антиколониальную политику, который, к великому возмущению всех своих коллег, потребовал, чтобы колониальные интересы были отделены от интересов метрополии и чтобы Сан-Доминго позднее сам оплатил расходы по экспедиции, предназначенной ему в помощь, этот Мерлен протестовал против того, чтобы комиссаров назначало Собрание. Он хотел возложить всю ответственность на короля; и в то же время он говорил о своем доверии к новым министрам.

Камбон протестовал против назначения комиссаров королем<sup>28</sup>. Он хотел, чтобы выбор комиссаров осуществлялся совместно королем и Собранием. «Я с горечью наблюдаю, — говорил он, — как друзья свободы сами собираются помогать агентам короля только потому, что новые министры вступают в должность». На самом деле сделанный выбор вполне удовлетворил Жиронду, поскольку спустя три месяца, 15 июня, Верньо предложил и добился принятия без прений дополнительного декрета, который еще более расширял власть гражданских комиссаров, предоставлял им право распускать не только Колониальные, но и провинциальные собрания и муниципалитеты, даровал им право требовать морские силы, чтобы обеспечить их высадку, и наделял их официальными знаками отличия, которые должны свидетельствовать об их власти<sup>29</sup>. «Гражданские комиссары будут носить при исполнении своих функций трехцветную ленту, повязанную через плечо; к ней будет прикреплена золотая медаль, на одной стороне которой выбиты слова: *Нация, закон и король*, а на другой — *Гражданский комиссар*». Это уже напоминает шарф членов Конвента, посылаемых с миссией в армии.

Гюаде в своей речи не ограничился тем, что опровергал теории и доклады Барнава в Учредительном собрании. Он нападал на него лично с чрезвычайной горячностью. Он говорил, что Бар-

нав принял «ярость клуба Массиак за ярость Сан-Доминго» и что Барнав и Малуэ даже ходили в особняк Массиак, чтобы сговориться с представителями колонистов.

Теодор де Ламет (два его брата, Александр и Шарль, не могли заседать в Законодательном собрании, поскольку они были членами Учредительного собрания) поднялся, чтобы защитить своего друга<sup>30</sup>. Его голос был заглушен шиканьем. Из Гренобля Барнав прислал 2 апреля свой ответ Гюаде. По сути дела, ответ этот был неубедителен: Барнав не смог оправдаться перед историей в том, что своей снисходительностью он потворствовал белым колонистам, их эгоистическому сопротивлению, которое легко было бы сломить, проявив некоторую твердость. Но он взял реванш, когда в угрожающих и несколько туманных выражениях обнажил пробелы, недостатки поддерживаемого Гюаде декрета, в котором важный вопрос о черных рабах не был поставлен.

«Впрочем, — говорил Барнав, — нечего от себя скрывать: решение, которое только что было принято, чревато многими важными последствиями; оно подогревает, торопит, подгоняет наступление огромного естественного кризиса. В момент, к которому мы сейчас подошли, наиболее пагубной ошибкой было бы воображать, будто мы установили прочный порядок, и закрывать глаза на будущее; чего бы мы ни хотели — способствовать ли этому великому импульсу, либо замедлить его действие, — одинаково необходимо его предвидеть; ибо если не будут приняты своевременно самые энергичные меры, чтобы либо предотвратить, либо направить движение, которое он олицетворяет, и событиям будет дозволено идти своим ходом, то через несколько лет они приведут к еще более ужасным результатам, чем те, что мы уже наблюдали, и все системы смежаются во всеобщем хаосе».

Нарисовав эту широкую и мрачную перспективу, Барнав отомстил Жиронде; и ведь верно, что после декрета, удовлетворившего требования свободных цветных, ставших в силу сложившихся обстоятельств союзниками черных рабов, у последних появился новый импульс к свободе; но проект, принятый Законодательным собранием, не сделал ровно ничего, чтобы умирить этот порыв или открыть ему дорогу.

Дюко рискнул выступить 26 марта в Собрании с законопроек-

28. Камбон (1756—1820) — неогциант из Монпелье, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента. «Moniteur», XI, 723; «Archives parlementaires», XL, 454.

29. Дополнительный декрет к закону, касающемуся послышки гражданских комиссаров в Сан-Доминго (декрет от 24 марта 1792 г.), принятый 15 июня 1792 г.

30. Теодор де Ламет (1756—1854) — полковник 7-го кавалерийского полка, глава администрации департамента Юра, депутат Законодательного собрания. «Это чистейшая ложь, будто г-н Барнав когда-либо посещал особняк Массиак». «Moniteur», XI, 715, заседание 23 марта 1792 г. «Archives parlementaires», XL, 412.

том из четырех статей, первая из которых гласила: «Каждый ребенок-мулат будет свободен со дня рождения, каков бы ни был статус его матери». Собрание гневно отказалось от рассмотрения целесообразности обсуждения этого вопроса, и Дюко даже не смог отстаивать свое мнение с трибуны.

## КОЛОНИАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ В 1792 г.

Волнения в Сан-Доминго, безусловно, породили некоторое беспокойство в портовых городах и в деловых сферах страны в целом. Объем товарооборота между Францией и островами был так велик, он представлял такую важную часть всей экономической жизни Франции, что один лишь страх потери этой обширной торговли, или даже временного ее прекращения, или просто сокращения будоражил умы и волновал заинтересованных лиц.

Не следует, однако, думать, что сразу же с 1792 г. торговые связи Франции с Наветренными и Подветренными островами оказались под серьезной угрозой. Вопли ужаса, издаваемые колонистами, вызвали поначалу некоторую панику, но очень скоро выяснилось, что зло не столь велико, что число плантаций, сожженных и действительно лишенных возможности давать продукцию, было невелико и что во многих местах мулаты и свободные цветные, наполовину успокоенные конкордатами, которые были заключены с колонистами, смогли либо умиротворить, либо предупредить восстания рабов.

Итак, множество судов продолжало отшвартовываться от наших причалов к далеким островам, доставляя туда вино и сукна, товары, производимые Францией, и возвращаясь груженными сахаром и кофе.

В газете Бриссо в среду 25 января было официально напечатано следующее:

«Даже если предположить, что 200 сахарных заводов сожжено, а эта цифра, вероятно, сильно преувеличена, и то это не составляет и шестой части обычного продукта Сан-Доминго, причем следует заметить, что если строения были сожжены, то плантации сахарного тростника уцелели».

Если даже не доверять утверждениям Бриссо, который мог постараться смягчить катастрофу, в которой умеренные и белые колонисты исступленно его обвиняли, считая его главным виновником, то мне кажется, что речи ораторов всех партий не оставляют в этом никакого сомнения. В широких мартовских прениях, когда жирондисты и умеренные, казалось, были согласны признать, что разрушения прекращены, Гюаде сказал:

*«Что остановило восстание рабов в Сан-Доминго? Объединение свободных цветных и белых колонистов. Что предотвратило его на Мартинике? Объединение свободных цветных и колонистов.»*

*Этой мере, единственно этой мере, все официальные сообщения с Мартиники и Сан-Доминго приписывают сохранение этих островов».*

Эти слова не вызвали ни малейшего возражения. Стало быть, Собрание уже знало, что катастрофа предотвращена.

Оратор умеренных Матьё Дюма нарисовал очень мрачную картину положения в Сан-Доминго, но из нее явствует, что торговые связи Франции с крупными островами, хотя и были частично нарушены и стали несколько нерегулярными, существенно не сократились. Мне кажется, что он не столько констатирует непосредственные убытки, сколько предчувствует опасность их в будущем.

«Я надеюсь, что нам удастся умиротворить волнения в колониях, но они уже успели оказать роковое влияние на торговлю и на национальное судоходство. Иностранцы торопятся захватить часть той торговли, которая была достоянием исключительно наших портов. Администрация и суды бессильны воспрепятствовать этим действиям; их будут все больше и больше оправдывать тем, будто они несут помощь этим опустошенным областям. Эти связи даже не будут особенно маскироваться, как это делалось контрабандистскими кораблями; и пусть мы спасем обломки этой колонии, мы все равно фактически ее потеряем, потеряв торговые связи с нею. Благородное, братское чувство воодушевляет все портовые города, они увеличат посылку грузов, но вполне понятный страх охватывает наших негодяев и мореплавателей. Они несут колониям помощь, которую нам следует поощрять всеми возможными средствами; но они рискуют получить в обмен мало товаров и по непомерно высокой цене... Настала пора успокоить эту многочисленную часть населения, существование которой зависит от колоний и которая в свою очередь так долго содействовала их процветанию; настала пора, когда Сан-Доминго может рассчитывать на регулярные поставки, гораздо более предпочтительные, нежели непостоянные связи, то редкие, то частые, которые сегодня обеспечат много лишнего, а завтра оставят колонию голодать. Поспешим же вернуть иностранную торговлю в ее прежние пределы; положим конец, пока еще не поздно, привычкам, которые, продлись они, могут лишь нанести ущерб общественному достоянию и привести к разорению множества французов».

В общем, Матьё Дюма, по-видимому, не думает, что производительные силы колонии и ее покупательная способность серьезно пострадали. Он больше всего боится того, что неотложной потребностью Сан-Доминго в зерне, продуктах питания и строительных материалах воспользуются иностранцы, англичане или американцы, и станут доставлять туда свои товары и, таким образом, укоренятся привычки, неблагоприятные для французской торговли. Собрание попыталось отвести эту опасность в статье 12 декрета:

«Национальное собрание, стремясь прийти на помощь колонии Сан-Доминго, предоставляет в распоряжение морского министра сумму в 6 млн. для доставки в колонию провианта, строительных материалов, скота и сельскохозяйственных орудий».

Позднее морскому министру было предоставлено право черпать эти 6 млн. из платежей, которые производили Соединенные Штаты, бывшие в то время еще должником Франции; и любопытно проследить по переписке американского представителя Гавернера Морриса за переговорами по данному вопросу. Французские министры настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты поторавливались с уплатой. Моррис же предлагал комбинации, которые обеспечили бы Соединенным Штатам «преимущество использования крупных сумм на приобретение товаров, производимых в нашей стране и являющихся плодом мастерства ее трудолюбивых обитателей» (21 декабря 1792 г.)<sup>31</sup>.

Отсюда я могу позволить себе сделать вывод, что беспорядки в Сан-Доминго, хотя и посеяли беспокойство и нанесли серьезный урон некоторым интересам, все же были не в состоянии ослабить в 1792 г. экономическую активность Франции. И не вызывает особенного удивления, что как раз в этом году расцвет мануфактур совпадает со смутами в колониях. Не было перерыва и в сделках.

Однако был момент, в январе 1792 г., когда обстоятельства в колониях отразились на цене сахара. Она необычайно быстро росла и поднялась с 30 су до 3 ливров. За несколько дней она удвоилась. Возмущенный народ Парижа взбунтовался, начал грабить склады и лавки.

## САХАРНЫЕ ВОЛНЕНИЯ

Перед Революцией, которая в течение двух лет, казалось, не знала уже этой угрозы, вдруг вновь с необычайной остротой встал продовольственный вопрос. Страх перед нехваткой сахара и надежда на то, что из-за трудностей с колониальными товарами цены на них быстро возрастут, побудил многих торговцев сделать большие запасы, и эти значительные закупки, в число которых вошел и сахар, безусловно, вызвали немедленное и чудовищное повышение его цены.

Рабочие семьи, которые, по свидетельству Мерсье<sup>1</sup>, уже обрели привычку пить по утрам кофе с молоком, были чрезвычайно раздражены тем, что они посчитали за маневры скушщиков, и начался настоящий народный бунт.

Не только страх перед нехваткой продуктов побудил торговцев запастись большим количеством товара, чем обычно; тут сказались еще то, что можно назвать возбуждающим эффектом

<sup>31</sup> Гавернер Моррис (1752—1815) — американский политический деятель, находился во Франции в качестве агента Вашингтона (1788—1790 гг.), а затем посланника Соединенных Штатов (1791—1794 гг.). См.: *Mémoires de Gouverneur Morris...* (на основе извлечений, сделанных Дж. Спарксом, перевод с английского А. Гандэ), Paris, 1842, t. II, p. 226, письмо к Томасу Джефферсону.

1. Речь идет о Себастиане Мерсье

(1740—1814), авторе «Картин Парижа» (*Tableau de Paris*, 1782—1788). Свидетельство, подтвержденное аббатом Саламоном, интернунцием папы, который писал 23 января 1792 г. кардиналу Дезекаде: «Этот продукт сделался предметом первой необходимости, ибо не сыскать ни одного башмачника, ни одной прачки, ни одной торговки рыбой, которые не выпивали бы каждое утро по большой чашке кофе с молоком».

ассигнатов и революционных операций. Выпуск ассигнатов на сумму около 2 млрд. увеличил денежную наличность, и буржуазия в целях превращения этих ассигнатов, этих бумажных денег, в солидные ценности спешила, если ей не удавалось приобрести звонкую монету, закупать товары. Это как бы подстегнуло производство и товарооборот, но это привело также к резким скачкам цен, к неожиданным поворотам в развитии промышленности и торговли, которое, можно сказать, то делало скачок, то застопоривалось.

Выпуск вспомогательных билетов, о которых мы уже говорили и которые возмещали недостаток ассигнатов в мелких купюрах, еще больше содействовал лихорадочной активности оборота. И наконец, обширные здания церквей, монастырей, аббатств, которые были национализированы и распродавались в спешном порядке, обеспечивали купцам огромные помещения. Естественно, что мысль разместить в них богатые склады товаров пришла в голову буржуа, у которых скопилось огромное количество ассигнатов благодаря выплате задолженности по долгам, благодаря возмещению, полученному при ликвидации судебных должностей, а также благодаря длительной рассрочке, предоставляемой для уплаты ежегодных взносов за приобретенные национальные имущества. Таким образом, внезапное повышение цен на сахар, имевшее место в январе и вызвавшее негодование всего Парижа, было явлением сложным, в котором нашли, так сказать, отзвук все экономические явления Революции. Кроме того, тут неожиданно столкнулись торговая буржуазия и рабочий люд, зарождался классовый конфликт <sup>2</sup>.

Современники поняли всю серьезность этого движения, все его экономическое и социальное значение. Собрание заволновалось. 23 января оно приняло депутацию граждан и гражданок от секции Гобеленов, которые яростно обрушились на «скупщиков» <sup>3</sup>. «Представители народа, желающего быть свободным, глубоко встревоженные огромной опасностью, которой чревата скупка любого рода, граждане секции Гобеленов, защитники свободы, точно соблюдающие законы, с доверием явились к вам, дабы изблечь перед вами опасную причину нового бедствия, грозящего нам со всех сторон, в частности в столице, и которое особенно тяжело ударяет по неимущим. Неужели вся эта масса ценных граждан, достойных вашей отеческой заботы, принесла столько жертв лишь для того, чтобы увидеть, как средства ее пропитания пожираются изменниками? Неужели этих граждан вооружили лишь для того, чтобы покровительствовать подлым скупщикам, прибегающим к силам общественного порядка для защиты своего разбоя? Пусть они нам не говорят, что опустошение наших островов является единственной причиной недостатка колониальных продуктов. Это их ненасытная спекуляция прячет от нас сокровища изобилия и показывает нам лишь безобразный скелет голода.

Этот страшный призрак растает у вас на глазах, как только вы откроете необъятные тайные склады, устроенные в нашем городе, в церквях, в залах для игры в мяч и в других общественных местах, в Сен-Дени, Ле-Пеке, Сен-Жермене и других городах, соседствующих со столицей. Обратите ваш отеческий взор на Гавр, Руан и Орлеан <sup>4</sup>, и вы обретете твердую уверенность в том, что у нас есть все, что в складах спрятано запасов продовольствия всякого рода по меньшей мере на четыре года. Если вы не поторопитесь убедиться в этом, то бойтесь настоящего голода, а ежедневная отправка этих припасов обратно в страны, которые нам их послали, являет нам ныне чудовищную картину рек, повернувших вспять. Мы слышим возражения этих подлых скупщиков и бесчестных капиталистов, что Конституционный закон государства установил свободу торговли. Но может ли существовать закон, пагубный для основного закона, который гласит (статья 4 Декларации прав человека): «Свобода состоит в праве делать все, что не причиняет вреда другому человеку» и (статья 5): «У закона есть только одно право — запрещать действия, наносящие вред другому человеку».

Вот мы и спрашиваем вас, законодателей, наших представителей, не значит ли это причинять вред другому — скупать продукты первой необходимости, чтобы потом продавать их на вес золота? (Аплодисменты на трибунах.) И разве это не преступно и не вредно для общества — мириться с пагубным использованием возмещений, выплаченных нехоти и несправедливо применяемых?

Какой скандал, в самом деле, что бывшие должностные лица Учредительного собрания (этот намек на бывшего депутата-фейяна Д'Андре, владевшего обширными складами колониальных товаров, был встречен слабыми аплодисментами членов Собрания, но очень бурными на трибунах) <sup>5</sup>, что один из наших бывших представителей, блюститель закона, к которому мы сейчас взываем, без зазрения совести объявил себя сегодня главой скупщиков и желает удержать свободу торговли в когтях своих подлых компаньонов!

2. Жирондистов раздирали противоречия между интересами буржуазии, которые предписывали им защищать экономическую свободу, и потребностями политической борьбы, которые вынуждали их считаться с нуждами народа, чья поддержка была им необходима в борьбе с фейянами и дворяном.
3. «Moniteur», XI, 198; «Archives parlementaires», XXXVII, 604.
4. Сахар-сырец очищали в портах

Бордо, Нант, Гавр и Руан, а также в Орлеане.

5. Д'Андре (1759—1825) — советник [судья] при парламенте Прованса, депутат от Экского сенешальства. «Г-н Д'Андре занимается оптовой торговлей бакалейными товарами, — пишет о нем «Одитор насьональ», — его склады подвергались опасности, и говорили, будто он на некоторое время скрылся, дабы избежать грозы, нависшей над его головой».

Отмена ввозных пошлин обещала нам счастливое будущее, она открывала перед нами землю обетованную, мы уже рассчитывали ее достигнуть; буря, поднятая эгоизмом и алчностью, намерена оттолкнуть нас от нее; но вы должны рассеять эту грозу. Вот причина наших жалоб. Твердые меры, уже принятые вами против наших внешних врагов, не оставляют в нас сомнений, что вы сумеете распознать и наказать врагов внутренних. Мы разоблачаем перед вами их как единственных, кого нам следует опасаться!

Граждане секции Гобеленов отнюдь не требовали, как утверждали в этом Собрании, чтобы им выдали по низкой цене сахар, находящийся в одном из принадлежащих нации зданий их округа. Это бессовестная клевета на секцию, которая считает своим священным и неукоснительным долгом повиноваться закону и поддерживать его. (*Громкие аплодисменты.*)

Мы просим предоставить муниципалитету право по вашему приказу надзирать за складами, дабы их не захватывали и не использовали столь преступным образом и чтобы они могли по меньшей мере облегчать участь народа, уже давно страдающего от непомерной дороговизны всех предметов первой необходимости». (*Аплодисменты.*)

Все это было высказано весьма энергичным тоном. Правда, делегаты протестовали против утверждения, якобы они силой принуждали снижать цены на сахар; но именно от самого закона они ожидали наказания всех махинаций, из-за которых, по их мнению, повышается цена на продукты питания. Сахар вздорожал не только потому, совсем не потому, что его стало сравнительно мало в результате восстания в Сан-Доминго, а главным образом, по их мнению, вследствие уловок оптовых торговцев. И депутация открыто обвиняет буржуазию в том, что она использовала в спекулятивных целях, а также для скупки продуктов ассигнаты, полученные в уплату за упраздненные судебские должности. Стало быть, петиционеры протестуют не против старого порядка, а против того, что новый класс, буржуазный класс, злоупотребляет новыми средствами действий, созданными Революцией. Стало быть, в недрах самой Революции вырисовывается классовый антагонизм между потребителями и торговцами, между пролетариями или ремесленниками, с одной стороны, и богатой буржуазией — с другой. Примечательна также и точная ссылка на две статьи Декларации прав человека в борьбе против ухищрений коммерсантов и капиталистов.

Петиционеры не рассматривают свободу, гарантируемую Декларацией прав человека, как некое неограниченное право, и игра экономических сил имеет свои пределы, а именно интересы другого человека. Еще в петиции рабочих-плотников в июне 1791 г. Декларация прав впервые была применена к экономическим отношениям и социальным явлениям<sup>6</sup>. В понимании народа слово

«свобода» обретает весомый и конкретный смысл, прямо противоположный лозунгу «laissez-faire, laissez-passer».

Петиционеры не требовали определения законом цен на продукты питания, они, по-видимому, еще и не помышляли о законе о максимуме, но они уже явно были на пути к этому, ибо их заключение, высказанное еще в довольно неопределенных выражениях то ли из-за недостаточной четкости самой мысли, то ли из осторожности, может иметь только один смысл. Необходимо, чтобы муниципалитеты надзирали за складами, дабы не допустить сокрытия от продажи значительного количества сахара, задержанного или припрятанного. Муниципалитет должен запретить оптовым торговцам прятать сахар и продукты питания в тайных складах. Необходимо, чтобы товар всегда оставался, так сказать, выставленным и находился в распоряжении покупателя. Это, собственно, и есть выраженная в осторожной форме теория принудительной продажи. Но принудительная продажа предусматривает определение законом продажной цены, вот почему мы считаем, что с этого дня начался путь к максимуму.

Что могло сделать Собрание? Оно понимало, что перед ним вставала тревожная проблема, разрешить которую в тот момент было выше его сил. Гюаде, председательствовавший на том заседании, ответил петиционерам с предупредительной и неопределенной благожелательностью, а мэр Парижа был приглашен к барьеру, чтобы доложить о положении в столице<sup>7</sup>. Он старался приглушить краски, смягчить впечатление. Он хотел успокоить умы и в то же время переложить всю ответственность на Законодательное собрание.

«Вот уже несколько дней, — сказал он, — в Париже чувствовалось глухое брожение. Народ открыто выражал свое недовольство значительным вздорожанием сахара и других продуктов питания. Люди собирались группами в общественных местах, и все говорило о близком взрыве. В пятницу [то есть 20 января] ропот и разговоры все возрастали; некоторые комиссары полиции начали даже требовать привлечения сил общественного порядка. В ночь с пятницы на субботу произошел пожар в тюрьме Форс. Это событие вызвало большую тревогу... Еще до сих пор не известно достоверно, произошел ли пожар по несчастной случайности или же вследствие злого умысла... Но мы не можем умолчать о неутраченном усердии г-на командующего национальной гвардии... Кроме того, мы должны еще известить вас, господа, что ни одно

6. О конфликте между подрядчиками и рабочими-плотниками см. данное издание, т. 1, кн. 2, с. 232.

7. Здесь Жоресом допущена неточность. На заседании 23 января 1792 г., в ходе которого секция Гобеленов подала свою петицию,

председествовал Даверу, депутат от Арденн. Гюаде председательствовал на заседании 24 января, на котором мэр Парижа Петион и появился у барьера. «Moniteur», XI, 203; «Archives parlementaires», XXXVII, 609.

строение, не принадлежащее тюрьме Форс, не пострадало от огня и тот, кто вам сообщил, что огнем уничтожены склады, полные сахара, был введен в заблуждение.

В то время как это печальное происшествие поглотило целиком наше внимание, стали распространять как бы для забавы самые тревожные слухи; нам сообщили, что такие же бедствия произошли и в [тюрьмах] Консьержери, Шатле и Бисетре... Более реальным было известие о скоплении народа в предместье Сен-Марсо вокруг склада, полного сахара<sup>8</sup>; мэр Парижа и генеральный прокурор-синдик отправились туда. Они обнаружили значительное скопление граждан и гражданок. После недолгих уговоров их убедили выбрать из своей среды двенадцать человек, чтобы они объяснили требования, которые они хотят предъявить, что они и исполнили незамедлительно. И здесь мы должны, к чести этих граждан, сказать: они начали с заявления, что явились сюда отнюдь не для того, чтобы грабить. Они повторили это с беспокойством честных людей, опасаящихся, как бы их не заподозрили.

*Они добавили, что сахар и некоторые другие продукты питания неожиданно так поднялись в цене, что стали недоступными для бедняков, что виноваты в этом преступные махинации и что надо во что бы то ни стало снизить эти цены.*

Разъяснив им, что волнения, направленные против торговли, отнюдь не будут способствовать снижению цен, а могут лишь их повысить, мы им заявили, что не в нашей власти устанавливать твердые цены на товары; что, если у них есть какие-либо претензии, закон предоставляет им для этого мирные средства, достойные свободных людей, а именно подачу петиции, дабы они могли спокойно собраться и изложить свои жалобы.

Они удалились, совершенно убежденные в истине наших слов, и все успокоилось. Они совсем не требовали, как об этом говорилось, чтобы им продавали сахар по 22 су за фунт. Остаток вечера прошел в полном спокойствии; из тюрьмы Форс всех заключенных за долги перевели в тюрьму Сент-Пелажи, причем соблюдался полный порядок.

Нас все же не оставляло беспокойство за завтрашний день, воскресенье; в моменты брожений этот день обычно бывает одним из самых трудных. Главнокомандующий принял самые мудрые меры предосторожности. Он расставил силы в тех местах, которые казались наиболее угрожаемыми. Этот день прошел гораздо более спокойно, чем мы могли ожидать.

*Однако нашелся один бакалейщик на улице Фобур-Сен-Дени, который, напуганный большим скоплением народа вокруг его лавки, роздал какое-то количество сахара по 24—26 су за фунт.*

Мы утешались надеждой, что завтрашний день пройдет совсем мирно; каково же было наше удивление, каково было особенно наше беспокойство, когда между 10 и 11 часами утра со всех сторон стали прибывать письма, в которых сообщалось о много-

*численных группах и скоплениях народа в ряде кварталов. Одно из этих сборищ направилось даже в мэрию.*

Оно отправилось из секции Гравилье<sup>9</sup> и следовало за всадником, который вез письмо от комиссара секции. Г-н мэр вышел к этим гражданам, и ему легко удалось заставить их прислушаться к голосу разума и справедливости.

*Он доказал им, что это враги общественного блага стараются вызвать великий беспорядок, восстановить одних граждан против других и особенно привести к столкновению национальной гвардии и жителей; что надо избегать этой ловушки, вести себя разумно и идти путем, который открыт для всех граждан законом, а именно путем подачи петиции. Они удалились удовлетворенные и обещали внести успокоение среди тех, кто их послал.*

Главнокомандующий национальной гвардии прибыл одновременно с ними. Он сообщил мэру многочисленные мнения, которые он услышал, со своей стороны; они посовещались между собой, опасаясь, как бы дело не приняло серьезный оборот, как бы не пришлось прибегнуть к решительным мерам. Мэр тотчас же созвал в чрезвычайном порядке муниципальный совет<sup>10</sup>; несколько его членов уже были на своем месте, и он вместе с командующим отправился в директорию департамента, члены которой тоже были созваны; там они обсудили различные меры, какие следовало бы принять ввиду создавшегося положения. Прошло целых два часа, и за это время не поступило никаких тревожных известий, и мы уже испытывали удовлетворение от мысли, что спокойствие восстановлено; но вскоре появились несколько офицеров национальной гвардии и рассказали нам о прискорбных происшествиях.

*Они нам сообщили, что на улицах Сен-Мартен, Симетьер-Сен-Никола, Шапон и Гравилье собралось много народу; что были вышиблены двери складов, разбиты окна, народ напал на национальных гвардейцев, пытаясь обезоружить их, что одного командира батальона схватили за шиворот и подвергли унижительным оскорблениям.*

8. Жители предместья Сен-Марсо столпились вокруг склада, полного сахара, который принадлежал торговому дому Боскари и Шоль. Боскари, негодянт и банкир, был депутатом от Парижа; его компаньон Шоль был членом Якобинского клуба.

9. Секция Гравилье была населена преимущественно мелкими ремесленниками; именно в этой секции начиная с осени 1792 г. развернул свою деятельность «бешеный» Жак Ру.

10. Муниципальный совет, собрав-

шись на чрезвычайное заседание, приказал расклеить на стенах домов прокламацию, обращенную к парижанам, с целью предостеречь их против аристократов: продолжение беспорядков имело бы своим неизбежным следствием голод в столице, ибо ни один купец не захочет ввозить в нее свои товары, опасаясь грабежей. Эта прокламация была напечатана в «Революсьон де Пари», № 133 за 21—28 января 1792 г., под заголовком: «Народное движение против скупки».

Тут мы поняли, что больше нельзя терять ни минуты, что члены муниципалитета должны немедленно отправиться в различные места, говорить от имени закона, что всегда оказывает могучее воздействие на честных граждан, и вернуть заблуждающихся на путь истинный. Г-н мэр, а также помощник мэра и еще один член муниципалитета вышли из ратуши в сопровождении нескольких гренадеров и небольшого числа конных гвардейцев и направились на все улицы, перечисленные выше.

*Они зашли к г-дам Шолоу и Боскари, увидели разбитые окна; но склады оказались не разграбленными.*

*Окна в доме господина Бло были также разбиты, но и там не взяли никаких товаров.*

*Склад на улице Гравилье, в Римском тупике, был заперт. Нам рассказали, что в одном месте скопившимся гражданам продавали сахарный песок по 10 су за фунт.*

*К моменту нашего прибытия на места народ уже разошелся, нам встретилась лишь небольшая кучка любопытных, настроение которых не внушало никаких опасений.*

*Во время нашего пути мы, к нашему удовольствию, узнали, что и на улице Ломбар тоже больше не было никаких происшествий. Когда мы вернулись в ратушу, один из служащих предупредил г-на главнокомандующего, что довольно большая толпа собралась у дверей бакалейной лавки в Сент-Антуанском предместье, и г-н командующий немедленно послал туда вооруженную силу.*

*Он выделил, кроме того, определенное число людей, приказав им провести ночь в домах, которым угрожал вторжение.*

*Как вы видите, господа, в этих трудных обстоятельствах муниципальный корпус не пренебрег ни одним средством, бывшим в его распоряжении для поддержания порядка и спокойствия, да и в дальнейшем намерен поступать так же. Он постановил засесть непрерывно, пока спокойствие не будет восстановлено; но он чувствует в то же время, сколь опасно преувеличивать значение волнений, которые нарушили это спокойствие и которые, надо надеяться, не будут иметь печальных последствий, как на это, несомненно, рассчитывают враги нашей свободы и нашего счастья.*

Это вам, господа, с вашей мудростью надлежит решить, чего требует переживаемый нами момент: подготовить решительные меры для восстановления порядка и спокойствия, обеспечить безопасность этого великого города, от которого в такой огромной мере зависит безопасность всей страны»<sup>11</sup>.

Из этого доклада Петиона можно сделать вывод о неожиданной силе выступления народа, о его твердом намерении не дать себя одурачить в великом революционном движении. Волнения распространились довольно широко: они происходили в предместьях Сен-Марсо и Сент-Антуанском и в самом сердце Парижа, в кварталах Сен-Дени, Сен-Мартен и Гравилье. Зашевелился весь народ, весь пролетариат, весь парижский ремесленный люд.

И революционная буржуазия уже не осмеливалась, как во времена бунта против Революции или первых крестьянских движений 1789 г., говорить о «разбойниках». Это, как сказал Петион, «граждане», которые не намерены предоставлять скупщикам и монополистам-буржуа все преимущества Революции. На сей раз движение было направлено не против особняка Кастри, не против знати, а против революционеров-буржуа, крупных покупателей национальных имуществ. Когда Фоше 21 января первый сообщил в Собрании о беспорядках в Париже и о скупках, он заявил, что в церквях Сент-Оппортюн, Сент-Илер и Сен-Бенуа полно сахара и кофе. Очевидно, что это люди Революции купили церковные здания и превратили их в большие склады. Следовательно, именно против новой силы, вышедшей из недр Революции, ополчились пролетариат и народ. Был момент, когда Петион задавал себе вопрос, не становится ли положение серьезным, не столкнутся ли вновь национальная гвардия и народ, между которыми несколько месяцев назад произошла столь трагическая встреча на Марсовом поле, но на этот раз из-за продовольственного вопроса. Осторожность Петиона, его благоразумные промедления, которые дали время страстям утихомириться, уберегли Революцию от этого несчастья; но уже начинало чувствоваться в Париже пробуждение сил народа, ставшего более сознательным, гордящегося жертвами, которые он принес ради Революции, услугами, которые он ей оказал, и полного решимости не позволить биржевикам и капиталистам похитить у него радость, принесенную новым порядком. Да, народ еще не пытался анализировать социальный механизм. Он еще не понял ясно, что эти махинации спекулянтов были почти неизбежным следствием торговой конкуренции и частной собственности<sup>12</sup>. Но, во всяком случае, он ответил на эти неполадки предъявлением своих прав. Он не собирается преобразовывать собственность, но хочет устранить своим энергичным вмешательством и силой закона наиболее вопиющие ее злоупотребления. Он не сомневается в том, что вплоть до сферы собственности закон может и обязан защищать истинную свободу, действитель-

11. Законодательное собрание высоко оценило усердие парижского муниципалитета и национальной гвардии. «Moniteur», XI, 203.

12. С самого начала волнений переговоры, которым грозила наибольшая опасность, или же более осторожные, заключили между собой нечто вроде страхового и гарантийного договора против грабежей, датированного 21 января 1792 г., который Горса опубликовал в своей газете.

«...Нижеподписавшиеся договорились организовать подписку на сумму, какую они согласятся пожертвовать на общее дело, и собрать таким путем сумму, достаточную, чтобы обезопасить состояние и кредит negociантов от всяких случайностей». P. H. B u c h e z et P. C. R o u x. Histoire parlementaire de la Révolution française, ou journal des Assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815, t. XIII, p. 98 (далее: B u c h e z et R o u x).



ную свободу людей — свободу жить. И так медленно, втайне зреют в народе мысли, которые найдут свое выражение вначале в регулирующем законодательстве Конвента, а позднее в коммунизме Бабёфа. В январе 1792 г. эти тенденции еще были весьма неопределенными, поскольку сами петиционеры, говорившие от имени народа, не осмеливались явно требовать узаконенной таксации цен. Этой всеобщей перешитости умов и сил вполне соответствовала и примирительная, неопределенная тактика Петюна. Но уже чувствуется, что наступит день, когда неумолимые события потребуют более смелых мыслей.

Эти народные движения вызвали серьезную озабоченность у торговой буржуазии. Некоторые негодяи, которым угрожали, либо протестовали, либо даже вели себя вызывающе. Один из них, Дельбе, выдававший себя за американца (известно, было ли то реальное лицо или же коллективный псевдоним нескольких негодяев, наглых и в то же время трусливых), потребовал от Собрания заставить уважать его право собственности, которое он распространял и на право скупки, приводя цифры, в которых выражалась бравада. Его петиция, в которой чувствовался вызов, была зачитана под ропот присутствующих: «Вчера утром, — говорилось в ней, — одна из секций столицы, допущенная к барьеру, явилась с Декларацией прав человека в руках и потребовала принятия закона против всех скупщиков, особенно против скупщиков колониальных товаров, нехватка которых начинает ощущаться. Сегодня я, постоянный житель Парижа, отец семейства, сам заявляю о себе, что я — один из тех людей, которых стремятся опорочить за то, что они считают себя вправе свободно распоряжаться своей законной собственностью.

Я, г-н председатель, бывший собственник солидных владений на этом злосчастном острове, которого уже, быть может, не существует. Моя собственность уничтожена, мои плантации сожжены, плоды моих последних урожаев, погруженные на суда еще до беспорядков, благополучно были мне доставлены. Так вот, я заявляю, что до сентября месяца я получил 2 тыс. фунтов сахару, одну тысячу кофе, 100 тыс. индиго и 250 тыс. хлопка.

Эти продукты находятся здесь, у меня в доме, в моем складе, но я их никогда не стану прятать, ибо гражданину не пристало краснеть за то, что он использует великолепные предприятия, способствующие процветанию его отечества.

Эти товары стоят сегодня 8 млн.; следуя обычному ходу вещей, они будут непрестанно дорожать и достигнут суммы в 15 млн. Я очень жалею, г-н председатель, тех, кто так мало уважает представителей народа, что требует декретов, посягающих на священное право собственности; я же проявлю к ним почтение более искреннее, ставя мою собственность под охрану их принципов; *итак, я заявляю Национальному собранию, которое прочитает мой адрес, и всей Европе, которая услышит его, что мое твердое*

*намерение — не продавать в настоящее время ни за какие деньги продукты питания, собственником коих я являюсь. (Ропот.) Они принадлежат мне; они представляют собой сумму, какую я вложил в дело в другом полушарии, в земли, которыми я владел и которых у меня нет более, — одним словом, все состояние — мое и моих детей. Возможно, меня больше устраивает передать его моему потомству в виде сахара и кофе. Во всяком случае, это верно, что я не хочу их продавать ни за какие деньги, и я повторяю это громко, дабы никто в этом не усомнился. (Ропот.) Но в то же время меня не устраивает, чтобы, после того как мое имущество сожгли в Америке, теперь меня еще ограбили во Франции. Дабы испытать великодушие Конституции, дабы узнать, до каких пределов она может гарантировать собственность, я заклинаю здесь силы общественного порядка (Ропот. Некоторые депутаты выкрикивают: «Перейдем к очередным делам!» Другие, наоборот, кричат: «Нет, нет, дайте закончить») защитить гражданина, который никого не заставляет отдавать ему свое добро, но который торжественно заявляет, что желает сохранить в натуре плоды, которые он собрал. (Ропот.) Благоволите же, г-н председатель, отдать г-ну мэру приказ обеспечить мои склады достаточной охраной, расходы по содержанию которой я буду по справедливости нести. Я особенно настаиваю на том, чтобы приказ этот был отдан до того, как начнется обсуждение требования секции Гобеленов, которая вчера притязала на установление твердых цен на продукты питания, не позаботившись указать законодателям на деликатный момент: где кончается собственность и начинается скупка.*

*Подписано: Жозеф Франсуа Дельбе, американец, активный гражданин секции Попенкур, гренадер-волонтер батальона указанной секции, улица Шаронн, № 158-бис.*

Это, разумеется, мистификация, но это и маневр контрреволюции, старающейся запугать собственников и противопоставить в виде резкого контраста требованиям народа ничем не ограниченное право собственности. В возбужденном мозгу отдельных владельцев собственности на островах могла возникнуть эта странная фантазия о социальной полемике в форме петиций. Но появилась и другая петиция, более подлинная и в более серьезной форме. То была петиция банкира Боскари, члена Законодательного собрания, который занимался не только банковскими операциями, но и коммерческими. Он искал защиты у своих коллег по Собранию.

«Г-н председатель! Народ, введенный в заблуждение злонамеренными людьми, толпой явился ко мне вчера утром, в ту минуту, когда я собрался идти в Собрание, и помешал мне отправиться на свой пост. Этим людям внушили, что мой торговый дом, именуемый «Ш. Боскари и компания», скупал колониальные товары, — утверждение не только лживое, но просто клеветническое.

Они пытались силой ворваться в мой дом и разбили все стекла на втором этаже (*шум на трибунах*), пока не подросли мне на помощь силы общественного порядка. Мне и сейчас еще грозит опасность, и, несмотря на охрану, которую мне любезно предоставили, в мои окна все еще швыряют камни; мое состояние, как и моих компаньонов, находится в опасности. Я взываю к закону, прошу защитить собственность не только мою, но и всех парижских негодяев, которые не застрахованы от нападений заблуждающегося народа... (*Глухой ропот.*) Я никак не ожидал, г-н председатель, что стану объектом народной ярости. Я никогда никому не причинял зла; я делал добро, сколько было в моих силах. Я, как никто, предан Революции. Занимая гражданские и военные должности, я всегда первый готов был защитить собственность, которой грозила опасность; сегодня же опасность грозит моей. Я надеюсь, что народ, образумившись, вернет мне уважение и справедливое отношение, коего я заслуживаю во всех отношениях. Я Вас прошу, г-н председатель, тотчас же ознакомить Собрание с этим важным для меня письмом. (*Смех на трибунах.*)

*Подпись: Боскари, депутат от Парижа.*

Коммерческая, умеренная буржуазия, чьим видным представителем является Боскари, была, если мне позволено так выразиться, ошеломлена вспыхнувшим народным волнением. Ей казалось, что она и в самом деле целиком «предана» Революции, и вдруг она с изумлением увидела, что за пределами того, что позволял ей видеть ее довольно узкий кругозор, пришли в движение другие силы. Несмотря на возмущение части Собрания, трибуны встретили чтение письма революционного банкира свистками и насмешливыми выкриками. Некоторые депутаты требовали перейти к рассмотрению очередных дел, как и в случае с письмом таинственного и иронического Дельбе, однако Собрание передало петицию исполнительным властям. То были примечательные стычки между двумя группами третьего сословия, которые сообща делали Революцию, которые и в дальнейшем не раз будут ее спасать сообща, но которые начинают приходить в столкновение друг с другом, принимая обличье враждующих классов.

## ПРОТЕКЦИОНИЗМ ИЛИ СВОБОДНЫЙ ОБМЕН

Законодательное собрание не нашло решения проблемы цен на колониальные товары. Его Комитет торговли задумал было предложить Собранию отменить пошлину в 9 ливров с квинтала, взимавшуюся при ввозе во Францию сахара иностранного происхождения, но он скоро осознал бесполезность этой меры, ибо, поскольку производство сахара во Франции было самым высоким, она занимала на сахарном рынке преобладающее положение

и изменение цены сахара во Франции не замедлило бы отразиться на ценах сахара во всем мире<sup>13</sup>.

Отныне иностранцы не могли бы ввозить во Францию сахар по более низкой цене, нежели существовала во Франции, и никакого снижения цен не произошло бы. И с другой стороны, можно ли было запретить экспорт сахара из Франции? Ведь именно экспортируемым сахаром Франция оплачивала большую часть товаров, ввозимых ею из-за границы. Вот почему Комитет торговли решил, что тут ничего не поделаешь и, следовательно, бесцельно обсуждать поставленный вопрос. Собрание роптало, но никто не попытался предложить какое-нибудь конкретное решение. Дюко, блестящий депутат от Бордо, пришедший в ужас при одной мысли о возможности принятия запретительных или ограничительных мер в торговле, которые разорили бы наши портовые города, обрушился на них с превеликим талантом, но по сути дела ничего не добавил к тезису комитета<sup>14</sup>. Но никто еще никогда с большим изяществом и большей четкостью не разъяснял международный механизм торговли сахаром. В его речах, столь исчерпывающих и столь ярких, раскрылись глубокие экономические и позитивные познания буржуазии XVIII в., насчет которых Тэн так непростительно заблуждался. «Три средства, — сказал Дюко, — были предложены этому Собранию в целях снижения цен на сахар.

Первое заключалось в том, чтобы разрешить иностранцам ввоз сахара в наши порты; второе — в том, чтобы запретить его вывоз из королевства; и третье (закон о циркуляции билетов доверия), которое заслуживает наиболее серьезного внимания.

Первое средство я считаю абсолютно бесполезным. В самом деле, дабы извлечь из него какую-то пользу, пришлось бы ожидать свободного ввоза в наши порты столь значительного количества иностранного сахара, чтобы создать конкуренцию, которая заставила бы снизить цены на отечественный сахар, однако на это надеяться нечего. *Вам должно быть известно, что ни одна торгующая нация, владеющая колониями, не получает такого огромного количества сахара, чтобы сделать его предметом широкого сбыта и чтобы экспортировать излишки своего потребления.*

13. Доклад Комитета торговли был представлен Законодательному собранию 24 января 1792 г. Моннероном (1760—1801), негодяем, депутатом от города Парижа, «Moniteur», XI, 203.
14. «Moniteur», XI, 204; «Archives parlementaires», XXXVII, 617. Когда только начались волнения, 21 января 1792 г., депутат Брусоне внес предложение предоставить англичанам и голландцам неограниченную свободу ввоза

во Францию их колониальных товаров, отменив полностью ввозную пошлину. Другие депутаты помышляли, помимо этого, ввести запрет на вывоз тех же товаров за границу. Это была попытка с помощью таможенных уловок добиться снижения цен. Это решение было отклонено после доклада Моннерона и речи Дюко, которые доказали, что подобная мера неосуществима.

Англия, вторая после нас торгующая держава, чьи плантации дают наибольшее количество сахара, вывозит лишь очень незначительную его часть. Благосостояние ее жителей сделало потребление сахара более широким и более значительным, нежели у нас. Правда, правительство поощряло путем премий и восстановления возвратной пошлины, так называемой *drawback*, экспорт очищенного сахара, но, напуганное неожиданным вздорожанием этого продукта во Франции, оно отменило и премии и *drawback*. [Дюко хочет сказать, что, соблазненные прибылью, какую сулила им хотя бы на несколько дней высокая цена на сахар во Франции, английские сахарозаводчики отправили бы туда сколько угодно сахара, если бы их еще поощряли премией и *drawback*; но тогда английский рынок был бы лишен сахара и английские потребители вынуждены были бы платить за него втридорога. Поэтому Англия и отменила все меры, стимулировавшие экспорт сахара.] Именно мы, — продолжал оратор, — снабжаем почти всю остальную Европу этим продуктом, и большинство иностранных коммерсантов могли бы воспользоваться предоставленной вами свободой ввоза лишь для того, чтобы импортировать к нам обратно тот же самый сахар, который они экспортировали из наших портов.

Ну и что же — скажут нам, возможно, — раз из-за скупки этот товар во Франции настолько вздорожал, может быть, иностранцы все же найдут для себя выгодным перепродать нам наш же сахар, купленный по гораздо более дешевой цене несколько месяцев тому назад? Но те, кто выдвинул бы такое возражение, строят свои рассуждения на ошибочной основе, которую ничего не стоит опровергнуть! Наше влияние на наших соседей в отношении цен на колониальные товары так велико, что цены эти на северных рынках почти всегда точно повторяют все колебания, какие они претерпевают на наших рынках. Сахар вздорожает в Нанте или Бордо? Он почти всегда в одинаковой мере вздорожает и в Амстердаме, и в Гамбурге. Упадет он в цене на наших рынках? Снижение немедленно скажется в Германии и в Голландии. Причина тому вполне ясна. Франция оставляет себе приблизительно всего одну восьмую часть сахара, получаемого ею из колоний, остальное скупают в ее портах комиссионеры по поручению иностранных негодантов. Следовательно, цена на сахар будет подвержена у наших соседей таким же скачкам, как и у нас, и это лишит их всякой надежды на прибыль при экспорте его во Францию; я делаю и другие выводы из этих фактов, а именно что скупка, которой вы столь справедливо возмущаетесь, совершается по поручению иностранных негодантов и что потребители в Голландии и Германии наравне с французскими страдают от этих новых махинаций наших спекулянтов. В то самое время, когда граждане Парижа роптали по поводу чрезмерного вздорожания сахара до 42 су за фунт, иностранцы покупали его в Бордо по 290 ливров за квинтал, что составляет почти целое эку за фунт.

По приведенным фактам вы можете судить, что, даже учитывая потери на курсе, цена этого продукта не позволит иностранным негодантам спекулировать, продавая наш собственный сахар в наши порты. [Наши ассигнаты оказались сильно обесцененными по сравнению с металлической монетой или иностранной валютой; так, например, за 100 ливров золотом можно было получить 150 ливров ассигнатами, следовательно, иностранцы выигрывали на курсе, когда они покупали товары во Франции; но, несмотря на этот выигрыш, тенденция к повышению цены сахара на иностранных рынках до уровня во Франции была такова, по мнению Дюко, что для англичан, немцев или голландцев не представляло никакого интереса покупать у нас для того, чтобы нам же перепродавать.] Вы видите также, что не мы одни страдаем от роста цен на сахар и что нация находит хотя бы слабое возмещение этого переходящего бедствия в увеличении своих прибылей при торговле с иностранными нациями. Вы никогда не дождетесь, чтобы я дал свое согласие на запретительные меры, если они будут вам предложены, но, когда я возвышу свой голос в пользу свободы торговли, я буду требовать не частичной, не иллюзорной свободы; я доказал, что такая свобода, которой добиваются, в данный момент не может принести никаких выгод. Я не нахожу, впрочем, в ней иного недостатка, кроме того, что она бесполезна, и к тому же если она будет принята, это создаст столь же неблагоприятное, сколь и неверное представление об осведомленности Собрания в коммерческих делах. Внесенное предложение сводится, одним словом, к тому, чтобы разрешить свободный ввоз во Францию из-за границы продукта, которому неоткуда там взыскаться. В заключение скажу: я за то, чтобы предложение это было отклонено.

Широкая мера, предусматривающая запрет вывоза сахара из королевства, имела бы еще более пагубные последствия. У людей, имеющих здравые представления о наших торговых связях, она не может не вызвать страха. Я уже говорил, что Франция потребляет примерно одну восьмую часть сахара, получаемого ею из своих колоний; стало быть, семь восьмых его ежегодно отправляется за границу; добавлю еще одно соображение. Мы получаем из колоний сахар двух сортов: сахар-сырец, который прошел лишь первоначальную обработку — и наши национальные фабрики используют почти исключительно этот сорт сахара, — и сахар очищенный, который прошел начальную стадию рафинирования и который идет к нашим соседям. Стоимость этого сорта почти вдвое превышает стоимость сахара-сырца.

Теперь вы поймете, что, запретив вывоз этого огромного излишка нашего потребления:

1) вы лишаете нацию весьма значительной и весьма прибыльной части ее дохода, которую можно оценить свыше 30 млн. ежегодно;

2) вы лишаете ее возможности с выгодой освободиться от долгов, которые она имеет за границей, ибо для нас прибыльнее расплачиваться с нашими соседями сахаром, поскольку он дорожает, нежели ассигнатами, которые падают в цене;

3) вы парализуете полностью торговлю портовых городов с вашими колониями, ибо судовладелец поостережется посылать вино и муку в Сан-Доминго, чтобы получить взамен сахар, для которого у него не будет больше рынка сбыта, причем он потеряет, желая от него избавиться, добрую долю своего капитала;

4) вы будете причиной страшного потрясения состояний ваших сограждан, ибо внезапный отказ от вывоза этого продукта повлечет за собой огромное число банкротств, которые обрекут на нищету честных и трудолюбивых граждан, посеют беспорядок и тревогу во всех торговых городах и пошатнут общественное богатство и доверие к вашим ассигнатам;

5) вы одним ударом лишите работы и средств к существованию целый класс рабочих, матросов ваших портов, которые уже доказали свой патриотизм в Революции великими жертвами, которым нужно помочь, которых нужно беречь, дабы и в будущем мы могли расточать в их адрес такие же похвалы;

6) вы скоро увидите, как будут обойдены тиранические распоряжения этого запретительного закона. Иностранцы сами отправятся в наши колонии и будут скупать там сахар, который не смогут больше приобретать в портах Франции, ибо даже самый всемогущий законодатель неизбежно терпит крах, если он борется против природы вещей;

7) и в конечном счете вы сделаете невыгодными наши коммерческие сделки с другими народами, вызвав новое понижение валютного курса наших ассигнатов»<sup>15</sup>.

Вот она — теория абсолютной свободы товарообмена. Отмечу, кстати, что Дюко говорил так, будто беспорядки в Сан-Доминго являются бедствием, которое не имеет будущего; он ни единым словом даже не намекнул на возможное прекращение торговых сделок, и это еще одно доказательство того, что в 1792 г., несмотря на серьезность беспорядков, вспыхнувших в колониях, они еще не отразились на коммерческих делах. Но особенно я подчеркиваю, что этот вольный дух международной торговли, который чувствует себя так привольно в международных комбинациях, будет противиться законам регламентации и таксации. Жирондисты будут больше заботиться о том, чтобы добиться для Франции избобилия и беспрепятственного обращения богатств, нежели о том, чтобы регулировать их распределение согласно законам непреклонной демократии.

Нам еще придется вспомнить речь Дюко, когда мы услышим в 1793 г., как Верньо противопоставит свою концепцию социальной жизни, Республики торговой, предприимчивой и богатой, точке зрения Робеспьера<sup>16</sup>. Жирондисты далеко не безразличны

к условиям жизни бедняков, к благосостоянию рабочего класса; но им кажется, что общее богатство нации неминуемо отразится само собой и на рабочих, подобно тому как яркий свет освещает все вокруг, а отблески его проникают во все уголки, куда не достигают его прямые лучи. Дюко явно утешается тем, что временный ущерб, который несут потребители вследствие непомерного вздорожания сахара, окупится выгодой, которую это вздорожание принесет нации в ее торговле с заграницей. И наконец, для этих людей, привыкших к переkreщиванию, к бесчисленным отзвукам экономических явлений на мировом рынке, мысль установить законом твердые цены на товары в одной стране должна была показаться особенно химерической, ибо как можно поддерживать постоянный уровень воды на открытом рейде, подверженном приливам и отливам бескрайнего моря? Как обеспечить устойчивость цен, когда конкуренция других государств и ловкие комбинации международной торговли неизбежно ведут к изменению цен в одной стране в соответствии с ценами во всех других странах?

Жирондисты тем более обольщались этими радужными перспективами на мировом рынке, что по многим товарам, по сукнам для Леванта, по сахару для всего мира, Франция господствовала на мировом рынке; и эта гордость торговой мощью Франции во всем мире подогривала, я не сомневаюсь, мечту о революционной экспансии, которую вынашивали жирондисты.

Они искренне желали для Революции достижения широких горизонтов, к которым они привыкли в силу почти безграничного разнообразия их деловых связей. Идея *максимума*, регламентации внутри страны цен на продукты питания, на товары, заработной платы лишь тогда укоренится в сознании и возобладает в нем, когда международная торговля будет почти разрушена, когда Франция окажется как бы в блокаде вследствие всеобщей войны.

Стало быть, в этом сахарном кризисе в январе 1792 г. обнаружился не только конфликт между буржуазией и народом. Уже чувствовались разногласия между жирондистской группой и рабочим людом. Петиционеры секции Гобеленов открыто угрожали торговой и фейянской буржуазии; но существовало разногласие и между стремлением петиционеров, которые, пусть пока еще робко, мечтали о регламентации, и концепцией жирондистов<sup>17</sup>.

15. Собрание издало декрет на основании выводов Дюко. Никто и не подумал опровергать его основную аргументацию, которой было бы достаточно, чтобы доказать, что революционеры обладали не абстрактным умом, как утверждают порой, а острым чувством экономической реальности.

16. «Равенство для социального человека — это только равенство

в правах» (Верньо, речь 13 марта 1793 г.). «Собственность — это право каждого гражданина пользоваться и располагать той долей имущества, которая гарантирована ему законом» (Робеспьер, речь 24 апреля 1793 г.)

17. Сахарный кризис был лишь частным аспектом более широкого кризиса, охватившего все продукты питания без исключения.

## ПРОБЛЕМА СКУПКИ

Дюко прекрасно понимал опасность и попытался облечь в приемлемую для публики форму свой отказ согласиться с законом против скупки: «Я с прискорбием отказываюсь поддержать меры, направленные на прекращение бесчестных махинаций спекулянтов, которые разыгрывают между собой общественное достояние; но необходимо признать, что закон против скупки очень трудная вещь, ибо он может оказаться направленным в равной мере как против прилежного коммерсанта, так и против алчного скупщика; ибо, ставя препоны торговле, он может ее подорвать, так как не существует торговли без свободы. Тем не менее я отнюдь не думаю, что такой закон вовсе невозможен, но мне кажется, что его следует подготовить с большим тщанием, потому что, касаясь границ права собственности, он не должен их переступить. Я бы предложил, чтобы Законодательный комитет совместно с Комитетом торговли разработали и представили вам в кратчайший срок закон против скупщиков.

И наконец, не сомневайтесь в этом: есть материальный предел бедам, на которые скупщики обрекают народ; такого рода спекуляции должны провалиться из-за их собственных крайностей: дороговизна продуктов питания поведет к сокращению потребления; сроки платежей по заключенным этими безумцами контрактам заставят их открыть свои склады; вы увидите, как вернутся в продажу изъятые ими продукты. Большая конкуренция должна повести к быстрому падению цен, и скупщики окажутся первыми жертвами своей пагубной игры. (Роман.) Счастье еще, если честные граждане не будут увлечены в эту бездну; последние как раз достойны вашего сожаления. Что до тех, кто уже несколько месяцев спекулирует на хлебе бедняка и обогащается за счет его жестоких лишений, то вы не испытаете к ним ни малейшего чувства жалости. И я, зная об их постыдной торговле, об их гнусных операциях, в отчаянии от того, что не могу поставить у них на лбу клейма позора; но я не сойду с этой трибуны, пока не выскажу всего негодования, которое должен испытывать по отношению к ним всякий честный гражданин». (*Неоднократные аплодисменты Собрания и трибун.*)

Слабость Жиронды обнаруживается в этих пылких словах, ибо они прикрывают почти отрицательный вывод. Правда, Собрание по предложению Дюко приняло решение о том, что следует подготовить проект закона, который мог бы действенным образом предупреждать скупку и карать скупщиков. Но то была мысль очень нечеткая, и проект даже не был представлен Законодательному собранию. Оно почти все целиком было того же мнения, что и депутат Массе, а именно что «устанавливать твердые цены на продукты питания значило бы посягать на принципы Конституции, значило бы посягать на собственность».

Бриссо в своей газете «Патриот франсэ» ограничился несколькими напыщенными и довольно расплывчатыми декларациями и оптимистическими заверениями. Он был раздосадован экономическими беспорядками, которые угрожали расколоть надвое великую армию Революции как раз в тот момент, когда он мечтал бросить ее против Европы. В номере от 24 января он очень сурово отозвался о скупщиках: «Конечно, закон обязан защищать каждого гражданина; но разве каждый гражданин не обязан отдать дань патриотизму? Какими глазами отечество должно смотреть на людей, которые спекулируют на общественном бедствии, на понижении курса, на недостатке звонкой монеты, на дороговизне продуктов?» Однако в номере от 26-го он торопится доказать, что кризис не будет продолжительным, что цены непременно упадут, что необходимо успокоить тревогу и восстановить доверие.

Газета Приюдома «Револьюсьон де Пари» взяла на себя двойную задачу: оправдать народ и успокоить его. Под заголовком «Народные движения против скупщиков» он опубликовал большую статью [21—28 января 1792 г.], которую я, к сожалению, лишен возможности воспроизвести полностью, но которая является очень важным социальным документом. Смутные устремления демократов-революционеров в тот момент отразились в ней во всей их сложности. То он как будто не только оправдывает, но даже подстрекает народ: «Жозеф Франсуа Дельбе или те, для кого он служит ширмой, желая отомстить за восстание своих негров в Сан-Доминго, намерены обречь парижан на постоянное созерцание двух тысяч фунтов сахара, которые они не имеют возможности купить; но что бы он сказал, если бы народ, поймав его на слове, написал на дверях его складов, так же как и на других, где хранится масса съестных припасов, злонамеренно изъятых из продажи:

*Salus populi suprema lex esto* \*.

Именем народа  
продаются две тысячи фунтов сахара  
по 30 су за фунт

Общее вздорожание имело глубокие корни, политические и финансовые одновременно. Падение курса революционных денег свидетельствовало о недостаточном доверии к ним иностранных коммерческих кругов. Дабы положить конец финансовому кризису и поднять курс ассигнатов и валютный курс, жирондисты подумывали о различных средствах; для достижения цели они рассчитывали даже на войну. См. адрес Якобинского клуба от 17 ян-

варя 1792 г., составленный под их влиянием: «Поспешим же, принесем свободу во все соседствующие с нами страны... И вскоре доверие вновь возродится в государстве, кредит будет восстановлен, курс опять приобретет устойчивость, наши ассигнаты наводнят Европу...» Да и сама война тоже в известной мере была войной экономической.

\* Благо народа есть высший закон (лат.).— *Прим. ред.*

Ибо надо же уяснить себе: справедливо ли, что трудолюбивое и бедное население, насчитывающее 600 тыс. душ, лишается какого-то продукта питания только потому, что дюжине злобных и алчных личностей вздумалось закрыть свои склады или увеличить во сто крат свои прибыли? И поскольку эти собственники бесцеремонно пренебрегают законами чести и принципами гуманности, вряд ли у кого хватит духу обвинить народ за то, что и он в какой-то момент пренебрежет бессильными законами гражданского общества?.. И кто больше, чем народ, особенно народ Парижа, заслуживает всяческого внимания, всяческого снисхождения, если не со стороны закона, который этого не ведает, то по крайней мере со стороны своих законодателей и должностных лиц? Он все на себе вынес, а его теперь обвиняют в преступлении, когда, потеряв на какой-то момент терпение, он проявил излишнюю горячность перед несколькими своими церквями, превращенными в склады сахара, цену на который взвинтили с редкостным бесстыдством. Неужели такое уж преступление отправиться на улицу Экуф, в Зал для игры в мяч или же на набережную Рапэ, после того как ему сказали: «Послушай-ка, славный народ! Д'Андре, который заставил тебя так дорого платить за правосудие в Провансе, который продал твою Конституцию Тюильрийскому дворцу, сейчас вот в компании с Сино и Шарлеманем скупает огромное количество сахара на золото гражданского листа, дабы опустошить твой кошелек, перепродавая тебе этот сахар втридорога<sup>18</sup>.

Лелё и компания, которые тебе слишком хорошо знакомы, пользуясь твоими невзгодами и желая отомстить за немилость, какую они претерпели со стороны закона в их торговле зерном и мукой<sup>19</sup>, завалили кофе и сахаром малые конюшни короля и некоего господина Блока, содержателя похоронных дрог на улице Шапон в Марэ (этих запасов хватит на два года, что подтверждают реестры адмиралтейства, можешь сам в них заглянуть), да и еще один склад в Сен-Жерменском аббатстве.

Лаборд сделал заем из четырех процентов с теми же намерениями<sup>20</sup>; Кабанис, негодяй, улица Симетьер-Сен-Никола (у одного шляпочника), Гомар и братья Дюваль, с улицы Сен-Мартен, и многие другие стакнулись, дабы бессовестно перепродавать тебе продукт, который, как они знают, ты любишь, и очень довольны, ибо служат одновременно и своим интересам, и интересам двора, где у них есть сообщники».

Чтобы быть точным, журналист из «Револьюсьон де Пари» в особой заметке исправляет одну фактическую ошибку, которую он допустил: «Неправильно был распространен слух о том, что в Сен-Жерменском аббатстве находился склад сахара. Мы лично проверили этот слух и можем подтвердить, что в огромном складе, служившем прежде подвалом дома и снятом год назад неким г-ном Лораном де Мезьером-сыном, банкиром и комиссионером с улицы Сен-Бенуа, мы обнаружили только 240 бочек вина,

162 бочки водки, 50 кулей соды и 41 тыс. фунтов кофе, принадлежащих различным негодяям из Гавра и Нанта, о чем ими подана декларация в муниципалитет».

Любопытно, что революционная буржуазия, складывая свои товары в секуляризированные наконец помещения церквей и в подвалы монахов и, несомненно, считая, что она таким образом служит Революции, вдруг подверглась обвинениям в скупке и вызвала гнев народа. Революция неожиданно столкнула друг с другом две движущие ее силы.

Однако демократы из «Револьюсьон де Пари», защищая таким путем интересы народа, предупреждают его, что эти скупки представляют собой план, задуманный его врагами с целью вызвать его раздражение и толкнуть на беспорядки и эксцессы, которые поставят под угрозу саму Революцию. Они заклинают народ не поддаваться в эту западню и остерегаться грабителей, которых контрреволюция засылает в народ, чтобы дискредитировать его. Очевидно, вся революционная буржуазия, даже наиболее демократическая, с трудом переносит не только эти волнения, но и сами эти проблемы. Под видом разоблачения маневров врагов народа они скрывают действия самого народа.

«Граждане! Вот как с нами обращаются наши доморожденные враги, по отношению к которым мы еще проявляем столько великодушия. Они начали с того, что скупали изделия, которые они приобретали на ассигнаты, отдавая их по пониженной цене, чтобы подорвать этим национальные бумажные деньги, чтобы насмерть поразить торговлю, делая вид, будто они ее оживляют; но они лишают ее основы, не считаясь с символом общественного богатства. Этот первый маневр не принес патриотам того вреда, на который они рассчитывали. *Мануфактуры не могли удовлетворить спрос, число рабочих в связи с этим быстро возрастало; заработок ремесленников повышался по мере повышения цен на произведенные ими товары; промышленность, во всяком случае, процветала и, казалось, побеждала нищету.* Это не входило в расчеты подлых спекулянтов; их целью было отнюдь не процветание общества; они изменили тактику, говоря себе: давайте скупим сырье и сделаем так, чтобы фабрикант не мог достать его ни за золото, ни за серебро, ни за ассигнаты; по крайней мере установим такую высокую цену, что он не посмеет даже приблизиться к сырью, не сможет его приобрести.

18. До 1789 г. Д'Андре был советником парламента Прованса, в 1790 и 1791 гг. он играл видную роль в Якобинском клубе и начал завязывать связи с двором лишь после бегства в Варенн, когда народное движение внушило ему страх перед демократией.

19. Речь идет о братьях Лелё, вла-

дельцах мельниц в Корбее, обвиненных в 1789 г. в спекуляции мукой.

20. Лаборд, банкир, в прошлом член Учредительного собрания, член Якобинского клуба. Среди деловых людей, обвиненных в спекуляции на сахаре, следует упомянуть еще банкира Лекультё.

Фабрикант, отягощенный уже высокой стоимостью рабочей силы, предпочтет бездействовать, чем работать в убыток; поэтому он уволит своих рабочих. Последние, оставшись без работы и без хлеба, проклянут Революцию, которая обрела их на нищету и закрыла перед ними все возможности применения их труда; они пожалуют о дворянах, которые давали им жить, о богачах, которые обеспечивали их работой.

Сделаем так, чтобы в течение двух недель не осталось ни одной работающей фабрики, за исключением сырья; скупили все вплоть до бумаги, грифельных досок и булавок; к этому бедствию добавим еще одно, которое поразит народ еще больше: припрячем продукты, до сих пор бывшие в изобилии, ибо они из предмета роскоши превратились ныне в предмет первой необходимости. Революция в колониях предоставляет нам для этого удобнейший предлог. Закон будет всецело готов охранять скупку и защищать скупщиков, а народ не преминет проклясть такой закон, запрещающий ему прикасаться к продуктам, без которых он не может обойтись: тогда он проклянет законодателей».

Совершенно ясно, что там, где газета Прюдона видит и разоблачает планы контрреволюции, мы имеем дело всего лишь с естественными следствиями действия частных интересов в новых условиях, порожденных Революцией. Неограниченная свобода торговли и промышленности, не стесненная более никакими корпоративными путями, а также наличие огромной массы бумажных денег побуждали революционную буржуазию, подстегиваемую к тому же водоворотом событий, умножать и расширять свои операции. Этим объясняется и основание обширных складов; отсюда и большие заказы мануфактурам; и вполне понятно, что, по мере того как мануфактуры расширяли свое производство, и самим владельцам мануфактур, и спекулянтам пришла в голову мысль делать большие запасы сырья, необходимого для промышленности; цена на последние, естественно, росла, а потому промышленное производство оказалось во власти двух противоположных сил: одна служила ему стимулом, а другая — тормозом. Изобилие ассигнатов действовало как стимул; дороговизна сырья действовала как тормоз. Тенденциозная интерпретация экономических явлений не имеет, следовательно, ни малейшей цены, но интересно отметить, во-первых, как мы уже ранее не раз это доказывали при помощи решающих свидетельств, что в тот период наблюдалась оживленная промышленная деятельность и, во-вторых, что зарождавшийся конфликт между буржуазией и народом не был четко выраженным конфликтом между рабочими и хозяевами.

Такой конфликт мы наблюдали в июне 1791 г., когда происходила крупная стачка плотников, охватившая почти всю Францию. Но в общем и целом социальные кризисы во время Революции были чаще всего продовольственными кризисами, конфликты про-

исходили скорее между торговой буржуазией и народом в целом, включая ремесленников и часть фабрикантов. В те дни пролетарии не предъявляли никаких жалоб на промышленников, на фабрикантов; последние, по-видимому, сумели согласовать стоимость рабочей силы, заработную плату, с уровнем цен на продукты питания; и сам промышленный подъем, требовавший большого количества рабочей силы, вынуждал хозяев мануфактур разумно обращаться с рабочими. Фактически в тот период у рабочих и фабрикантов были, по-видимому, одни и те же интересы и одни и те же враги; когда «монополисты», «скупщики» притесняют и душат рабочих, вздувая цены на продукты питания, они одновременно стесняют и фабрикантов, поднимая цены на сырье. К тому же промышленность было не так легко концентрировать, как торговлю; вдруг построить крупные мануфактуры или заводы было сложнее, нежели открыть большие склады. Вот почему активность капиталистов, поощряемая абсолютной свободой торговли и изобилием бумажных денег, проявлялась главным образом в сфере торговли и гораздо слабее в сфере промышленности. Газете Прюдона угодно было видеть заговор в этих экономических явлениях, вытекавших из самой природы вещей и из новых институтов.

По правде говоря, возможно, что буржуазные демократы не вполне отдавали себе отчет в неизбежных для развития капитализма последствиях Революции. Возможно также, что злорадство контрреволюционеров, которые надеялись извлечь для себя пользу из этих волнений, внушило буржуазным демократам мысль, что именно контрреволюционеры были единственными виновниками этих волнений. Вполне могло статься, впрочем, что люди, подкупленные контрреволюцией, были в самом деле замешаны в народных движениях. «Изливая свой гнев на розничных торговцев, народ совершает серьезное преступление и вопиющую несправедливость; но это не подлинный народ забылся до такой степени, это не он заставлял продавать ему сахар головками по 20—25 су за фунт. Народ слишком беден, чтобы делать подобные закупки; это богатые люди, приверженцы министерства [министерство в январе состояло из роялистов и фейянов], створники двора, друзья белых [колонистов], сообщники эмигрантов подучили всяких негодяев подстрекать народ, чтобы вызвать бунт, чтобы положить начало контрреволюции и чтобы можно было говорить, демонстрируя головки сахара, насильно купленные по 20 су за фунт, что крупные купцы, как и розничные торговцы, уже не могут спокойно жить в Париже, что на собственность посягают, что свободе торговли положен конец и что Париж никогда не станет центром торговли, могущим соперничать с Амстердамом, поскольку здесь не уважают колебаний цен на товары».

Итак, несмотря на великий гнев против спекулянтов, газета Прюдона, как и Дюко, ратует за неограниченную свободу тор-

говли; и первая же фраза статьи ясно указывает на то, что не может быть и речи о том, чтобы прибегнуть к закону. «В настоящий момент в Париже и в центрах некоторых департаментов совершается национальное преступление, великое преступление, против которого, однако, закон не может и не должен выносить решения».

На самом же деле эта политика выжидания, ораторских выступлений и бездействия закона в отношении спекуляции, или скупки, или даже повышения цен на продукты питания была возможна в 1792 г.; ибо если в то время экономическое положение и было несколько беспокойным и нестабильным, то не было ни острых страданий, ни глубоких потрясений.

## ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Ассигнат, служивший опорой Революции, не был серьезно поколеблен, и доверие к нему сделало даже возможным новые, широкие эмиссии. Между тем на этом доверии к ассигнату стали появляться темные пятнышки. Бюджетная ситуация не была благоприятной. Бюджет Революции в 1791 и 1792 гг. вырос в среднем до 700 млн. в год. Но если расходы фактически достигали этой цифры, то доходы, «поступления», далеко не равнялись им; налоги, существовавшие при старом порядке, были упразднены, а новые — поземельный, личный налог на движимое имущество, рассчитываемый на основе довольно сложного тарифа в соответствии со стоимостью нанимаемого гражданами жилища, — еще не поступали регулярно. Администрация департаментов, дистриктов, коммун запаздывала с раскладкой налогов, с составлением податных списков; и, несмотря на усилия патриотических обществ, тайное сопротивление контрреволюционеров во многих местах парализовало фискальную систему. Когда Законодательное собрание приступило к работе, оно было вынуждено признать, что за 1790—1791 гг. образовалась задолженность в 700 млн.; была взыскана лишь половина налогов. И естественно, покрывать этот дефицит пришлось ассигнатами. Созданные для покрытия чрезвычайных потребностей, для уплаты чудовищных долгов старого порядка и возмещений за упраздненные должности, они оказались вдобавок предназначенными нести тяжесть повседневных расходов Революции. Такое бремя могло бы уничтожить кредитоспособность ассигната, однако революционеры надеялись (и не будь войны, их надежды, конечно, оправдались бы), что новая фискальная система скоро наладится и при полном поступ-



лении доходов их хватит на покрытие всех расходов. И тем не менее были на этот счет и некоторое беспокойство и некоторые тревоги<sup>1</sup>.

И второе — связь ассигната с его земельным обеспечением оставалась недостаточно четко определенной. Ценность и надежность ассигната составляло то, что он выпускался под обеспечение национальных имуществ; ассигнаты принимались в уплату за церковные имущества, пущенные в продажу, а потому ясно, что ассигнаты могли сохранять свою ценность лишь до тех пор, пока стоимость продаваемых имуществ значительно превышала сумму, на которую были выпущены ассигнаты. Итак, разрыв был еще очень велик. В то время как докладчик бывшего Комитета финансов Учредительного собрания Монтескью в мемуаре, представленном Законодательному собранию<sup>2</sup>, оценивал всю совокупность проданных и подлежащих продаже имуществ в 3200 млн. и Камбон как будто соглашался приблизительно с этой цифрой<sup>3</sup>, ассигнатов было выпущено с разрешения Учредительного собрания лишь на 1300 млн. Следовательно, в ту пору земельное обеспечение под ассигнат не только было сверхдостаточным и даже с излишком, но и земли эти реализовались очень быстро. Продажи, о коих были получены сведения к концу 1791 г., достигали суммы в 903 млн., а поскольку 114 дистриктов еще не представили к тому времени своих сведений, то на эту дату всю совокупность проданных имуществ следует оценивать в 1500 млн. Таким образом, можно было быть уверенным, что от одного срока платежей до другого ассигнаты, которые шли на оплату приобретенных владений, будут поступать в Кассу чрезвычайных доходов. Там, по мере того как они поступали, их сжигали, а потому тяжесть эмиссий в огромной степени облегчалась<sup>4</sup>.

Однако в действии этого механизма было нечто ненадежное. Оплата приобретенных имуществ производилась путем ежегодных взносов: одни покупатели освобождались от долга досрочно, другие до конца использовали предоставленную им законом рассрочку; поэтому возврат ассигнатов и их сжигание происходили нерегулярно; и в то время как новые эмиссии выбрасывали на рынок сразу на 100 млн., а то и на несколько сотен миллионов ассигнатов, возвращение их тянулось долго и шло с перерывами. И чем больше был интервал во времени между моментом выпуска ассигната и моментом, когда он возвращался, чтобы быть сожженным, после того как он послужил для оплаты национальных имуществ, тем больше было возможностей, что неожиданные случайности нарушат этот механизм.

Можно было, например, опасаться, что Революция, вынужденная из-за войны идти на чрезвычайные расходы, перестанет сжигать вернувшиеся ассигнаты; и, несмотря на все предосторожности, принятые для того, чтобы придать этому сожжению достоверный характер, Революции так и не удалось убедить всю страну

в том, что ассигнаты уничтожались по мере их возвращения в Кассу чрезвычайных доходов; можно было также опасаться и чрезмерной эмиссии ассигнатов. Впрочем, было невозможно точно приспособить сумму выпускаемых ассигнатов к недостаточно надежно определенной стоимости представленных к продаже имуществ, и было ясно, что ассигнаты останутся еще в обращении и после того, как все имущества будут распроданы.

И действительно, как можно было внезапно изъять их из обращения, лишит ли страну средств обмена, которые были ей безусловно необходимы? Но следовало также предвидеть, что в конце этой грандиозной операции по продаже наступит определенный период, когда ассигнаты, по крайней мере те, которые еще не возвращены, не будут больше иметь земельного обеспечения. Монтескью справедливо указывал, что в таком предположении нет ничего угрожающего; он предвидел (в случае, если выпуск ассигнатов не превысит установленной Учредительным собранием суммы), что к 1799 г. в обращении останется ассигнатов не более чем на 400—500 млн. И он добавлял: «Возможно, к тому времени поймут необходимость не изымать из обращения в королевстве фиктивную монету, которая, если свести ее количество к правильной пропорции, будет очень полезной и не сможет принести никакого вреда.

*Учреждение Национального банка, который поглотит остаток ассигнатов, заменив их разменными билетами на предъявителя, обеспечит окончательное завершение операции к 1800 г.»* Тем не менее в функционировании этого механизма эмиссий и возвраще-

1. Согласно отчету самого Комитета финансов Учредительного собрания от 17 мая 1791 г., из выпущенных на 1200 млн. ассигнатов только 295 млн. пошли на погашение основной суммы государственного долга, остальное было истрачено на текущие расходы, примерно по 140—150 млн. в месяц. Часть ассигнатов была сожжена по мере их возвращения в казначейство; но возвраты эти далеко не достигали суммы эмиссий.
2. Монтескью-Фезансак (1741—1798) — генерал-лейтенант, член французской Академии, депутат от дворянства города и предместий Парижа.
3. Камбон (1756—1820) — негодянт из Монпелье, член муниципалитета, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Эро.
4. Фактически долгие сроки, представляемые покупателям национальных имуществ, которым разрешалось выплачивать свой долг в течение двенадцати лет, задерживали возврат ассигнатов в кассу казначейства и способствовали их обеспечению. Необходимо отметить здесь оптимистический характер утверждений Жореса. К концу 1791 г. «стоимость национальных имуществ первого происхождения была превзойдена: сумма выпущенных ассигнатов превысила их обеспечение». (J. M o r i n i - S o m b u y. Les Assignats. Paris., 1925, p. 39.) Однако декретом от 31 декабря 1791 г. было решено, что до апреля 1792 г. необходимые для казначейства фонды будут обеспечиваться из прежних источников, а именно путем выпуска ассигнатов.

ния ассигнатов было что-то неопределенное, зыбкое, что могло подорвать доверие к ассигнату.

Но ему угрожала и другая опасность: Учредительное собрание приказало рассчитаться с владельцами упраздненных должностей. Эта операция неизбежно протекала довольно медленно, и, чтобы не лишать слишком долго владельцев этих должностей капитала, который им причитался за их пост, Собрание решило, что они получат временные квитанции, которые позволят им приобретать национальные имущества. Директор ликвидационной службы Дюфрен Сен-Леон предупредил Законодательное собрание об опасности в важном мемуаре от 9 декабря: «Владельцы упраздненных должностей имеют право требовать от меня временных квитанций, которые могут приниматься в уплату за национальные имущества, в размере, не превышающем половины предполагаемой стоимости их должностей, за которые им еще не заплачено.

*Я повинуюсь закону в этом вопросе не без угрозыений совести, ибо я всегда рассматривал эту операцию как выпуск дополнительных ассигнатов, который, хотя он и производится на основании закона и о нем ежемесячно сообщается в отчетах Кассы чрезвычайных доходов, происходит, однако, не на глазах у народа».*

Получается, что в дополнение к публичной эмиссии ассигнатов производился некий почти тайный выпуск ассигнатов, и эти *квитанции*, которые принимались к уплате за национальные имущества наравне с ассигнатами, создавали конкуренцию последним и, понижая стоимость их обеспечения, рисковали подорвать их кредит. Эта ликвидация должна была обойтись в солидную сумму, было упразднено 12 тыс. должностей: уже осуществленная ликвидация обошлась в 318 856 тыс. ливров, и комиссар по ликвидации Дюфрен Сен-Леон оценивал расход по ликвидации всех должностей в 800 млн. Тут под видом временных квитанций могло негласно возникнуть неисчислимо число ассигнатов.

К тому же так как Революция, озабоченная прежде всего тем, чтобы избежать банкротства, предназначала ассигнаты главным образом для уплаты неотложных долгов, то неопределенность размеров самого этого неотложного долга тоже ударила по ассигнатам.

Опытный финансист Клавьер, который работал вместе с Мирабо и который был весьма обижен тем, что его не избрали в Законодательное собрание, потребовал допустить его к барьеру, дабы он мог предупредить об опасности, которую представляло неопределенное состояние долга для кредитоспособности ассигнатов. Он горячо доказывал, что многие предъявляемые долговые претензии являются сомнительными и подозрительными, что поспешная и беспорядочная ликвидация долга ведет ко многим случаям мошенничества, и предложил, чтобы ликвидация долга и оплата связанных с этим претензий были приостановлены до тех пор, пока тщательное, доскональное изучение вопроса не позволит установить общие размеры долга и основательно проверить все

детали. Продолжать выплату, не проведя предварительно проверки, значило бы рисковать ежедневным увеличением эмиссии ассигнатов.

С этого момента Клавьер стал финансистом Жиронды. Сам он был замешан во многих спекуляциях; некогда его обвиняли в том, что он воспользовался пером Мирабо, добиваясь падения курса акций «Компаньи дэз О»; и его предложение, если оно и было рассчитано на то, чтобы поддержать кредит Революции и облегчить бремя ассигнатов, могло иметь также и другую цель — вызвать внезапное понижение всех ценностей, подлежащих ликвидации. Верньо, который в тот день, 5 ноября, председательствовал, похвалил «его гений». И действительно, в его концепции был ряд смелых и популярных положений. Она угрожала прежде всего привилегированным представителям старого порядка, держателям подозрительных долговых обязательств, обладателям противоречащих законам морали должностей, которые в изобилии создавались двором. Она закрывала или казалась, что закрывала, по собственному выражению Клавьера, «лазейку, которая угрожала подрывом обеспечения ассигнатов» из-за конкуренции ликвидационных квитанций. И наконец, так как Клавьер, после того как он предложил поддержать таким образом кредитоспособность ассигната, потребовал выпуска мелких ассигнатов достоинством в 10 су, то есть создания бумажных денег, удобных для народа, то на какое-то время его предложение имело большой успех у народной партии.

В ноябре и Бриссо высказался в том же духе. Но Собрание сопротивлялось. Оно было обеспокоено энергичными требованиями всех держателей различных долговых обязательств и опасалось, что одно упоминание об отсрочке уплаты будет понято страной как банкротство; грозные слова Мирабо еще звучали в памяти, и Законодательное собрание в торжественной и почти единогласно принятой резолюции отвергло всякое прекращение, всякую отсрочку платежей как противоречащие общественному доверию<sup>5</sup>. Тем самым Собрание фактически взяло на себя обязательство тотчас же превысить предел эмиссии ассигнатов, установленный Учредительным собранием.

Камбон, сразу завоевавший огромный авторитет в Собрании ясностью своего ума, силой характера и неумным трудолюбием, отныне стал как бы ворчливым сторожевым псом, охраняющим кредитоспособность Революции. Он также с некоторым тайным

5. Декрет от 9 декабря 1791 г.: «Национальное собрание, принимая во внимание, что французская честность отвергает любой проект, предусматривающий прекращение платежей по неотложным долгам, но что в то же время

его долг определить порядок этой оплаты, постановляет, что платежи по неотложным долгам не будут прекращены, и открывает дискуссию по поводу порядка этих платежей». «Moniteur», X, 586.

сочувствием отнесся к предложению Клавьера; он хотел, чтобы была внесена полная ясность в финансовое положение Революции, прежде чем будет выпущен хотя бы один новый ассигнат. Однако бурный протест Собрания против любого прекращения платежей показал ему, что он должен искать более умеренные средства. 24 ноября он предложил Законодательному собранию назначить всем кредиторам срок для предъявления документов, доказывающих их право на возмещение; по истечении этого срока долг перестает быть «подлежащим беспорочной и немедленной уплате»; он не аннулируется окончательно, но он будет консолидирован и обращен в «вечный долг»; нация будет обязана выплачивать лишь проценты по этому долгу, но ей не придется выплачивать его основной капитал в ассигнатах.

Хотя все усилия и Клавьера, и Бриссо, и самого Камбона свидетельствуют о том, что в то время люди предусмотрительные старались ограничить эмиссию и предотвратить обесценение ассигната, они все равно не избежали Революцию, чьи потребности были огромны, от необходимости превысить в конце 1791 г. предел, установленный Учредительным собранием. И, несмотря на самое упорное сопротивление Камбона, требовавшего, чтобы приступили к выплате долгов только постепенно, лишь по мере того, как ассигнаты будут возвращаться в Кассу чрезвычайных доходов в качестве платы за национальные имущества, Законодательное собрание 17 декабря издало следующий декрет<sup>6</sup>:

«Сумма ассигнатов, находящихся в обращении, которая, согласно декрету от 1 ноября сего года, была определена в 1400 млн., будет доведена до 1600. млн.». Учредительное собрание уже само нарушило установленный им сначала предел; оно разрешило дополнительно выпустить на 100 млн. ассигнатов достоинством в 5 ливров; в несколько месяцев Законодательное собрание довело сумму ассигнатов до 1600 млн.

Одновременно Собрание позаботилось о выпуске или увеличении количества мелких купюр. Учредительное собрание выпускало ассигнаты почти исключительно крупного достоинства — в 2000, 1000, 200 и 50 ливров. В результате при расчетах по мелким сделкам, при выплате заработной платы, в розничной торговле не хватало мелких бумажных денег.

В мае Учредительное собрание постановило выпустить на 100 млн. ассигнатов достоинством в 5 ливров взамен ассигнатов крупными купюрами на ту же сумму в 100 млн. Но это была капля в море; эти 100 млн. были почти мгновенно поглощены общественной администрацией, которой они были необходимы, чтобы платить жалованье священникам, служащим, солдатам; и, хотя эти мелкие ассигнаты могли впоследствии разойтись по всей стране, большинство департаментов было их лишено. Законодательное собрание захотело решительно исправить это зло. Оно посчитало, что должно поступить с ассигнатом так, как если бы он представ-

лял собой единственное денежное средство, и привести его, следовательно, в соответствие со всеми потребностями торговых сделок. Оно приняло формулу Камбона, что «ассигнаты мелкого достоинства должны получить такое же широкое распространение, как прежде металлическая, звонкая монета». Оно приветствовало Мерлена, заявившего, что необходимо «развезти чары золота и серебра». 23 декабря оно приняло декрет о том, что при новой эмиссии ассигнатов в них будет 100 млн. по 50 су, 100 млн. по 25 су и 100 млн. по 10 су.

Благодаря этим мелким купюрам ассигнатов, отвечавшим всем разветвлениям товарооборота, Революция наконец внедрилась во всю сеть денежного обращения и экономической жизни, в ее вены и артерии, во всю капиллярную систему. Тем самым денежный знак Революции — ассигнат — полностью, глубоко овладел социальной жизнью.

Какое влияние оказала к началу 1792 г. эта масса ассигнатов, возросшая в целом и ставшая более дробной, на экономическое и социальное развитие? У этого вопроса много аспектов, и их следует проанализировать: 1) соотношение ассигната с иностранной валютой; 2) соотношение различных категорий ассигнатов между собой; 3) соотношение ассигнатов с металлической монетой; 4) их соотношение с ценами на продукты питания и промышленное сырье. Затем, после такого анализа, следует синтезировать все эти соотношения и проследить их влияние на производство и товарообмен в целом и на отношения классов. В этом неизбежно кратком исследовании я могу лишь указать на метод и отметить некоторые важнейшие черты.

Когда говорят об обесценении ассигнатов в тот или иной период Революции, при этом пользуются слишком общими выражениями, которые из-за своего общего характера просто не имеют никакого смысла, ибо степень обесценения была весьма различной в зависимости от того, с какими ценностями сопоставляли ассигнат.

Так, к концу 1791 г. и в начале 1792 г. ассигнат потерял по сравнению с французской металлической монетой, или, точнее, потерял в Париже по сравнению с экю, 20% своей стоимости. Это, разумеется, средняя цифра, ибо эти ценностные соотношения менялись каждый день.

Но мы знаем от Комитета финансов, что как раз в это время, когда казначейству требовалось производить небольшие платежи, а в его распоряжении не было ассигнатов достоинством в 5 ливров, оно было вынуждено покупать экю, расплачиваясь крупными ас-

6. «Moniteur», X, 655; «Archives parlementaires» XXXVI, 181. Камбон предложил эмиссию на сумму 100 млн., чтобы справиться

с неотложными нуждами казначейства «до того, как будет доложено о порядке оплаты». «Moniteur», X, 654.

сигнатами и теряя на этом 20%, ибо за каждые 100 ливров в эю ему приходилось платить 120 ливров ассигнатами<sup>7</sup>.

Это уже значительное обесценение, и оно вскоре еще усилилось; но это не беспокоило современников в такой степени, как мы могли бы вообразить, ибо ассигнат с самого начала никогда не шел по нарицательной цене, он всегда терял не менее 7—8%; поскольку металлическая монета, ставшая довольно редкой по многим причинам, считалась чуть ли не предметом роскоши, то казалось естественным переплачивать, если желаешь ее приобрести.

### КРИЗИС ВАЛЮТНОГО КУРСА

Но в то время как по сравнению с французской металлической монетой ассигнат обесценился всего на 20%, по сравнению с иностранной валютой в те же дни он потерял уже 50% своей стоимости. Чтобы получить металлическую монету или кредитные билеты Германии, Голландии, Швейцарии, Англии или чтобы купить векселя, подлежащие оплате в Лондоне, Амстердаме, Женеве, Гамбурге, приходилось отдавать 150 ливров ассигнатами за 100 ливров в иностранных ценностях. Или же, если взглянуть на вещи с другой стороны, иностранцы, имеющие 100 ливров своей валюты, могли получить за них во Франции ассигнатов на 150 ливров.

Чем было вызвано такое невероятное падение курса по сравнению с иностранной валютой, одно из самых значительных, какое может выдержать страна? Обычно такое понижение курса указывает на тревожное состояние вялости или кризиса в стране, к ущербу которой оно происходит. Когда промышленное производство в стране очень слабо развито, когда она вынуждена покупать за границей гораздо больше, нежели она может туда продать, она не может расплачиваться продуктами отечественного производства за ввозимый из-за границы продукт: поэтому она вынуждена покупать иностранную валюту и, следовательно, вынуждена платить за эту иностранную валюту дорого.

Тем самым нарушается равновесие между валютой страны, которая продает мало, а покупает много, и валютой той страны, которая продает больше, чем покупает.

Или же, если страна, у которой не хватает капиталов, может развивать свои предприятия только с помощью иностранных капиталов, то она вынуждена для оплаты процентов совершать многочисленные платежи за границей. Это тоже ведет к понижению курса.

Или еще один случай: когда дела в какой-либо стране ведутся неумело, когда ее финансы обременены долгами, когда ее промышленные предприятия ненадежны и подвержены риску, когда любая финансовая или коммерческая катастрофа может подорвать

кредитоспособность всех национальных ценностей, естественно, что иностранцы покупают эти неустойчивые ценности только по низкой цене и принимают их в оплату, лишь добившись скидки, которая вознаградит их за риск. Так или иначе упорное снижение валютного курса является признаком неблагополучия, растущего истощения и нарушения равновесия.

Если применить это правило к Революции, то пришлось бы сделать вывод, что экономическое положение Франции в 1792 г. было чрезвычайно тревожным. Но дело в том, что нельзя применять к стране, где происходит революция, правил, которые подходят только для спокойных периодов.

Безусловно, некоторые причины, действительно удручающе действовали в тот период на валютный курс. Прежде всего, ужасный недород в 1789 г. вызвал усиленную утечку французской валюты за границу. Во-вторых, недостаточные бюджетные поступления в 1790 и 1791 гг. могли внушить сомнения в стабильности наших финансов. И в-третьих, поскольку при старом порядке было заключено много займов за границей, в Женеве, Гамбурге, Амстердаме, Лондоне, во всех богатых капиталами протестантских странах, то внезапные платежи по этим долгам, к которым пришлось приступить Революции, вызвали значительный приток французской звонкой монеты в руки иностранцев, отчего и произошло ее обесценение<sup>8</sup>.

Но самой главной причиной падения валютного курса был моральный фактор. У иностранцев не было той веры в успех Французской революции, как у самой Франции. Не разделяя страсти эмигрантов, они прислушивались к их порочащим речам, к их мрачным пророчествам; и в то время как Франция чувствовала, что ее охраняет от опасностей сама сила ее убежденности, в умах иностранцев гнездились сомнения, а сомнения — это значит потеря кредита<sup>9</sup>.

В данном случае потеря кредита была, однако, результатом не столько ослабления жизнеспособности самой Франции, сколько неверной точки зрения на нее других стран. В таких условиях

7. Согласно официальным таблицам обесценения бумажных денег, к концу января 1792 г. за 100 ливров в ассигнатах в Париже давали всего 63 ливра 5 су, что означало обесценение приблизительно на 37%. На то же время в департаменте Ду обесценение составляло 21%, в департаменте Мерт — 28% и всего лишь 12,5% в департаменте Кот-д'Ор; в департаментах Жироанда и Буш-дю-Рон обесценение доходило до 33%.

8. Добавим: чтобы платить жалова-

ние военным в звонкой монете, казначейство покупало последнюю за границей; эти неоднократные закупки еще больше способствовали обесценению ассигната и падению валютного курса (см. речь Монтестью от 17 мая 1791 г.).

9. Бегство Людовика XVI в Варенн и возникшая вслед за тем опасность войны внушили многим людям во Франции и за границей сомнения в успехе Революции, а следовательно, и в надежности ассигната.

понижение валютного курса не имело неблагоприятных последствий, оно даже весьма содействовало росту производства. Иностранцы предпочитали получать в уплату товары, а не обесцененные бумажные деньги и делали обширные заказы нашим мануфактурам. Или же, поскольку им доставались по дешевой цене ассигнаты и поскольку эти ассигнаты, обесцененные сравнительно со звонкой монетой, не потеряли своей покупательной способности в отношении продуктов питания, им было выгодно покупать на ассигнаты много товаров, отчего наш экспорт быстро возрастал, а вместе с ним росло и наше производство. И наконец, так как наши промышленники и коммерсанты могли покупать иностранные товары, только уплачивая на курсе большой лаж, они сильно ограничили свои заказы за границей, что еще больше стимулировало отечественное производство<sup>10</sup>.

Таковы были второстепенные и кратковременные преимущества, которые принесло падение валютного курса стране, чей кредит был подорван. Благодаря странному и парадоксальному явлению эта потеря кредита их денег и их ценностей была для экспорта поощрением, а для импорта барьером. Однако революционная Франция получила совершенно исключительную возможность сочетать эти косвенные преимущества падения валютного курса с замечательной экономической активностью страны, находящейся на подъеме. Различие в моральной атмосфере во Франции и в остальном мире определило главным образом падение валютного курса французских ценностей. Франция обладала одновременно силой страны пылкой, полной кипучей жизни и искусственными средствами развития, которые в странах, переживающих упадок, являются как раз результатом их упадка.

Было немало деятелей Революции, которые понимали, что это падение курса отнюдь не означает ослабления Франции, а некоторые даже усматривали в этом известные преимущества.

13 декабря 1791 г. Делонэ (из Анжера) заклеил махинации биржевиков, которые, по его словам, вызывали или усугубляли падение курса, и констатировал тем самым, что это снижение не является следствием упадка экономической жизни нации<sup>11</sup>.

«Я говорю об этом с горестью, — восклицал он, — общественное мнение у нас еще не проявляет достаточного интереса к финансам, ибо народ совершенно незнаком с финансовыми вопросами. Вот почему у нас воцарились ажиотаж, разбой, мрак. У нас не существует морального осуждения. У англичан, если бы их банкиры, их биржевые маклеры оказались бы недостаточно добрыми гражданами и совершали бы или потворствовали операциям, заведомо губительным, в какое бы благополучное время это ни происходило, а тем более когда государству грозила бы опасность, они очень скоро были бы обращены в ничто благодаря негодованию общественного мнения. Существует, господа,

и я вам об этом заявляю, великий заговор против кредитоспособности ассигната, и ненасытная алчность спекулянтов ему благоприятствует. Цель этого заговора — вызвать рост цен на все товары, чтобы народ возроптал...»

И, подойдя к более частному вопросу о валютном курсе, Делонэ говорит:

«Курс — это цена, которую дают за границей за наше эю, ибо наши ассигнаты фактически и есть ныне эю, которые наши соседи боятся принимать; между тем они не настолько лишены ума и сообразительности, чтобы смеиваться ассигнаты, обеспеченные национальными имуществами, с бумажными деньгами, лишенными специального обеспечения, не имеющими ни порядка, ни срока оплаты. Они знают к тому же, что могут расплачиваться с нами нашими ассигнатами точно так же, как если бы они возвращали нам наши эю. Почему же наши соседи боятся принимать наши ассигнаты, как мы сами их принимаем? Все эти тревоги вызваны речами врагов Конституции, осевших среди них...»

Отказ наших соседей принимать наши ассигнаты тем более объясняется страхом, что *повышение денежного курса было да и сейчас еще является для них невыгодным. Не понесли ли они и не несут ли каждый день огромные убытки, реализуя суммы, которые мы им должны? Однако курс сейчас стал таким, что можно подумать, будто наша торговля переживает упадок, наши мануфактуры заброшены, наши земли пустыют и не обрабатываются, а мы испытываем безграничную нужду в иностранных товарах всякого рода, тогда как на самом деле все национальные ресурсы никогда еще не использовались столь активно, а наша потребность в товарах иностранного производства никогда не была столь ничтожна.*

*Почему мы терпим такие огромные убытки на валютном курсе? Почему, хотя мы меньше нуждаемся в иностранцах, чем они нуждаются в нас, валютный курс продолжает падать?»*

Позднее Конвент даст ответ на эти животрепещущие вопросы,

10. Нам представляется, что Жорес преувеличивает здесь благоприятное воздействие ассигнатов на национальную промышленность. Несомненно, в течение нескольких месяцев на предприятиях наблюдался очевидный расцвет, но он был искусственным. Держатели ассигнатов торопились избавиться от них, не только приобретая национальные имущества, но и обменивая их на товары и создавая запасы последних. Эти постоянные закупки, как и закупки иностранцев, при-

влеченных падением валютного курса ассигнатов, стимулировали производство. Но как неизбежное следствие этого начался рост цен на товары, что привело к вздорожанию стоимости жизни. См. далее замечания по этому поводу Кайе де Жервиля.

11. Делонэ из Анжера (1752—1794) — адвокат, королевский комиссар при анжерском трибунале в 1790 г., депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Мен-и-Луара.

приняв в законодательном порядке меры, которые сравниют в цене ассигнат и звонкую монету. Меры действенные для изолированной Франции, но не имевшие никакого значения на мировом рынке. И я повторяю еще раз: Делонаэ не мог, что вполне логично, обвинять ажиотаж, не утверждая при этом, что общее состояние дел никак не объясняло понижение валютного курса.

23 декабря выступил Бёньо<sup>12</sup>, который объяснил утечку нашей звонкой монеты причинами, не имевшими никакого отношения к ассигнатам, а именно торговлей с Индией, где мы покупали шелка и пряности, за которые Франция расплачивалась не своей продукцией, а золотом и серебром. Он объяснял ее также торговым договором с Англией, который, открыв еще с 1785 г. наш рынок для английских товаров, привел к утечке нашей звонкой монеты. Но он добавил: *«Повышение валютного курса, которого так неразумно пугаются, не только не повредило нашим мануфактурам, но и придало им новую энергию; иностранец, вынужденный получать капиталы из Франции, но не имеющий возможности или не желающий принимать наши ассигнаты, получает их в товарах французского производства; потребитель, французский торговец, не имея больше возможности получать товары из-за границы вследствие повышения валютного курса, вынужден пользоваться товарами французских мануфактур. Таким образом, в этом плане это повышение валютного курса, которое всех так встревожило, может быть лишь показателем активности нашей торговли, процветания наших мануфактур; именно на основе этих принципов следует судить об экономическом подъеме Франции; а не по колебаниям курса процентных бумаг на улице Вивьен [где находилась биржа]. (Аплодисменты.)»*

*Но если французские мануфактуры переживают подъем, какого они никогда не знали, если они получают больше заказов, чем когда бы то ни было, то совершенно ясно, что суммы в 100 млн. мелкой монеты явно недостаточно для их потребностей».*

Спустя два месяца, 18 февраля 1792 г., министр внутренних дел Кайе де Жервиль в своем докладе Собранию о положении в королевстве так же оценил экономическую обстановку во Франции.

*«Результаты торговли в настоящий момент весьма благоприятны, значение коих злонамеренные люди тщетно пытались умалить. Все наши мануфактуры работают с высокой нагрузкой; огромное число людей, изнывавших в нужде и бездействии, вернулись к труду и могут по крайней мере существовать».*

*Но не стану скрывать от Национального собрания, что большей частью загруженность наших мануфактур связана с характером расчетов нашей торговли с иностранцами, предпочитающими продукт нашей промышленности другим ценностям, которые они не склонны принимать. Неблагоприятное положение нашего валютного курса обеспечивает пока иностранцам при их покупках временные преимущества».*

*Весьма значительный рост внутреннего потребления, вызванный как продовольственными запасами всякого рода, необходимыми при настоящем положении вещей, так и спекуляциями отдельных лиц, надо также рассматривать как одну из причин большой активности наших мануфактур».*

И Кайе де Жервиль указывает как на непосредственные выгоды такого экономического положения, так и на то, что в нем есть непрочного. В самом деле, совершенно очевидно, что, когда действие всех этих факторов, повысивших потребление во Франции, будет исчерпано, когда буржуазия превратит в товары все осевшие в ее руках ассигнаты, когда заграница получит сполна все, что ей должна Франция, основательно запасшись у нас товарами, тогда все товары, продукты и сырье постепенно повысятся в цене настолько, что станут малодоступны для наших промышленников, а иностранцы, несмотря на выгодную для них разницу в курсе, перестанут у нас покупать. Вот тут-то и может наступить всеобщая депрессия или даже полная остановка производства, которое не сможет обеспечить себе достаточное количество сырья для переработки. «После этого краткого изложения, — добавил министр, — случайных и временных причин подъема нашей промышленности следует признать, что расширение нашей торговли вовсе не является абсолютным и независимым, что это не длительное процветание и что мы отнюдь не добились подлинного увеличения национального богатства. Наши рабочие живут, мы выплачиваем свои долги товарами нашей промышленности, вот и все наши успехи; но, принимая во внимание обстоятельства, и эти успехи велики. Впрочем, вполне вероятно, что, когда сырье, получаемое нами из-за границы, будет использовано, нам придется вновь его покупать, цена его, возможно, заметен возрастет как из-за разницы в курсах, так и в зависимости от ценностей, которые пойдут на его оплату; тогда изделия нашей промышленности уже не в состоянии будут конкурировать с изделиями промышленности наших соседей».

Прогноз этот несколько мрачен, и, может быть, Кайе де Жервиль чуть-чуть преувеличил искусственность и ненадежность в росте промышленной активности и богатства в тот период. Помимо влияния валютного курса, колоссальное обновление общества, усиливавшееся с каждым днем, огромное перемещение собственности, которое совершалось и которое побуждало новых собственников к преобразованиям и переустройствам, вкус к благосостоянию, пробудившийся в самых скромных слоях третьего

12. Бёньо (1761—1835) — должностное лицо при президентском суде [гражданском и уголовном суде первой инстанции] в Бар-сюр-Об, прокурор-синдик департамента

Об в 1790 г., депутат Законодательного собрания, в дальнейшем — префект, государственный советник и граф Империи.

сословия благодаря революционной гордости, — все это способствовало росту национальной активности, носившему гораздо более глубокий и устойчивый характер, нежели на то указывал министр. Но опасности, о которых он сигнализировал, не пустые слова, и мы уже наблюдали частичный сахарный кризис, который имел место в январе, за три недели до доклада министра, и подтверждал его тревожные прогнозы.

Уже Клавьер, желавший напугать Законодательное собрание страшными результатами слишком большого обесценения ассигната, неоднократно указывал на пагубные последствия понижения валютного курса. В противоположность Бёньо и с гораздо большей настойчивостью, чем Кайе де Жервиль, он предупреждал больше всего об опасностях и почти полностью замалчивал благоприятные моменты. В письме, зачитанном Собранию 1 декабря, где он опровергает возражения, которыми было встречено его предложение о прекращении платежей, я читаю следующие серьезные слова:

«Поскольку валютный курс определяет наши взаимоотношения с заграницей, его колебания влияют не только на сделки биржевых игроков, они отражаются и на ценах иностранной продукции, в которой мы испытываем нужду; низкий курс влечет за собой ее удорожание, следовательно, наносит вред мануфактурам, потребляющим эти товары, он непрерывно лишает нас некоторой части нашей звонкой монеты, ибо золото и серебро, утекая из Франции за границу, вследствие низкого валютного курса всегда частично оседает там, что составляет для Франции чистый убыток. Низкий курс свидетельствует всегда о большом беспорядке, он внушает опасения; и даже коммерческие связи, основанные на полезном для французов кредите, из-за этого прерываются либо ослабевают. Ассигнаты, по любой причине попавшие в чужую страну, лишаются там доверия, отчего и продаются за бесценок, а это снижает их стоимость в самом королевстве. Низкий курс, без сомнения, повышает спрос на французские товары, но этот спрос ограничен потреблением; он регулируется не столько ценой на товары, сколько потребностью в них, в то время как операции, которые совершаются с серебром и золотом с учетом низкого валютного курса ассигната, не имеют границ».

Но, несмотря на эти страхи, бурный поток жизни, производства, богатства поднимал и увлекал революционную Францию; уносимая этим быстрым и внезапно разбухшим потоком, она мчалась вперед со смешанным чувством веселой отваги и беспокойства, издавая громкие крики гнева, когда натывалась на неожиданное препятствие, как это случилось с сахарным кризисом, но тут же продолжая далее свой отважный путь или же льстя себя надеждой, что ей удастся устранить опасность несколькими декретами.

Был момент в феврале и марте, когда так вздулись цены на некоторые виды сырья, необходимого для промышленности, что

Собрание решило любыми средствами добиться их снижения; хлопок, например, очень быстро вздорожал с 240 до 500 ливров за квинтал. Шерсть, необработанная или пряжа, вздорожала примерно в той же пропорции. Многие владельцы мануфактур, фабриканты вопили: «Что же с нами станется? И как мы будем работать? Как мы зайдем своих рабочих, если сырье стало так дорого и если иностранцы, поощряемые выгодным для них курсом, скупают и поглощают его?» И вдруг, решив с великой ловкостью использовать панику, распространившуюся из-за высоких цен, фабриканты потребовали у Собрания полного запрещения вывоза за границу целого ряда видов сырья. Такие прецеденты уже бывали. Учредительное собрание не всегда без ограничений применяло принципы так называемой свободной торговли. Оно установило высокие ввозные пошлины на иностранные промышленные изделия. И оно запретило вывоз некоторых видов сырья: зерна, необходимого для пропитания людей; льна, необходимого, чтобы их одеть; и шелка, который используется во многих ремеслах.

На основании этих примеров, произведших сильное впечатление на членов Собрания, Комитет торговли, орган, защищавший интересы промышленников, потребовал, чтобы законом был запрещен вывоз «хлопка и шерсти, произведенных во французских колониях, шерсти из Франции, пряденой и непряденой, пеньки-сырца, пеньки трепаной и окончательно отделанной, мокросоле-ных шкур или сырмятных кож, каучука из Сенегала, обрезков кожи и пергамента». Этот запрет горячо поддержали депутаты Маран, Массэ, Форфе<sup>13</sup>, Арена<sup>14</sup>. Последнему горячо аплодировал с трибун народ, который думал, руководствуясь несколько узким экономическим национализмом, что эти запретительные постановления обеспечат труд всем рабочим Франции. «О чем вы должны позаботиться? — восклицал Арена. — Это чтобы ваше сырье не уплывало за границу кормить рабочих других стран, а потом возвращалось во Францию вздорожавшим на стоимость затраченного на его переработку труда». Такое рассуждение было примитивным, чересчур примитивным и плохо вязалось с бесконечной сложностью экономических явлений. Маран заявил, что без запрета существование 2 млн. рабочих окажется под угрозой<sup>15</sup>. Однако Эммери энергично возражал, что все это — просто махинации владельцев мануфактур против торговли и земле-

13. Форфе (1752—1807) — морской инженер в Руане, депутат Законодательного собрания от департамента Нижняя Сена.

14. Арена (1765—1829) — адвокат, член департаментской дирекции Корсики, депутат Законо-

дательного собрания. «Moniteur», XI, 464.

15. Маран (1755—1843) — неопиант, член администрации округа Нёшато, депутат Законодательного собрания от департамента Вогезы. «Moniteur», XI, 464.

лия<sup>16</sup>. Как же так! Продукция сельского хозяйства — шерсть, конопля, лен — не была богатой в этом году; земледельцы, имевшие лишь немного для продажи, надеялись по крайней мере, что будут вознаграждены повышением цен; меж тем, закрывая перед ними выход на иностранные рынки, их хотят отдать на милость фабрикантов! Их хотят заставить продавать свой товар по бросовым ценам. Он обратил внимание на то, что колонии, вместо того чтобы посылать свою продукцию, особенно хлопок, во Францию, где она будет заморожена и обесценена, предпочтут отправлять ее непосредственно в другие страны и что Франция потеряет на этом не только комиссионные доходы, но и ее собственное снабжение.

Собрание было чувствительно к этой угрозе, и точно так же, как оно отказалось запретить экспорт сахара, потому что в таком случае колонии стали бы продавать его непосредственно другим нациям, оно отказалось ввести запрет и на экспорт хлопка. Но если оно признало невозможным ввести запретительный режим на сырье, производимое за пределами Франции, то оно постаралось, напротив, удержать во Франции с помощью законодательных мер сырье, которое производилось в стране. Так, 24 февраля оно приняло следующий декрет:

«Национальное собрание, заслушав доклад своего Комитета торговли относительно роста цен на сырье, необходимое для производства, и о его вывозе за границу, принимая во внимание, что вывоз льна и шелка уже запрещен и что не менее необходимо задержать в стране другие виды сырья, без которых не могут работать мануфактуры; принимая во внимание, что оно обязано заботиться о предупреждении бедствий, какие может причинить Франции недостаток указанного сырья, если и в дальнейшем будет разрешен его вывоз; принимая во внимание, что оно должно сохранять для всех граждан средства для обеспечения их насущных нужд и лишать врагов возможности переправлять за границу в виде сырья массу своих капиталов, постановляет, что дело это безотлагательно, и, предварительно провозгласив эту безотлагательность, принимает следующее постановление:

*Статья 1.* Вывоз из королевства, морем или по суше, шерстяной пряжи и непряженой шерсти, необработанной пеньки, пеньки-волока, трепаной пеньки или аппретированной, пресносухих и парных шкур, а также обрезков кожи и пергамента временно запретить.

*Статья 2.* Вывоз хлопка, поставляемого колониями, запретить временно, до тех пор, пока Национальное собрание не примет окончательного решения относительно повышения пошлины при вывозе этого товара за границу.

Собрание поручает Комитету торговли представить ему без промедления проект декрета о таком повышении пошлины.

Отметим, что это временное запрещение вывоза хлопка относилось исключительно к хлопку из колоний. Камбон обратил

внимание на то, что Марсель получал и потом перепродавал хлопок из Леванта, что этот хлопок очень легко отличить от хлопка из колоний, и что если запретить его вывоз, то марсельские купцы перенесут свои склады хлопка в Ливорно, и что таким образом большой торговый поток минует Марсель и, вместо того чтобы обеспечить снабжение наших мануфактур, мы его подорвем. Собрание с ним согласилось и поступило подобно Учредительному собранию, которое в свое время освободило шелк из Леванта от запретительных мер.

Даже в отношении шерсти пришлось, правда с оттяжками, с большой неохотой, согласиться на некоторые смягчения и исключения; после первого чтения в марте, второго — в апреле Собрание только 14 июня приняло декрет, разрешавший вывоз за границу непряженой шерсти иностранного происхождения, если таковое будет доказано. Тот же декрет освобождал, кроме того, владельцев суконных фабрик в Седане, владельцев мануфактур в Ретеле и Реймсе от уплаты пошлины с обработанной шерсти, которую они отправляли прясть за границу и затем вновь ввозили во Францию. Владельцам заведений, изготовлявших крученую пряжу в департаментах Нор и Эна, также разрешалось посылать свою пряжу за границу для отбелики и затем вновь ввозить ее в королевство без уплаты пошлины.

Но сами эти исключения только подчеркивают, как Собрание заботилось о сохранении по мере возможности сырья, необходимого для французской промышленности. Что касается хлопка, то пошлина на его вывоз была повышена до 50 ливров за квинтал. Очевидно, какой-то инстинкт подсказал Франции в тот период 1792 г., что ей следует обособиться, замкнуться. Колебания валютного курса, позволявшие иностранцам дешево скупать у нас сырье и товары, вынуждали ее замыкаться и защищаться.

Фактически это уже было начало, в экономической форме, войны между Революцией и всем остальным миром. Если ассигнат был дискредитирован за пределами страны, то это случилось потому, что нигде больше на свете не нашлось сил, достаточно заинтересованных в успехе Революции. Она пробуждала в умах части народов неясные симпатии. Но ни для немецкой, ни для голландской, ни для английской буржуазии, ни для рабочего класса Лондона и Амстердама успех Революции не стал, позволю себе заметить, их кровным делом. Когда бы они на этот успех надеялись, когда бы они его желали, они бы поддержали курс ассигната и доказали бы свою веру в Революцию доверием к деньгам Революции. Недоверие к ассигнату за пределами Франции свидетельствует о недоверии к самой Революции в умах народов

16. Эммери (1754—1825) — неогциант из Дюнкерка, командир национальной гвардии, депутат За-

конодательного собрания от департамента Нор. «Moniteur», XI, 464.



и дает изведать меру его. Мир не был подготовлен к ней в такой степени, как Франция, и эта разница в уровне революционной зрелости находит соответственное выражение в уровне курса ассигната внутри и за пределами наших границ.

Возлагать вину за это на спекуляцию, как это делал Делонэ, как это делал сам Клавьер, было по меньшей мере наивно и поверхностно. Спекулянты могли воспользоваться в своих бесчисленных операциях этой разницей между курсом ассигната внутри и вне страны; они могли ее усугубить, но первой и важнейшей причиной недоверия к ассигнату на внешних рынках была глубокая дисгармония между революционной Францией и остальным миром. Это недоверие к ассигнату за границей действовало и на наши то вары, на наше сырье как всасывающий насос, и французская промышленность одновременно поощрялась спросом на ее продукцию и оказалась под угрозой из-за спроса на ее сырье. Революция встревожилась и охущью искала пути устранения опасности, запрещая вывоз из страны сырья, необходимого для работы национальной промышленности.

Если бы Жиронда, вместо того чтобы увлекаться разговорами о спекуляции, задумалась о глубоких причинах этого явления, она бы разглядела его самый верный признак, наиболее точный симптом — недостаточную подготовленность к революции всего остального мира и она бы так легко и с таким энтузиазмом не ухватилась за мысль о всеобщей войне в надежде, что пропаганда Революции встретит немедленный широчайший отклик и сочувствие всех народов. Между экономической замкнутостью, на которую отныне была обречена Франция, и грандиозной революционной экспансией, о которой мечтала Жиронда, существовало глубокое противоречие, которое эти пристрастные и доверчивые умы не сумели разглядеть. Они и в самом деле утверждали, что победоносная война восстановит курс ассигнатов во всем мире. Адрес, который якобинцы под влиянием воинственно настроенных жирондистов направили аффилированным обществам 17 января 1792 г., выражает эту надежду

*«Поспешим же... принесем свободу во все соседствующие с нами страны, создадим барьер из свободных народов между нами и тиранами; заставим их трепетать на их шатающихся тронах, а затем вернемся к нашим очагам, чей покой не будут больше нарушать ложные тревоги, худшие, нежели сама опасность. И вскоре доверие вновь возродится в государстве, кредит будет восстановлен, курс опять приобретет устойчивость, наши ассигнаты наводнят Европу и тем самым заинтересуют наших соседей в успехе Революции, у которой отныне не будет больше грозных врагов»*

Жирондисты забывали, что если бы промышленные и торговые классы, буржуазные классы, единственные, которые могли желать или действительно попытаться совершить революцию, аналогичную нашей, к этому по-настоящему стремились, если бы

экономические и политические условия их развития в Англии, Голландии, Германии были для этого очень благоприятны, то они объединили бы свои революционные интересы с нашими, поддержав доверие к ассигнату. Одним только союзом принцев, эмигрантов, спекулянтов и тиранов невозможно было бы объяснить такого рода провал Революции на всех биржах Европы, где властвовала буржуазия. И Робеспьер, если бы он более внимательно относился к экономическим явлениям, мог бы сослаться на это недоверие к революционным деньгам за границей в противовес мечтам о легко осуществимой ликующей революционной экспансии, которую с героическим и преступным легкомыслием проповедовали жирондисты.

Но если этот кризис валютного курса и свидетельствовал об отсутствии равновесия между Францией и остальным миром, если он и грозил неустойчивостью экономического положения и производства Франции, то зато небывалый подъем мануфактурного производства в 1792 г. предохранил рабочий люд Франции от наихудшего из зол — от безработицы. Как естественное следствие повышенного спроса на рабочую силу, заработная плата, как это подтверждает уже цитировавшаяся статья из «Революсьон де Пари», имела тенденцию к повышению. Но разве не страдали рабочие и ремесленники в этот период от недостатка средств обращения и от вздорожания продуктов питания?

## КРИЗИС ЦЕН

Следует тут же заметить, что если ассигнат в конце 1791 и в начале 1792 г. обесценился по сравнению с иностранной валютой на 50%, а по сравнению с металлическими деньгами — на 20%, то он гораздо меньше терял по отношению к продуктам питания. Это явление, которого нельзя отрицать, и оно было отмечено в ту пору очень многими наблюдателями. Звонкую монету, золото и серебро рассматривали тогда как товар особого рода<sup>1</sup>. Тот, кто владел золотом и серебром, чувствовал себя застрахованным от любого кризиса, от всех возможных сюрпризов с курсом бумажных денег или с ценами на продукты. Золотые и серебряные монеты легко спрятать и хранить, они не портятся, подобно другим товарам, а по отношению к иностранной валюте они сохраняют всю свою покупательную способность, которую теряют ассигнаты. На золотую и серебряную монету был особенно большой спрос со стороны тех, кто желал превратить в прочный металл свои бумажные ценности, не беря на себя труд заниматься торговлей; вот почему звонкая монета особенно повышалась в цене; это повышение не коснулось многих товаров, а именно тех, которые по особым причинам не годились для спекулятивных операций, как годились для этого сахар или хлопок.

Кайассон в своем докладе от 17 декабря заявил весьма недвусмысленно<sup>2</sup>:

«Все на свете знают, что когда два вида денег имеют неодинаковую стоимость, то менее ценные неизбежно вытесняют полноценные. И тогда последние по отношению к первым, как и все прочие товары, подвергаются колебаниям цен. И когда в силу множества обстоятельств пытаются вывезти их за пределы государства, стоимость их должна резко повыситься. Если бы стои-

мость ассигната зависела от его меновой стоимости и от цены серебра, мы бы увидели во внезапных колебаниях, которые были вызваны биржевым ажиотажем в эти последние дни, что все предметы, обмениваемые на ассигнаты, подчинены этим изменениям. Между тем цены на хлеб и продукты первой необходимости не изменились».

Три месяца спустя, несмотря на то что произошло тревожное повышение цен на большое число товаров — на кожу, хлопок, сахар, Кондорсе тоже утверждал в великолепном мемуаре, прочитанном в Собрании 12 марта, что обесценение ассигната по сравнению с продуктами питания, которое очень трудно определить, было, без сомнения, меньше, чем обесценение ассигната по сравнению со звонкой монетой.

«Кроме того, — сказал он, — было бы ошибкой судить о реальном обесценении ассигнатов, сравнивая их стоимость со стоимостью звонкой монеты; только на основании цен некоторых продуктов питания, путем довольно сложных расчетов, под которые было бы трудно подвести надежную основу, можно было бы с некоторой точностью установить степень их обесценения. Но очень важно отметить, что это обесценение гораздо менее значительно, нежели на то указывает стоимость звонкой монеты. И важно также устранить эту ошибку, которую наши враги рады без конца повторять».

И впрямь повышение цен на товары было мало ощутимо, но современников поражало главным образом не то, что повышения не было, а то, что, несмотря на отмену ввозных пошлин и сборов с продажи напитков, не произошло снижения цен. Это и подчеркнул Эбер в тех статьях в «Пер Дюшен», которые очень энергично выражали чувства и гнев народа. «Черт возьми! — восклицал он в № 83 газеты, вышедшем в тот период<sup>3</sup>, — неужели мы ничего не выиграем от уничтожения застав? Неужели на нас взвалят новые налоги и мы будем по-прежнему платить все те же пошлины?»

То не была, стало быть, пора застоя, а наоборот — общий подъем экономической деятельности и процветание, оживление деловой активности. «Протестанты, — писал 12 декабря 1791 г. аббат Саламон, — только что открыли еще один новый банк»<sup>4</sup>.

1. Согласно декрету от 13 мая 1791 г., деньги рассматривались как товар, подверженный колебаниям курса, луидор и ассигнат котировались на бирже; таким образом, обесценение ассигната по сравнению со звонкой монетой было узаконено самим Собранием.

2. Кайассон — председатель директори деп. Верхняя Гаронна, депутат Законодательного собрания

3 «Le Père Duchesne», № 83, s d

«Повыжения цен на хлеб и продукты питания требует папаша Дюшен от нового Законодательного собрания»; № 89, s d «Великий гнев папаша Дюшена в связи с вздоржанием хлеба». Эти номера вышли в поябре 1791 г

4 Саламон (1760—1829) — интернунций папы в Париже с 1790 по 1801 г. См.: «Correspondance secrète avec le cardinal de Zelada, 1791—1792», Paris, 1898, p. 194.

И если эта экономическая лихорадка и была порой причиной роста цен на продукты питания, то возрастали и спрос на рабочие руки и заработки.

Недостаток ассигнатов в мелких купюрах и мелких металлических денег был некоторое время большой помехой для промышленников и для рабочих. В ноябре была такая нужда в мелких ассигнатах по 5 ливров, которых было еще очень мало, что они приобрели лаж по сравнению с крупными. 28 ноября Осман говорил в Собрании<sup>5</sup>:

«Мелкие ассигнаты являются единственным средством торговли, и, если вы не примете всех необходимых мер, чтобы воспрепятствовать их разбазариванию, они не дойдут до департаментов. Необходимо принять строжайшие предосторожности при этом обмене. Надо предохранить себя от ажиотажа, который имеет место при расчетах, когда крупные ассигнаты меняют на мелкие с лажем в 7—8% в пользу последних».

Таким образом, если бы в распоряжении народа были ассигнаты по 5 ливров, он бы не страдал так от обесценения, потому что мелкие ассигнаты меньше теряли в цене, чем крупные. Но с другой стороны, сам ассигнат в 5 ливров был неудобен в обращении, пока не были выпущены еще более мелкие; ибо трудно было найти, чтобы разменять его, еще более мелкую монету, а это во многих областях наносило вред мелкому ассигнату. Мерлен, доказывая необходимость в очень мелких купюрах ассигнатов, сказал 13 декабря:

«Сами ассигнаты по 5 ливров настолько неудобны в обращении, что в моем департаменте, например в Меце, они теряют 14% [по сравнению со звонкой монетой], а это ведет к росту цен на продукты первой необходимости и может толкнуть народ на новое восстание».

## БИЛЕТЫ ДОВЕРИЯ

Мелкие деньги были так редки, что рабочие, платившие, как правило, менее 5 ливров налога, не могли бы его вносить, если бы они не сговаривались платить группами и если бы это не было разрешено особым распоряжением. Во многих местах хозяева, чтобы рассчитаться со своими рабочими, были вынуждены (любопытное явление регресса) выплату деньгами заменять выплатой натурой. Они покупали хлеб, полотно и распределяли эти товары среди рабочих. Нужда в мелкой разменной монете была столь велика, что выпуск билетов доверия получил самое широкое распространение<sup>6</sup>.

Выпускать самые мелкие билеты стали частные банки, обменивая их на ассигнаты. В некоторых районах, например в Арденнах, сама директория департамента взяла на себя инициативу по

выпуску этих билетов, что свело к минимуму возможность ажиотажа и потерь.

Но почти повсюду эти учреждения, пусть они и оказали большую услугу тем, что поддержали денежное обращение и дали Революции время выпустить наконец самые мелкие ассигнаты, заставили дорого заплатить за эту услугу. Прежде всего ассигнаты в 5 ливров при обмене их на билеты доверия теряли в цене: если рабочему, у которого был ассигнат в 5 ливров, надо было «разменять его на мелкую монету», он получал мелких билетов доверия всего на 4,5 ливра<sup>7</sup>. «Мелкие ассигнаты, — сказал Камине 16 декабря, — до сих пор приносили выгоду только богачам, в их руках они превратились в средство снижать заработок бедняка и заставлять рабочих терять одну десятую своего недельного заработка при размене»<sup>8</sup>.

Эбер советует народу избивать палками биржевиков, «евреев», которые спекулируют таким образом на ассигнатах в 5 ливров. Кроме того, эти билеты не имели никакого обеспечения, кроме самих ассигнатов, но за частными банками, которые принимали эти ассигнаты на хранение, не было учреждено сколько-нибудь серьезного контроля; они вполне могли не хранить эти ассигнаты а, напротив, пускать их в оборот для операций всякого рода. Отсюда вытекали две опасности: эти операции могли провалиться, и тогда сразу обеспечение билетов доверия было бы подорвано И, во всяком случае, имело бы место увеличение количества фиктивных денег, а это могло довершить потерю доверия к бумажным деньгам и способствовать чрезмерному повышению цен на продукты.

Ассигнат представлял национальные имущества, билет доверия представлял ассигнат. Если билеты доверия и ассигнаты име-

5 Осман (1760—1846) — торговец полотном из Версаля, член администрации департамента Сена и Уаза в 1791 г., депутат Законодательного собрания. «Moniteur», X, 491.

6. Учредительное собрание декретировало вначале выпуск только крупных купюр. Самые мелкие из них были достоинством в 200 ливров (закон от 16 апреля 1790 г.), затем появились купюры по 50 ливров (закон от 8 октября 1790 г.). Выпуск мелких купюр в 5 ливров был декретирован только 6 мая 1791 г., а начали они распространяться только в июле 1791 г. в Париже и к концу года в департаментах. Относительно билетов доверия в Париже см. ценное разъяснение Фаржа (R. Farge)

в «Actes de la Commune de Paris». 2<sup>e</sup> série, t. VIII, p. 80, n. 2.

7. Когда рабочим платили в эку и биллонах [низкопробное серебро], убыток при обмене ассигнатов на звонкую монету терпели предприниматели. Когда же рабочим начали платить бумажными деньгами, мелкими купюрами по 5 ливров, потери, которые до этих пор несли их хозяева, пали на их плечи, ибо на каждый продукт существовало две цены — одна в звонкой монете, другая в ассигнатах. Оплачивая труд рабочих бумажными деньгами, тем самым снижали их заработную плату.

8. Камине (1739—1814) — негоциант, член администрации департамента Рона и Луара, депутат Законодательного собрания.

ли параллельное хождение, то, казалось, не было более предела для эмиссии бумажных денег. Кретэн, выступивший 28 марта, настойчиво предупреждал Законодательное собрание обо всех этих опасностях<sup>9</sup>. «Ассигнаты выпускались только крупными купюрами. Парижские банкиры занялись спекуляциями, используя эту неблагоприятную ситуацию. Народу внушили, что выпуск мелких ценных бумаг, которые будут обмениваться на ценности, обеспеченные национальными имуществами, без всяких помех для него заменит деньги; народ ухватился за это коварное средство, как за единственное средство спасения. Учредительное собрание, без долгих размышлений уступив этому огромному желанию, не заметило ловушки или же сделало вид, что не заметило<sup>10</sup>.

Вдруг обнаружилось, что «Кэсс д'эсcont», некая «Кэсс патриотик» и «Кэсс де секур» стали вводить в обращение ценности на самые разнообразные суммы и самого разного достоинства. Потом эти учреждения стали дробиться на секции, начался выпуск денег частными лицами. Дело дошло до того, что стали выпускать деньги в виде векселей на предъявителя.

И наконец, увидели, что такого рода эпидемические эмиссии под видимостью благодеяния распространились по всему государству, так что в настоящий момент существует более чем на 40 млн. этих векселей на предъявителя, носящих в некотором роде характер государственных ценных бумаг, в то время как у нации нет ни малейшей уверенности в том, что те, кто их выпускает, несут за них ответственность.

Таким образом, в течение десяти месяцев все средства обращения и обмена, как звонкая монета, так и государственные бумажные деньги, оказались обмениваемыми:

1) на билеты «Кэсс д'эсcont», так называемой «Кэсс патриотик» и «Кэсс де секур»;

2) на векселя или векселя на предъявителя, выпускаемые банкирами;

3) на билеты ряда касс, рассеянных по разным городам, которые последовали примеру Парижа.

И что же дала, господа, подобная концентрация? С одной стороны, естественно, коалицию между банкирами и тремя кассами, о которых я только что говорил; с другой стороны, неограниченный рост количества фиктивных денег.

Отмечу, что фонд, служащий обеспечением, которое должна была дать «Кэсс патриотик де Пари», состоял отнюдь не из ассигнатов или звонкой монеты, а только из государственных процентных бумаг либо процентных бумаг Ост-Индской компании и прочих: то был первый даный ею толчок к спекуляции. Это истина... в свидетели которой я призываю Парижский муниципалитет, депозитора этого обеспечения.

И вот начался обмен ассигнатов на билеты доверия. Ассигнаты в 50 и 100 ливров приобретали лаж от 2 до 3% против ассигнатов

в 500—2000 ливров; «Кэсс патриотик» обменивала, получая такой процент прибыли, ассигнаты в 50—100 ливров на ассигнаты в 500—2000 ливров; последние она использовала для учета векселей с тремя подписями или ссужала их под залог государственных ценных бумаг или ценных бумаг частных компаний, а также золотой и серебряной монеты. Таким путем «Кэсс патриотик» достигла уровня «Кэсс д'эсcont». Так они обе оказались одинаково вовлеченными в банковские операции, в серьезные дела, объединяющие всех банкиров.

Вот почему революционные деньги, которые обладали устойчивостью благодаря земельному обеспечению ассигнатов, теперь из-за выпуска в обращение билетов доверия превратились в деньги, подверженные колебаниям и всем превратностям спекуляции. Вдруг раздаются вопли отчаяния, вопли бедствия. По Парижу в конце марта распространяется слух о том, что «Кэсс де секур» исчерпала или подорвала свой актив, что она не в состоянии оплачивать выпущенные ею билеты доверия. Люди — держатели этих билетов доверия, вдруг обеспокоенные насчет их надежности, толпами устремляются к окошкам кассы и требуют их оплаты. Один из управляющих сбежал; паника растет; билетам, выпущенным «Кэсс де секур» в Париже на сумму 7 млн., грозит полная потеря кредита; народ охвачен сильнейшим раздражением против спекулянтов, биржевых игроков, банкиров, восстание неминуемо. Мэр Парижа предупреждает правительство и Собрание об опасности. Лаффон-Ладеба представляет 30 марта доклад о необходимости срочных мер<sup>11</sup>.

«Не прими муниципалитет, — сказал он, — мер предосторожности, в Париже могли бы вспыхнуть самые большие беспорядки. Мы еще не имеем пока точных сведений о положении этой кассы. Г-н Гийом, главный управляющий, заявляет, что касса выпустила билетов всего на 7 млн., из коих 4 млн. уже возвращены. Он утверждает также, что у кассы есть значительный актив и что один

9. Кретэн (1745—1830) — адвокат при парламенте, мэр города Грв в 1789 г., депутат Законодательного собрания от департамента Верхняя Сона.

10. Учредительное собрание упрядочило эти частные эмиссии законом от 19 мая 1791 г. Оно поставило под опеку административных органов и муниципалитетов частные учреждения, которые брали бы на себя выпуск билетов доверия в обмен на ассигнаты. Оно освобождало от гербовых сборов билеты доверия стоимостью ниже 25 ливров. На учреждения, занимавшиеся эмис-

сией этих билетов, возлагалось только одно обязательство: они должны были представить декларацию в канцелярию муниципалитета и внести залог в ассигнатах. Но закон не давал точных указаний относительно размеров этого залога по отношению к сумме выпускаемых билетов. Он не предусматривал также никаких мер контроля.

11. Лаффон-Ладеба (1746—1829) — сын судовладельца из Бордо, член дирекции департамента Жиронда в 1790 г., депутат Законодательного собрания.

торговый дом в Бордо, два — в Лондоне и один в Амстердаме должны ей крупные суммы.

Г-н Гийом утверждает даже, что при должных усилиях и с течением времени актив сбалаксируется с пассивом. Да сбудутся эти упования! А пока что без помощи этой кассы обойтись нельзя, и нужна она ежедневно и ежечасно. Сегодня утром муниципалитет Парижа внес в эту кассу фонды, но он не в состоянии продолжать оказывать ей такую помощь. А между тем кто те граждане, в чьих руках находятся билеты этой кассы? Это рабочие. Это наименее обеспеченный класс общества, это класс, которому не хватает хлеба. Следовательно, необходимо, чтобы Собрание пришло им на помощь».

Однако сопротивление со стороны Собрания было очень упорным. Два чувства, казалось, владели им в тот момент: прежде всего страх создать опасный прецедент и взять на себя ответственность за все кассы, функционирующие во Франции; и затем нечто вроде зарождающейся ненависти к Парижу. Как! Мы должны дать 3 млн. парижским рабочим, и помощь эту Парижу мы должны оказать за счет налогов, поступающих из провинций! Инар, пылкий и непоследовательный Инар, который дебютировал в Собрании с самыми пламенными речами в защиту Революции, который неожиданно стал советовать обратиться к политике смягчения и умеренности и который столь резким поворотом своих взглядов вызвал такие подозрения, что серьезная газета Приюдома открыто обвинила его в том, что он подкуплен двором, Инар, который произнесет в Конвенте свои знаменитые жестокие и бессмысленные слова, направленные против Парижа, сейчас как бы предвосхищает эту роль неистового врага революционной столицы, возражая против какой бы то ни было помощи. Он дошел до того, что даже прервал Верньо, который заступился за Париж, в таком непристойном тоне, что снисходительный Верньо вынужден был потребовать, чтобы его призвали к порядку. Вначале, 30 марта, Собрание весьма неохотно приняло решение, в котором сквозило недоверие к муниципалитету Парижа: «Национальное собрание, считая дело особо неотложным, декретирует, что Касса чрезвычайных доходов передаст в распоряжение министра внутренних дел и под его ответственность сумму в 3 млн., которую он передаст директории Парижского департамента в качестве аванса и с обязательством возврата этой суммы, чтобы затем она была внесена в кассу муниципалитета, когда последний получит надлежащие полномочия».

Фейяны, разгневанные недавним возвышением Жиронды, ее вхождением в министерство, доверили деньги умеренной директории департамента и, видимо, приняли меры предосторожности против Петиона. Этот первый неохотно принятый декрет был бессмысленным, поскольку он предусматривал довольно длительную процедуру, меж тем как требовалось срочно предоставить сред-

ства для оплаты билетов доверия, чтобы не допустить восстания парижского народа, внезапно оказавшегося разоренным. 30 марта вечером Петион возобновил попытку.

Министр внутренних дел Ролан выступил в Собрании и под ропот присутствующих заявил: «Обстоятельства не позволяют медлить, положение критическое, и, если мы не получим надлежащей поддержки, нельзя ручаться, что не будет восстания». Наконец Собрание, уступая необходимости и давлению жирондистов, решило по предложению Жирардена немедленно предоставить в распоряжение директории 500 тыс. ливров, которые через нее в тот же день должны быть переданы муниципалитету<sup>12</sup>.

Итак, кризис был предотвращен, и, кстати, в тот же момент новая медная монета, которую поторошилось изготовить Собрание, стала распространяться в Париже; это колокола, снятые с колоколен, начали циркулировать в виде маленьких металлических кружочков в руках революционного народа, однако обращение билетов доверия прекратилось лишь в 1793 г.

## РОСТ КЛАССОВОГО СОЗНАНИЯ

Но все это возбуждение, все волнения, резкие колебания цен, сахарный кризис, концентрация средств обращения в руках банкиров — все это предупреждало народ, что в недрах самой Революции развиваются новые силы и его классовое сознание начало обостряться.

С другой стороны, буржуазия, потревоженная в своих коммерческих операциях, испуганная волнениями и обвинениями в скупке, которые, казалось ей, угрожали не только торговле, но даже собственности, смотрела на пролетариат с недоверием, чуть ли не с ненавистью. Особенно приходила в ярость та часть буржуазии, интересы которой были связаны с колониями, слыша, как народ с трибун, ссылаясь на Декларацию прав человека, выступал в защиту цветного населения и даже черных рабов, против белых колонистов и крупных собственников. Глухой разлад между двумя частями третьего сословия, буржуазной и народной, который ясно проявился уже в принятии закона о привилегированном положении активных граждан, в преступном столкновении на Марсовом поле, теперь еще более углубился из-за экономических конфликтов. Петион, к которому, как мэру Парижа, стекались мнения и жалобы тех и других, крики гнева рабочих и вопли ужаса и гордости богатых буржуа, испугался в феврале этого назревающего разрыва. После того как в январе он попытался мягко сдержать

12. Жирарден (1762—1827) — капитан Шартрского полка, председатель директории департамента

Уаза в 1790 г., депутат Законодательного собрания.

народ, поднявшийся против негоциантов, он постарался в феврале склонить буржуазию к большей широте мыслей и великодушию. 6 февраля 1792 г. он направил Бюзо письмо, которое вызвало сенсацию и которое необходимо здесь привести, ибо оно, несмотря на заурядность ума человека, его написавшего, представляет собой социальный документ первейшей важности: оно официально и недвусмысленно констатирует первые симптомы классовой борьбы внутри самой партии Революции<sup>13</sup>.

«Мой друг, Вы мне говорите, что общественное мнение ослабеваает, что принципы свободы искажаются, что, без конца рассуждая о Конституции, на нее не перестают нападать; Вы мне говорите, что самые ревностные ее защитники не придерживаются единой системы и не следуют ей, дабы укрепить Конституцию, что каждый занят лишь преходящими вопросами и мелочами, отражает лишь отдельные атаки, что мы едва ли задумываемся о будущем. Вы меня спрашиваете, что я об этом думаю, какие средства я представляю себе пригодными для предупреждения грандиозной катастрофы, которая, видимо, нам угрожает. Я ограничусь пока тем, что изложу Вам только одно.

Я возвращаюсь к идеям, которые как будто уже далеки от нас, и я воспользуюсь выражениями, вычеркнутыми из нашего лексикона Конституцией, но это единственный способ лучше понять нам друг друга; итак, я буду говорить о третьем сословии, о дворянстве, о духовенстве.

Что было третьим сословием до Революции? Все то, что не было дворянством и духовенством. Третье сословие обладало непреодолимой силой, оно было в двадцать раз сильнее других; поэтому, пока оно действовало дружно, дворянство и духовенство не могли противиться тому, чего желало третье сословие; оно говорило: «Я — нация», и оно действительно было нацией. Если бы третье сословие сегодня было бы таким же, каким оно было в ту пору, нет никакого сомнения в том, что дворянство и духовенство были бы вынуждены подчиниться его воле и не стали бы даже вынашивать безумных проектов мятежа, *однако третье сословие раскололось, и в этом — истинная причина наших бед.*

*Буржуазия, этот многочисленный и зажиточный класс, откололась от народа; она поставила себя над народом; она вообразила себя ровней дворянству, которое ее презирает и ждет лишь подходящего момента, когда сможет ее унизить.*

Я спрошу любого человека, обладающего здравым смыслом и непредубежденного: кто те люди, которые хотят сегодня бороться с нами? Не привилегированные ли это? Ибо, в конце концов, когда они заявляют, что монархия свергнута, что король не обладает никакой властью, то не означают ли эти декларации, и в весьма ясной форме, что различий, какие существовали прежде, больше нет и что они собираются драться, чтобы их вернуть?

*Буржуазия, должно быть, изрядно ослеплена, если она не замечает всей очевидности этой истины; она, должно быть, очень безрассудна, если не действует заодно с народом. В своем заблуждении она полагает, что дворянства больше не существует, что оно не может больше существовать, так что у нее даже не возникает никаких подозрений и она не замечает даже замыслов знати; только один народ внушает ей недоверие. Буржуазии столько раз твердили о войне имущих и неимущих, что эта мысль преследует ее теперь неотступно. Народ в свою очередь раздражен против буржуазии, он возмущен ее неблагодарностью, он напоминает об услугах, которые ей оказал, он вспоминает, что все они были братьями в прекрасные дни свободы. Привилегированные исподтишка разжигают эту распрю, которая незаметно ведет нас к гибели.*

*Буржуазия и народ, объединившись, совершили Революцию; и только их объединение может ее сохранить.*

Это очень простая истина, и потому-то на нее не обращают должного внимания. Толкуют об аристократах, о сторонниках министерства, о роялистах, о республиканцах, якобинцах, фейянах: ум не в силах разобраться во всех этих наименованиях, он не знает, за какую идею зацепиться, и окончательно запутывается.

Конечно, это очень хитро — строить таким путем партии без числа, разделять граждан по их мнениям и интересам, натравливать их друг на друга, создавать из них отдельные мелкие корпорации; но люди мудрые обязаны разоблачать эту коварную политику и помочь избавиться от своих ошибок тем, кто позволил себя незаметно в них вовлечь.

В действительности существуют только две партии, и я добавлю, что это те самые партии, которые существовали и до Революции; одна партия желает Конституции, и именно она ее создала; другая партия не желает ее, и именно она ей противится. Есть несколько человек, которые перекочевали из одной партии в другую, но это — исключения; существуют также и некоторые оттенки в мнениях.

Не обольщайтесь, ничего не изменилось; предрассудки не преодолеваются в один день. Сегодня желают того же, чего желали и вчера: отличий и привилегий. Можно набрасывать на эти притязания какие угодно покровы, форма ничего не значит, важна лишь суть.

*Теперь настала пора третьему сословию открыть глаза и объединиться, иначе его раздавят.* Все добрые граждане должны отбросить свои мелкие личные счеы, заставить умолкнуть свои личные страсти и пожертвовать всем ради общего блага. У нас должен быть лишь один клич: *Союз буржуазии с народом*, или, если это

13. «Le Patriote français», № 914, 10 février 1792.

больше нравится, *Объединение третьего сословия против привилегированных.*

Подобный священный союз в один миг разрушит все замыслы гордыни и мести. Этот союз преградит путь войне, ибо нет силы, способной противостоять столь необоримому могуществу. Вот когда можно будет сказать, что двадцать пять миллионов человек, жаждущих мира, непобедимы. Но мятежники, но державы, которые поддерживают их, не верят сегодня в это внушительное сопротивление, они думают, что эти двадцать пять миллионов разъединены, и этот раскол придает им смелости.

*Я не устану Вам повторять: объедините третье сословие и Отечество будет спасено. Так будет, я в этом не сомневаюсь. Буржуазия осознает необходимость слиться единой с народом, а народ осознает необходимость слиться всею с буржуазией; их интересы неразделимы, и счастье у них общее.*

Народу без конца коварно внушают, что он сейчас более несчастен, нежели при старом порядке. Я не собираюсь утверждать, что народ не страдает, но страдают все граждане, ибо невозможно совершить Революцию без лишений и горя. Переход от деспотизма к свободе всегда мучителен. Разве не страдали в продолжение целых семи лет благородные американцы, терпевшие нужду во всем, в одежде, в продовольствии, презиравшие все несчастья, непрестанно мужественно и настойчиво сражавшиеся; ничто не могло сломить их твердость, они победили все препятствия, и сегодня они самые свободные и самые счастливые люди на земле. Последую же этому великому примеру, и, подобно им, мы обретем прочное и длительное счастье.

Стоит нам сильно захотеть, и мы станем грозными, как никогда. Все эти лиги держав, которыми нам угрожают, рассеются, как пустые призраки; первый пушечный залп станет сигналом к нашему объединению и к гибели наших врагов».

В письме, как я уже говорил, обнаруживается заурядность ума. Петион в неудовлетворительной и расплывчатой форме указывает на причины «раскола», который он так оплакивает. Да, это правда, что имущую буржуазию, по мере того как она перестает бояться дворян и старого порядка, больше всего начинает тревожить опасность, угрожающая ей с другой стороны, со стороны неимущих. И Петион прав, напоминая буржуазии, что борьба против старого порядка отнюдь не окончена, что контрреволюция продолжает быть для нее угрозой и еще долго будет ею. Собственно говоря, спустя более столетия после этих великих событий эта угроза все еще существует, и тем, кто, по определению Петиона, называется третьим сословием, приходилось не раз даже в недалеком прошлом спланивать против нее свои силы. Но что Петион объясняет плохо, чего, по-видимому, он не замечает, так это самого роста народа, который создает новые проблемы, его революционного, политического и социального натиска в последние два года.

Утверждать запросто, что «ничего не изменилось» со времени созыва Генеральных штатов, — значит исказить с самого начала суть вопроса, подлежащего разрешению, ибо, в сущности, речь шла о том, чтобы выяснить в тот момент, как, с помощью какой политики можно сохранить союз двух фракций третьего сословия, народа и буржуазии, несмотря на изменения, происшедшие за последние два года во взаимоотношениях этих двух фракций. Вместо того чтобы дать точное определение, анализировать и предвидеть, Петион проповедует. Призывать просто к защите конституции, в то время как последней как бы раздирают две тенденции, которые она несет в себе, — одна демократическая и другая буржуазно-олигархическая, — это значит заменять решение проблемы ее изложением, ибо надо точно установить, в каком смысле следует понимать и применять конституцию. И затем, в тот самый момент, когда Петион говорит о неразделимых интересах и об общем счастье народа и буржуазии и что, следовательно, их взаимное согласие должно осуществиться легко и естественно, он явно рассчитывает только на двойную войну — войну со старым порядком, войну с иностранными державами, — чтобы сплотить обе части. Он, кажется, и не подозревает, что война, до крайности обостряя опасности и страсти революционной Франции, придаст особую остроту страшному вопросу: кто и какими средствами должен защищать Революцию? Согласные в том, что спасти ее необходимо, народ и буржуазия необязательно будут согласны относительно средств ее спасения.

Итак, взгляды Петиона неясны и нечетки, причем прекрасно понимаешь, что этот морализирующий, расплывчатый оптимизм, скрывающий как бы намеренно подлинные трудности, покинет жирондистов в крайней растерянности среди ужасающей внешней бури, которую они сами безрассудно вызвали. Но чем ограниченной мысль Петиона, чем бессильней его ум, тем поразительней эта констатация растущего классового антагонизма в рядах того, что еще вчера составляло третье сословие. Словно просеиваясь сквозь сито, приводимое в движение все более убыстряющимся ходом Революции, начинают разделяться слитные прежде интересы, и в этом мы видим самый решающий признак политического и социального роста тех, кого Петион называет народом, за истекшие два года Революции: мысль начинает его обособлять, рассматривать его как отдельный элемент.

Это несколько обеспокоило даже буржуа-демократов, ибо, защищая Петиона от яростных нападок контрреволюционеров и фейянов, вызванных его письмом, они стараются смягчить смысл последнего; особенно они возражают против любой идеи о существовании внутри третьего сословия двух классов. «Патриот франсэ», газета Бриссо, писала 13 февраля:

«Мы извиняемся перед нашими читателями за то, что вновь возвращаемся к писакам из «Монитёр юниверсель», но наш долг

сказать пару слов по поводу клевет, которые они возвели вчера на господина Петиона. Все патриоты приветствовали письмо, которое этот образцовый гражданин направил г-ну Бюзо. И что же? Это письмо послужило *сотрудникам «Монитор юниверсель»* поводом, чтобы обрушить на него самое чудовищное обвинение. *Ему ставят в вину, будто он желает установить в обществе два противоборствующих класса — буржуазию и народ!* Ему, кто на протяжении всего письма не перестает проповедовать единство *не двух классов, а двух частей народа*. Они обвиняют его в том, будто он считает, что буржуазия желает контрреволюции, его, кто убеждает буржуазию объединиться с менее обеспеченными гражданами, дабы одолеть сторонников контрреволюции.

Газета Бриссо играет словами. Петион не мог утверждать, что существуют два класса, ибо в основном во взглядах народа и буржуазии на общество и на собственность не было расхождений. Он, безусловно, и не думал натравливать «одну часть народа на другую», если воспользоваться хитроумным выражением газеты «Патриот франсэ». Но важно было другое — важно было установить, что эти две «части народа», сначала единые, почти слитые одна с другой на первом этапе Революции, теперь все больше и больше расходятся по своим интересам, идеям, страстям.

Именно это и придает письму Петиона его симптоматическое значение.

Умеренная и собственническая буржуазия, прекрасно понимавшая, что ради «союза», на котором настаивал Петион, ей пришлось бы пожертвовать частично своим влиянием и своими деньгами, ответила возмущенными воплями. В газетах, в брошюрах она изливала то, что уже можно, пожалуй, назвать ее «цензовой» душой. Особенно пылкое негодование выражала колониальная буржуазия. А приверженцы старого порядка пытались довести до иступления буржуазию, заставить ее дрожать за свою собственность. Вот, например, какой памфлет появился в печати 18 февраля<sup>14</sup>:

«Призыв чести и истины, *обращенный к собственникам* г-ном Жозефом де Баррюелем-Бовером. Вместо предисловия: г-н Петион, мэр, только что предупредил *собственников*, что им не следует отделять свои интересы от интересов *санкюлотов*<sup>15</sup>, ибо это пошло бы на пользу аристократии, а подсказало г-ну Петиону этот мудрый совет патриотическое красноречие; однако я боюсь, что совет этот не будет столь радостно принят, как если бы он был обращен к *санкюлотам*: «Славные граждане, подумайте о том, что надобно объединить ваши интересы с интересами собственников». Да, те бы уж ему ответили: «Не сомневайтесь, господин мэр, мы не замедлим это сделать».

И тотчас:

«*Пробудитесь, люди, владеющие собственностью*; очнитесь от своей летаргической спячки, в которую вы погружены более двух

лет; еще есть время, но больше не медлите ни минуты. Я вижу, как со всех сторон над вашими головами сгущаются тучи. После того как якобинцы, которых можно сравнить с титанами, довели королевство до анархии и разрухи, после того как они обрели мечу и огню все наши колонии, они хотят похоронить вас под обломками монархии. Предместья Парижа оцетинились пиками... Неужели у вас нет добра, которое надо защищать? Неужели у вас нет семьи? Или вы ждете, пока к вам придут, чтобы отнять все, чем вы владеете? Чтобы подлые разбойники во имя свободы и равенства стали делить у вас на глазах ваши пожитки... Вот уж неуместно давать звание гражданина подобным людям, которые, не имея ничего за душой, готовы на любые преступления. Подлинными гражданами — это те, у кого есть собственность; остальные — это *пролетарии* или *производители детей*; им никогда не следовало бы позволять вооружаться или давать право голоса, как в Англии. Презренный оплот распущенности, иступленные члены клубов, якобинцы, ослепленные жаждой власти! Вы скоро полностью убедитесь в этой истине... О граждане, сколько же причин у вас остерегаться этих людей, которые желают сблизиться с вами лишь для того, чтобы все добытое вами пожрать! С каких это пор на шершней смотрят как на братьев пчел? При первом признаке бунта бегите, гоните прочь эту тучу саранчи, которая мечтает без всяких усилий, без огласки разделить между собой ваше богатство, благоприобретенное или же то, которое вы вскоре приумножите благодаря вашей предприимчивости».

И он заканчивает следующей зажигательной фразой, где прописные буквы чередуются с курсивом:

«СОБСТВЕННИКИ, кто бы вы ни были, остерегайтесь поддерживать ложную доктрину; *люди, у которых НИЧЕГО нет, не равны вам*».

Я отнюдь не хочу показаться смешным, придавая речам графа Бовера, бешеного контрреволюционера, больше значения, чем они того заслуживают. Но совершенно очевидно, что все приверженцы старого порядка старались в тот момент напугать буржуазию, и без того встревоженную неожиданным движением в январе. И эта тактика не осталась совсем безрезультатной, как о том свидетельствует фраза Петиона: «Буржуазии столько раз

14. Граф де Баррюель-Бовер (1756—1817) — капитан милиции (вспомогательных войск) в Бретани, командир национальной гвардии в 1790 г.

15. 10 апреля 1793 г. Петион делает в Конвенте следующее заявление: «Необходимо пользоваться ясными и понятными терминами, ибо,

говоря о *санкюлотах*, имеют в виду не всех граждан, за исключением дворян и аристократов, а тех, у кого нет никакого имущества, в отличие от тех, у кого оно имеется». Бабеф будет говорить о *санкюлотах* как о *несобственниках*.



твердили о войне имущих и неимущих, что эта мысль преследует ее теперь неотступно».

Контрреволюционеры, уже не осмеливаясь более открыто требовать восстановления своих привилегий, возврата к произволу короля, восстановления дворянства и феодализма, пытались сколотить своего рода Лигу собственников, союз злобы аристократов, ярости колонистов и страха буржуазии. Если бы им это удалось, Революцию разбил бы паралич.

Между тем, несмотря на беспокойство буржуазии, о коем свидетельствует письмо Петиона, Революция не собиралась сдаваться. Уступив старому порядку, революционная буржуазия рисковала потерять все: национальные имущества, обеспечение долга, политическое влияние и высшую радость свободы. И чем, наоборот, она рисковала, ускоряя ход Революции? Быть может, ее ждали некоторые беспорядки, временные потери, но она не думала, что право собственности, как она его понимала, могло стать в новом обществе объектом сколько-нибудь серьезных посягательств. К тому же, хотя экономический подъем промышленной и торговой буржуазии в XVIII в. был одной из решающих причин Революции и хотя именно буржуазия долгое время должна была извлекать наибольшие выгоды из нового порядка, Революция больше не зависела целиком от класса, который был ее инициатором и который будет преимущественно пользоваться ее благами. Революция обладает логикой и порывом, которые даже ослепление и узкий эгоизм буржуазии бессильны остановить. Даже если организованные и производительные силы буржуазии, даже если фабриканты, торговцы, рантье, после того как они вызвали Революцию, испугались бы ее и отступили от нее, она сумела бы привлечь к себе новых приверженцев; она сумела бы создать в рядах самой буржуазии, хаотичной и смешанной по составу, «новые слои защитников». Да и народ никогда бы ее не покинул. Ибо, хотя он и был возмущен эгоизмом буржуазии, он не отходил от Революции; напротив, он все более втягивался в нее, исполненный все возрастающего чувства своей силы, словно бы уверенный, что когда-нибудь она станет его.

В эти первые месяцы 1792 г. народ еще не формулировал точно требований политического характера. После бойни на Марсовом поле было решено даже в клубе Кордельеров, даже в газете Эбера больше не нападать на «Конституцию».

### «ПЕР ДЮШЕН»

Все же народ не забыл, что закон о марке серебра и привилегия активных граждан лишили его права голоса, и, хотя он был этим унижен, все же он гордился своей возможностью сказать буржуазии, что он лучше, чем она, толкует Права Человека, что

буква конституции создана для буржуазии, но Права Человека — для народа.

Народ уже больше не требует, как в июле, низложения короля и установления республики; иногда даже кажется, что он готов принести публичное покаяние за эту смелость; но в глазах его сохранился ослепительный блеск республики, и глубокий инстинкт подсказывал ему, что она отвечает логике развития событий, что это верный путь. Народ возмущают все эти огромные богатства, наживаемые с такой легкостью буржуазными спекулянтами, наглость скупщиков, беспощадный эгоизм колонистов.

Но он с гордостью противопоставляет их эгоизму Декларацию прав человека, которую те обходят, нарушают или искажают, и он знает, что его правая совесть в ладу с чистым идеалом. При всеобщем изменении условий и состояний, при грандиозном перемещении интересов народ уже не чувствует, что на его плечи, будто каменная глыба, давит беспросветная неизбежность нищеты и рабства. Даже когда он страдает, все вокруг него пребывает в состоянии бурного движения, исполненного такого огня, прежние отношения между людьми и вещами так быстро меняются, что он чувствует отдаленную возможность такого поворота в сторону справедливости, когда и он наконец обретет свое счастье. Как ни груба, причем нарочито груба, газета Эбера, я часто чувствую в ней полнокровное биение пульса народа. Не содержится ли в подчеркнутом цинизме газеты «Пер Дюшен», как об этом часто говорили, простое кривлянье и больше ничего? Не могу этого утверждать; я ненавижу этот непристойный стиль, унижающий пролетариат, но газета искренна в том смысле, что она интуитивно понимает чувства народа и легко их выражает. Марат — одиночка, построивший мысленно целую систему Революции и яростно пытающийся навязать ее событиям и людям. При каждом кризисе Революции, каковы бы ни были чувства народа, Марат всегда предлагает призвать диктатора, военного трибуна, чтобы казнить предателей. Правда, из самых глубин своего подполья он слышит ропот толпы, до него доносятся стоны страждущих, даже шепот измены, и он отвечает на них пронзительными призывами и грозными речами. Иногда он до глубины души трогает сердце народа, оставляя в нем неизгладимый след, своим негодующим, благородным воплем жалости. Иногда же он поражает невероятной зоркостью взгляда, чудесными совпадениями его неправдоподобных пророчеств с неправдоподобными событиями. Но этот никогда не утихающий гнев, эта непрерывная подозрительность утомляют народ: порой ему необходима передышка; он не всегда пребывает в состоянии нервного возбуждения; ему доступны и простые радости жизни, он вдыхает воздух, жаждет солнца, доверия, хочет верить людям. Марат, не допускающий, чтобы народ кем-нибудь восхищался, кроме Робеспьера, не оставляющий ему почти никаких надежд, порой надоедает народу, действует ему на нервы,

натягивая их до предела \*. «Пер Дюшен» в отличие от этого человека подполья является человеком улицы, человеком толпы, подвальчиков, где можно выпить хорошего вина, хуля скупщиков, вздувающих на него цену. Он наблюдает за народными трибунами, то распекая, то разоблачая их; но бывает, что он проявляет к ним нечто вроде грубоватой нежности, отвечающей потребности в любви, заложенной в душе народа. Лучше чувствуя настроение народа, «Пер Дюшен» в дни кризисов не мечтает о мрачной диктатуре: после Варенна он требует республики, широкого народного правительства, которое не будет дурно обращаться с сыном короля, но вполне обойдется и без него <sup>16</sup>.

Вынужденный отступить после голосования в Собрании и расправы на Марсовом поле, он не упорствовал в яростных проклятиях; он вроде бы на время отказался от своей светлой мечты о республике, но глубоко в душе он затаил жажду свободы, какое-то радостное ожидание республики, которое сбудется 10 августа. Папаша Дюшен не стал биться разгоряченным лбом о стены подвала, он не верил, что народ уснул навеки, только потому, что он говорит очень тихо; он знал, что в душе народной накапливаются жизненные силы, порою молчаливые, неведомые, как глубокие воды, но вдруг прорывающиеся наружу ослепительным фонтаном.

В то время как Марат, обессилевший, отчаявшийся, считает, что ни говорить, ни делать больше нечего, поскольку со всех сторон только и слышишь, что о почтении к букве конституции, Эбер приноравливается к временному компромиссу и отважно продолжает идти своим путем. С 15 декабря 1791 г. до 12 апреля 1792 г. Марат, чья газета уже почти не продается, роняет из рук перо, а «Пер Дюшен», наоборот, с растущим успехом кричит на всех перекрестках о своем великом гневе, о своих великих горестях, о своих великих радостях.

«Я — настоящий папаша Дюшен, черт возьми!»

В течение более года он, чрезвычайно разнообразия интонации, отчитывает, негодует, радуется, переходя от некоего сентиментального самозабвения к внезапному недоверию. Послушайте, как он вначале восхищается Мирабо в № 10:

«Меня не удивляет, что столь красноречивый Мирабо с его громовым голосом находит особое удовлетворение в том, чтобы громить их [аббата Мори и его друзей]... *Говори всегда, дорогой наш человек, об отечестве; в нашем сердце как бы поют скрипки* каждый раз, когда ты открываешь рот, чтобы разглагольствовать в нашем августейшем Собрании».

Поистине это — эхо, повторяющее голоса торговцев с Центрального рынка, которые в Версале называли его «наш папаша Мирабо». Но вдруг комбинации Мирабо, его сложная политика начинают его беспокоить (№ 12):

«Оказывается, *твоя дурацкая башка* причиняет нам смертельное беспокойство... Недостаточно иметь здоровую глотку, надо

еще иметь прекрасную душу, слышишь ли ты меня, приятель?»  
И в этом, конечно, нашли отражение смешанные чувства народа к Мирабо: беспокойство и любовь. У Марата не было такого богатства оттенков.

Но вот летом 1791 г. начались махинации биржевиков с ассигнатами. Эбер развернул энергичную кампанию против «спекулянтов» (№ 14), причем нарисовал едкий портрет революционеро-капиталистов:

«Сколько бы я ни вопил о проклятых торговцах деньгами, об этих спекулянтах тройне, которые скупали наши эку, сколько бы я ни охотился за ними, преследуя их ударами бича, эти негодяи смеют еще вновь появляться и продавать мелкие ассигнаты, которых мы ждали с таким нетерпением. Неужели найдутся трусы, которые побоятся отшвырнуть прочь подобных шельмецов, наброситься на них, вздуть их хорошенько и препроводить их, отколошмаченных, к проклятым субъектам, которые их подстрекают?»

Не знаю, какая чертова политика мешает нам добраться до источника всех этих махинаций, столь часто ставящих в отчаянное положение народ и армию. Существует уйма олухов, которые возглавляют общественное мнение, которые делают вид, будто служат интересам народа, которые одной рукой этот народ ласкают, а другой наносят ему удары. Тысячи проклятий! Неужели мне никогда не удастся схватить хоть одного из них и разде-

\* О взглядах и революционной деятельности Марата см.: Ц. Ф р и д л я н д. Ж.-П. Марат и гражданская война XVIII в., 2-е изд., М., 1959; А. З. М а н ф р е д. Жан Поль Марат и его произведения.— В кн.: Ж а н П о л ь М а р а т. Избранные произведения. Т. I. М., 1956; А. З. М а н ф р е д. Марат. М., 1962; Т. Г. С а л т а н о в с к а я. Тактика Ж.-П. Марата в период деятельности Законодательного собрания...— «Французский ежегодник. 1959», М., 1961.

16. Пер Дюшен (папаша Дюшен), знакомый персонаж, славный мальчик, любитель давать советы, выкладывав все напрямик, родился, как видно, в одном из ярмарочных балаганов Сен-Жерменского предместья, нечто среднее между Полишинелем и Арлекином; известный еще с 1745 г., он в 1788 г. сделался объектом подлинной народной любви. Говоря о происхождении

газеты, о ее названии, о борьбе, которую вел «Пер Дюшен», о множестве подражаний и подделок под него, Ф. Бреш привел многие подробности в своем эрудированном предисловии к критическому изданию «Père Duchesne d'Hébert». Т. I.: «Les origines. La Constituante», Paris, 1938. Ф. Бреш не оставил камня на камне от обвинений Эбера в грубости («полное отсутствие таланта», согласно Сент-Беву). Эбер был, бесспорно, крупным писателем. Он остается козлом отпущения Революции, несмотря на попытки его оправдать, предпринятые Г. Тридоном (G. Tridon. Les Hébertistes. Plainte contre une calomnie de l'histoire. Paris, 1864) и в наше время Л. Жакобом (L. Jacob. Hébert, Le Père Duchesne, chef des sans-culottes. Paris, 1960). Историю Эбера и «Пер Дюшен» еще предстоит написать.

латься с ним так, как он того заслуживает? Не воображают ли эти пройдохи-биржевики, что только они одни останутся безнаказанными? Как? Мы покончили со знатью, с членами парламента, с духовенством, а это дьявольское отродье увильнет от расправы? Пусть они трепещут, эти чудовища! Придет день, когда чаша терпения народа переполнится и им дадут почувствовать, что такое жестокая, но справедливая кара.

*Как может не содрогнуться сердце, когда созерцаешь эти роскошные особняки, чьи стены скреплены слезами несчастных? Эти пройдохи, эти подлецы сделали вид, будто они встали во главе Революции, говоря, что это свободу они защищают, меж тем как они защищали лишь свое золото. Разве я не наблюдал, как они менялись, смотря по обстоятельствам. Когда принимались некоторые выгодные для их махинаций декреты, эти плуты были добрыми патриотами; когда же происходили какие-то заминки в работе Собрания, когда доходили вести о каких-либо движениях в провинциях, у этих негодяев был грустный вид, лица их бледнели, носы вытягивались, а теперь, когда национальные имущества продаются с успехом, тысяча проклятий! Они так сияют от радости, что и представить себе невозможно; их акция вдвое вздорожала, а жестокость не уменьшилась ни на йоту; мало им того, что они скупили наши эю, то ли для себя, то ли для аристократов, они еще хотят наложить лапу на мелкие ассигнаты; они сумели науськать народ, чтобы он взялся за оружие и окружил зал Собрания в тот день, когда был издан декрет об ассигнатах. Но черт возьми! Народ этот получает ассигнатов не больше, чем он получил эю, и, когда все дела будут улажены к их выгоде, а бедный народ так и останется ни с чем и начнет роптать, ему коротко и ясно ответят: «Ты сам этого хотел!»*

Ежедневно вы слышите в округах от этих проклятых торгашей жалобы: как мало стало денег! И что только с нами будет! Ах, невозможно это выдержать! Эти наглецы и не думают признаваться, что ведь это они и есть первые торговцы деньгами. Они орали непрестанно, как быки: это аристократы скупают серебро, чтобы вывезти его за границу. Ах вы, пройдохи, да не продавайте его, тогда и покупать не станут. Вы-то и есть самые худшие аристократы, и тем более опасные, что под маской патриотов вы вредите вашим братьям. Уж если наказывать изменников, то вы должны быть первыми, а если вы будете продолжать свою анафемскую торговлю, то вы не люди, вы — тигры. Неужели это возможно, что при новом порядке будут существовать спекулянты и монополисты, как при старом?.. У этих пройдох-спекулянтов в голове сидит дьявол, который никогда не дремлет. Остановить их может только хорошая порция палочных ударов. Не вздумайте устраивать бунты у их дверей. не пытайтесь врываться в их дома, ибо эти пройдохи только то и и ждут. Вы у них ничего не возьмете, а они будут орать, что вы у них похитили миллионы».

Затем он взялся за духовенство, однако, считаясь с чувствами народа тех дней, старательно отделял священников от религии. Он с иронией говорил о том, что мы должны «благодарить евреев, которые, ссужая под проценты деньги нашим бывшим прелатам, внесли в наши церкви все те пороки, что помогли нам прозреть... Я думаю, что господь бог, видя, как эти мошенники-прелаты смешали религию со своими страстями, перестал в них узнавать себя. Но, черт побери, теперь он увидит наши обнаженные сердца, он увидит, что все мы — братья, что мы любим своего доброго короля и еще больше Nation...»

И, напуганный начинавшимися фанатическими движениями, он добавляет:

«Нам следует научить своих жен не соваться больше в дела священников, ибо, если их невоздержанные языки начнут судачить о вопросах, в коих они ничего не смыслят, мы никогда с этим не покончим» (№ 16).

Свой гнев по поводу постоянной утечки за границу звонкой монеты он изливает в красочных выражениях:

«Неужели эти негодяи [эмигранты], прежде чем покинуть нас, разослали во все иностранные государства и на границы магниты, которые будут притягивать туда остатки нашей звонкой монеты? Ах, черт возьми, какая-то магия, что ли, есть в этом, или же это темные делишки, с помощью которых нас обводят вокруг пальца».

Но вот приближается конец полномочий Учредительного собрания:

«Само Национальное собрание теперь еле ковыляет. Это старая плюха, бывшая некогда честной женщиной, но, слишком долго прожив в столице, она в конце концов цустилась во все тяжкие и продалась исполнительной власти и аристократам; но, к счастью, черт возьми, ей настает конец и мы скоро дождемся дня ее похорон, испытывая такую же радость, какую испытывает юноша, избавившись от старого брюзги-опекуна, отравлявшего ему жизнь».

Но если Учредительное собрание, пересматривая конституцию в благоприятном для исполнительной власти духе, усложняя условия, которым должны были отвечать избиратели и избираемые, ограничивая свободу печати и право петиций, восстановило против себя народную партию, то «Пер Дюшен» обеспокоен, кроме того, и тем, как будет вести себя его «дочь» — Законодательное собрание, избранное на основе закона о марке серебра.

«Пресловутый закон о марке серебра, — восклицает он в своем № 58, — всегда будет мешать нам иметь столь же искусных депутатов, столь же честных людей, как эти [Робеспьер и Петитон]; если бы закон этот действовал до созыва Генеральных штатов, то можно смело держать пари, что три четверти славных парней, обуздавших дворян и духовенство, не были бы избраны, и мы, как никогда прежде, бились бы в когтях деспотизма».

Воспрепятствуйте же, если это возможно, дальнейшему существованию этого гнусного закона. Я не хочу этим сказать, что мы должны бунтовать против декретов Национального собрания; ибо если даже и есть среди них несправедливые, то все же лучше подчиняться им, нежели посеять всеобщий раздор и вызвать гражданскую войну; но, черт возьми, надо орать так громко, так громко, чтобы наши крики были услышаны в самом Манеже [где заседало Собрание]; из-за наших криков, и я на это очень рассчитываю, большая часть аристократов и лжепатриотов встанет на дыбы, ибо они превращаются в норовистых лошадей или в овернских упрямых мулов, когда услышат разговор о народе и свободе; но, черт возьми, не у всех же уши заткнуты ватой, и среди этих прохвостов найдутся еще честные люди, которые встанут на нашу сторону. Разве мы не советовали вам сбросить к черту всех старых идолов и возвысить бедный народ, который втаптывали по уши в грязь в течение стольких веков? Вы уничтожили аристократию дворян и духовенства, а теперь создаете в тысячу раз более гнусную аристократию богатства».

И вдруг — новость о бегстве короля. Эбер, изо дня в день следивший за настроениями народа, но не обладавший даром зоркого предвидения, присущим Марату, не сообщил о нем заранее, не предчувствовал его. Но вдруг в «Пер Дюшен» прорвалось какое-то глубокое народное чувство, он, очевидно, почуял трепет народа, его возбуждение, проникнутое одновременно тревогой и радостью перед неизвестностью, и в нескольких картинах, отличавшихся идиллическим и одновременно грубым реализмом, если можно так сказать, прекрасно осветил разницу между переживаниями консервативной и умеренной буржуазии, которая пятится назад, и народа, который устремлен в будущее. Почти весь № 59 исполнен мощного чувства, а поскольку Эбер — лишь интерпретатор, то мы видим в действии сам народ.

«Что мы станем делать с этой жирной свиньей? — спрашивают себя все мои ротозои, говоря о Жиле Капете. — Но, — говорит председатель одной из секций, — он все еще наш король, он неприкосновенен, и мы не вправе перестать почитать его и повиноваться ему. — Bravo, — говорит командир батальона, — только поджигатели могут рассуждать иначе. — Как, черт возьми, поджигатели? Разве так можно называть тех, кто не позволяет поджигать свой дом?..»

Я посылаю к черту всех этих активных граждан и, чтобы утешиться, отправляюсь опрокинуть стаканчик в маленькое кафе на хлебной пристани. А, черт возьми, я был вполне вознагражден за скуку, какую нагнали на меня все эти проклятые болтуны! Не успел я усесться на табурет, как услышал, что во все горло распевают: «Са ира! Са ира!» Да здравствует нация! Высовываю нос наружу, и что же я вижу? Компанию славных парней, вооруженных пиками и держащих под руку вчерашних кутил. — Да откуда

вы взялись, вы, ваш брат? — говорю я им. — Разве еще остались Бастилии, которые надо взять? — Ах, папаша Дюшен, и где ты только был? Ведь мы сию минуту дали клятву умереть за родину, и эта клятва не будет клятвой негодая вроде той, которую нарушил проклятый борон, опозоривший наше отечество.

— Так что ж, папаша Дюшен, — говорит мне матушка Каке, торговка устрицами, — что нам думать о нашем проклятом бубновом короле? — А то, что я думаю, черт возьми, ибо я того мнения, что его следует сунуть в сумасшедший дом, в одиночную палату для умалишенных, поскольку нет больше монастырей, куда можно было бы его упрятать, постричь, как делали наши славные деды со своими безмозглыми и никчемными королями... Тотчас же Като, шелушильница, восклицает: «Все к дьяволу, прочь Капета, прочь цивильный лист, прочь австриячку; ни к чему нам больше, чтобы нами управлял аристократ, какой-нибудь бравый парень, один из нас прекрасно подойдет к месту, занятому этим чертовым боронем, который только и знает, что нажираться».

Вот говорят, что народ всевластен, давайте же попробуем воспользоваться нашим правом, избрав себе кого-нибудь, кто бы нам подошел. Мы не напаяли ему на голову корону, так как она гасит здравый смысл и добродетель; но, черт возьми, мы желаем, чтобы он всегда был простым, без затей, как папаша Дюшен!

Как папаша Дюшен, — восклицают все разом, — как папаша Дюшен!

— Я поддерживаю это предложение, — заявляет папаша Бондо, самый сильный из всех силачей в порту и на Центральном рынке, — и я требую, чтобы папаша Дюшен стал регентом королевства, пока Жиль Капет, бывший король Франции, будет слабоумным. Да здравствует папаша Дюшен! Да здравствует папаша Дюшен!

Вот меня сразу и провозгласили регентом, да еще обещают поддержать мои права тремястами тысячами пик; что ж, черт возьми, так дело пойдет. — Что ж ты сделаешь, папаша Дюшен, когда получишь власть? — Я начну с того, что дам пинка в зад всем лжепатриотам, проползшим, подобно змеям, в Национальное собрание, в муниципалитет, в департамент. Я вам соберу новое Законодательное собрание, состоящее не только из активных граждан, но из всех честных людей, богатых ли, бедных ли, которые заслужат эту честь своим патриотизмом и своими способностями.

Когда Законодательный корпус будет как следует организован, у меня не хватит нахальства, черт возьми, считать, что нет мне равных, воображать, что я один представляю половину мощи нации, я не буду пожирать столько, сколько хватит, чтобы прокормить граждан целого департамента.

Я удовольствуюсь тем, что буду надзирать за машиной и предупреждать рабочих, когда что-нибудь в ней разладится. Я буду покровительствовать ремеслам, я буду поддерживать торговлю.

я сломаю шею всем биржевым спекулянтам... К тому времени Жиль Капет окончит свою постыдную жизнь в своей одиночной камере для умалишенных, а его чудовище жена издохнет в Сальпетриере \*; сын их вырастет; будучи воспитан в труде и бедности, он позабудет окружавшую его некогда пышность; и наконец, он научится быть человеком и гражданином; и тогда можно будет, коли пожелают к тому времени, коли понадобится, не скажу король, ибо таковой не нужен, если хочешь быть свободным, но, если явится абсолютная необходимость в первом чиновнике, тогда можно будет обратить взор на этого сына короля и папаша Дюшен передаст ему бразды правления».

Странное порабощение духа, когда даже в неистовом и непристойном возмущении против власти короля не в силах еще окончательно отрешиться от идеи королевской власти.

Вот в какой расплывчатой форме народ начинает думать о республике. Эта статья Эбера, безусловно, является самым смелым выражением народной мысли в ту пору; это уже почти республика, и это демократия без деления граждан на активных и пассивных, а в социальном плане это законы против спекулянтов, но не видно никакой новой концепции собственности.

Эта почти республиканская экзальтация охладевает после возвращения короля, и сам папаша Дюшен в примиряющем вымысле наносит визит Людовику XVI в его дворце Тюильри, чтобы поздравить его с принятием конституции и предупредить его в полудружеском, полуворчливом тоне, дабы на этот раз он уж не изменял клятве. Эбер позволил себе даже проявить энтузиазм в день провозглашения конституции в Париже; «грохот пушек отозвался в нашем сердце».

Однако, несмотря ни на что, в народе в 1792 г. продолжало жить странное чувство освобождения, радости, беспокойства, гордости, охвативших его сознание при вести о бегстве короля. Первые несколько дней народ презирал его, называл клятвопреступником и беглецом. Первые несколько дней народ чувствовал свое превосходство над королевской властью, которую он клеймил, над революционной буржуазией, которая не смогла принять определенное, окончательное решения относительно короля. И все это возвышало пролетариев в собственных глазах, все это подготавливало их к тому, чтобы свысока судить не только о королевской власти, но и о буржуазной олигархии, пытавшейся использовать Революцию к своей выгоде. Суров был «Пер Дюшен» в эти первые месяцы 1792 г. к буржуа-скупщикам (№ 68): «Я видел всех наших торговцев, всех наших мелких лавочников, бакалейщиков, торговцев водкой и вином — одним словом, всех этих плутов, взявших себе за правило обкрадывать и отравлять народ; я видел, как они воспользовались недостатком металлических денег для своего обогащения, предварительно скупив все наши эку, а потом перепродав их эмигрантам, после чего они припря-

тали всю мелкую монету, так что теперь видишь только бумажные деньги, а су стали более редкими, нежели были когда-то двойные луидоры.

К чему же это привело? К тому, что наши негодяи вынуждены теперь наконец извергнуть обратно то, что они награбили у народа. Они не подумали, ослоропы, что, изымая звонкую монету, они тормозят торговлю. Теперь, черт возьми, когда лавки их пустуют, когда товары их залеживаются, они кусают себе локти и хотели бы не вспоминать о своих спекулянтских делишках. И эти проклятые паразиты, дабы исправить ими же содеянное зло, теперь желают контрреволюции. Все эти окаянные торговцы не могут больше грабить народ, который они начисто выпотрошили своими подлыми махинациями, теперь они утешаются тем, что устраивают оргии вместе с бывшими дворянами».

Это о скупщиках звонкой монеты, а вот о спекулянтах продуктами питания (№ 83):

«Я надеялся, черт побери, что после отмены ввозных пошлин я смогу каждый день позволить себе выпивать несколько лишних бутылочек вина, но ничуть не бывало, черт побери! Вместо того чтобы подешеветь, вместо того чтобы улучшить свой вкус, вино осталось таким же дорогим, как и прежде, и оно отравляет нас тоже по-прежнему. Я думал также, что нам снизят цены и на другие продукты, но бакалейщик Д'Андре и его собратья все еще полны решимости заставить нас платить за перец прежнюю цену.

Несколько дней назад я здорово поспорил с моим сапожником, который хотел набавить цену на мои башмаки.— Проклятый Мори, — сказал я ему, — ты что же, превратился в аристократа? — Сам ты Мори, — отвечал он мне [Мори, аббат Мори был для Эбера символом контрреволюции; на изображении папаша Дюшена можно увидеть короткий девиз: «Memento mori» («Помни о смерти»); и в этом заключается игра слов с намеком на аббата]. — Если мой товар дорожает, то разве не должен я набавить цену за свое изделие? — Как, черт возьми, платить дороже за мою пару башмаков? Да ведь они должны подешеветь на четверть после уничтожения акциза на кожи?

— Черта с два, — сказал он, — разве ты не знаешь, что эта сволочь откупщик все еще держит нас за горло? Откуп уничтожили только для вида. Эти мерзавцы вымогатели сговорились скупить все товары на фабриках; они скупили всю кожу королевства и теперь дерут за нее цену, какую им вздумается. Через несколько месяцев, если не примут мер, башмаки будут стоить по пистолу за пару.— Я слушал развесив уши рассуждения этого важного лица. Позже я советовался с другими розничными торговцами,

\* Приют для престарелых женщин умалишенных и истеричек.—  
в Париже, где содержали также Прим. ред.

и они меня все заверяли, что эти вымогатели захватили в свои лапы все отрасли торговли и что, стакнувшись с министрами и муниципалитетами, стали драть три шкуры с бедного люда!

Что ж, стало быть, черт возьми, мы ничего не выиграем от уничтожения застав! <sup>17</sup> Неужели на нас взвалят новые налоги и мы будем по-прежнему платить все те же пошлины на продукты питания! Гром и молния! Этому не бывать! Везде, где имеется болезнь, должно быть найдено и от нее лекарство. Новые законодатели! Это ваше дело — его найти. Искорените новые злоупотребления, это ваш долг. Повесьте всех до единого финансистов и всех прохвостов — торговцев человеческой жизнью, которые спекулируют за счет насущных потребностей граждан и жиреют на крови несчастных; призовите секцию Ломбар: она вам раскроет все их козни.

Вы узнаете, черт побери, что существует подлый заговор с целью довести нас в эту зиму до последней крайности».

Так накалялся тон народных протестов. Это уже возвещал о своем приближении *Terror* применительно к экономическим проблемам. Революция и не помышляет посягать на индивидуальную собственность, заменить товарообмен и свободную конкуренцию коммунизмом; у нее, стало быть, не было иных средств сдержать спекуляции буржуазии, как нагнать на купцов страху; пока что «Пер Дюшен» пугает их виселицей, скоро начнет пугать эшафотом.

Так начинают вырисовываться экономические предпосылки террора. Но «Пер Дюшен» пока еще не призывает народ к восстанию, к новой революции. Он сетует на то, что конституция оказалась неудачной, что она не проникнута высоким демократическим, народным духом, но временно он покоряется (№ 84): *«Когда бы не был заглушен голос парижского народа, у нас не было бы такой никуда не годной Конституции, подлинного домино Арлекина, в котором великолепные куски сшиты вперемежку с лохмотьями. Та Конституция вся была бы составлена в духе Прав Человека, и когда-нибудь она стала бы законом для всей Вселенной; но что сделано, то сделано, и, если имеешь одноглазого коня, это еще не причина, чтобы его убивать».*

Так «Пер Дюшен» приспособлялся к течению мысли народной, порою стремительной, порою медлительной и неуверенной; но вскоре народ, на какое-то время уставший от непрерывного возбуждения, в котором его держал Марат, вновь испытал потребность услышать этот пронзительный, страстный голос. Один «Пер Дюшен» уже казался ему недостаточным и зауридным.

5 апреля клуб Кордельеров направил Марату письмо, прося его вернуться к политической деятельности. Письмо было подписано Эбером, председательствовавшим <sup>18</sup>. «Ами дю пепль» вновь вышел 12 апреля 1792 г., и теперь народ, так сказать, заговорил двумя голосами: одним смешливым, добродушным, временами

непристойным, другим резким, душераздирающим, всецело пронизанным страстью и мыслью, с неистовыми заблуждениями и пророческими нотками.

## ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ВОЛНЕНИЯ

Не только в крупных городах, но и в маленьких местечках и в деревнях продовольственный вопрос, особенно вопрос о хлебе, вызывал волнения и беспорядки. В продолжение двух лет, 1790 г. (за исключением первых трех месяцев) и всего 1791 г., вопрос о хлебе не возникал. Урожай были изобильными, цена на хлеб постепенно снижалась, пока не достигла трех су за фунт, и ни малейшее беспокойство не коснулось воображения народа, который Тэн изображал находящимся в постоянном напряжении, обезумевшим.

К концу 1791 г. пришлось убедиться, что урожай неудовлетворителен, по крайней мере в важнейших районах страны. В своем докладе 1 ноября 1791 г. Законодательному собранию министр внутренних дел Делессар заявил на основании сведений, полученных им от директорий департаментов, что урожай был обильным во всей северной части Франции, посредственным в центральных районах и низким на юге <sup>19</sup>.

Положение, судя по всему, не было особенно тревожным. Главное — Париж, центр национальной активности, а также всех беспорядков, был полностью обеспечен продовольствием.

«Благодаря мерам предосторожности, принятым парижским муниципалитетом, — сказал министр, — и на основании полученной мною от него информации о том, какими он располагает запасами зерна и муки, а также на какие ресурсы он может твердо рассчитывать, снабжение столицы продовольствием на эту зиму полностью обеспечено. Совершенно справедливо полагали, что наиболее эффективный способ успокоить волнения в народе состоит в том, чтобы снабжение столицы было выше, а не ниже ее потреб-

17. В 1784 г. министр Калонн решил откупному ведомству косвенных налогов соорудить вокруг Парижа стену, стену генеральных откупщиков, чтобы обеспечить взимание ввозных пошлин. Архитектор Леду построил 19 застав, где взимали пошлину. В ночь с 12 на 13 июля 1789 г. заставы в предместьях Сент-Оноре, Сен-Жак и Сен-Марсель были сожжены.

18. Клуб Кордельеров заявлял, что уход Марата следует рассматривать как подлинное обществен-

ное бедствие. И сегодня, более, чем когда-либо, «сознавая всю нужду в его энергичном пере, дабы разоблачить нескончаемые заговоры врагов свободы и пробудить народ, который враги эти стремятся усыпить на самом краю бездны, он заклинает Друга народа немедленно вернуться к своей деятельности...» «L'Ami du peuple», 12 avril 1792; J. Massin, Marat. Paris, 1960, p. 192.

19. «Archives parlementaires», XXXIV, 573.

ностей... Но в то же время муниципалитет бессилён помешать росту цен на хлеб, поскольку такой рост явился неизбежным следствием недостатка этого продукта в некоторых частях королевства).

10 декабря Моннерон защищает парижский муниципалитет от упреков торговцев хлебом и булочников<sup>20</sup>. Они жаловались на то, что муниципалитет, сделав обширные запасы зерна в общественных хранилищах, обязал булочников покупать там зерно, даже подпорченное, которое может забродить на складах. Они, кроме того, обвиняли муниципалитет в том, что тот, прикрываясь мнимыми общественными интересами, ищет спекулятивную выгоду в этих операциях.

Упрек этот был нелепым, ибо муниципалитет не обладал монополией на продажу зерна, и, пополняя запасы общественных хранилищ, он способствовал понижению цен на этот продукт и тем самым никак не мог извлекать из этого дела какую бы то ни было спекулятивную прибыль. Моннерон констатировал это, а я вновь подчеркиваю это новое свидетельство отличного снабжения Парижа хлебом: «Если парижский муниципалитет вздумал бы торговать хлебом, если бы он привозил его из других департаментов, дабы извлечь прибыль, продавая его в столице, он сильно обманулся бы в своих ожиданиях: ибо Париж — это то место королевстве, где хлеб самого лучшего качества и самый дешёвый».

В Собрании никто не возразил против этого утверждения. В самом деле, народ Парижа возмущался в 1792 г. не столько недостатком хлеба, сколько сахара и других бакалейных товаров. Но во многих сельских местностях произошли очень сильные волнения. Города и местечки Сент-Омер, Монтелимар, Куа, Самер, Шомон-сюр-Марн, Нёйи-Сен-Фрон, Бомон-ла-Динь, Макон, Виллерс-Утро, Суп, Дюнкерк, Сен-Венан, Дуэ, Аррас, Нант, Вербери, Сен-Жерме и Монмирай направили петиции в Собрание<sup>21</sup>.

Там народ, стоило ему завидеть телеги, груженные зерном, или погрузку хлеба на суда, начинал бунтовать. В Шомоне толпа собралась по зову набата. В Дюнкерке, в Сент-Омере она препятствовала погрузке его на корабли. Совершенно ясно, что, нарушая таким образом обращение, народ еще усугублял бедствие, от которого страдала страна; но как воспоминания о прошлом и даже примеры настоящего оправдывали их беспокойство! В последние годы старого порядка, когда, желая восполнить низкий урожай, монархия платила премии за ввоз зерна, крупные спекулянты тайком экспортировали зерно из Франции, а затем вновь ввозили его в страну, чтобы заполучить премию.

Народ опасался, как бы подобного же рода маневры не опустошили еще больше и без того недостаточно снабжаемые рынки. Тщетно его убеждали в портах, что экспортируемая мука предназначена для наших колоний; он этому не верил. И даже когда вывозили зерно с Севера, где оно имелось в избытке, чтобы прокормить Юг, население северных районов боялось, как бы его под

благовидным предлогом не лишили хлеба. Петиционеры требовали от Собрания строжайшего запрета на какой бы то ни был вывоз зерна.

Собрание через своего докладчика Моннерона ответило, что, за исключением муки, предназначенной для наших колоний, доставка которой по назначению строго контролируется, ни зерно, ни мука из Франции не вывозятся<sup>22</sup>.

Податели петиций, кроме того, требовали, чтобы Собрание обязало владельцев зерна, вместо того чтобы продавать его спекулянтам, «скупщикам», которые могли увезти зерно куда-то далеко, выбрасывать его на рынок соответственно имеющимся у них запасам. Собрание, не решавшееся ступить на этот путь регламентации и принуждения, по которому Конвент перед угрозой гибели пойдет самым решительным образом, отвечало, что «самый верный способ усилить недоверие владельцев зерна и побудить их опечатать двери своих амбаров — это потребовать от них вывезти его на рынок. Подобное насилие произвело бы на зерновой хлеб такое же действие, какое имело на металлические деньги во времена регентства запрещение держать при себе более 500 ливров звонкой монеты»<sup>23</sup>.

И наконец, петиционеры требовали, «чтобы в каждом департаменте в урожайные годы делались запасы зерна, которыми можно будет снабжать население в случае недорода». Собрание не имело против этого принципиальных возражений. Оно не говорило, что это противоречит миссии государства, призванного охранять частную инициативу, а не подавлять ее. Вмешательство государства казалось, напротив, вполне закономерным людям Революции. Но Законодательное собрание считалось с практическими трудностями: необходимо иметь для этого большой капитал, страхом перед лихоимством, перед потерями зерна и, наконец, перед «за-

20. «Moniteur», X, 605; «Archives parlementaires», XXXV, 724. По поводу Моннерона см. выше с. 293, прим. 13.

21. Об этих продовольственных волнениях см.: А. М а т т и е z. La vie chère et le mouvement social sous la terreur. Paris., p. 59. (См.: А. М а т т е z. Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М.—Л., 1928, с. 49.) [см. также: А. В. А до. Крестьянское движение во Франции во время Великой буржуазной революции конца XVIII века. М., 1971, гл. V, § 4. — Прим. ред.]

22. Обсуждение доклада Моннерона состоялось на вечернем заседа-

нии 31 декабря 1791 г. («Moniteur», XI, 14) и возобновилось 6 января 1792 г. «Moniteur», XI, 54.

23. О всех проблемах, касающихся торговли хлебом в последние годы старого порядка и во время Революции, см. ценное введение Ж. Лефевра к «Documents relatifs à l'histoire des subsistances dans le district de Bergues pendant la Révolution». Lille, 1914. См., кроме того: G. L e f è b v r e. Etudes orléanaises. T. I: «Contribution à l'étude des structures sociales à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle», Paris, 1962; t. II: «Subsistances et maximum. 1789 — an IV», Paris, 1963.

стоим цен» из-за отсутствия конкуренции и, как следствие всего этого, с ущербом для сельского хозяйства.

Поэтому оно ограничилось после многих отсрочек тем, что ввело систему пропусков, которые должны были иметь все транспорты зерна, с указанием места отправления и места назначения. Этих мер оказалось далеко не достаточно, чтобы утихомирить повсюду волнения: утечка звонкой монеты возмущала умы, заставляя их опасаться подобной же утечки зерна. Описывая картины этих беспорядков, Тэн допустил явную натяжку и фальсификацию фактов; читая его, можно подумать, что вся Франция была в огне и что повсюду эти люди-животные, безумевшие, разнузданные, предоставленные сами себе вследствие беспомощности конституции, совершали одни лишь насилия.

На деле же в течение всего 1792 г. только в каких-нибудь пятнадцати дистриктах происходили народные волнения. И паника, и бедствия, носившие местный характер и быстро прекратившиеся, отнюдь не остановили мощного движения вперед, говорившего о доверии и процветании. Тэну свойственна отвратительная и антинаучная манера валить в одну кучу факты, заимствованные из самых различных эпох; он указывает, например, на разрушение мануфактур как на следствие революционной системы. И где же он ищет тому доказательства, где? В отчетах администрации, относящихся к X и XII гг. И эти отчеты в его изложении соседствуют с крестьянскими восстаниями 1792 г.!

Тэн, видимо, и не подозревает, что именно в 1792 г. наблюдалось бурное оживление мануфактурного производства. Вопреки самому закону истории он не следит за эволюцией фактов, и, вместо того чтобы показывать последовательные оттенки и изменчивые комбинации плавящегося металла, он смешивает в причудливой амальгаме первые вспышки пламени и остатки остывающего щепла. Фактически восстания 1792 г. почти никогда не сопровождалась человеческими жертвами, а народ останавливал грузы хлеба и устанавливал свою цену, соблюдая определенный порядок и дисциплину. Ксати, и причины восстаний были очень разнообразны, но по своей мании классифицировать факты по абстрактным категориям г-н Тэн запретил себе вникать в реальность во всей ее сложности. Порою именно перевозка хлеба казалась подозрительной. Лекиньо рассказывал 6 января 1792 г. о расследовании, которое он только что провел в департаменте Нор<sup>24</sup>. Его речь носила очень умеренный характер, ибо он требовал только свободы обращения зерна.

«Люди жалуются на скупку, — говорил он, — да, она существует, но не исходит же она от министерства, она производится как раз теми людьми, которые положительно наиболее заинтересованы в том, чтобы ее не существовало; я имею в виду фермеров, пахарей и всех тех, кто имеет запасы зерна. А почему? Потому что свободное обращение зерна повсюду наталкивается на пре-

пятствия. Средство избавления от этого зла состоит, на мой взгляд, отнюдь не в том, чтобы создавать запасные амбары. Эта мера опасна и, во всяком случае, бесполезна... Наилучшее средство справиться с нехваткой хлеба в отдельных местностях состоит в том, чтобы защитить свободное обращение зерна внутри страны» Как видите, в этих словах нет ничего, что бы указывало на намерение возбудить умы и зародить или усугубить подозрения.

Вот почему можно поверить Лекиньо, когда он добавляет: «Я тщательно собрал сведения в департаменте Нор, жителем которого я являюсь, о причинах, вызывающих беспокойство народа в этих местах, и я узнал, что в октябре прошлого года через порт Дюнкерк была вывезена третья часть урожая. Население было тем более этим напугано, что оно помнило, как в 1786, 1787 и 1788 гг. все зерно северных районов было закуплено и погружено на суда в порту Дюнкерк под благовидным, но лживым предлогом, будто зерно предназначено для пропитания южных департаментов; но, вместо того чтобы посылать зерно во Францию, его переправили за границу и вновь везли во Францию в 1789 г., где оно было продано четверо дороже своей стоимости».

В тот же день Форфе в очень смелой речи, предвещавшей решения, принятые впоследствии Конвентом, подчеркнул, какое смещение должны были вселить в умы народа сложные перипетии торговли зерном. «Я вижу источник этого беспокойства в недостаточной согласованности в действиях тех людей, которые делают закупки продовольствия: *и вот тут-то следует ради блага народа пожертвовать, хотя бы на несколько лет, долей преимуществ, которые обещает нам неограниченная свобода коммерческих операций. Необходимо, стало быть, заставить покупателей согласовывать свои операции.* Источник опасных мнений я вижу в болтливости, с какой производятся перевозки, которые действительно будто нарочно организованы так, чтобы удвоить подозрения и тревогу. Вот вам примеры. Зерно из северных департаментов вывозится только через порты Дюнкерк, Гавр и Нант, и через те же порты ввозится зерно, приобретенное в Прибалтийских странах и в Великобритании. Народ, естественно, думает, что зерно, которое ввозят, и есть то самое, которое вывозили у него на глазах; и, когда он видит, как дорожает этот драгоценный продукт, он приписывает все этой мнимой махинации, он возмущается, а эти волнения еще более взвинчивают цены, ибо они препятствуют обращению зерна; в результате возникает голод при изобилии хлеба, и подозрения и недоверие являются вначале результатом, а потом причиной дороговизны. Все это прекрасно знают люди, стре-

24. Лекиньо (1755—1813) — адвокат, судья при ванском трибунале, депутат Законодательного соб-

рания, а затем Конвента от департамента Морбиан «Archives parlementaires», XXXVII, p. 105.



мящиеся разжечь смуты; они внушают народу, что никогда при старом порядке не бывало подобных операций, и им верят, им нельзя не верить, ибо и в самом деле при старом порядке деспотизм беспощадно расправлялся со всеми и больше прислушивался к справедливым жалобам народа.

И сейчас опять значительное количество хлеба, закупленного в Гамбурге, прибыло в Гавр, из этого порта его переправят в Руан, затем в Ле-Пек, а из Ле-Пека в Париж. В то же время зерно, закупленное в Суассонне, перевозится по Сене в обратном направлении, перегружается в тех же портах и в Гавре отгружается для отправки в Бордо. Как убедить жителей обоих берегов Сены, что это полезно для народа, что именно таким образом, следуя в диаметрально противоположных направлениях, осуществляется транспортировка и доставка жизненно необходимого им продукта? При деспотическом правлении в Париже заставили бы оставить зерно, привезенное из Суассонне, а зерно из Гамбурга отправили бы в Бордо. Только остаток пошел бы обычным путем, а поскольку этот остаток получился бы при ввозе из-за границы, то народ смотрел бы на него как на благодеяние».

Итак, Форфе утверждал, «что неограниченная свобода торговли» ведет к ненужным и разорительным осложнениям, и он рискнул сказать, что лучше было бы организовать торговлю зерном на началах общественной службы. Или, уж во всяком случае, поставить ее под контроль государства.

«Я знаю, господа, только одно лекарство от этих бед. *Необходимо организовать в Париже центральную продовольственную администрацию.* (Ропот.) На нее будет возложена обязанность, действуя под началом и контролем министра внутренних дел, собирать сведения о размере урожая в департаментах и о количестве произведенных за границей закупок, и ей будет предоставлено право указывать маршруты, по которым продовольствие должно следовать по всему королевству, с тем чтобы пути эти не скрещивались».

Собрание возроптало и отклонило предложение Форфе без обсуждения. Предложение и впрямь было преждевременным; ситуация во Франции, где в общем обращение зерна было в достаточной мере обеспечено, в тот момент еще не требовала столь энергичных мер, но это уже был зародыш революционной политики Продовольственного комитета Конвента.

В Дюнкерке, где волнения отмечались еще осенью, очень сильное брожение вспыхнуло в марте<sup>25</sup>. Встревоженные администраторы написали в Собрание, что они не в состоянии больше отвечать за порядок и гарантировать собственность граждан, что национальная гвардия сочувствует бунтующему народу, что лишь благодаря вмешательству линейных войск были предотвращены пожары в городе и в порту и что «огромному городу, насчитывающему более чем на 100 млн. собственности», угрожает гибель от

анархии. Они также требовали для успокоения народа вмешательства государства в торговлю зерном:

«Если продовольствие принадлежит нации, пусть же нация позаботится о том, чтобы оно поступало из мест, где оно имеется в изобилии, в те места, где его не хватает; тогда продукты питания не попадут в руки алчных спекулянтов».

Собрание не пошло так далеко, но оно поручило правительству покупать хлеб за границей и перепродавать его во Франции.

«Возможно, это и не политично, — сказал Камбон 1 марта, — в обычное время поручать правительству закупку зерна, но в данный момент необходимо принять чрезвычайные меры. В наших южных районах зерна недостает; если помочь им деньгами, на всех иностранных рынках начнется конкуренция и ажиотаж при обмене бумажных денег, что может привести к серьезным нежелательным последствиям: 1) повысится цена зерна на рынках; 2) упадет курс наших бумажных денег за границей; ввиду всего этого покупку зерна необходимо поручить министру внутренних дел».

Беспорядки особенно усилились весной, в марте — апреле: то ли потому, что в те дни гужевые перевозки зерна, замедлившиеся в зимний период, возобновились довольно активно, то ли потому, что запасы продовольствия прошлого года, когда урожай был очень хорош, исчерпались, а потому беспокойство возросло, то ли потому, что борьба против эмигрантов и священников, а также неминуемость войны с иностранными державами до крайности обострили все проблемы. Помимо этого, повышение цен на продукты питания, о многочисленных причинах которого мы говорили выше, стало особенно ощущаться в этот момент и вызвало повсюду, вплоть до деревень, довольно сильное волнение. Таким образом, в ту тревожную и беспокойную весну 1792 г. рабочие и крестьяне восстали не только для того, чтобы воспрепятствовать вывозу зерна, но и для того, чтобы добиться повышения заработной платы или же таксации цен на продовольствие.

25. Волнения в Дюнкерке начались 14 февраля 1792 г. Дома десяти наиболее крупных торговцев зерном в порту были разграблены. Муниципалитет объявил военное положение; произошло кровавое столкновение: 14 убитых, 60 раненых. В последующие дни бунт

разгорелся с новой силой. Он длился две недели. 18 погруженных и готовых к отплытию судов были захвачены и разгружены. Войска проявляли все большую снисходительность к восставшим и в конце концов отказались против них выступать.

## РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ

В Пуатье рабочие мануфактур потребовали таксации цен на хлеб, заявив, что платить за хлеб больше чем по 3 су за фунт непосильно для наемных рабочих. 20 марта делегат от муниципалитета Пуатье попросил помощи в размере 30 тыс. ливров, чтобы прокормить неимущее рабочее население, а также нищих, которые в этом краю монастырей и аббатств были до недавнего времени жалкой и униженной клиентелой монахов.

«В течение нескольких дней произошел внезапный и пугающий рост цен на зерно; пекари справедливо требовали соответствующего повышения цены на хлеб... Муниципалитет собрался тогда совместно с директориями дистриктов и департамента, и было признано невозможным предотвратить вздорожание хлеба...»

Но шестьсот рабочих осадили ратушу с криками: «К оружию!» Отряды национальной гвардии поспешили на помощь, один рабочий был убит выстрелом из ружья.

«В городе Пуатье, в котором нет никакой торговли, никаких общественных учреждений, при населении около 20 тыс. душ имеется более 6 тыс. неимущих. Заработок одних слишком скуден, чтобы покупать хлеб по существующей цене, другие с самого детства приучены к позорному ремеслу [нищенствованию]; много есть калек, и все поголовно бедны; все они требуют у нас хлеба; все они имеют право на жизнь, и наш самый священный долг — облегчить их несчастную участь».

Пуатье был одним из тех городов, где прежний уклад жизни, при старом порядке, рушился, но ростки и элементы нового уклада были еще недостаточно сильны. Собрание одобрило и вотировало.

Между 20 и 30 марта весьма любопытное движение вспыхнуло

на границе департаментов Ньевр и Йонна — в Кламеси, Куланж-сюр-Йонне, Крене и т. д. Тут лесорубы, рабочие, занятые заготовкой для снабжения Парижа дров, которые сплавлялись по рекам до самой столицы, восстали, недовольные своим низким заработком<sup>1</sup>. Директория департамента Йонна явилась в Собрание 13 апреля, чтобы рассказать об этой своего рода бурной стачке.

«Законодатели! Директория департамента Йонна уже довела до вашего сведения о волнениях, которые взбудоражили приходы на ее территории, примыкающей к дистрикту Кламеси, сам город Кламеси и его окрестности. Она вам сообщила, что навигация по Йонне прекращена, что смутьяны прогнали рабочих из мастерских под предлогом недостаточной заработной платы; что 27 марта около 2 тыс. рабочих из Кламеси, Куланж-сюр-Йонна, Крена собрались толпой в указанном городе Кламеси; что национальные гвардейцы взяли за оружие, ударили в набат; что толпе удалось их рассеять, их разоружили, раздели (вплоть до рубашек) в присутствии должностных лиц народа, к голосу которых не захотели прислушаться; что служащий муниципалитета, исполнявший функции прокурора коммуны, был ранен ударом кинжала или штыка; что мятежники преследовали национальных гвардейцев даже в их квартирах; что некоторые гвардейцы, спасая свою жизнь, вынуждены были прыгать через окно или в реку; что после этого бунтовщики, ликуя, несли захваченную одежду и оружие, что они завладели причалами и пели *Те Деум* в благодарность за победу, одержанную над национальной гвардией».

Есть в этом движении некое сочетание грубости и ребячества, но мы можем судить о нем лишь со слов буржуазных свидетелей. Мы не знаем, ссылались ли эти бедные рабочие-лесорубы из Ньевра и Йонны, подобно рабочим-плотникам во время большой стачки 1791 г. или парижским петиционерам в связи со скупкой сахара, на Декларацию прав человека, дабы заявить свое право на жизнь. Директория, весьма суровая к «мятежникам» и требующая, чтобы «перестали поощрять дурных граждан чрезмерным долготерпением», признавала, однако, что они имеют основания жаловаться на крупных парижских торговцев:

«По мнению, высказанному комиссией о причинах восстания портовых рабочих, возмущение вызвано следующими причинами:

1) *чрезмерным равнодушием торговых кругов Парижа к требованиям портовых рабочих и медлительностью их решений, когда*

1. Относительно беспорядков в Морване см.: «Moniteur», XII, 19, 28, 117, 190. Лесорубы Морвана требовали повышения заработной платы, мотивируя свои требования дороговизной жизни. Встретив отказ торговцев, они остановили сплав и переродили реки.

27 марта 1792 г. они появились в Кламеси; городские рабочие примкнули к ним... Пришлось мобилизовать национальную гвардию двенадцати городов, призвать регулярные войска, притащить пушку.

дело касается ответа на требования о повышении заработной платы».

Но что бросается в глаза в рассказе директории, так это дух узкобуржуазного братства и консервативной солидарности, воодушевлявший национальную гвардию Йонны и Ньевра. Говоря о судьбе своих «братьев», довольно комично разоблаченных, чьи рубашки и мундиры с торжеством несли неотесанные лесорубы, все национальные гвардейцы расчувствовались; все они с глубоким и несколько забавным волнением торжественно поклялись поддерживать друг друга и отомстить друг за друга, защищать порядок и собственность:

«Мы всегда будем рядом с нашими братьями,— искренне провозглашали они,— мы будем сопереживать их оскорбление; мы будем добиваться их удовлетворения; собственность и личную безопасность будут уважать, или мы погибнем...»

Некоторые граждане требовали, чтобы зная, попавшее в руки мятежников, было сожжено. Его уже бросили посреди городской площади.

«Нет, мы этого не сделаем,— восклицает командир... *Это зная очищено, оно побывало в руках храбрецов и патриотов*».

Несчастные бунтовщики из рабочей и крестьянской бедноты! Будто прокаженные, осквернили они своим прикосновением знамя революционной буржуазии, и надо, чтобы оно было очищено, побывав в доблестных руках командиров вооруженных сил, героев буржуазного порядка. По этому театральному, но искреннему волнению чувствуется, что этих людей, этих революционеров, ни на минуту не смутило то, что они выполняли репрессивную функцию: она им кажется священной; не говорит ли это обо всей глубине и невозмутимости их эгоизма? Или же они уверили себя, что эти судорожные движения страдающего народа могут пойти на пользу только контрреволюции?

Но что показательно и печально, что как бы уже предвещает союз эгоизма крестьянина-собственника с эгоизмом буржуа против докучливых и опасных рабочих, так это тот факт, что виноградари, и даже виноградари самые бедные, бросали свои орудия и свои виноградники и спешили на помощь карателям. В глазах этих людей, гордящихся своим жалким клочком виноградника под солнцем, рабочие-лесорубы тоже были «разбойниками». Поэтому этим крестьянам — мелким собственникам и консерваторам, директория департамента торжественно отдает должное:

«В то время как наши национальные гвардейцы мчались, чтобы восстановить порядок и поддержать закон, муниципалитеты, и среди прочих муниципалитет Жуаны, главного города одного из наших дистриктов, с поистине отеческой заботой хлопотали о пропитании жен и детей бедных виноградарей, которые, движимые чувством патриотизма, прервали свои работы. Одним словом,

их семьи были накормлены, их виноградники обработаны, и родина защищена».

Вот какие решающие и глубокие факторы ускользнули от внимания Тэна. Озабоченный одним — подметить признаки «стихийной анархии», он упустил из виду огромные охранительные силы, какими располагала буржуазная и крестьянская Революция.

Собрание тоже растрогалось, устроило овацию, поздравило победителей, и ни один голос, даже на скамьях крайне левой, не прозвучал в защиту презируемых бедных лесорубов. Только немедленная реакция парижских предместий оказала некоторое влияние на Законодательное собрание, державшееся узкобуржуазной точки зрения. Между тем рабочие пытались придать своему «бунту» легальную форму, и в этом сказалась их несколько наивная и трогательная вера в новый порядок. Уже в тот момент, когда рабочие-«плотовщики» энергично требовали «повышения платы за все работы, выполняемые в портах в связи с составлением плотов и их препровождением в Париж»; в момент, когда, устав понапрасну спорить с г-ном Пенье, приказчиком купцов, они загродили узкий проход в Крене с целью воспрепятствовать проходу плотов; в тот самый момент, когда под барабанный бой они передали всем рабочим категорическое требование прекратить работу и угрожали отдельным рабочим из других мест, явившимся по приказу хозяев, они выбрали, соблюдая формальность, «капитана плотовщиков» и отправились к мировому судье с просьбой подписать протокол об этом избрании. Судья им отказал. О нет, пролетарии! Вы не сразу добьетесь законного признания ваших решений! И сколько еще усилий в течение целого столетия понадобится вам, чтобы добиться этого!

Однако именно в департаментах, наиболее близко расположенных к Парижу, как-то: Сена и Марна, Сена и Уаза, Эр, Луар и Шер, Луаре, в Эврэ, Жуи, Монлери, Вернёе и в Этампе, крестьянские волнения в связи с продовольственными трудностями приняли весной 1792 г. особенно широкие размеры. Главное — они приобрели совершенно особый характер, чего г-н Тэн, по-детски озабоченный только одним — нагромождать побольше устрашающих подробностей, даже не изволил заметить. Здесь, скорее всего, имело место аграрное движение против крупных фермеров, против аграрного капитализма, получившего в этом районе значительное развитие.

Я уже упоминал о том, что в своих наказах крестьяне Иль-де-Франса протестовали против крупных ферм и требовали их раздела<sup>2</sup>. Продовольственный вопрос и повышение цен явились для крестьян превосходным предлогом, чтобы причинять неприятности крупным фермерам, которых они ненавидели. В книге, правда весьма посредственной, которую Лекиньо опубликовал в 1792 г.

2. См. настоящее издание, т. I, кн. 1, с. 281.

под заглавием «Развешенные предрассудки» («Les préjugés détruits»), он очень убедительно описывает неприязнь населения деревень к этим крупным фермерам. Глава XIII этой книги, посвященная «пахарям», начинается следующими словами:

*«Здесь речь идет вовсе не о земледелии, и я имею в виду вовсе не ту кучку богачей, которые в окрестностях столицы и в некоторых наших департаментах, где сложилась система крупного земледельческого хозяйства и крупной аренды, живут в деревне и извлекают доход из огромных владений; не тех надменных земледельцев, окруживших себя всей роскошью и всеми излишествами столицы; не тех скупщиков земельных участков и ферм, ибо я могу совершенно справедливо назвать их также финансистами, спекулянтами из аграрной партии; в них встречаешь наряду с преимуществами городского воспитания, нередко изнеженного, и все пороки старого порядка, возникшие в основном на почве преступного неравенства состояний. Если, с одной стороны, благодаря своим большим средствам они порой кажутся опорой сельского хозяйства, то это — чистейшая иллюзия, ибо, с другой стороны, они являются подлинным бичом населения и бездной, поглощающей все владения по соседству. Их, правда, окружают бескрайние равнины, засеянные хлебом, но не встретишь на них ни одной хижинки, ни одного мелкого собственника; их челядь и несколько бедняков-поденщиков, зависящих от этих властелинов деревни, составляют все население края; они — те же деревенские сеньоры; они восприняли всю их надменность и большинство их недостатков; они сумели освоить финансовую теорию, коммерческие расчеты и спекуляции; и гораздо чаще они обнаруживают скорее пороки этих двух профессий, нежели обращают на общую пользу их плоды; это в некотором роде обособленный класс внутри большого класса земледельцев; это богатые горожане, осевшие среди полей; это мелкие деревенские деспоты».*

И не только в округе Парижа движение направлено именно против этих крупных фермеров; как мы видели, при распродаже национальных имуществ доля приобретений буржуазии или самих крупных фермеров была чрезвычайно велика в департаментах, окружающих столицу. Отсюда и родилось это весьма сильное недовольство мелких крестьян, мелких собственников, мелких арендаторов, вытесненных или находящихся под угрозой вытеснения, а также ремесленников местечек против любого капитализма, водворившегося по-хозяйски в этих плодородных хлебных долинах. Кроме того, для широкого снабжения Парижа продовольствием, о чем мы уже говорили, пришлось взять зерно всего бывшего Иль-де-Франса и части Нормандии; и бедные поденщики опасались чрезмерного повышения цен на зерно и на хлеб.

Если верить докладу Тардиво, повышение цены хлеба не могло быть решающей причиной беспорядков, ибо «зерно в департаменте Эр стоило дешево, а хлеб продавался не дороже 2 су за

фунт». Если это верно, то причиной волнений была главным образом ненависть крестьян к крупным фермерам и капиталистам.

Все эти волнения в департаментах Эр, Эр и Луар, а также Сена и Марна характеризуются двумя примечательными чертами. Прежде всего большие толпы крестьян, собравшись, действовали, соблюдая определенный порядок и дисциплину, избегая ненужных насилий, воздерживаясь от грабежей и поджогов, ставя во главе, где только им это удавалось, муниципальные чиновники, соблазненных или увлеченных толпой. Директории департаментов, докладчики в Законодательном собрании явно не без задней мысли особенно подчеркивали эту дисциплину. Революционеры-буржуа предпочли бы для собственного спокойствия думать, будто крестьяне повинуются некоему тайному приказу контрреволюционеров и что это — интриги старого порядка, а не предвестники широкого социального восстания. Поэтому администраторы дистрикта Эврэ писали, что «бунтовщики» заставили управляющих металлургического завода Ла Лур подписать договор, который «мог быть продиктован только продуманным и точным знанием коммерции железным товаром». Ясно, что это инсинуация. Предполагается, что крестьяне, земледельцы неспособны заключить подобный точный и ясный договор, если за ними не стоит хитрый и ловкий вдохновитель движения.

Тардиво, выступив от имени Комиссии двенадцати \* и резюмируя донесения, посланные ему из департамента Эр, заявил 15 марта: «Более трех месяцев толпы людей никому не известных, сильных, здоровых, плохо одетых, но никогда в жизни не занимавшихся нищенством, обходили этой зимой различные дистрикты этого департамента. Приложив немало труда, чтобы совратить его протестующих и доверчивых обитателей, они внушили им, что те имеют право и власть устанавливать твердые цены на хлеб, как и на все другие продающиеся продукты питания».

Они были бедны, никому не известны, но они никогда не нищенствовали. Следовательно, они жили на субсидии, получаемые тайно, безусловно, от врагов Революции, с целью вызвать эти страшные беспорядки. Вот какой вывод подразумевает Тардиво. Но этот вывод представляется нам совершенно произвольным. Было бы нелегко объяснить простыми махинациями и внушениями контрреволюционеров огромные скопления в восемь, десять, пятнадцать тысяч земледельцев и поденщиков. Их привела в движение стихийная сила.

Между прочим, если бы контрреволюционеры исподтишка провоцировали это движение огромных толп крестьян, они были бы заинтересованы в том, чтобы толкнуть их на крайности: на наси-

\* 6 марта 1792 г. Законодательное собрание создало специальную Комиссию двенадцати для выработки

мер борьбы против народных движений.— Прим. ред.

лия, грабежи, поджоги, убийства. А ведь наоборот, агенты-пропагандисты воздерживались даже от нищенства. Следовательно, это не было ни искусственно вызванное движение подкупленных людей, ни бунт отчаяния нищенствующих, бродячих пролетариев. Крестьяне испытывали ужас перед бродягами; и, чтобы их не испугать, организаторы движения, как они ни были бедны, опасались протягивать руку за милостыней.

В этих областях крупной аренды, где редко встретишь одиночные хижины и где сельское население сосредоточено в сравнительно крупных селениях, создались довольно благоприятные условия для коллективных, организованных манифестаций. Иногда крестьяне склоняли муниципалитеты приходов возглавить их движение: так они легализовали или воображали, что легализуют, свои действия; если же муниципалитеты отказывались это сделать, они создавали свои муниципалитеты, точно так же как народ Парижа 10 августа создаст свою революционную коммуну. Они назначали тех, кого Тардиво назвал «гражданскими чиновниками», и с их помощью, как представителей власти, они устанавливали твердые цены на продукты питания.

Мне представляется немислимым, чтобы движение народа Парижа в январе за таксацию цен на сахар и другие продукты питания не встретило отклика в соседних департаментах. Любопытно, что восставшие устанавливали цены не только на зерно и на хлеб, как можно было бы предположить, но и на все без исключения продукты. Об этом говорят некоторые документы, которые я уже цитировал, но свидетельств тому огромное число.

Члены администрации Эврё писали 5 марта: «Они тащат за собой муниципальных служащих и национальных гвардейцев, которые под бой барабанов, с развернутыми знаменами *устанавливают цены на хлеб, дрова, железо*».

«Первое сборище, о котором стало известно, — говорит Тардиво, — численностью приблизительно 400 человек, состоявшее в приходе Нёв-Лир; затем все отправились оттуда на рынок в Бар, маленький городок в дистрикте Берне<sup>3</sup>. Шествие возглавляли несколько муниципальных чиновников и даже мировые судьи. Отправившись на рынок в Бар, они потребовали, чтобы муниципалитет сопровождал их на местный рынок и установил там цены на зерно и на *все товары, продающиеся на этом рынке*. Муниципалитет, верный своему долгу, стал доказывать, насколько подобное требование противоречит законам, насколько оно в то же время пагубно для тех, кто позволил себе его высказать. Муниципалитет разогнали, а толпа, *воспользовавшись услугами лиц, которых она назвала своими гражданскими чиновниками, сама сделала то, чего она требовала от муниципалитета*.

На следующий день они направились на рынок в Нёбур, еще через день — на рынок в Бретей, где произошли те же эксцессы. 29 февраля муниципалитет Кошша, другого маленького городка

дистрикта Верней, был предупрежден, что завтра они придут на его рынок. Поэтому 29 февраля он принял решение, на основе которого потребовал от национальной гвардии воспрепятствовать действиям, которые собирались осуществить на рынке. *Не знаю, было ли это решение искренним; судите об этом по протоколу:*

«В четверг 1 марта мы, служащие муниципалитета, собрались в ратуше во исполнение нашего вчерашнего постановления, а часть национальной гвардии нашего города собралась на плацу; командир отряда предложил нам стать во главе его войска и отправиться навстречу вооруженным гражданам, которые, как нам сообщили, уже собрались. Мы тотчас исполнили его желание и вышли в сопровождении отряда за стены нашего города; и тут мы увидели около 400 человек, в большинстве вооруженных ружьями, у остальных были топоры, вилы, серпы и прочие орудия.

Командир национальной гвардии нашего города направил к ним отряд, дабы узнать, кто они такие; *они ответили, что они — национальные гвардейцы и пришли навести порядок на рынке*.

Мы дождались, пока они подошли, и разъяснили им, что подобные сборища запрещены, что не полагается входить в город вооруженными; мы их уговаривали именем закона разойтись и бросить оружие; будучи не в силах их убедить и видя, что мы не в состоянии оказать им сопротивление, мы пропустили их, заявив при этом, что составим протокол об их действиях. Бывшие с ними муниципальные чиновники сообщили нам, что их угрозами заставили следовать за толпой. Мы стали их уговаривать помочь нам задержать этих возмутителей спокойствия и способствовать поддержанию порядка на рынке. Мы поставили наших гвардейцев и жандармов на охрану хлебного рынка. Но граждане из Сент-Маргерит и других приходов тотчас же захватили этот хлебный рынок; они заставили нас после неоднократных отказов с нашей стороны установить цены на хлебное зерно в 19, 20 и 21 ливр; на овес — 10—11 ливров и на вику в 9 ливров, причем они грозили нам, если мы не сделаем этого, расправиться с нами; они даже *заявили, что намерены удерживать цены на этом уровне до 1 августа* и чтобы мы до тех пор ни в коем случае их не меняли, иначе они вернутся, но их будет уже 15 тыс. человек. Вынужденные уступить их угрозам, мы согласились на их требования.

3. Департамент Эр. Первые беспорядки начались на опушке лесов Кошша и Бретей, где на бедных железистых землях жило многочисленное население, состоявшее из лесорубов и рабочих железоделательных мастерских, многие из которых занимались браконьерством. 27 февраля 1792 г. лесорубы и гвоздари в количестве при-

мерно 400 человек собрались в Нёв-Лир... Толпа маршировала в полном порядке, с барабанным боем и развернутым знаменем. В последующие дни толпа направилась на рынки в Нёбур, Бретей, Кошш. В начале марта образовалось еще несколько отрядов, которые действовали с такой же поразительной организованностью.

После того как рынок опустел, вооруженные граждане заставили нас сопровождать их в дом г-на Реймона и дом г-на Перрье, граждан нашего города, где они заставили нас раздать зерно, находившееся в их амбарах. Вынужденные подчиниться их воле, хозяева выдали им в нашем присутствии 100 буасо по 3 ливра 10 су (что было даже ниже установленной ими утром цены). После этого они разошлись и направились каждый в свой приход».

В тот день, г-да, — продолжал Тардиво, — служащие муниципалитета Конша уверяли, что они якобы вынуждены были согласиться на все, что от них требовали; но спустя три дня *мы встречаем их в полумиле от города, и опять они устанавливают цены, на этот раз уже не на зерно, а на железо, дрова и уголь...* Люди из прихода Нёв-Лир, которые их сопровождали, потребовали от владельца железодельного завода выдачи им двух пухек с шестифунтовыми ядрами в возмещение за оказанное ему покровительство.

1 марта скопище людей, как мы уже говорили, насчитывало всего 400 человек; 3 марта на железодельный завод Бодуэн их уже явилось 5 тыс.; 6-го в Вернёе их было 8 тыс. Был выработан план действий; сообщили, что в Эврё сойдутся 5 тыс. человек и что, подчинив город, как они это называли, своей воле, та же толпа направится в департамент Сена и Уаза, где в то время происходили подобные же сборища... Такие же эксцессы и в то же самое время имели место и в соседних департаментах Эр и Луар, Уаза, Сена и Уаза и Нижняя Сена».

Очевидно, выборные власти во многих местах потворствовали или терпели действия крестьян. И уже одно это доказывает, что речь здесь идет не о тех, кого сами крестьяне называли «разбойниками», то есть о нищих и бродягах. Можно сказать, все сельское население, исключая крупных собственников — буржуа и крупных фермеров, было вовлечено в движение. Тут как бы осуществлялись на деле те крестьянские наказания, гневный язык которых еще звучит в нашей памяти вопреки стараниям городских буржуазных легистов ослабить и приглушить его мощь. Возможно, что те же деревенские легисты и практики, которые помогали крестьянам составлять пламенные наказания в приходах, сегодня содействуют организации движения и довольно разумно устанавливают цены, по которым следует продавать продукты.

В Мелёне жители тридцати коммун, вооружившись, появляются на рынке, чтобы установить там твердую цену на хлеб; по требованию муниципалитета Мелёна жители сельских коммун бросают оружие, но продолжают настаивать на таксации цены хлеба. Движение становилось всеобщим, оно отличалось единством и умеренностью<sup>4</sup>.

Иногда, правда, как это случилось в Эперноне, в департаменте Эр и Луар, происходили бурные беспорядки с единственной только целью — установить цены на зерно и хлеб. «Будете ли вы

довольны, если мы снизим цену нашего зерна на 4 франка, — спросили собственники, — то есть если мы отдадим его по 20 ливров?» Тогда «некто Франсуа Бретон, землекоп из Эпернона, вооруженный дубинкой длиною примерно в два фута, некто Конис, поенщик из Пати, община Банш, вооруженный саблей, некто Мариньсын, по прозвищу Кюкю, некто Жорж Пишо возмутились такой ценой на хлеб; первые три забрались на мешки и заявили: «Это слишком дорого, мы согласны платить только по 18 ливров». В это время национальная гвардия из Банша и сорок национальных гвардейцев из У, «вооруженные ружьями, алебардами, садовыми ножами и другими орудиями», помогали народу заставить муниципалитет Эпернона провести таксацию цен на зерно. Командир национальной гвардии У, по имени Легё, был в числе наиболее активных.

Так сельская национальная гвардия, в значительной части состоящая из бедных крестьян и мелких земледельцев, поддержала требования крестьян законной силой, которую она получила от Революции. Это бросает любопытный свет на состояние умов сельской национальной гвардии. Там разделение граждан на активных и пассивных фактически было почти неразличимо, и, конечно, бедняк-крестьянин, уплативший достаточный налог, дабы числиться активным гражданином и стать национальным гвардейцем, не обиделся, когда в день восстания «пассивный» гражданин, вооружившись лопатой или топором, присоединился к нему, добываясь снижения слишком дорогой цены на хлеб, а также на кованое железо, необходимое им всем для производства их мотыг, лопат или плугов. Разумеется, всем этим крестьянам не хватало широты взглядов. Наверяд ли они сумели бы связать свои требования с принципами Революции, с Правами Человека. Вот почему к ним иногда относились с подозрением не только имущая буржуазия, но и революционные рабочие маленьких городов; вот почему также в департаменте Эр национальные гвардейцы коммуны Легль, среди которых было много рабочих, очень деятельно способствовали подавлению крестьянских движений. Рабочие в Легле были заняты на фабриках, изготавливавших булавки, однако из-за отсутствия латунной проволоки (в то время ощущался недостаток в любом сырье) им пришлось на несколько дней прекратить работу, но

4. В Мелене 10 марта 1792 г., в базарный день, «жители всех окрестных кантонов отправились туда [в Мелён] в количестве более 10 тыс. человек, все вооруженные вилами, с барабанным боем, с развевающимися флагами. Город был настороже. При входе в город всех пришедших деревенских жителей заставили бросить ору-

жие, на что те согласились при условии, что и городские жители сложат свое, что и было исполнено. Другое условие разоружения состояло в том, чтобы зерно продавалось не дороже чем по 20 ливров, и это тоже было исполнено». «Révolutions de Paris», № 141, 17—24 mars 1792.

они говорили: «Это же ради Революции!» и шли разгонять крестьянские отряды, ибо боялись, что тех толкает «невидимая рука» контрреволюции. Но что сказали бы эти рабочие из Легля, если бы крестьяне догадались им ответить: «Мы всего только следуем примеру ваших парижских братьев... Как и они, мы воюем со скупщиками, с эгоистами, которые поворачивают Революцию к своей выгоде». Но мысли крестьян были неопределенными и смутными, и к тому же им был свойствен близорукий эгоизм.

Между тем — и это имеет большой исторический интерес — то была подготовка, первое стихийное применение народом будущих законов о максимуме. И, размышляя об этом, понимаешь, что никогда даже отважный Конвент не смог и не посмел бы регулировать цены на все продукты питания во Франции, если бы это грандиозное мероприятие не было подготовлено заранее как движением парижских секций, так и крестьянскими волнениями 1792 г.

В Вернее крестьяне установили твердые цены на зерно, хлеб, сливочное масло, яйца, дрова и железо. Но этим дело не ограничилось. Они понимали, что, устанавливая таким образом цены на продукты, они ударяют по крупным фермерам, но могут вызвать недовольство и мелких фермеров (арендаторов). Мало того, крупные фермеры сами могут сослаться на то, что ввиду повышения цен на продукты питания соответственно возросла также и их арендная плата. Какой же ответ можно найти на это? Единственный: *пересмотреть договоры на аренду*; и, согласно докладу директории департамента Эврэ, крестьяне, «установив, по их словам, общий порядок цен, должны объехать деревни, заставить показать договоры на аренду, снизить по ним арендную плату и пригрозить затем собственникам, что их ограбят». Ясно, что речь идет здесь об условных угрозах; только если собственники откажутся снизить арендную плату, их ограбят, и вполне вероятно, что мелкие арендаторы были замешаны в этом деле; они были заинтересованы в снижении арендной платы.

Итак, мы видим в этих районах все кипение крестьянской жизни, сложной и запутанной. И как же Тэн, этот плохо осведомленный и не слишком добросовестный идеолог, упростил и огрубил все это! Какой разнузданный и зверский характер придал он хитрости крестьян, еще обостренной Революцией! И насколько грубы и убоги его формулировки по сравнению с этим широким и чистым брожением?

Впрочем, административные власти, оправившись от первого испуга, легко успокоили все эти брожения, и большей частью без кровопролития. Революционная буржуазия с такой энергией, с такой искренностью заверяла крестьян, что своими анархическими действиями они способствуют возвращению старого порядка, что «бунтовщики», удивленные и смущенные, вскоре давали уговорить себя без всякого сопротивления.

## АГРАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

### СЕКВЕСТР ИМУЩЕСТВА ЭМИГРАНТОВ

Вопрос об имуществе эмигрантов также немало способствовал возбуждению, царившему в деревне. Он уже не раз ставился даже в самом Учредительном собрании, которое не осмелилось его решить. Законодательное собрание 13 декабря 1791 г. издало декрет, согласно которому кредиторы государства могли получить задолженность по своим рентам только в том случае, если они докажут, что непрерывно проживали в королевстве в течение последних шести месяцев. Это уже был секвестр, наложенный на часть движимого имущества. Оставался главный вопрос — о земельных владениях. И на этот раз, как это было уже с декретами 4 августа, именно стихийные движения крестьян заставили, по-видимому, Собрание поторопиться с решением. Когда крестьяне увидели, что уже началась продажа национализированных церковных имуществ, когда они слышали о разоблачении эмигрантов-дворян как изменников отечества, у них, естественно, должно было возникнуть искушение наложить руку на имущество этих изменников, разделить между собой их земли и разграбить их замки. Как! Эти люди, которые постоянно нас угнетали и эксплуатировали, которые отняли у нас общинные владения, которые веками душили нас десятинами и податями, теперь удрали за границу и готовятся поднять оружие против Франции, против Революции! И, победив, они вновь наденут на нас прежнее ярмо! И они еще воспользуются, дабы победить нас и снова вернуть в рабство, доходами со своих поместий, в которых мы, несчастные оброчные, так долго гнули спину! Захватим же их! Возможно также, что крестьяне говорили себе: если имущества эмигрантов будут национализированы, подобно церковным имуществам, и будут

пущены в продажу, то только зажиточные земледельцы и богатые буржуа смогут приобретать их части. Не лучше ли стихийно провести раздел этих имуществ? Именно страх перед подобным крестьянским движением заставил Ламарка взойти на трибуну 21 января 1792 г.<sup>1</sup> «Мера, которую я вам предлагаю, господа, это секвестр имущества всех изменников, плетущих заговоры против Конституции и государства. Поспешите объявить в департаментах, что те, кто своими заговорами вызовет неизбежную войну, будут нести все ее издержки, а граждане, на которых падут все ее тяготы, должны быть за них вознаграждены...

И в этой связи, г-да, я должен познакомить вас с одним фактом, способным ускорить ваше решение.

В департаменте Дордонь есть дистрикт, который один изготавил 3 тыс. пик и национальная гвардия которого, открыв подписку для уплаты налогов, от которых она была освобождена, посылает к вам в настоящий момент депутацию, коей поручено пожаловаться вам на то, что ее обрекают на бездействие, и просить вас, г-да, приказать ей незамедлительно соединиться с ее братьями по оружию для защиты Свободы! *Однако по соседству с этим дистриктом некоторые жители деревень составили, по рассказам, список всех эмигрантов из их мест, и, прислушиваясь только к голосу возмущенного сердца, они угрожают этим изменникам по первому же сигналу начать грабить, опустошать их владения и сжигать их замки*<sup>2\*</sup>.

Речь Ламарка прерывалась возмущенным ропотом Собрания, которое вообразило, что оратор собирается поощрять акты разрушения, а также аплодисментами с трибун. Большое волнение охватило депутатов, многие из которых требовали, чтобы собственность дворян и эмигрантов до тех пор, пока она не поступит в распоряжение нации, была поставлена под особый надзор и защиту административных органов. Представляется весьма вероятным, что, если бы Собрание недостаточно быстро вынесло решение по поводу эмигрантских имуществ, началось бы непреодолимое движение, сопровождаемое насилиями и грабежами. Достаточно вспомнить о волнениях в некоторых кантонах дистриктов Ним и Алес в апреле. Большие толпы крестьян двинулись в путь, срывая с замков сеньориальные гербы, они разграбили и подожгли двадцать из них; и так велико было всеобщее возмущение против тех, кто, выжав из страны все соки, предал ее и обратился за помощью к иностранным державам, что, по свидетельству директоры департамента Гар, «никакие силы общественного порядка не оказали им сопротивления, а заблуждение национальной гвардии было настолько велико, что она смотрела на преступные насилия, совершавшиеся у нее на глазах, как на акты патриотизма»<sup>3</sup>.

Церковные имущества были защищены от этих стихийных и диких выступлений. Они были объявлены достоянием нации,

и независимо от того, приобрели ли их муниципалитеты и находились ли они еще в их владении или уже были пущены в продажу, они уже не представляли собой собственности церкви; они стали частью нового мира. Все воспоминания об угнетении, об эксплуатации и ненависти как бы развеялись благодаря изъятию имуществ у церкви и переходу их к новым собственникам. Все они, крупные и мелкие буржуа, крестьяне, ремесленники, которые приобретали эту собственность или же страстно мечтали хоть о небольшом ее клочке, заботились о целостности имущества, которое им принадлежало или должно было стать их собственностью. Таким образом, для церковных имуществ широкая революционная экспроприация предотвратила индивидуальные насилия. В отличие от этого сеньоры, дворяне, сохранили право собственности на свои владения; более того, как мы уже видели, они претендовали еще, согласно букве и духу декретов Учредительного собрания, на получение еще не выкупленных феодальных рент. И когда дворяне, оставив в своих владениях, в своих замках лишь поверенных, сами удрали за границу, захватив с собой свою эю, вместо того чтобы тратить их в стране и дать людям возможность существовать, гнев достиг своего апогея. Я узнал, к примеру, из одного протокола о действиях муниципалитета Вильфранша, в Авероне (от 27 апреля), что в этой дикой местности, где столько суровых замков изрезали небо своими остроконечными башнями, наводя ужас на долины, в первые дни Революции царило недолгое возбуждение умов, потом, в 1790 и 1791 гг., там было довольно спокойно, и вот весной 1792 г. народ здесь восстал.

«Этот заразительный фанатизм, — говорится в протоколе, — охватил наш департамент в начале Революции, но, казнив нескольких виновников, удалось остановить эту заразу. *Любая собственность уважалась у нас до того времени, пока эмиграция и угрозы нескольких бывших сеньоров не послужили поводом или предлогом для новых грабежей*». Но поражает то, что в этих грабежах все население принимало участие, казалось, с абсолютно чистой совестью. Оно смотрело на них как на возврат имущества, которым дворянство завладело противозаконно. Я не знаю ничего

1. Ламарк (1753—1839) — адвокат, судья при уголовном трибунале Перигё в 1790 г., представитель от департамента Дордонь в Законодательном собрании, а затем в Конвенте.

2. Относительно крестьянских волнений в Дордонь см.: G. B u s s i - è r e. *Études historiques sur la Révolution en Périgord*. Т. III: «La Révolution bourgeoise, la révolution rurale». Paris, 1903.

\* Обширный и весьма ценный мате-

риал по крестьянским движениям собран и изложен П. А. Кропоткиным в его труде «Великая Французская революция» (Петроград, 1920). — *Прим. ред.*

3. По поводу крестьянских волнений в департаменте Гар весной 1792 г. см.: «Moniteur» XI, 554, 645; XII, 118, 139. См. также: H. M a z e l. *La Révolution dans le Midi: l'incendie des châteaux dans le Bas-Languedoc*. Nantes, 1886.



более примечательного в этом отношении, ничего более странного, нежели протокол жандармерии после ограбления замка Привезака. Из него явствует, что не осталось почти ни одного дома, где бы среди жалкой утвари крестьян или ремесленников Аверона не оказалось в странном смещении какого-нибудь предмета из замка.

«У женщины по имени Ромир нашли юбку из зеленого шелка, кусок обоев, охотничью куртку из силезского драпа, желтые пуговицы и т. д. и т. д. [я вынужден сократить перечень...]. Войдя к Габриелю Лозьяку, по прозвищу Кафе, мы нашли в его доме кресло, обитое тканью дама лимонного цвета, с подушкой и два плетеных камышовых стула. В доме Жанны Пурсель, дочери покойного Бернара, мы нашли тоже кресло, обитое дама лимонного цвета... жестяную туалетную шкатулку, муфту из лебяжьих перьев, соломенную шляпу с высокой тульей... У Жозефа Местра, трактирщика, начав с обыска хлева, мы обнаружили корову (которую, по его признанию, он увел из хлева г-на Привезака)... у Мари Леве — кусок красной материи, дверцу от большого платяного шкафа... У Габриеля Брюнье — три колеса от тележки и четыре плуга. У Жана Манье, *каретника* — четыре ставни, кожаный чемодан... У Пьера Адемара, *чесальщика шерсти*, мешок чечевицы, занавеску от кареты, детскую салфетку... У Антуана Бори — тюфяки, стулья, пару простынь из роанского полотна... у Бернара Видоля — больше все шелковые вещи: три белые юбки с оборками, стеганое одеяло из зеленого шелка, изящные чепчики, обшитые фландрскими кружевами; круглую шляпу с высокой тульей, женские бапки, колеса от тележек и пр. В доме Бедена — сундук, полный разных вещей, юбок, женского белья и т. д.».

Среди лиц, указанных в числе участников набега, я обнаруживаю, помимо длинного перечня сыновей крестьян-собственников, довольно много ремесленников: Пьера Грэ, кровельщика из Привезака; Жана Антуана Фуассака, по прозвищу Лу Давид, плотника, и его брата, портного, — оба из Привезака; Гийома Турнье, кровельщика; Пьера Франсуа, по прозвищу Моригон, кровельщика из деревни Англа; Кудерка, плотника из прихода Дрюлиль, и т. д. и т. д.

Все местные обитатели там побывали, и каждый что-нибудь унес. Когда бы Собрание не объявило о секвестре эмигрантских имуществ, когда бы оно, если можно так выразиться, не заменило на фронтонах замков старинные гербы своими «Нация и закон», весьма возможно, что повсеместно повторились бы подобные, кстати сказать, отвратительные сцены грабежа. Точно так же если бы социальная революция вспыхнула, прежде чем организация пролетариата приобрела достаточную мощь, то только немедленная национализация заводов, крупных торговых предприятий и обширных поместий могла бы спасти их во многих местностях от дикого разрушения и безобразных грабежей.

Предложение Ламарка было передано на рассмотрение Законодательного комитета. И докладчик Седийе, рупор умеренных, начал с того, что предложил довольно безобидную меру<sup>4</sup>: обложить доходы с земельной собственности эмигрантов налогом в тройном размере. Левая возмутилась. Собрание хотело совсем не этого; оно хотело, чтобы все имущества дворян были переданы в руки нации с тем, чтобы покрыть расходы по войне, навязанной Франции вследствие предательства эмигрантов.

Тогда комитет, уступая общему настроению, предложил сочетать идею секвестра с идеей тройного налога. Верньо воскликнул, что нет никаких причин ограничивать право нации на доходы и на имущество эмигрантов. И собрание, после того как оно 9 февраля приняло в принципе декрет, передававший имущество эмигрантов в руки нации, после того как 5 марта оно приступило к изучению способов его применения и выслушало 10 марта красноречивые заклинания Верньо, призывавшего Собрание совершить решающий шаг, приняло наконец 30 марта окончательный текст декрета<sup>5</sup>.

«Национальное собрание, принимая во внимание, что очень важно как можно скорее определить порядок управления имуществами эмигрантов, перешедшими в руки нации, согласно декрету от 9 февраля, а также установить средства осуществления этой передачи и исключения, предписываемые справедливостью и гуманностью, желая, кроме того, прийти на помощь кредиторам, которым придется продавать недвижимость своих должников-эмигрантов, заменив наложение запрета более простым и менее дорогим способом, заявляет, что дело это безотлагательно.

Национальное собрание, заявив о его безотлагательности, издает нижеследующий декрет:

*Статья 1.* Имущества эмигрировавших французов и доходы с этих имуществ предназначаются для возмещения, подлежащего нации.

*Статья 2.* Все распоряжения, касающиеся собственности, пользования этими имуществами или доходов с них, которые были сделаны после обнародования декрета от 9 февраля, как и все те, которые последуют в дальнейшем уже после того, как указанные имущества перейдут в руки нации, объявляются недействительными.

*Статья 3.* Эти имущества, и движимые, и недвижимые, будут управляться, как и национальные имущества, управляющими управления регистрационных пошлин, государственных владений и связанных с ними доходов, служащими и исполнителями управления под надзором административных органов».

4. Седийе (1745—1820) — королевский прокурор в Управлении вод и лесов Немура, председатель администрации этого дистрикта в

1790 г., депутат Законодательного собрания от департамента Сена и Марна.

5. «Archives parlementaires», XLI, 5.

Мера эта была суровой. Когда умеренные предложили только обложить доходы тройным налогом, они отнюдь не надеялись сохранить доходы, которые таким образом сокращались на три четверти, но им было важно оставить не затронутыми операцией сами земли. Наоборот, под давлением жирондистов, захвативших власть в середине марта, Собрание потребовало именно секвестра самих земель, как и доходов с них, в качестве гарантии того возмещения, которое обязаны были уплатить дворяне.

Собственно говоря, поскольку война была неминуема, это была просто-напросто национализация имуществ эмигрантов. И тем же агентам, которые управляли национальными имуществами, теперь поручалось управлять владениями дворян, ставшими, в общем, неотторжимой частью национального достояния. И наконец, все операции, с помощью которых эмигранты, предупрежденные о неизбежных последствиях декрета от 9 февраля, передали бы другим лицам, фактически либо фиктивно, права собственности на свое имущество, были аннулированы и секвестр получал обратную силу вплоть до 9 февраля. Точно так же, как при национализации имуществ церкви и запрещении монашеских обетов Революция гарантировала долг кредиторам духовенства и предоставила монахам и монахиням убежище и пенсию, так же и во всем, что касалось эмигрантов, Революция наметила процедуру, какой должны были следовать кредиторы эмигрантов при взыскании долгов с секвестрованных имуществ.

Кроме того, Собрание в статье 17 декрета постановило, что «во всех случаях женам, детям, отцам и матерям эмигрантов будут оставлены во временное пользование дома, являющиеся их обычным местом жительства, а также обстановка и вещи, которыми они пользовались и которые там будут находиться; тем не менее будет произведена перепись указанной мебели, которая, так же как и дом, предназначается для возмещения».

Наконец, в статье 18 Собрание постановило: «Если вышеназванные жены или дети, отцы или матери эмигрантов окажутся в нужде, они смогут, кроме того, ходатайствовать о выделении в их пользу из личного имущества этих эмигрантов определенной ежегодной суммы, каковая будет определена директорией того дистрикта, где в последнее время проживал эмигрант, и максимум каковой не должен превышать четвертой части чистого дохода эмигранта после уплаты всех налогов и сборов, если требование будет исходить только от одного лица, будь то жена, ребенок, мать или отец; третьей части, если претендентов будет несколько, вплоть до четырех; половины, если их будет еще больше».

Раздавались гневные голоса, требовавшие, чтобы, подобно тому, как обычные кредиторы, когда они налагают арест на имущество, служившее обеспечением их долга, заботятся лишь о возврате их денег, а не о нуждах семьи должника, Революция, суверенный кредитор, не вычитала расходов на поддержание жизни

жены, матери и детей эмигранта из суммы того залога, на который наложила руку преданная эмигрантами нация. Однако на сей раз возобладала более широкая гуманная мысль, которая не сможет надолго сохраниться в атмосфере разбушевавшейся бури.

Если великой социалистической пролетарской революции выпадет счастливая доля совершиться законным и мирным путем, ей будет полезно поразмыслить над духом этих первых решений буржуазной Революции, энергичных и милосердных.

Все же такого рода оговорки в пользу семей эмигрантов отныне не должны были служить препятствием к окончательной национализации или даже к продаже дворянских имуществ. Ибо, точно так же как Революция лишала должников духовенства специального залога в виде церковных имуществ, заменив его общим залогом в виде всех национальных имуществ, точно так же она могла обеспечить семьям эмигрантов нечто вроде пенсий, предусмотренных декретом от 30 марта, извлекая на это средства уже не из специальных доходов с секвестрованных или проданных эмигрантских имуществ, но из совокупности всех ресурсов, полученных от распродажи. Поэтому с этого момента прозорливым людям должно было стать ясным, что имущества эмигрантов не замедлят перейти во владение Революции вслед за имуществами церкви.

В тот же день, 30 марта, когда Законодательное собрание, подвергнув секвестру имущества эмигрантов, сделало первый шаг к их продаже, которая была решена 10 августа, ему предстояло приступить к дебатам, в которых резко столкнулись многие интересы.

## ВОПРОС О ЛЕСАХ

Речь шла об отчуждении национальных лесов. Вопрос этот был поставлен еще несколько месяцев назад. Когда Собрание должно было вплотную заняться организацией управления лесами, ряд депутатов предложил эти леса продать. Они ссылались на то, что общественное управление лесами — дело дорогостоящее, что леса, перейдя в частную собственность, будут гораздо лучше обеспечены уходом, что они приносят едва 4—5 млн. чистого дохода, если же они будут проданы по их настоящей стоимости, превышающей, по мнению одних, 300 млн., а по мнению других, достигающей одного миллиарда, то государство могло бы избавиться от большей части своего долга<sup>6</sup>.

6. См. в частности, дискуссию, которая началась на заседании 2 марта 1792 г. («Moniteur», XI, 537). Докладчик пришел к выводу, что «для мореходства, торговли и земледелия пагубно подобное отчуждение, которое может быть выгод-

ным лишь нескольким капиталистам-спекулянтам», однако Мишон, представитель от департамента Рона и Луара, пытался доказать «преимущества отчуждения», приводя аргументы, которые Жорес здесь и излагает.

Они доказывали, что оставлять в руках государства, то есть тех, кто может в минуту слабости утомленных умов завладеть государством, столь обширные владения, столь богатый источник — это значит заранее создавать для деспотизма финансовый резерв, по сравнению с которым цивилизный лист ничего не стоит. Тем, кто опасался, исходя из интересов промышленности, возможного исчезновения лесов или сокращения их площади, они отвечали, что Франция в своей рутине слишком долго рассчитывала только на лес для своих заводов, нуждающихся в топливе. Настал час последовать примеру Англии, порыться поглубже в земле и извлечь из нее каменный уголь.

Кстати, закон может обязать частных лиц, которые будут покупать участки леса, сохранять определенные породы, беречь отдельные деревья, необходимые для морского флота. Все эти доводы были малоубедительны. Но финансисты Революции и в самом деле начинали тревожиться по поводу обесценения ассигната, а широкая операция по продаже, столь неожиданно присокупленная к текущим распродажам, способна была, как им казалось, поразить умы, показать исчерпаемые ресурсы Революции и поднять или поддержать доверие к революционным бумажным деньгам. Особенно Жиронда, развязавшая большую войну, хотела быть уверенной, что сможет вести ее с успехом, и она искала новых источников, новых средств для поддержания доверия к ассигнату. Робеспьер едко упрекал ее в том, что таким образом она приносит в жертву своим воинственным фантазиям национальное достоинство.

Южные департаменты, где было мало лесов, охотно соглашались на их отчуждение, что могло обеспечить рантье и держателям ассигнатов в городах Юга новые гарантии. И наоборот, представители районов, богатых лесом, особенно на Востоке, горячо возражали. Они утверждали, что понадобится много времени, прежде чем работа в каменноугольных коях наладится настолько, чтобы уголь мог заменить дрова. Они говорили, что лес нельзя эксплуатировать и, следовательно, продавать мелкими участками, что только мощные капиталистические компании смогут приобрести лесные богатства нации, что бедняки будут лишены из-за грубого эгоизма новых хозяев того подспорья, какое они находили в национальных лесах, собирая там валежник<sup>7</sup>, что промышленность, нуждающаяся в топливе, попадет под власть этих монополистических компаний, владеющих лесом, без которого ни металлургические, ни стекольные заводы не могут работать. В своем иступленном гневе они дошли до того, что стали обвинять эти компании в подкупе членов Законодательного собрания, достаточно преступных, чтобы осмелиться предложить подобное покушение на национальную собственность, на права бедняков, на интересы промышленности. Кто знает, добавляли они, не скупят ли враги отечества, иностранцы, жаждущие его погибели, вроде

английских аристократов, не скупят ли они леса преданной Франции?

«В Вогезах, среди лесных массивов, — сказал Вожьен, депутат от департамента Вогезы<sup>8</sup>, — рассеяны метерии, единственная форма собственности, распространенная в этих краях, и там выращиваются стада, более или менее многочисленные, в зависимости от наличия пастбищ, расположенных вокруг каждой из таких метерий; они снабжают своими продуктами соседние департаменты, и они ничуть не хуже, нежели продукты прежней Бретани. Между тем малейшая небрежность в сохранности лесов вынудила бы владельцев метерий покинуть свои жилища, и без того почти разоренные порочной финансовой администрацией старого порядка. Впрочем, установлением государственного надзора над частной собственностью напрасно пытались бы уберечь их от этой опасности, если бы у них отняли выпасы; между тем невозможно связывать с продажей лесов надежду на заботливое управление лесами со стороны частных владельцев и на сохранение прав пользования, ибо, чтобы добиться первого, необходимо вместе с собственностью передать и все права, связанные с нею, согласно принципам разума, признанным Конституцией».

И тут он поднимает важный вопрос об общинных владениях:

«Общины владеют или же пользуются почти всеми лесами, находящимися в их округе... Разве это не значит, что в первом случае они окажутся ограбленными? Само беззаконие всеобщей продажи оставляет нам слабую надежду на то, что не решатся на этот последний шаг».

Что касается прав пользования, то капиталисты-покупатели постараются как можно скорее упразднить их, и «общины, которым управление (лесами) предоставляло лес для производства телег, для построек и отопления и чьи права заключены в слове «пользователи», будут, стало быть, лишены этого источника; и выпас, который им разрешался в определенные времена года среди лесной поросли и круглый год в ельнике, что им было вдвойне выгодно, поскольку большие стада находили там убежище от дневного зноя, будет тоже для них запрещен, ибо все леса отныне превратятся в грандиозный парк».

Депутат Вюйе был почти единственным из депутатов Востока, кто стоял за отчуждение лесов:

«Меня крайне удивляют эти страхи, — говорил он, — ибо тут подразумевают, что капиталистов-скупщиков будет либо мало,

7. «Однако этому отчуждению должны предшествовать необходимые операции, чтобы освободить леса от тяготеющих над ними прав пользования, которыми обладают либо коммуны, либо частные лица». (Мишон, заседание 2 марта

1792 г., «Moniteur», XI, 538.)

8. Вожьен (? — 1800) — адвокат в бальяже Эпиналь, мэр этого города в 1790 г., депутат от департамента Вогезы в Законодательном собрании. Речь, о которой Жорес здесь упоминает, не была произнесена.

либо много. В первом случае предположение это химерично, ибо стоимость национальных лесов и возможности небольшой группы покупателей, как бы ни было огромно их состояние, не сопоставимы; во втором случае объединение большого числа капиталистов представляется столь несбыточным, как несбыточно было бы объединение всех землевладельцев королевства, которое могло бы диктовать цены на зерно или на все прочие продукты».

По его мнению, леса будут лучше эксплуатироваться при частном владении, а государство будет избавлено от заботы, к которой оно не подготовлено. Владея лесами, оно является землевладельцем, но, кроме того, еще промышленником, фабрикантом, из-за тех отраслей промышленности, которые зависят от национальных лесов и заключают арендные договоры с администрацией. Не мешайте частной промышленности. Так началась из-за лесов борьба между частным капиталом и государственной собственностью, борьба, которая продолжалась в течение всего XIX в. по поводу железных дорог, рудников, каналов и опять-таки из-за лесов. Тюрпетэн, депутат от департамента Луаре, говорил, возражая Вюйе<sup>9</sup>:

«Нечего уговаривать себя, будто нет компаний капиталистов, которые в состоянии приобрести большие лесные массивы. Есть леса, тянущиеся на долгие лье, не прерываемые никакой другой собственностью; следовательно, не приходится надеяться на конкуренцию, а бояться надо только алчности. Жадные миллионеры добиваются вашего решения и торопят вас принять его. Все, что им придется заплатить вначале, они себе вернут с лихвой с одной только поверхности земли».

«Компании уже изготовились,— восклицает в свою очередь Шерон, депутат от департамента Сена и Уаза<sup>10</sup>,— они только и смотрят, подняв свои уродливые башки, в ожидании добычи, которую вы им собираетесь бросить; с их нечистых уст успела уже даже слететь клевета: эти компании заговорщиков имели наглость и дерзость хвастать тем, что они уверены в успехе своих заговоров... и что среди нас имеются депутаты настолько развращенные, чтобы вступать в самые тесные отношения с ними... Крик тревоги, раздающийся во всех уголках Франции в связи с этим пагубным предложением,— это не крик продажной клики, это крик нужды, это повелительный голос народа, суверена, прогремевший против спекулянтов: «Вы не уничтожьте мои леса; это мое добро, добро моих детей; это с его помощью я строю себе жилище, смягчаю суровость зимы, это им я обязан рукояткой моего заступа, корпусом моего плуга, деревком, на которое я насаживаю железное острие — залог моей свободы».

Много было также депутатов или петиционеров, предупреждавших о зависимости, в какую попадет промышленность от капиталистов, если они станут хозяевами лесов. И здесь по поводу лесов как бы слышится многолетняя жалоба, которая будет звучать

в течение всего XIX в. против транспортных компаний, против угольных компаний, распоряжающихся в промышленности с помощью своих тарифов. Этьенн Кюнен, депутат от департамента Мёрт, высказался 2 марта определенно и решительно:

«Департаменты Мёрт, Мёз, Мозель, Вогезы, Ду, Юра, Верхняя Сона по причине влажности почвы и тучности их пастбищ получают только самую грубую шерсть; та же причина, а также холодный климат мешают им выводить шелковичных червей и позволяют им выращивать лен и коноплю лишь очень низкого качества... Природа вознаградила их за это, даровав им минеральные источники и железные руды; жители этих мест, будучи не в состоянии выдерживать конкуренцию других фабрик королевства (в производстве сукон и шелков), сосредоточили свою деятельность на эксплуатации копей и металлургических предприятий. Не обладая ископаемым топливом, но обладая богатыми лесами, площадь коих в одной только бывшей провинции Лотарингия составляет почти четверть всей площади лесов королевства, жители построили солеварни, металлургические, литейные, железодельные мастерские, стекольные и фаянсовые фабрики; за продукцию этих мануфактур, вывозимую за границу и продаваемую на внутреннем рынке Франции, выручается часть сумм, затрачиваемых на импорт шелков, сукон, полотна».

*Большая часть этих заводов имеет долгосрочные договоры на пользование национальными лесами [то есть арендные договоры на 99 лет, обеспечивающие пользование лесом на определенных условиях]; предприниматели приступили к строительству заводов, только убедившись в том, что они будут обеспечены лесом по дешевой цене; если нация начнет отчуждение лесов и их продажу, ей не только придется платить неустойку тем, кто заключил долгосрочные договоры, что, возможно, поглотит всю сумму, которая будет выручена при продаже лесов; но и все заводы из-за недостатка топлива или же вынужденные покупать его по ценам, которые новым хозяевам заблагорассудится назначить, захиреют сами собой; 10 тыс. рабочих, привыкших с детства к работе на этих заводах, останутся без средств к существованию и впадут в крайнюю нищету».*

Граждане из Эпиналя в своей петиции Собранию, поданной 30 марта, тоже говорят:

*«Вскоре те же собственники лесов скупили бы и наши фабрики, теми же способами вынуждая людей, которые их построили, продать их или уступить за бесценок; в результате все наши предприятия попали бы в руки тех же капиталистов и наши новые владельцы*

9. Тюрпетэн (1739—1818) — адвокат в Божанси, прокурор-синдик этого дистрикта в 1790 г., депутат Законодательного собрания от департамента Луаре.

10. Шерон (1758—1807) — литератор, член директории департамента Сена и Уаза в 1790 г., депутат Законодательного собрания от этого департамента.

лесов стали бы еще диктовать цены на всю продукцию королевства; это будет новая монополия, столь же опасная, столь же жестокая, как и монополия на сам лес».

Под напором этой энергичной, даже неистовой оппозиции проект об отчуждении лесов был отложен и отклонен. Но какое это было животрепещущее столкновение разных интересов! Ни одна область экономической и социальной жизни страны не осталась незатронутой.

## ОБЩИННЫЕ ЗЕМЛИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВА

В то время когда крестьяне выступали против отчуждения принадлежащих государству лесов, они во многих местах пытались вернуть себе узурпированные сеньорами общинные владения. Им уже казалось недостаточным освободиться от феодальных повинностей и требовать их безвозмездной отмены или навязать ее. Они вспомнили о долгой истории захватов, путем которых сеньоры присваивали себе земли, леса и луга, бывшие общим достоянием. И они требовали их возврата. Но как мы уже знаем из наказов, в вопросе об общинных землях у крестьян не было никакой четкой концепции, никакой единой точки зрения. Одни желали сохранить их, дополнив отнятыми у сеньоров землями; другие хотели приступить к разделу. Дюфенъ сообщил 5 февраля 1792 г. Собранию о волнениях, которые возникли в этой связи в департаменте Ло:

«Я еще обращаю ваше внимание, господа, на то, что в этом департаменте происходили волнения, имевшие целью *раздел общинных земель*, весьма значительных и очень дурно управляемых. Учредительное собрание объявило, что оно займется упорядочением этого раздела. *Некоторые общины, у которых не хватило терпения ожидать соответствующего декрета, занялись этим делом сами и уже разделили свои общинные владения*. Другие общины собрались последовать их примеру, но встретили сильное сопротивление, много препятствий, и в результате в каждом кантоне началась в некотором роде гражданская война».

Дюфенъ потребовал немедленного доклада. Но Лоро напомнил о всей сложности и трудности этого вопроса.

«Я не думаю, — сказал он, — чтобы следовало поручать Комитету земледелия представить проект декрета *относительно* раздела общинных имуществ... Этим вы предопределите заранее, что эти имущества должны быть разделены и комитету останется лишь указать способ раздела. Было бы очень опасно, если бы подобное предвосхищение решило чересчур поспешно, без должного изучения один из важнейших вопросов деревенского управления в нашем королевстве. Раздел общинных земель уже был осуществлен в некоторых провинциях; этот опыт был не настолько успешным,

чтобы придать этой мере с полным доверием, без должного изучения общий характер».

Вопрос был отложен, и Законодательное собрание так и не решил его, но он запал в память людей, и в связи с этим возникло беспокойство нового порядка.

В ноябре 1790 г. Учредительное собрание постановило, что по прошествии года право уплаты в рассрочку посредством двенадцати ежегодных взносов будет отменено и что нужно будет расплачиваться за приобретенные имущества в течение четырех лет<sup>5</sup>. Уже в декабре 1791 г. Законодательное собрание продлило этот срок до 1 мая 1792 г. А декретом от апреля 1792 г. оно еще отодвинуло этот срок до 1 января 1793 г.:

«Национальное собрание, желая предоставить покупателям национальных имуществ, которые остались еще не проданными, те же льготы при оплате, что и предыдущим покупателям, и учитывая, что срок пользования правом, предоставленным декретом от 14 мая 1790 г., истекает 1 мая 1792 г., объявляет, что вопрос не терпит отлагательства...»

Национальное собрание постановляет, что срок 1 мая 1792 г., установленный законом от 11 декабря прошлого года для покупателей национальных имуществ, дабы они могли воспользоваться правом, предоставленным для оплаты означенных имуществ статей 5 части III декрета от 14 мая 1790 г., будет продлен до 1 января 1793 г., но только для имуществ в сельской местности, построек и свободных площадей в городах, жилых домов и построек, к ним примыкающих, где бы они ни были расположены; на леса и заводы эта льгота формально не распространяется.

После 1 января 1793 г. платежи будут производиться в сроки и в порядке, установленные статьями 3, 4 и 5 декрета от 4 ноября 1790 г.».

Г-н Саньяк ошибся, полагая, что декрет от 4 ноября 1790 г., ограничивая рассрочку 4 годами, имел немедленные результаты. В действительности же путем последовательных отсрочек решение, предусматривавшее двенадцатилетнюю рассрочку, продолжало действовать и ход продажи ускорился.

## ПОНЯТИЕ СОБСТВЕННОСТИ

Однако перед нами встает очень важный вопрос: что случилось при этом всеобщем движении и потрясении интересов и обычаев с понятием собственности? Необходимо представить себе, что в 1792 г. продажа национальных имуществ, имуществ церкви, реализованных на две трети в течение 1791 г., все еще продолжалась, что, стало быть, повсеместно, в крупных и малых владениях, на

фермах, в монастырях и аббатствах, прежние владельцы постепенно вытеснялись новыми собственниками, что буржуа и крестьяне делили между собой имущество церкви, что промышленники приспособивали под мануфактуры дортуары, трапезные и подвалы монахов. Необходимо помнить, что, несмотря на условия выкупа, вписанное в декреты от 4 августа, крестьяне считали ренты и феодальные повинности окончательно упраздненными и вносили их только по принуждению, под угрозой суда и в ожидании, изо дня в день все более нетерпеливом, их полной отмены без возмещения.

Следует подумать о том, что имущества эмигрировавших дворян, отныне секвестрованные и предназначенные для покрытия военных расходов, должны были поступить в продажу в ближайшем будущем и что на этот раз речь шла об имуществах отнюдь не феодального характера, а о собственности того же порядка, как и буржуазная собственность, земельная или движимая. Следует отдавать себе отчет в том, что ввиду исчезновения звонкой монеты деньги, почти сплошь бумажные, уже не имели действительной стоимости и вся их стоимость опиралась на доверие к самой Революции, то есть на операции национального характера, что, следовательно, денежный знак, измеряющий все ценности, орудие всех обменов, был связан с существованием и деятельностью нации и сообщал всем видам имущества, которые зависели от его обращения, национальный характер.

Следует вспомнить, что городские рабочие и крестьяне, когда они требовали таксации продуктов питания, контроля над арендой и раздела ферм, а также пресечения действий «скушчиков», вторгались в сферу действия буржуазной собственности в то самое время, как они уничтожали собственность церковную, собственность феодальную и ту собственность дворян, которая отличалась от буржуазной собственности всего лишь политическими настроениями владельцев. Следует, наконец, помнить, что из-за общинных земель, как и из-за лесов, разыгралась битва не только между старыми и новыми интересами, не только между крестьянами, требующими возврата узурпированных общинных владений, и сеньорами, но и между интересами различных революционных слоев; что фабриканты, ремесленники, бедные крестьяне защищали леса, бывшие национальным достоянием, от покушений все поглощающей и скупающей капиталистической собственности<sup>11</sup>. Следует прислушаться к гневным крикам народа, к ворчанию и проклятиям «Пер Дюшен» по адресу новоявленной аристократии богатства и монополистов. И задать себе вопрос, каков же был в самом деле в этом своего рода столкновении всех интересов и идей, в этом всеобщем потрясении, которое от всколыхнувшейся почвы как бы передалось самым корням всех прежних и новых прав, — каков был смысл и какова была сила в тот момент понятия собственности.

Контрреволюционеры, собственно говоря, утверждали, что идея собственности погибла, уничтожена. Они уже не ограничивались, подобно аббату Мори, утверждениями, что покушение на собственность церкви послужит прецедентом для посягательств на любую собственность.

В 1776 г. Сегье, королевский адвокат, выступил в Парламенте с осуждением брошюры Бонсерфа «*О неудобствах феодальных прав*». Он изобличал ее как покушение на собственность: «Система, которую хотят поддержать, представляет еще большую опасность ввиду последствий, к коим она может привести вследствие действий жителей деревни, которых автор, видимо, собирает взбунтовать против отдельных сеньоров, от которых они зависят. Правда, об этих планах еще не говорится в открытую, лишь намекается, что люди могут обратиться к своим сеньорам с просьбой об уничтожении и выкупе сеньориальных прав, в чем им не смогут отказать, коль скоро все вассалы объединятся и будут согласны выступить с теми же предложениями. Но разве не чувствуется, что эти толпы, собирающиеся в различных замках каждого отдельного сеньора, потребовав этого уничтожения и предложив выкуп, рассерженные затем предоставленными им условиями, возможно, захотят потребовать того, чего им не пожелают предоставить?»

... Между тем именно с помощью этих гигантских и лишенных смысла идей надеются свратить слабых и невежественных людей, которых большинство... *Что же станет с собственностью*, этим столь священным благом, о котором даже наши короли сами заявляли, что они, к счастью, бессильны посягать на него?» Легко представить, что мог написать тот же Сегье в 1792 г. В своем сочинении «*Поправная Конституция*», которое прервала смерть, он с воинственным пылом комментирует статью 8: «Конституция гарантирует также неприкосновенность собственности<sup>12</sup>.

11. Сам принцип собственности никогда не ставился под сомнение в народных требованиях: народные массы по-прежнему были крепко привязаны к собственности. Но, являясь мелкими производителями, они считают, что она должна быть основана на личном труде. Эта частная собственность труженика на средства его труда соответствовала ремесленному укладу, который был еще в значительной мере характерен для Франции конца XVIII в.; условием расцвета данного способа производства является свободный собственник, крестьянин, владеющий своим полем, ремесленник, владеющий

своей мастерской. Санкюлоты ополчились именно против богатей, против *толстых*, смутно отдавая себе отчет, что если власть богатства будет прежней, если право собственности не будет ограничено, то равенство пользования благами навеки останется пустым звуком. Относительно народной концепции собственности см.: А. С о б у л ь. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966, с. 249 и сл.

12. Речь идет о первой части Конституции 1791 г. «Основные положения, гарантированные Конституцией» «Конституция гарантирует неприкосновенность соб-

Хороша гарантия! Я же призываю в свидетели всю Европу и гарантирую, что всякая собственность будет уничтожена. Я обращаюсь ко всем собственникам и спрашиваю их: кто из них не трепещет от страха? Я уж не говорю об этих крамольных предложениях, требующих введения аграрного закона, предложениях, всегда пагубных и всегда встречаемых рукоплесканиями, предложениях, которые у римлян обеспечили бы тем, кто имел смелость выступить с ними, любовь народа, да и у нас они при царящем ныне хаосе тоже обеспечили бы тому, кто их внес, аплодисменты трибун, звание доброго гражданина у людей, только и помышляющих что о грабежах и уничтожении собственности.

Как можно рассчитывать на сохранение собственности в момент такого острого кризиса, при такой дьявольской спекуляции, при выпуске неисчислимого количества ассигнатов и бумажных денег всех видов, когда в колониях бушует пожар, когда Франции угрожает такое же бедствие, когда с помощью кучи декретов конфискуется движимое имущество, подчиненное невыполнимым и затыжным формальностям и т. д.?

Какую же собственность гарантирует Конституция? Где вы видите имущество, защищенное от опасностей, от актов Законодательного корпуса, от давно назревающего банкротства? Конституция обещает справедливое и предварительное возмещение в случае, если общественная надобность потребует принесения в жертву какой-нибудь собственности<sup>13</sup>.

Это такая же ложь, как и первая, ибо уже тысячу раз требовали возмещения, так и не добившись справедливости. Где оно, законное возмещение за потери, уже понесенные, и за те, какие еще предстоит понести? *Права собственности не существует больше во Франции*; эта основная общественная связь уничтожена. С помощью массы декретов право собственности подверглось прямому нападению. Учредительное собрание и Законодательное собрание не пощадили его, а еще смеют говорить об уважении, нерушимости, о возмещении. Наши Собрания напоминают того разбойника, который взял себе за правило отнимать у путников только половину того, что он находил в их карманах. Однажды он остановил купца, при нем оказалось всего одно экю; вор хочет вернуть ему 30 су. «Уж лучше оставьте себе все!» — сказал ему купец. — «Нет, сударь, я не имею права взять у вас больше 30 су, я не должен по совести присваивать остальное». Сколько есть людей, которым Собрание не оставило и половины, даже четверти того, что у них было, и которым ваши законодатели говорили, оскорбляя их: мы грабим вас для вашего же блага, дабы очистить вас, приучить вас к терпению, к добродетели. Покоритесь же: раз вы сберегли жизнь, то будете еще очень счастливы!»

Я привел здесь эту достаточно банальную обличительную речь лишь потому, что она обобщает бесчисленные памфлеты, с помощью которых священники, дворяне, бывшие судьи парламентов, старая

буржуазная олигархия и колонисты изливали свою ярость и пытались посеять панику. Более интересен и оригинален юридический метод, с помощью которого Сегье пытается посеять сомнения в душе покупателей национальных имуществ... Он подтверждает, что обеспечением ассигнатов служат церковные имущества и добавляет:

«Я спрашиваю, что будет с обеспечением ассигнатов, которые останутся в обращении после продажи всех имуществ? Что будет с обеспечением кредиторов духовенства, кредиторов государства, а также с обеспечением содержания бывших должностных лиц? Покупатели национальных земель должны как-никак знать, какими должны обременены покупаемые ими имущества. Так вот, не окажутся ли держатели ассигнатов и кредиторы, которые останутся неудовлетворенными после полной продажи, лишенными того обеспечения, которое обещают им их ценные бумаги? Не будут ли они вправе атаковать всех покупателей и требовать у них уплаты? Поскольку у меня есть некоторое понятие о праве, мне представляется, что именно таково действие ипотеки, обеспечения и, коль скоро уж ее обещают, следует это обещание выполнять полностью, в противном случае нация окажется, как метко выразился г-н Мирабо, воровкой».

Итак, покупатели национальных имуществ предупреждены, что если после окончательной продажи церковных имуществ не все ассигнаты будут погашены, то именно приобретенные революционными буржуа и крестьянами имущества должны будут пойти на обеспечение и реализацию стоимости этих ассигнатов. Оголенный консерватор Сегье в тот самый момент, когда он оплакивает полное уничтожение всякой собственности, старается дискредитировать новую собственность, созданную Революцией из хаоса старого порядка. И меня не убедить в том, что, если бы контрреволюция победила, она не прибегла бы к юридическому средству, изобретенному Сегье, дабы вернуть себе все проданные имущества. Она даже сочла бы остроумным сослаться при этом на революционный документ, обеспечение ассигната. При первой же победе контрреволюции ассигнаты утратили бы всякую ценность, казначейство скупило бы их за бесценок, а вслед за тем контрреволюция

собственности». См. статья 2 и 17 Декларации прав 1789 г.

13. Статья 17 Декларации прав гласит: «Так как собственность есть нерушимое и священное право, то никто не может быть ее лишен, за исключением тех случаев, когда того с очевидностью требует общественная надобность, законно засвидетельствованная, и при условии справедливого и

предварительного возмещения. Эта статья повторяется в Основных положениях, гарантированных конституцией: «Конституция гарантирует неприкосновенность собственности, либо справедливое и предварительное возмещение за нее, если общественная надобность, законно засвидетельствованная, потребует пожертвовать ею».

осуществила бы право ипотеки на имущество революционеров в том виде, как его преподносит Сегье. Бесчисленны были комбинации, придумываемые приверженцами старого порядка, чтобы подготовить возвращение к прошлому и внушить страх всем собственникам.

Реакционеры уверяли, что отныне собственность либо уничтожена, либо находится в опасности. Один из более умеренных, Малле дю Пан, резюмируя в газете «*Меркюр*» деятельность Учредительного собрания, говорил<sup>14</sup>: «Оно оставляет ... право собственности нарушенным, потрясенным в самых своих основах». Но 16 марта 1792 г. он выступает уже в более резком тоне. Он явно старается посеять ужас. «Восстание в Пикардии еще не подавлено, а уж 5 тыс. разбойников или агитаторов бродят с оружием в руках по департаменту Эр, устанавливая твердые цены на хлеб, совершая тысячи насилий и угрожая напасть на Эврё. В Этампе выстрелом из ружья и ударами пик на глазах у национальной гвардии убит г-н Симонно, мэр города; в Монлери одного фермера изрубили на куски топором<sup>15</sup>; в Дюнкерке все еще трепещут от страха, как бы не возобновились грабежи, имевшие место в прошлом месяце; в департаменте Верхняя Гаронна нападают на амбары, жгут дома; вымогают деньги у собственников, в домах которых (особенно в Тулузе и ее окрестностях) руководители клубов разместили целый гарнизон неизвестных лиц; каждый только и ждет всеобщего грабежа; налоги поступают плохо, как никогда; сборщики повинностей не осмеливаются их взыскивать; избивают судебных исполнителей, тех, кто рискует этого требовать; леса, принадлежащие частным лицам, не только опустошаются, но в конечном счете общины делят их между собой, составляя при этом акты по всей форме».

И он пытается, применяя тактику, оказавшуюся на поверку преждевременной, но впоследствии нередко практиковавшуюся, объединить, спекулируя на страхе, всех «собственников», всех имущих против Революции, против народа, против демократии. «Настал день, когда собственники всех классов должны наконец осознать, что и их в свою очередь подрежет коса анархии; они поплотятся за то, что столь многие из них безрассудно помогали узаконить первые расхищения, поскольку в то время разбойники представлялись им патриотами; они поплотятся за равнодушие, с каким они наблюдали распад всякого управления, вооружение всей нации, ниспровержение всех авторитетов, нелепое создание множества никому не подчиняющихся властей, непоправимый подрыв энергии полиции и сил общественного порядка. Пусть они не заблуждаются: *при том положении, в каком мы сейчас находимся, их наследство станет добычей тех, кто посильней. Нет больше закона, нет правительств, нет власти, способных защитить их исконное достояние от наглых, вооруженных бедняков, которые, сплотившись, готовятся к всеобщему грабежу.*

Расчет Малле дю Пана, статьи которого Тэн пространно и педантично излагал, был в достаточной степени наивен. Он хотел объединить всех людей «порядка» под единым символом: собственность. Но невозможно было остановить Революцию, организовав лигу собственников, превратив собственность в некую консервативную силу. Ибо понятие собственности у приверженцев старого порядка и у самых умеренных революционных буржуа было разным и даже противоположным. Для того чтобы определиться и окрепнуть, чтобы обрести полную свободу действий и все необходимые гарантии, буржуазная собственность должна была вытеснить собственность старого порядка, чрезмерно обремененную феодальными или дворянскими притязаниями, которая искала точку опоры не в общем праве собственности, а в монархической привилегии, служившей залогом для всех прочих привилегий. Основывать на собственности контрреволюцию значило дать ей шаткий фундамент: собственники образуют единый класс лишь тогда, когда буржуазная собственность, победив и вытеснив собственность старого порядка, станет вполне естественно средоточием всех интересов. Такая коалиция собственников, о какой мечтал в 1792 г. Малле дю Пан, была отнюдь не в силах остановить Революцию, наоборот, она лишь предполагала полную победу Революции.

Тщетно пытался он искусственно склотить, играя на страхе, союз, который при сложившемся в тот момент положении вещей был невозможен. Прежде всего беспорядки, которые он перечисляет, носили частный характер, они не были ни слишком распространенными, ни слишком упорными, чтобы вызвать панику. Кроме того, революционной буржуазии, даже самой робкой, не было нужды долго размышлять, чтобы понять, что самая большая опасность для нее таилась в контрреволюции. Эта последняя имела единую концепцию общества, связанную политическую и социальную систему, систему, которая всего два года назад еще господствовала во Франции и определяла все ее учреждения. Систему, которая и в этот момент все еще господствовала и определяла институты почти всей Европы. Следовательно, восстановление ее не представлялось ни невозможным, ни даже трудным делом. Напротив, рабочие волнения в предместьях Парижа против скупщиков сахара, брожения среди крестьян, устанавливавших на некоторых рынках твердые цены на продукты питания, определялись социальной концепцией, которая не очень сильно отличалась от кон-

14. Малле дю Пан (1749—1800) — швейцарский журналист, проживавший в Париже с 1784 по 1792 г., политический редактор газеты «*Меркюр де Франс*».

15. О волнениях в Монлери см.:

«*Moniteur*», XI, 415. Здесь речь идет также о волнениях, связанных с таксацией. Жертвой их действительно оказался некий торговец зерном.



цепции буржуазии<sup>16</sup>. Стало быть, достаточно, дабы защитить себя с этой стороны, оттеснить кучу «бунтовщиков», и революционная буржуазия сознавала, что она в силах это сделать.

14 июля, во время бегства в Варенн, на Марсовом поле она без всяких усилий либо подчинила себе, либо разгромила народных агитаторов или тех, кого именовали «разбойниками»<sup>17</sup>. Даже крестьяне, устанавливавшие твердые цены на продукты питания, многие из которых были мелкими собственниками, не потерпели бы, чтобы всеобщий раздел земель угрожал их маленькому владению или чтобы какая-нибудь общинная организация вознамерилась присвоить его и поглотить. А городские рабочие или бедные виноградары предлагали в случае необходимости революционной буржуазии свои услуги, чтобы сдержать или подавить крестьянские волнения. Стало быть, с этой стороны ей бояться было почти нечего, и даже в самый разгар бури, в самый разгар террора, все притеснения или опасности, которым подвергалась умеренная буржуазия, в какое сравнение могли они идти с разрушениями и кровопролитиями, какие обрушились бы на нее принцы и эмигранты, вернись они с победой в 1792 г.? Продажа национальных имуществ была бы отменена, владения церкви — восстановлены, держатели ассигнатов — разорены, «патриоты» — вырезаны в каждой общине лакеями дворян или же фанатичными приверженцами священников, весь старый порядок вернулся бы и, подобно огромной, разъяренной своре собак, устроил бы охоту на революционеров; самых умеренных людей Революции свалили бы в ходе этих жестоких репрессий в одну кучу с самыми крайними демократами, а может быть, именно из-за их умеренности, которая своей неопределенностью способствовала рождению движения, они вызвали бы особо жгучую ненависть; вот что ожидало бы, когда бы Революция хоть на миг замедлила свою поступь, всех тех, кого Малле дю Пан хотел объединить, играя на страхе. Но сам страх работал в тот час на Революцию.

Малле дю Пан сам это почувствовал; он с отчаянием констатирует непоправимый раскол среди тех, кого он хотел бы спаять в единый блок сопротивления. «Совершенно перестает удивляться, — пишет он в апреле, — когда видишь скандальные распри, разделяющие тех, кто все потерял, и тех, кому еще предстоит все потерять, когда видишь, как, осажденные со всех сторон врагом, вторгшимся через бреши, пробитые в монархическом правлении, в собственности, в общественном порядке, во всеобщей безопасности, в принципах, охраняющих все интересы, *собственники разных классов общества радуются несчастью друг друга; когда становятся свидетелем их ненависти, их споров, столкновения их политических взглядов.* В то время как Франция стоит на пороге распада, в то время как утверждается республика, недовольные спорят о лучших формах возможного правления, о том, нужны ли

две или три палаты, о монархическом режиме при Карле Великом и при Филиппе Красивом, о том, с чем следует согласиться, а что следует отвергнуть из разрушений, произведенных в последние три месяца».

Это была, конечно, химера — воображать, будто гонимая страхом буржуазия, даже умеренная, перейдет на сторону людей и условий старого порядка. Лишь в обществе, где собственность однородна, где она соответствует одному этапу экономической эволюции и основана на тех же принципах, возможно создать коалицию, лигу собственников.

В эпоху социальной революции, когда развертывается борьба вокруг самих прав собственности, тот факт, что люди являются «собственниками», может восстановить их друг против друга, если они не являются собственниками на основании одних и тех же принципов и в одном и том же смысле. Вот почему консервативная попытка объединить собственников в 1792 г. была преждевременной<sup>18</sup>.

## «АГРАРНЫЙ ЗАКОН»

Однако если распространяемая таким образом тревога неспособна была вызвать серьезное контрреволюционное движение, она могла тем не менее возбудить некоторое беспокойство, и сама настойчивость, с какой люди Революции боролись с тех пор против «аграрного закона», против всякой идеи раздела земель и, стало быть, состояний, несомненно, указывает на то, что они опасались или что страна могла бояться этого «призрака» или

16. Отличалась в степени, но не по существу, в частности, это относится к концепции собственности, принцип которой никогда не ставился под вопрос народными массами.

17. См. речь Барнава 15 июля 1791 г. после бегства короля в Варенн: «Собираемся ли мы кончать Революцию или начнем ее сначала? Вы сделали всех людей равными перед законом; вы освятили гражданское и политическое равенство. Еще один шаг вперед был бы губительным и преступным, еще один шаг в сторону свободы означал бы низвержение королевской власти, в сторону равенства — уничтожение собственности. Если хотят еще разрушать, когда все, что следова-

ло разрушить, не существует более; если считают, что еще не все сделано для равенства, когда равенство всех людей уже обеспечено, то какую еще аристократию можно уничтожить, если не аристократию собственности?» «Moniteur», IX, 143.

18. Она была преждевременной, поскольку еще не до конца были искоренены пережитки феодализма и еще противостояли друг другу собственность феодальная (как она понималась при старом порядке) и собственность буржуазная (в духе Декларации 1789 г.). Закон от 17 июля 1793 г. окончательно отменил без возмещения феодальные права — буржуазная концепция собственности восторжествовала.

даже того, что этот призрак обретет плоть и кровь<sup>19</sup>. Приверженцы старого порядка пытались напугать страну, утверждая, что «аграрный закон» являлся логическим завершением Революции и, возможно, что в 1792 г. некоторые смутные поползновения в этом духе и зрели кое у кого в уме. У идеи «аграрного закона» было мало корней в политической и социальной философии XVIII в. Даже у писателей, которые говорили о распределении и регламентации состояний, это была всего лишь остроумная дань извечной моральной декламации против богатства и опасностей неравенства.

Воспоминания о Греции и Риме, о законах Солона или Гракхов не могли повлиять на массы и не влияли на просвещенные умы, которые, несмотря на присущую им античную фразеологию, умели делать различия между эпохами и цивилизациями. Единственный человек, у кого «аграрный закон» обрел известную жизненную силу, был Ретиф де ла Бретон. Он изложил «аграрный закон» в книге *«Развращенная крестьянка»* устами своего рода Калибана из некоего злачного места, сутенера, который в причудливой, наивной и порочной мечте смешивает идеи распутства и гнусного обогащения с проектами подчас странных реформ и с филантропическими планами. Но это по крайней мере не холодная абстракция или прописная школьная истина; это как бы потребность беспутства делать добро, мелкое тщеславие, странное предчувствие революции среди вертепа подлости, в сточной канаве, чьи нечистоты вымываются грозвым ливнем. Можно подумать, что это — гнусное создание Бальзака, нечто вроде Растиньяка из дома свиданий или вроде Вотрена, который опустился еще ниже, на самое дно после смерти того, кто облагораживал его пороки и его преступления. «Первым делом мы должны разбогатеть. Уж мы приобретем изрядное состояние при помощи наших женщин, но его необходимо удвоить, а чтобы достичь этого... Но об этом я скажу тебе на ушко... Разве для того хочу я еще больше разбогатеть, чтобы коптить деньги?»

Нет, нет — для того, чтобы быть в силах многое сделать! Творить все зло и все добро, какое захотим! Деньги — это всемирный двигатель! Приобретая богатство, достигнув вершины, к которой мы стремимся, мы должны, даже если бы пришлось трижды перевернуться, употребить все силы, чтобы победить суеверия. В первую очередь гнусность монахов... Мы запретим всем орденам без исключения вербовать послушников, мы сделаем собственниками всех тех, кто работал на них, и таким путем приведем народы к счастью... Да, мой дорогой Эдмон, род людской дряхлеет, и нет ничего легче, как разглядеть это. Необходима физическая и моральная революция, чтобы его омолодить; да я еще не знаю, достаточно ли будет для этого одной моральной революции; может быть, для этого понадобится перевернуть весь шар земной. Наша великая цель заключается в том, чтобы повсюду воцарилась философия, чтобы внедрить ее повсеместно. Мы будем добиваться

уменьшения колоссальных состояний и увеличения состояния крестьян, превращая их постепенно в собственников... Для этого мы введем в моду волокитство, равное разврату, мы приложим все свои силы, дабы разорить сеньоров и принудить их распродавать свое добро; мы разделим на части огромные фьефы и добьемся того, что продаваться с торгов они будут частями».

Причудливое видение, где наряду с наивными деталями вырисовываются некоторые черты того, что станет революционным действием, но более ярко отмеченные народным духом и духом демократии! Что это значит? И не способствовали ли мечты Рюи Блаза из притона, выдуманного Ретифом, формированию революционного сознания и постепенному внедрению в него идеи «аграрного закона»? Все, что я хочу сказать, и все, что я запомнил, — это что идея «аграрного закона», широкого раздела земель среди крестьян, проникла в Революцию, так сказать, по двум каналам: из отдаленных воспоминаний об античности и из нечистого источника романических измышлений. Если к этому добавить, что великий Жан Жак, провозгласив высшую справедливость первобытного коммунизма на земле, мог подразумевать под этим воссоздание путем всеобщего раздела эквивалента первоначального коммунизма\*, если вспомнить, что в наказах крестьян, и не одного района, содержалось требование если не раздела земель, то по крайней мере раздела крупных ферм и нередко даже ограничения права владения землей, то необходимо признать, что в Революции существовал некий неясный зародыш «аграрного закона».

И вот теперь, в 1792 г., кое-кто стал опасаться, как бы этот зародыш под влиянием событий не развился. Не была ли таксация продуктов питания, по сути дела, ограничением права владения если, так сказать, не открыто, то, во всяком случае, подспудно?

## ПЬЕР ДОЛИВЬЕ И СОБСТВЕННОСТЬ

В петиции жителей Этампа содержатся смелые проекты. Мэр Этампа, Симонно, который силой и именем закона хотел воспрепятствовать крестьянам провести таксацию зерна, был убит разъяренным народом. Вся революционная буржуазия прославляла его как мученика закона.

19 Относительно выражения «аграрный закон» и его применения во времена Революции см.: F. V r u n o t. Histoire de la langue française. T. IX, deuxième partie, Paris, 1937, p. 706. 29 ноября 1790 г. в Якобинском клубе «Социальный кружок» был обвинен в том, что он, «торопя дальнейшее

развитие принципа равенства прав, способствует рождению аграрного закона».

\* Мы не разделяем это суждение Жореса. Если в теории критика Руссо собственности была часто резкой, то его практические намерения в этой области оставались весьма умеренными. Руссо считал

Парижские якобинцы отправили его вдове послание, проникнутое почтительным сочувствием. После этого начались жестокие репрессии. Подвергшиеся неоднократным преследованиям закона, жители Этампа в отчаянии обратились с мольбой к Собранию; обращение было написано революционным приходским священником по имени Пьер Доливье, «кюре Мошана и выборщиком», одним из тех священников Революции, которые остались вместе с народом и которые в те дни и еще в течение нескольких месяцев умели выражать его мысли<sup>20</sup>. В одной любопытной заметке он разъясняет, что является верным выразителем народной совести.

«Нельзя, разумеется, не заметить, что философия, содержащаяся в петиции, превышает уровень развития петиционеров. На это составитель отвечает, что если он порой и возвышается над их пониманием, то делает это исключительно для того, чтобы лучше передать их подлинную волю и чтобы приблизиться к идеям тех философов, к которым он обращается. Что бы ни говорили об этом люди, презирающие сегодня тех, кого они называют чернью, *этот самый низкий класс народа куда ближе к философии права, иначе говоря, к естественной справедливости, нежели все высшие классы, которые только и делают, что все больше от нее удаляются. В общем и целом справедливости очень усердно требуют только для себя и никогда для тех, кто стоит позади.* Самолюбию даже льстят всякие исключения и хватает лживых рассуждений для оправдания их в собственных глазах. Таким вот образом условия, которым должны отвечать граждане для получения права голоса и права быть избранным и которые лишают этих прав три четверти граждан, нашли своих защитников и апологетов; *таким образом обойденный человек чувствует: для того чтобы справедливость добралась и до него, ей надо стать всеобщей*, а этого никогда не будет среди нас, несмотря на наши хваленые Права Человека, до тех пор, пока мы будем терпеть этот аристократический порядок выборов».

Маркс и Лассаль не раз высказывали великолепную мысль о том, что пролетарская революция будет истинно человеческой революцией, ибо пролетарии не смогут сослаться ни на какие привилегии, а только на свои человеческие права. Им не нужна будет какая-нибудь предпочтительная форма собственности, им нужен будет только чистый гуманизм, голый гуманизм, и новая собственность будет лишь одеянием для человечности.

Когда Доливье, выступая от имени крестьян и рабочих Ильде-Франса, доказывает, что самые бедные и есть подлинные выразители, подлинные хранители Прав Человека, потому что они действительно только люди и никакие привилегии никакого рода не затемняют их человеческой сущности, он ориентирует Декларацию прав человека на великий свет социализма, который еще не пробился, который придет вместе с бабуизмом, но который

как будто уже ощущается вдали, пока еще едва различимым, возможно, иллюзорным отсветом, окрашивающим края горизонта.

Петиционеры обвиняли мэра Этампа, богатого кожевника, имевшего 20 тыс. ливров годового дохода, в том, что он противопоставил движению народа жестокую букву и надменную непреклонность закона.

«Вместо того чтобы постараться вразумить заблудший народ, вместо того чтобы попытаться успокоить его тревогу по поводу продуктов питания, он только привел его в еще большее раздражение, жестоко отказавшись от какого бы то ни было увещания.

За мэром стоял закон, — скажут нам, — а народ действовал вопреки закону. Закон решительно запрещает создавать какие бы то ни было препятствия свободе торговли зерном. Следовательно, желание ее нарушить являлось наказуемым деянием. Мы и не собираемся, г-да, делать какие-либо замечания по поводу действия этого закона... Сегодня более, чем когда-либо, мы знаем, какое священное почтение к закону должен питать каждый гражданин; между тем есть одно соображение, которое имеет некоторое право на ваше внимание: *терпеть, чтобы съестные припасы, продукты первой необходимости, вздоржали настолько, что для бедняка рабочего, поденщика они стали недоступны, это значит утверждать, что они не для него, что только богач, полезен он для общества или нет, имеет право не постыться. Да сопутствует им счастье, этим смертным, родившимся с такой великолепной привилегией!* Однако если сообразовываться только с естественным правом, то, казалось бы, по мнению тех, кто, подобно божественному провидению, чья мудрость определяет порядок в нашем мире, озаряет своим светом социальный порядок и старается установить в мире законы на их подлинной основе, тех, кто выполняет эти важнейшие функции, заставляя неукоснительно и справедливо соблюдать эти законы; казалось бы, говорим мы, что, по мнению этих людей, благодеяния общества должны выпадать главным образом на долю того, кто оказывает обществу самые трудные услуги, кто работает наиболее усердно, и *что тот, кто более всего потрудился над умножением плодородия природы, должен получить и лучшую долю ее плодов. Однако происходит обратное, и масса обездоленных с рождения осуждена нести на своих плечах все тяготы дневного труда и зноя и непрестанно быть под угрозой не иметь куска хлеба, выращенного их трудом. Такая участь, безусловно, никак не вина природы, а политики, освятившей ОГРОМНУЮ ОШИБКУ, на*

невозможным равенство имуществ. [О взглядах Руссо на собственность см.: В. С. Алексеев-Попов. О социальных и политических идеях Жан-Жака Руссо.— Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969.— Прим. ред.]

20. Об этой петиции и о священнике Доливье см.: А. Матьез. Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М.-Л., 1928, с. 58 и далее.

*которой и зиждутся все наши социальные законы и из которой неизбежно вытекают и их осложнения и их частые противоречия; ошибка, которую еще далеко не осознали и по поводу которой, возможно, пока еще рано обьясняться, настолько она извратила все наши идеи о первоначальной справедливости; но ошибка эта, сколько бы о ней ни рассуждали, оставляет у нас все же глубокое убеждение, что мы, люди труда, должны по крайней мере иметь возможность есть хлеб, если только природа, иногда неблагодарная и капризная, не обрушит на наши нивы бич бесплодия, но тогда это уже должна быть общая беда и страдать от нее должны все, а не только трудящийся класс.*

Под этой огромной ошибкой подразумевалось, очевидно, частное присвоение земли. Доливье и петиционеры не высказываются ясно, но они, по-видимому, ждут того уже недалекого дня, когда они смогут, без споров и не подвергаясь опасности, высказать осмелевшей Революции свою заветную мечту. Был ли это аграрный коммунизм? Был ли это закон о переделе земли, который на деле обеспечил бы всем людям собственность и средства к существованию? Мы этого не знаем, но легко угадать, что во многих умах зреет еще наполовину скрытый зародыш дерзновенной мысли. Понятно поэтому, что контрреволюция усмотрела за этой двусмысленностью, за этими недомолвками планы «аграрного закона». Да и сам Доливье в очень важном примечании, дополняющем петицию, высказывается несколько более открыто:

«Начнем с того, — говорит он, — что мы глубоко убеждены, что это противоречит всякому естественному праву, когда бездельники, не ударившие палец о палец, дабы заслужить довольство, коим они пользуются, защищены от всякого рода нужды, а бедный, трудолюбивый рабочий и земледелец отданы на милость всех случайностей и одни несут все невзгоды и тяготы голода. Это убеждение не раз проверено, и есть ли хоть один человек, если это не богатый эгоист, кто не сознался бы в этом в глубине души? Я считаю, что в бедственных положениях деньги не должны быть средством, способным избавить от подобных страданий. Возмутительно, что человек богатый и все, что его окружает, слуги, собаки, лошади, ни в чем не терпят недостатка, ведя праздную жизнь, а тот, кто зарабатывает себе на жизнь только своим трудом, и люди, и животные, изнемогают под двойным бременем — труда и голода. Я полагаю поэтому, что при таких обстоятельствах продукты питания не должны отдаваться на волю неограниченной свободы, которая столь дурно служит бедным, но что они должны распределяться таким образом, чтобы каждый испытал на себе бич природы и чтобы никто не был бы этим сломлен, особенно человек, который менее всего этого заслуживает. Вот почему твердая цена на хлеб, которой так возмущаются и которую расценивают как покушение на общее право, представляется мне в том случае, о котором я говорю, необходимой в соответствующей пропорции в

силу того же общего права. Недавно устанавливали твердую цену на мясо у мясника, на хлеб у булочника (и хочется верить, что их установили бы вновь, если бы они слишком злоупотребили общественной нуждой); почему же не ввести с еще большим основанием твердых цен на зерновой хлеб на рынках? Ссылаются на священное право собственности, но прежде всего этим правом обладают в равной мере и мясник, и булочник, они такие же неоспоримые собственники своего товара, как и любой другой своего. Можно ли в связи с этим утверждать, что по отношению к ним было нарушено право собственности? И во-вторых, каково общее представление о собственности, я имею в виду земельную собственность? Необходимо признать, что до сих пор об этом слишком мало думали, а то, что говорили, свидетельствует об очень неверных представлениях. Казалось, боялись вдаваться в эту область; на нее поторопились набросить таинственный и священный покров как бы для того, чтобы наложить запрет на любое ее рассмотрение; однако разум не должен признавать никаких политических догм, требующих слепого почтения и фанатического послушания. Не углубляясь в подлинные принципы, на основании коих собственность может и должна существовать, совершенно ясно, что те, кого именуют собственниками, стали ими только по милости закона. Одна лишь нация является подлинным собственником своей земли. Следовательно, если предположить, что нация могла и должна была допустить существующий порядок частной собственности и ее передачи из рук в руки, то могла ли она сделать это таким образом, чтобы лишить себя суверенного права на продукты, могла ли она предоставить собственникам права таким образом, что не осталось бы никаких для тех, кто отнюдь не является собственником, даже неотъемлемых естественных прав? Но можно было бы пойти по пути иных рассуждений, более убедительных. Чтобы сделать этот вывод, нужно было бы рассмотреть сам по себе вопрос о том, что может представлять собой действительное право собственности, но здесь не место этим заниматься.

Ж. Ж. Руссо где-то сказал, что «всякий, кто ест хлеб, который он не заработал, крадет его». Философы найдут в этих немногих словах целый трактат о собственности. Что до тех, кто не является философом, то они увидят в них, как и во всем, что им неприятно, лишь парадоксальную сентенцию».

Однако теории Жан Жака, которые могли показаться всего лишь «парадоксами», обрели гораздо более определенный смысл после того, как вся нация провозгласила Декларацию прав человека, и после того, как у народа появилось более отчетливое сознание своей силы. Именно с попытками таксации хлеба связывает Доливье свои смелые теории земельной собственности. И можно задать себе вопрос: не начало ли зарождаться в сознании революционного народа сомнение в абсолютном праве частной собственности на землю?

## СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ РОБЕСПЬЕРА

Робеспьер принял участие в дебатах, вызванных событиями в Этампе<sup>21</sup>. Он всегда выступал защитником конституции и законов.

Но он требовал, чтобы конституция и законы толковались и применялись в подлинно народном и самом гуманном духе. Он возмущался тем, что совершенное страдающим народом насилие над богатым мэром Этампа рассматривается умеренными буржуа как из ряда вон выходящее преступление и что на этих бедных людей обрушили столь истощенный гнев и столь беспощадные преследования, тогда как все крупнейшие преступления: измена, взяточничество, скупка товаров оставались безнаказанными. Когда фейяны в ответ на торжественную встречу, устроенную солдатам полка Шатовё, превратили похороны Симонно в контрманифестацию умеренных, Робеспьер осудил усилия буржуазной олигархии использовать в интересах своего эгоистического господства даже вполне естественное возмущение убийством. Он требовал более искреннего уважения к законам, более справедливого толкования их и, неизменно заботясь о равновесии, начертал довольно расплывчатый социальный план, где указал меры весьма общего характера, которые следует принять в интересах народа, и протестовал против любой идеи «аграрного закона» с настойчивостью, свидетельствовавшей о том, что он был не совсем спокоен.

Он, очевидно, не опасался, что «аграрный закон» может стать программой Революции, но боялся, как бы эта идея передела земельной собственности не распространилась в умах настолько широко, что сама контрреволюция получит возможность подавить движение, которое Революция не предотвратила вовремя.

В революционном движении он различает два класса людей: с одной стороны, богатые, имущие, которые довольно быстро позволяют себе превратиться в эгоистов и которые страшатся равенства. И есть народ, благородный и добрый. Стало быть, опираться надо именно на народ, чтобы защитить и завершить Революцию. И Революция вознаградит его за эту услугу, даровав равенство в политических правах всем без исключения, издавая справедливые законы о вспомоществовании и обеспечении, принимая суровые меры против скупщиков и спекулянтов, но она не посягнет и никому не позволит посягать на собственность. В № 4 своей газеты «Дефансёр де ла Конститусьон» Робеспьер особенно тщательно развивает свои социальные взгляды.

«От зажиточного лавочника до высокомерного патриция, от адвоката до бывшего герцога и пэра — почти все они, видимо, желают сохранить привилегию презирать человеческую породу, именуемую народом. Они предпочитают иметь над собой господ, нежели видеть, как множится число равных им людей; прислужи-

вать, чтобы угнетать подчиненных, представляется им более прекрасной долей, нежели делить свободу со своими согражданами. Что им до достоинства человека, до славы отечества, до счастья грядущих поколений? Пусть погибнет вселенная, пусть род людской будет несчастен в течение долгих веков, лишь бы они сами были почтаемы, не обладая добродетелями, знаменитыми, не имея талантов, лишь бы с каждым днем их богатства возрастали вместе с их развращенностью и вместе с крайней нищетой общества. Попробуйте-ка проповедовать культ свободы этим алчным спекулянтам, которые признают лишь алтари Плутоса\*. Единственное, что их интересует, — это в какой степени существующая система наших финансов может содействовать каждую минуту росту процентов на их капиталы. Но даже такая услуга, оказанная Революцией их корыстолобью, неспособна примирить их с нею. Им требовалось только одно: чтобы Революция занималась исключительно увеличением их состояний; они не прощают ей того, что она распространила среди нас некоторые принципы философии, помогла выдвинуться некоторым благородным людям.

О новой политике они знают только то, что все погибло бы с того момента, как народ Парижа разрушил Бастилию (хотя всемогущий народ, обретший полную власть, в тот же миг вновь стал миролюбивым), когда бы не явился некий маркиз [Лафайет] и не создал штаб и военную корпорацию, сверкающую эполетами, вместо бесчестливой гвардии вооруженных граждан; именно этому герою они обязаны спокойствием своих контор, а Франция — своим спасением; именно потому они считают одним из самых славных дней нашей истории тот, когда он принес в жертву на алтарь отечества полторы тысячи мирных граждан, мужчин, женщин, детей, стариков<sup>22</sup>; они, впрочем, твердо усвоили древнее изречение, гласящее, что народ — это неукротенное чудовище, всегда готовое пожрать *порядочных людей*, если не держать его на цепи и не расстреливать время от времени; что, стало быть, все те, кто требует каких-то прав, всего только мятежники, виновники бунта. Они воображают, что небо создало род людской исключительно для потехи королей, дворян, судейских и биржевых спекулянтов; они думают, что господь бог исконок веков навсегда согнул спины

21. Петиция приходского священника из Мошана была встречена неловким молчанием даже демократами Законодательного собрания. Большинство газет даже не упомянуло о ней, только Робеспьер составил исключение, он выступил в Якобинском клубе и в своей газете «Дефансёр де ла Конститусьон». Еще 28 марта он побудил якобинцев отвергнуть предложение о присуждении Си-

монно венка, 9 апреля он снова возражал против предложения почтить память последнего. «Oeuvres de Maximilien Robespierre», t. VIII: «Discours», 3<sup>e</sup> partie, p. 241 et 258. Бог богатства. — Прим. ред.

22. Намек на избивание на Марсовом поле, учиненное национальной гвардией под командованием Лафайета 17 июля 1791 г.

одних, чтобы таскать тяжести, и вылепил плечи других, чтобы носить золотые эполеты».

Это ученый и благопристойный стиль, но более страстный по тону и более едкий, нежели у газеты *«Пер Дюшен»*. Можно подумать, что власть буржуазной олигархии, лишившей бедняков права голоса и закрывшей им доступ в ряды вооруженной национальной гвардии, представляется Робеспьеру вечной, настолько его гнев исполнен горечи, почти отчаяния.

Между тем этот народ, который угнетают и унижают, отказывая ему в правах, захваченных богачами, является подлинной опорой Революции. «Нация в массе своей добра и достойна свободы; ее истинная воля всегда является оракулом справедливости и выражением общих интересов. Можно развратить частную корпорацию, каким бы величественным именем она ни прикрывалась, подобно тому, как можно отравить стоячую воду; но нельзя подкупить целую нацию по той простой причине, что нельзя отравить океан. Народ, этот неисчислимо громадный трудовой класс, которому гордецы дали это высокое имя, считая его унижительным, этот народ не подвержен влияниям, развращающим и губящим так называемые высшие сословия.

*Интерес слабых — это справедливость*; это для них гуманные и беспристрастные законы служат необходимой защитой; эти законы являются стесняющими путями лишь для людей могущественных, столь легко ими пренебрегающих... Эти подлые эгоисты, эти гнусные заговорщики имеют в своих руках власть, богатства, силу, оружие; у народа же нет ничего, кроме его нищеты и небесной справедливости... Таково положение той великой тяжбы, которую мы ведем перед лицом всего мира».

Странная концепция, одновременно демократическая и реакционная. Да, это верно, что в обществе законы должны приходить на помощь слабым. Они должны служить противовесом всегда деятельному могуществу собственности, богатства, утонченной науки эксплуатации. Но почему не видеть впереди общества, где не будет больше «слабых»? Зачем рассматривать богатство как основную развращающую силу, вместо того чтобы постараться приобщить всех к силам и радостям жизни? Как! Робеспьеру кажется, что эгоизм собственности отвращает привилегированных от Революции, заставляет их утрачивать понимание Прав Человека, и он не делает ни малейшего усилия, чтобы сама собственность, перестав быть привилегией, соединилась бы, так сказать, с гуманностью! Он, видимо, считает, что «нищета» народа и есть условие его бескорыстия. Можно подумать, что он применяет к Революции слова Евангелия: «Одни лишь бедные войдут в царство божие!»

Надо ли, спрашивается, предостерегать человечество от того, чтобы оно добивалось богатства, то есть усиливало бы свою власть над природой и жизнью? Робеспьер не осмеливается утверждать

это прямо, но он с тревогой наблюдает за ростом богатства, словно это угрожающий подъем воды в реке.

Надо ли предостерегать народ от стремления к богатству, которое в конце концов должно стать всеобщим и гуманным? Это никому не известно; и Робеспьер как бы останавливается на обществе, угрюмом и печальном, где растущее богатство одних не будет уничтожено, но будет контролироваться и уравниваться политической властью недоверчивых и бедных масс.

Во всей концепции Робеспьера, как и в концепции Жан Жака, мы находим путаное и досадное смешение демократии и христианства с его ограниченностью. Его идеал исключает одновременно и коммунизм и богатство, но последнее фактически приходится терпеть как печальную необходимость.

Это значило искажать и подавлять все движущие силы. Это значило тормозить стремление имущих классов к крупным состояниям и к активной деятельности. Это значило тормозить стремление народа к полной социальной справедливости. Во взглядах Робеспьера мы видим странное смешение оптимизма и пессимизма: оптимизма в том, что касается моральной силы народа, пессимизма в том, что касается эгалитаристского решения вопроса собственности. Неверно, будто бедняков, страждущих, зависимых, сама их слабость, сама их нищета защищают от эгоизма и разложения. Прежде всего, им слишком часто свойственны леность ума и сердца, которые заставляют их мириться с рабством, пассивность или даже презрение к благородным усилиям добиться освобождения. И кроме того, привилегированные слишком часто изливают на них неравные милости, чтобы разделить тех, кого они притесняют.

Есть некое неприятное сочетание лести и хитрости в словах, которые говорятся народу: «Ты добродетелен, потому что ты слаб, ты бескорыстен, потому что ты беден, ты чист, потому что ты бессилен», — и в том, что его утешают в его вековой нищете его вековой добродетелью. Восстанавливать социальное равновесие, относя все пороки на долю богатства и все добродетели на долю бедности, — в этом есть иллюзия или ложь, наивность или расчет.

Перестаньте завидовать тем, кто владеет, ибо вы владеете большим, нежели они, — сокровищами души: вот недопустимое перенесение евангельских догм на современное общество, которое такого рода фарисейство, одновременно демагогическое и консервативное, лишь сводит с правильного пути.

Робеспьер был искренен, но он обладал холодным темпераментом, и ему не хватало широты мысли. Если бы народ мог удерживать в своих руках орудия демократии, которые Робеспьер хотел ему вручить, если бы все вооруженные граждане и избиратели смогли удерживать в своих руках после грозного периода Революции свои избирательные бюллетени и свои ружья, они бы использовали это могучее оружие для цели более смелой и более широкой, чем та,

о какой мечтал для них Робеспьер. Он же под предлогом защиты демократии от клеветы контрреволюционеров ожесточенно нападает на «аграрный закон».

«Пусть вселенная будет судьей между нами и нашими врагами, между человечеством и его угнетателями! — восклицает он. — Они то делают вид, будто убеждены, что мы занимаемся лишь абстрактными вопросами, лишь бесплодными политическими системами, словно первейшие принципы морали, самые дорогие для народов интересы — всего лишь абсурдные химеры и поводы для пустопорожних дискуссий; то пытаются убедить, что свобода ведет к полному потрясению основ общества; *разве мы не видели, как они старались с самого начала этой Революции исполошить всех богатых людей идеей некоего «аграрного закона», бессмысленного жупела, выставляемого напоказ любящим тупым людям порочными?*<sup>23</sup> Чем больше жизнь разоблачала эту чудовищную ложь, тем более упорно они на ней настаивали, будто поборники свободы были безумцами, способными замыслить проект в равной мере опасный, несправедливый и неосуществимый; словно они не знают, что равенство состояний, по существу, невозможно в гражданском обществе; что таковое неизбежно предполагает общность имуществ, которое еще более очевидно является для нас химерой; словно есть на свете хоть один человек, имеющий свое дело, чьи личные интересы не оказались бы задетыми этим нелепым проектом. Мы стремимся к равноправию, ибо без него не может быть ни свободы, ни социального благоденствия; что же касается равенства состояний, то, как только общество выполнит свой долг — обеспечить своих членов необходимой для их существования работой, все те, кто будет стремиться к подобному равенству, не будут друзьями свободы. Аристид никогда не стал бы завидовать сокровищам Красса \*. Для душ чистых и возвышенных существуют блага, более драгоценные, чем эти. *Богатства, ведущие к развращенности, более пагубны для тех, кто ими владеет, нежели для тех, кто их лишен*<sup>24</sup>.

Оказывается, бедняки и есть истинно привилегированные люди, и так странным образом упрощается социальная проблема; Лекиньо — человек глупый, но довольно благонамеренный — в тот же день поддержал тот же тезис о «моральном равенстве», но на свой манер, напыщенно и сентенциозно<sup>25</sup>. «Я не признаю более ни буржуа, ни народа в их прежнем понимании, и я не буду прибегать к этим выражениям, которые меня поразили в одном пресловутом письме [Петрона к Бюзо]; я различаю лишь классы, живущие в богатстве, и классы, живущие своим трудом и в бедности; я вижу и утверждаю, что трем четвертям людей, живущим в роскоши, свойствен тот же аристократизм, какой был некогда присущ знати... Тщетно будет мне возражать, что корысть будет всегда обрекать бедняков на непомерное *моральное неравенство*, на всевозможные пороки, угодничество перед богачами; ведь все это исчезнет бесследно, как только истинные принципы распространятся повсе-

местно под эгидой свободы, *ибо отныне бедняки будут знать, что богатые лишь одним обладают в большей мере, чем они, — большими потребностями; они будут знать, что, чем больше у человека богатств, тем больше его терзают тысячи пустых желаний и тысячи фантазий, от коих он не в силах отказаться, не почувствовав себя несчастным, и которые все равно делают его несчастным из-за пресыщения и новых желаний, возникающих после того, как он удовлетворил прежние; бедные будут знать, что, чем богаче человек, тем в большей зависимости пребывает он от всего, что его окружает, и что в единый миг он может стать несчастнейшим из смертных, если все откажутся ему служить, ибо сам он не в состоянии обеспечить себе почти ни одной своей потребности; бедные будут знать, что если ограничиваться только самым необходимым, то будешь зависеть только от самого себя, а труд всегда обеспечит каждому средства к существованию...* Они будут знать наконец, что если богач пока проявляет еще заносчивость и надменность, то их долг — сбить с него спесь, наказать его унижением и презрением; что стоит им лишь сговориться друг с другом, и они вскоре выполнят этот свой долг; и богатый убедится наконец, как это и должно

23. Те же идеи высказаны приблизительно в тех же выражениях в речи Робеспьера в Конвенте 24 апреля 1793 г.: «Вам следует понимать, что этот «аграрный закон», о котором вы здесь столько толковали, всего лишь призрак, созданный плутами, чтобы пугать дураков».

\* Аристид (ок. 540 — ок. 467 до н. э.) — афинский государственный и военный деятель периода греко-персидских войн (500—449 до н. э.). Один из 10 стратегов в битве при Марафоне.

Липиний Красс, Марк (ок. 115—53 до н. э.) — римский политический и военный деятель. Во время проскрипций нажился на казнях и конфискациях. Богатство, жадность и неразборчивость в средствах сделали его имя нарицательным. — Прим. ред.

24. «Мы также не менее убеждены в том, — говорил Робеспьер в своей речи 24 апреля 1793 г., — что равенство имуществ — всего лишь химера. Что до меня, то я полагаю его еще менее необходимым для счастья отдельного человека, нежели для общественного благоденствия. Гораздо важ-

нее сделать бедность почетной, нежели проповедовать богатство. Хижине Фабриция [Гай Фабриций Лусций — римский консул 282 г. до н. э. Имя Фабриция стало у древних нарицательным для обозначения неподкупной честности, воздержанности и отвращения к роскоши. — Ред.] не приходило в голову завидовать дворцу Красса. Я со своей стороны предпочел бы быть одним из сыновей Аристида, воспитанным в Пританее [общественное здание в Афинах, где за государственный счет кормили граждан, оказавших большие услуги государству. — Ред.] за счет Республики, нежели законным наследником Ксеркса, родившимся в среде развращенного двора, чтобы занять трон, великолепие которого покоится на унижении народов, а блеск — на нищете общества».

25. Лекиньо (1755—1813) — адвокат, судья трибунала в Ванне в 1790 г., депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Морблан, автор книги «Préjugés détruits» (Paris, 1792, imp. in-8°, VIII — 312 p.). Цитата, приведенная здесь Жоресом, взята из главы X, стр. 96.

быть, что он не вправе считать себя выше того любезного человека, который соглашится отдать ему внаем свое время и свой труд.

Человек, живущий в роскоши и привязанный ко всем своим наслаждениям, опасается их потерять; он неизбежно всего боится, в то время как бедный, не имеющий ничего, может осмелиться на все, он никогда не решится преступить добродетель, но он прав, сбывая с богача его высокомерие; он прав, разя деспотизм, где бы он ни обнаружился, равно как и заносчивость; он должен суметь занять подобающее место и перестать наконец быть жертвой всех тех, кто притеснял его до сего дня и был выше его лишь потому, что он склонен был верить их словам, ибо сам ставил себя ниже их».

Все это — поразительный набор нелепостей. Но это воспроизведение, невольно карикатурное, взглядов Робеспьера. Там, где Робеспьер скользит по поверхности, Лекиньо идет тяжеловесной поступью. Как и Робеспьер, он заменяет действительную социальную иерархию, жестокую иерархию собственности, которая подавляет, поработачивает и унижает бедняков, воображаемой, фантастической моральной иерархией, при которой бедняку именно в качестве такового будут уготованы независимость и сила. Богач — раб своих потребностей, и что станет с ним, если все люди откажутся ему служить? О, Лекиньо, преимущество богатства в том и состоит, что ему никогда не отказывают в услугах. Бедняк не всегда уверен в том, что найдет богача, который даст ему работу. Богач же всегда уверен, что найдет бедняка, готового ему служить. Правда, Лекиньо храбро утверждает, что любой человек при условии, если он довольствуется малым, всегда может быть уверен, что прокормит себя своим трудом; но он не указывает, сколь низким должно быть это малое.

Какая странная картина экономических отношений: работа всегда обеспечена — стоит лишь проявлять умеренность! Кроме того, оказывается, бедняк, предоставляя свои услуги богачам, делает это не по нужде, а лишь по доброй воле и из любезности. Беднякам, более независимым, нежели богачи, беднякам, которые держат в своих руках жизнь богачей, не хватает лишь одного: осознать свою силу и распрямиться. Пусть они оставят богачам их богатства, но пусть заставят их вести себя более учтиво и более скромно. В случае необходимости пусть *сговоятся*, дабы унижить утопающие в роскоши классы. Лекиньо не советует рабочим требовать отмены закона Ле Шапелье, запрещающего им создание коалиций в целях повышения заработной платы. В то же время он заклинает их образоваться, если можно так выразиться, коалицию дерзких, дабы сбить спесь с богатых.

Пролетарий не залатает прорех на своем плаще, но и в дырявом плаще его гордость будет требовать к себе уважения. И если понадобится, они двумя-тремя грубыми словами и несколькими выразительными жестами приучат богачей к нравам, подобающим

равенству. Социальное неравенство умеряется гордостью санкюлотов, богачи расплачиваются, проявляя любезность, скромность, кротость, за то, что их состояние тщательно охраняется; общество, разделенное на два класса: трусливых богачей, чьей трусостью будут пользоваться бедняки, и надменных бедняков, берущих грубостью своих выражений и жестов реванш за свою нищету, связанную, кстати, с законом собственности, — вот отталкивающий идеал, предлагаемый нам Лекиньо. Тогда как в обществе, где существует истинное единение, очарование жизни заключается именно в вежливости, благодаря которой каждому человеку, уверенному в том, что он равен другим людям и что никто не станет объяснять его вежливости низкопоклонством, захочется всем нравиться; здесь же бедняки постоянно будут напоминать богатым о равенстве своим свирепым нравом. Богач не вылезет ради бедняка из своего экипажа, но зато пролетарий в сабо в своей плебейской дерзости забрызгает его грязью, дабы благодуществующий буржуа в своей роскошной, но испачканной карете не слишком возгордился. Дерзость в лохмотьях в ответ на заносчивость роскоши — из этого двойного варварства Лекиньо строит цивилизацию.

Но, повторим еще раз, если доктрина Робеспьера и искажена в этом гротескном зеркале, она все же сохраняет свои отличительные черты. О, самое время, чтобы сквозь эти нависшие обманчивые тучи жгеравенства пробился луч коммунизма Бабёфа!

Но Робеспьер, очевидно, только потому с такой суровостью и решительностью охарактеризовал то, что он называл «аграрным законом», что он чувствовал, как умы под ударами революционных потрясений, имея перед собой пример великих изменений и преобразований собственности, вполне могли замыслить или возмечтать о переменах более глубоких, которые передали бы все земли в руки тех, кто их обрабатывает. Чего стоила эта мысль, столь еще бесформенная, на которую даже наиболее смелые, вроде кюре Доливье, пока еще делали только туманные и робкие намеки? Невозможно, да, пожалуй, и бесполезно до этого доискиваться. Отметим, однако, эту приметную сокровенной работы народной мысли, которая мало-помалу взрыхляла почву и которая могла в один прекрасный день представить угрозу самим корням буржуазной собственности. Робеспьер на страницах, следующих за теми, которые я только что комментировал, приводит петицию жителей Этампа; он приводит также несколько заметок кюре Доливье, но не ту пространную, где он уже начинает уточнять свои взгляды на «частную земельную собственность», то есть на индивидуальное присвоение земли.



## СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Итак, в революционном сознании в 1792 г. начинает складываться емкое и сложное понятие о собственности. Прежде всего, и это вполне понятно, Революция утверждает индивидуальную собственность<sup>1</sup>. Она ее укрепляет, избавляя от произвола, царившего при старом порядке. Ни один доход не может быть обложен налогом без согласия нации; ни одна рента, поставленная под защиту национального закона, не может быть урезана по воле обанкротившегося министерства. Из всего, что было зыбко, двусмысленно, что подвергалось угрозе, Революция создала собственность определенную, гарантированную и надежную. Более того, она умножила индивидуальную собственность, передав в руки частных лиц то, что составляло прежде корпоративную собственность, собственность цехов и церкви; и у нее возникает желание передать отдельным индивидуумам для раздела даже общинные имущества. Эта индивидуальная собственность освобождена от всех тяготевших над ней ограничений, от всех условий, ограничивавших собственность при старом порядке. Церковь владела имуществом *на определенных условиях*; индивидуумы, разделившие между собой ее имущества, владеют ими *без всяких условий*. Это государство взяло на себя вместо них расходы по содержанию культа; оно взяло на себя пассив церкви, предоставив частным лицам очищенный от долгов актив. Крестьянская собственность тоже освобождена и как бы очищена от всех феодальных повинностей и сервитутов, или, во всяком случае, это является ближайшей целью крестьянского и революционного движения. Следовательно, налицо широчайшее утверждение и прославление индивидуальной собственности; отныне ее не будет обременять ничто, кроме

условий договора, заключенного между двумя индивидуумами, а ипотека будет тем моментом, когда одна частная собственность будет соприкасаться и вторгаться в дела другой частной собственности. Она никогда уже не будет извечным кастовым рабством или же ограничительным условием, навязанным собственности. Но точно так же, как освобожденный от феодальных, церковных и корпоративных пут индивидуум оказывается свободным и одиноким перед лицом нации, так и индивидуальная собственность оказывается перед лицом нации. Собственность существует в рамках нации и благодаря ей, и в воле нации она обретает свое основание; именно в основном договоре, в силу которого все граждане образуют нацию, содержится гарантия всех договоров, включая и договор о собственности. Отсюда вытекает, что даже договор о собственности ни в коем случае не может преобладать над высшими интересами, над правом нации на жизнь. Стало быть, нация обладает высшим правом по отношению к собственности. Таким же правом, если мне позволено так выразиться, обладает и Революция в отношении собственности. Ведь именно Революция ее освободила. *Ведь именно Революция в известном смысле ее и создала*, ибо собственность, зависимая от произвола короля и от всех непомерных и несправедливых обложений со стороны привилегированных, — уже не собственность. Революция, спасающая, более того, создающая собственность, имеет, стало быть, право требовать от собственности любых жертв, необходимых для спасения самой Революции. Она может и должна в первую очередь требовать от собственности всего того, чего требуют сами принципы Революции, и так как Декларация прав человека была бы лишь кошунственной пародией на гуманность, если бы среди нации находились люди, обреченные на смерть вследствие чрезмерной нищеты и голода, так как люди могут требовать и осуществлять права, гарантированные им Декларацией, лишь в том случае, если они живы, то Революция может и должна обеспечить каждому человеку право на жизнь либо путем оказания помощи нетрудоспособным, либо предоставляя определенную работу тем, кто в состоянии трудиться. Так, в силу своих собственных принципов Революция неизбежно ограничивает право собственности каждого в отдельности правом на жизнь всех людей. И это не осталось без последствий.

1 Уточним, что индивидуальная собственность не была еще полностью освобождена, поскольку выкупаемые феодальные повинности были окончательно упразднены только законом от 17 июля 1793 г. Что касается общинных сервитутов, которые также ограничивали индивидуальную собственность, то

аграрный кодекс, принятый 27 сентября 1791 г., провозгласил свободу огораживания, но сохранил право выпаса по жнивью и на лугах после первого укоса и межобщинное право прогона скота на сжатых полях и лугах, если они основаны на первоначальных титулах или на обычае

И наконец, Революция, даже буржуазная, нуждается для своей защиты в силе народа, в его политической и военной силе, в его преданности и мускулах. Этому народу, чье влияние растет по мере роста опасности и без которого она бы погибла, Революция, естественно, обеспечит все гарантии существования, даже преступая эгоистическое право собственности. Она будет защищать его в случае надобности от скупщиков, от богатей, от всех, кто повышает стоимость жизни или снижает плату за труд<sup>2</sup>. Тем самым Революция примиряет идеи частной собственности с идеями демократии. В 1792 г. начинает вырисовываться вся эта сложность буржуазной Революции. В 1792 г., в то самое время, как частная собственность сбрасывает с себя последние остатки оков старого порядка, которые ее угнетали и маскировали, утверждается растущая сила народа, тех, кого уже называют пролетариями.

### ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Законодательное собрание не успело организовать систему вспомоществования. Но 13 июня от имени Комитета общественной помощи ему был представлен обширный доклад «Об общей организации общественной помощи и об искоренении нищенства». Докладчик Бернар, депутат от департамента Йонна, следующим образом сформулировал принципы, которыми руководствовался комитет<sup>3</sup>: «Для человека чувствительного и мыслящего зрелище неодинаковых условий человеческой жизни всегда было предметом огорчений и размышлений. Когда он видит чудовищное неравенство состояний, блестящие одежды, не столько укрывающие, сколько украшающие богатство, а рядом лохмотья нищеты, когда в двадцати шагах от пышного дворца стоит хижина, едва защищающая живущих в ней от напастей непогоды и времен года, когда рядом со счастливецом, окруженным всем изобилием роскоши, стоит несчастный, которому недостает самого необходимого, он испытывает тягостное чувство, он возвращается мыслью к тому золотому веку, когда золота еще не знали, когда слова «твое» и «мое» еще не существовали, когда слова «бедность» и «богатство» еще не были изобретены; он мысленно восстанавливает в памяти это первоначальное равенство, на которое посягнули на следующий же день, как был составлен общественный договор и земля была разделена между всеми, перестав принадлежать целиком каждому из индивидуумов, рассеянных по ее поверхности, и законы обеспечили каждому его новую собственность. Предполагается, что в основу этого раздела был положен принцип равенства, что раздел совершился с общего согласия и что мошенничеству и насилию здесь не было места; но уже заметили, что даже при подобной гипотезе равенство не может долго сохраняться; что человек праздный по расчету и ленивый по природной склонности ставит свое потомство

в зависимость от индивидуума трудолюбивого, которому вскоре удастся присоединить к своей полученной по разделу доле долю своего соседа, менее деятельного и недалекновидного. Вскоре возникли новые комбинации, слабый человек прибегнул к защите более сильного, или, вернее, протянул руки за оковами, предложенными ему сильным. И наконец, тысячи второстепенных причин, которые бесполезно перечислять, присоединились к первым, усугубив их воздействие; и с течением времени человеческий род уже являет нам все ступени нищеты и богатства».

Я, разумеется, не стану обсуждать эту систему эволюции человечества, столь произвольную и столь расплывчатую, я только подчеркну, что для законодателя неравенство условий является роковым и неизбежным следствием развития человечества.

«Итак, — говорил докладчик, — непосредственный результат принципа цивилизации состоит в неравенстве состояний и средств к существованию; если бы даже, чтобы привести всех к равенству, и удалось убедить всех вернуться к всеобщему владению собственностью, дабы затем распределить ее так, чтобы каждому члену ассоциации досталась равная доля, то совершенно очевидно, что такое положение вещей не могло бы долго продолжаться; и поскольку одни и те же причины всегда приводят к одним и тем же результатам, то мы вскоре оказались бы в той же точке, откуда отправились».

Однако если и доказано, что это неравенство проистекает из самого принципа цивилизации, если существование чрезмерного богатства и крайней бедности, а также всех возможных промежуточных стадий между этими двумя состояниями является неизбежным и плачевным его следствием, то не менее точно доказано, что во исполнение и в силу первоначального соглашения, по которому всякий член этой великой семьи связан с государством, а государство — с каждым из своих членов, первое [государство] обязано обеспечить каждому безопасность и защиту, и собственность богача, и существование бедняка, составляющие его собственность, должны быть одинаково поставлены под охрану общественного закона.

Отсюда, господа, вытекает аксиома, которой не хватает в Декларации прав человека, аксиома, достойная быть поставленной во главе Кодекса гуманности, который вы собираетесь принять, а именно: каждый человек имеет право на существование посред-

2. Революция придет к этому лишь под давлением народных масс в 1793 г., когда будет издан закон о всеобщем максимуме (29 сентября 1793 г.), который установит твердые цены на продукты первой необходимости, определит преде-

лы доходов и ограничит свободу прибылей.

3. Бернар — член директории департамента Йонна, депутат Законодательного собрания. «Moniteur», XII, 655.

ством своего труда, если он трудоспособен, и бесплатного вспомоществования, если он неспособен работать»<sup>4</sup>.

И опять-таки я не могу задерживаться и обсуждать эту довольно заурядную и неопределенную социальную концепцию Комитета помощи. Чего стоит фикция договора между государством и частными лицами? Я даже не стану исследовать этот вопрос.

Совершенно очевидно, что между всеми людьми, живущими в обществе, существует молчаливый договор, который можно сформулировать следующим образом:

«Мы согласны жить с другими людьми и соблюдать общественные законы лишь при условии, что жизнь не сделает для нас невыносимой и что у нас не появится надобность скорее разорвать общественные узы, чем бы это нам ни грозило, нежели их поддерживать».

В сущности, этот мнимый, или, если хотите, подразумеваемый, договор есть не что иное, как утверждение элементарной силы жизни и всеобщего инстинкта самосохранения. Возможно, есть что-то искусственное, некая юридическая подделка социального факта в том, что Права Человека в обществе выводятся из договора. Ибо, даже если слабые примкнули к обществу без всяких условий, даже если они были готовы из-за какой-то непостижимой пассивности безропотно примириться со всем, с крайней нищетой, с голодом, даже со смертью, лишь бы не порывать социальных уз, все равно в них продолжало бы существовать право человека, и, даже отрицаемое жертвами, оно все еще восставало бы против несправедливости.

Однако революционные легисты, вскормленные, кстати сказать, на Руссо, охотно придавали человеческим правам договорную форму. Или, вернее, утверждая, что Права Человека предшествовали обществу и стоят над обществом, они развивали затем новую сферу прав, тех, что рождаются из договора в самом обществе, и первой статьёй этого общественного договорного права было следующее: право всех на существование. По правде говоря, наиболее существенное — узнать, каковы были для определенного момента не подлежащие изменению условия, включенные людьми в этот предполагаемый договор. Причем совершенно ясно, что требования более слабых индивидуумов растут по мере того, как растет их сила. Стало быть, само содержание договора, безусловно, изменчиво — договор между различными общественными классами, или, если говорить языком XVIII в., договор между индивидуумами и государством, подвергается непрерывному пересмотру по мере того, как меняются взаимоотношения между общественными классами или между индивидуумами; и этот пересмотр, подразумеваемый, как и сам договор, должен время от времени приводить к решающим революциям, когда новые юридические формы отражают новое соотношение общественных сил. Таким образом, мы можем применить даже к социалистическому движению и к требо-

ваниям пролетариата буржуазную теорию общественного договора.

С самого начала применения общественного договора к проблеме нищеты, то есть с 1792 г., наблюдались неопределенность и шаткость. Ибо докладчик говорит то о «существовании» бедняка, то о «пропитании» его. Однако право на «существование» и право на «пропитание» совершенно разные вещи. Право на существование, на жизнь подразумевает сохранение и развитие всех возможностей, всех сил, заложенных в индивидууме. Право на пропитание подразумевает только выполнение функции пропитания<sup>5</sup>. И это очень много, если вспомнить о временах, когда масса людей покорно умирала от голода и когда государство считало себя вправе допускать, чтобы они впрямь умирали от голода. Но это ничтожно мало с точки зрения совершенного идеала человечества и совершенного смысла жизни.

Комитет провозглашает: «Аксиомой является тот факт, что каждый человек имеет право только на пропитание». Такую мысль невозможно защищать; каждый человек имеет право на все человеческое, то есть на деятельность и блага в той степени, в какой он на это способен. Эта фальшивая аксиома означает лишь одно, а именно что в 1792 г. имущая буржуазия фактически считала своей обязанностью по отношению к бедным только обеспечить их «пропитание» и что бедные не обладали ни достаточной силой, ни достаточным сознанием своих прав, чтобы добиться чего-то большего, чем просто «пропитания». Доклад и предлагаемый декрет предусматривают, что на общественных работах, организуемых государством, дабы помочь трудоспособным беднякам, заработная плата будет ниже заработной платы на частных предприятиях; таким образом, право на труд низводится до права на пропитание.

«И пусть нам не возражают, что платить бедняку более низкую плату за его труд, нежели обычная, несправедливо по отношению к нему, что это покушение на его собственность; такое возражение было бы слишком просто опровергнуть; ибо, не говоря уже

4. Бернар утверждает здесь право на труд и на вспомоществование. Учредительное собрание ограничило тем, что предусмотрело «общую организацию общественной помощи для воспитания подкидышей, облегчения участи немощных калек и предоставления работы трудоспособным беднякам, которые сами не смогли ее найти». (Основные положения, гарантированные Конституцией.)

5. Нам представляется, что право на существование понимали в тот период обычно в его узком смысле,

то есть как право на пропитание, а не в том широком смысле, какой придает ему здесь Жорес. См. речь Робеспьера по продовольственному вопросу в связи с волнениями в департаменте Эр и Луар (2 декабря 1792 г.): «Первейшее право — это право на существование; первейший общественный закон, стало быть, — это тот, что гарантирует всем членам общества средства к существованию; все прочие законы подчинены этому».

о том, что не известно, существуют ли для бедняка более благоприятные условия, нежели те, которые гарантируют ему пропитание и предоставляют ему полную свободу браться за эту работу или отказаться от этой работы, предлагаемой ему в качестве общественной помощи, в то время как ему повсюду в этой работе отказывают, разве мы не сделали своим принципом, что бедняк, неспособный работать, должен получать помощь потому, что он прежде работал или еще обещает работать? И теперь, когда общество обеспечивает работой трудоспособного, разница в предложенной ему заработной плате является не столько удержанием, сколько сбережением, которое общество сохранит для него для более нужных времен, или даже возмещением части аванса, который оно ему уже имело случай выдать, когда он не был еще способен работать».

Комитет Законодательного собрания, видимо, не подозревал ужасных экономических последствий, какие могла иметь эта организация общественных работ с пониженной заработной платой на общий уровень заработной платы в частной промышленности. И какой странный способ превращать общественный договор, договор о взаимной гарантии, где одним обеспечивается существование, как другим собственность, в некое подобие бухгалтерского баланса, когда на плечи трудоспособных бедняков путем снижения их заработной платы целиком взваливается все бремя расходов по оказанию помощи нетрудоспособным беднякам. Это фактически нарушение самого договора, ибо уже не государство заботится о существовании бедных, а сами же бедняки. Этим уничтожается вторая аксиома, провозглашенная комитетом, а именно что «вспомоществование бедным есть долг нации».

Несмотря ни на что, несмотря на эти огрехи в практическом осуществлении и мелочность мысли, провозглашение *права* каждого человека на существование, на пропитание было великим и гуманным новшеством<sup>6</sup>. То не был акт благотворительности, то не была мера социальной предосторожности или страховая премия от насилия изголодавшихся людей, то не было благочестивое выполнение воли свыше. То было утверждение права, и по мере роста политической мощи пролетариев они будут углублять и расширять смысл права на существование.

### ВЗГЛЯДЫ КОНДОРСЕ

Более твердыми и более широкими были в 1792 г. взгляды великого Кондорсе. Я буду их комментировать только тогда, когда мы встретимся с ними непосредственно, изложенными в труде о прогрессе человеческого разума<sup>7</sup>, и когда трагическая борьба между Жирондой и Горой доведет до высшей точки накала все революционные концепции. Но я уже сейчас хочу подчеркнуть,

что Кондорсе был до такой степени озабочен социальной проблемой, уничтожением нищеты, что касался этой важной темы, говоря о любом вопросе. Так, 12 марта 1792 г. он связал экономический и социальный вопрос с вопросом об ассигнатах в блестящем финансовом докладе, сделанном им в Законодательном собрании. Он указал на то, что можно было бы устроить «кассы помощи и накопления», то есть сберегательные кассы, и хотя верно, что это не выходит за рамки того, что мы называем взаимопомощью, но уже сейчас можно видеть, а вскоре это станет еще очевиднее, что именно великий революционный и гуманный разум вызвал к жизни эту концепцию взаимопомощи и что Кондорсе надеялся достигнуть этим такой степени социального равенства или по меньшей мере социального равновесия, которое превратило бы обновленное общество в невиданный доселе образец всеобщего счастья.

У нации, занимающей обширную территорию, с многочисленным населением, где промышленность сделала достаточные успехи, чтобы не только каждое ремесло, но почти каждая отрасль различных ремесел могла бы стать исключительной профессией отдельного индивидуума, невозможно, чтобы чистого продукта земли или дохода от капиталов хватало бы почти сполна на пропитание и содержание жителей и чтобы вознаграждение за их работы и их труд давало бы им своего рода излишки. Стало быть, неизбежно, что у огромного числа людей не оказывается средств не только на всю жизнь, но даже на то ограниченное время, в течение коего они способны к труду, и эта потребность влечет за собой другую, а именно делать сбережения то ли для их семей, в случае их смерти в молодые годы, то ли для них самих, если они достигнут преклонного возраста.

«Всякое большое и богатое общество, следовательно, насчитывает большое число людей бедных, и оно будет злосчастным и развращенным, если не существует способа с выгодой помещать небольшие сбережения и даже каждодневно сэкономленные средства.

И наоборот, если такой способ может стать доступным почти для всех, нуждающихся в таком обществе станет немного; благотворительность будет уже только удовольствием, бедность перестанет быть унижительной и развращающей; и если государство получит хорошо составленную Конституцию, мудрые законы и разумное управление, *то можно будет наконец увидеть на этой*

6. Фактически эта дискуссия не дала никаких результатов. «Собрание, желая засвидетельствовать живой интерес, который оно проявляет к облегчению участи неимущего класса, решает, что труд г-на Бернара должен быть зачитан полностью. Оно приветствует его аплодисментами и приказыва-

ет его напечатать, а обсуждение отложить». «Moniteur», XII, 656.  
7. Condorcet. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain Paris, an III, imp. in-8°, VIII — 389 p.; dernière édition par M. et F. Hincker, Paris, 1966, серия «классики народа».

*земле, бывшей столь долго обреченной на неравенство и нищету, обществу, конечной целью и результатом которого будет счастье большинства его членов... Такое устройство предоставило бы помощь и средства нуждающейся части общества; оно предотвратило бы разорение семей, существующих на доходы, зависящие от жизни главы семьи; оно увеличило бы число тех семей, чье будущее обеспечено; оно согласило бы стабильность состояний с переменами, неизбежным следствием развития промышленности и торговли, и способствовало бы установлению того, чего до сих пор нигде и никогда не существовало, — нации богатой, деятельной, многочисленной без бедного и развращенного класса...»*

Повторю еще раз, что сейчас преждевременно обсуждать по существу эту концепцию, которая здесь появляется только случайно. Но что, безусловно, поражает, так это, так сказать, реальный характер, какой приобрели в 1792 г. возвышенные слова о братской справедливости и равенстве. Это уже не философские спекуляции. Тут, перед политическим собранием по поводу определенной финансовой проблемы один из законодателей, привыкший к солидным научным утверждениям, возвещает новое общество, *не существовавшее доселе* человечество, где основой, опорой и противовесом свободного расцвета изобретений и богатства будет служить своего рода всеобщая неуклонно организуемая зажиточность, постоянное и всеобщее благоденствие, которое не будет нарушаться изменчивостью состояний и жизни. Речь идет вовсе не о том, чтобы выделить из огромного множества бедных людей несколько человек редкого мужества и призвать их к бережливости. Речь идет вовсе не о том, чтобы отобрать из массы страдающих людей наиболее активные элементы и включить их в олигархический социальный порядок. Речь идет о том, чтобы дать всем людям, в определенном обществе, стабильные гарантии против нищеты во всех ее проявлениях, и в концепции Кондорсе сразу в полном объеме мы встречаем все то, что спустя сто лет в индустриальных странах Европы под растущим давлением демократии, социализма и рабочего класса воспримут институты или проекты социального страхования от болезней, несчастных случаев, безработицы и потери трудоспособности<sup>8</sup>. Итак, в эти первые годы Революции, в то самое время, когда подготавливался коммунизм Бабёфа, заявляя о себе ростом политической силы пролетариата, первыми попытками таксации продуктов питания, теориями, касающимися земельной собственности, и подозрительностью, которую начали проявлять борцы Революции в отношении класса промышленников, в то самое время слова Кондорсе возвещают о взаимопомощи в ее наиболее смелой форме и в ее наиболее благородном понимании. А ведь всего три года отделяют нас от первых революционных дней, когда именно буржуазия рвантё возглавила движение! Как быстро вырос пролетариат и как пламя революционных действий ускорило созревание зародыша!

## НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Превосходный и обширный план всеобщего народного образования представил Кондорсе от имени Комитета народного просвещения 20 апреля с трибуны Собрания, план, изложение которого по трагическому совпадению было прервано объявлением войны. Он хотел приобщить все умы к высокому свету знания и разума, к великому Просвещению XVIII в. Тут речь шла не о выработке олигархического законодательства. Тут не будет «активных» и «пассивных» умов. Разумеется, в образовании будут определенные градации, отвечающие различным потребностям и условиям, но ни один гражданин, ни один ребенок гражданина не будет лишен из-за своей бедности высокого и ясного света; и прежде всего будет открыта для всех начальная школа. Учредительное собрание не успело дать Франции систему образования. Занятое до предела решением колоссальных проблем, оно, в общем, отложило на будущее заботу о создании системы национального образования. Оно ограничило тем, что включило в конституцию весьма общий принцип и заслушало 10, 11 и 19 сентября 1791 г., чуть ли не за несколько дней до истечения срока его полномочий, великолепный доклад Талейрана. Статья конституции, содержащая в зародыше всю систему образования, гласила:

«Будет создана и организована система всеобщего народного образования, бесплатная на тех ступенях обучения, которые необходимы всем людям, учреждения ее будут распределены по ступеням, соответственно административному делению королевства».

Народное? Стало быть, это нация должна его организовать и контролировать. Общее для всех граждан? Такое взятое отдельно положение было бы двусмысленным. Учредительное собрание не предполагало, что все дети получают одинаковое образование. Прежде всего, оно предусматривало различные ступени образования, поскольку оно вводило бесплатное обучение только в начальных школах. Во-вторых, оно не намеревалось полностью отменить частное обучение, поскольку проект, представленный Талейраном и встреченный горячими аплодисментами Собрания, заканчивался специальным разделом: «Свобода обучения», единственная статья которого гласила: «*Всякое частное лицо, подчиняясь общим законам народного образования, вправе открыть учебное заведение;*

8. Жорес забывает здесь про закон о национальной благотворительности от 22 флореаля II года (11 мая 1794 г.), установивший принцип социального обеспечения и учреждавший в каждом департаменте «*Книгу национальной благотворительности*»; в эту книгу

должны были быть занесены старики и калеки в деревнях, матери и вдовы, обремененные детьми; и те, и другие должны были получать ежегодную пенсию и пособие, а также пользоваться бесплатной врачебной помощью на дому.

оно обязано только поставить об этом в известность муниципалитет и опубликовать свои правила». Слово «всеобщее» означает, следовательно, что никакая кастовая идея не будет разделять детей нации, что не будет школ, предназначенных только для детей дворян, или бывших дворян, или хотя бы тех, кто платит определенную сумму налога, и что по закону каждая школа будет открыта для всех, без всяких ограничений, кроме времени и денег, какими располагают семьи. Это значит также, что все дети, даже те, которые захотят достигнуть более высоких ступеней образования, должны пройти через начальные школы. И наконец, статья конституции устанавливала принцип бесплатного обучения в начальных школах.

### ПРОЕКТ ТАЛЕЙРАНА

Как, какими чертами Талейран, докладчик многочисленных комитетов, изучавших данную проблему, определил мысль Учредительного собрания? Последнее уже не могло обсудить доклад, но постановило напечатать его и распространить среди членов Собрания, которое придет ему на смену. Это было, следовательно, как бы духовное завещание первого революционного Собрания; это было и точкой отправления и как бы полностью подготовленной проблемой для работы второго Собрания<sup>9</sup>.

Прежде всего, образование должно быть всеобщим, к тому же во всех отношениях: всеобщим, ибо все поголовно должны его получить; всеобщим, ибо все должны быть одинаково допущены к преподаванию; всеобщим, наконец, ибо оно должно охватить все области человеческого знания. «Оно должно существовать для всех, потому что поскольку оно является одним из результатов, а также одним из преимуществ ассоциации, то из этого следует, что образование — это общее достояние всех членов ассоциации; никто, следовательно, не может быть законно его лишен; и тот, у кого меньше частной собственности, имеет даже больше права получить свою долю этой общей собственности.

Этот принцип связан с другим. Если каждый имеет право вкушать блага просвещения, то всякий, с другой стороны, имеет право содействовать его распространению; ибо именно из содействия и из соревнования индивидуальных усилий всегда рождается самое большое благо. Одно лишь доверие должно определять выбор лиц, коим поручается преподавание, однако все одаренные люди по праву призваны добиваться этого знака общественного уважения; привилегия в сфере просвещения была бы более позорной и более нелепой, нежели в любой другой.

Образование должно быть всеобщим и по части преподаваемых предметов, ибо только в этом случае оно становится поистине общим достоянием, причем каждый может получить часть, которая ему более подходит. Различные сферы знания, которые оно охва-

тывает, могут показаться неодинаково полезными, но нет ни одной, которая не была бы ею в действительности, которая не могла бы стать еще более полезной и которая вследствие этого не должна быть исключена или заброшена. Между ними, впрочем, существует извечная связь, взаимозависимость, ибо все они находят в сознании человека общие точки соприкосновения таким образом, что неизбежно одни знания обогащаются и подкрепляются другими; отсюда следует, что в хорошо организованном обществе, хотя ни один человек не в силах все познать, тем не менее необходимо, чтобы была возможность все изучать».

Итак, нация обязуется дать всем бесплатно необходимые элементарные знания, но она на этом не остановится. Ее долг — распространять знания так далеко, как ушла наука, и довести их до ее высот; любая наука должна стать общим достоянием, пусть даже фактически граждане в массе своей будут способны освоить лишь основы этих наук.

Благородный и всеобъемлющий коммунизм знаний, который достигнет совершенства в тот день, когда не от богатства, а от личных способностей будут зависеть уровень знаний, до какого может подняться человек, и широта познаний, какую он может охватить.

Но чем оправдывается принцип бесплатного начального, или элементарного обучения? Не будет ли это парадоксом, противоречием самой конституции, ее духу, — употреблять поступления от государственных налогов на то, чтобы предоставить гражданам бесплатно такое благо, которого каждый должен добиваться собственными усилиями?

«Единственный вид образования, какое общество обязано предоставлять совершенно бесплатно, — это тот, который по сути дела является общим для всех, ибо он необходим всем. Простота формулировки этого предложения служит и его доказательством, ибо очевидно, что именно в общественной казне следует черпать необходимые средства для общего блага; итак, начальное обучение является безусловно и неоспоримо всеобщим, поскольку оно должно включать основы знаний, необходимые каждому, какое бы занятие он себе ни избрал. Впрочем, его главная цель заключается в том, чтобы научить детей стать в свое время настоящими людьми. Оно как бы вводит их в общество, знакомя их с основными законами, управляющими этим обществом, с основными возможностями существования в нем; разве же не справедливо бесплатно обучать всех тому, что следует рассматривать как необходимые условия существования ассоциации, в которую их приглашают

9. Еще будучи аббатом де Перигор, генеральным викарием, Талейран уже рассматривал систему образования перед французским епи-

скопатом в 1780 г. «Procès-verbaux de l'Assemblée du clergé», 1780, p. 1451.

вступить? Вот почему начальное образование представляется нам неоспоримым долгом общества по отношению ко всем своим гражданам. И необходимо, чтобы оно выполняло его неукоснительно.

Какое великолепное применение теории договора! Это, если можно так выразиться, общественный договор, распространенный на сферу сознания. Прежде чем вступить в ассоциацию, которая составляет общество, ребенок должен познакомиться с самой этой ассоциацией, с ее принципами и правилами. Начальное образование—это как бы знакомство детей с законами, правилами той ассоциации, членами которой они собираются стать.

Итак, обучение в школах первой ступени должно быть абсолютно бесплатным. Для остальных ступеней оплата будет частичной. Государство позаботится только о том, чтобы обеспечить существование других ступеней образования; но сверх этого минимума расходов остальное бремя оно возложит на самих граждан, желающих непосредственно пользоваться выгодами высшего образования. Очевидно, Талейран считает, что полное освобождение учащихся от платы на всех ступенях образования привело бы к общему снижению его уровня. Стало быть, достаточно будет того, что государство поможет особо одаренным индивидуумам «пройти все ступени образования».

Талейран и Учредительное собрание весьма энергично настаивали на «свободе образования». Никаких исключительных привилегий, никаких монополий, будь то монополия государства или какая-либо другая. Но как понимали в 1791 и 1792 гг. свободу образования? Любопытно, что в этих вопросах, по-прежнему жгучих и животрепещущих, которые еще и сегодня так глубоко разделяют умы, все партии спорят о текстах Революции и ее принципиальных декларациях, но особенно любопытно, что, цитируя тексты, декларации или даже декреты и статьи закона, полемисты совершенно абстрагируются от исторических условий, от политической и социальной реальности, которые и придают законодательству его истинный смысл. Так, когда приверженцы церкви ссылаются на Талейрана и Кондорсе, чтобы отвергнуть сегодня идею исключительно государственного образования, они забывают либо делают вид, что забывают две вещи: в первую очередь то, что Революция упразднила все корпорации, все конгрегации и запретила монашеские обеты<sup>10</sup>, стало быть, ей нечего было опасаться обучения, осуществляемого конгрегациями, обучающего государства в обучающем государстве, контрреволюции, обучающей в одуроченной Революции; и во вторую очередь то, что духовенство было подчинено гражданскому устройству духовенства. Священники и епископы стали выборными служащими, назначаемыми народом на тех же условиях, что и члены администрации дистриктов или департаментов. Эти священники — служащие Революции, вынужденные искать у нее защиты от религиозного фанатизма, разжигаемого неприсягнувшими священниками, и думать не могли вести обуче-

ние, соперничающее с государственным; они могли, кстати, действовать только в одиночку, ибо любая постоянная ассоциация священников вызвала бы подозрение в том, что собираются восстановить уничтоженные корпорации. Поэтому, когда в 1791—1792 гг. Революция представляла свободу образования, она представляла ее отнюдь не церкви, а только «частным лицам», о чем и говорится в статье, предложенной Талейраном, и эти «частные лица» не могли быть ни монахами, поскольку конгрегации были запрещены и должны были быть распущены, ни неприсягнувшими священниками, поскольку Революция, которая вначале держала их в тюрьмах, а потом высылала и объявила их «подозрительными», не могла доверить им обучение. Итак, Революция ограничилась тем, что поощряла усердие «частных лиц», друзей Революции, которые охотно содействовали бы предпринимаемому ею колоссальным усилиям. Когда полемисты-клерикалы ссылаются на эти тексты, дабы оправдать именем Революции свободу образования, распространяемую ими на конгрегации и на церковь, они вольно или невольно совершают серьезную ошибку. Пусть они упразднят конгрегации, пусть подчинят священников гражданскому устройству духовенства, и вопрос отпадает сам собой.

Распределяя фактически различные ступени образования, как то предусматривала статья конституции, соответственно административному делению страны, Талейран предлагает четыре вида школ. Будут организованы начальные школы, соответствующие коммуне, а в Париже — секциям. Далее, будут школы по дистриктам, дающие образование второй ступени. Школы третьей ступени будут открыты в главных городах департаментов, и это будут специальные школы — богословские, правоведения, медицинские, военные; разумеется, в одном и том же центре не обязательно должны быть размещены все такие школы; более того, не все такие главные города департаментов должны были их получить вообще<sup>11</sup>. И наконец, как завершение системы — универсальный *Институт*, о котором Талейран говорит в самых возвышенных выражениях. Он понимает его, как объединение того, что представляет собой ныне

10. Черное духовенство было упразднено законом от 13 февраля 1790 г.; рекрутирование новых монахов прекратилось вследствие запрещения монашеских обетов.  
11. На территории страны будут открыты четыре медицинских школы; в этих школах будут преподаваться начала медицины, хирургии и фармации; эти школы будут созданы вблизи больниц. Талейран планировал создание десяти школ правоведения; в них будут главным образом препода-

вать национальное публичное право и изучать конституцию; римское право будет изучаться по всей территории страны; еще некоторое время будет преподаваться обычное право. Военных школ будет создано столько, сколько существует военных округов; поступаая в шестнадцатилетнем возрасте, юноши будут обучаться в них четыре года; шесть крупных практических военных школ будут размещены вдоль границ.

Институт Франции и Высшая нормальная школа, то есть одновременно как очаг высокой науки и высокой мысли и как учебное заведение.

Так же как над всеми административными органами возвышается самый первый орган нации — Законодательный корпус, облеченный всей силой народной воли, точно так же, равно как для совершенствования образования, так и для быстрого прогресса науки, в столице государства будет существовать, словно возвышаясь над всеми институтами, специальная национальная Школа, универсальный Институт, который, «обогащаясь светом знаний из всех частей Франции, будет неизменно представлять собой наиболее счастливое сочетание средств преподавания достижений человеческой мысли и их безграничного развития».

«Этот Институт, основанный в столице, естественной родине искусств, средоточий всех образцов, составляющих славу нации... предназначен силой вещей осуществлять своего рода верховную власть, власть, которая всегда внушает невольное и заслуженное доверие; он делается благодаря законной привилегии превосходства пропагандистом принципов и подлинным законодателем методов», и из всех департаментов выдающихся молодых людей будут направлять в этот Институт, как в высшую школу человеческой мысли<sup>12</sup>.

Итак, все дети пройдут через начальные школы, где они будут обучаться два года, от 6 до 8 или 9 лет. Там они научатся читать и писать, познакомятся с основами французского языка, изучат четыре правила арифметики, названия деревьев своего кантона. В школах дистрикта, куда будут приниматься дети с восьми лет, после того как они закончат начальную школу, будут преподавать языки (латинский, греческий, французский и живые языки), математику, физику, естествознание.

Я не буду вдаваться в подробности программы ни специальных школ, ни Института, которая поистине не знает иных пределов, кроме пределов человеческого разума. Этот предложенный Талейраном план, по существу, соответствует организации народного образования, существовавшей на протяжении большей части XIX в.; начальные школы в общинах; в главном городе дистрикта (или округа) — лицей или коллеж, дающие среднее образование, затем в некоторых городах — специальные школы (школы или факультеты), где преподают право, медицину, богословие и т. д., и наконец — на самой вершине, в Париже, — универсальный Институт, разделенный на собственно Институт и Высшую нормальную школу. Не было только специальных естественных школ и школ литературы, того, что мы нынче называем филологическим факультетом и факультетом естественных наук; высшее образование в провинции ограничивалось специальными профессиональными школами; собственно говоря, высшее образование существует только в Париже в универсальном Институте. В общем эта

концепция Учредительного собрания была осуществлена в будущем с довольно незначительными изменениями<sup>13</sup>.

В каких отношениях, согласно плану Талейрана и Учредительного собрания, находились народное образование и общественные власти? Какими принципами они руководствовались? На какую доктрину опирались? Для комплектования преподавательского состава в начальных и средних школах в главных городах департаментов проводились конкурсы; те, за кем признавали право «быть избранным», заносились в единый список для всей Франции. По этому списку директории департаментов, которые сами, как мы видели, избирались активными гражданами, выбирали учителей. Стало быть, в народном образовании суверенная власть народа тоже должна была осуществляться в форме избрания учителей.

Подобно тому как в гражданском устройстве духовенства Учредительное собрание попыталось достигнуть компромисса между традиционной силой церкви и суверенной властью нации, так и в плане народного образования Талейрана мы видим компромисс между христианским воспитанием и чистым разумом.

В начальных и средних школах обязательно преподавание «принципов религии». Но если религия и допущена в школу, то она не является в ней хозяйкой; не она диктует правила жизни; и даже представляется, что Революция ее приняла в такой же мере, чтобы надзирать за нею, как и для того, чтобы уделить ей место. Говоря об «основах религии», которым будут обучать в начальной школе, Талейран заметил: «Ибо, если несчастье — не знать религию совсем, то еще большее несчастье, пожалуй, — знать ее плохо».

Он, очевидно, хочет, чтобы Революция наложила свою печать даже на преподавание катехизиса. К тому же чувствуется, что для Талейрана и членов Учредительного собрания подлинный катехизис — это Декларация прав человека; они самым откровенным образом заявляют, что мораль не должна выводиться из религиозных догм, что она должна быть независимой, общей для людей всех вероисповеданий и всех религий. Поэтому, несмотря на преподаваемые в ней «основы религии», революционная школа, как ее понимало первое Собрание, остается по существу светской, поскольку религия не является больше учителем жизни.

«Необходимо научить понимать Конституцию. *Необходимо, значит, чтобы Декларация прав и конституционные принципы составили в будущем новый катехизис для наших детей, которому будут*

12. Национальный Институт, разделенный на две секции, должен был охватить все области знания. Кафедры Коллеж де Франс и Ботанического сада подлежали упразднению. Библиотеки были бы подчинены звеньям Института. Только библиотека короля оставалась национальной.

13. Талейран не забыл и о развитии женского образования, которое должно подготовить девушек к роли домашних хозяек. Женщина не должна гнаться за «химической надеждой», а «заботиться о реальных благах в царстве свободы и равенства».



обучать даже в самых маленьких школах королевства. Тщетно пытались оклеветать эту Декларацию; именно с правами всех людей сообразуются всегда обязанности каждого...»

*«Необходимо научиться совершенствовать Конституцию. Пожелавшись защитить ее, мы не могли отказаться — ни за своих потомков, ни для себя самих — от права и от надежды ее улучшить. Вот почему так важно, чтобы все области социального искусства могли найти свое место в обновленной системе образования; но эту мысль во всей широте, в какой она предстает уму, было бы трудно осуществить в момент, когда эта наука только начинает зарождаться.*

Как бы то ни было, но недопустимо этой мыслью пренебрегать, надо, во всяком случае, поощрять все попытки, все отдельные учреждения такого рода, дабы наиболее благородное, наиболее полезное из искусств не осталось бы за пределами обучения. Необходимо научить проникаться моралью, первейшей потребностью всех конституций. Необходимо, следовательно, не только запечатлеть ее в сердцах, воздействуя на чувства и совесть, но и обучать ей как подлинной науке, чьи принципы будут доказаны разуму всех людей, разуму всех эпох. Только так она выдержит все испытания. Долго сетовали на то, что люди всех национальностей, всех религий ставили мораль в зависимость исключительно от множества разделявших их мнений. Это принесло много зла, ибо, ставя ее под сомнение и часто доводя до абсурда, ей неизбежно наносили вред, делая ее непостоянной и неустойчивой. Настало время утвердить ее на ее собственных основах, настало время показать людям, что если их и разделяют пагубные разногласия, то, во всяком случае, в морали они найдут общую точку соприкосновения, в ней они должны искать прибежища и единения. Стало быть, необходимо как бы обособить мораль от того, что ей чуждо, дабы затем вновь связать ее с тем, что заслуживает наше одобрение и уважение, с тем, что должно послужить ей опорой. Такому перемену очень просто произвести, она ничему не повредит; а главное — она вполне осуществима. Как, в самом деле, можно не видеть, что, отрешившись от всякой системы, от всяких мнений, цена в людях только их отношения с другими людьми, можно научить их добру и справедливости и заставить полюбить их?..»

Итак, поскольку конституция проистекает из Прав Человека и, предоставляя церкви место в администрации, отнюдь не подчиняется ее догмату, постольку и школы Революции по плану Учредительного собрания отводят религии место в программе, но не заимствуют у нее ни норм жизни, ни принципов морали.

К тому же главная забота Талейрана состоит в том, чтобы пробудить в умах еще в школе свободы, инициативу. Он требует, чтобы сами дети при посредстве выбираемых ими цензоров поддерживали даже дисциплину и чтобы таким образом при первом пробуждении разума они приобретали опыт представительного

образа правления, свободного подчинения принятому добровольно закону. Его общий метод обучения будет методом свободы. Прежде всего он мечтает освободить умы от мертвого груза бесполезной эрудиции; человек не должен погружаться в прошлое и затеряться в прошлом; огромная и чуткая любознательность, воскрешающая во всех подробностях жизнь человеческую вплоть до самых отдаленных веков, вовсе не представляется необходимой, и, пожалуй, эта романтическая любознательность вправе, не причиняя вреда, пробудиться лишь после решающей Революции, когда у людей появится достаточно досуга, чтобы отвлечься от дел и предаться мечтам. Слово Талейран хочет свести к минимальным размерам и минимальному весу результаты многовековых усилий человеческого духа, чтобы подрастающее поколение борцов не было обременено излишним грузом. Речь идет вовсе не о том, чтобы ограничить его умственный кругозор или тормозить его развитие. Напротив, для того чтобы оно могло свободно, подобно бодрому солдату, шагать по вселенной, нельзя допустить, чтобы оно изнемогло под бременем мертвой науки.

«Вы только получили огромные сокровища человеческих знаний. Эта неисчислимая масса книг, затерявшихся в недрах монастырей, но, нельзя этого не признать, столь искусно использованных в некоторых из них, не станет, очутившись в ваших руках, бесплодной добычей; для этого необходимо не только облегчить доступ к полезным трудам, не только сократить поиски для тех, чье единственное достояние — время, но необходимо ускорить также столь желательное освобождение от ненужного и пагубного обилия, под тяжестью которого может сломиться человеческий разум. Множество книг, представлявших интерес, когда они появились на свет, должны в настоящее время рассматриваться только как усилия, как поиски осящю человеческого разума, бьющегося над решением какой-либо проблемы; при последней попытке проблема разрешается, остается единственное решение, и отныне все прежние, ошибочные попытки должны исчезнуть, это лишь многочисленные помарки в сочинении, которыми незачем утомлять глаза, когда работа закончена».

И Талейран надеется, что, когда «умелыми упрощениями будет мало-помалу сведено к небольшому количеству необходимых книг все наиболее интересное, что было написано во все века», какою-нибудь синтезирующее и популяризаторское издание сможет сделать достоянием любого, даже того, у кого мало времени для учения, важнейшее в человеческих знаниях. Благородная мысль, доказывающая великую заботу об универсальности человеческой культуры, а также, возможно, высокомерное презрение аристократа ума к колоссальному книжному хламу.

«Ум испытывает облегчение от надежды, что вся эта необъятная масса продукции, столько раз воспроизведенная, которой некогда не следовало бы существовать, по крайней мере не будет

существовать вечно; что, наконец, книги, принесшие столько добра людям, не будут причинять им физический и моральный вред. Именно в недрах библиотеки должно родиться средство, которое ускорит их уничтожение».

Возможно, Талейран с чрезмерной легкостью решается на это уничтожение. Даже с заблуждениями человеческого духа нелишне познакомиться. Не очень это умно — стирать запутанные, неверные, блуждающие следы, отмечающие долгий ход мысли в поисках истины. Даже из наиболее неудачных, посредственных трудов проникательный ум сумеет порой извлечь частицу жизни. Даже пометки следует сохранить в книге человеческой мысли, которая непрестанно переделывается и дополняется, ибо, как и в рукописи великого писателя, они указывают на попытки выразить идею, на неустанные поиски идеальной формы. Нужны книги содержательные, легко усваиваемые, которые быстро и легко делают достоянием всех человеческие знания. Нужно, чтобы высокие умы, всей душой преданные истине и красоте, сумели бы создать для самих себя библиотеку избранных книг, дабы они были среди шедевров как в семейном кругу, откуда будет изгнано все посредственное и пошлое. Но необходимо также, чтобы отважные исследователи могли постоянно рыться в огромных накоплениях прошлых веков. В том, что вчера рассеянному уму показалось незначительным или низким, может неожиданно раскрыться новая истина. Но победоносный гений Революции находит верное отражение в этих рассуждениях Талейрана. Он желает, если можно так выразиться, облегчить вооружение и экипировку Энциклопедии, дабы она могла проникнуть во все умы, протоптать все тропинки, войти даже в самые бедные жилища, неся с собой яркий свет и радостные звуки простых и резких истин.

Предлагаемый им метод обучения представляется ему как средство упрощения, средство достижения свободы. Упростить проблемы, очистив их от всего ненужного, определять их путем точного анализа — это значит дать возможность всем умам самим пройти по восстановленным и выровненным дорогам, приведшим к великим открытиям; это значит, стало быть, совершенствуя саму традицию, заново приобщать к истине каждый ум, это значит подарить новым поколениям вместе с силой накопленных знаний радость открытия, пусть даже применительно к тому, что уже известно.

«От методов зависит направить преподавателей в правильное русло, расчистить, сократить для них трудный путь обучения. Эти методы необходимы не только заурядным умам, даже самый великий творческий гений извлекает из них неоценимую пользу и часто бывает им обязан самыми высокими своими идеями, ибо они помогают ему преодолевать расстояния и, ведя его быстрее к границам извданного, сохраняют его силы для скачка за эти пределы. И наконец, чтобы оценить эти методы одним словом, достаточно сказать,

что наука, самая смелая, самая широкая по своему применению, а именно алгебра, сама по себе — всего лишь метод, изобретенный гением ради экономии времени и сил человеческого разума...»

Однако в этом нет механического упрощения, речь идет совсем не о выработке своего рода интеллектуального автоматизма. Дабы с детства придать уму «твердое направление к истине, которая станет тогда господствующей и почти исключительной страстью души, очень важно любым способом увлечь сознание учащихся поисками того, что истинно (истина есть фактически мораль ума, точно так же как справедливость есть мораль души). Не менее важно пробудить в них любознательность, пылкое соревнование между ними, делая их как бы соучастниками рождения всех познаний, коими их собираются обогатить; *помогая им приобщиться в каждом из этих познаний к славе первооткрывателей*, ибо то, что относится к области всеобщего разума, не должно доставаться исключительно памяти, разум каждого индивидуума должен этим овладеть; тысячу раз доказано, что действительно познаешь, что ясно видишь только то, что сам открываешь...»

Талейран не боится применить этот метод упрощения, который должен двинуть вперед все умы к тому, что является наиболее спонтанным, наиболее неясным, наиболее необъятным: к изучению языка и истории. Он мечтает превратить французский язык в инструмент такой предельной точности, чтобы каждый ум благодаря только внимательности к содержанию слов был застрахован от ошибок. Строгое определение необходимых слов, исключение слов бесполезных или неточных поможет языку достичь ясности, строгости и универсальной силы воздействия, а совершенству этого общего инструмента создаст между всеми тружениками ума некое предварительное равенство.

«Революция внесла в нашу речь множество новшеств, которые останутся в ней навечно, поскольку они выражают либо пробуждают идеи такого огромного интереса, какой не может исчезнуть; и наконец-то у нас появится политический язык; но, чем возвышеннее и сильнее идеи, тем важнее придать точный и единый смысл знакам, предназначенным для их передачи, ибо из простой двусмысленности могут родиться пагубные ошибки. Вот почему достойно добрых граждан, как и здравомыслящих людей, тех, кого заботят равно царство мира и царство разума, помочь своими усилиями изгнать из французского языка расплывчатые и неясные обозначения, которые столь удобны для невежд и для нечистой совести и которые как бы поставляют совершенно готовое оружие для недоброжелательства и несправедливости. Эта глубоко философская проблема, которую нужно по возможности обобщить, потребует для своего полного разрешения много времени, серьезного анализа и поддержки общественного мнения. И поощрять разрешение этого вопроса — дело вполне достойное Национального собрания.»

Подобная проблема, к которой нас, естественно, привели появление и возможная опасность некоторых слов, связывается в нашем уме с другой задачей. Если французский язык обогатился новыми выражениями и если необходимо, чтобы смысл их был точно определен, то в то же время важно очистить его от *чрезмерного обилия слов, которые его обедняют и нередко искажают. Подлинное богатство языка состоит в возможности выразить мысль ярко, ясно, но при помощи немногих слов.* Необходимо, следовательно, чтобы устарелые раболопные формы, эти робкие, свойственные слабости предосторожности, эта гибкость уклончивого языка, который как бы боится, чтобы правда не открылась вся целиком, вся эта обманчивая, угодливая пышность, изобличающая нашу нищету, исчезли в языке простом, гордом и стремительном; ибо там, где мысль свободна, язык должен стать лаконичным и откровенным и одна лишь стыдливость имеет право сохранять свои покровы.

Пусть нас не обвиняют здесь в желании оклеветать язык, который в нынешнем его состоянии завоевал бессмертие благодаря своим шедеврам. Разумеется, гениальные люди повсюду сумели подчинить себе самый непокорный язык, или, вернее, они сумели создать свой собственный язык; но для этого потребовались вся смелость, вся отвага их таланта, а наш обиходный язык полностью сохранил отпечаток нашей слабости и наших предрассудков. Справедливо, и *это соответствует духу Конституции*, чтобы отныне достойно изъясняться на нашем языке не было более привилегией отдельных выдающихся людей; чтобы самый заурядный человек тоже имел право и возможность выразить свои мысли в благородных словах; чтобы французский язык очистился до такой степени, чтобы никто отныне не смел притязать на пустое красноречие, без мыслей; *чтобы язык, одним словом, приобрел для всех новый характер, чтобы он как бы закалился в свободе и равенстве.* Именно к этой цели, столь же философской, сколь и национальной, должен быть направлен отчасти труд новых учителей).

Какое странное смешение смелых или возвышенных взглядов и наивности, буржуазной ограниченности и человеческого благородства! Талейран глубоко осознал, что политическая и социальная революция охватила все стороны жизни, что она произвела революцию в самом языке.

И эта мечта о языке ясном, правдивом, универсальном, исполненном благородной простоты, который сразу бы просветил все умы и постепенно возвысил бы их до общего достоинства, была одной из прекраснейших грез человеческого общества.

Но сколько в ней ребячества, сколько химер! И как Талейран не видит, что самые определенные, самые точные слова будут искажены силой страстей и борьбой интересов, пока в обществе будет фактически существовать группы резко антагонистических интересов!

Тщетно надеяться на ясность, искренность, спокойствие слов, если в самой жизни людей бушуют беспорядок, ненависть и раздоры. В тот самый час, когда я пишу, когда я излагаю эти возвышенные мысли революционной буржуазии, решающие слова человеческого общества, рожденного Революцией, слова «справедливость», «свобода», имеют классовый смысл: капитализм под свободой подразумевает неограниченную экспансию капитала; пролетариат же понимает под этим словом уничтожение капитализма. Для одних слово «справедливость» означает дивиденды, для других — оно исключает их<sup>14</sup>.

Эта прекрасная надежда на язык, который примирил бы всех благодаря своей ясности, завершилась тем, что получился словарь, отчасти двусмысленный, в котором выявляются бесконечные противоречия в реальных значениях и социальной интерпретации одних и тех же слов. Сегодня вещи идут впереди слов, подобно тому как если бы люди дрались перед зеркалом; оно отражает яростно борющиеся тени, но неспособно их примирить.

Сам Талейран уже был смущен зарождающейся двусмысленностью словаря Революции, и он хотел вернуть слова к их буржуазному источнику, к их конституционной верности. Очевидно, когда он говорит об этих новых словах, чью двусмысленность, если их не уточнить до конца, могли бы использовать недоброжелатели и изменники, он имеет в виду все те слова: гражданин, демократия, народ, свобода, равенство, народный суверенитет и даже Права Человека, — которые демократы типа Робеспьера или Марата уже не истолковывали и не употребляли в том смысле, какой в них вкладывали умеренные конституционалисты.

Талейран опасался, что эти новые слова легко обретут новые значения, и он хотел бы, заимствуя выражение Барнава, «кончить Революцию» и в самом языке. Наивная попытка; столь же невозможно удержать первоначальный смысл, который выражали слова, как и зафиксировать в глубине вод первое отражение; в потоке революционных слов неясное изображение пролетариата начало затуманивать величественное и гордое отражение буржуазной мысли.

Но какую глубокую веру в свои силы, в справедливость своих принципов, в надежность первого претворения их в жизнь питала буржуазная мысль! Талейран от имени Учредительного собрания заявляет, что достаточно уточнить слова и очистить их от двусмысленности, чтобы идеи, умы, даже события сохранили первоначальный смысл, определенный членами Учредительного собрания.

Намечая эти буржуазные ограничения, готовясь исключить из нашего языка то, что я охотно назвал бы робеспьеровским духом,

14. Жорес предчувствует здесь поворку современной лингвистики: слова не имеют смысла, они име-

ют лишь употребление; они неизбежно вписываются в исторический и социальный контекст.

Талейран одновременно выражает отвращение и к духу аристократии и старого порядка. Все обороты, выражающие раболепие, неравенство, привилегии, должны были исчезнуть, но в то же время слова должны быть очищены от всякой демагогической тенденции.

Равновесие Конституции 1791 г., далекой как от кастового духа, так и от полной демократии, должно было найти свое выражение в языке, в его синтаксисе, откуда хотели устранить все следы рабства, и в его словаре, откуда хотели вырвать все корни демагогии. Странная претензия — остановить движение вечно текучего языка, удержатъ его в соответствии с недолговечной и уже находящейся под угрозой конституцией!

Но для того чтобы достигнуть подобной точности смысла слов, чтобы придать каждому из них четкое значение, не допускающее ни ограничений тирании, ни произвольного широкого толкования в демагогическом духе, необходимо максимально ограничить число слов. Как можно иначе дисциплинировать, упорядочить бесчисленное множество двусмысленных синонимов, расплывчатых выражений?

«Подлинное богатство языка состоит в возможности выразить все при помощи немногих слов». Нам кажется, что мы уже слышим, как тщательно изгоняются эти торопливые, беспорядочные слова, которые романтизм возродит и призовет вновь и которые хлынут широким, живописным и пестрым потоком к выступам их средневековых домов, к порталам их соборов. Кажется, будто Талейран подает тут сигнал борьбы, которая разгорится позднее между революционным классицизмом и романтизмом, вначале реакционным. «Романтизм побежден!» — воскликнет классик Бланки, отбрасывая прочь свое ружье однажды вечером в июльские дни 1830 г.

И тут появляются выученики Тэна, которые спешат заявить, что, мол, Революция — это наивысшее усилие абстрактной идеологии и что она завершает работу по упрощению и обеднению языка, идей и институтов, начатую классическим духом. Пусть они, однако, не торопятся. Ибо Талейрана прежде всего волнует опасность усложнения, которое Революция вносит в язык. Она отнюдь не напоминает дровосека, обрубающего топором пышно растущие ветви, он боится, напротив, он боится, как бы она не привила тем же словам — народ, демократия, свобода, суверенитет — слишком много разных значений, заимствованных к тому же из вызывающих тревогу источников. Он боится, что в одном и том же слове соединятся и смешаются значения буржуазные, легальные, конституционные и значения народные, демократические, демагогические, анархические. Итак, Революция в столь малой мере является причиной обеднения языка, что революционная буржуазия опасается, как бы сложная и переменчивая жизнь слов не захлестнула и не опередила ее, подобно зыбкой и сложной жизни самого

народа. Талейран принимает меры предосторожности именно против избытка революционного богатства, против демократического обилия.

Впрочем, если он и считает, что политический словарь должен быть строго определен, то он чувствует также, что Революция, воодушевляемая всеми силами национальной жизни, непременно должна воскресить народные, свободные слова, изгнанные из языка сухой классикой; в этом смысле он романтик, если мне будет дозволено употребить это название до его рождения. Он является романтиком и тогда, когда хочет открыть французский язык воздействию других современных языков, когда хочет обогатить его всем лучшим, что имеется в сильных языках, всеми образами сильных народов.

*«Наш язык, — сказал он [и это для него основное положение, формулировку которого он сам подчеркивает], — потерял большое количество энергичных слов, запрещенных вкусом, не столь утонченным, сколь изнеженным: их необходимо вернуть! Древние языки и некоторые современные богаты сильными выражениями, смелыми оборотами, очень подходящими для наших новых нравов; нам надо их перенять; французский язык засорен двусмысленными словами и синонимами, неуверенными и растянутыми конструкциями, пустыми и раблепными выражениями; от них надо избавиться».*

А ведь в этом — вся лингвистическая программа Гюго. Члены Учредительного собрания хотели защитить лексику и синтаксис Революции от Робеспьера, который искажал, на их взгляд, смысл слов, придавая им двусмысленное значение, служившее приманкой для толпы. Но они призывали себе на помощь Гомера, Лукреция, Тацита, Рабле, Монтеня, Шекспира, Шиллера, Гёте и Клопштока, и для колоссального обновления жизни они заимствовали краски и образы у всех языков и у всех времен.

Романтизм берет свое начало в Революции, и после временного пренебрежения он признал в ней свои глубокие истоки. Бесцветный и блеклый язык не в силах выразить даже после окончания грозы страсти и мечты столь глубоко потрясенного общества. И если Талейран считал, что управление человеческими обществами требует ввести в обиход замечательно точный и ясный язык, то он понимал также, что даже в границах конституции совершенно новое бурление жизни требовало пламенных и сильных слов, которые отражали бы всякое проявление энергий, в которые минувшие века вдохнули бы свой жар.

Точно так же как в тот период буржуазная Революция ограничивала себя привилегией активных граждан, но все равно, призывая миллионы людей к осуществлению верховной власти, соприкасалась с жизнью народной, так и литературная и лингвистическая концепция Талейрана наполняла смысл политических слов буржуазным содержанием, однако признавала и необъятную, бурлящую, народную, кипящую страстями жизнь новых времен.

Холодноватое здание Конституции 1791 г. озарялось отраженным светом, излучаемым со всех сторон революционной страстью; оно освещалось также далекими всполохами античной свободы, жаркими красками французского Возрождения, могучим блеском Шекспира, меланхоличным и мечтательным светом Германии Вертера<sup>15</sup>.

Заря, осветившая вершины новых свобод, преодолела столько горизонтов, что самый простой из ее лучей при соприкосновении с взволнованными душами распадался на бесконечное множество пылающих оттенков. Талейран в своем стройном и одновременно блестящем проекте сочетал классицизм с романтизмом. Его доклад представляет собой как бы литературный манифест, поразительно обширный, ибо он несет в себе всю мощь Революции, из которой, правда, исключены принципы абсолютной демократии.

Им владеют, когда речь идет о языке Революции, сразу две тенденции, внешне противоречивые, впрочем, спорившие друг с другом в продолжение всей Революции: стремление к общечеловеческой универсальности и стремление к пылкой национальной жизни. Он мечтает, подобно Лейбницу, об универсальном языке, который облегчил бы общение между всеми людьми, и одновременно он хочет, чтобы французский язык вобрал в себя, подчинив их своему духу, все богатства других народов, богатства слов, чувств, образов, переплавив и преобразив их в национальном горниле.

Талейран воспринимает историю как урок, как пример, и тем самым он ее действительно упрощает и организует. Он подводит ее к изучению средств, с помощью которых возможно защитить свободу или расчистить ей путь, и, таким образом, длинная цепь событий, изложенных в чисто нравственном духе, приводится в связь с Декларацией прав человека, словно притянутая магнитом. «Общество должно наконец зажигать людей *примером*, и это могучее средство оно должно искать именно у *истории*, ибо гордость человека никогда не позволит ему искать его у своих современников. Какая же история будет достойна выполнить эту моральную задачу? Конечно, ни одна из тех, что ныне существуют; то, что нам осталось от истории древних, предлагает нам драгоценные для свободы фрагменты, но это всего лишь фрагменты, они чересчур отдалены от нас, их не оживляет никакой национальный интерес, а наше долгое порабощение слишком приучило нас причислять их к сказкам. Наша же история, такая, какой она была написана, почти повсюду повествует лишь о рабском подчинении злоупотреблениям, она является плодом слабости, сочиненным на глазах, зачастую под диктовку тиранов; но та же самая история, в том виде, как ее воспринимают в данный момент, может стать неисчерпаемым источником самых высоких моральных поучений.

Пусть же отныне, сделавшись достойною своего высокого назначения, она станет историей народов, а не маленькой кучки *вождей*; пусть, вдохновляемая любовью к людям, глубоким сочув-

*ствием к их правам, священным почтением к их несчастьям*, она разоблачает преступления, о которых повествует, пусть, никогда не поддаваясь лести, никогда не становясь соучастницей преступлений из пустого страха, она осуждает даже знаменитых, коль скоро знаменитые окажутся лишенными добродетели; пусть благодаря истории безмерная благодарность будет обеспечена тем, кто мужественно служил человечеству, и вечный позор падет на голову всякого, кто пользовался своей силой лишь для того, чтобы творить зло; пусть в море прослеженных ею фактов она остерегается искать права человека, которых там заведомо нет; но пусть она ищет и обнаруживает в них средства для защиты этих прав, которые всегда можно отыскать; пусть для этого, жертвуя всем тем, что время должно поглотить, что не оставит после себя следа, всем тем, что ничтожно с точки зрения разума, она ограничится тем, что будет отмечать все шаги, все усилия, направленные к добру, к социальному совершенствованию, которыми отмечено столько эпох; а также пусть разоблачает многочисленные заговоры всякого рода против человечества, замышлявшиеся с такой последовательностью и с такой глубиной и осуществлявшиеся с таким возмутительным успехом; пусть, одним словом, к повести о том, что происходило, непрерывно примешивается побуждающее к действию понимание того, что должно было быть; *тем самым история будет сокращена и возвеличена*; она уже не будет больше бесплодным вымыслом; она станет моральной системой; прошлое связывается с будущим, и, учась жить у тех, кого уже нет на свете, мы извлекаем пользу для счастья людей даже из долгого опыта ошибок и преступлений».

Очевидно, эта чисто моральная концепция истории, полностью ориентирующаяся на Французскую революцию, в некоторых отношениях является искусственной и узкой. История для нас — поучение; но она также и зрелище: красочное полотно человеческих страстей и великой драмы жизни. Что общего с «моральной системой» у великолепных картин лагеря варваров, нарисованных Шатобрианом, и кто захотел бы их стереть?

15. Идеологический конфликт не мог не отразиться на языке. В первые годы Революции французский язык явно претерпел глубокие изменения. Ассоциируясь с идеями *возрождения, прогресса, социальной пользы, счастья*, смысл некоторых слов, усиленный надеждой и страстью, приобрел временно (*аристократ, деспот, тиран, феодализм...*) или же надолго (*нация, отечество...*) волнуемую силу. Народная речь на какой-то период засорилась

классический язык. Но в конце концов преобладающая одержала верх. Большинство революционеров, воспитанных в коллежах, тянулись к заклепанным словам; они обернули себе на пользу словарь катехизиса или франкмасонов. Когда минуло десять лет Революции, отклонения от языка, осужденные как приметы якобинского и санкюлотского духа, становятся все более и более редкими.

Кроме того, было бы неестественно сводить драму истории к борьбе добра и зла, благодетелей и злодеев человечества. Человечество медленно высвобождается из хаоса животных страстей, и нередко нужна была сила, чтобы укротить и дисциплинировать силу; понятия кроткой морали и права, заимствованные у недавних эпох человеческой жизни, не могут быть применены к прошлому, к прошлому в целом, не приведя к страшному его искажению. И как воспользоваться для новых времен даже примерами доброты и гуманности, которые может предложить нам далекое прошлое? Наша деятельность протекает в совершенно иных условиях; поэтому если к нам и долетит мощное дыхание энтузиазма и гордости из глубины веков, то это дыхание, переменчивое, блуждающее, может заставить трепетать паруса нашего судна, но не понесет его вперед. И наконец не только деятельность людей определяет ход истории: у институтов есть своя логика; климат тоже оказывает влияние; огромные потрясения народов и рас имеют неизбежные последствия; а Талейран, как это ни странно, забывает об «Опыте о нравах» Вольтера и «Духе законов» Монтескье. Но, несмотря на все, эта моральная и революционная концепция истории была плодотворной. Для того чтобы с увлечением отдаться прославлению не вождей, а страданий народа, историк неизбежно вынужден тщательно изучить последовательные условия человеческой жизни, ее нравы, институты, а сила моральной страсти вдыхает в повествование жизнь и краски. Все выдающиеся французские историки XIX в., даже те, кто в основном были художниками и поэтами, сотворили из истории моральную и политическую систему. Огюстен Тьерри, который нарисовал яркую картину варварских времен, в то же время понимал историю как медленный рост и возвышение третьего сословия<sup>16</sup>. Мишле отождествлял себя с самой душой Франции, которую он рассматривал как постоянную силу, страстно стремящуюся к свободе<sup>17</sup>. Итак, с точки зрения Революции история, несмотря на ее несколько отвлеченный моральный идеализм, несла в себе начало страсти, откуда и забили ключом самые богатые источники дальнейшего развития; множество мертвецов было вызвано к жизни той же силой, тем же пламенем, какие призывали массы живых к свободе.

## ПЛАН КОНДОРСЕ

Доклад Талейрана является величественным духовным завещанием, которое Учредительное собрание оставило Законодательному собранию. Учредительное собрание не имело времени обсудить его, но оно его приняло восторженно и постановило раздать его членам нового Собрания. Именно Кондорсе принял из рук Талейрана этот факел, и пламя его вдруг разгорелось еще ярче

и вознеслось еще выше. Время, истекшее между докладом Талейрана, зачитанным в Учредительном собрании в сентябре 1791 г., и докладом Кондорсе, зачитанным в Законодательном собрании в апреле 1792 г., отмечено быстрыми успехами Революции, демократии и свободной мысли.

Как и Талейран, Кондорсе желает, чтобы образование стало всеобщим, чтобы всем был обеспечен минимум знаний, над которыми будут возвышаться более высокие знания. Как и Талейран, он не хочет, чтобы человеческий ум мог быть скован, и предвидит для него безграничное развитие; но он в более сильных и более решительных выражениях, чем Талейран, говорит о равенстве в образовании и о способности человеческого рода к безграничному совершенствованию. «Мы думали, что при составлении этого плана общей организации нашей первой заботой должно быть следующее: сделать образование, с одной стороны, и равным для всех, и всеобщим; а с другой стороны, настолько полным, насколько позволяют обстоятельства; что необходимо дать равно всем то образование, какое можно распространить на всех, но не отказывать никакой части граждан в более высоком образовании, к которому невозможно приобщить всю массу индивидуумов; установить первое, ибо оно полезно для тех, кто его получает, и второе, ибо это будет полезно даже для тех, кто его не получает.

Поскольку первое условие любого образования состоит в том, чтобы обучать только истине, учреждения, предназначенные для этой цели общественной властью, должны быть как можно более независимыми от всякой политической власти; и поскольку тем не менее эта независимость не может быть абсолютной, то из этого вытекает, что следует поставить их в зависимость только от Собрания народных представителей, ибо из всех видов власти оно наименее подвержено коррупции, наименее доступно вовлечению его в круг частных интересов, наиболее подчинено влиянию общего мнения просвещенных людей, а особенно потому, что, так как от него в основном исходят все перемены, оно, следовательно, наименее враждебно прогрессу знаний, наименее противится улучшениям, к которым должен привести этот прогресс.

И наконец, мы убедились, что образование не должно кончатся для людей в момент, когда они покидают стены школы, что оно должно охватывать все возрасты, что нет ни одного возраста,

16. Augustin Thierry. Récits des temps mérovingiens (1840); Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers État (1850).

17. См. предисловие к «Histoire de France» (1833—1867), написанное Мишле в 1869 г. «Этот кропотливый труд, плод почти сорокалетней работы, был задуман в один

миг, при вспышке июля. В те памятные дни зажегся ослепительный свет и я увидел Францию... Это была гигантская работа над собой, когда Франция благодаря собственному прогрессу шагала вперед, преобразовывая все свои первоначальные элементы... Франция сотворила Францию... Она — дочь своей свободы».

которому не было бы полезно ученье и который был бы неспособен к нему, и что это дальнейшее обучение тем более необходимо, чем более узкими рамками было ограничено образование, полученное в детстве. В этом и заключается одна из причин невежества, в котором прозябают сегодня бедные классы общества; возможности сохранить преимущества начального образования у них было еще меньше, нежели получить его.

Мы бы хотели, чтобы ни один человек в нашем государстве не мог отныне сказать: «Закон обеспечил мне полное равенство в правах, но отказал мне в возможности познакомиться с этими правами. Я должен зависеть только от закона, а между тем мое незнание делает меня зависимым от всего, что меня окружает. Правда, меня в детстве обучили всему, что мне необходимо было знать; но, поскольку я был вынужден трудиться, чтобы жить, эти начатки знаний вскоре выветрились из памяти и у меня осталось лишь горькое сознание моего невежества, в котором виновата не природа, а несправедливость общества».

Мы рассчитывали, что общественная власть должна сказать бедным гражданам: состояние ваших родителей позволило вам овладеть только самыми необходимыми знаниями, но вам обеспечат доступные вам средства их сохранить и расширить. Если природа наделила вас способностями, вы сможете их развить и они не будут потеряны ни для вас, ни для отчизны.

Итак, образование должно быть всеобщим, то есть распространяться на всех граждан. Оно должно распределяться совершенно равномерно, насколько это допускают неизбежные лимиты расходов, распределение населения по территории страны и большее или меньшее время, какое дети могут посвятить учению. Образование должно на всех своих ступенях охватывать всю систему человеческих познаний и обеспечить людям всех возрастов возможность сберечь свои познания и приобрести новые.

И наконец, никакая общественная власть не должна иметь возможности, прибегнув к силе либо своему влиянию, помешать внедрению новых истин, а также преподаванию теорий, противоречащих ее особой политике или ее быстро преходящим интересам».

Очевидно, Кондорсе больше всего волнует следующий вопрос: кто будет руководить национальным образованием? С одной стороны, очень нужно, чтобы нация вмешивалась в это дело, ведь именно она строит школы и платит учителям, именно на ней лежит долг обучать и воспитывать всех граждан, и она не может полностью устраниваться от дела образования, которое предоставляется от ее имени. Но, с другой стороны, если политическая власть, временный исполнитель народной воли, сочтет, что в ее интересах подавить какую-нибудь истину, то позволительно ли выдать ей эту истину без защиты? Из самой постановки этой проблемы ясно вытекает невозможность ее окончательного решения. Как бы ни была сложна система гарантий, призванная обеспечить

индивидуальную свободу учителя, безграничную свободу шагающей вперед науки, не порывая связи между национальным образованием и самой нацией, в ней всегда окажется слабое место; и, по правде говоря, в первую очередь именно нравы, царящие при духовной свободе, распространенное повсюду сознание достоинства науки и права мысли могут помешать как попыткам политической власти подавлять истину, так и попыткам учителей унижать более, чем того требует истина, власти, у которых они находят уважение к свободе. Кондорсе предполагает привлечь к назначению учителей для двух первых ступеней обучения преподавателей учебных заведений более высокой ступени, муниципалитеты и отцов семейств. Члены стоящего во главе всей этой системы Национального общества наук и технических искусств, то, что мы ныне называем Институтом, избираются самими учеными из своей среды; профессора для учебных заведений, которые мы именуем сегодня высшими, будут избираться по открытому конкурсу, назначаемому этим обществом.

Следовательно, для первых ступеней образования Кондорсе отводит, если можно так выразиться, влиянию нации, политической власти больше места: муниципалитеты, политические власти призваны играть большую роль в назначении учителей. Что касается начальных школ, то в проекте декрета уточняется, что «учебники будут составляться на основе наилучших методов преподавания, указанных нам прогрессом науки, и в соответствии с принципами свободы, равенства, чистоты нравов и преданности общественному делу, освященных Конституцией».

В отличие от этого для наивысшей ступени, для того, что сегодня соответствует так называемому Институту и высшему образованию, ученые вербуют своих членов, так сказать, самостоятельно, без иного контроля, кроме просвещенного мнения Европы, и остается неясным, как «представители нации» могли бы вмешиваться в это дело. В этом пункте проект Кондорсе натолкнется на неодолимое сопротивление, и действительно кажется, что он ущемляет государство, орган нации, в пользу некой академической олигархии, которая может сделаться исключительной и нетерпимой. Трудно установить равновесие в этом вопросе. Две мысли вдохновляли Кондорсе. Прежде всего, он был знаком не только с науками, но и с историей наук, с путями их эволюции, с их непрестанной борьбой против сил угнетения и мрака, и он не хотел, чтобы интересы кратковременного политического учреждения в его определенной форме, как и всякого учреждения, могли на какое-то время задержать вечное движение мысли. И во-вторых, на том этапе развития, на каком находилась Революция в 1792 г., ей не приходилось уже опасаться церковного обучения, поскольку конгрегации были упразднены, а церковь подчинена закону народных выборов. Но она могла опасаться того, что королевская исполнительная власть, злоупотребив опасной прерогативой, пре-

доставленной ей конституцией, постарается остановить развитие умов, навязать, к примеру, как непререкаемую догму право *вето* или самую королевскую власть. И мог ли великий философ допустить, чтобы конституция была представлена детям как законченный монумент в тот самый час, когда демократы мечтали изменить эту конституцию? Кондорсе пришлось разрабатывать свой проект народного образования в тот момент, когда Революция жила тревожным предчувствием надвигавшихся преобразований. Вот почему в плане Кондорсе преобладала забота о том, как прежде всего защитить свободу критики, бесконечную способность к развитию человеческой мысли, вечную изменчивость идей и фактов.

*«Ни французская Конституция, — решительно заявлял Кондорсе, — ни даже Декларация прав не будут представляться ни одному классу граждан как сошедшие с небес скрижали, которые надо боготворить и которым надо слепо верить. Их энтузиазм будет основан отнюдь не на предрассудках или привычках детства; и им можно будет сказать: «Эта Декларация прав, которая учит вас одновременно тому, что вы обязаны давать обществу и чего вы вправе требовать от него, эта Конституция, которую вы должны защищать ценой вашей жизни, являются лишь развитием простых принципов, продиктованных природой и разумом, чью вечную истину вы научились понимать еще в первые годы своей жизни; до тех пор пока будут существовать люди, которые не подчиняются одному лишь разуму, которые живут чужим умом, напрасно разбивать свои оковы, даже если бы эти чужие мнения оказались полезными истинами; все равно род людской остался бы разделенным на два класса: на людей рассуждающих и на людей верующих, на класс господ и класс рабов».*

Восхитительный идеализм, приписывающий рабство или свободу самому разуму, смотря по тому, способен он или неспособен оправдать перед самим собой свою веру.

Восхитительный идеализм, применяющий критику разума к самому разуму, который обязывает разум без конца проверять сами основы всего социального порядка, которые, как предполагается, покоятся на разуме.

Но недостаточно напоминать о моральных истоках Декларации прав человека; недостаточно сопоставлять ее с принципами достоинства и свободы, определенным выражением которых она является. Необходимо предвидеть, что те же принципы могут быть и по-другому применены, и так до бесконечности. И для того чтобы государство могло легко разрешать распространение новых истин даже в сфере народного просвещения, для того чтобы оно могло уважать свободу и чтобы это не выглядело так, будто оно отрывается от самого себя, нация, по мнению Кондорсе, должна сама назначать преподавателей высшей школы через посредство Национального общества наук и технических искусств, которое само пополняет свои ряды.

«Эта независимость от любой посторонней власти, какую мы создали для народного образования, не должна пугать никого, поскольку всякое злоупотребление будет немедленно пресечено законодательной властью, которой непосредственно подчинена вся система просвещения... Независимость народного образования олицетворяет в известном смысле часть прав человеческого рода. Поскольку природа одарила человека способностью к совершенствованию, чьи пределы, если они и существуют, необозримы и превосходят пока границы нашего понимания, поскольку познание новых истин — единственное для него средство развивать эту счастливую способность, источник его счастья и его славы, то какая власть была бы вправе сказать ему: «Вот все, что вам надлежит знать, вот граница, где вы должны остановиться»? Поскольку одна лишь истина полезна, а всякое заблуждение — зло, то по какому праву власть, какова бы она ни была, посмела бы определять, где истина, а где заблуждение?

К тому же власть, которая запретила бы излагать при обучении мнения, противоположные тем, которые послужили фундаментом для установленных законов, тем самым непосредственно посягнула бы на свободу мысли, пришла бы в противоречие с целью любого общественного института, с совершенствованием законов, всегда рождающихся из столкновения мнений и из прогресса знаний...

С другой стороны, какая власть могла бы предписать преподавание доктрины, противоречащей принципам, которыми руководствовались законодатели?

Итак, неизбежно можно очутиться перед выбором: либо суеверно почитать существующие законы, либо пойти на прямое посягательство на эти законы, которое, будучи совершенным от имени одной из первых властей, учрежденных этими законами, могло бы поколебать уважение граждан; стало быть, остается лишь одно средство: полная независимость мнений *во всем том, что выходит за пределы начального образования*. Тогда только добровольное подчинение законам и изучение средств исправления недостатков последних, выправления их ошибок, смогут существовать совместно так, чтобы свобода мнений не вредила общественному порядку, чтобы уважение к закону не сковывало умы, не тормозило прогресса знаний и не освящало заблуждений. Если бы потребовалось доказать, как опасно подчинять образование властям, мы привели бы в пример те народы, наших наставников во всех науках, индийцев и египтян, чьи древние познания поражают нас по сей день, чей человеческий разум добился огромных успехов в столь отдаленные времена, что мы не в состоянии даже точно определить их, и которые впоследствии впали в отупление самого постыдного невежества, именно тогда, когда религиозная власть присвоила себе право учить людей. Мы приведем в пример Китай, некогда далеко опередивший нас в науках и искусствах и где пра-



вительство неожиданно остановило прогресс, продолжавшийся тысячи лет, сделав народное образование одной из своих функций. Мы отметили бы упадок, в какой были ввергнуты внезапно разум и гений у римлян и греков, после того как они достигли наибольших высот славы, только потому что народное просвещение перешло из рук философов в руки жрецов. Остережемся же следовать этим примерам и делать то, что может помешать свободному развитию человеческого духа. Как далеко бы он ни шагнул, но, если какая-либо власть преграждает путь его прогрессу, ничто не может гарантировать даже от возврата самых грубых заблуждений; человеческий разум не может остановиться, не повернув вспять, и с того момента, когда ему укажут на предметы, которые ему запрещено изучать и о которых он не вправе судить, этот первый предел, воздвигнутый для его свободы, должен породить опасение, что вскоре не будет предела его порабощению. (*Аплодисменты.*)

*К тому же сама французская Конституция считает эту независимость нашим неукоснительным долгом. Она признала, что нация имеет неотъемлемое и неизбывное право улучшить все свои законы, следовательно, она желает, чтобы в национальном образовании все было подчинено строгому рассмотрению. Она не издала ни одного закона, который нельзя было бы отменить по прошествии 10 лет после его обнародования, следовательно, она желала, чтобы принципы всех законов могли подвергаться обсуждению, чтобы все политические теории могли изучаться и оспариваться; чтобы никакая система социальной организации не представляла собой объект суеверного культа, который принимается с энтузиазмом или в силу предрассудков, но чтобы все эти системы предлагались разуму в виде различных комбинаций, среди которых он вправе выбирать; и разве можно было бы уважать эту неотъемлемую независимость народа, если бы позволили себе поддерживать какие-нибудь личные мнения всем тем авторитетом, какой им может придать всеобщее образование? И разве власть, которая присвоила бы себе право выбирать эти мнения, фактически не узурпировала бы часть национального суверенитета?»*

Необходимо сохранить этот великолепный дух живительной свободы и вечных исканий; в народном образовании не должно быть ни одной идеи, которая не подвергалась бы критике, непрестанному пересмотру человеческим разумом. В нем не должно оставаться ни одной запертой двери; напротив, каждая истина, каждый ум должны быть открыты для обновляющей их жизни, для преобразующей их вечно меняющейся действительности. Не должно быть ни единой философской, политической, научной, социальной догмы; господствовать должен один только разум. Каждый, будь то индивидуум, или корпорация, или государство, кто не воспримет именно так народное образование, каждый, кто не поставит выше своих мнений сам разум, изменит истине и посягнет на умственное развитие.

Но если вдохновение Кондорсе, в общем, великолепно, если мы все и всегда должны взять себе за правило эту исключительную заботу об истине, то мы не уверены в том, что Кондорсе нашел столь верно организацию, которая и в самом деле наилучшим образом обеспечила бы свободу и прогресс духа. Те, кто попытается употребить во зло его слова, дабы потребовать свободу образования для церкви, придут в вопиющее противоречие с его мыслью. Теоретически церковь, которая сковывает разум своими догмами, является живым отрицанием того духа свободы, торжества которого хочет Кондорсе. И фактически, повторяю, во времена Кондорсе вопрос этот даже не ставился. Католические полемисты, старающиеся защитить закон Фаллу<sup>18</sup>, ссылаясь на Кондорсе, допускают одновременно философский ляпсус и исторический подлог. Но прав ли был Кондорсе, опасаясь в равной мере как тирании правительства, так и тирании церкви? Конечно, пример всех правительств на протяжении века — Наполеона, Реставрации, Луи Филиппа, буржуазной Республики — доказал, что в народном образовании мысль часто наталкивалась на запреты, а дух на преграды. Стало быть, подлинная проблема состоит в том, чтобы внушить демократии растущую потребность в свободе; заставить ее понять, что в ее собственных интересах, так же как и в интересах развития человечества, все идеи, все доктрины должны излагаться в государственной системе образования при одном только условии, а именно чтобы они диктовались исключительно разумом и чтобы они воздействовали только на разум. Однако Кондорсе, вместо того чтобы поставить, если можно так выразиться, проблему свободы внутри государства, старается уйти от государства. Он мечтает для отдаленного будущего о чисто индивидуальном образовании, которое будет осуществляться людьми свободными, ничем не связанными ни с церковью, ни с властью. Но он вполне отдаст себе отчет в том, что сейчас оттеснение нации лишь представит свободу действий любым суевериям и любой тирании.

«Настанет, без сомнения, время, когда ученые общества, учрежденные властью, станут излишними и, следовательно, даже опасными, когда вообще всякое общественное учебное заведение станет ненужным. Это будет время, когда не придется опасаться никаких общих заблуждений, когда потеряют свое влияние все причины, ставящие интересы или предрассудки на службу страстям; когда

18. Закон Фаллу, названный так по имени его инициатора и принятый 15 марта 1850 г. Законодательным собранием, предоставлял свободному обучению почти полную независимость и, наоборот, ставил Университет под контроль административных и религиозных властей. Любой француз, достигший двадцатипятилет-

него возраста, мог открыть среднее учебное заведение, при условии, что он сделает об этом соответствующее заявление и предъявит диплом бакалавра. Закон не требовал звания учителя от преподающих в частных школах лиц и ничего не говорил о религиозных конгрегациях.

свет знаний будет распространяться равно во всех местностях одной и той же территории и во всех классах одного и того же общества; когда все науки и их практическое применение будут одинаково избавлены от ига всех суеверий и очищены от яда лживых доктрин, когда, наконец, каждый человек обретет в своих собственных знаниях, в правоте своего разума достаточное оружие, чтобы отвергнуть все уловки шарлатанства; это время, однако, еще далеко, наша цель состоит в том, чтобы его подготовить, ускорить его пришествие; и, работая над созданием этих новых учреждений, мы должны неустанно трудиться над тем, дабы ускорить счастливое мгновение, когда эти учреждения станут ненужными.

Какая радужная мечта об индивидуализме, об интеллектуальном и научном «анархизме»! Нет больше власти над образованием: ни церкви, ни государства, ни научных обществ; истина вытекает из недр каждого ума, будто из родника, и возвращается в каждый ум, будто в резервуар; каждый интеллект непосредственно соприкасается с реальностью, и никакой покров суеверий, никакая тирания правительства, даже никакой престиж славы не встанут между свободной мыслью и вселенной; *знание развивается само по себе, передаваясь от одного ума к другому только в силу его ценности; все различия в уровне развития классов будут уничтожены до такой степени, что истина будет передаваться от одного ума к другому не путем принуждения и давления, а будет распространяться от сознания к сознанию путем легкого и мягкого общения, без перепадов, водоворотов и мутной пены; это самая возвышенная мечта о мыслящем и свободном человечестве, какой один человек поделился с другими людьми.*

Именно крестьян, вчера еще прозябавших в рабстве, в презрении, во мраке, именно пролетариев из предместий, великодушных, но не просвещенных, призывает Кондорсе в своих широких мечтаниях к свободному братскому общению с наукой и мыслью; это философия, которая хочет целиком принадлежать всем, которая хочет всех людей превратить в избранных. Какое величие надежды и веры, какой благородный призыв к униженным не терпеть долее в религиозном смирении свою социальную приниженность, но, наоборот, подняться до таких высот, где выше их будет царить одна лишь истина!

Дабы подготовить осуществление этой великой мечты, Кондорсе начинает, не откладывая, освобождать истину, насколько это возможно, от любого принуждения, от всяческих пут. Но каково бы ни было его недоверие к политической власти, к правительственным институтам, он вынужден все же сделать народное образование национальным. И когда он, казалось, освобождает от воздействия правительства высшее национальное общество, которое само пополняет свои ряды, я не совсем уверен в том, что он тем самым создает решающие гарантии для свободы истины; кастовый и групповой дух академий, которые сами пополняют свои ряды

и которые иногда явно обнаруживают признаки старческой дряхлости, в гораздо большей мере противоречит смелости истины, чем это когда-либо было в государственном Университете, куда, несмотря ни на что, всегда притекают свежие силы. Подлинной проблемой, стало быть, остается следующая: как организовать свободу в рамках самой системы национального образования.

Свобода не должна быть придатком к жизни нации, прибежищем, где будут скрываться те, кого тиранит государство: свободой должно быть проникнуто само светское государство, осуществляющее обучение. Однако недоверие Кондорсе ко всему, что парализует движение вперед, его старания всегда держать двери настежь открытыми для будущего свидетельствовали в 1792 г. о бурном взлете человеческого духа. Талейран, правда, предвидел развитие общественных наук; но он не дает, подобно Кондорсе, живого ощущения того, что мир движется вперед и что сама конституция, в которой Революция обобщила свои первые завоевания, является только временной. Талейрану Революция видится в образе неподвижного корабля, с которого взору открываются необъятные просторы, куда в один прекрасный день надо будет направиться. Для Кондорсе Революция—это корабль, плывущий вперед, чье движение и порыв воодушевляют смелость духа. Но какая же сила могла ожидать новых изменений и грядущего прогресса, если не пролетариат?

Так же, как и Талейран, только с большей определенностью, Кондорсе оттесняет античность с господствующего места, какое она занимала до сих пор, как античность языческую, так и античность христианскую. Мне кажется, что Кондорсе недостаточно чувствует силу красоты и разума, легко и неизменно проникающие в душу, которые присущи греческой и римской античности.

Но он прекрасно видел, что, для того чтобы понять и оценить подлинный дух произведений античности, они должны найти свое место в историческом ряду, должны быть объяснены и освещены духом своего времени, нравами и институтами, с которыми связано их происхождение. Он прекрасно видел и не раз говорил, что они не могут сегодня стать принципом воспитания, а лишь превосходным дополнением к воспитанию, и только для тех, чье сознание и понимание новой жизни уже сформировались.

И возможно, что с этой точки зрения Кондорсе вполне заслуживает быть причисленным г-ном Альфредом Кроузе к тем людям, которые подготовили историческое понимание и живое истолкование греческой литературы; в своем прекрасном введении г-н Кроузе обратил слишком мало внимания на революционные истоки этого явления<sup>19</sup>.

19. Alfred et Maurice Croiset. Histoire de la littérature

grecque. Paris, 1887—1893, préface par Alfred Croiset.

«И наконец, поскольку необходимо все сказать, поскольку все предрассудки должны сегодня исчезнуть, долгое, углубленное изучение древних языков, изучение, для которого необходимо чтение оставленных нам в наследство книг, было бы, пожалуй, более вредным, нежели полезным.

Мы стараемся, воспитывая, внедрять истину, между тем эти книги полны ошибок; мы стараемся развивать разум, а эти книги могут лишь ввести его в заблуждение.

Мы так далеки от древних, мы настолько опередили их на пути к истине, что надо иметь хорошо вооруженный разум, чтобы это драгоценное наследие могло его обогатить, не причинив ему вреда. Образцом искусства письма, красноречия, поэзии древние могут служить только для умов, уже укрепленных предварительным обучением. Какая польза, в самом деле, в образцах, которым нельзя подражать, не изучая непрестанно изменения, кои необходимо внести в них ввиду различия в нравах, языках, религиях? Демосфен обращался к собравшимся афинянам с трибуны; закон, принятия которого он добивался своей речью, одобрялся непосредственно нацией, затем списки его речи неторопливо распространялись среди других ораторов и их учеников.

Сейчас мы произносим речи не перед народом, а перед его представителями; и эти речи, распространяемые печатью, очень скоро получают столько холодных и суровых судей, сколько имеется во Франции граждан, посвятивших себя общественному делу. Если чье-либо увлекательное, пылкое, пленяющее красноречие и могло порою ввести в заблуждение народные собрания, те, кого оно обмануло, могли вынести решение только относительно своих собственных интересов. Их ошибки скажутся только на них самих, но представители народа, которые, увлекшись речью оратора, уступили бы, вынося решение, затрагивающее интересы других, иной силе, кроме силы своего разума, изменили бы своему долгу и вскоре потеряли бы общественное доверие, на котором только и зиждется всякое представительное правление. Таким образом, то же красноречие, столь необходимое при древних конституциях, при нашей таило бы в себе зародыш разрушительного разложения. Если в те времена было дозволено, возможно, даже полезно вызывать в народе волнение, то наша задача сегодня заключается лишь в том, чтобы просвещать его. Взвесьте все то влияние, которое изменения в форме конституций и изобретение книгопечатания могут оказать на законы искусства речи, и тогда уже решайте, следует ли предлагать молодежи в первые годы древних ораторов как образец».

Не знаю, удачно ли выбран пример Демосфена, у которого столь преобладала сила чистого разума; но в целом это, пожалуй, смелое применение исторического подхода к пониманию классических произведений древних; пример этот также свидетельствует о несокрушимой вере в новые времена.

*«Вы обязаны организовать для французской нации образование на уровне XVIII в., на уровне той философии, которая, просвещая современное поколение, подготавливает и даже предваряет развитие высшего разума, к которому неизбежный прогресс рода человеческого призывает будущие поколения. Таковы были наши принципы, и, следуя этой философии, избавленной от всех оков, освобожденной от всяких авторитетов, от всех старых обычаев, мы отобрали и классифицировали предметы для обучения народа». Это все тот же величественный призыв ко всем силам мысли: это как бы обильный и спокойный свет, под которым прорастают бесчисленные семена и который обещает им все возрастающую славу жизни.*

Подобно тому как живительное солнце торжится согнать с ветвей последние мертвые листья, вытесняя их прорастающими новыми, так и живительный свет Революции сбрасывает с дерева прежнюю великолепную, но уже мертвую листву и наливает соком новые почки. Великолепное и грустное зрелище прежних вещей может взволновать мечтательного человека, но только юные силы жизни восторжествуют в сияющем эфире.

Однако революционный прогресс, который претерпел план Кондорсе по сравнению с проектом Талейрана, имеет более определенные черты и более непосредственную ценность. Прежде всего, план Кондорсе начисто исключает из народного образования преподавание религии. Талейран оставлял в школе религию точно так же, как гражданское устройство оставляло ее в государстве. Он ее сделал, правда, зависимой, во всяком случае, не подчинил ей морали. И даже в преподавание «в школах для служителей культа» он незаметно внес рационалистическую тенденцию. «То, что вера есть дар бога, является католическим принципом, но было бы странно, злоупотребляя этим принципом, делать вывод, что разум не имеет ничего общего с изучением религии, ибо он тоже дар бога и является первейшим руководителем, данным им нам, чтобы вести нас в наших исканиях».

Но в конце концов религия, хотя и ослабленная, стесненная, контролируемая, все же продолжала существовать в системе образования. От имени комитета Законодательного собрания Кондорсе исключает ее полностью, делая ее только частным делом каждого.

«В школах и институтах будут обучать принципам морали, которые, будучи основаны на наших естественных чувствах и на разуме, в равной мере присущи всем людям. Конституция, признавая право каждого индивидуума выбирать себе религию, устанавливая полное равенство между всеми жителями Франции, не разрешает, однако, допускать в народном образовании такое преподавание, которое, оттолкнув детей части граждан, нарушило бы равенство в пользовании социальными благами и сообщило бы особым догматам преимущества, противоречащие свободе мнений. Вот почему строго необходимо отделить от морали принципы вся-

кой отдельной религии и не допускать в народном образовании преподавания каких-либо религиозных культов.

Каждому из них должны обучать в храмах их собственные священники. Тогда родители, какова бы ни была их вера, каково бы ни было их мнение о необходимости той или иной религии, смогут без чувства отвращения посылать своих детей в национальные учебные заведения, а общественная власть не будет посягать на права совести под предлогом просвещения и руководства ею.

Впрочем, разве не всего важнее строить мораль исключительно на принципах разума?

Какие бы изменения ни претерпевали взгляды человека в течение его жизни, эти принципы, построенные на такой основе, всегда останутся одинаково верными; они будут всегда неизменными, как и их основа; человек будет противопоставлять их попыткам, какие, возможно, будут делаться, дабы ввести в заблуждение его совесть, она же сохранит свою независимость и свою правоту; и мы не увидим более столь горестного зрелища людей, воображающих, будто они выполняют свой долг, нарушая самые священные права, и будто они служат богу, предавая свое отечество.

Те, кто еще верит в необходимость обосновывать мораль какой-либо определенной религией, должны сами одобрить это отделение, ибо они отнюдь не ставят в зависимость от своих догматов справедливость моральных принципов; они лишь думают, что люди найдут в них более сильные побудительные мотивы быть справедливыми, и разве эти мотивы не приобретут большей силы над умами, способными размышлять, если к ним будут прибегать только для подкрепления того, что уже подсказали разум и внутреннее чувство?

Разве можно утверждать, что идея этого отделения выше понимания народа при нынешнем уровне его познаний? Нет, конечно, ибо поскольку речь идет здесь о народном образовании, то терпеть заблуждения значило бы сделаться их соучастником; не провозглашать истину во весь голос значило бы ей изменять. И если бы даже было верно, что из политической предосторожности надо пока порочить законы свободного народа, если бы даже эту коварную или несостоятельную доктрину можно было извинить глупостью, какую некоторым угодно предполагать в народе, чтобы иметь предлог обманывать или угнетать его, то, уж во всяком случае, просвещение, которое должно привести нас к временам, когда эти предосторожности станут излишними, может служить одной только правде и должно служить ей безаветно».

Следовательно, с точки зрения Кондорсе, церковь не только следует отделить от школы, но это первое отделение должно ускорить полное отделение церкви от государства, полное устранение религии, которая станет делом совести каждого индивидуума и потеряет всякий официальный характер. Статья 6 проекта о начальных школах, обобщая эти смелые мысли, ясно говорит: «Закон

божий будет преподаваться в храмах соответственно священнослужителями различных вероисповеданий».

За шесть месяцев, истекших после доклада Талейрана, произошел большой сдвиг в сторону освобождения.

Но Кондорсе не ограничивается освобождением образования, даже начального, от всякого влияния религии; он не ограничивается тем, что официально предупреждает народ о том, что он должен искать все принципы духовной, моральной и социальной жизни вне религии. Он предусматривает народное образование более расширенное и более высокого уровня, нежели то было в докладе Талейрана.

Проект последнего предполагал только одну ступень народного образования, и очень скромного. В школе едва обучали читать, писать, немного считать, и ребенок должен был находиться в ней всего два года: он поступал в нее между шестью и семью годами и кончал между восемью и девятью.

Из всех этих детей, кончающих в возрасте восьми-девяти лет начальную школу, лишь отдельные единицы попадут в дистриктные школы, являющиеся продолжением начальных; фактически это были средние школы, в программу которых входило преподавание древних языков и которые будут доступны лишь для буржуазии. Талейран говорит об этом весьма ясно:

«Помимо начальных школ, в каждом дистрикте будут учреждены средние школы, открытые для всех, но предназначенные тем не менее самой природой вещей для небольшого числа учеников из начальных школ.

В самом деле, известно, что, закончив начальное образование, которое составляет общую долю достояния, распределяемого обществом среди всех, большое число учеников, гонимых нуждой, должны, не задерживаясь, вернуться к своему первоначальному состоянию; что те, кто по природе своей призван заниматься механическими искусствами, торопятся (за небольшим исключением) вернуться в родительский дом или устроиться на обучение в мастерские и что было бы настоящим безумием, жестоким благодеянием открыть доступ всем детям к более высоким ступеням образования, бесполезного, а следовательно, вредного для большинства».

Итак, по плану Учредительного собрания, когда дети от шести до восьми лет научатся читать и писать, общество больше не должно ими заниматься; оно дало им в руки в виде довольно элементарных и скудных знаний оружие, которое очень скоро, несомненно, испортится или будет сломано до срока, когда им могли бы воспользоваться. Общество не считало возможным идти дальше этого и тем самым еще более отдалить нетерпеливо ожидаемый момент, когда крестьянская семья сможет получить от ребенка помощь на ферме или когда рабочая семья сможет, будь то в маленькой домашней мастерской или на мануфактуре, начать приучать ребенка к промышленному труду.

Из плана Талейрана мы не только узнаем о том, что Учредительное собрание не стремилось к расширению народного образования, но и о том, что промышленное производство нетерпеливо ожидает, а жадный эгоизм отцов и матерей подстерегает ребенка, едва достигшего восьми лет, и, несомненно, настоятельно требуют его.

Комитет Законодательного собрания, представителем которого выступает Кондорсе, желает большего для детей бедноты и особенно для детей рабочих. Проект Кондорсе предусматривает две ступени народного обучения: сперва начальная школа, он ее так и называет, а за ней следует «вторичная школа», то, что мы сегодня называем высшей начальной школой.

В школе первой ступени, в начальной школе в собственном смысле слова, которую будут посещать все, обучение будет длиться уже не два года, как предусматривалось планом Учредительного собрания, а четыре:

*«Статья 3. Обучение в начальных школах будет разделено на четыре этапа, которые ученики будут проходить последовательно».*

Поскольку дети не могут поступить в школу раньше шести лет, они будут обучаться в ней с шестилетнего до десятилетнего возраста. Правда, закон не предписывает обязательного обучения. Революция боялась, что ее обвинят в посягательстве на индивидуальную свободу, а также того, что она натолкнется на сопротивление родителей.

Талейран устранил из своего доклада всякую мысль об обязательном обучении, предписанном законом. «Нация предоставляет всем великое благо образования, но она никому его не навязывает. Она сознает, что каждая семья тоже представляет собой начальную школу, которую возглавляет отец... Она полагает, она надеется, что истинные принципы незаметно возобладают в семьях и изгонят из них предрассудки всякого рода, наносящие вред домашнему воспитанию; тем самым нация будет уважать извечные обычаи природы, которые, предоставляя родительской нежности заботу о счастье детей, оставляют за отцом право решать, что для них важнее всего... Она избавит себя от ошибок той суровой Республики [Спарты], которая оказалась впоследствии вынужденной разрушить семейные узы». Ну а если «родительская нежность» лишает ребенка всякого образования, всяких знаний? И какой толк от того, что нация сделала образование «доступным для всех», если отец и мать не желают его для своего ребенка, если они преграждают ему путь к общему свету? Замечу, что по вопросу об обязательном обучении Кондорсе хранит полное молчание. Он как бы избегает затрагивать эту тревожную проблему, и после доклада Талейрана его молчание знаменательно. Он, по видимому, не считает даже возможным, чтобы варварство родителей могло лишить детей образования, организованного для

них нацией, и он так настойчиво повторяет, что оно должно быть всеобщим, что, несомненно, надеется, что сила обычаев восполнит в этом отношении молчание закона. Итак, все дети остаются в начальной школе до десятилетнего, а не только до восьмилетнего возраста. Следовательно, Кондорсе отодвигает их вступление в мастерские с восьми- до десятилетнего возраста. «Этот четырехлетний срок, позволяющий удобно распределить материал для школ, где можно держать только одного учителя, соответствует также довольно точно промежутку времени, которое для детей из самых бедных семей проходит между возрастом, когда они становятся способными к обучению, и тем, когда их уже можно занять полезным трудом, регулярным обучением ремеслу». За эти четыре года «в начальных деревенских школах их научат читать и писать. Их обучат четырем действиям арифметики, они получают элементарные познания в области морали, естественных и экономических наук, необходимые для обитателей сельской местности. Те же предметы будут преподаваться и в начальных школах местечек и городов; но там будет уделено меньше внимания вопросам земледелия и больше знаниям, касающимся ремесла или торговли».

Сразу видно, насколько эта программа шире, чем программа Талейрана. Но Кондорсе этим не ограничивается, по крайней мере для населения городов. Он не считает возможным делать больше для деревенских школ прежде всего, несомненно, по причине расходов, а возможно, и потому, что вдали от городов, вдали от самых ярких очагов научной мысли и современной жизни, ему казалось маловероятным, чтобы стихийная любознательность детей и добрая воля их семей пошли намного дальше этих первых усилий.

Но для рабочего люда, для ремесленников, мелких торговцев Кондорсе уповает на лучшее и требует большего; он предусматривает в городах организацию вторичных школ, предназначенных одновременно для мелкой ремесленной или торговой буржуазии и для рабочего класса, по крайней мере для элиты рабочего класса, исполненной пламенного желания учиться дальше.

«Вторичные школы, организованные в городах, составят вторую ступень. В них будут обучать тому, что необходимо для занятия общественных должностей и для выполнения общественных функций, *не требующих ни большого объема знаний, ни специальной подготовки*». Точнее говоря, во вторичных школах будут преподавать следующие предметы:

1) грамматические правила, необходимые, чтобы правильно читать и писать; историю и географию Франции и соседних с нею стран;

2) основы механических искусств, практические основы торговли, черчение;

3) ученикам дадут представление о наиболее важных основах нравственной жизни и социальной науки, с разъяснением основных законов и порядка заключения соглашений и контрактов;

4) будут преподаваться элементарные основы математики, физики и естественной истории в их связи с ремеслами, земледелием и торговлей.

Во вторичных школах, где будет несколько учителей, можно будет ввести преподавание одного из иностранных языков, а именно наиболее нужного в данной местности.

Обучение будет разделено на три этапа, которые ученики будут последовательно проходить один за другим».

Итак, дети, поступаая в эти школы в возрасте десяти лет, по окончании ими начальной школы, остаются в них до тринадцатилетнего возраста, и программа обучения, предназначенная для этих избранных из народа, по-видимому, соответствует самому высокому курсу наших современных начальных школ и некоторой части наших высших начальных школ, а также наших коммерческих и профессиональных училищ первой ступени. Кондорсе хочет открыть путь для умственного развития рабочих и ремесленников и тем самым сообщить им дополнительную силу. Как примирить с принципами или, во всяком случае, с формулами равенства эту своего рода привилегию более высокого уровня народного образования, предоставляемую городам? Кондорсе приводит обоснование, очень возвышенное и очень благородное, свидетельствующее о наличии у него весьма живого понимания промышленной эволюции, а именно: сельский труд дает крестьянину передышку, позволяющую ему, если он того пожелает, работать над своим развитием и читать книги; кроме того, эта работа, разнообразная и многосторонняя, уже сама по себе является упражнением умственных способностей, и, наоборот, в мастерских растущее разделение труда угрожает обречь рабочего на некоторый автоматизм, если более широкое начальное обучение не послужит для него противодействием.

«У земледельца в году выпадают периоды бездействия, и тогда часть времени он может посвятить образованию, ремесленники же лишены такого рода досуга. Таким образом, преимущества добровольных занятий в уединении уравнивают для одних то, что другие получают от более длительного обучения, и, с этой точки зрения, с учреждением вторичных школ равенство не столько нарушается, сколько сохраняется.

Далее, по мере того как мануфактуры совершенствуются, рабочие операции все более и более подразделяются или обнаруживается тенденция загружать каждого рабочего чисто механической работой, сводящейся к небольшому числу простых движений. Работу эту он выполняет лучше и быстрее, но в силу одной только привычки, ум же его полностью бездействует. Таким обра-

зом, совершенствование промыслов становится для определенной части человечества причиной отупения, порождает в каждой нации класс людей, неспособных подняться выше самых примитивных интересов, что может привести к унижительному неравенству и посеять опасные семена ненависти, если только более широкое образование не вооружит людей этого класса против неизбежного следствия их повседневных занятий».

Стало быть, великий человек хочет спасти мысль рабочего человека. Он видит, что рабочий-пролетарий погружается в глубокий мрак механического промышленного труда, что он в этом мраке завязнет и затеряется, и он хочет заранее озарить эту ночь монотонного, отупляющего труда яркими лучами Просвещения XVIII в.; волнующая встреча Энциклопедии с пролетариями, поразительное гуманное рвение науки, желающей исправить для каждого ума последствия индустриальной механизации, ею же порожденной. Вдохните сначала в ум человека достаточно силы, достаточно жизни, достаточно различных образов, чтобы он мог без опасности для себя выдерживать длительную рутину однообразного ремесла! Увы! Осуществление этой возвышенной мечты придется, во всяком случае, отложить, и для ряда поколений наука будет поворачиваться к рабочим, томящимся во мраке ночи, лишь своей теневой стороной. Когда же наконец откроется перед ними ее светлый лик? Но как можно не почувствовать, что великая мысль Кондорсе, которая обобщает самые возвышенные надежды философии, рождена также и силой пролетариев, которая в 1789—1792 гг. все более возрастает по мере развития Революции? Он сам, несравненный оптимист, только потому и мог мечтать об этом всеобщем вознесении из самых глубин невежества к свету знаний, что все поголовно за несколько лет поднялись из глубины недавнего бессилия и пассивности к действию. В ясности философской мысли я различаю отблеск пылких взглядов, и в этом широком потоке света, освещающем далекие грядущие горизонты, я вижу полыхание революционного пламени. Тот же Кондорсе, который в 1790 г. в ратуше потребовал избирательного права для всех, и сейчас, в Законодательном собрании, требует для всех права мыслить.

В своем плане он не ограничивается тем, что удерживает детей в школе дольше, нежели это предполагало Учредительное собрание. Он хочет, чтобы дело просвещения продолжалось всю жизнь. Прежде всего, «каждое воскресенье учитель устраивает публичную лекцию, на которой присутствуют граждане всех возрастов; мы видим в этом начинании средство передать молодежи те необходимые познания, которые, однако, не входили в программу их начального обучения. Тут будут излагаться в более широком объеме принципы и правила морали, а также та часть национальных законов, незнание которых мешает гражданину осознать свои права и пользоваться ими».

«...Эти еженедельные лекции, рассчитанные для двух первых ступеней [для начальных и вторичных школ], не следует рассматривать как слабое средство просвещения; 40—50 уроков в год могут содержать большой объем знаний, из коих наиболее важные при ежегодном повторении в конце концов будут полностью поняты и усвоены так прочно, что уже никогда не забудутся. Одновременно на других из этих лекций будет постоянно излагаться новый материал, поскольку они будут иметь своей целью знакомство с новыми приемами в земледелии или в механических искусствах, новыми наблюдениями, новыми замечаниями или же изложение общих законов, по мере того как они будут провозглашаться, а также сообщения о мерах правительства, представляющих общий интерес. Это поддержит любознательность, повысит интерес к этим урокам, разовьет общественное мнение и вкус к занятиям.

Не следует опасаться того, что серьезность этого просвещения оттолкнет от него народ. Для человека, занятого физическим трудом, лишь отдых представляет удовольствие, а легкое напряжение ума — подлинное отдохновение, для него это то же самое, что физические упражнения для ученого, постоянно сидящего за столом, а именно средство не дать зачахнуть тем его способностям, которые в силу его занятий недостаточно используются.

Деревенский житель, городской ремесленник отнюдь не будут пренебрегать знаниями, благо которых они однажды познали на собственном опыте или на опыте своих соседей. Если вначале его привлекает лишь любопытство, то вскоре его уже будет удерживать интерес. Легкомыслие, отвращение к серьезным предметам, презрение к тому, что всего лишь полезно, — все эти пороки не свойственны бедным людям, и эта мнимая тупость, порожденная рабством и унижением, скоро исчезнет, как только свободные люди обнаружат вокруг себя средства развить эту последнюю и самую позорную из своих щелей».

Но даже еще выше начальных и вторичных школ, составляющих народное образование в собственном смысле этого слова, Кондорсе ставит постоянное общение науки с жизнью. В каждом департаменте будет создано то, что Кондорсе называет институтом и что соответствует нашему нынешнему лицее. И там тоже один раз в месяц профессора должны проводить публичную лекцию; более того, аудитории будут открыты не только для учеников, но и для вольнослушателей, желающих пополнить свое образование. Итак, все граждане должны постоянно находиться в общении с истиной. И так же, как граждане, солдаты должны развивать свой ум и свою любовь к свободе. «В гарнизонных городах можно обязать преподавателей военного искусства организовать для солдат еженедельные лекции, главной целью которых будет ознакомление с военными законами и уставами, забота

о разъяснении духа и мотивов последних, ибо подчинение солдата дисциплине не должно отныне отличаться от подчинения гражданина закону; оно должно быть также сознательным и диктоваться разумом, любовью к отечеству, прежде чем его потребуют с помощью принуждения и страха наказания».

И наконец, и это последняя черта, отличающая план Кондорсе от плана Талейрана: в то время как Талейран сосредоточивает в своем национальном Институте в Париже всю высокую науку и все высшее образование, Кондорсе, ставя во главе Национальное общество наук и технических искусств, планирует, называя их лицеями, создание нескольких центров, нескольких очагов того, что мы сегодня называем высшим образованием, а именно факультетами или университетами. Таким способом из Дуэ, из Страсбурга, Дижона, Монпелье, Тулузы, Пуатье, Ренна, Клермон-Феррана, так же как и из Парижа, высокая и свободная наука будет озарять всю Францию; между великим центральным источником света и скромным источником света в деревушке будут существовать промежуточные очаги исследований и знаний, и до каждого ума будет неизменно доходить луч света.

Таков план Кондорсе и Законодательного собрания, более широкий, более гуманный, носящий более народный характер, нежели план Талейрана и Учредительного собрания. Разумеется, Кондорсе даже не предвидит коммунистического социального строя, где будет царить полное равенство, где развитие каждого интеллекта будет зависеть не от социального положения, богатства, но от его естественных данных, его понятливости и жажды знаний, ведь те стипендии, которые дают возможность наиболее одаренным подняться до самых высоких ступеней образования, не устраняют этого основного социального неравенства. Кондорсе и не думает его уничтожать. Но он верит, что широкое распространение света знаний смягчит, во всяком случае, это неравенство.

«Для процветания общества очень важно предоставить бедным классам, которые наиболее многочисленны, средство развивать свои способности, и это средство не только обеспечить отечеству большее число граждан, способных ему служить, а науке — больше людей, способных двигать ее вперед, но еще и уменьшить неравенство, порождаемое различиями в состояниях, смешать классы, к расколу которых ведут эти различия. Естественный порядок не устанавливает в обществе иного неравенства, кроме неравенства в образовании и богатстве, а потому, распространяя просвещение, вы ослабите последствия этих двух причин различия. Преимущества просвещения, не связанные уже исключительно с преимуществами богатства, станут не столь ощутимыми и не смогут более представлять опасности; преимущества людей, рожденных в богатстве, будут уравновешиваться равенством, даже превосходством в знаниях, которого, естественно, должны

достигать те, у кого есть больше оснований для приобретения последних».

*Смешать классы;* идеал Кондорсе при всей его возвышенности для того времени дальше этого не идет. Однако дальнейший прогресс чувства справедливости откроет человеческой мысли, что их вовсе не следует смешивать, их просто необходимо уничтожить. Да и на самое это смешение Кондорсе мог надеяться только для некоторых элементов из двух классов; ибо как в целом бедняки, лишенные средств для получения солидного образования, смогут возместить недостаток богатства превосходством знаний? Несмотря ни на что, Кондорсе, великий друг Тюрго и Вольтера<sup>20</sup>, благородный наследник науки и философии XVIII в., призывает весь народ к началам просвещения, увлекает его к самым высоким вершинам мысли. И как мог народ не почувствовать в себе прилива сил для дела Революции, большей веры в себя после такого возвышенного призыва? Тут происходит как бы обмен силами и доверием между философией и пролетариатом. Рост народа, пробужденного к действию, способствовал расцвету возвышенной мечты о всеобщем просвещении, знаниях, мечты, принесенной людям Энциклопедией, и сама эта возвышенная мечта внушала народу большую гордость, большее стремление к действию.

## ВОЛОНТЕРЫ

Однако своим каждодневным, все более активным, все более пылким участием в защите свободы и родины народ также утверждал свою силу и расширял свои права на Революцию. Надолго ли сможет сохраниться политическое разделение граждан на активных и пассивных, если пассивные граждане, призываемые философией получить свою долю просвещения, предлагают, кроме того, свою помощь для изгнания иноземцев? Сила их великодушия, активности и отваги далеко сразу перехлестывает легальные рамки, очерченные буржуазной Революцией. Когда Учредительное собрание после бегства короля в Варенн могло опасаться неожиданного вторжения иностранных держав, когда миролюбивое и великое Собрание, заявившее, что Франция навеки отказывается от какой бы то ни было завоевательной войны<sup>1</sup>, и верившее, что оно этим обезоружило недоверие народов и королей, вынуждено было срочно принимать меры национальной обороны против вероломства Людовика XVI и возможного соучастия монархической Европы, оно не решилось все же объявить рекрутский

20. Кондорсе опубликовал «Жизнь Тюрго» («Vie de Turgot», Londres, 1786) и «Жизнь Вольтера» («Vie de Voltaire», Kehl, 1789).

1. 22 мая 1790 г. Учредительное собрание торжественно объявило о своем отказе от права на завоевания: «Франция отказывается вести какую-либо войну с завоева-

тельными целями и никогда не употребит свои силы для подавления свободы какого бы то ни было народа». Отныне одерживает верх свободно выраженная воля человека. Территориальное и династическое государство уступает место нации.



набор и насильно вербовать молодежь Франции<sup>2</sup>; оно сохранило принцип добровольного вступления в армию, который доминировал в законе, предложенном в январе 1791 г. Александром Ламетом и обнародованном 11 июня, законе, предусматривавшем организацию стотысячного контингента вспомогательных войск<sup>3</sup>. Но перед лицом опасности Собрание обратилось с прямым призывом к национальным гвардейцам королевства, заклиная их организовать отряды добровольцев для спасения отечества и свободы.

Обратиться к национальным гвардейцам, поручить каждому батальону открыть запись добровольцев означало прежде всего воззвать к самой большой, организованной силе Революции, одновременно военной и гражданской. Это значило также призвать к защите родной земли наиболее устойчивые, наиболее консервативные силы, которые предохраняли буржуазию как от притязаний и волнений пролетариата, так и от нападений сторонников старого порядка. В таком духе и были составлены оба декрета от 21 июня 1791 г.<sup>4</sup>. Первый предписывал «гражданам Парижа» быть «готовыми действовать в целях поддержания общественного порядка и защиты отечества».

Второй постановлял:

*«Статья 1. Национальная гвардия королевства будет переведена на действительную военную службу, согласно распоряжениям, изложенным в нижеследующих статьях:*

*Статья 2.* Департаменты Нор, Па-де-Кале, Эна, Арденны, Мозель, Мёрт, Нижний Рейн, Верхний Рейн, Верхняя Сона, Ду, Юра и Вар выставят такое количество национальных гвардейцев, какое потребует обстановка в их департаментах и какое им сможет позволить их население.

*Статья 3.* Каждый из остальных департаментов выставит от двух до трех тысяч человек, тем не менее города могут добавить к этому числу столько, сколько им позволит выставить их население.

*Статья 4.* В соответствии с этим каждый гражданин и сын гражданина, который способен носить оружие и захочет взяться за него для защиты государства и сохранения Конституции, запишется немедленно по опубликовании настоящего постановления в своем муниципалитете, который тотчас же отправит список волонтеров комиссарам, избранным директорией департамента либо среди членов генерального совета, либо среди других граждан, дабы они приступили к формированию отрядов.

*Статья 5.* Записавшиеся национальные гвардейцы будут подразделены на батальоны по 10 рот в каждом, а каждая рота будет состоять из 50 национальных гвардейцев, не считая офицеров, унтер-офицеров и барабанщиков.

*Статья 6.* Каждая рота будет находиться под началом одного капитана, одного лейтенанта, одного младшего лейтенанта, двух сержантов, одного каптенармуса и четырех капралов.

*Статья 7.* Каждый батальон будет находиться под началом одного полковника и двух подполковников.

*Статья 8.* Все лица, составляющие роту, избирают своих офицеров и унтер-офицеров; штаб будет избираться всем батальоном.

*Статья 9.* Со дня сбора этих рот все составляющие их граждане будут получать: национальные гвардейцы — по 15 су в день, капралы и барабанщики — в полтора раза больше, сержанты и каптенармусы — в два раза больше, младшие лейтенанты — в три раза, лейтенанты — в четыре раза, капитаны — в пять раз, подполковники — в шесть раз и полковники — в семь раз больше.

*Статья 10.* Когда положение государства не будет больше требовать чрезвычайной службы вышеназванных рот, составляющие их граждане перестанут получать жалованье и возвратятся в роты национальной гвардии без сохранения знаков их отличия<sup>5</sup>.

Итак, мы видим, что демократический принцип выборов соблюдается в пределах буржуазной конституции, допускавшей в национальную гвардию только активных граждан. В этом также проявилось недоверие Революции в отношении всякой особой вооруженной силы. Волонтеры были организованы таким образом только для того, чтобы противостоять временной опасности. Как только эта опасность минует, они должны быть расформированы и вновь вернуться в те батальоны, из коих были взяты, причем они не сохраняют ни званий, ни отличий, ни специальных наименований, которые позволили бы им обособиться от других и навсегда увековечили бы память об их участии в военных действиях.

Однако Революция желала вербовать своих защитников толь-

2. 12 декабря 1789 г. Дюбуа-Крансе предложил ввести всеобщую и обязательную воинскую повинность. «Следовательно, необходим подлинно национальный рекрутский набор, распространяющийся на всех, начиная со второго гражданина в государстве до последнего активного гражданина [что значит, всю нацию, за исключением короля, а также пассивных граждан].

Каждый человек, как только отечество окажется в опасности, должен быть готов выступить». В своей работе «Новая армия» («L'Armée nouvelle») (1910) Жюрес подробно анализирует (р. 209) речь Дюбуа-Крансе, которой он, по-видимому, придавал важное значение.

3. Шевалье Александр де Ламет (1760—1829) — полковник кира-

сирского полка, депутат дворянства от губерпаторства Перонн в Генеральные Штаты. «Moniteur», VII, 250; «Archives parlementaires», XXVII, 149; «Moniteur», VIII, 649.

4. См. «Moniteur», VIII, 725; «Archives parlementaires», XXVII, 394. См.: A. S o b o u l. Les Soldats de l'an II. Paris, 1959, chap. 3: «Les Volontaires, 1791—1792», p. 67.

5. Декрет от 21 июня 1791 г. был дополнен 22 июля, а затем — 4 августа. Батальоны волонтеров были окончательно сформированы в составе восьми рот стрелков и одной роты гренадеров. Каждый батальон выступал с собственным трехцветным национальным знаменем, носящим название департамента и номер батальона. К концу августа уже более 100 тыс. человек выступили на подкрепление к границам.

ко среди национальных гвардейцев, то есть среди граждан, достаточно зажиточных, чтобы стать активными гражданами и быть в состоянии приобрести за свой счет обмундирование и снаряжение. Она желала иметь солдат, на которых она могла положиться, естественных защитников и собственности, и свободы. Точно так же как Учредительное собрание призвало только национальных гвардейцев представлять Францию на Марсовом поле во время великого праздника Федерации, так же только их призывает оно и для защиты Франции в тяжелую годину войны. Прямой призыв к пролетариям, к пассивным гражданам был бы отступлением от принципа Революции, да и Учредительное собрание в момент бегства короля было слишком озабочено сохранением буржуазного порядка, сохранением за теми, кого Барнав назвал «собственнической и мыслящей элитой», руководством движением<sup>6</sup>, чтобы оно могло вербовать вне легальных кадров буржуазии армию, призванную ее защищать. Лишить пролетариев политических прав, а затем призывать их спасать их, объявить их пассивными, а затем призывать их к наивысшей форме активности было бы опасным противоречием, ибо как вернуть обратно к их состоянию «пассивных» граждан тех, кто добровольно жертвовал собой ради отечества и Революции и тем самым завоевал самое прекрасное из прав?<sup>7</sup> К тому же запись пролетариев в волонтеры обошлась бы очень дорого, так как большинство из них, не имея ни оружия, ни средств на его покупку, должны были бы получить последнее от государственной казны. В силу всех этих причин революционная буржуазия обратилась с призывом только к национальным гвардейцам, то есть к самой себе.

На призыв свободы, находящейся под угрозой, на призыв отечества, находящегося в опасности, буржуа откликнулись с благородной поспешностью. Достаточно просмотреть список имен первых волонтеров Парижа, опубликованный г-ами Шассеном и Анне в первом томе их труда «Национальные волонтеры во время Революции»<sup>8</sup>, чтобы убедиться в чрезвычайном рвении парижской буржуазии. За несколько дней батальоны, списки которых сохранились (не хватает 14 списков, то есть одной четверти), собрали 4535 записавшихся.

Люди всех состояний, всех профессий, всех возрастов, нередко люди женатые, отцы семейств, иногда отец вместе с сыном. Рантье, буржуа, торговцы средние и мелкие, скромные промышленники, ремесленники, все убежденные в том, что отечество потребует от них участия в кампании, которая продлится не более нескольких месяцев, и что они смогут вернуться в свою мастерскую, в свою контору, к своему станку, пока они не успели еще растерять своих клиентов и дела их еще не пришли в расстройство, но готовые отдать свою жизнь ради спасения свободной Франции, заполнили эти первые списки героизма и свободы своими никому не известными именами, на которые внимательные

и пытливые историки бросают сегодня печальный отблеск славы, не восстанавливая, однако, для нас черты этих давно угасших жизней<sup>9</sup>. Это похоже на парад, на «смотр», в котором мы находим людей всех состояний: бывший лейтенант торгового флота, студент, изучающий право, ротный хирург, архитектор, студент-хирург, сапожник (хозяин мастерской), помощник повара, работник хлопчатобумажного производства, поденщик, подмастерье-шляпочник, канатчик, бывший капрал в полку Виварэ, каменолом, барабанщик стрелкового полка, столяр, еще один поденщик, портной (16 лет), сапожник, сапожник, столяр, слесарь, шляпочник, канатчик, слесарь, поденщик, парикмахер, парикмахер, словолитчик, бывший служащий откупного ведомства (16 лет), каменолом, продавец бумаги, разгрузчик вин, слесарь, садовник-цветовод, мостильщик, парфюмер, приказчик у негоцианта, поденщик, каменотес, повар, почтальон, каменщик, токарь по дереву, булавоочник, медник, гвоздарь, булочник, чулочник, еще один студент-хирург, ткач, бакалейщик. На этом я остановлюсь; по-видимому, все это в большинстве ремесленники, скромные хозяева и промышленники, владельцы мелких мастерских, которые бросились навстречу опасности: то были героические дни мелкой буржуазии и ремесленников Парижа!

Но что означает занесение в списки этих бедных «поденщиков», этих бедных «подмастерьев»? Неужели они тоже из национальной гвардии, неужели у них было достаточно средств, чтобы экипироваться? Ничуть не бывало. Но из примечаний к спискам мы узнаем, что батальонные командиры не могли справиться с этим напором.

Со всех сторон пролетарии требовали от них, чтобы их внесли в списки, чтобы их послали на фронт; командиры считали себя

6. См. речь Барнава в Учредительном собрании 15 июля 1791 г.: «Будем ли мы кончать Революцию или начнем ее сначала?»

7. Это противоречие было разрешено после объявления отечества в опасности (11 июля 1792 г.) в результате второго набора волонтеров, вооружения пассивных граждан и их массового вступления в первичные собрания, то есть еще до 10 августа и низвержения трона.

8. Ch.-L. Chassin et L. Henneant. Les Volontaires nationaux pendant la Révolution. Paris, 1899—1906, 3 vol. Речь идет о парижских волонтерах.

9. Учредительное собрание намеревалось придать набору 1791 г. чисто буржуазный характер. На

самом же деле многие волонтеры рекрутировались не из среды национальных гвардейцев, а среди пассивных граждан, еще не имевших в ту пору гражданских прав. В департаменте Марна большинство волонтеров принадлежало к наименее зажиточному классу. В департаменте Мёрт, где средний класс был лучше представлен, люди, заведомо неимущие, принимались в волонтеры. В Марселе почти все волонтеры первого набора были из рабочих, а именно 550 из 579 в 1-м батальоне. Революция перешагнула через произвольно установленные границы цензового избирательного права и буржуазных привилегий. См.: A. S o b o u l. Op. cit., p. 74.

не вправе отказывать всем, и они записывали людей по мере того, как добровольные давания зажиточных буржуа позволяли их экипировать. Так, командир 1-го батальона Леклерк предупреждал, что «все те, по поводу которых указано, что им не по средствам обмундироваться, просят включить их в отряды вспомогательных войск: большинство из них работают в благотворительных мастерских»<sup>10</sup>.

Очень часто требования пролетариев, героические, но незаконные, были столь многочисленны, что, не желая ни оскорблять их грубым отказом, ни вносить их в законные списки вместе с активными гражданами, командиры батальонов составляли на них отдельные списки. Декрет от 11 июня, принятый еще до бегства в Варенн, в момент, когда революционная буржуазия, успокоенная видимостью победы, не так ревниво, как после 21 июня, держалась за руководящую роль в кризисе, позволил пассивным гражданам записываться волонтерами в отряды вспомогательных войск<sup>11</sup>.

Ссылаясь на декрет от 11 июня, пролетарии, рабочие, «подмастерья», «ученики» требовали от командиров батальонов национальной гвардии, ставших главными вербовщиками, чтобы их внесли если не в почетные списки буржуазии, то по крайней мере в дополнительные тетради; так, в 1791 г. героический пролетарий вынужден был предлагать свои усилия, но не непосредственно, а в качестве иррегулярных вспомогательных частей.

Например, в 7-м батальоне Сент-Этьенн-дю-Мон, в отдельной тетради, приложенной к списку, приводятся имена и общественное положение лиц, не состоящих в национальной гвардии, но желающих служить у границ<sup>12</sup>. Регулярный список, буржуазный, содержит 42 имени: печатники, граверы-резчики, шляпочник, два хирурга, первый помощник секретаря суда при 3-м Парижском трибунале, учитель музыки, преподаватель, писарь у прокурора, пирожник, галантерейщик, свечной мастер, юный пятнадцатилетний Фондрико — все это буржуазия, тем более достойная уважения, что, торопясь навстречу врагу, она покидала прибыльное ремесло и прочное положение. Ее всколыхнули революционный пыл, священная любовь к свободе, а возможно, и жажда приключений и действий, которая ломала вдруг тесные пределы лавки, рушила родные стены отцовской мастерской.

А вот тетрадь пролетариев, содержащая 209 имен, длинный перечень доблестных и отважных бедняков, которые, преодолев пренебрежение и недоверие законной Революции, тоже идут ее защищать и, защищая, возвеличить ее, вселить в нее более возвышенную мечту. Как перечислить их всех? Морель, *служащий откупного ведомства*; Потэ, *служащий откупного ведомства*; Эврар, *ученик пиротехника*; Ле Руа — *подмастерье сапожника*; Детап — *подмастерье сапожника*; Веди — *подмастерье сапожника*; Мари — *подмастерье сапожника*; Серра — *приказчик у него-*

*цианта*; Мерсье — *подмастерье слесаря*; Бремон — *печатник*; Бугран — *поденщик*; Арман — *плотник*; Нуриссон — *изготовитель шпор*; Шансон — *слесарь*; Агутен — *шляпочник*; Клеман — *резчик шерсти для шляпочников*; Пеше — *поденщик*; Боко — *словолитчик*; Пеллетье — *словолитчик*; Гайе — *словолитчик*; Веди — *подмастерье сапожника*; Понсо — *сапожник*; Корруа — *переплетчик*; Шелюр — *работающий по измерению строений*; Башеле — *подмастерье сапожника*; Ампар — *писарь*; Буланже — *торговец платьем*; Гедон — *старьевщик*; Жарри — *парикмахер*; Мильваш — *жестяник*; Шире — *сапожник*; Баньер — *торговец бумагой*; Камю — *каменотес*; Пийон — *басонщик*; Лаваль — *ювелир*; Гийомон — *скульптор*; Матела — *слесарь*; Лекселан — *подмастерье булочника*; Лошон — *поденщик*; Дюпюи — *мостильщик*; Мартен — *приказчик у торговца лошадьми*; Дюпюи — *переплетчик*; Денуа — *переплетчик*; Морель — *подмастерье каменщика*; Марсо — *подмастерье красильщика*; Руже — *подмастерье золотых дел мастера*; Ганье — *подмастерье каменщика*; Розе — *торговец скобяным товаром*; Левассёр — *подмастерье-столяр*; Дукрие — *землекоп*; Руссо — *оптик*; Блондель — *ярмарочный торговец*; Жосс — *лодочник*; Кильше — *гравер*; Шолиак — *водовоз*; Реторе — *работник у вино торговца*; Герле, 16 лет, — *ученик пирожника*; Майар — *приказчик у кабатчика*; Мошьен — *подмастерье парикмахера*; Оже — *инженер-февдист*.

Я привел лишь несколько имен, случайно попавшихся на глаза, когда я перелистывал страницы тетради. Как видите, тетрадь, предназначенная «для тех, кто не состоит в национальной гвардии» и кто не может завербоваться в те же батальоны и роты, куда входят национальные гвардейцы, заполнена не только именами «пассивных граждан».

Здесь встречаются и пролетарии, «ученики или подмастерья», бывшие пассивными гражданами, и скромные ремесленники, которые не могли себе позволить ни денежных затрат, ни потери времени, связанных со службой в национальной гвардии. Но в час опасности они не могли остаться в стороне. Так, в наборе конца 1791 г. классы были довольно перемешаны, и очень часто общественное положение тех, кто числился в списках завербованных буржуа, и тех, кто занесен в тетрадь, куда были записаны «те, кто не состоит в национальной гвардии», оказывается одинаковым. Точно так же между «сапожником», или «парикмахером», или «столяром», то есть владельцами сапожной мастерской, парикмахерской и столярной мастерской, занесенными в списки волонтеров, и учениками сапожника, парикмахера, столяра, записан-

10. Ch.-L. Chassin et L. Hen-  
net. Op. cit., t. I, p. 76.

11. «Moniteur», VIII, 649; Ch.-

L. Chassin et L. Hen-  
net. Op. cit., t. I, p. 8.

12. Ch.-L. Chassin et L. Hen-  
net. Op. cit., t. I, p. 28.

ными в тетрадь, возможно, не было столкновений, а, напротив, революционное соперничество<sup>13</sup>.

Подмастерья должны были с почтением взирать на хозяина, мастера-ремесленника, который покидал свою мастерскую, свои дела, свою семью, чтобы пустить в ход штык и ружье против эмигрантов и королей, а хозяева должны были проявлять некоторую снисходительность к этой смелой молодежи, которая стихийно стремилась навстречу славе, свободе и опасности.

Но пролетарии, ученики, подмастерья были, конечно, не прочь сказать буржуазии:

«Ну что, пассивны ли мы теперь и что значат ваши привилегии, когда нас объединяет общая отвага и общая опасность?» Если они даже не произносили этого вслух, об этом говорили их взгляды, и в этих открытых сердцах пламенный революционный патриотизм сливался с пролетарской гордостью.

В течение всего 1792 г. имена всех этих волонтеров, всех этих пролетариев, всех этих «учеников», всех этих «подмастерьев» продолжали стоять в списках лиц, находящихся в распоряжении свободы и отечества, и таким образом, в пролетариате нарастала, углублялась гордость жертвенности; он чувствовал в себе, несмотря на ограничения закона, все величие родины и свободы, пламя отваги и революции, более высокое, нежели буржуазный закон. Эти чувства разгорались все больше по мере того, как возрастала угрожавшая Франции опасность; а потому, когда в апреле 1792 г. Революция объявила Австрии войну, когда разразилась великая гроза, все пролетарии были исполнены стремления сыграть большую роль, завоевать больше политических и социальных прав. Все их к этому готовило: воспоминание о доблестных днях июля и октября 1789 г., когда они спасли Революцию, смысл Декларации прав человека, более широкий и более человечный, чем Конституции 1791 г., первые экономические бои с буржуа-монополистами и скупщиками, грандиозное перемещение и потрясение собственности, которое, не поколебав сам принцип буржуазной собственности, как бы возвещало пролетариям возможность новых и широких преобразований, планы универсального просвещения человека, выдвинутые философами, и, наконец, героическая экзальтация перед лицом опасности, которой сами пошли навстречу, — сколько стимулов у рабочего народа! При первых же испытаниях войны неизбежно должен был произойти мощный взрыв стремления к свободе и равенству.

Малле дю Пан преувеличивал, когда писал в «Меркюр де Франс» 7 апреля 1792 г., что класс бедняков — хозяин Революции<sup>14</sup>.

«До нас, — говорит он, — республиканские распри почти не выходили за пределы класса собственников, а потому круг популярных честолюбивых устремлений не затрагивал тех классов, чей труд, бедность, невежество, естественно, исключали их участие в управлении; но сейчас именно к этим классам, возбу-

дораженным подонками несметного множества бедняков, соединившихся с чернью, перешло формирование новой политической системы, власть и управление. Из Версальского дворца, из передних придворной знати власть непосредственно, без всякого сопротивления перешла в руки пролетариев и их льстецов».

Но это неверно: в апреле 1792 г. буржуазия еще сохраняла руководство революционным движением; силы собственников огромны, но так же верно и то, что «пролетарии» уже начинают смотреть в будущее, начинают осознавать свою силу, свое глубокое право, еще окутанное мраком неопределенности и неизвестности; они уже начинают судить саму буржуазию, они предчувствуют, что если многовековой труд крепостных рабов создал могущество и богатство знати, то вполне возможно, что народ вправе требовать и большую долю богатства и могущества буржуазии. И когда Инар в январе 1792 г. с присущим ему красно речием воскликнул: «Прошло то время, когда ремесленник трепетал перед тканью, сотканной его собственными руками»<sup>15</sup>, — это было верно особенно в отношении пурпура знатных дворян, духовенства и королей; это было верно также в известной мере и в отношении блестящих костюмов богатых и влиятельных представителей новой буржуазии. Итак, обществу, на которое воздействовали многие силы и в котором надежды пролетариев росли с каждым днем, предстояло встретить великое испытание войны.

13. Следует заметить, что кадры батальонов этого первого набора волонтеров рекрутировались на более высоком уровне... Высшие офицерские должности были замещены несколькими дворянами и богатыми буржуа. На средние офицерские должности, в Мерте, например, капитанов, избирались либо бывшие военные, либо богатые молодые буржуа. Между тем в Марселе многих офицеров выбирали из среды ремесленников; в одном батальоне офицерами были: один каменщик, один сле-

сарь, один столяр, один плотник, один башмачник, один чулочник и только три купца и двое бывших военных... Кадры младших офицеров в основном формировались из молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет; офицеров, возраст которых превышал 40 лет, было очень мало.

14. «Mercure de France», vol. XXII, 7 avril 1792. [Размышления об анархическом характере Французской революции.]

15. «Moniteur», XI, 45; «Archives parlementaires», XXXVII, 87.

## ДЕСЯТОЕ АВГУСТА

## ЖИРОНДИСТЫ И ПЕРВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Как мы видели, жирондисты объявили войну или по крайней мере ускорили ее, имея в виду таким путем одержать верх над королевской властью. Но у жирондистского министерства не было никакого четкого плана, и оно отнюдь не вело систематической работы, направленной к свержению монархии и установлению республики. Как я уже указывал выше, Дюмурье устраивало такое сложное и двусмысленное положение, при котором присущие ему ловкость и дар интриги находили широкое применение. Его мечтой было внушить всем партиям почтение к чему блестящей победой над Австрией, а затем сыграть роль мафлера между Революцией и королем, получая за это от той и другой стороны. Роланы, я имею в виду министра и его жену, не имели широких и смелых замыслов.

Ролан был прежде всего администратором, мелочным и подозрительным. Он был озабочен поддержанием своего плебейского достоинства и проявлял это в мелочах, например являясь на заседание совета министров в башмаках без пряжек, что шокировало всех ревнителей протокола. Он и к Революции применял свои достоинства и свои недостатки инспектора мануфактур и вскоре стал чувствовать себя оскорбленным той беспорядочностью, которую позволяло себе народное движение в ту бурную пору<sup>1</sup>. Воздержанный и скромный в быту, он принимал свою несколько печальную суровость за единственный вид революционной добродетели. Это был человек скорее склонный к ограничениям и мрачному недоверию, чем к смелым порывам. К тому же, отнюдь не озабоченный подготовлением республики, он был тронут и поль-

щен, хотя и не сознавался в этом, показным добродушием короля, запросто расспрашивавшего министров о том, как идут дела в их ведомстве, и проявлявшего видимость интереса к ним. Г-жа Ролан рассказывает, что ей приходилось предостерегать своего мужа и других министров от возможных сюрпризов их чрезмерной чувствительности.

У г-жи Ролан не было более точного плана<sup>2</sup>. Это была стоическая и несколько тщеславная душа, с яркими и довольно значительными, но не обширными способностями. Она выросла в мелкобуржуазной семье ремесленника, где ее пылкая чувствительность сталкивалась на каждом шагу с ограниченностью и посредственностью окружающей жизни. Ее отец, человек довольно добродушный, опустил и стал вести беспорядочную жизнь, огорчавшую и оскорблявшую его дочь. Так смолоду она усвоила привычку подавлять свои чувства и с восторгом погружалась в чтение героических или трогательных описаний Плутарха и Руссо, которые отвлекали ее от действительности и служили утешением. Перед ее мысленным взором всегда стоял тип античного героя, а чтение Руссо научило ее любить меланхолическую природу, вкушать «печальные наслаждения» сумерек, созерцать из своего окна, выходящего на набережную Сены, «огромную пустыню неба».

Рано и по расчету выйдя замуж за Ролана, старого, пожелтевшего и скучного, она его уважала, но не любила, и брачная жизнь была для нее лишь постоянным отречением сердца и чувств. Она с тревогой следила за собой, за своей склонностью к волнениям чувств, сначала удалив растроганными и нежными записками Банкаля Дезиссара, близость которого в имени Ла Платьер становилась для нее опасной, затем гневно отвернувшись от Барбару, чья яркая и надменная красота ее на миг ослепила, и, наконец, отдав все свое сердце Бюзо, но лишь поклявшись никогда не принадлежать ему; поддержкой ей в этом трудном решении послужила нарастающая буря Революции и острое ощущение все усиливающейся опасности, требовавшей чистого сердца для

1. О Роланах см. выше, стр. 223—225. О Ролане (1734—1793), министре внутренних дел, см.: E. Vergard in. Jean-Marie Roland et le ministère de l'Intérieur. 1792—1793. Paris, 1964. Биографии Ролана не существует. Напомним, что Ролан был генеральным инспектором мануфактур Лионского финансово-податного округа.

2. Г-жа Ролан (1754—1793), Эгерия [нимфа-прорицательница] Жиронды, не стала предметом ни одной

удовлетворительной исследовательской работы. Можно пользоваться публикациями К. Перру (Cl. Perroud): «Mémoires de Madame Roland». Paris, 1905, 2 vol.; «Lettres de Madame Roland. 1780—1793». Paris, 1900—1903, 2 vol.; «Roland et Marie Philipon, lettres d'amour. 1777—1780». Paris, 1909. К этому добавим: E. Vergard in. Les idées religieuses de Madame Roland. Paris, 1933.

высшей жертвы. Осуждение и смерть помогли ей спастись от неодолимого влечения<sup>3</sup>.

Впрочем, она имела, или думала, что имеет, склонность к деятельности, но события были для нее главным образом лишь средством испытать свою душу, и, несмотря на свои порывы к жизни, к свету, к свободе, у нее никогда не было справедливого и верного взгляда на людей и вещи. У людей подлинно сильного, великого духа, как Робеспьер и Бонапарт, духовные кризисы, тайные восторги, вызываемые чтением Жан Жака или Оссиана<sup>4</sup>, усиливали способность к действию, обостряли пронизательность ума. В беспредельности чувств и мечты они обретали широту и остроту взгляда, которые применяли затем к действительности. Парившие вдаль туманы сначала открывали им беспредельность горизонта, а затем мало-помалу перед ними вырисовывались его точные, четкие и далекие очертания. Г-жа Ролан, наоборот, так никогда и не смогла оторваться от Плутарха и Руссо и истратила всю свою энергию, принимая одну за другой гордые позы, великодушные и никому не нужные. Был только один момент, когда она понимала Робеспьера, а Дантона она не понимала никогда. Она способствовала изоляции Жиронды, так и застывшей в напыщенном и бессильном стоицизме. Республика представлялась ей фоном, на котором должны были выступать фигуры великих людей, и она мечтала об этом как о возрождении Рима. Но она не имела никакого точного плана, и жирондистское министерство колебалось между Роланом и Дюмурье, между бездарностью и интригой.

В апреле и мае Бриссо был поглощен своей ролью тайного министра, он был всецело занят тем, что рекомендовал тогдашним министрам на общественные должности кандидатов, стекавшихся в качестве просителей в его скромную квартиру. И, несколько ошеломленный этим внезапным могуществом, польщенный, быть может, примешивавшейся к этому таинственностью, он, казалось, не спешил опрокинуть ширму монархии, скрывавшую его влияние. Впрочем, он дал Франции войну, как врач дает больному микстуру, чтобы испытать его. Он выжидал.

Образование жирондистского министерства еще более обострило борьбу между двумя революционными фракциями. В Обществе якобинцев Робеспьер вставил в один адрес призыв к провидению. Гюаде обвинил его в поощрении суеверий, при этом было произнесено слово «капуцинада»\*. Робеспьер ответил неким теистским исповеданием веры в духе савойского викария\*\*. Да неужто Гюаде забыл, как он сам еще недавно во время прений в Законодательном собрании призывал бога? Ненависть внушает странное предубеждение. Со своей стороны Робеспьер в полемике с Жирондой злоупотреблял обвинениями в том, что является неизбежным следствием пребывания у власти; он упрекал Бриссо в выдвиге-

нии своих друзей. А Бриссо отвечал в Якобинском клубе: «Мне оказывают слишком много чести, приписывая мне такое большое влияние; но неужели кто-нибудь решится жаловаться на то, что наконец-то якобинцы, патриоты, друзья Революции получают доступ к должностям? Для блага родины они должны были бы занять все должности». Вечное и скучное препирательство. Завтра г-жа Ролан, жирондистка, бросит Дантону тот же упрек, который Робеспьер адресует сейчас Бриссо. Она вменит ему в преступление то, что он искал служителей Революции в клубах, среди административных учреждений, армию.

Однако Робеспьер в своих спорах с Бриссо не забывал о контрреволюции. Или, вернее, гениальный ход, чудо прозорливости и ненависти, позволил ему изыскать средство поразить сразу и контрреволюцию и Жиронду. Средство заключалось в том, чтобы нанести удар Лафайету. В то время Лафайет был подлинным главою фейянов. Он был их последним популярным деятелем, и он был их ппагой. Было известно, что он хотел истолкования конституции в самом умеренном духе, что он считал мятежниками всех, кто хотел расширить права нации в ущерб королевской прерогативе. И поскольку он еще продолжал пользоваться известным влиянием у национальных гвардейцев королевства, которыми он долгое время командовал, он был последней надеждой модерантизма. Он стал бы, пожалуй, опасным для демократов, если бы мог координировать свои действия с королевским двором. Но двор ему не доверял. К тому же у двора был свой проект — не истолковывать конституцию в умеренном духе, а уничтожить ее, воспользовавшись войной<sup>5</sup>.

3. Банкаль Дезиссар (1750—1826) — нотариус, архивариус в Шатле, депутат Конвента от департамента Пуи-де-Дом.

Барбару (1767—1794) — адвокат, чрезвычайный делегат Марселя, депутат Конвента от департамента Буш-дю-Рон.

Бюзо (1760—1794) — адвокат, депутат Генеральных Штатов от третьего сословия бальяжа Эврё, депутат Конвента от департамента Эр.

4. Оссиан — легендарный герой кельтского народного эпоса и бард III в. Шотландский поэт Дж. Макферсон (1736—1796) издал некое первое собрание его песен (Эдинбург, 1760), которое имело огромный успех, хотя это было лишь подражание. Это издание оказало несомненное влияние

на романтическую литературу и вызвало восторг у Бонапарта.

\* Капуцинада — банальное морализирование. — *Прим. ред.*

\*\* «Исповедание веры савойского викария» — одна из глав «Эмиля» Ж.-Ж. Руссо. — *Прим. ред.*

5. Замысел Лафайета, как и Нарбонна, как и Дюмурье, заключался в том, чтобы провести короткую войну, затем вернуться с победоносной армией, чтобы восстановить власть короля и править от его имени. Но двор ненавидел его. Кампания Робеспьера против Лафайета не прерывалась на протяжении всей весны 1792 г. Он выступал в Якобинском клубе 28 марта, 11, 17, 18, 20, 23 апреля, 2 мая, 18 и 28 июня, 13 и 20 июля.

Таким образом, Лафайет, оказавшись между демократией и двором, был изолирован, и его действительное влияние уменьшалось с каждым днем. Но он еще представлял большое препятствие на пути революционной демократии. И, ежедневно атакуя его, разоблачая и дискредитируя его, Робеспьер расчищал пути для Революции. В то же время рикошетом он наносил удар и Жиронде. Правда, между Жирондой и Лафайетом всегда существовала сильная вражда, и Робеспьер напрасно обвинял Бриссо в том, что он был близок к Лафайету, заискивал перед ним<sup>6</sup>. Но Жиронда была у власти, а Лафайет командовал армией. Жиронда, хотя она держала в своих руках министерство, не обладала ни достаточной силой, ни достаточной смелостью, чтобы обновить высшие командные кадры армий. Она сохраняла во главе армий Рошамбо, Люкнера, Лафайета, назначенных Нарбонном. И по правде сказать, в то время новые имена не снискали бы доверия страны; военные события, еще незначительные и неопределенные, не могли выдвинуть молодых военачальников. Слава еще не рождалась молниеносно. Это позволяло Робеспьеру говорить о солидарности Жиронды с Лафайетом, подобно тому как несколько позднее он будет говорить, и с гораздо большим и страшным успехом, о солидарности Жиронды с Дюмурье.

Военные действия начались неудачно. Двигаясь в направлении Турнэ, одна из дивизий Рошамбо неосмотрительно натолкнулась на австрийские войска, и наши солдаты обратились в бегство. Решив, что их предали, они убили одного из своих офицеров, Дийона, и эта первая неудача и сопутствовавшее ей нарушение дисциплины сильно взволновали умы<sup>7</sup>. Жирондисты, вещавшие, что солдаты свободы без труда раздавят приспешников тирании, имели довольно жалкий вид. Марат жестоко высмеивал их. Нас уверяли, писал он с сарказмом, «что перед Правами Человека пушечные ядра будут сами отскакивать». И, продолжая свою старую песню об измене, он призывал солдат убивать военачальников.

Взбешенная Жиронда потребовала привлечения его к суду. Это Ласурс выступил с крайне резкой речью, изобличая Марата перед Законодательным собранием<sup>8</sup>. Чтобы несколько завуалировать эти преследования Марата, принято было одновременно постановление о предании суду журналиста-роялиста Руайу<sup>9</sup>.

Постановления против «Друга народа» и против «Друга короля» были приняты в один и тот же день, но Жиронда хотела поразить главным образом «Друга народа». Так, с самого начала проявились эгоистическая непоследовательность и самоничтожение жирондистской партии. У Бриссо было лишь одно оправдание, когда он ускорял начало войны, а именно: война даст народу силы освободиться от всех своих внутренних врагов, извергнуть все предательские элементы. Бриссо сам, прижатый доводами Робеспьера, ска-

зал: «Нам нужны великие изменения». Между тем как раз тогда, когда в народе пробудилось подозрение, в тот момент, когда солдаты стали практически применять эту политику недоверия и истребления, Жиронда пришла в бешенство.

Можно возразить на это, что солдаты ошиблись и Дийон не был изменником. Безусловно, и Жиронда могла объяснить солдатам Революции их заблуждение. Но неужели после того, как она, так сказать, систематически доводила Францию до иступления, чтобы спасти ее, неужели она надеялась, что отныне разум и мудрость будут руководить всеми проявлениями не ведающей удержу подозрительности? Или, быть может, она воображала, что может по своему усмотрению направлять подозрения и гнев великой бурной души Революции, как божественная десница направляет молнию меж громадами туч? Эти взрывы гнева и негодования Ласурса и жирондистов против Марата с самого начала показывают обреченность Жиронды: она неспособна была проводить свою собственную политику. Кто развязал войну, тот тем самым развязал слепую силу страстей и должен отныне сразу открыть народу широкий, неограниченный кредит ошибок, гнева и заблуждений. Гордо заупрямиться при первой же ошибке, считать, что все погибло, потому что хаос войны, силы и случая не распутывается так легко, как клубок, все нити которого у вас в руках, — это говорит о мальчишеской заносчивости и глубокой беспомощности. Отныне ясно, что на путях, открытых Жирондой, другие люди, более решительные, более последовательные, более внимательные к стихийным движениям народных сил, поведут Революцию вперед.

## ДАНТОН

Дантон выжидал, готовый схватить события своей сильной рукой. Видимо, он чувствовал, что настал его час, час великих и несколько смутных движений, которые люди могучей и ясной воли доводят до цели. До февраля 1792 г., до того момента, когда он

6. Жорес ошибается. Между Лафайетом и Бриссо существовала тесная связь. См. в «Annales révolutionnaires» от сентября 1922 г. нашу статью «Brissot, électeur de La Fayette». [Примечание А. Матьеза.]

7. Вопреки заверениям Нарбонна армия не была готова. Ливейные войска были неуккомплектованы: люди предпочитали идти в батальоны добровольцев, где лучше платили и где выбирали своих офицеров. Но формирование этих ба-

тальонов шло медленно.

8. Ласурс (1763—1793) — протестантский пастор в Кастре, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Тарн «Moniteur», XII, 292

9. Руайу (1743—1792) — профессор философии в коллеже Людовика Великого, шурин критика Фрерона и его компаньон по «L'Appel littéraire», основатель вместе с Монжуа газеты «L'Ami du roi, des Français, de l'ordre et surtout de la vérité».

вступил в исполнение своей должности заместителя прокурора Коммуны, он не снисходил до того, чтобы защищаться от клеветнических нападок, сыпавшихся на него со всех сторон. Его враги нашептывали, что при посредничестве Мирабо он поддерживал какие-то подозрительные отношения с двором, что он сумел получить возмещение за принадлежавшую ему должность судьи в размере, значительно превышающем ее цену. Его изображали продажным трибуном, которому Революция нужна только для удовлетворения его низменных чувств. Он никогда не объяснялся по этому поводу. Какое ему дело до всего этого?<sup>10</sup>

Он оказывал почти непреодолимое влияние на клуб Кордельеров, на самых пылких революционеров. Благодаря своему огромному росту, раскатам громового голоса, решительности своих советов и меткости своих разящих ударов он господствовал в собраниях. И его гордость не позволяла ему унижаться до оправданий.

Кто защищается, тот умаляет себя. Возможно также, он полагал, что в широких революционных движениях пыл страстей и энергичная воля более необходимы, нежели ограниченная и хилая добродетель. Защищаться значило бы признать, что можно требовать отчета от людей Революции. А зачем обескураживать тех, у кого, быть может, были в их личной жизни какие-то темные стороны или тайные пороки, но которые в великом порыве стремились к лучшей жизни, где они могли бы обрести новую добродетель? Так проходил он, могучий и несколько загадочный, более внимательный к оценке сил, чем к проверке нравственности всех тех, кто устремлялся к великой цели.

Не то чтобы он опускался до вульгарной или притворной демагогии. Он никогда не потакал подлым и низменным порокам, суетливому тщеславию или трусливому эгоизму. Казалось, он больше всего призывал к радостям здоровой и честной жизни, к естественной жажде счастья и радости, к широким и братским наслаждениям жизни. Он не прибегал также к подчеркнутой грубости языка.

Ему случалось обронить вульгарное слово, фразу циничного пошиба. Но он не был лишен культуры. Он читал в оригинале Шекспира и романы Ричардсона; он знал латинских авторов, и его речь не была лишена пафоса: такие выпренные выражения, как «Свобода, нисходящая с небес», «Мы повергнем наших врагов в небытие», «Народ вечен», «Я выйду из цитадели разума, вооруженный пушкой истины», могли бы придать его речам оттенок искусственности, если бы голос, звучавший неукротимой решимостью, и ясность практических советов не наполняли их жизнью, пламенем, деятельной силой.

Но когда он вступил в исполнение своей должности заместителя прокурора Коммуны, в последние дни января 1792 г.<sup>11</sup>, ему показалось, что этой естественной деятельной силы недостаточно, и он захотел еще того почитания, того общего уважения, без кото-

рых никто не может, даже в дни самых сильных волнений, играть большую революционную роль. В тщательно продуманной речи, полный текст которой он, против своего обыкновения, сообщил газетам, он рассказал всю свою жизнь, общественную и частную. Он говорил без горечи, как бы предчувствуя близость великого реванша, о своей неудаче на выборах в муниципалитет. Он объяснял происхождение своего скромного состояния, отрицал даже какое-либо прямое участие в событиях на Марсовом поле, в которых он, конечно, видел теперь лишь безрассудную и преждевременную попытку. И чтобы успокоить тех, кого могла напугать его революционная суровость, он заявил, что необходимо защищать конституцию. Но он предвидел, что она подвергнется нападкам, и говорил с угрозой о тех, кто вздумает поднять на нее руку.

Он не боялся представить самого себя, как человека дерзаний, диктуемых необходимостью: «Господин мэр, господа, при обстоятельствах, которые не были одним из моментов его славы, один человек, чье имя навсегда должно остаться знаменитым в истории Революции [Мирабо], сказал, что он хорошо знает, что от Капитолия недалеко и до Тарпейской скалы. И я примерно в это же время, будучи не допущен своего рода плебисцитом в стены этого собрания, куда меня призывала одна из секций столицы, и я отвечал тем, кто объяснял ослаблением энергии граждан то, что было лишь следствием мимолетного заблуждения, что для человека *чистого* не так далеко от подстроенного остракизма до высших государственных должностей.

Эта моя мысль ныне подтверждена жизнью. Общественное мнение — это не пустая молва, поддерживаемая грушкой, несколько месяцев пробывшей у власти, и столь же недолговечная, как она, а нерушимое общественное мнение, то, которое зиждется

10. Относительно Дантона существуют два противоположных мнения. Одни считают Дантона пламенным демократом, безупречным патриотом, великим государственным деятелем. Такое мнение отстаивают доктор Робине (D r. R o b i n e t. Danton. Mémoires sur la vie privée. Paris, 1865; «Procès des Dantonistes», Paris, 1879; «Danton comme homme d'Etat», Paris, 1889) и А. Олар (A. A u l a r d. Les orateurs de la Législative et de la Convention. Paris, 1885, t. II, p. 165; «Études et leçons sur l'histoire de la Révolution française». Paris, séries I, 1893; II, 1898; IV, 1904; V, 1907; IX, 1924). По мнению других, Дантон был бессовестным политиканом, спо-

собным предать Революцию и даже родину, продавшимся по меньшей мере двору. Это мнение упорно отстаивал в течение более двадцати лет А. Матъез в многочисленных статьях, опубликованных в «Annales révolutionnaires» (1908—1923), которые в 1923 г. превратились в «Annales historiques de la Révolution française». Их выводы были изложены в статье «Danton, l'histoire et la légende». — «Annales historiques de la Révolution française», 1927, p. 417.

11. Дантон был избран на должность заместителя прокурора Коммуны 6 декабря 1791 г. Он оставался на этом посту до 10 августа 1792 г.



на фактах, а их нельзя долго искажать, то мнение, которое не дарует прощения изменникам и чей верховный суд кассирует суждения глупцов и постановления судей, продавшихся тирании, это общественное мнение призывает меня из глубины моего уединения, где я собирался работать на своей скромной ферме, приобретенной на средства от общеизвестного возмещения за должность, ныне уже не существующую, что не помешало моим клеветникам превратить эту ферму в огромные владения, якобы оплаченные некими агентами Англии и Пруссии.

Я должен занять место среди вас, г-да, ибо такова воля друзей свободы и Конституции, я тем более обязан это сделать, что в момент, когда родине угрожают со всех сторон, нельзя отказываться от поста, который может оказаться опасным, как пост дозорного.

Я вступил бы на открывающееся передо мной поприще молча, после того, как в продолжение всей Революции я пренебрегал опровержением бесчисленных клеветнических измышлений, кои на меня возводили, я не позволил бы себе ни одной минуты говорить о себе, я ожидал бы восстановления моей репутации от моих действий и от времени, если бы возложенные ныне на меня обязанности не изменили полностью моего положения. Как личность, я презираю стрелы, которыми меня осыпают, они для меня лишь пустой свист. Но, став народным избранником, я должен если и не отвечать на все, ибо есть вещи, коими заниматься было бы нелепо, то хотя бы схватиться врукопашную с любым, кто выступает против меня с известной добросовестностью.

Париж, как и вся Франция, состоит из трех классов. Первый из них — враг всякой свободы, всякого равенства, всякой Конституции, достоин всех тех страданий, которые он причинял и хотел бы и далее причинять нации; с этим классом я не стану разговаривать, с ним я буду только драться, и драться смертным боем. Второй класс — это элита пламенных друзей, соратников, самых твердых защитников нашей святой Революции, это тот класс, который всегда хотел, чтобы я находился здесь; ему мне тоже ничего не надо говорить, он оценил меня, и я никогда не обману его ожиданий. Третий класс, столь же многочисленный, сколь благонамеренный, тоже хочет свободы, но боится ее бурь; он не питает ненависти к ее защитникам, которым он всегда поможет в моменты опасности, но часто осуждает их энергию, обычно полагая ее или неуместной, или опасной. Этот-то класс граждан, мной уважаемых даже тогда, когда они слишком доверчиво прислушиваются к коварным инсинуациям людей, скрывающих под маской умеренности жестокость своих замыслов, этих-то граждан, повторяю, я должен, как должностное лицо народа, познакомить с моими политическими принципами путем торжественной исповеди.

*Природа наделила меня атлетическим сложением и суровым обликом свободы. Избежав несчастья родиться в одном из семейств, поставленных нашими старыми учреждениями в привилегирован-*

*ное положение и уже вследствие этого почти всегда вырождающихся, я сохранил, своими силами утверждая себя в гражданской жизни, всю свою прирожденную силу, не переставая ни на миг доказывать как в моей частной жизни, так и в избранной мною профессии, что я умею сочетать хладнокровие рассудка с жаром души и твердостью характера.*

Если с первых же дней нашего возрождения я познал все кипения патриотизма, если я соглашался казаться хватающим через край, чтобы никогда не быть слабым, если я навлек на себя первую проскрипцию тем, что заявил во всеуслышание, что представляют собой люди, желавшие посадить Революцию на скамью подсудимых, и защищал тех, кого называли громилами свободы, то это потому, что я видел, чего можно ожидать от предателей, открыто покровительствовавших гадам аристократии.

Если я всегда был искренне предан делу народа, если я не разделял мнения многих граждан, несомненно благонамеренных, относительно людей, чья политическая жизнь, на мой взгляд, отличалась опасным непостоянством, если я лицом к лицу публично и честно требовал объяснений у некоторых из этих людей, считавших себя главной опорой Революции; если я хотел, чтобы они объяснились относительно тех моментов своих проектов, ложность которых открылась мне при моих сношениях с ними, то только потому, что я всегда был убежден, что народу важно, чтобы ему указывали, чего он должен опасаться со стороны особ, достаточно ловких, чтобы всегда успеть в зависимости от хода событий перейти на ту сторону, к той партии, которая обещала их честолюбию высокий взлет; а еще потому, что я полагал достойным меня объясниться в присутствии этих самых людей, высказать им все, хотя я и предвидел, что они вознаградят себя за свое молчание, поручив своим приспешникам расписать меня самыми черными красками и уготовляя мне новые преследования.

Если, будучи силен сознанием правоты своего дела, то есть дела нации, я предпочел опасности нового осуждения, основанного даже не на моем мнимом участии в петиции, стяжавшей слишком трагическую славу, а на какой-то жалкой басне о пистолетах, якобы унесенных в моем присутствии из комнаты одного военного в день навеки памятный<sup>12</sup>, то только потому, что я всегда действую сообразно вечным законам справедливости, потому что я неспособен поддерживать отношения, утрачивающие свою чистоту, и связывать свое имя с людьми, не боящимися отступничества от религии народа, которую они сначала защищали.

Вот какова была моя жизнь.

А вот, господа, какую будет она впредь.

12. Намек на последствия расстрела на Марсовом поле (17 июля 1791 г.) и на репрессии, после-

довавшие за этим. Дантон уехал тогда в Англию.

Я избран для того, чтобы способствовать поддержанию Конституции, чтобы обеспечить исполнение законов, принятых нацией. Ну что ж, я сдержу свои клятвы, я выполню свой долг, всей своей властью я буду охранять Конституцию, ибо это будет в то же время защита равенства, свободы и народа. Мой предшественник на должности, в исполнение которой я вступаю, сказал, что король, признав его в министерство, дал этим новое доказательство своей преданности Конституции. Народ, выбрав меня, по меньшей мере столь же сильно привержен Конституции; он, стало быть, хорошо помогает королю в его намерениях. О если б мы оба, мой предшественник и я, высказали две вечные истины! История всего мира свидетельствует о том, что народ, связавший себя своими собственными законами с конституционной монархией, никогда первым не нарушал своих клятв; нации меняют свой образ правления или вносят в него изменения только тогда, когда их принуждает к тому чрезмерное угнетение; конституционная монархия может просуществовать во Франции гораздо больше веков, чем существовала деспотическая монархия.

Не философы, которые изобретают лишь системы, потрясают государства. Низкие льстецы королей, те, что их именем угнетают народ и обрекают его на голод, больше делают для того, чтобы возбудить желание изменить правление, нежели все филантропы, рассуждающие об абсолютной свободе. Французская нация стала более гордой, оставаясь столь же великодушной. Разбив свои оковы, она сохранила королевскую власть, не страшась ее, и очистила ее, не питая к ней ненависти. Пусть королевская власть уважает народ, в котором долгие притеснения отнюдь не убили склонности к доверию, пусть она сама предаст возмездие законам всех заговорщиков *без исключения* и всех этих лакеев заговоров, выпрашивающих у королей авансы в счет химерических контрреволюций, для которых они затем хотят вербовать, так сказать, сторонников в кредит. Пусть королевская власть покажет себя наконец искренним другом свободы, *ее верховной властительницы*. Она обеспечит себе тогда жизнь столь же продолжительную, как и жизнь самой нации. Тогда станет ясно, что граждане, коих обвиняют в том, что они зашли *далее* Конституции, и обвиняют те, кто явно *не дошел* до нее; что эти граждане, какова бы ни была их абстрактная теория свободы, отнюдь не стремятся разорвать общественный договор, что они не хотят ради некоего *идеального* лучшего низвергнуть порядок вещей, основанный на равенстве, справедливости и свободе.

Да, господа, я должен это повторить: каковы бы ни были мои личные мнения *о делах и о людях* во время пересмотра Конституции, теперь, когда ей присягнули, я во всеуслышание потребовал бы смерти для первого, кто бы посмел поднять кощунственную руку на нее, будь то мой отец, мой друг, мой родной сын: таковы мои чувства.

Общая воля французского народа, выраженная столь же торжественно, как и его одобрение Конституции, будет для меня всегда высшим законом. Я посвятил всю свою жизнь этому народу, на который нельзя будет больше нападать и который нельзя будет больше предавать безнаказанно, народу, который вскоре очистит землю от всех тиранов, если они не откажутся от лиги, созданной ими против него. Если понадобится, я погибну, защищая его дело; о нем одном будут все мои последние помыслы; он один их заслуживает; его просвещение и его мужество извлекли его из мерзости и ничтожества; его просвещение и его мужество сделают его вечным».

Какая сила и какая политическая гибкость! Как старается Дантон привлечь на свою сторону средний класс, укротить злобу связанной с Лафайетом умеренной буржуазии, на которую он так часто нападал! И как он в то же время озабочен сохранением свободы действий народа! Как решительно он заявляет, что если вспыхнет новая Революция, то это произойдет не для того, чтобы осуществить некую предвзятую «абстрактную теорию свободы», то есть Республику, а в ответ на вероломство власти, и робкая буржуазия, таким образом, вынуждена признать возможность народного движения как неотразимую необходимость.

Дантон искренен, когда он говорит, что не хочет низвергать конституцию ради духа системы. Он искренен, когда говорит, что конституционная монархия может, если захочет, существовать века. И быть может, прежде чем броситься навстречу бурям и опасностям новой Революции, он сохранял в глубине своей совести и в уме этот последний шанс. Но он не усыпляет свой ум этой гипотезой: он бодрствует, готовый к вероятным боям, он только дает знать робким людям, что сила разума в нем всегда будет смирять бушующие страсти.

Газета Приюдома удивлена и несколько шокирована этой манерой говорить о самом себе; и в самом деле, у Дантона была некоторая склонность к фанфаронству и хвастовству, потребность козырять своей силой. Но это хвастовство было у него также и расчетом. В ту пору неуверенности и колебаний, характерную для 1792 г., он чувствовал, что для объединения разрозненных волей и овладения неясными событиями необходимо было великое утверждение и даже выставление напоказ энергии и силы.

Внешне корректная и умеренная, эта январская речь была революционным манифестом. Дантон объявлял массам: «Я здесь». В марте, апреле, мае он избегал ввязываться в распри между жирондистами и Робеспьером и компрометировать себя. Однажды он заявил в Якобинском клубе, что, прежде чем предпринять войну, надо победить внутренних врагов. Но он не вел систематической кампании против войны, как Робеспьер. Он избегал нападков на жирондистов, но их грубо клеветнические нападки на Робеспьера вызывали у него отвращение, и он однажды гневно воскликнул,

что пора покончить с этой системой оскорблений и инсинуаций в адрес лучших служителей отечества\*.

Очевидно, у него сложилось определенное мнение о Жиронде: он видел ее несостоятельность и тщеславие. Он предчувствовал, что ему, Дантону, предстояло привести к завершению события, начало которым положила она. Он не хотел угодить в силки какой-либо группы. Он берег все свои силы для великих событий, которые он предвидел: решительной борьбы с монархией, борьбы не на жизнь, а на смерть с иностранными державами. Он ожидал многого, но не от теорий, порой абстрактных, Робеспьера и политиканских комбинаций Жиронды, а от стихийной силы народа, проявлявшейся почти каждый день в решительных обращениях к Законодательному собранию, в делегациях, разговаривавших в повелительном тоне.

Уже с этого времени он рассчитывал больше всего на революционную силу секций: именно эту силу он хотел воодушевить и организовать, он хотел всю эту живую силу поднять, так сказать, к власти, чтобы спасти свободу и отечество. Этим путем он надеялся также спасти порядок, что явилось бы как раз результатом обращения Революции с доверием к энергии народа.

## ДЕКРЕТЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОБОРОНЫ

Однако правительственная деятельность Жиронды при всей ее нерешительности отнюдь не была бесполезной. Она по крайней мере помогла поставить проблемы, прояснить конфликт между Революцией и королевской властью. Контрреволюционные происки неприсягнувших священников становились невыносимыми. Они повсюду подстрекали к восстаниям, а карательные меры, декретированные Законодательным собранием по докладу Франсуа де Нёшато, не оказывали никакого действия.

Законодательное собрание, запретив пошение церковного облачения и обязав таким образом священников не отличаться по одежде от граждан, приступило затем наконец к выработке главных карательных законов. По предложению Верньо оно установило 16 мая для всех непокорных священников, отказывающихся от присяги и вызывающих беспорядки, наказание высылкой. Революция видела в их лице смертельную угрозу. Чтобы понять ее гнев, достаточно почитать невероятные памфлеты, составленные против нее мятежным духовенством, открытые призывы, с которыми оно обращалось к иностранным державам.

С каким-то чудовищным простодушием священники доказывали, что долг императора Германии — вмешаться во внутренние дела Франции. «Именно Франция, — говорили они, — во времена Карла Великого принесла германским народам христианство; было бы нечестиво и неблагодарно со стороны германских народов

\* О Дантоне и дантонистах см.: «Французская буржуазная революция 1789—1794», под редакцией В. П. Волгина и Е. В. Тарле. М.,

1941; Ц. Фридлянд. Дантон. М., 1965; А. Леваковский. Дантон. М., 1964. — Прим. ред.

не восстановить во Франции христианство, которому грозит опасность».

Собирались толпы фанатически настроенных крестьян, и в лесах под звуки музыкальных инструментов, под которые вчера еще плясала сельская молодежь, вооруженные банды клялись в вечной ненависти к Революции. Священники разжигали не только фанатизм, но и жадность. Они призывали крестьян не платить налогов, коими Революция заменила бесчисленные подати и повинности старого порядка, а иногда, не колеблясь, проповедовали «аграрный закон» не для того, чтобы подготовить социальное возвышение труда и окончательное освобождение крестьян, а в надежде на то, что на развалинах буржуазной собственности вновь станут процветать десятины и всякие церковные сборы и что из анархии возродится старый порядок.

Законом о высылке Жиронда нанесла сильный удар. Но что теперь сделает король? После того как он отверг первые, довольно безобидные меры, принятые Законодательным собранием, как может он согласиться дать свою санкцию более грозному декрету? Этим путем Жиронда шла к решительному конфликту.

Спустя несколько дней, 4 июня, военный министр Серван предложил Собранию сформировать лагерь в 20 тыс. человек, которые были бы отобраны среди отрядов национальной гвардии<sup>1</sup> всех департаментов. По проекту министра этот лагерь должен был защищать Париж от всяких внезапных нападений врага. В то же время он поставлял бы вооруженные силы для поддержания порядка в столице и, таким образом, несколько облегчил бы бремя, которое с трудом несла парижская национальная гвардия.

На деле же Жиронда надеялась на то, что под воздействием министерства и революционного духа собранные таким образом люди будут в ее распоряжении. Они могли бы в самом деле защитить Париж от нападения вражеских сил! Но они могли бы также оказать давление и на решения двора. Вместе с тем посредством весьма хитрой комбинации Жиронда рассчитывала лишить Париж его роли революционного авангарда. Отныне вся революционная Франция, а не только одна Парижская коммуна была обязана в самом центре событий заботиться о Революции. Конечно, тогда еще не было острого конфликта между Жирондой и Парижем, но именно в Париже больше всего сказывалось влияние Робеспьера и Марата, которых жирондисты ненавидели и преследовали.

Точно так же именно в Париже был особенно активен Дантон, которому жирондисты не доверяли, хотя еще не вступили с ним в борьбу. Они уже предвидели, что если их политика, внешняя и внутренняя, приведет к резкому разрыву с королевской властью и если наступление поведет Париж, то именно Парижу будет принадлежать политическое главенство и он доверит его тем людям, которые пользуются его особым доверием.

Поэтому они хотели организовать для служения Революции вооруженную силу, состоящую из разнородных и преимущественно провинциальных элементов, которая была бы полностью под их влиянием. У Сервана, помимо этих расчетов, была, впрочем, еще одна большая идея: он всегда был сторонником вооруженной нации<sup>2</sup>. Между тем ни обстоятельства, ни состояние умов в то время еще не позволяли ставить вопрос о всенародном ополчении. Но создать небольшую революционную армию путем делегирования и отбора из всех национальных гвардий — разве это не первый шаг к тому, чтобы привести в движение всю нацию?

Против проекта Сервана революционные враги Жиронды, Марат и Робеспьер, выступили так же резко, как и друзья двора. В номере своей газеты, вышедшем в пятницу 15 июня 1792 г., Марат изобличал этот проект как «смертельный удар, нанесенный свободе и общественной безопасности Национальным собранием, которое является соучастником козней двора и само тоже контрреволюционно... Что тут думать о вооружении народа, который готов убивать, если это понадобится, дабы вновь взвалить на него ярмо?

Для обеспечения успеха этого мерзкого проекта тайное собрание в Тюильри, не полагаясь ни на ослепление и отсутствие гражданских чувств у большей части парижской гвардии, ни на ужасные приготовления многочисленных контрреволюционеров, скрывающихся в нашем городе, сочло необходимым дать им подкрепление, призвав под благовидным предлогом со всех концов королевства 20 тыс. человек, готовых стать опорой деспотизма. Итак, этот военный лагерь, будьте уверены, предназначен поддержать операции контрреволюционеров столицы, а также операции национальных и иностранных армий, призванных для восстановления деспотизма. Чтобы надлежащим образом подготовить его для этой задачи, ему дадут командиров-роялистов, которые всесторонне его обработают».

Как причудливо партии искажают идеи и факты! В то время главной заботой Жиронды было не служение контрреволюции, она стремилась обеспечить себе руководство Революцией. Я допускаю, что такой эгоистический замысел может стать контрреволюционным. Но это еще далеко не дает основания утверждать, что Серван действовал в интересах двора. Уже 9 июня Марат писал: если Серван не ладит с двором, почему он не уволен? Это детское рассуждение. Оно предполагает, что королю вовсе не приходилось считаться с силами Революции. Впрочем, несколько дней спустя

1. Серван (1741—1808) — младший воспитатель пажей при старом порядке, подполковник в 1791 г., военный министр в 1792 г.  
2. См.: S e r v a n. Le Soldat citoyen,

ou vues patriotiques sur la manière la plus avantageuse de pourvoir à la défense du royaume. Neufchâtel, 1780. Это сочинение приписывалось также Гиберу.

Серван и в самом деле будет уволен. Г-н Олар в поисках основной глубокой причины вражды между Жирондой и Горой приходит к выводу, что в конечном счете дело в антагонизме между провинцией и Парижем. Такое объяснение слишком просто<sup>3</sup>. В действительности война разгорелась с 1792 г., а Париж в то время представляли не друзья Марата и Робеспьера. Представителем Парижа был глава Жиронды, Бриссо. И любопытно, что в то время именно Марат как будто изобличает Париж.

В заметке, помещенной в номере от 15 июня, он пишет: «Можно было верить тому, что неверные депутаты народа, как, например, депутаты Парижа и Жиронды, продавшие государю важнейшие интересы отечества, замыслили окружить себя 20 тыс. собранных из департаментов национальных гвардейцев, чтобы защитить себя от мести двора и заговоров контрреволюционеров. Но если бы это было так, они позаботились бы о том, чтобы выбор этих гвардейцев был делом рук большинства народа, они не доверили бы способ этого отбора военному комитету, сплошь состоящему из контрреволюционных офицеров. Я как-то сказал, что фракция Жиронды и Парижа была всемогуща. Я добавил, что она руководила Собранием, и это верно и сейчас еще. Но не следует думать, что она является душою губительных декретов, ею проводимых. Конечно, нет, она их только предлагает. Доказательство этого в том, что большая часть этих декретов рассчитана на победу врагов Революции, полное восстановление деспотизма и превращение их самих в жертвы его ярости. Эта злодейская фракция, подло продавшаяся двору, является, следовательно, игрушкой в руках Тюильрийского кабинета, ловко заставляющего ее служить его заговорам, который в конечном счете, когда придет пора, расправится с ней безжалостно». Тут Марат несколько отстывает. Он уже не обвиняет «фракцию Жиронды и Парижа» в том, что она систематически действует в интересах двора.

Он обвиняет ее в том, что ее одурачил и превратил в свою игрушку тот самый двор, которому она отдалась. И если Марат хочет этим сказать, что именно королевский двор внушил министрам-жирондистам идею собрать двадцать тысяч человек, то он грубо ошибается.

Робеспьер в номере 5 «Дефансёр де ла Конститусьон» тоже пространно критиковал проект Сервана. Если эти 20 тыс. человек собирают для того, чтобы сражаться против внешних врагов, то зачем располагать лагерь так далеко от границы? А если их собирают для борьбы против внутренних врагов, то почему не доверять революционному народу Парижа? «Кто те разбойники, которых нам следует опасаться? Самые опасные, по моему мнению, это те лицемерные враги народа, которые изменяют общественному делу и попирают ногами принципы Конституции! Это те подлые и жестокие интриганы, которые стремятся все привести в расстройство, чтобы безнаказанно расточать финансы государства, чтобы

одним ударом принести в жертву их честолюбию и их алчности как общественное достояние, так и саму Конституцию.

Но таких врагов не обуздаешь армией. Да что я говорю? Она может в один прекрасный день установить свое господство над самим Законодательным собранием, может стать орудием какой-нибудь группировки. Она может быть использована для угнетения народа, для лишения его свободы, для обеспечения или для осуществления задуманных и уже начатых репрессивных мер, направленных против наиболее ревностных патриотов, не вступающих в сделки ни с какой партией. Предложенный порядок избрания, быть может, свидетельствует о гражданских принципах министерства, но не устраняет опасности. Избирательная урна может оказаться во власти интриг и невежества, особенно в такое время, когда все группы пребывают в состоянии столь сильного возбуждения.

Опыт дал нам уже, несомненно, довольно много уроков по этой части. Опыт показал нам, как легко ввести в заблуждение и соблазнить неиспорченных людей. Человек слабый и невежественный столь же опасен, как человек развращенный: оба могут идти к одной и той же цели, направляемые интригой и коварством. Эти опасности возрастают, когда речь идет о вооруженной силе. Гордость силой и корпоративный дух — это почти неизбежные подводные камни. Руссо сказал, что нация перестает быть свободною, как только она избрала своих представителей. Я далек от того, чтобы принять этот принцип без оговорок... но я не боюсь утверждать, что с того момента, когда безоружный народ доверил свою силу и свое спасение вооруженным корпорациям, он стал рабом.

Я утверждаю, что наихудшим видом деспотизма является военное правление. Те, кто ссылался на патриотизм департаментов в ответ на эти общие политические соображения, весьма далеки от понимания существа вопроса, поскольку опасности, о которых я говорил, связаны с самой природой вещей. Кто больше меня воздал хвалы характеру французской нации? Но разве департаменты придут к нам целиком? Это будут люди, которых мы еще не знаем. А в таком положении какое решение подсказывает нам политическая мудрость, как не учесть все возможные последствия человеческих страстей и ошибок?»

3. А. Олар в самом деле находит, что разница между жирондистами и монтаньярами заключалась лишь в различном понимании роли Парижа в политической жизни Франции. [См.: А. Олар. Политическая история Французской революции. М., 1938, ч. II, гл. VII]. А. Матьез видит в первых пред-

ставителей крупной буржуазии, а во вторых — представителей демократии, ремесленников, мелких деревенских собственников и пролетариев. (A. M'athiez. De la véritable nature de l'opposition entre les Girondins et les Montagnards.—«Annales révolutionnaires», 1923, p. 177.)

Все это довольно туманно и несколько раздражает. Ибо все эти возражения не направлены против военного лагеря в 20 тыс. человек. Они направлены против всякого применения вооруженной силы, то есть против самой войны. Но в это время война была объявлена и начата, и Робеспьер не предлагал отказаться от защиты наших границ. Однако все проекты Жиронды были подозрительны и заранее осуждены.

По правде говоря, этот проект был и театральным и неполным. Тщетно пытаться найти ответ на вопрос о том, для чего могло бы быть использовано это скопление вооруженных делегатов в условиях большой опасности, внутренней или внешней. Похоже на то, что Жиронда, несколько разочарованная первыми военными неудачами, хотела успокоить нервозность страны пышными демонстрациями. Однако идея Сервана содержала рациональное зерно: призвать вооруженную делегацию от нации — это уже значило призвать нацию. Кто знает, может быть, именно идея обращения к Франции с призывом для надзора за королевской властью и вызвала великий поход марсельцев к Парижу накануне 10 августа?

С Робеспьером произошло довольно неприятное происшествие. В то самое время, когда он составлял против Сервана этот своеобразный обвинительный акт, многословный и туманный, штаб парижской национальной гвардии выступил против проекта. А ведь этот штаб был «файетистским». Он утверждал, что министры хотели лишить ее прав добрую парижскую национальную гвардию, верную конституции и королю; он сильно возбудил самолюбие парижских национальных гвардейцев и вскоре передал Собранию петицию, которую подписали 8 тыс. человек. Таким образом, вдруг оказалось, что Робеспьер согласен (по крайней мере в выводах) со своим врагом Лафайетом, с тем, кого он обличал как величайшую опасность для Революции!

«В момент, когда я пишу, — добавил он, раздосадованный и сконфуженный, — штаб парижской национальной гвардии представил направленную против критикуемого мною проекта петицию, основанную на диаметрально противоположных мотивах [подчеркнуто Робеспьером].»

Из этого я сделал тот вывод, что истина не подвластна ни частным интересам, ни всяким преходящим обстоятельствам. Я ссылаюсь в подтверждение этого на время и на опыт, которые с самого начала Революции столь часто и столь бесполезно меня оправдывали».

Но каким образом время могло бы вынести суждение по поводу столь туманных «ссылок»? И право же, неприятность, причиненная Робеспьеру этим неожиданным согласием с Лафайетом, не оправдывала такого призыва к будущему. Какое раздражительное и болезненное самолюбие!

А тут еще грубо и без чувства меры «Патриот франсэ» обвинил Робеспьера в том, что он сообщник контрреволюции. Написал это Жире-Дюпре, но это был человек Бриссо<sup>4</sup>.

«Г-н Робеспьер окончательно сбросил маску. Дстойный соперник австрийских главарей из комитета Национального собрания, он разглагольствовал с трибуны Якобинского клуба<sup>5</sup> с присущей ему злобой против декрета, предписывающего набор 20 тыс. человек, которые должны прибыть в Париж к 14 июля. Таким образом, в то время как сторонники двухпалатной системы стараются поднять против Собрания богатых капиталистов и крупных собственников, г-н Робеспьер употребляет остатки своей популярности на то, чтобы восстановить против него ту ценную часть народа, которая так много сделала для Революции. Таким образом, в то время как австрийская партия готова все пустить в ход, чтобы убедить короля поразить своим *вето* мудрый декрет Законодательного корпуса, защитник Конституции прилагает все усилия, чтобы подготовить общественное мнение к этому *вето*, самому роковому из всех, которые до сих пор были произнесены».

Многие петиционеры, у которых фейянский штаб национальной гвардии выманил подписи, взяли их затем обратно. Оставался один вопрос: «Как поступит король?» В мае он дал согласие на роспуск своей гвардии, заподозренной в контрреволюции<sup>6</sup>. Согласится ли он на декреты, направленные против священников и на формирование революционного лагеря под Парижем?

Он, конечно, хотел бы уклониться от решения, оттягивать его возможно дольше. С тех пор как у него были министры, решительно настроенные в духе Революции, осуществление прерогативы *вето* становилось для него делом очень трудным: сопротивляясь, он неизбежно вызывал кризис, становившийся с каждым днем все более опасным. Когда Малле дю Пан писал: «Последняя перемена в министерстве неизбежно сводит на нет осуществление императивного *вето*, поскольку трон оказывается в окружении агентов партии, диктующей декреты», он замечательно верно понял смысл и революционные последствия возвышения Жиронды, ее вступления в министерство, тогда как Робеспьер, придерживаясь своей удивительно инертной и выжидательной политики, притворялся, что не видит этого.

4. «Le Patriote français», № 1035, 1036. Жире-Дюпре (1769—1793) — младший хранитель рукописей в Королевской библиотеке, сотрудник Бриссо в «Patriote français».

5. Робеспьер выступал в Якобинском клубе против формирования военного лагеря под Парижем 7 и

8 июня 1792 г. («Discours», p. 365, 367).

6. 29 мая 1792 г. Законодательное собрание декретировало роспуск конституционной гвардии короля: оно опасалось вооруженного выступления.

## ТРЕБОВАНИЕ РОЛАНА

Выдвинутые и увлекаемые развитием Революции министры-жирондисты не могли, не погубив себя, допустить, чтобы король уклонился от решения; и Ролан взял на себя задачу предъявить королю требование, что он и сделал в письме, ставшем знаменитым. Говорили, что это было актом большого мужества. Я хорошо знаю, что в те дни (10 июня) престиж королевской власти, еще не подвергшейся испытанию 20 июня, мог казаться огромным.

Однако, несмотря на все, авторитет короля, окруженного враждебными ему силами, уже значительно уменьшился, и худшее, чем рисковал Ролан, — это быть уволенным и, уйдя из министерства, обрести огромную популярность. Это устраивало Роланов с их несколько тщеславной суровостью. Их подлинная заслуга состоит в том, что, предъявив королевской власти своего рода ультиматум, они ускорили ход событий.

Это не был республиканский манифест. Наоборот, Ролан объявляет, что конституция может существовать при том условии, что король будет применять ее в революционном духе и прекратит чинить помехи законодательной власти. Но в осторожной форме была поставлена острая дилемма: «Или король откажется фактически от применения *вето*, или Конституция погибнет». В обоих случаях министр-жирондист, по существу, предлагает или предписывает королю изменение конституции.

Возвышение Жиронды, вступление ее в министерство как-то сузило поле, где сталкивались Революция и королевская власть... «Декларация прав человека стала политическим евангелием, а французская Конституция — религией, за которую народ готов умереть.

Поэтому рвение порой восполняло закон, и, когда последний был недостаточно суров для укрощения нарушителей спокойствия, граждане позволяли себе самим карать их. Так, например, были опустошены имущества эмигрантов, что было продиктовано чувством мести; так многие департаменты были вынуждены принять суровые репрессивные меры против священников, осужденных общественным мнением, жертвами которого они бы стали.

В этом столкновении интересов все чувства обрели накал страстей. Отечество — не то слово, чтобы служить утехой причудливому воображению. Это существо, ради которого идут на жертвы, к которому с каждым днем привязываются все больше благодаря заботам, которых оно требует, существо, которое создавалось ценой великих усилий и растет среди тревог и которое любят как за все то, что выстрадали ради него, так и за все, что надеются обрести в нем. Все посягательства на отечество — лишь средство еще более воспламенить вызываемый им энтузиазм. Какой силы достигнет этот энтузиазм в тот момент, когда вражеские силы, собравшиеся за

пределами страны, стоворятся с внутренними интриганами, чтобы нанести самые гибельные удары?

Брожение достигло крайней степени во всех концах государства. Оно приведет к страшному взрыву, если не будет успокоено обоснованным доверием к намерениям Вашего Величества, но это доверие не родится благодаря уверениям: оно может иметь основанием только факты.

Для французской нации очевидно, что Конституция может действовать и что правительство будет обладать всей необходимой ему силой с того момента, как Ваше Величество, безусловно желая торжества этой Конституции, будет поддерживать Законодательный корпус всей силой исполнительной власти, устранив все поводы для тревог у народа и лишит недовольных всяких надежд.

Так, например, были приняты два важных декрета, они имеют существенное значение для общественного спокойствия и благополучия государства.

Затяжка с их утверждением внушает недоверие; если она еще продлится, это вызовет недовольство, и, я обязан это сказать, при нынешнем лихорадочном состоянии умов *недовольство может привести к чему угодно*. Уже не время откладывать, нельзя даже медлить. Революция совершилась в умах: она завершится ценой крови и кровью будет скреплена, если благоразумие не предотвратит несчастий, которых еще можно избежать.

Я знаю, можно воображать, что крайними мерами всего можно достигнуть и все обуздать. Но когда применяют силу, чтобы принудить Собрание, когда в Париже распространится ужас, а в его окрестностях раздоры и оцепенение, то вся Франция с негодованием поднимется и, разрывая себя самое в ожесточении гражданской войны, проявит мрачную энергию, мать добродетелей и преступлений, всегда губительную для тех, кто ее пробудил.

Благополучие государства и счастье Вашего Величества тесно связаны между собою; никакая сила не способна их разделить. Жестокие потрясения и неизбежные несчастья ожидают ваш трон, если вы сами не утвердите его на основах Конституции и не укрепите благодаря миру, который должен нам обеспечить ее сохранение...

Поведение священников во многих местах, предлог, который обретали недовольные в фанатизме, побудили издать разумный закон против этих нарушителей. Пусть Ваше Величество даст ему свою санкцию: этого требует общественное спокойствие, это необходимо для спасения священников. Если этот закон не войдет в силу, департаменты будут принуждены заменить его, как это уже было во многих местах, насильственными мерами, а раздраженный народ дополнит их крайностями.

Попытки наших врагов, волнения, происходившие в столице, крайняя тревога, которую вызвало поведение вашей гвардии и еще более усилило удовлетворение, кое Ваше Величество побудили

выразить ей в прокламации, весьма неполитичной в данных обстоятельствах, положение Парижа и его близость к границам — все это заставило осознать необходимость создания поблизости от него военного лагеря. Эта мера, мудрость и неотложность которой ясны для всех здравомыслящих людей, нуждается только в Вашей санкции. Зачем же затылками создавать впечатление, что она дается с сожалением, тогда как быстрота вызвала бы благодарность?

Уже попытки штаба парижской национальной гвардии, направленные против этой меры, породили подозрения, что он действует по внушению свыше. *Уже разглагольствования некоторых крайних демагогов заставляют подозревать их связь с теми, кто заинтересован в низвержении Конституции.* Уже общественное мнение теряет веру в намерения Вашего Величества. Пройдет еще немного времени, и опечаленный народ начнет видеть в своем короле друга и соучастника заговорщиков. Праведное небо! Неужели ты поразило слепотой сильных мира сего! Неужели у них всегда будут только такие советчики, которые увлекают их к гибели?

Я знаю, что к суровому голосу правды редко прислушиваются у трона. Я знаю также, что революции становятся неизбежными именно потому, что этому голосу не удается почти никогда заставить услышать его там. И главное, знаю, что обязан говорить этим голосом Вашему Величеству не только как послушный законам гражданин, но и как министр, удостоенный его доверия или облеченный функциями, предполагающими это доверие.

Это был выстрел в упор по королю и королевской власти. Письмо это возлагало на короля ответственность за все волнения<sup>7</sup>; и на случай, если бы король не уступил, оно заранее оправдывало все насильственные действия. Была ли у Ролана, подписавшего письмо, у г-жи Ролан, написавшей его, была ли у них хоть одно мгновение иллюзия, что оно окажет воздействие на короля? Своими резкими выражениями оно могло только вывести его из себя. Поэтому Роланы написали его главным образом для того, чтобы снять с себя ответственность. Они тщательно хранили его копию, чтобы при случае опубликовать его и обратить в своего рода манифест ко всей Франции.

Но производит странное впечатление и ярко характеризует надменную ограниченность и дух групповщины, умалявшие всю деятельность Жиронды, тот факт, что в этом торжественном письме Роланы не забыли бросить обвинение своим соперникам. Ведь это Марата и Робеспьера они называют в нем демагогами. Это Марата и Робеспьера с бесстыдным лицемерием обвиняют они в связях с двором.

Поистине трудно представить себе что-либо более «демагогическое» в том смысле, как они это понимали, и более «крайнее», чем

само их письмо. Как! Пред нами министр внутренних дел, страж общественного порядка и конституции, который предупреждает короля в письме, предназначенном для обнародования, что если он не отречется фактически от права *вето*, то возмущенная Франция вся восстанет против него. Он возвещает и заранее оправдывает Революцию, штурм трона. Он также оправдывает и даже восхваляет акты насилия против эмигрантов и мятежных священников, чинимые стихийным правосудием народа ввиду бессилия или бездействия законов! Куда уж дальше! Это было уже как бы теоретическое вступление к грядущим сентябрьским избиениям. И этот же министр-жирондист, подписавший этот манифест, возвещавший революцию и насилия, изобличает преувеличения, крайности «демагогов». Очевидно, жирондисты одни были государственными людьми, у них одних было чувство меры; и то, что под пером других было демагогией, неистовством или изменой, то под их пером было умеренностью, благоразумием, прозорливостью. В то же время Робеспьер воображал, что только в его душе и только в его уме имеется план Революции. О, уость самолюбий и эгоизмов перед величием событий!

## УВОЛЬНЕНИЕ МИНИСТРОВ-ЖИРОНДИСТОВ

Король ответил, лишив Ролана, Сервана и Клавьера их министерских портфелей. Это был резкий разрыв с Жирондой<sup>8</sup>. Как решился на это Людовик XVI? Конечно, в свое время он лишь скрепя сердце призвал жирондистов в состав министерства. Он это сделал, несомненно, чтобы выиграть время, чтобы прикрыть себя популярностью якобинцев и дать возможность иностранным государям мобилизовать свои армии и вступить на территорию Франции. И он, конечно, предвидел, что для сохранения этой жирондистской ширмы ему придется согласиться на мучительные жертвы. Но все эти основания для того, чтобы тянуть, уступать, оставались в силе и в июне.

Державы не двигались или двигались очень медленно. Русская императрица Екатерина все более и более тревожила Европу своими происками вокруг Польши. 2 июня сам Ферзен писал королеве Марии Антуанетте, информируя ее о колебаниях и существующих трудностях<sup>9</sup>: «С Пруссией дело обстоит хорошо: на нее одну Вы можете рассчитывать. Вена все еще носит с проектом раскола и соглашения с конституционалистами. С Испанией дело

7. В это время в Париже велась роялистская агитация, о которой свидетельствуют афиши и брошюры. Например, «Le réveil aux Parisiens» (imp. s.l.n.d. [8 juin 1792], in-8°, 12 p.; BN Lb<sup>39</sup> 5968).

8. 13 июня 1792 г.

9. «Le comte de Fersen et la cour de France. Extraits des papiers...» publiés par le baron R. M. de Klincköwstrom. Paris, 1878, t. II, p. 286.



*плохо, надеюсь, что с Англией не будет хуже. Императрица жертвует вашими интересами ради Польши... Старайтесь продлить войну и не уезжайте из Парижа...*

Головные части прусской армии придут 9 июля. Все будут на месте 4 августа. Они будут действовать на Мозеле и на Маасе, эмигранты со стороны Филиппсбурга, австрийцы в Бригау. Герцог Брауншвейгский придёт 5 июля в Кобленц. Когда все соберутся там, герцог Брауншвейгский выступит, выставит заслоны против крепостей и с 36 тыс. отборных войск двинется прямо на Париж...»

Казалось бы, что король и королева в соответствии с их планом притворства и измены должны были бы только опустить голову и санкционировать все, что декретировало Собрание, ради того, чтобы избежать внутренних столкновений до момента вторжения. Насколько ей позволял строгий надзор, установленный за Тюильри, королева продолжала уловки для сношений с заграницей. При посредничестве Ферзена и под видом деловой переписки она сообщала монархам все подробности относительно политических и военных дел, которые она могла передать в коротких шифрованных депешах, написанных трепетной рукой. 5 июня 1792 г. Мария Антуанетта пишет Ферзену<sup>10</sup>:

(Клером). «Я получила Ваше письмо № 7; я сразу же занялась изъятием Ваших фондов у компании Боскари. Нельзя было терять время, так как вчера было объявлено банкротство, а сегодня утром это стало известно на бирже. Говорят, что кредиторы понесут большие потери. Вот каково положение различных фондов, которые у меня на руках.

(Шифром). *Приказано, чтобы армия Люкнера немедленно перешла в наступление; он возражает, но министерство желает этого. Войска нуждаются во всем и пребывают в величайшем беспорядке.*

(Клером). Сообщите, что мне делать с этими фондами. Будь я их хозяином, я бы их выгодно поместила, купив несколько прекрасных владений духовенства; что бы там ни говорили, это наилучший способ поместить свои деньги. Вы можете ответить мне тем же путем, каким я пишу Вам.

Ваши друзья здоровы. Понесенные ими потери причиняют им большое огорчение, я делаю все, что могу, чтобы утешить их. Они считают восстановление своего состояния невозможным или возможным лишь в весьма отдаленном будущем. Утешьте их, если можете, на этот счет; они в этом нуждаются; их положение с каждым днем становится все ужаснее. Прощайте. Примите их поклон и заверения в моей совершенной преданности».

Любопытная вещь, свидетельствующая о присущих умеренным, «конституционалистам», неосторожности и неблагоразумии, граничащих с изменой! Даже после объявления войны Австрии, даже в июне, они продолжают свои тайные переговоры с венским двором. Они были глупейшим образом одурачены Марией Антуанет-

той, которая позволяла им думать, что она одобряет их последнюю попытку примирения и просит иностранных монархов лишь обеспечить честное применение конституции. 7 июня Мария Антуанетта пишет Ферзену:

(Шифром). «*Мои конститу. [конституционалисты] посылают человека в Вену; он будет проездом в Брюсселе; надо предупредить г-на де Мерси, чтобы он принял его как человека, о котором известила и которого рекомендовала королева, и чтобы переговоры с ним велись в духе мемуара, врученного ему мною. Желают \*, чтобы он написал в Вену и известил об этом... и объяснил бы, что придерживаются плана, составленного венским и берлинским дворами, но что нам необходимо делать вид, что разделяют виды конституционалистов, и главное—убедить, что это делается в соответствии с желаниями и требованиями королевы; эти меры крайне необходимы. Передайте г-ну де Мерси, что написать ему не могут ввиду неусыпного надзора.*

(Клером). Вот каково положение Ваших дел с Боскари и Шоль, о банкротстве коих я Вам сообщала в моем последнем письме. Я жду известий из Ла-Рошели, чтобы сообщить Вам, как обстоят Ваши дела с Даниелем Гарше и Жаком Гибером; пока что я знаю, что их банкротство не имеет серьезного значения. Вы бы поступили лучше, последовав моему совету и купив имения духовенства, нежели помещая ваши капиталы у банкиров. Если хотите, я помещу таким образом те капиталы, которые поступят для Вас в будущем месяце. Я получила Ваши № 7 и № 8».

Какой трагический клубок интриг! В мнимые финансовые сообщения вписываются послания измены. И Мария Антуанетта упорно и ожесточенно обманывает конституционалистов: она преудерживает, чтобы в Вене не вздумали выводить их из заблуждения. Пусть они продолжают верить, что король и королева, освобожденные иностранными державами, будут царствовать в соответствии с конституцией. Эта их иллюзия должна, несомненно, смягчить первый шок, который будет произведен в умах иностранным вторжением. Королева надеется, что они будут поддерживать настроение некоего доверчивого ожидания, которое облегчит продвижение иностранных войск на Париж. Но опять-таки, почему, ведя столь сложную игру, король и королева не решаются обмануть жирондистов, как они обманывают конституционалистов?

10. Ibid., p. 289. Это письмо написано не рукой королевы, но, несомненно, по ее распоряжению (оно содержит и ее сведения о событиях) верным слугой, вероятно Гогела, так как в письме к королеве от 30 июня 1792 г. Ферзен писал: «Вам следовало бы поручить Гогела писать мне каждое воскресенье и каждую среду,

чтобы сообщать мне подробно обо всем происходящем». Под прикрытием деловой переписки эти письма содержат весьма интересные сведения о положении королевской семьи и о политических событиях, особенно когда знаешь источник этой переписки.

\* Речь идет о короле и королеве Франции.

Почему им не продлить путем санкционирования декретов тот революционный кредит, в котором они нуждаются?

Возможно, что тон письма Ролана показался нестерпимым Людовику XVI, у которого иногда внезапно пробуждалась гордость. Вероятно также, что выдать священников, хотя бы путем вынужденной и сугубо временной санкции, представлялось ему святотатством. Наконец, в проекте создания революционного лагеря он видел маневр жирондистов, имеющий целью окружить короля и увести его из Парижа.

Именно потому, что цель этого плана ни для кого не была вполне ясной, король и королева предполагали у министров какую-то заднюю мысль. В Париже королевская власть еще могла защищаться: туда съезжались со всех концов Франции роялисты. Все те, кто чувствовал себя в опасности и беззащитным у себя в провинции, приезжали, чтобы укрыться в великом городе, где было множество неясных элементов. И конечно, в день внезапного нападения они сумели бы собраться под королевским штандартом. Дворец Тюильри, хотя и ставший уже тюрьмой, был также своего рода крепостью. В Париже король еще оставался королем. Если иностранные армии молниеносным маршем пересекут границу, если Брауншвейг со своей небольшой отборной армией, о которой пишет Ферзен, длинными переходами подойдет к Парижу, король, если он еще будет в столице, сможет вести переговоры с победителями от имени Франции. В своем дворце он будет выглядеть государем и для других государей, и для своего народа.

Стало быть, вполне естественно, что революционеры замысливают увести короля из Тюильри и из Парижа. Они увезут его в военный лагерь, а затем на Юг Франции, южнее Луары. Таким образом, иностранные монархи не смогут вести переговоры с королем Франции. Таким образом, иностранные орды, даже проникнув внезапно в столицу, не будут знать, с кем им договариваться, и вскоре окажутся поглощенными огромной, всюду рассеянной силой Революции.

Таков план, который Мария Антуанетта и Людовик XVI приписывали министрам-жирондистам. Этим же объясняется и совет, который Ферзен дал 2 июня, еще до того, как Серван внес свой проект в Собрание: «Главное, не покидайте Париж»<sup>11</sup>. Ферзен повторяет этот совет в письме к Марии Антуанетте от 11 июня:

«Господи, как меня огорчает Ваше положение, душа моя опечалена им и уязвлена. *Старайтесь только оставаться в Париже, и Вам придут на помощь*»<sup>12</sup>.

В письме, которое Ферзен пишет 13 июня из Брюсселя своему повелителю, королю Швеции, он уточняет, в чем заключаются опасения Людовика XVI и Марии Антуанетты.

«Государь, я получаю сейчас очень печальные вести из Франции. Положение Их Величеств становится с каждым днем все ужаснее, и они считают свое освобождение невозможным или,

во всяком случае, делом весьма отдаленного будущего. Якобинцы с каждым днем приобретают все больший вес и являются полными хозяевами благодаря престижу и низости, кои позор для французской нации, ибо, по существу, их ненавидят и недовольство, ими вызываемое, очень велико. *Они задумали увести Их Величества с собой в глубь королевства* и опереться на армию, которую они постарались сформировать на Юге и которая состоит из марсельской армии и из всех бандитов Авиньона и других провинций. Этот проект, хотя и противоречащий подлинным интересам города Парижа, который это понимает, возможно, удастся осуществить, особенно после того, как распущена гвардия короля. Ибо с этого момента буржуа и часть национальной гвардии, которые хотели бы воспротивиться этому проекту, лишились командиров и объединяющего центра, и они поступят так, как поступали до сих пор, то есть будут стонать, отчаиваться, кричать и ни во что не вмешиваться».

Несомненно, именно страх быть захваченным революционным лагерем и побудил Людовика XVI отказать в санкции проекта, даже рискуя резким разрывом с Жирондой. Увольнение в отставку трех министров-жирондистов вызвало сильное волнение. Письмо Ролана было зачитано в Собрании, которое встретило его аплодисментами. Оно было разослано по департаментам.

Собрание приняло резолюцию, гласившую, что Ролан, Серван и Клавьер уносят с собою сожаления нации. Однако в адрес королевской власти не последовало никакого открытого и резкого объявления войны. Начать движение должны были не политические вожаки, или, как тогда говорили, «вожаки общественного мнения». Демократы типа Робеспьера не очень-то огорчились по поводу устранения Жиронды. Да и как поднять народ из-за исключения министров-жирондистов, когда так часто говорили, что их возвышение было несчастием для Революции? К тому же если бы поднялось большое народное движение протеста против увольнения министров-жирондистов, то Жиронда стала бы самым центром Революции, к великой досаде Робеспьера. Поэтому он прилагает усилия к тому, чтобы погасить гнев народа и убедить его, что было бы недостойно народа волноваться «из-за нескольких личностей». Он пишет в «Дефансёр де ла Конститусьон» по поводу заседания 13 июня в Якобинском клубе:

«Увольнение министров возбудило [в обществе] сильное волнение; оно было представлено как общественное бедствие и как новое доказательство злонамеренности врагов свободы. Многие

11. «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. II, p. 286. Точно: «Старайтесь продлить войну и не уезжайте из Парижа...»

12. Ibid., p. 298. Ферзен добавляет: «Король Пруссии принял решение, и Вы можете на это рассчитывать».

члены клуба, среди которых было несколько депутатов Национального собрания, выступили с горячими речами. Я присутствовал на этом заседании. Со времени окончания работ Учредительного собрания я продолжал довольно регулярно посещать это общество, будучи убежденным в том, что добрые граждане не лишние в патриотических собраниях, могущих благотворно влиять на прогресс просвещения и общественного мнения; я в равной мере противник как врагов Революции, стремящихся опрокинуть ценные опоры свободы, так и интриганов, могущих измыслить проект извращения их духа, дабы превратить их в орудие честолюбия и личных интересов. Если иногда эта борьба становилась для меня мучительной, то чистое и бескорыстное гражданское чувство большинства граждан, составляющих это общество, давало мне до сих пор силы успешно вести ее. Суть и бурный характер поднявшейся дискуссии в том случае, о котором я говорю, побудили меня высказать свое мнение, а нынешние обстоятельства делают для меня почти требованием закона изложить это мнение на этих страницах».

О, какая постоянная забота о театральном эффекте. Какая одержимость своим «я»! Итак, чтобы успокоить революционное волнение якобинцев, страдавшее тем тяжелым пороком, что оно казалось жирондистским волнением, Робеспьер сказал следующее:

«Выступавшие до меня ораторы полагают, что отечество в опасности; я разделяю их мнение, но не согласен с ними в вопросе о причинах и средствах. Отечество в опасности, если в то самое время, как над ним нависла внешняя опасность, его еще будоражат внутренние раздоры. Оно в опасности, когда посягают на принципы общественной свободы; когда нет уважения к свободе личности; когда правительство плохо осуществляет законы, а те, кто должны за ним непрестанно надзирать, делают это небрежно или только наполовину; оно в опасности, когда большие преступники неизменно остаются безнаказанными, слабые — угнетенными, друзья свободы — преследуемыми; когда место принципов заняли интриги, а любовь к отечеству и свободе сменил дух групповщины. *Отечество в опасности, когда те, кто объявляет себя его защитниками, более заняты созданием министерских постов, чем созданием законов.*

Отечество в опасности, но разве только с нынешнего дня? *И разве это замечают только в тот день, когда происходит перемена в составе министерства и в судьбе или надеждах друзей нескольких министров? Почему же именно в этот день вдруг проявляют бурную энергию, дабы вызвать сильное возбуждение в Национальном собрании и в общественном мнении? Неужто из всех событий, могущих затрагивать общественное благо, увольнение гг. Клавьера, Ролана и Сервана наиболее достойно возбуждать интерес добрых граждан? Я, напротив, полагаю, что общественное*

*благо связано не с личностью того или иного министра, а с соблюдением принципов, с прогрессом общественного мнения, с мудростью законов, с неподкупной добродетелью представителей нации, с могуществом самой нации.*

*Да, надо сказать откровенно, каковы бы ни были имена и идеи министров, каков бы ни был состав министерства, каждый раз, когда Национальное собрание будет мужественно стремиться к добру, оно всегда будет достаточно сильным, чтобы заставить министерство идти путем, указанным Конституцией. И наоборот, когда Собрание будет слабым, когда оно будет забывать свои обязанности и свое достоинство, общественное благо никогда не будет преуспевать. Стало быть, вы, ныне бьющие тревогу и сумевшие столь быстро привести в движение Национальное собрание, когда речь идет о перемене в составе министерства, вы можете внутри Собрания оказывать также влияние при всех обсуждениях, имеющих значение для общего блага; общественное благо в ваших руках; вам достаточно проявить к нему тот активный интерес, который вы проявляете сегодня.*

*Представителям нации лучше надзирать над министрами, чем назначать их. Выгода от назначения их замедляет надзор, она может даже ввести в заблуждение или усыпить сам патриотизм. Эта выгода вовсе не способствует энергии общественного духа; она губительная для того духа, который должен всегда воодушевлять общества друзей Конституции. С того дня, когда образовалось это министерство, которое назвали якобинским, мы наблюдаем ослабление и дезорганизацию общественного мнения. Доверие к министрам как будто заменило все принципы. Любовь к должности как будто заменила в сердцах многих мнимых патриотов любовь к отечеству, и само это общество разделилось на две части: на сторонников министров и сторонников Конституции. Патриотические общества погибают, когда они становятся орудием честолюбия и интриги. Друзья свободы и представители народа не могут ослабеть, если они опираются на вечные принципы справедливости; но они легко ошибаются, когда полагаются на министров в вопросах, касающихся нации. Вспомните, что еще несколько месяцев назад я здесь излагал те же идеи и предсказывал все эти беды, когда у некоторых депутатов уже обнаружилось намерение провести своих ставленников в министерство.*

*К тому же, если хотят привести в движение французский народ, следует, как мне кажется, предлагать ему достойные его мотивы. Каковы ваши мотивы? Идет ли речь о прямых посягательствах на свободу? Пусть Национальное собрание разоблачит их перед всею нацией; вы сами разоблачите их перед Национальным собранием. Подняться на защиту своего собственного дела достойно великой нации, но только народ станет волноваться из-за ссоры нескольких личностей и защиты интересов какой-либо партии. Для дела самой свободы существенно важно, чтобы предста-*

*вителей народа не могли заподозрить в желании вызвать потрясение в государстве ради столь постыдных мотивов. Дает ли увольнение трех министров основание предполагать наличие губительных проектов? Их надо разоблачить. Их надо осудить строго и беспристрастно; таков долг народных представителей. Но можно ли считать их должом воспламенять нас то ради г-на Дюмурье, то ради г-на Нарбонна, ради г-на Клавьера, ради г-на Ролана, ради г-на Сервана, то за, то против министров и связывать судьбу Революции с их опалой или с их счастьем? Я признаю только принципы и общественные интересы; я знать не хочу никаких министров; я не могу, поверив словам, предаваться энтузиазму или впадать в ярость, особенно словам тех, кто уже не раз ошибался, тех, кто на протяжении недели столь разительно противоречит сам себе по одним и тем же вопросам и относительно одних и тех же людей».*

Это было бесподобное коварство. Робеспьер забывал, что возвышение Жиронды, вхождение ее в министерство впервые поставило серьезно под угрозу королевское *вето*, то есть последнее оружие контрреволюции. Он забывал, что в тот момент речь шла отнюдь не о ссоре нескольких министров и частных интересах нескольких людей, а о политических причинах, вызвавших их увольнение. Они были уволены потому, что хотели воплотить в жизнь декреты Собрания против мятежных священников, потому, что предупредили короля, почти угрожая, что он должен лояльно способствовать осуществлению воли Законодательного собрания. В этом и заключалась подлинная битва, и откладывать ее под предлогом, что тут могли быть применены имена или интриги некоторых людей, значило отвергать все возможности революционной борьбы. Итак, Робеспьер и его друзья говорили: бездействие, выжидание, осторожность.

## ДЮМУРЬЕ — ВОЕННЫЙ МИНИСТР

Жиронда была тоже в большом затруднении. Каким образом взять реванш? Она могла это сделать лишь подняв улицу, а она боялась, что руководство народными силами ускользнет от нее. К тому же она оказалась в ужасно ложном положении вследствие поведения Дюмурье, которого она так хвалила и который вдруг, по-видимому, изменил патриотам. В самом деле, Дюмурье, отнюдь не собираясь солидаризоваться с уволенными министрами, пытался остаться у власти без них и прикрыть короля <sup>13</sup>.

В чем заключался его план? Хотел ли он, как это утверждала газета Приюдома и сам Бриссо, отделаться от своих коллег, чтобы с людьми менее влиятельными осуществлять более широкую правительственную власть? Но ведь не Дюмурье подсказал Ролану идею резкого письма, которое вызвало взрыв. И он не был столь

неблагоразумным, чтобы, только что достигнув высокого положения благодаря Жиронде, умышленно с нею поссориться. На какие силы, на какую поддержку мог бы он рассчитывать? Возможно, что он тешил себя надеждой получить от Людовика XVI средствами куртуазии и дипломатии то, чего Ролан не смог добиться своей рассчитанной резкостью. Свидетельствовать Людовику XVI свою глубочайшую почтительность, ухаживать за ним, подчеркнуто отмежевываясь от оскорбивших его грубиянов, но вместе с тем изложить ему, что ввиду всеобщего возбуждения необходимо санкционировать, и немедленно, декреты против священников — вот в чем, несомненно, заключался замысел Дюмурье. И какую двойную для него победу, над королем и Революцией, одержал бы он, если бы, с одной стороны, дал Людовику XVI возможность править без оскорбивших его министров, а с другой стороны — принес бы Собранию санкцию декретов! Таков был, несомненно, тайный расчет этого ловкого человека, и я воображаю, что он вовсе не был особенно огорчен ропотом, которым сначала, 13 июня, встретили его в Собрании, и негодующими криками по его адресу. Это давало ему некий козырь в отношениях с королем и позволяло воздействовать на него более эффективно.

Эти расчеты не оправдались. Дюмурье вскоре убедился, что он не может вырвать или выманить у короля его санкцию. Тем самым он сразу же, без всякой для себя выгоды и без средств защиты, навлекал на себя весь гнев Революции. После трех дней пребывания на посту военного министра, после тщетных попыток провести свою хитрую и дерзкую игру он подал в отставку и попросил разрешения отправиться на фронт. Но в течение этих нескольких дней Жиронда, бывшая, так сказать, в ответе за Дюмурье, находилась в мучительно затруднительном положении, потеряв и авторитет, и свой порыв. Она пыталась спасти себя, резко напад на Дюмурье. В среду 13 июня Бриссо писал в «Патриот француз»:

«Для человека сколько-нибудь деликатного, для патриота, сознающего, сколь важно единство для успеха нашего оружия, больно сорвать маску, скрывавшую коварство министра, которого он уважал, и разжечь новую ненависть, но этого требуют интересы общественного дела. Надо сорвать все покровы, хотя воспоминания о временной близости и удерживают от этого шага. Надо сказать всю правду; и единственное, в чем я могу упрекнуть себя, это то, что не сделал этого ранее.

13. В том же письме, в котором он сообщал Законодательному собранию об отставке Клавьера, Ролана и Сервана, Людовик XVI уточнил, что Дюмурье перехо-

дит из министерства иностранных дел в военное министерство. «Moniteur», XII, 657, заседание 13 июня 1792 г.

Вы догадываетесь, что я хочу говорить о г-не Дюмуре, который уверениями в своем патриотизме, своим довольно умелым поведением в Вандее и репутацией военного, не лишённого талантов, сумел прельстить патриотов и добиться включения в состав министерства по требованию общественного мнения.

Начало его деятельности как министра отвечало ожиданиям добрых граждан, однако нетрудно было убедиться, что его репутация была неоправданна, а его патриотизм был лишь лицемерием. Я не стану вдаваться здесь в подробности, которые могли бы это доказать, это будет предметом особых писем. Ибо необходимо отметить этого человека клеймом, которое он заслужил и которое лишит его возможности быть опасным в будущем.

Г-н Дюмуре уже давно с трудом выносил свое сотрудничество с г-дами Серваном, Клавьером и Роланом, прежде всего потому, что он не руководил ими вопреки своим ожиданиям, и затем потому, что они имели смелость порицать его безразличность, покровительство, которое он оказывал людям испорченным, и изменчивость его политики. Г-н Дюмуре решил погубить их в глазах короля, и он легко добился этого посредством клеветы, а также изображая их мятежниками и республиканцами, желающими ниспровергнуть все основы. После этого ему оставалось найти подходящий повод, чтобы страхи государя обрели реальность. Этим поводом послужил ему декрет о военном лагере в 20 тыс. человек. Г-н Дюмуре выступил против этого проекта, он давал понять, что этот план должен благоприятствовать осуществлению плана мятежников.

Мы заметим здесь, что не кто иной, как сам г-н Дюмуре, еще больше двух месяцев назад и после еще непрестанно повторял, что такой лагерь необходим для спасения Парижа в случае вторжения австрийцев и что он не желал бы большего, как получить назначение начальником этого лагеря. Под его влиянием король распорядился лишить портфеля г-на Сервана».

Тон этой статьи вялый и тусклый, и к смущенным жалобам на Дюмуре примешиваются туманные заявления в защиту короля, который будто бы был введен в заблуждение хитросплетениями министра иностранных дел. Было ли это следствием участия Жиронды в правительстве, или унижения от сознания, что она позволила Дюмуре одурачить себя, или страха перед народным движением, которым она не руководила бы более? Удар, нанесенный Жиронде королем, казалось, лишил ее всякой силы. Робеспьер злорадствовал по поводу инцидента с Дюмуре<sup>14</sup>: «Всего лишь неделю назад нельзя было говорить о министре Дюмуре иначе как восхваляя его, лишь вслед за его именем упоминались имена двух других, в увольнении которых его теперь обвиняют. А когда я сам жаловался на систему лести, которую здесь уже, по-видимому, собирались ввести, разве меня не порицали громко те же люди, которые хотят погубить саму Конституцию, чтобы ему отомстить?»

Я не хочу ни защищать, ни оправдывать его, ни все низвергнуть ради интересов его конкурентов.

Только отечество заслуживает внимания граждан. Неужели кто-нибудь думает, что мы так низко падём, что станем воевать из-за выбора министров? И под какими знаменами? Под знаменами тех, кто расхваливал Нарбонна еще энергичнее, чем Клавьера и двух его коллег, тех, кто освободил его от обязанности представить отчет, кто продолжает защищать его всеми силами, между тем как вся Франция его обвиняет<sup>15</sup>. Неужто они столь непогрешимы в своих суждениях и столь мудры в своих проектах, что нам не дозволено рассмотреть, нет ли других средств исцеления от наших бед, кроме потрясения государства? Не дошли ли мы до того, что некая группа уже не скрывает своего стремления упразднить Конституцию? Уже вполне серьезно было выдвинуто предложение о том, чтобы Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием.

Один депутат [Ласурс] публично поведал нам о том, что ему было предложено присоединиться к одной части Национального собрания для осуществления этого проекта. *Уже повторяют вместе с врагами Революции, что Конституция не может существовать, чтобы таким образом освободить себя от обязанности защищать ее.* Но сделали ли авторы этой системы все, что могли, чтобы ее отстоять?.. Они утверждают, что Национальное собрание не обладает необходимыми для ее защиты средствами. Я утверждаю, что Национальное собрание обладает беспредельною мощью, что обща воля, неодолимая сила общественного духа, который оно ослабляет и поднимает по своему желанию, устранит пред ним все препятствия всякий раз, как оно пожелает проявить всю энергию и всю мудрость, на какие оно способно.

*Напрасно хотят соблазнить горячие и малопросвещенные умы приманкою более свободного правления и названием «республика»; упразднение Конституции в данный момент может лишь разжечь пожар гражданской войны, которая приведет к анархии и деспотизму. Как! Во время войны, в разгар бесчисленных публич-*

14. «Le Défenseur de la Constitution», № 5 («Œuvres complètes de Robespierre», t. IV: «Les journaux...», édition par G. Lantier, p. 154). Робеспьер излагает здесь ход заседания в Обществе якобинцев и воспроизводит текст своего выступления («Œuvres...», t. VIII: «Discours...», p. 369).

15. После отставки, полученной им от Людовика XVI 9 марта 1792 г., Нарбонн подвергся обвинениям в связи с обороной Восточных

Пиренеев. По докладу Фоме 2 апреля Собрание отклонило предложение о привлечении к ответственности. Но проведенные Нарбонном торги подверглись нападкам со стороны Лекуантра. Однако Собрание разрешило ему 21 апреля отправиться в армию без представления отчетов. Дело оставалось без рассмотрения до 10 августа. Декрет об аресте Нарбонна последовал 28 августа 1792 г.

ных распрей, нас хотят вдруг оставить без Конституции, без закона! Итак, нашим законом станет произвол небольшой кучки людей! Что объединит добрых граждан? Что послужит мерилом для общественного мнения? Какою будет власть Законодательного собрания? Желая получить ту, которой у него нет, оно потеряет ту, которой оно облечено. Его обвинят в измене данной им присяги охранять Конституцию. Его обвинят в присвоении прав верховной власти. Оно станет добычей и орудием всех групп. Оно станет всегда вести свои обсуждения лишь в окружении штыков. Оно будет лишь санкционировать волю генералов и военного диктатора. Мы увидим, как у нас повторятся ужасные сцены, которые являет нам история самых несчастных наций...<sup>16</sup>

Мы были надеждой и предметом восхищения Европы, мы станем ее позором и причиной отчаяния. У нас уже не будет того же короля, но у нас будет тысяча тиранов. В лучшем случае вы будете иметь аристократическое правление, купленное ценой величайших бедствий и чистейшей крови французов. Вот цель всех этих интриг, столь давно нас волнующих! Что до меня, обреченного на ненависть всех групп, с которыми я вел борьбу, обреченного стать жертвой мести двора, всех лицемерных друзей свободы, чуждого всем партиям, то я торжественно заявляю, что буду отвергать все пагубные системы и все преступные маневры, и призываю мое отечество и всю вселенную в свидетели того, что я нисколько не буду способствовать тем бедствиям, которые, я вижу, готовы обрушиться на него».

Итак, какими бы перешитыми ни были революционные поползновения Жиронды, Робеспьер их осуждал. Его политика в тот момент была одновременно и очень недоверчивой, и очень консервативной. Он хотел, чтобы был установлен тщательный надзор за двором, за генералами, но чтобы возможно меньше колебали конституционную систему. По существу, Людовик XVI представлялся ему необходимой гарантией против значительной группы тех, кто хотел занять его место. Идти к республике значило идти к аристократии или к военной диктатуре. Спустя два месяца, 10 августа, королевская власть была свергнута, и Робеспьеру пришлось применяться к новому режиму<sup>17</sup>. Хочется сказать, что человеческий ум ограничен и что в своих смутных мыслях он редко точно приравнивается к ходу событий.

Много догадок и рассуждений, много опасений и надежд и мало правды. В огне событий ум человека похож на зеленое дерево: много дыма и мало пламени. Но, по существу, на всем протяжении Революции Робеспьер остается верен одной мысли: истолковать то, что есть, в духе демократии, извлечь из него как можно больше свободы и равенства, но избегать по возможности потрясений и неожиданностей. В этом смысле, сколь бы парадоксальным ни показалось это сопоставление, он похож на Мирабо: один из наи-

больших демократов и в то же время один из наибольших консерваторов среди революционеров.

Но ни неуверенность жирондистов, сбитых с толку и сконфуженных, ни хитрая осторожность Робеспьера не замедлили развития драмы. Собрание понимало, что конституции грозят опасности со всех сторон, с одной стороны — контрреволюционный заговор, с другой — натиск демократов и республиканцев. Собрание не знало, как противостоять стольким опасностям. Оно решилось по предложению Марана на избрание 17 июня чрезвычайной Комиссии двенадцати, которой было поручено представить всеобъемлющий доклад о положении Франции<sup>18</sup>. Но и сама дискуссия и даже декрет об учреждении этой комиссии отмечены нерешительностью, в которой пребывало Собрание. Оно не знало, куда ударить: направо или налево, и в своем бессилии, казалось, извещало, что будет наносить удары всем: «Собрание декретирует немедленное избрание Комиссии из двенадцати членов, которая должна будет рассмотреть со всех точек зрения нынешнее положение Франции, представить через неделю доклад о нем и предложить средства спасения Конституции, свободы и государства».

## ФЕЙЯНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО И ДЕМАРШ ЛАФАЙЕТА

Развитие кризиса было ускорено агрессивным возвращением фейянов и их воскресшей наглостью. Для конституционалистов, для фейянов падение министров-жирондистов было подлинным триумфом. Начать с того, что их люди были призваны в состав правительства. В течение ряда дней можно было думать, что король не найдет новых министров, столь страшной казалась предстоящая ответственность. Однако помогли в конце концов Ламеты, найдя несколько замен: Шамбона получил портфель министра

16. Заметим, что в декабре 1791 г., в ходе дебатов по вопросу о войне, Робеспьер предложил Законодательному собранию, пренебрегая вето во имя общественного спасения, пересмотреть фактически конституцию и, следовательно, выступить в качестве Учредительного собрания. В июле он также будет за то, чтобы Законодательное собрание временно отрешило короля от власти или низложило его. 13 июня он, напротив, отстаивал конституцию такой, как она есть, и свою газету назвал «Защитник

Конституции» («Le Défenseur de la Constitution»). Ибо в этот момент он знал, что Лафайет и фейяны желают изменить конституцию и, если Собрание одобрит эту инициативу, оно выскажется в их духе.

17. Суждение суровое и малообоснованное. См. предыдущее примечание.

18. «Archives parlementaires», XLV, 326. Маран (1755—1843) — неогрант, член администрации дистрикта Нёшато в 1790 г., депутат Законодательного собрания от департамента Вогезы.

иностранных дел; Лажар стал военным министром; Террье де Монсьель, председатель директории департамента Юра, стал министром внутренних дел<sup>19</sup>. Приход к власти их общих врагов внезапно сблизил жирондистов и робеспьеристов. Но особенное значение для восстановления на короткое время некоего подобия единства Жиронды с Робеспьером имело высокомерное, угрожающее выступление вождя фейянов Лафайета. После падения Жиронды Лафайет считал, что решительные действия умеренных могут остановить или даже отбросить назад революционное движение. Из лагеря в Мобёже, где он командовал армией Центра, он написал Собранию письмо, датированное 16 июня, которое было зачитано Законодательному собранию ее председателем на заседании 18 июня.

Это был манифест агрессивного модерантизма. Это было извещение о своего рода модерантистском государственном перевороте, направленном против всех народных и пламенно революционных сил. Популярность Лафайета, особенно после событий на Марсовом поле, сильно упала, и его гордость и тщеславие были уязвлены. Возможно также, что под влиянием мелочного представления о чести и ложного чувства рыцарства он хотел, после того как он способствовал ограничению королевской власти, отстоять то, что от нее осталось, от всяких новых посягательств. Будучи главой умеренной буржуазии, средних классов, он полагал, что Революция не должна идти дальше этой точки равновесия. И он счел возможным говорить свысока, как если бы он имел дело с бессильным и презренным сбродом, сила которого — только в робости разумных людей.

Если б он имел успех, если б ему удалось увлечь Францию на путь нетерпимого и агрессивного модерантизма, Революция, лишенная своих живых сил, вскоре оказалась бы в руках реакционеров. Итак, во взволнованной тишине, в тишине, полной ненависти, или в тишине испуганного восхищения письмо Лафайета было заслушано Законодательным собранием.

«Господа, в момент, пожалуй слишком долго откладываемый, когда я собирался привлечь ваше мнение к делам, представляющим большой общественный интерес, и указать среди грозящих нам опасностей на поведение министерства, давно обвиняемого мной в моей переписке, я узнаю, что, избалованное вследствие своих раздоров, оно пало в результате своих собственных интриг. Ибо, несомненно, наименее достойному прощения, наиболее известному из этих министров [Дюмурье] не удастся продлить в королевском совете свое двусмысленное и скандальное существование, принеся в жертву своих трех коллег, состоявших ввиду своего ничтожества у него в подчинении.

Однако нельзя удовлетворяться тем, что эта отрасль правления освобождена от пагубного влияния. Общественным интересам грозит опасность. Судьба Франции зависит прежде всего от ее

представителей. От них нация ожидает своего спасения, но, приняв для себя Конституцию, она указала им тот единственный путь, следуя которому они могут ее спасти.

Господа, убежденный в том, что как Права Человека суть закон для любого Учредительного собрания, так и Конституция становится законом для избранных на ее основе законодателей, я должен перед вами самими разоблачить те слишком упорные усилия, которые прилагаются к тому, дабы отвлечь вас от соблюдения этого правила, коему вы обещали следовать.

Ничто не помешает мне осуществить это право свободного человека, выполнить этот долг доброго гражданина: ни преходящие заблуждения общественного мнения — ибо чего стоят мнения, уклоняющиеся от принципа? — ни мое уважение к народным представителям — ибо я еще более уважаю народ, а Конституция — его верховная воля, — ни доброжелательность, всегда проявляемая вами по отношению ко мне, ибо я хочу сохранить ее тем же путем, каким приобрел, непоколебимой любовью к свободе.

Обстоятельства сейчас трудные. Франции грозят опасности извне, а внутри она раздираема волнениями. Между тем как иностранные дворы возвещают о недопустимых планах посягательства на наш национальный суверенитет и тем самым объявляют себя врагами Франции, внутренние враги, опьяненные фанатизмом и гордостью, поддерживают химерическую надежду и утомляют нас еще своим наглым недоброжелательством.

Вы должны их укротить, господа, и вы будете достаточно сильны для этого лишь придерживаясь Конституции и справедливости. Вы, конечно, этого и хотите... Но обратите ваши взоры на то, что творится среди вас и вокруг вас. *Можете ли вы не видеть, что некая группа или, избегая туманных определений, что якобинская группа вызвала все беспорядки? Она сама во всеуслышание сознается в этом: организованная как отдельное государство со своей столицей и аффилированными обществами, слепо повинующимися нескольким честолюбивым вожакам, эта секта образует отдельную корпорацию в лоне французского народа, чьи права она узурпирует, подчиняя себе его представителей и уполномоченных.*

Там, на публичных заседаниях, любовь к законам называют *аристократией*, а их нарушение — *патриотизмом*. Там убий-

19. «Moniteur», XII, 691. Маркиз де Шамбона (1750—1807) был мэром Сенса в 1790 г., министром в 1792 г., эмигрировал после 10 августа. Лажар (1757—1837) — первый заместитель начальника штаба парижской национальной гвардии, министр в 1792 г., эми-

грировал после 10 августа. Маркиз Террье де Монсьель (1757—1831) — офицер при старом порядке, председатель директории департамента Юра в 1790 г., министр в 1792 г., эмигрировал после 10 августа.

цам Дезиля устраивают триумфальные встречи, преступления Журдана находят панегиристов. Там рассказ об убийстве, запятнавшем город Мец, еще недавно вызвал сатанинские возгласы<sup>20</sup>.

Неужто думают избежать этих упреков, похваляясь тем, что в одном австрийском манифесте упомянуты имена этих сектантов? Неужели они стали священными, потому что Леопольд назвал их имя? И разве тот факт, что мы должны сражаться с иностранцами, вмешивающимися в наши внутренние ссоры, освобождает нас от необходимости освободить отечество наше от внутренней тирании?»

Лафайет хорошо понимал, что выпады императора Германии [австрийского императора] против якобинцев были для последних сильным козырем. Казалось, нельзя было напасть на них, не становясь тем самым прислужником иностранных держав. Но он смело, решительно отвергает возражение. И тут же очень ловко пытается заинтересовать в своем деле именно патриотов. Он утверждает, что министры-жирондисты и якобинцы оставили французские армии в состоянии дезорганизации. Он утверждает, что из ненависти лично к нему, Лафайету, Дюмурье совершенно отказал солдатам отечества и Революции в помощи продовольствием и оружием, без коих они не могли надеяться на победу. Таким образом, все партии, оспаривающие друг у друга руководство Революцией, взывают к знамени. Таким образом, все бросают друг другу убийственное обвинение в измене. Бриссо, другу и покровителю Дюмурье, добившемуся обвинения фейяна Делесара, Лафайет отвечает, обвиняя в измене самого Дюмурье, бывшего до 15 июня человеком Жиронды.

«После того как всевозможные прещательства и разные замыслы, — утверждает Лафайет, — были преодолены мужественным и твердым патриотизмом одной армии, принесенной, быть может, в жертву интригам против ее командующего, я теперь могу выдвинуть против этой группы переписку некоего министра, достойный продукт его клуба. Эта переписка, в которой все расчеты ложны, обещания бесплодны, сведения неверны или легковесны, советы коварны или противоречивы, в которой меня сначала торопили наступать без всяких предосторожностей, атаковать без необходимых средств, а затем начали мне говорить, что сопротивление будет невозможным, когда я с негодованием отверг это трусливое утверждение».

И Лафайет, польстив своей армии и надеждам нации, приходит к выводу, что для победы над внешними врагами Франции недостает только одного: раздавить тех, кто сеет смуту внутри страны.

«Конечно, в моей доблестной армии чувства робости не дозволены. Патриотизм, энергия, дисциплина, терпение, взаимное доверие, все эти гражданские и военные добродетели, я нахожу их

здесь (*горячие аплодисменты большей части Собрания*). Здесь дорожат принципами свободы и равенства, здесь уважают законы, здесь собственность священна. Здесь не знают ни клеветы, ни грушпировок... Но для того, чтобы мы, солдаты свободы, успешно сражались, нужно... чтобы граждане, сплотившиеся вокруг Конституции, были уверены в том, что гарантируемые ею права будут соблюдаться с религиозным рвением, которое приведет в отчаяние ее скрытых и явных врагов.

Не отвергайте этого пожелания, оно исходит от искренних друзей вашей законной власти. Твердо уверенные в том, что никакой чистой принцип не может иметь несправедливых последствий, что никакая тираническая мера не может служить делу, обязанному своей славой священным основам свободы и равенства, сделайте так, чтобы уголовное правосудие вновь действовало в соответствии с Конституцией; чтобы к гражданскому равенству, чтобы к религиозной свободе полностью применяли истинные принципы.

Королевская власть должна быть неприкосновенной, ибо она гарантирована Конституцией; она должна быть независимой, ибо эта независимость одна из движущих сил нашей свободы; король должен быть почитаем, ибо он облечен величием нации; он должен иметь возможность назначать министерство, свободное от оков какой-либо группы, а если существуют заговорщики, пусть они погибнут, но только от меча закона.

Наконец, господство клубов должно быть вами уничтожено и уступить место господству закона; их узурпации должны уступить место твердым и независимым действиям установленных властей; их дезорганизующие правила — подлинным принципам свободы; их бредовое иступление — спокойному и неизменному мужеству нации, знающей свои права и защищающей их; наконец, их сектантские хитросплетения должны уступить место подлинным интересам родины...»

Такова та программа, которую под скромным и легальным наименованием петиции, но из военного лагеря в Мобёже и опираясь на свой авторитет командующего армией, Лафайет, мятежный защитник конституции, диктовал Собранию<sup>21</sup>. Ее можно резюмировать следующим образом: отмена всех декретов, направленных против эмигрантов и неприсягнувших священников; свободное осуществление королевского *вето*; суровое преследование всех сборищ; роспуск клубов; привлечение Дюмурье к суду.

20. Дезиль (1767—1790) — офицер егерей королевского полка, был смертельно ранен, пытаясь приставить к повиновению восставших солдат гарнизона Нанси в августе 1790 г.

Журдан (1749—1793) — речь идет о Журдане, по прозвищу Головорез, замешанном в избиениях в башне Гласьер в папском дворце в Авиньоне. См. выше, с. 54—55.

21. «Moniteur», XII, 692.



В тогдашнем положении Франции это был сигнал к контрреволюции. И сколько жалких двусмысленностей! Сколько преступных забвений! Лафайет требовал уважения к конституции. Но когда *вето* парализовало законы, защищающие Революцию, разве это *вето*, хотя формально и предусмотренное конституцией, не становилось нарушением конституции? Лафайет обвинял жирондистов в несоблюдении конституционных законов; он притворяется, будто не видит или еле отмечает возмущение мятежных священников, огромный заговор роялистов. Он хочет, чтобы «почитали» короля в то самое время, когда король поддерживает изменническую переписку с теми иностранными монархами, с которыми Лафайету поручено воевать. Вещественных доказательств этой измены не было; но, если бы Лафайет не был ослеплен своим тщеславием и своим честолюбием, если бы все его недоверие и вся его ненависть не были сконцентрированы на демократах, он бы распознал руку короля и интригу двора в широком заговоре, внутреннем и внешнем, против Революции.

В первый момент Жиронда была как бы ошеломлена этим дерзким выпадом. Она не возражала даже против напечатания письма Лафайета, но, когда центр и правая предложили разослать его по 83 департаментам и по армиям, Верньо встал. Он заявил протест во имя свободы. Он напомнил под ропот большей части Собрания, что любая петиция гражданина должна быть принята, но когда этот гражданин — командующий армией, то его петиция должна пройти через министерство. Направленная непосредственно Собранию, она становится требованием, «и это конец свободы».

Собрание, по-видимому, пришло в себя. Гюаде постарался выиграть время, утверждая, что это письмо не могло исходить от Лафайета, ибо оно говорит об отставке Дюмурье, о которой Лафайет тогда еще не мог знать. Это была ложь, так как Лафайет говорил об отставке Дюмурье только как о чем-то вероятном в ближайшем будущем.

С некоторыми ораторскими предосторожностями Гюаде упомянул имя Кромвеля: «Чувства г-на де Лафайета достаточно ясно говорят, что он не мог быть автором только что прочитанного письма. Г-н де Лафайет знает, что когда Кромвель осмелился держать подобные речи...» Наконец, Собрание передало письмо в Комиссию двенадцати для представления по нему доклада, а что касается вопроса о рассылке письма по департаментам, постановило перейти к рассмотрению очередных дел. Для фейянов это было серьезное поражение. Ибо они могли достигнуть успеха только решительным и неожиданным ударом.

Предоставить стране время для размышлений, предоставить революционным партиям время для организации сопротивления — это значило лишить политику Лафайета всяких шансов на успех. Ее единственным непосредственным результатом было сближение

между Жирондой и Робеспьером и восстановление симпатий революционеров к Дюмурье.

На следующий день министры-фейяны объявили Собранию, что король отказался утвердить декреты о священниках и о лагере в 20 тыс. человек. Благодаря такому совпадению Революция могла думать, что король и Лафайет действуют заодно, и непосредственно угрожающая опасность отчасти примирила революционные партии друг с другом.

Бриссо выступил в своей газете 18 июня с резкими нападками на Лафайета: «Это самый сильный удар, когда-либо нанесенный свободе, удар тем более опасный, что он нанесен генералом, похваляющимся, что у него есть своя армия, что он составляет с ней единое целое, тем более опасный еще и потому, что этот человек сумел с помощью мнимой умеренности и различных хитростей сохранить нечто вроде своей партии даже среди людей, горячо любящих свободу. Его письмо срывает с него маску. Это второе издание писем Леопольда к королю; и то и другое одного и того же производства. Там и тут тот же дух, там и тут та же ненависть к якобинцам, то же отвращение к мятежникам. И Лафайет вопиет против мятежников!»

Бриссо заканчивает намеком на Робеспьера: «Граждане, будем бдительны. — Якобинцы, будем благоразумны, но тверды. — *О, вы, расколовший их, вот плоды вашей работы!*» То было горькое приглашение к единению.

У Робеспьера полемика с Лафайетом носила регулярный характер: «Неужто мы дошли до того, — восклицал Робеспьер в «Дефансёр де ла Конститусьон», — что командующие армиями уже могут, используя свое влияние или свой авторитет, вмешиваться в наши политические дела, выступать в роли повелителей установленных властей, арбитров, решающих судьбы народа? В этом письме, которое Собрание выслушало с таким терпением, кто, собственно, говорит, Кромвель или вы? Потеряли ли мы уже нашу свободу или это вы потеряли разум?»

Робеспьер понимает, что неистовые нападки Лафайета на министров-жирондистов привлекают к последним симпатии революционеров, и он несколько умеряет свой пыл:

«Вы начинаете с того, что мечете громы против бывших министров: в то время как вы писали свое письмо, один из них оставался на посту и вы утверждали, что он не продлит своего *двусмысленного и скандального существования* в королевском Совете.

Не дай бог, чтобы какое-либо личное предубеждение против министров, какие бы они ни были, могло повлиять на мои мнения и на мои принципы: *меня упрекали за глубокое равнодушие даже к тем, кто как будто явил доказательства своего патриотизма, и я сам имел немало оснований жаловаться на некоторых из тех, на кого вы нападаете с такой яростью. Но если что и могло убедить меня в пользе их намерений для общественного блага, то это,*

*несомненно, ваше злословие по их адресу. Во всяком случае, эти министры, такие, какие они есть, приобрели, видимо, доверие Национального собрания, раз оно торжественно заявило, что они уносят с собой сожаления нации. А вы, обращаясь к Национальному собранию, говорите об этих самых людях с наглым презрением!»*

И все же, хотя как будто и защищая министров Жиронды от нападок Лафайета, Робеспьер пускает в них ядовитую стрелу. «Вы говорите о двусмысленном, о скандальном существовании одного из министров, увольнения которых вы только что добились, *после того, как вы сами же добились их назначения*». Это нанесенный мимоходом и с равнодушным видом смертельный удар. Жирондисты призваны к власти Лафайетом! Это была ложь. Но можно ли было придумать инсинуацию более страшную в тот момент, когда весь гнев Революции поднимался против Лафайета? Стало быть, ненависть между Жирондой и Робеспьером не улеглась, установилось лишь некое политическое перемирие, чтобы противостоять общему врагу.

## СОБЫТИЯ 20 ИЮНЯ

Подлинный ответ королю, ответ на вето, на письмо Лафайета дал парижский народ. Уже несколько месяцев умы были охвачены крайним возбуждением. Объявление войны, возвышение, а затем падение жирондистского министерства породили состояние какого-то страстного ожидания.

Народ предчувствовал приближение решительного боя между Революцией и королевской властью, и, как это обычно бывает перед крупными событиями, распространялись страшные слухи. Был момент, когда Париж думал, что королевская гвардия замышляет учинить резню патриотов; в каждом прибывшем в Париж иностранце подозрительные взгляды видели заговорщика. В мае возбуждение приняло настолько сильный и всеобщий характер, что Законодательное собрание было вынуждено в течение нескольких дней заседать непрерывно. Оно также декретировало на несколько дней непрерывность заседаний секций!

Таким образом, на граждан, сходящихся на собрания секций, была, так сказать, официально возложена охрана свободы и отечества. Не компрометируя себя, не выставяясь, Дантон следил в непосредственной близости за движением в секциях, воодушевлял, давал советы<sup>1</sup>. В этих-то многочисленных народных очагах, пламя страсти которых каждый день вновь разжигали события, и нарастало возбуждение великой революционной

1. Такая оценка представляется нам преувеличенной. Документы секций не позволяют утверждать, что Дантон воодушевлял и поддержи-

вал советами народное движение в мае и июне 1792 г. См. A S o - b o u l Les Sans culottes parisiens, p 534

жизни. Особенно в Сент-Антуанском и Сен-Марсельском предместьях народ был готов к решительным действиям.

Надо было бы иметь возможность проследить день за днем (но протоколы либо отсутствуют, либо уж очень неполны) жизнь каждой секции, схватить, так сказать, на лету зарождение революционных мыслей и наблюдать их развитие. Пивовар Сантер и Александр, командовавшие батальонами Анфан-Труве и Сен-Марсельским, развили большую деятельность. Фурнье, тщетно пытавшийся счастья в Сан-Доминго и вернувшийся во Францию озлобленным, но с пылким сердцем, рабочий-ювелир Россиньоль, хозяин-мясник Лежандр, маркиз де Сент-Юрюж, с первых же дней Революции участник волнений в Пале-Руаяле, поляк Лазовский, командир роты канониров, по-видимому, руководили движением<sup>2</sup>. Но сколько еще неизвестных сил пребывало в брожении!

У Сантера или в зале комитета секции Кенз-Вен собирались руководители. Но они вовсе не вели себя, как заговорщики. В их действиях не было ничего тайного. Они хорошо знали, что ничего не добьются без энергии народа и что эту энергию необходимо поддерживать посредством открытых, гласных, смелых действий. Дантон был сдержан вследствие своего официального положения. Но было известно, что он не из тех, кто прячется, и что его могучий голос зазвучит, если разразится буря. Начиная со 2 июня некоторые граждане просили разрешения организовать публичные собрания в церкви Анфан-Труве. Они хотели учредить нечто вроде непрерывной проповеди революционного действия. Мэр Парижа Петрон поддержал их просьбу. 2 июня он писал Рёдереру<sup>3</sup>:

«Некоторые граждане Сент-Антуанского предместья представили в Генеральный совет Коммуны петицию, в которой они просят разрешения собираться в свободное от служб время в церкви Анфан-Труве, чтобы там просвещаться относительно своих прав и своих обязанностей. Совет постановил переслать эту петицию в директорию департамента. Вследствие чего имею честь переслать ее вам вместе с копией постановления, предписывающего эту пересылку.

Директория не преминет благосклонно принять все то, что может способствовать воспитанию патриотизма граждан и позволит им приобрести знание законов. Я вам буду бесконечно обязан за представление ей этой просьбы и за ходатайство перед ней от имени поручившего это мне муниципалитета принять эту просьбу к самому высокому и самому срочному рассмотрению»<sup>4</sup>.

Директория департамента, несмотря на свои связи с феианской партией, не посмела отказать. Но увольнение министров-жирондистов дало народу решающий стимул. Раз король прогнал министров, просивших его санкционировать декреты, законы, необходимые для спасения Революции, раз колебавшееся Собра-

ние казалось бессильным добиться этой санкции, надо воздействовать петициями и на Собрание и на короля. Разве петиция не дозволена законом?

Но необходимо поддержать эти петиции внушительной демонстрацией силы. Вооруженные граждане толпами отправятся к Собранию и к Тюильри. Они отправятся 20 июня, в годовщину клятвы в Зале для игры в мяч, чтобы всем напомнить о великом дне, когда королевский произвол разбился о решимость представителей.

Еще 16 июня Лазовский и его товарищи ознакомили со своим намерением Генеральный совет Коммуны. Стало быть, не письмо Лафайета, ставшее известным лишь два дня спустя, побудило предместье устроить 20 июня манифестацию протеста. Но оно очень усилило гнев народа и его порыв. Лазовский и его друзья надеялись получить от муниципалитета, от Генерального совета Коммуны, разрешение на манифестацию. Таким образом, под прикрытием законных властей народная сила развернулась бы беспрепятственно, и эффект от манифестации был бы более внушительным и более верным. Надо было, чтобы делегаты предместий обладали очень развитым сознанием своей силы, дабы осмелиться просить у администрации разрешения идти с оружием к Собранию и на трибуны.

Генеральный совет Коммуны не дал увлечь себя так далеко. Он отказал и принял следующее постановление:

2. Эти революционеры, внимательно относившиеся к народному движению, не могут, однако (за исключением, пожалуй, Лазовского), быть причислены к активистам, борцам секций. Сантер (1752—1809) — командир батальона парижской национальной гвардии в 1789 г., главнокомандующий парижской национальной гвардии после 10 августа 1792 г., был генералом в Вандее в 1793 г. Александр (1754—1825) — служащий у нотариуса, «биржевой, торговый и финансовый маклер» в 1786 г., выполнял в предместье Сен-Марсель те же функции, что Сантер в Сент-Антуанском предместье. Фурнье (1745—1825), по прозвищу Американец, — поселенец в Сан-Доминго, вернулся во Францию в 1785 г., капитан роты национальной гвардии округа Сент-Эташ, принимал участие во всех событиях Революции. Россиньоль (1759—1802) — рабочий у золотых дел мастера, капитан в роте

Победителей Бастилии, главнокомандующий в Вандее во II г. Лежандр (1752—1797) — мясник-хозяин, был депутатом Конвента от Парижа. Маркиз де Сент-Юрюж (1750—1810) — активный революционер в 1789 г., во время террора признан подозрительным, был одним из главных вдохновителей банд «золотой молодежи» после 9 термидора. Лазовский — поляк, прибывший во Францию в момент Революции, делу которой он отдался весь целиком, капитан канониров секции Гобеленов, играл большую роль в своей секции (ставшей секцией Финистер) в 1792 г. и до своей внезапной смерти в апреле 1793 г.

3. Рёдерер был в то время генеральным прокурором-синдиком Парижского департамента.

4. Это письмо опубликовано в книге: M o r t i m e r — T e r n a u x. Histoire de la Terreur, 1792—1794, d'après des documents authentiques et inédits. T. 1, Paris, 1862, p. 133.

«Г-да Лазовский, капитан канониров Сен-Марсельского батальона, Дюкло, Пави, Лебон, Лапашель, Лежён, Бассон, граждане секции Кенз-Вен; Женэ, Дельен и Бертрап, граждане секции Гобеленов сообщили Генеральному совету, что граждане Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий приняли решение подать в среду 20 числа сего месяца Национальному собранию и королю петиции относительно нынешних обстоятельств и посадить затем дерево свободы на террасе Фейянов в память о заседании в Зале для игры в мяч.

Они просили Генеральный совет разрешить им выступить в тех же одеждах, которые они носили в 1789 г., и в то же время со своим оружием. Генеральный совет, обсудив эту устную петицию и заслушав прокурора Коммуны,

Принимая во внимание, что закон запрещает всякие вооруженные сборища, если они не являются частью законно вызванных сил общественного порядка, постановил перейти к обсуждению очередных дел.

Генеральный совет приказал послать настоящее постановление директории департамента и департаменту полиции и сообщить о нем муниципалитету».

Это постановление было подписано председателем Лебретоном, старейшим по возрасту, и молодым секретарем Руайе, ставшим впоследствии знаменитым под именем Руайе-Коллара (см. Mortimer-Terneaux). Оно вызвало сильное раздражение у делегатов предместий; но они им пренебрегли, продолжая, впрочем, повторять, чтобы успокоить других и увлечь их за собой, что они организуют мирную манифестацию. Директория департамента, сильно напуганная, послала мэру Петиюну письмо за письмом, чтобы предупредить его о готовящемся движении, и просила его в случае надобности затребовать линейные войска. Петиюн, избранник предместий, друг демократов и жирондистов, уклонялся от принятия решения. Как мэр, он не мог поддерживать революционное и незаконное движение. Но с другой стороны, он не хотел оказать ему сопротивление силой и уклонялся от настоятельных просьб директории. Таким образом, если и не было законного разрешения, то вожакам движения благоприятствовали скрытая снисходительность и добровольное неведение мэра-жирондиста. Однако он не мог устранить полностью.

Чтобы избежать ответственности, он давал приказы. Но это были либо ребяческие приказы, например когда он вызвал войска, чтобы помешать народу срубить во дворе монастыря Сент-Круа тополя, которые тот хотел превратить в майские деревья. Либо же это были приказы запоздалые, например когда 19 июня в полночь он отдал приказ собрать национальную гвардию<sup>5</sup>.

Фактически он ограничился тем, что 19 июня предложил командующему удвоить посты у Тюильри. Гроза началась 19 июня, и было ясно, что следующий день будет беспокойным. Предместья,

казалось, были исполнены решимости выступить, и над Собранием повеяло горячим дыханием с пламенного Юга. Марсель был охвачен революционной лихорадкой. Марсельские патриоты направили Законодательному собранию адрес, который был зачитан Камбоном на вечернем заседании 19 июня<sup>6</sup>:

«Законодатели, французской свободе грозит опасность. Свободные люди Юга встают на ее защиту.

День народного гнева настал. (*Горячие аплодисменты слева и на трибунах.*) Этот народ, который всегда стремились погубить или заковать в цепи, устав отражать удары, готов в свою очередь наносить их; устав срывать заговоры, он бросил грозный взгляд на заговорщиков. Этот лев, великодушный, но ныне сильно разгневанный, готов пробудиться, чтобы ринуться на свору своих врагов.

Поддержите это воинственное движение, вы, кто, будучи представителями народа, являетесь и его водителями, вы, кому предстоит спастись или погибнуть вместе с ним. Народная сила составляет всю вашу силу; она в ваших руках, используйте ее. Слишком долгая скованность могла бы ослабить ее или привести в раздражение. Больше никакой пощады, поскольку и нам нечего ждать пощады. Борьба между деспотизмом и свободой может быть лишь смертельным боем; ибо, если свобода будет общей, деспотизм рано или поздно станет ее убийцей. Кто думает по-иному, тот безумец, не знающий ни истории, ни человеческого сердца, ни сатанинского вероломства тирании.

Представители, патриотизм повелевает вам издать декрет, разрешающий нам двинуться с силами более внушительными, нежели недавно созданные вами, по направлению к столице и к границам. (*Аплодисменты слева и на трибунах.*) Народ, безусловно, хочет довести до конца Революцию, являющуюся его творением и его славой, делающую честь человеческому уму. Он хочет спасти себя и спасти вас. Неужто вы будете сопротивляться этому возвышенному движению? Неужто вы можете это сделать? Законодатели, вы не откажете в разрешении закона тем, кто готов идти на смерть, чтобы защитить его». (*Горячие аплодисменты слева и на трибунах.*)

Это было как бы объявление войны одновременно королю и иностранным державам. Умеренные пришли в ужас: они завопили, что это обращение является посягательством на конституцию, но левые запротестовали; патриоты Марселя хотели выступить именно против врагов Франции, разве можно ослабить нацио-

5. Жорес следует здесь изложению, даваемому Тюте и Мортимером-Терно.

6. «Archives parlementaires», XLV, 397; «Moniteur», X, 710; Mortimer-Terneaux. Histoire

de la Terreur..., I, 142. Камбон (1756—1820) — негоциант в Монпелье, депутат Законодательного собрания, затем Конвента от департамента Эро.

нальный порыв? Разве Камбон не говорил, что они хотят идти к границам и «в столицу»?

Народ инстинктом чувствовал измену короля; стало быть, надо нанести удар иностранным державам, ударяя по королю. Собрание, смущенное этим искусным и пламенным сочетанием патриотизма и революции, не осмелилось дезавуировать адрес марсельцев, оно даже постановило отпечатать его и разослать по департаментам; это значило раскидать по ветру искры республики. Собрание оказалось, таким образом, увлеченным гораздо дальше, чем оно того желало. И когда несколько позже, в тот же вечер 19 июня, парижская директория прислала Собранию копию постановления, коим она предписывала мэру и командующему национальной гвардии обеспечить порядок на следующий день, что могло оно сделать? Оно приняло резолюцию о переходе к очередным делам, как бы перелаяя всю ответственность на административные и муниципальные власти.

Между тем в ночь с 19 на 20 июня Сент-Антуанское и Сен-Марсельское предместья гудели, как лагерь, бодрствующий накануне штурма. Секции Гобеленов, Попенкур, Кенз-Вен заседали непрерывно. Однако только довольно поздно утром оба предместья двинулись в поход.

В течение всего утра между Петионом и командирами революционных батальонов велись переговоры. Наконец Петион, который не мог и не хотел остановить движение, которое он объявил неодолимым, надумал «легализовать» его. Ему обещали, что петиционер сложит свое оружие прежде, чем войти в Собрание и в Тюильри; за это он разрешил всем гражданам, желающим принять участие в манифестации, отправиться под началом офицеров национальной гвардии. Таким образом, революционный народ будет как бы обрамлен законным порядком. Трогательная сделка в дни борьбы!

Собрание, к моменту открытия заседания, было уведомлено о том, что две вооруженные колонны, отправившиеся одна из района Сальпетриер, другая из района Бастилии, находятся в пути, что они соединились, что к ним присоединилась большая толпа и они приближаются. Жирондисты Гюаде, Верньо настаивали на том, чтобы вооруженные петиционеры были допущены. Умеренные, как, например, Рамон, выступили против этого.

Пока тянулись прения, народ предместий приблизился к Собранию. Манеж, в котором оно заседало, был расположен в месте, где ныне пересекаются улицы Риволи и Кастильоне. Он примыкал к террасе Фейянов, а последняя сообщалась с Тюильрийским садом. Письмом, адресованным председателю Собрания, Сантер попросил разрешения петиционерам войти в зал и продефилировать. Левая встретила письмо приветственными криками, правая — ропотом. Но народ силой проник в зал заседаний Собрания, и оратор депутатции<sup>7</sup> зачитал петицию, под которой на первом месте

стояла подпись Варле, одного из будущих эбертистов. Это был яростный манифест против *вето*, то есть против того, что осталось от королевской власти.

«Заставьте же исполнять волю народа, который вас поддерживает, который погибнет, защищая вас. Объединяйтесь же, действуйте, час настал... Тираны, вы их знаете; не робейте перед ними. Неужели вы будете дрожать, тогда как простой парламент часто сокрушал волю деспотов? Исполнительная власть отнюдь не ладит с вами, нам не требуется иного доказательства, кроме увольнения министров-патриотов. Что же это, выходит, что счастье целой нации зависит от каприза одного короля, но разве у этого короля может быть другая воля, кроме воли закона? Народ этого хочет, и его голова стоит голов коронованных деспотов...

Мы жалуемся, господа, на бездействие наших армий. Мы требуем, чтобы вы разобрались в причинах этого бездействия. *Если оно зависит от исполнительной власти, то ее надо уничтожить.* Нельзя допускать, чтобы кровь патриотов лилась ради удовлетворения честолюбия и спеси Тюильрийского дворца... Законодатели, мы просим вас разрешить нам постоянное ношение оружия до осуществления Конституции. Эта петиция исходит не только от жителей Сент-Антуанского предместья, но от всех секций столицы и окрестностей Парижа».

Около 10 тыс. человек, держа в руках оружие и зеленые ветви, приплясывая и распевая песни, продефилировали перед трибуной Собрания<sup>8</sup>. Народ хотел покончить с тем невыносимым двусмысленным положением, которое парализовало все, со всесторонней изменой короля и двора как вне, так и внутри страны. Его оратор Гоншон<sup>9</sup> в риторическом выступлении, местами претенциозном и глупом, лишь отчасти выразил его мысль: народ шел к республике.

В течение почти трех лет, прошедших после событий 5—6 октября [1789 г.], не было контактов между силами народа и законодателями. Но как шагнуло за это время политическое сознание народа! В дни 5—6 октября было довольно много политиче-

7. Варле (1764 — умер после 1831 г.) — почтовый служащий, активный деятель секции Прав человека, один из будущих «бешеных», а не «эбертист», как пишет здесь Жорес. Петицию прочитал Югенен (1750—1803), служащий управления округа в Париже, будущий временный председатель революционной Коммуны 10 августа. Эта петиция была напечатана. (B.N., Lb<sup>39</sup> 10625, imp. s.d., 4 p.)

ками, другие стамесками, резаками, ножами и палками. Некоторые женщины вооружены саблями. Все проходят по залу, танцуют... под звуки «Са ира» и выкрикивая: «Да здравствуют санкюлоты! Да здравствуют патриоты! Долой вето!» «Moniteur», XII, 748.

9. Гоншон — до Революции судейский, «оратор Сент-Антуанского предместья», комиссар Исполнительного совета в департаментах в 1793 г.

ских причин для движения. Надо было устранить абсолютное *вето*, потребовать санкции для Декларации прав человека. Но к этому движению примешивалось нечто наивное, инстинктивное и примитивное, нечто от восстаний при старом порядке, необузданная страсть женщин, вдруг сменяющаяся жалобными мольбами женщин о хлебе. На этот раз тысячи людей, проходящих с оружием через Собрание, одушевлены одной четкой мыслью. События 5—6 октября вышли, если можно так выразиться, из чрева страдающего народа; события 20 июня выходят из революционного мозга составшего народа.

Выйдя из Собрании, петиционеры окружают Тюильри со стороны сада и со стороны площади Карусель. Натиск особенно силен на площади Карусель: дверь открывается и народ врывается в большой зал Эй-де-Бёф. Король находился там с тремя из своих министров: Больё, Лажаром и Террье<sup>10</sup>. Граждане кричали: «Долой *вето*! К черту *вето*! Верните министров-патриотов; прогоните ваших священников; выбирайте между Кобленцем и Парижем!»

Несмотря на эти резкие возгласы, толпа не имела угрожающего вида. У нее еще сохранились какие-то остатки уважения. Она еще не совсем потеряла надежду страхом заставить короля вернуться к конституции. К тому же безмятежность, спокойное мужество, с которым Людовик XVI встретил в эту минуту кризиса кипевший вокруг него гнев, сделали то, что оскорбительные крики стихли и вскоре сменились как бы страстной мольбой, порой нежной, но чаще недоверчивой и гордой, с которой народ обращался к королю. Людовик XVI, почти прижатый к окну, взял из рук одного национального гвардейца красный колпак и надел его на голову. Он взял также из рук одной женщины украшенную цветами шпагу и помахал ею. Раздался мощный крик: «Да здравствует нация!» Эта шпага в цветах была символом Революции, доблестной и нежной, которая и в разгар борьбы хотела любить. О, сколько цветов, символа нежности, украсили бы королевскую шпагу, если бы она пожелала быть шпагой Революции! Но все это было ложью<sup>11</sup>.

Однако можно было подумать, что король, обреченный на измену, иногда примеривался к народной роли словно для того, чтобы, обманывая других, обмануть самого себя. Он становился одной ногой, если можно так выразиться, на другую дорожку, которую предлагала ему судьба. Но нет: он безвозвратно всгупил на путь гибели, лицемерия, мрака и смерти. Собрание было взволновано, узнав, что король находится в окружении угрожающего народа. Оно спешно послало депутацию<sup>12</sup>. Инар, Верньо с трудом пробилась сквозь толпу. Петион прибыл после них. Он заклинал народ продефилировать спокойно по дворцу. Укоры в адрес Людовика XVI удвоились: «Верните обратно министров-патриотов, или вы погибнете». Людовик XVI ограничился ответом, что он

будет верен конституции. Страдая от жажды в этот жаркий день, он выпил из бутылки, протянутой ему одним гренадером<sup>13</sup>. Постепенно народ разошелся под гул последних угроз.

Король остался жив. Но некое личное двоеборство, дуэль насмерть завязалась между Революцией и королевской властью. Движение 20 июня было еще неуверенным. Внешняя война еще только начиналась, и довольно вяло. Рейнская армия не имела перед собой противника. Центральная, опиравшаяся на лагерь у Мобёжа, во главе с Лафайетом была почти неподвижна и имела только небольшие стычки. Северная армия во главе с Люкнером без труда пробила в Бельгию и заняла Ипр и Менен. Иностранные державы еще не начали серьезно воевать, и Франция еле отдавала себе отчет в том, что война объявлена. Стало быть, 20 июня народ поднялся не под влиянием оскорбленного и возбужденного национального чувства, а под влиянием революционного духа. И поскольку он не был возбужден и выведен из себя внешней опасностью, он не пошел сразу до конца, до свержения королевской власти. Но совершенно очевидно, что мы приближаемся к решающей схватке между Революцией и королем.

О событиях 20 июня Робеспьер в своем «Дефансёр де ла Конститусьон» хранит укоризненное молчание. Эти неопределенные и буйные движения находились в противоречии с его тактикой консервативной, терпеливой и упорной демократии. Жирондисты одно время опасались, что насилие, которому подвергся король, вернет ему симпатии страны, и они сначала постарались по возможности смягчить описание событий.

«Жители Сент-Антуанского предместья и предместья Сен-Марсо,— писал «Патриот франсэ»,— выйдя из Национального собрания, отправились *навещать короля* и подать ему петицию. Он принял ее очень спокойно и надел по их просьбе красный колпак. Один депутат сказал ему, что пришел разделить с ним опасность. «Нет никакой опасности, когда находишься среди французов»,— ответил он. Народ вел себя во дворце как народ, *сознающий свой долг* и уважающий закон и конституционного короля. Национальное собрание, узнав о том, что происходит, послало к королю последовательно несколько депутатий. Мэру Парижа удалось

10. Больё — министр государственных налогов с марта по июль 1792 г.

11. Жорес в основном придерживается рассказа Мортимера-Терно. На возглас толпы «Да здравствует нация!» король ответил таким же возгласом. Он заверил, что искренне желает счастья народу и заверил в своей неизменной преданности конституции.

12. «Archives parlementaires», XLV, 420; «Moniteur», XII, 718. «Собрание избрало депутацию в составе 24 членов Собрания, дабы засвидетельствовать королю свою тревогу о его безопасности».

13. Знаменитый эпизод. Людовик будто бы тогда воскликнул: «Народ Парижа, я пью за твое здоровье и за здоровье французской нации!»

постепенно удалить народ из дворца; в 9 часов он был пуст и все было спокойно, хотя там прошло более 40 тыс. человек. *Вот тот народ, на который клеветают фейяны!*

Говоря по правде, это идиллия. Я не люблю этого слащавого лицемерия. Если народ *должен* быть строго конституционным, он нарушил этот свой долг, захватив дворец и пытаясь силою навязать королю санкцию декретов, которые король отвергал. Но долг народа состоял в том, чтобы избавить Революцию от предательской королевской власти, а об этом Жиронда умалчивала. Во время великих кризисов в ее политике всегда было что-то чахлое, какая-то трещинка. Но жирондисты вскоре разобрались в том, что король и фейяны хотят использовать против революционной демократии события 20 июня, и они не замедлили повысить тон.

«Король взял руку одного гренадера, прижал ее к сердцу и спросил его: «Как, по-вашему, я дрожу?» Другому он сказал: «Благородный человек всегда спокоен». Это спокойствие, несомненно, вытекало из того, что король знает о доброте и *снисходительности* французского народа. Он хорошо знает, что ему нечего опасаться со стороны народа, простившего ему 14 июля и 6 октября 1789 г., 18 апреля и 25 июня 1791 г. Он хорошо знает, что этот народ долго страдает, прежде чем жаловаться, и еще дольше жалуется, прежде чем покарать»<sup>14</sup>.

Это было весьма ясное предупреждение в адрес короля. Берегитесь: если вы попытаетесь драматизировать в своих интересах события 20 июня, если вы попытаетесь пробудить у Франции чувство жалости, преданности и создать легенду о своих страданиях и героизме, мы оживим историю ваших преступлений, ваших измен.

## РОЯЛИСТСКАЯ РЕАКЦИЯ

В самом деле, Людовик XVI постарался возбудить чувствительность французов. Повсюду распространялись трогательные рассказы о «страстях» этого Христа королевской власти, о желчи и укусе, коими поили его мятежные подданные. Сам он направил Собранию сдержанное и ловко составленное письмо, в котором подсказывал принятие репрессивных мер, возлагая ответственность за них на Собрание:

«Господин председатель, Национальному собранию уже известны события вчерашнего дня. Париж удручен; Франция узнает о них с удивлением, смешанным со скорбью. Я весьма тронут вниманием, проявленным ко мне Собранием в этих обстоятельствах. Я предоставляю его благоразумию расследование причин этого события, заботу о точном установлении обстоятельств и принятие мер, необходимых для охранения Конституции и для обеспечения конституционной неприкосновенности и свободы наследственного представителя нации. Что касается меня, то ничто не

может помешать мне, всегда и при всех обстоятельствах, делать то, что требуют обязанности, возложенные на меня мною принятой Конституцией, и подлинные интересы французской нации.

Подпись: *Людовик*  
Скрепил: *Дюрантон*<sup>15</sup>.

Почти все Собрание разразилось аплодисментами. Казалось, проявилась реакция. Колеблющиеся, одно время увлеченные Жирондой, метнулись к центру. Вот к чему ведет агитация клубов! Вот до чего доводят вечные разоблачения и разглагольствования против короля! К анархии, пожалуй, даже к убийствам! И что станется с Францией, если мятежники уничтожат конституцию, запятнают кровью короля свободу? Так говорили умеренные, сея повсюду страх.

Кутон захотел поставить перед Собранием 21 июня решающий вопрос, вопрос о *вето*: «Пора, время не терпит, Собрание должно решительно приступить к рассмотрению вопроса о том, подлежат ли декреты, касающиеся частных случаев, санкции или нет, и быстро решить этот вопрос».

Это вызвало бурю: «Вот объяснение вчерашних событий! Вы нарушаете вашу присягу!» Все Собрание, за исключением крайне левой, постановило, что не следует делать это предложение предметом обсуждения. Министр юстиции сообщил, что будет начато расследование относительно насильственных действий, имевших место 20 июня, и казалось, что дело идет к реваншу королевской власти и фейянов над Жирондой, демократией и самой Революцией. Из самых разных концов Франции доходили протесты против действий «мятежников». Большая часть революционной буржуазии была взволнована и перепугана. Меня особенно поражает то, что негодование выражают не только директории департаментов, в которых часто господствовал умеренный дух, но и муниципалитеты. Туте приводит множество этих неистовых протестов, и я могу лишь отослать к ним<sup>16</sup>.

В них уже начинает проявляться недоверие провинциальной буржуазии к Парижу. Например, граждане Гавра в своем адресе «вопиют о мести злодеям, ворвавшимся в жилище наследственного представителя нации и оскорбившим его неприкосновенную и священную персону, требуют обуздать дерзость наглых петиционеров, мнимых органов столичных секций, и заставить замол-

14. 18 апреля 1791 г. король пытался уехать в Сен-Клу. 25 июня 1791 г. король был возвращен в Париж после своего бегства в Варенн.

15. Дюрантон (1736—1793) — адвокат, генеральный прокурор-син-

дик департамента Жиронда, министр юстиции в 1792 г., гильотинирован в 1793 г.

16. A. T u e t e y. Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris..., t. IV, p. 115.

чать трибуны, которые не являются народом и чьи аплодисменты или неприличный ропот отвергаются всеми добрыми гражданами».

Директория департамента Сомма, члены администрации департамента Эна, директория департамента Эр, члены администрации департамента Эндр, граждане Абвиля, генеральный совет коммуны Перонн, граждане департамента Рона и Луара, директория департамента Уаза, муниципалитет Фонтен-Франсез, директория департаментов Сена и Марна, Нижняя Сена, Гар и Па-де-Кале, граждане Страсбурга, трибунал Сент-Ипполит-дю-Гара, директория департамента Манш, граждане Амьена, Верденский дистрикт, трибунал в Боже, департамент Эр и Луар, директории департаментов Мёз, Арденны, дистрикт Коммерси, муниципалитет Вигана, директория департамента Од, трибунал Страсбурга, город Э, граждане Седана, дистрикт Витри-ле-Франсуа, Нимский дистрикт, директория департамента Жиронда, дистрикт Шато-Тьерри, Друзья конституции в Шомоне, 4-й легион национальной гвардии Лиона, директория департамента Верхняя Гаронна, дистрикт Сент-Омер, директории департаментов Нижний Рейн, Вар, граждане Монморийона, дистрикт Монтрёй-сюр-Мер, коммуна Кани, директория департамента Нор, Суассонский дистрикт, активные граждане Мелля, активные граждане Сен-Фаржо, директория Тараскон-сюр-Рон, коммуна Компьен, дистрикт Рокруа, коммуна Гранвиль, жители Ансени, коммуна Сен-Реми (департамент Буш-дю-Рон), муниципалитет Бёзевиля, дистрикт и муниципалитет Прада, муниципалитет Ланда, коммуна Орэ, дистрикт Лаграс (Од), гражданки города Сен-Шаман, коммуна Окур (департамент Мозель), коммуны Бастия, Бриенн-ле-Шато, граждане Булонь-сюр-Мер требуют, чтобы «меч закона» поразил мятежников, поздравляют Людовика XVI с проявленными им энергией, спокойствием, требуют, чтобы конституция была защищена от сочинителей предложений, пасквилантов, поджигателей, обвиняют мэра Парижа в соучастии в мятеже.

### ДВОР ПРИЗЫВАЕТ НА ПОМОЩЬ ИНОСТРАННЫЕ ДЕРЖАВЫ

Модерантистская реакция была довольно широкой: казалось, фейянтизм внезапно ожил, как утвердился он ранее, после событий на Марсовом поле. Людовику XVI таким образом представлялся последний шанс спасения. Он мог бы сохранить эти симпатии, став наконец лояльным слугой Революции и Франции. Но в тот самый момент, когда умеренная буржуазия из страха перед анархией чистосердечно спланивалась вокруг него, в тот самый момент, когда король заверял Собрание в своей верности

конституции, изменнические происки продолжались и единственный вывод, сделанный королевой из событий 20 июня, заключался в том, что иностранные армии должны ускорить свое продвижение. 23 июня, через три дня после вторжения во дворец, Мария Антуанетта писала Ферзену:

*(Шифром)* «Дюмурье отправляется завтра в армию Люкнера. Он обещал поднять восстание в Брабанте. Сент-Юрюж также отправляется с той же целью.

*(Клером)* Вот перечень сумм, уплаченных мною за Вас. Я пришлю Вам опись Ваших доходов, как только они поступят.

Я полагаю, что получила все Ваши письма... Ваш друг подвергается величайшей опасности. Врачи уже не знают, что делать. Если Вы хотите его видеть, поторопитесь. Доведите до сведения его родных об его бедственном положении. Ваши дела с ним я закончила, так что с этой стороны я вполне спокойна. Я буду прилежно сообщать Вам все новости о нем».

И, попросив Ферзена поскорее передать вести о высоком «больном» из Тюильри его «родным» в Вене, Стокгольме и Берлине, она отправляет Ферзену клером и без подписи письмо, представляющее как бы отчаянный призыв к вторжению:

«26 июня 1792 г. Я только что получила Ваше письмо № 10; спешу подтвердить Вам его получение. Вы получите со дня на день подробные сведения относительно имений духовенства, приобретенных мной для Вас. Сегодня ограничусь сведениями о помещении Ваших ассигнатов; у меня их осталось мало, и надеюсь, что через несколько дней они будут помещены так же хорошо, как и остальные.

Меня огорчает, что я не могу успокоить Вас насчет положения Вашего друга. Однако за последние три дня болезнь не прогрессировала, но все же она являет тревожные симптомы; и они приводят в отчаяние самых опытных врачей. Для его спасения нужен быстрый кризис, а его признаков еще не видно. Это приводит нас в отчаяние. Осведомите о его положении тех лиц, которые имеют с ним деловые отношения, чтобы они приняли меры предосторожности со своей стороны. Дело не терпит отсрочки».

И друзья, и агенты Людовика и Марии Антуанетты думают не о смягчении конституции, а об уничтожении всего дела Революции.

У испанского министра г-на Аранда явилась мысль предложить свое посредничество и повести переговоры между Францией и двумя державами, Австрией и Пруссией, с которыми она была в состоянии войны, относительно пересмотра конституции в благоприятном для монархии смысле. Это был нелепый проект, ибо он исходил из предположения, что революционная Франция пребывает в страхе, тогда как она была охвачена боевым порывом. Но непримиримые контрреволюционеры отвергают этот проект, так же как его отвергла бы и сама Революция. Ферзен пишет



26 июня из Брюсселя барону Эренсварду, посланнику Швеции в Мадриде <sup>17</sup>:

«Г-н барон, я полностью разделяю Ваше мнение относительно линии поведения, которой следует придерживаться королю Франции в отношении проекта, который Вы вполне справедливо приписываете г-ну д'Аранда, — проекта посредничества и изменения Конституции. Только берлинский и петербургский дворы могут воспротивиться этому, причем императрица несколько охладела после смерти покойного короля к делам Франции, зато она питает живейший интерес к делам Польши. Однако ее тщеславие побуждает ее не покидать дело принцев, за которое она так горячо взялась. *Но нельзя особенно рассчитывать на венский двор, и, несмотря на все, что он делает, есть основания полагать, что он был бы рад переговорам, в которых он надеется сыграть большую роль. Я надеюсь, что не существует никакой прямой связи между королем Франции и г-ном д'Аранда;* однако, поскольку в настоящий момент сношения с королем очень затруднены и крайне редки, у меня на этот счет не может быть никакой уверенности.

Из всех монархов, проявляющих интерес к судьбе короля Франции, никто не ведет себя столь дурно, как испанский, и столь хорошо, как король Пруссии. Он дал самые надежные заверения предоставить помощь; *он не хочет и слышать ни о каких переговорах или изменениях Конституции, а, наоборот, хочет прежде всего возвращения свободы королю и чтобы он сам дал ту Конституцию, какую пожелает и какую найдет наиболее полезной для королевства.* Он дает 400 тыс. ливров принцам для платы войскам, которые выступают, и имеет в виду отвести им почетное место в предстоящих операциях. Он написал королю Венгрии, предлагая ему дать некую сумму на содержание эмигрантов. Сомневаюсь в том, чтобы это предложение было принято. Отсутствие доброй воли у этого двора очевидно, эмигрантов не терпят в их армии даже в роли простых наблюдателей, и, вместо того чтобы принять 7—8 тыс. эмигрантов, как им было предложено, они предпочли идти на риск, что вся страна может быть занята мятежными французами, у которых было только одно преимущество — их многочисленность. С тех пор как к ним прибыли подкрепления, им уже нечего опасаться. Но у них были очень критические моменты, и в то время, когда г-н Бирон двигался на Монс, генерал Больё имел только 1800 человек и 3 пушки <sup>18</sup>; ночью прибыли 1200 человек и 6 пушек. Даже теперь они не решаются за недостатком людей перейти в наступление и прогнать французов из Менена и Куртрэ».

Так, Ферзен и королевский двор связывают свои надежды даже не с политикой Австрии, неопределенной и примирительной, а с непримиримыми устремлениями прусского короля. Поэтому фейантизм был только глупостью, если только не стал изменой. Этой умеренной и наивной буржуазии, которая под влиянием

волнений 20 июня послала королю адреса с выражением симпатии, Людовик XVI готовил своеобразное пробуждение: их иллюзии должны были быть растоптаны под копытами бешено несущейся прусской кавалерии. На наивное доверие этих робких революционеров Людовик XVI ответил рейдом герцога Брауншвейгского. 30 июня Ферзен пишет Марии Антуанетте <sup>19</sup>:

«Вчера получил письмо от 23-го; пока австрийцы не разбиты, нет оснований чего-либо опасаться. Сто тысяч Дюмурье не смогут поднять восстание в этой стране, хотя она к этому очень сильно расположена.

Ваше положение тревожит меня непрестанно. Вашей отвагой будут восхищаться, и мужественное поведение короля произведет превосходное впечатление. Я уже разослал повсюду сообщение и пошлю «Газетт юниверсель» <sup>20</sup>, где приводится его разговор с Петионом: он достоин Людовика XVI. *Надо продолжать в том же духе и главное — стараться не покидать Париж; это важнейший момент. Тогда будет легко прийти к Вам, и в этом суть проекта герцога Брауншвейгского* <sup>21</sup>. *Его вступлению в страну будет предшествовать обнародование очень энергичного манифеста от имени коалиции держав, которые возложат ответственность за безопасность королевских особ на всю Францию, и особенно на Париж. Затем он пойдет прямо на Париж, оставляя различные войска на границах для заслона против крепостей и чтобы помешать стоящим там войскам действовать в других местах и оказывать сопротивление его операции...* Герцог Брауншвейгский прибудет в Кобленц 3-го; первая прусская дивизия прибудет туда 8-го».

Вот чего стоило письмо Людовика XVI Собранию от 21 июня. Одна только народная Революция могла спасти свободу и отечество.

## ТРЕБОВАНИЯ ЛАФАЙЕТА И ОТСТУПЛЕНИЕ ЛЮКНЕРА

И в то время, как предательская королевская власть взывала к иностранным державам и с нетерпением ожидала их, чтобы упразднить конституцию, Лафайет, упорно видя только револю-

17. «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. II, p. 313.

18. Больё (1725—1820) — австрийский генерал, родом из Брабанта, командовал войсками на французской границе, потерпел поражение в битве у Флерюса в 1794 г. и другое поражение, от Бонапарта в Италии в 1796 г.

19. «Le comte de Fersen et la cour de France...», t. II, p. 315.

20. Речь идет о «Gazette universelle ou Papier-nouvelles de tous les pays et de tous les jours».

21. Герцог Брауншвейгский (1735—1806) отличился во время Семилетней войны на службе Пруссии. Он считался одним из лучших полководцев Европы и был назначен после встречи в Пильнице главнокомандующим объединенными силами Пруссии и Австрии.

ционную опасность, покинул свою армию и поспешил в Париж. На сей раз он не собирался ограничиться письмом, требуя от Собрании восстановления королевской власти и истолкования конституции в духе фейянов. На сей раз он прибыл неожиданно, собственной персоной, чтобы угрожать Собранию, и этот шаг походил на государственный переворот. Он был заслушан 28 июня<sup>22</sup>. В тот момент он мог надеяться вызвать решающее движение.

Вызванное событиями 20 июня волнение в среде умеренной буржуазии и в очень значительной части королевства все еще продолжалось. Собрание засыпали адресами. Сам Лафайет, как только появился у барьера, был встречен аплодисментами большей части Собрания, а также большей части трибун<sup>23</sup>. Он придал своей речи самый конституционный характер. Он заявил, что прибыл один, не как генерал, а как гражданин и для того, чтобы остановить начавшееся в его армии незаконное составление петиций. Однако вопреки всему в его лице и его устами говорила его армия. К тому же он передал в президиум Собрания те адреса, которые ему уже прислали многие воинские части, адреса, направленные против «якобитов» и «мятежников».

Жиронда попыталась сразу же парировать удар. Гюзде нащупал слабое место<sup>24</sup>. Он спросил, запросил ли и получил ли генерал Лафайет, прежде чем покинуть свою армию, разрешение от военного министра. Жиронда настаивала на том, чтобы военного министра запросили по этому вопросу. При поименном голосовании 234 депутата поддержали это требование, 339 высказались против. Большинство высказалось за Лафайета. Но тем не менее то неправильное, что было в его шаге, можно было перекрыть только смелыми и быстрыми действиями. Что ему было делать? Ему оставалось только одно решение: *очистить* Собрание, арестовав и предав суду тех депутатов, которых можно было обвинить в некоем потворстве, по крайней мере моральном, возмущению 20 июня, и силой распустить Якобинский клуб. Это был государственный переворот. Но, помимо такого насильственного акта, Лафайет ничего не мог сделать, ничего не мог достигнуть. Этот государственный переворот был бы роковым, ибо двор, уже не будучи под надзором революционных сил, в несколько дней справился бы с умеренными конституционалистами и кризис обернулся бы абсолютной контрреволюцией.

Какое это было бы жестокое наказание для Лафайета, если бы в тот самый момент, когда он шел на риск такой тщеславной и реакционной затеи, стало бы известно об изменческих письмах, коими обменивались двор и иностранные державы, те иностранные державы, с которыми, как он думал, он еще сражался!<sup>25</sup>

К счастью, чтобы совершить этот государственный переворот, Лафайет нуждался в безоговорочной поддержке двора. А двор ненавидел его и не доверял ему. Двор продолжал считать его ответственным за события 5—6 октября, за все перенесенные

с тех пор унижения, за своего рода пленение в Тюильри. Таким образом, Лафайет, будучи изолированным между Революцией и двором, не располагал средствами для решающих действий. Он наивно рассчитывал на свою популярность в Париже, но то была сила колеблющаяся и убывающая. Ему аплодировали, но Петион отменил смотр национальной гвардии, где Лафайет надеялся появиться внезапно и увлечь буржуазные батальоны против якобинцев.

Лафайет не смог даже установить контакта с буржуазией. Он вскоре почувствовал себя как бы затерявшимся в пустоте и, удрученный, отправился обратно в свою армию. Он угрожал, но не нанес удара. Его противники поэтому стали сильнее и смелее. В самом деле, с границы начинают поступать неприятные и тревожные вести. 30 июня Рюль предупреждает Собрание о том, что «последний артиллерийский обоз прибыл на Рейн». Он восклицает: «Прикройте Рейн, прикройте Эльзас!» И поднимается ропот по поводу измены против тех, кто обманул нацию, поспешав формированию лагеря в 20 тыс. человек под предлогом, что не было никакой непосредственной опасности. К тому же поползли слухи, что в Северной армии главнокомандующий Люкнер только что дал сигнал к отступлению.

Армия, вступившая в Бельгию, без труда занявшая Куртрэ, Ипр, Менен, получила приказ отойти к Лиллю. Почему? Это не могло быть решением самого храброго Люкнера, говорили жирондисты. Он, очевидно, следовал инструкциям министров, преданных двору. В том же заседании 30 июня Жансонне сформулировал обвинение. «Война, которую мы ныне ведем против австрийского двора, — воскликнул он, — война, которой двору не удалось избежать, превратилась в интригу, в спектакль, который мог бы насмешить потомство, если бы он не был постыдным для добрых граждан. Эта война имеет только видимость войны; люди, которые руководят ею, действуют по указаниям австрийского двора. Благодаря проискам этого двора, который уже погружал и еще погрузит Францию в траур, когда в результате первых успешных действий наших армий в наших руках оказались Куртрэ, Ипр, Менен, когда уже множество отважных брабантцев объединились под знаменами свободы; когда маршал Люкнер, командующий армией, которую постарались оставить без подкреплений..

22. «Archives parlementaires», XLV, 653; «Moniteur», XII, 777.

23. «Г-н Лекуэнтр: Г-н председатель, призовите же трибуны к порядку; они не должны давать никаких знаков одобрения или порицания».

24. «Moniteur», XII, 777.

25. Лафайет сам интриговал с не-

приятелем. Он дважды посылал эмиссаров к находившемуся в Брюсселе австрийскому послу Мерси-Аржанто для переговоров о приостановке военных действий, что позволило бы ему двинуться на Париж со своей армией. [Примечание А. Маттеза.]

взял Куртрэ, эту неприступную позицию... именно тогда в результате какой-то интриги (ибо маршал Люкнер, по моему мнению, не виновен в этом) маршала вынудили угрозами сатанинского Австрийского комитета совершить это отступление».

Марат, декрет о привлечении к суду которого за несколько дней до этого был принят по предложению Жиронды, поскольку он сеял подозрения и сомнения среди солдат, никогда не произносил более суровых слов. Но Жиронда, отстраненная от власти, сознававшая нависшую над ней угрозу со стороны контрреволюции и фейянов, пыталась нанести смертельные удары.

Впрочем, разоблачая интригу, парализовавшую наступление и порыв наших армий, она правильно оценивала положение и спасала отечество. В деталях Жансонне ошибался. Военный министр Лажар не давал приказов Люкнеру, и, *по-видимому*, последний совершил отход по собственному решению. Он изложил мотивы этого отхода в письме, зачитанном в Собрании 2 июля. Он утверждал, что с армией всего в 20 тыс. человек он оказался без прикрытия, без надлежащей защиты: он мог бы выдвинуть свои передовые части или хотя бы удерживать свои позиции лишь в том случае, если бы бельгийское население восстало против Австрии и примкнуло к Революции. Но этого не произошло: «Я занимаю позицию в Менене; мои передовые части в Куртрэ: все пространство между Ланнуа, Брюгге и Брюсселем прикрыто моей армией и свободно от вражеских войск. Несмотря на это, бельгийцы остаются недвижимы. Я не вижу даже малейшей надежды на восстание, столь широко возвещенное. И даже если бы я еще овладел Гентом и Брюсселем, я почти уверен, что народ не стал бы на нашу сторону, что бы там ни говорила та кучка лиц, которые думают о благоденствии Франции единственно в целях удовлетворения их честолюбия и их обогащения... В таком положении и с 20 тыс. человек, составляющими всю мою армию, я не могу удерживать свои позиции перед неприятелем, не оставляя Лилль без прикрытия».

Правда заключается в том, что политические расчеты начальников сказались губительно на военных делах. В течение нескольких недель и даже до 20 июня Лафайет смотрел больше в сторону Парижа, чем в сторону иностранных армий. Он гораздо больше думал о подавлении якобинцев, чем о победе над австрийцами. Он успокаивал свое патриотическое чувство, говоря себе, что подавление якобинцев — необходимое условие поражения иностранных армий; но, пребывая в таком состоянии духа, он лавировал, выжидал, откладывал.

Он сообщал о своих тревогах Люкнеру в неоднократных посланиях. Последний, бывалый немецкий наемник, поступивший на службу Франции, плохо говоривший по-французски и плохо разбиравшийся в интригах и событиях, с каждым днем все более осложнявшихся, был озабочен прежде всего тем, чтобы не ском-

прометировать себя никоим образом. Он верил в силу, в популярность Лафайета, который командовал по соседству с ним Центральная армией. Однако он не хотел связывать себя с ним целиком. И когда, прежде чем покинуть свою армию и отправиться в Париж, Лафайет послал своего адъютанта Бюро де Пюзи<sup>26</sup>, чтобы предупредить Люкнера, что нет никакой опасности в том, что он, Лафайет, на короткое время оставляет свои войска, и попробовал, таким образом, побудить его разделить с ним ответственность, Люкнер уклонился. Он ответил очень обдуманно и искусно составленным письмом, что не может судить на расстоянии о военной обстановке, в которой Лафайет оставляет свои войска.

Но, не желая окончательно связывать себя с Лафайетом, он не хотел также примкнуть и к Жиронде, действовать в интересах демократов, революционеров. Между тем энергично наступать на австрийскую армию, пытаться вызвать революционное движение в Брабанте и провозгласить там Декларацию прав человека значило бы полностью проводить жирондистскую политику. Это значило бы поддерживать, возбуждать надежды парижских революционеров.

А что стало бы с Люкнером, если бы, в то время как он действовал в интересах Революции, в Париже победили бы двор и умеренные? Нет, лучше было выждать, побережь свои силы и ограничиться прикрытием границы. Вот чем объясняется отход на Лилль, это отступление не было актом явной измены, то была скрытая предосторожность и неуверенный расчет.

Действительно, глубоко клерикальная Бельгия не откликнулась на призыв Революции, как то возвестила самонадеянная Жиронда. Но революционные элементы были там тем не менее многочисленны, как признает и сам Ферзен, и они лишь ожидали решительной победы над Австрией, чтобы проявить себя и организоваться. Во всяком случае, если революционная армия Франции и не встретила сразу же того восторженного приема со стороны бельгийского населения, который предсказывал Бриссо, то она не столкнулась и с заметным сопротивлением, ни даже с проявлениями недоброжелательства, способными внушить тревогу.

Австрийская армия не была очень сильной, и Люкнер мог оставаться в Бельгии. Он мог даже продолжать свое продвижение, потребовав крупных подкреплений и публично возложив на Собрание и на министров ответственность за дальнейший ход событий. Он предпочел полуотступление. Очевидно, фейянский дух господствовал в армии и парализовал ее. Солдаты, офицеры, преданные Революции, ясно видели, что они являются жертвой

26. Бюро де Пюзи (1750—1805) — капитан инженерных войск, бывший член Учредительного собра-

ния, эмигрировал после 10 августа 1792 г.

интриги. Ламет повсюду с яростью поносил якобинцев, и все знали, что это человек двора. Резкий и язвительный протест Людовика XVI по поводу событий 20 июня широко распространялся в армии. Между Лафайетом и Люкнером происходил постоянный обмен посланиями, и можно догадываться, что предметом их были не только и даже не главным образом военные вопросы.

Патриотическая и революционная сила армии подрывалась интригами умеренных. Письма, исполненные печали или негодования, доносили из армии в Париж чувство гнева солдат-патриотов. Некоторые из этих писем были зачитаны с трибуны Собрания. «Менен, 28 июня, IV год свободы. Со времени перемены в правительстве интрига преуспевает непостижимо. Армия подвергается такой обработке, что можно потерять всякую надежду, если маршал Люкнер не откроет глаза на все, что его окружает, и прежде всего на тех, кто находится во главе штаба.

В армии ропщут на то, что мы бездействуем после первых успехов. Вчера прибыл курьер от г-на Лафайета для разговора с маршалом: через полчаса после его прибытия маршал распорядился отправить в Лилль все экипажи и провиантские фургоны, груженные хлебом; и он, вероятно, приказал бы и армии отойти к Лиллю, если бы г-н Бирон не убедил его отсрочить приказы...<sup>27</sup> У маршала такое дурное окружение, его так обманывают, что ему вбили в голову, будто Бельгийский комитет собирает в стране все деньги для отправки их в Англию... Вчера прибыла депутация бельгийцев просить маршала оказать поддержку восстанию, которое готово вспыхнуть, и соблаговолить прикрыть их, послав 2—3 тыс. человек.

Депутация сообщила ему, что ничто не может помешать этой операции и что австрийцев нигде нет. Он рассердился и ответил депутации, что его обманули, что ему обещали 60 тыс. человек и что он перейдет в наступление только тогда, когда их получит. Я не пойму, как г-н маршал хочет, чтобы эта страна восстала, не имея оружия и без поддержки французских армий, пребывающих в бездействии... Представляется очевидным, что маршал был введен в заблуждение относительно поведения комитета и что интриганы убедили его покинуть Бельгию как раз тогда, когда восстание должно было вспыхнуть. Какая судьба ожидает комитет и 1200 человек, которые так хорошо проявили себя при Куртрэ в различных атаках? Что будет с нашими границами? Что будет с Мененом и Куртрэ, когда уйдет французская армия, ведь их жители так хорошо ее приняли и надели национальную кокарду?

...Настал час подняться всей нации. Настал момент нанести удар. Нация должна вернуть себе славу, которую она потеряет, если будет дремать. Враг вовсе не так силен, почему же мы отступаем? По всей армии идет ропот. Если ей придется вернуться во Францию, то я не отвечаю за печальные события, которые это

отступление может повлечь за собой. Маршал в настоящий момент держит совет... Прокламация короля была отпечатана по приказу маршала Люкнера и в изобилии распространена в армии. Г-н Ламет обошел всю свою дивизию, чтобы побудить полки выразить свое мнение относительно королевской прокламации и затем сообщить о нем маршалу. Некоторые полки поклялись быть верными нации, закону и королю и не участвовать ни в каких политических акциях. Они клялись сильно ударить по врагу».

## ВЕРНЬО УГРОЖАЕТ ДВОРЦУ

Появление на Рейне прусских войск, необъяснимое отступление Люкнера крайне сильно возбуждали национальные и революционные чувства. Становилось очевидным, что отечество находится в опасности: над ним нависала внутренняя и внешняя угроза, контрреволюция и иностранные державы. Отечество в опасности, и Революция понимает, что, провозглашая эту опасность, грозящую отечеству, она поднимет напряжение человеческих волей до героизма. Никаких унижительных предосторожностей. Мелкие души впадают в уныние при виде опасности, но она еще более усиливает порыв сильных духом. Объявить отечество в опасности — это значит мобилизовать против врага все силы нации; это значит также мобилизовать против измен двора все силы Революции. Этот страшный двойной удар, по внешнему врагу и по врагу внутреннему, которые, по существу, являются одним и тем же врагом, Революция наносит в первые дни июля. 30 июня от имени Комиссии двенадцати Дебри внес проект декрета, определявшего процедуру объявления отечества в опасности и меры, которые надлежит принимать в этом случае<sup>28</sup>. Ссылаясь на этот проект декрета, Верньо в своей бессмертной речи от 3 июля обобщил, если можно так выразиться, опасности, угрожавшие отечеству и свободе, и в почти насмешливой форме гипотезы, которая была утверждением, нанес смертельный удар королевской власти и Людовику XVI. Великолепная речь, порывавшая наконец со всяким лицемерием, срывавшая покровы ложного уважения и разрывавшая паутину интриг, речь, которая ставила наконец Францию и короля перед лицом истины! Вслушайтесь в эти замечательные революционные звуки. В этой речи еще как будто есть некоторые оговорки и некоторые изгибы, но это изгибы тучи, освещаемые молнией. Они не гасят блеска молнии, они

27. Бирон (1747—1793) — полковник, бывший член Учредительного собрания, служил под командованием Люкнера. 9 июля 1792 г. был назначен командующим Рейнской армией.

28. «Moniteur», XIII, 10 et 42. Дебри (1760—1834) — адвокат при Парижском парламенте, член администрации департамента Эна в 1790 г., депутат Законодательного собрания, а затем Конвента.

как будто только придают ее страшному сиянию некий гибкий и тонкий рисунок.

Верньо сначала указывает средство покончить с внутренними беспорядками: «Король отказал в своей санкции вашему декрету о волнениях на религиозной почве. Я не знаю, не бродит ли все еще мрачный дух Медичи и кардинала Лотарингского под сводами Тюильрийского дворца; не ожило ли кровожадное лицемерие иезуитов Лашеза и Летелье \* в душе какого-нибудь злодея, сгорающего от желания воскресить Варфоломеевскую ночь и драгоннады \*\*; я не знаю, не смущено ли сердце короля внушаемыми ему фантастическими идеями и не введена ли его совесть в заблуждение религиозными страхами, которыми пытаются на него воздействовать.

Но нельзя предполагать, не нанося ему оскорбления и не обвиняя его, как опаснейшего врага Революции, что он желает поощрить безнаказанностью преступные посягательства папского честолюбия... Поэтому если надежды нации и наши надежды обмануты, если дух раскола по-прежнему будоражит нас, если факел фанатизма по-прежнему грозит нам гибелью, если религиозные неистовства продолжают опустошать департаменты, то очевидно, что винить в том следует только небрежность королевских чиновников или отсутствие у них гражданских чувств; что ссылки на тщетность их усилий, на недостаточность принятых ими мер предосторожности, на перегруженность бесчисленными заботами будут лишь презренной ложью и что будет справедливо предать их мечу правосудия как единственных виновников всех наших бедствий. Итак, господа, подтвердите сегодня эту истину торжественной декларацией. *Вето*, наложенное на ваш декрет, породило не то угрюмое оцепенение, когда обессиленный раб молча глотает слезы, а то чувство благородной скорби, которое у свободного народа будит страсти и возбуждает энергию. Поспешите же предотвратить брожение, последствия коего человеку не дано предвидеть. *Известите Францию, что впредь министры будут своей головой отвечать за все беспорядки, предложом кои послужит религия.* Объясните ей, что эта ответственность означает конец ее тревогам, надежду на то, что мятежники понесут кару, лицемеры будут разоблачены и спокойствие восстановлено.

Это было упразднение права *вето*. Когда «королевские чиновники» будут отвечать своей головой, когда их будут карать смертью за невыполнение мер, которые король отказывается санкционировать, то что останется от права санкции? Да, что останется от самого короля? В июле 1792 г. Верньо говорит о том, как падут головы министров. Шесть месяцев спустя падет голова короля.

Но вот великий оратор теснит короля в его последнем убежище: лицемерном и притворном уважении к конституции. Оно проявилось в словах короля, сказанных народу 20 июня: «Я буду применять Конституцию». И он ее в самом деле применял

так, чтобы это была смерть конституции. Верньо разоблачает эту уловку и вырывает у короля его последнюю надежду, тот щит лжи и хитрости, которым он прикрывался. Он ясно отдает себе отчет в том, что собирается нанести сокрушительный удар и что, если вонзить меч чуть глубже, это смерть королевской власти и поэтому из предосторожности — не только ораторской — он сам умоляет Собрание не извратить ни на йоту смысл его слов:

«Есть истины простые, но исключительной важности, одно провозглашение которых может, я полагаю, возыметь действие более значительное, более спасительное, нежели ответственность министров... Я буду говорить, не ведая иной страсти, кроме любви к отечеству и боли за бедствия, его терзающие. *Я прошу слушать меня спокойно, не спешить угадывать мои мысли, чтобы заранее одобрить или осудить то, чего я не намерен сказать.* Верный данной мной присяге охранять Конституцию, уважать установленные власти, я буду ссылагся только на Конституцию. Более того, если с помощью нескольких соображений, очевидность которых несомненна, я разорву повязку, надетую на глаза короля интригами и лестью, и покажу ему конец, куда его коварные друзья стараются его увлечь, то я буду говорить, руководствуясь верно понятыми интересами короля».

Надеялся ли еще Верньо на то, что его грозное предупреждение приведет короля обратно к Революции? Возможно. Ему, безусловно, было тягостно думать о возможности нового революционного кризиса, чреватого неизвестностью; кто знает, быть может, после неверной осторожной тактики удастся повлиять на короля с помощью таких сильных средств, как правда и страх?

«Ведь это во имя короля, — восклицал он, — французские принцы пытались поднять против нации все дворы Европы; ведь это чтобы *мстить за достоинство короля*, был заключен Пильницкий договор и создан чудовищный союз венского и берлинского дворов, ведь это для *защиты короля* сбежались в Германию под знамена мятежа бывшие роты лейб-гвардии; ведь это чтобы *прийти на помощь королю*, эмигранты просят и получают должности в австрийских армиях и готовятся терзать грудь отчизны; ведь это чтобы присоединиться к этим доблестным рыцарям королевской прерогативы, другие доблестные рыцари, исполненные чести и деликатности, покидают свой пост перед лицом неприятеля, изменяют своим присягам, грабят кассы, стараются развратить своих солдат и свои надежды на славу строят на подлости, клятвopеступлении, развращении солдат, воровстве и убийствах. (*Аплодисменты трибун.*) Это только против нации и Нацио-

\* Лашез (1624—1709) — иезуит, духовник Людовика XIV; Летелье (1643—1719) — иезуит, последний духовник Людовика XIV.

\*\* Драгоннады — постои в домах

протестантов драгунов, которым было разрешено совершать над ними всевозможные насилия. Были введены в 1681 г. военным министром Лувуа. — *Прим. ред.*

нального собрания и для сохранения великолетия трона воюет с нами король Богемии и Венгрии и король Пруссии продвигается к нашим границам; это во имя короля свобода подвергается нападению, и если бы удалось ее одолеть, то вскоре приступили бы к расчленению нашего государства, чтобы возместить союзным державам издержки; ибо великодушные королей известно, известно, сколь бескорыстны они, посылая свои армии для опустошения чужой земли, и сколь можно верить в то, что они станут истощать свою казну для ведения войны, не обещающей им выгоды. Наконец, одно лишь имя короля является предлогом и причиной всех бед, которые стараются обрушить на нашу голову, и всех тех, коих нам следует опасаться.

Между тем я читаю в Конституции, в главе II, разделе 1-м, статье 6-й: *«Если король станет во главе армии и направит ее силы против нации или если он не воспротивится формальным актом такому предприятию, совершаемому от его имени, он будет считаться отрекшимся от престола».*

А теперь я вас спрашиваю, что следует понимать под формальным актом сопротивления. Разум говорит мне, что это акт сопротивления, соответствующего в меру возможности возникшей опасности, сопротивления, оказанного своевременно, чтобы иметь возможность избежать этой опасности.

Например, если в ходе нынешней войны 100 тыс. австрийцев двинулись бы во Фландрию или 100 тыс. пруссаков — на Эльзас и если бы король, верховный главнокомандующий всех вооруженных сил, выставил бы против каждой из этих грозных армий всего лишь отряд в 10—20 тыс. человек, то можно ли было бы сказать, что он употребил соответствующие средства сопротивления, что он выполнил требование Конституции и совершил тот формальный акт, который она ему предписывает?

Если король, на кого возложена обязанность наблюдать за внешней безопасностью государства, доводит до сведения Законодательного корпуса о грозящих враждебных действиях, будучи осведомлен о передвижениях прусской армии, ничего не сообщил об этом Национальному собранию; если, будучи осведомлен или по меньшей мере имея возможность предположить, что эта армия через месяц совершит на нас нападение, медлил бы с приготовлениями к отражению нападения; если бы существовали обоснованные опасения относительно возможных успехов неприятеля внутри Франции и была очевидной необходимость создания резервного лагеря для предотвращения или пресечения этих успехов; если бы существовал декрет, обеспечивавший несомненное и быстрое формирование этого лагеря и если бы король отверг этот декрет и вместо него выдвинул план, успех которого был сомнительным и который требовал бы для своего осуществления столь значительного времени, что враги успели бы сделать его невозможным; если бы Законодательный корпус издавал декреты, касающиеся

общественной безопасности и не терпящие никакой отсрочки ввиду близости опасности, и тем не менее им было бы отказано в санкции или ее откладывали в течение двух месяцев; если бы король предоставил командование армией генералу-интригану, вызвавшему подозрения нации самыми серьезными проступками, самыми явными посягательствами на Конституцию; если бы другой генерал, выросший вдали от развращенных нравов двора и одержавший немало побед, просил ради славы нашего оружия о подкреплении, которое было нетрудно ему предоставить; если бы король, отказав ему, тем самым ясно дал ему понять: *«Я запрещаю тебе побеждать»*; если бы, воспользовавшись этим пагубным промедлением, этой непоследовательностью нашей политики, вернее, этой упорной доверчивостью к тирании, лига тиранов нанесла смертельные удары нашей свободе, можно ли было бы сказать, что король оказал сопротивление в соответствии с Конституцией, что он выполнил то, что требует Конституция для обороны государства, что он совершил тот формальный акт, который она ему предписывает?

Вы вздрогнули, господа...

Разрешите мне продолжить рассуждения, исходя из этого мучительного предположения. Я преувеличил некоторые факты, я даже сейчас упомяну о таких, каких, надеюсь, никогда не будет, чтобы устранить всякий предлог для применений чисто гипотетических. Но мне необходимо довести мысль до конца, чтобы показать истину без покровов. *(Горячие аплодисменты слева и на трибунах.)*

Если бы результатом только что описанного мною поведения было то, что Франция была бы залита кровью, что чужеземцы господствовали бы в ней, что Конституция была бы подорвана, что наступила бы контрреволюция, а король говорил бы вам в свое оправдание:

*«Верно, что враги, терзающие Францию, уверяют, что целью их действий было только восстановить мою власть, которую они предполагают уничтоженной, отомстить за мое достоинство, которое они считают поруганным, вернуть мне мои королевские права, которые они считают ущемленными или утраченными; но я доказал, что я не соучастник их, я повиновался Конституции, повелевающей мне воспротивиться формальным актом их предприятиям, я отправил армии в поход. Правда, эти армии были слишком слабы, но Конституция не указывает размера сил, какие я должен был предоставить им; правда, я их собрал слишком поздно, но Конституция не указывает времени, к которому я должен был их собрать; правда, резервные военные лагеря могли бы им оказать поддержку, но Конституция не обязывает меня формировать резервные военные лагеря. Правда, что, когда генералы победоносно наступали на неприятельской территории, я им приказывал остановиться; но Конституция не предписывает мне одерживать победы; она даже запрещает мне завоевания. Верно, что пытались*

деорганизовать армии посредством массовых одновременных отставок офицеров и что я не приложил никаких усилий к тому, чтобы остановить поток этих отставок; но в Конституции не предусмотрено, что мне следует делать при подобных проступках. Верно, что мои министры постоянно обманывали Национальное собрание относительно численности, расположения войск и их снабжения; что я оставлял возможно дольше на их постах тех, кто мешал работе конституционного правительства, и как можно меньше тех, кто старался сделать ее энергичной; но по Конституции их назначение зависит только от моей воли, и она нигде не требует, чтобы я отдавал предпочтение патриотам и прогонял контрреволюционеров.

Верно, что Национальное собрание издало полезные и даже необходимые декреты и что я отказался их санкционировать, но я имел на это право. Это право священное, так как оно дано мне Конституцией. Наконец, верно и то, что совершается контрреволюция, что деспотизм вскоре вложит обратно в мои руки свой железный скипетр, что я вас раздавлю им, что вы будете пресмыкаться, что я вас накажу за наглость желать быть свободными. Но я делал все то, что мне предписывает Конституция. От меня не исходил ни один акт, который Конституция осуждает. Стало быть, нельзя сомневаться в моей верности ей, в моем рвении в деле ее защиты». (*Двойной взрыв аплодисментов.*)

Если, говорю я, случилось бы так, чтобы среди бедствий пагубной войны, среди смут контрреволюционного потрясения король французов держал бы перед ними такие насмешливые речи; если бы случилось так, что он говорил бы им о своей любви к Конституции со столь оскорбительной иронией, разве не были бы они вправе ответить ему:

«О король, Вы, полагавший, вероятно, вместе с тираном Лисандром \*, что истина не лучше лжи и что надо тешить людей присягами, как детей тешат игрой в бабки, вы, разыгрывавший любовь к законам лишь для того, чтобы достичь могущества, которое позволит Вам пренебрегать ими; любовь к Конституции лишь для того, чтобы она не лишила Вас престола, на котором вы хотели остаться, чтобы ее уничтожить; любовь к нации лишь для того, чтобы обеспечить успех Ваших коварных замыслов, внушая ей доверие, — неужели, король, Вы думаете обмануть нас сегодня лицемерными заявлениями и ввести нас в заблуждение относительно причин наших несчастий, обмануть ухищрениями Ваших оправданий и дерзостью Ваших софизмов?

Разве это означало защищать нас, когда против иностранных солдат посылали силы, недостаточность коих не оставляла места даже для сомнения в их поражении? Разве это означало защищать нас, когда отвергали проекты, направленные к укреплению королевства внутри страны, или начинали готовиться к сопротивлению тогда, когда страна уже стала бы добычей тиранов? Разве это озна-

чало защищать нас, когда выбирали генералов, которые сами нападали на Конституцию, или сковывали мужество тех, кто ей служил? Разве это означало защищать нас — постоянно парализовать управление путем дезорганизации министерства? Для чего предоставляет Вам Конституция выбор министров — для нашего счастья или для нашей гибели? Для чего она поставила Вас во главе армии — для нашей славы или для нашего позора? Наконец, разве для того дала она Вам право санкций, цивильный лист и столько прерогатив, чтобы конституционным путем погубить и Конституцию и государство? Нет и нет; человек, которого не могло тронуть великодушие французов, человек, которого могла волновать лишь любовь к деспотизму, Вы не выполнили требований Конституции. Она, быть может, низвергнута, но Вам не придется пожинать плоды Вашего клятвopеступления. Вы не воспротивились формальным актом тем победам, которые от Вашего имени одерживали над свободой, но Вам не придется собирать плоды этих презренных побед. Вы теперь ничто для этой Конституции (*аплодисменты с трибун*), для этой Конституции, которую Вы столь недостойным образом нарушали, для этого народа, который Вы столь подло предавали». (*Горячие аплодисменты слева и с трибун.*)

Эта речь — чудо сочетания правды и искусства, страсти и тактики. Построенная Верньо гипотеза столь во многом совпадает с реальностью, что удар этой великолепной обвинительной речи обрушивается всей своей тяжестью на короля, лишь чуть-чуть смягченный и как бы отведенный некой последней и почти неосуществимой надеждой. И все же, усиливая некоторые черты, говоря так, как если бы конституция уже погибла и Франция была уже захвачена и залита кровью, идя дальше реального положения вещей на тот день, Верньо, казалось, говорил королю: «То, что я говорю, осуществится в отношении Вас полностью и окончательно лишь в том случае, если Вы позволите кризису развиваться и далее, если Вы не сойдете со все более скользких путей измены».

Эта речь Верньо обрушивается на короля, как ужасная молния, но, пронесясь вокруг него, она не поражает его насмерть; она дает ему некую последнюю передышку. Я не знаю ничего более прекрасного, более волнующего, чем этот удар, прямой, неистовый и в то же время сдерживаемый. Величайшее искусство и высокое вдохновение оратора сказываются, да простят мне такую подробность, даже в грамматическом построении речи.

Одна фраза несет в себе, подобно огромной туче, раскаты грома и сверканье молний. Она вся целиком связана с первыми словами,

\* Лисандр (ум. в 395 г. до н. э.) — спартанский полководец, одержал победу над афинянами у мыса Нотий (407 г. до н. э.). Плутарх говорит, что на войне он шел к цели

большой частью путем обмана, считая, что по самой природе своей правда не лучше лжи. «Где львиная шкура коротка, там надо подшить лисьей», — говорил он.

обозначающими гипотезу «Если бы таков был результат», и эти первые слова гипотезы вновь появляются перед грозной заключительной анафемой. Таким образом, Собрание не может ни на минуту забыть, что, как ни близко к действительности, как ни чудовищно правдоподобно предположение оратора, оно остается все же в какой-то мере предположением. И все же развития этой гипотезы столь обильны и столь широки, обладают такой непосредственной силой воздействия, что уже не знаешь, не слилась ли гипотеза с действительностью, подобно тому как в какой-то момент притворное безумие Гамлета уже трудно отличить от подлинного безумия. Я напрасно только что извинялся в том, что привлек внимание к этому удивительному и в данном случае почти магическому искусству. Ибо мне нравится, что молния, осветившая наконец королевское коварство, обладает такою ослепительной красотой и что в эту минуту обостренной прозорливости пламенный взор Революции был взглядом гения.

По существу, вопрос был поставлен ясно. Если король не защищает всерьез, искренне свободу и отечество, он рассматривается, согласно конституции, как отрекшийся от престола. А из всех известных фактов вытекает, что король не защищает искренне и так, как их следует защищать, отечество и свободу.

Итак, лишение короля престола неминуемо, разве что он, совершив резкий поворот или проявив в последний момент конституционную добрую волю, от которой его отвращало его окружение, не обезоружит конституцию, уже готовую нанести удар. Следовательно, если не произойдет некоего, почти чудесного обращения Людовика XVI, то это конец его царствования, конец королевской власти вообще. Однако Верньо, как великие ораторы, наделенные воображением, надеется, по-видимому, на то, что ослепительная и грозная сила его слов, поддержанных манифестацией Собрания, донесет до короля спасительное и решающее предостережение. Он следующим образом сформулировал свое заключение:

«Я предлагаю декретировать:

1. Что отечество в опасности, и относительно формы объявления отечества в опасности я отсылаю к проекту чрезвычайной Комиссии двенадцати.

2. Что министры будут нести ответственность за все внутренние беспорядки, поводом для которых послужила бы религия.

3. Что они несут ответственность за всякое вторжение на нашу территорию, которое произойдет вследствие отсутствия мер предосторожности, принятых для своевременной замены того военного лагеря, формирование которого вы декретировали.

Я предлагаю вам также декретировать, что королю будет направлено послание в указанном мною духе.

Что будет составлено обращение к французам, призывающее их к единению и принятию мер, требуемых обстоятельствами.

Что вы направитесь в полном составе на праздник Федерации 14 июля и повторите там вашу присягу, принесенную 14 января.

Что король будет приглашен присутствовать там для принесения той же присяги.

Наконец, что копия послания королю, обращение к французам и декрет, который будет принят в заключение этой дискуссии, будут разосланы с чрезвычайными курьерами по всем 83 департаментам».

Ему ответили продолжительными одобрительными возгласами. А когда умеренный Матьё Дюма ответил на речь Верньо не без таланта и мужества, Собрание, все еще взволнованное великолепной и искусной речью оратора-жирондиста, отказало в напечатании речи Дюма. Все это произошло спустя пять дней после выступления Лафайета. Он определенно проиграл партию.

Любопытное и драматическое обстоятельство! В тот самый день, когда Верньо обрушил на дворец Тюильри поток молний, которые должны были пронзить его со всех сторон, подобно огненным мечам, Мария Антуанетта послала Ферзену записку, исполненную надежды:

«Я получила Ваше письмо от 25 числа, № 11. Оно очень тронуло меня. Наше положение ужасно, но Вы не должны чрезмерно тревожиться: *я бодра духом и чувствую в себе что-то, что говорит мне: скоро мы будем счастливы и спасены.* Одна эта мысль меня поддерживает. Человек, которого я посылаю, направляется к г-ну де Мерси; я пишу ему очень резко, чтобы заставить наконец заговорить. Действуйте так, чтобы произвести здесь впечатление; время не терпит, и дальше ждать невозможно. Я посылаю незаполненные бланки с подписью, о которых Вы просили.

Прощайте, когда же мы увидимся спокойно?»

Несомненно, в этот самый вечер 3 июля она сказала мадам Кампан, глядя в окно на ясную тихую ночь: «Скоро, свободная и радостная, я буду созерцать мягкое сияние этой луны»<sup>27</sup>.

Откуда шла к ней эта надежда в тот трагический час, когда вокруг нее гремели раскаты грома Революции, когда враждебный гул улицы стихал лишь ненадолго, чтобы громче звучали слова трибунов? Она ждала спасения от манифеста союзников, от предстоящего рейда герцога Брауншвейгского. И в Тюильрийском дворце, мало-помалу превращающемся в крепость, король и королева ждали появления чужеземного избавителя. Мария Антуанетта уже видела себя стоящей у входа во дворец, по ступеням которого поднимаются короли и генералы.

27. Мадам Кампан (1752—1822) — лектриса дочерей Людовика XV в 1767 г., затем первая камеристка Марии Антуанетты, при

которой она состояла до 10 августа. См.: Madame C a m p a n. Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette.



## ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ

4 июля Собрание одобряет окончательно процедуру объявления «отечества в опасности». Это не только призыв к энергии нации и революционной преданности, это также организация обороны: «Национальное собрание, принимая во внимание, что непрестанные усилия врагов порядка и возбуждение всякого рода смут в различных частях государства в момент, когда нация во имя сохранения своей свободы ведет войну против иностранных держав, могут представлять опасность для общественных интересов и породить мысль, что успех нашего политического возрождения ненадежен;

принимая во внимание, что долг его предупредить такую возможность и путем твердых, разумных и регулярных мер предотвратить подобное смятение, столь же вредное для свободы и граждан, как и сама опасность;

желая, чтобы в настоящее время надзор был общим, исполнение более активным и, что особенно важно, чтобы меч закона неизменно угрожал тем, кто по преступной бездеятельности, из-за коварных замыслов или дерзким преступным поведением попытались бы расстроить стройный порядок государства;

убежденное в том, что, резервируя за собой право объявления об опасности, оно отдаляет ее и возвращает спокойствие в души честных граждан;

помня свою клятву *жить свободными или умереть и охранять Конституцию*, сильное сознанием своих обязанностей и воли народа, для которого оно существует, Национальное собрание декретирует неотложность вопроса.

Национальное собрание, заслушав доклад своей Комиссии двенадцати и приняв решение о неотложности вопроса, декретирует нижеследующее:

*Статья 1.* Если внутренняя или внешняя безопасность государства окажется под угрозой и Законодательное собрание сочтет необходимым принять чрезвычайные меры, оно объявит об этом актом Законодательного корпуса, составленным в следующих словах: *Граждане, отечество в опасности.*

*Статья 2.* Немедленно по опубликовании этой декларации советы департаментов и дистриктов, а равно и генеральные советы коммун соберутся, чтобы, заседая непрерывно, осуществлять надзор. С этого момента ни одно общественное должностное лицо не должно покидать своего поста или находиться вдали от него.

*Статья 3.* Все граждане, способные носить оружие и уже служившие в национальной гвардии, будут немедленно призваны на действительную военную службу.

*Статья 4.* Каждый гражданин обязан сообщить своему муниципалитету о количестве и виде имеющегося у него оружия и боеприпасов. Отказ от такой декларации или ложная декларация, которая будет изобличена и доказана, будут караться чрезвычайными мерами поддержания общественного порядка, а именно: в первом случае — тюремным заключением сроком не менее двух месяцев и не более одного года, а во втором случае — тюремным заключением сроком не менее одного года и не более двух лет.

*Статья 5.* Законодательный корпус определит, какое число национальных гвардейцев должен выставить каждый департамент.

*Статья 6.* Директории департаментов произведут разверстку этого числа по дистриктам, а дистрикты — по кантонам пропорционально численности национальных гвардейцев в каждом кантоне.

*Статья 7.* Спустя три дня после опубликования постановления директории национальные гвардейцы соберутся по кантонам, и под наблюдением муниципалитета административного центра кантона они выберут из своей среды то число людей, которое кантон обязан выставить.

*Статья 8.* Граждане, которые будут удостоены чести выступить первыми на защиту отечества, находящегося в опасности, через три дня отправятся в административный центр своего дистрикта. Там из них сформируют роты в присутствии комиссара администрации дистрикта, в соответствии с законом от 4 августа 1791 г.<sup>1</sup>; они будут расквартированы согласно военному положению и будут пребывать в состоянии готовности выступить по первому требованию

1. Речь идет о декрете, касающемся формирования соединенной национальных гвардейцев, предназна-

ченных для защиты границ (4 августа 1791 г.).

*Статья 9.* Капитаны будут командовать поочередно, по неделям национальными гвардейцами, выбранными и собранными в административном центре дистрикта.

*Статья 10.* Когда новые роты национальных гвардейцев каждого департамента достигнут достаточного числа, чтобы сформировать батальон, они соберутся в местах, которые будут им указаны исполнительной властью, и волонтеры изберут там свой штаб.

*Статья 11.* Им будет установлено такое же жалованье, как и другим национальным волонтерам; оно будет выплачиваться им со дня их сбора в административном центре кантона.

*Статья 12.* Национальное оружие будет выдано в административных центрах кантонов национальным гвардейцам, выбранным для формирования новых батальонов добровольцев. *Национальное собрание призывает всех граждан добровольно доверить на время опасности хранящееся у них оружие тем, на кого они возложат обязанность защищать их.*

*Статья 13.* Немедленно после опубликования настоящего декрета директория каждого дистрикта позаботится о приобретении тысячи боевых патронов военного калибра, они будут сохранять их в сухом и безопасном месте, с тем чтобы распределить их между волонтерами, когда они сочтут это необходимым. Исполнительная власть будет обязана распорядиться о предоставлении департаментам материалов, необходимых для изготовления патронов.

*Статья 14.* Жалованье будет выплачиваться волонтерам по ведомостям, составляемым директориями дистриктов, по предписанию директорий департаментов, и квитанции будут приниматься национальным казначейством как наличные деньги.

*Статья 15.* Добровольцы смогут отбывать свою службу, не нося национальной формы.

*Статья 16.* Каждый человек, проживающий во Франции или путешествующий по ней, обязан носить национальную кокарду; это постановление не распространяется на послов и других аккредитованных представителей иностранных держав.

*Статья 17.* Всякое лицо, носящее мятежные эмблемы, будет привлекаться к ответственности перед обычными судами, и в случае, если будет доказано, что оно действовало так преднамеренно, оно будет приговорено к смертной казни. Каждый гражданин обязан задержать или немедленно разоблачить такое лицо, в противном случае он будет считаться сообщником. Любая кокарда, кроме национальной трехцветной, является мятежной эмблемой.

*Статья 18.* Объявление отечества в опасности не может быть произведено на том же заседании, на котором оно было предложено. И прежде всего должно быть заслушано министерство относительно положения королевства.

*Статья 19.* Когда угрожающая отечеству опасность прекратится, Национальное собрание объявит об этом актом Законодательного

тельного корпуса, составленным в следующих выражениях: *Граждане, отечеству более не угрожает опасность».*

Итак, национальное сознание не полагается ни на инстинкт самосохранения отдельных личностей, ни на стихийные проявления гнева или страха. Оно зависит только от самого себя: оно руководится самим собой в своем единстве. Опасность будет угрожать лишь с той минуты, когда общее сознание отечества признает ее и объявит о ней. Таким образом каждое индивидуальное сознание, вплоть до примитивных сил инстинкта самосохранения, охватывается национальным сознанием. И сила порядка еще увеличивает силу возбуждения. Ибо, когда каждая душа отвечает на сигнал, возвещающий о том, что свободе угрожает опасность, она знает, что она действует в унисон с самим отечеством. Это само отечество, это общая свобода содрогается и трепещет в ней<sup>2</sup>.

Революция, которой угрожает опасность, действует вначале не путем принуждений, она вызывает к добровольному проявлению преданности граждан. Честь выступить первыми будет предоставлена добровольцам, и граждане, у которых есть оружие, добровольно отдадут его на время, пока будет грозить опасность. Недостает форменной одежды? Не важно: солдаты Революции не нуждаются в форме, чтобы выступить против грозящей опасности. Они сражаются как граждане, они защищают свою гражданскую свободу, так почему им не носить перед лицом врага своей гражданской одежды? И повсюду именно гражданские власти, именно избранные граждане в дистрикте, в департаменте осуществляют надзор за формированием, экипировкой, вооружением революционных рот, за выплатой им жалованья.

Какое глубокое ощущение свободы и потребность героизма пробуждает это во всех сердцах! Несколько дней спустя, 11 июля, по докладу, с которым выступил Эро де Сешель от имени чрезвычайной Комиссии двенадцати, Собрание провозгласило отечество в опасности. Люди осторожные или робкие, умеренные, говорили: Зачем? Разве таким образом вы увеличите реальную военную силу Франции? Возбуждая до крайности тревожные настроения, не разобете ли вы нацию на бесчисленное множество мелких групп, которые будут озабочены каждая своим собственным спасением? Эро де Сешель отвечал, указывая на неприятельские армии, дви-

2. Необходимо уточнить пределы этого декрета. Он предусматривал фактически новый набор волонтеров, но в той же форме, что и в 1791 г. Лишь робкий шаг был сделан в сторону демократизации: волонтерам разрешалось служить без обязательного ношения национальной формы. Законодательное собрание оставалось в плену пред-

ставлений прошлого: оно только копирует призыв, с которым Учредительное собрание годом раньше обратилось к буржуазной национальной гвардии. Цензовое избирательное право еще не смеялось всеобщим, и буржуазная вооруженная сила еще не уступила место вооруженной нации.

жущиеся к нашим границам. Он заявил, что от Законодательного корпуса должна исходить «электрическая искра», которая возбудит во всей стране внезапную энергию. И он отмечал исключительный, уникальный характер начинавшейся борьбы. Это впервые в истории мира весь народ поднялся на борьбу за свою свободу. Но это также и в последний раз, ибо эта борьба принесет свободу всем народам. И тогда наступит всеобщий и вечный мир.

«Наконец, господа, надо глубоко усвоить одно решающее соображение. А именно что война, которую мы предприняли, ничуть не похожа на те обычные войны, которые столько раз опустошали и терзали нашу планету: это война во имя свободы, равенства, Конституции, против коалиции держав, тем более ожесточенно добивающихся изменения французской Конституции, что они опасаются, как бы наша философия и свет наших принципов не воцарились у них. Следовательно, настоящая война — последняя из всех войн между ними и нами... Итак, представился единственный случай созвать всех братьев, которых дала нам свобода; впредь такой случай уже больше не представится».

Об этой чрезвычайной войне надо было торжественно возвести посредством важной и громогласной декларации, подобно тому как пушечным выстрелом торжественно возвещают о важном событии. Последняя из всех войн!

Возвышенная иллюзия, еще более возбуждавшая мужество, поскольку она придавала этой войне, которая должна была положить конец всем войнам, невинность мира. Как будто на металле штыков и пик загорался отблеск свежей и чистой зари свободы и мира.

Это был большой удар по внешнему врагу. Это был также большой удар по королевской власти. Ибо если отечество в опасности, то кто же вызвал эту опасность? И если отечество в опасности, то разве не будет величайшей опасностью оставить во главе нации и армий человека, который не хочет свободы и ставит интересы королевской власти выше интересов отечества? Эро де Сешель сказал в заключение:

*«Отечество в опасности, потому что Конституции грозит опасность».*

Итак, вестовая пушка нацелена на Тюильри. В конце заседания 11 июля Собрание в волнующем молчании приняло следующую прекрасную и простую формулу:

«Национальное собрание, заслушав министров и выполнив формальности, предписанные законом от 4—5 числа сего месяца, декретировало следующий акт Законодательного корпуса:

#### *Акт Законодательного корпуса*

Многочисленные войска движутся к нашим границам. Все, кто ненавидит свободу, вооружаются против нашей Конституции.

*Граждане, отечество в опасности!*

Пусть те, кто хочет удостоиться чести выступить первыми на защиту того, что им всего дороже, неизменно помнят, что они французы и что они свободны; что их сограждане охраняют в их семейных очагах безопасность личности и безопасность собственности; что должностные лица народа осуществляют бдительный надзор; что все, исполненные спокойного мужества, этого атрибута подлинной силы, ждут сигнала, предусмотренного законом, пусть они неизменно помнят это, и *отечество будет спасено*.

Другой страшной силы удар был нанесен за несколько дней до этого умеренным, защитникам монархии. Собрание декретировало гласность заседаний административных властей<sup>3</sup>. Таким образом, директория Парижского департамента, ставшая очагом фейянского духа и ретроградного модерантизма, должна была оказаться в окружении сил народа. Итак, все ускоряло движение Революции. Все приближало решающую схватку между Революцией и королевской властью.

## ПОЦЕЛУЙ ЛАМУРЕТА И ОТСТРАНЕНИЕ ПЕТИОНА ОТ ДОЛЖНОСТИ

Какое значение в этих условиях могло иметь сентиментальное, не без задней мысли изливание лионского епископа Ламурета, который 7 июля призвал все партии примириться и братски обняться?<sup>4</sup> Политическая формула предлагаемого соглашения была обманчива:

«Одна часть Собрания приписывает другой мятежный замысел низвержения монархии и установления республики. А другая часть приписывает первой преступное намерение уничтожить конституционное равенство и стремление учредить две палаты. Таков губительный источник разлада, который распространяется по всей стране и поддерживает преступные надежды тех, кто затевает контрреволюцию. *Давайте же, господа, поразим наших общим проклятием и последней и нерушимой присягой, поразим и республику и две палаты. (Единодушные аплодисменты.)*»

И вся палата встала, чтобы официально засвидетельствовать,

3. Как только война была объявлена, гласность стала представляться необходимым средством осуществления революционной бдительности. 1 июля 1792 г., чтобы заставить административные органы «проявлять больше зрелости в своих обсуждениях и быстрее отправлять дела» и дать народу возможность осуществления своего права «самоу надзирать за поведением администраторов», За-

конодательное собрание декретировало гласность заседаний административных органов.

4. «Archives parlementaires», XLVI, 211; «Moniteur», XIII, 69. Ламурет (1742—1794) — главный викарый в Аррасе, конституционный епископ в департаменте Рона и Луара в 1791 г., депутат Законодательного собрания, а затем Конвента.

что она «отвергает и ненавидит одинаково и республику и две палаты!» О, тщета людских речей и сентиментальных ухищрений перед лицом великой силы событий! Ненавидеть республику! Поразить республику! Спустя три месяца эта единодушно ненавидимая республика, эта единодушно отвергнутая республика возвышалась над миром, наполняя страстью сердца и метала молнии.

Но когда Ламурет предлагал свою формулу равновесия, речь шла в действительности вовсе не об этом. Дело было вовсе не в том, что из предубеждения и духа системы одни хотели двухпалатный парламент, а другие — республику. Вопрос заключался в том, готовы ли для спасения королевской власти подвергнуть опасности Революцию или же для спасения Революции покончить с королевской властью. На следующий день люди Революции, придя в себя после растрогавшего и захватившего их врасплох поцелуя Ламурета, высмеивали этот пустой спектакль и это «примирение по-нормандски» \*.

Газета Прюдома напомнила о восточной притче персидского мудреца Саади:

«Однажды Ариман, или дух зла, замечая, что просвещенные люди покидают его алтари, поспешил найти Ормузда, или духа добра, и сказал ему: Брат, уже давно мы с тобою в разладе. Давай, помиримся, и пусть у нас обоих будет одна общая молельня. — Никогда, — ответил ему благоразумный Ормузд. — Что стало бы с несчастными людьми, если бы они не могли больше отличить добро от зла?..»

Революционный поток не был остановлен ни на один день.

И какое значение в этих условиях могло иметь то, что директория Парижского департамента ожесточенно добивалась отрешения от занимаемых должностей Петиона и Манюэля? Вызванное инцидентами 20 июня первое движение сочувствия королю уже слабело. Предместья посылали многочисленные адреса в защиту Петиона, виновного, как он сам говорил, лишь в том, что он не допустил пролития крови. Министры, сознавая опасность, не решались занять определенную позицию.

Однако король 11 июля подтвердил постановление директории. Но Собрание 13 июля по докладу его Комиссии двенадцати отменило это отрешение от должности, и популярность мэра Парижа еще более выросла в результате событий 20 июня. Самое важное, он остался в ратуше, там он сможет еще помочь Революции или по крайней мере вовремя закрыть глаза на ее приготовления и ее действия.

В это же время исполнительная власть находилась в состоянии глубокого кризиса и разложения. Министр юстиции Дюрантон, принуждаемый и перепуганный, еще 3 июля подал в отставку.

8 июля его сменил г-н Жоли. Но 10 июля все министры: Террье, Спичион Шамбона, Жоли, Лажар и Больё, — вообразив в своем наивном самонамении, что они произведут большое впечатление, заявили Собранию, что при таком состоянии общей анархии они не могут больше нести ответственности за ход дел. Одновременно они послали королю письмо с заявлением о своей коллективной отставке.

Этот жалкий, рассчитанный бунт чиновников-фейянов оставил Собрание равнодушным, но еще более ослабил позиции короля. Уж если он не может больше поставлять министров для обеспечения действия конституции, то на что же он годен?

### АДРЕС МАРСЕЛЯ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ФЕДЕРАЦИИ

Однако, по мере того как вскипал поток и приближалась развязка, партии, как бы страшась неисчислимых последствий предчувствуемого ими потрясения, все еще колебались, откладывали решение, старались смягчить его. Когда 12 июля в Законодательном собрании был зачитан откровенно и резко республиканский адрес генерального совета коммуны Марселя и ее мэра Мурайя, заявлявших, что, сохранив королевскую власть, «учредители ничего не учредили», спрашивавших, почему некий привилегированный род присвоил себе право царствовать во Франции, и призывавших законодателей «вырвать последние корни» тирании, то есть саму королевскую власть, и, во всяком случае, всякое право *вето*, то Собрание почти единодушно запротестовало. Одни негодовали, другие порицали. Даже волонтеры, прибывавшие в Париж для участия в празднестве 14 июля, «в Федерации 1792 г.», прежде чем отправиться к границам сражаться с неприятелем, выслушали от самих якобинцев советы быть благоразумными.

В несколько помпезной речи «Привет защитникам свободы, привет отважным марсельцам» Робеспьер остерегал их, чтобы они не позволили обмануть себя на церемонии 14 июля лживыми обещаниями и улыбками королевской власти, но вместе с тем он напоминал им — в выражениях, в которых, несмотря на их рассчитанную резкость, можно было усмотреть совет соблюдать умеренность, — что прежде всего следует соблюдать и охранять конституцию. Даже в день 14 июля на Марсовом поле левые партии тщательно избегали всякого сколько-нибудь острого инцидента, всякой сколько-нибудь резкой манифестации. Там не раздалось ни одного враждебного возгласа ни против короля, ни против королевы.

Федератов распределили по батальонам различных секций; таким образом, вокруг них нельзя было создать никакого движе-

\* Притворное примирение. — Прим. ред.

ния, и организаторы праздника уберегли даже короля от всякого неприятного выступления.

Первоначально предполагалось, что он подожжет генеалогическое древо эмигрантов, но его освободили от этой церемонии. Праздник был довольно красивым, светлым, исполненным томления, проникнутым смутными намеками, неопределенными ожиданиями, умеряемыми страхами и затаенной ненавистью.

Подобно тому как якобинцы, казалось, боялись решающего штурма или по крайней мере откладывали его, так и у короля и королевы не было другой политики, как ожидание прихода иностранных армий. У них не было никаких иллюзий относительно поцелуя Ламурета. Мария Антуанетта писала 7 июля Ферзену.

*(Клером)* «Несколько дней тому назад я Вам сообщила, в каком положении находится Ваш актив. Вот дополнительные сведения, которые я получила сегодня утром от Вашего банкира из Лондона».

*(Шифром)* «Различные партии Национального собрания сегодня объединились; это объединение не может быть искренним со стороны якобинцев; они притворяются, чтобы скрыть какой-то замысел. Один из замыслов, которые можно у них предполагать, заключается в том, чтобы заставить короля просить о прекращении военных действий и поручить ему вести переговоры о мире. Следует предупредить, что любой официальный демарш на сей предмет не будет выражением воли короля; что, если в связи с обстоятельствами ему понадобится выразить свою волю, он сделает это через посредство г-на де Бретей».

Странная химера! Она все еще воображает, что революционная Франция боится и стремится вступить в переговоры, даже при посредничестве короля. Значит, необходимо одно: уклониться от всяких переговоров и всадить в самое сердце Революции меч Пруссии и Австрии.

Она отвергает также комбинации фейянов, которые хотели увести короля из Парижа, окружить его войсками Лафайета, верными или считавшимися таковыми, и затем диктовать свою волю якобинцам.

## ЛАФАЙЕТ И ПОХИЩЕНИЕ КОРОЛЯ

Этот план был абсурдным, ибо, если бы эти «конституционные» войска не согласовали своих действий с усилиями иностранных армий, они ничего не могли бы сделать против революционной Франции, разве что вызвать в оказавшемся под угрозой Париже взрыв страшной ярости. А если бы эти роялистские войска соединились, что представляется неизбежным, с иностранными армиями,

они лишь продолжили бы дело эмиграции. Лафайет был так сильно возбужден против «мятежников» и так раздражен, он чувствовал себя таким потерянным и лишившимся всякого влияния в результате их победы, что не побоялся предложить двору этот безрассудный план. Лалли-Толлаццаль писал королю 9 июля 1792 г. следующее: «Г-н де Лафайет поручил мне предложить непосредственно Его Величеству осуществить 15-го числа сего месяца тот самый проект, который ранее он намечал на 12-е, что не может уже быть осуществлено, поскольку Его Величество обещал присутствовать на церемонии 14 июля. Его Величество, наверное, видел план проекта, посланный г-ном де Лафайетом, ибо г-н Дюпор должен был передать его г-ну де Монсьелю, чтобы показать Его Величеству. Г-н Лафайет намерен быть здесь 15 июля; он будет здесь вместе со старым генералом Люкнером. Оба недавно виделись, оба обещали друг другу это, оба одинаково настроены и согласны относительно проекта. Они предлагают, чтобы Ваше Величество открыто выехал из города в их сопровождении, сообщив об этом Национальному собранию, и направился в Компьен. Его Величество и вся королевская семья будут в одной карете. Найти сто хороших кавалеристов для эскорта будет легко. При надобности войска и часть национальной гвардии обеспечат отъезд...»

И Лалли добавляет: «Если, против всякого вероятия, Его Величество не сможет выехать из города, то ввиду столь очевидного нарушения законов *оба генерала двинутся на столицу с армией*». Да, и они прибыли бы туда на несколько часов раньше герцога Брауншвейгского. Сам Лафайет писал 8 июля: «Я расположил свою армию таким образом, чтобы лучшие эскадроны гренадеров и конная артиллерия находились под командованием М. ... в 4-й дивизии, и, если бы мое предложение было принято, я бы за два дня увел в Компьен пятнадцать эскадронов и восемь пушек, а остальные подразделения были бы размещены пошелонно с интервалами в один дневной переход; *и тот полк, который не сделал бы первого шага, пришел бы мне на помощь, если бы моим товарищам и мне пришлось сражаться*».

Стало быть, Лафайет не так уж был уверен в своей армии. Но именно для этого похода на Париж или по крайней мере для того, чтобы вблизи следить за развитием событий, Люкнер, инспирируемый Лафайетом, отступил из Бельгии на Лилль. Поистине в своем желании остановить Революцию на той точке, на которой он остановился сам, Лафайет вопреки своему искреннему патриотизму дошел почти до измены. Королева сообщила об этих проектах Ферзену и графу де Мерси. Они энергично высказались против них. Они, конечно, опасались ухудшенного издания Вареннского дела. И потом, с их точки зрения, король в руках Лафайета — это означало король все еще в руках Революции. Ждать в Париже и не рассчитывать ни на каких избавителей, кроме иностранных держав, — таков лозунг.

10 июля Ферзен писал Марии Антуанетте: «Ваше мужество восхитительно, и твердость Вашего супруга производит сильное впечатление. Надо сохранить это мужество и эту твердость, чтобы воспротивиться всякой попытке убедить Вас покинуть Париж. Оставаться в этом городе очень выгодно. Однако я вполне согласен с мнением г-на де Мерси относительно того единственного случая, когда следовало бы его покинуть. Но прежде чем предпринять такую попытку, надо очень тщательно проверить, можно ли рассчитывать на мужество и верность тех, кто должен обеспечить Ваш отъезд... Ибо, если б он не удался, вы бы погибли без всяких надежд, и я не могу думать об этом без содрогания. Стало быть, на такую попытку нельзя идти легкомысленно, не будучи уверенным в успехе. *Если Вы ее предпримете, ни в коем случае не обращайтесь к Лафайету, а к соседним департаментам...*»

11 июля Мария Антуанетта писала Ферзену (шифром): «Конституционалисты, объединившись с Лафайетом и Люкнером, хотят увезти короля в Компьен на следующий день после Федерации [праздника Федерации. — Ред.]; оба генерала должны для этого прибыть сюда. Король склонен принять этот проект; королева решительно возражает против него. Пока неизвестно, чем кончится эта великая затея, которую я отнюдь не одобряю. Люкнер берет командование Рейнской армией, Лафайет переходит во Фландрскую армию, Бирон и Дюмурье — в Центральную армию». (Клером): «Ваш лондонский банкир не очень аккуратен в пересылке мне фондов».

Люкнер прибыл в Париж в ночь с 13 на 14 июля и присутствовал на празднике Федерации. Лафайет не приехал. Отрицательный ответ короля, в конечном счете уступившего настояниям Марии Антуанетты, обескуражил его. И весь этот несостоявшийся заговор только еще больше скомпрометировал и короля и Лафайета. В самом деле, слух о том, что оба генерала собирались в поход на Париж, не замедлил распространиться. Газета Прюдома тайно и открыто высказывалась, говоря о Лафайете.

«Говорят, что некая высокопоставленная особа скрывалась (14 июля) за бархатным ковром с золотой бахромой, закрывавшим балкон Военной школы, и была невидимым свидетелем непрерывных проклятий, посылаемых ей кортежем в 60 тыс. человек при входе на поле Федерации, на то самое поле, на котором в предшествующие годы она чуть не задыхалась в облаках воскуриваемого ей фимиама; во всяком случае, в этот день армия Лафайета нигде не могла его найти. Но и Люкнер покинул свою армию и уланов ради того, чтобы явиться защищать своего короля в случае надобности от мятежников 14 июля».

Но гораздо более серьезным для Лафайета, чем эти странные слухи, было то, что Люкнер во время своего краткого пребывания в Париже проболтался. 17 июля на вечере у архиепископа Парижского он дал понять, что Лафайет делал ему ужасные предложения,

что он потребовал от него двинуться на Париж. По крайней мере так были поняты его слова. Жансонне, Верньо и Бриссо сообщили о них с трибуны Законодательного собрания. Эро де Сешель их подтвердил. Бюро де Пуэзи, которого Лафайет посылал к Люкнеру, был вызван к барьеру Собрания, чтобы дать объяснения относительно этих преступных замыслов. Он отрицал, чтобы когда-либо поднимался вопрос о походе армий на Париж, но, желая защитить Лафайета, он представил письма, которые в действительности подтверждали выдвинутые против него обвинения. Лафайет писал Люкнеру: «Мне нужно многое сказать Вам о политике». И всем становилось очевидно, что обе армии были втянуты в интригу, что их патриотическая и революционная сила была парализована комбинациями начальников. Люкнер написал, что его слова были неправильно поняты. Лафайет отрицал:

«Меня спрашивают, думал ли я, пытался ли я отправиться на осаду Парижа, оставить границы, чтобы двинуться на Париж. Я отвечаю двумя словами: *это неправда*. Подпись: *Лафайет*».

Это была жалкая увертка, очень близкая ко лжи. Да, Лафайет не собирался идти прямо на Париж, и не со всей своей армией. Он хотел сначала отправиться в Компьен. Но существо вопроса в том, что он действительно задумал покинуть границы и своей боевой пост, чтобы оказать услугу королевской власти. А Люкнер, опасаясь, очевидно, быть скомпрометированным, частично по крайней мере выдал тайну. Оговсюду веяло изменой. И Марат, хотя и подавленный в течение ряда месяцев сознанием своего бессилия, поднял на мгновение голову, чтобы похвастаться своей прозорливостью.

## ПОДОЗРЕНИЯ МАРАТА И СОВЕТЫ РОБЕСПЬЕРА

«Французы, — пишет он 18 июля, <sup>5</sup> — итак, вы прозрели в отношении господина Мотье [Лафайета]; несколько дней назад вы наконец увидели то, на что один прозорливый гражданин непрестанно указывал вам с начала Революции. И сегодня великий полководец, герой обоих полушарий, соперник Вашингтона, бессмертный восстановитель свободы для вас уже не более как низкий куртизан, лакей монарха, гнусный приспешник деспотизма, изменник, заговорщик... <sup>6</sup> Люкнер — такой же отъявленный из-

5. «L'Ami du peuple», 18 juillet 1792 г. Этот номер озаглавлен «Советы Друга народа федератам из департаментов». Имелся в виду «Призыв к федератам», который должен был появиться перед 14 июля, но типограф отказался его печатать, как чересчур зажигательный. Вторая часть этого тек-

ста появилась в номере от 20 июля. («Письмо Друга народа к национальным гвардейцам-федератам из 83 департаментов».)

6. См. номер «Ami du peuple» от 16 июля 1792 г., озаглавленный: «Генерал Мотье, снимающий маску перед Сенатом и выступающий в роли диктатора».

менник, достаточно подлый, чтобы прикрывать ложью свое черное вероломство; ибо он лжет, когда утверждает, что был вынужден отступить в наши пределы из-за недостатка сил для проникновения во вражескую страну, все жители которой умоляли его о помощи».

Так с каждым днем росли справедливые и ужасные подозрения народа. Поскольку король решительно отверг все проекты бегства, то решающий бой должен был завязаться в Париже, на столичной арене. Кто победит? Тюильри, с каждым днем все более превращавшийся в крепость, или предместья, возбужденные и выросшие благодаря ежедневному притоку федератов? Действительно, последние, еще 14 июля немногочисленные, теперь спешили в Париж. Как только они прибывали, на них со всех сторон сыпались советы, смутные и противоречивые, но при контакте их страсти со страстью Парижа вспыхивали грозные искры.

Марат в своем номере от 18 июля советовал им захватить короля и королевскую семью, держать их в качестве заложников и уничтожить их, если иностранные войска посмеют вступить на французскую землю. Любопытная вещь! Марата мало слушают. Казалось бы, в момент, когда общая страсть достигла накала его страсти, его воздействие на народ должно было достигнуть большой силы. Отнюдь нет: сила событий, возбуждающая умы, бесконечно превосходит воздействие любых слов.

Пронзительный и несколько тонкий голос Марата теряется в нарастающем гуле приближающейся Революции, подобно тому как резкий крик морской птицы теряется в нарастающем реве вздымающихся валов. Был даже момент, 22 июля, когда в припадке отчаяния он объявил о своем уходе: королевская власть близится к пропасти, а ему, пророку, кажется, что гибнет Революция?

«Что досталось мне за мою патриотическую преданность, кроме клеветы врагов свободы, ненависти дурных людей, травли со стороны приспешников деспотизма, потери моего состояния, бедности, проклятий от всех великих мира сего, изгнания и угрозы позорной казни? Но что мне особенно больно — это черная неблагодарность народа, трусливое отступничество патриотов. Где теперь эти лжехрабрецы, которые так афишировали в клубах свое рвение и свою смелость, которые клялись защищать меня, даже рискуя своею жизнью, пролить ради меня всю свою кровь? Они исчезли при виде опасности, у меня едва осталось лишь несколько друзей. Я с трудом могу найти себе убежище. О, священная любовь к отечеству, в какую ужасную пропашть низвергла ты меня. Но нет, я не запятнаю унылыми сетованиями чистоту принесенных мною жертв. Как ни ужасна моя судьба, я решил ее терпеть с того мгновения, как я отдался вашему делу, я решил претерпеть все несчастья, чтобы сделать вас счастливыми. В моем глубоком несчастье меня терзает одна печаль — гибель свободы. Если бы враги отечества, знающие, как я дорожу ею, и вменившие мне в преступле-

ние мое рвение, могли бы видеть мое отчаяние, они нашли бы, что боги достаточно меня покарали».

Это звучит красиво, но ведь здесь налицо возмездие за необузданную и неистовую чувствительность. Она проявлялась в бесильных приступах ярости, в отдаленных предсказаниях, в напрасных заклинаниях в часы неизбежной инертности народных масс. И, как бы сама исчерпав себя, эта чувствительность не реагирует уже на приближение великих событий, которые приводят в трепет даже обыкновенные души.

22 июля 1792 г. Марат не предвидел близкой победы народа и Революции. В первые дни августа движение секций вновь оживит эту неустойчивую и изношенную нервную натуру.

Робеспьер предчувствовал приближение широкого движения. Но крайнее возбуждение федератов пугало его. Он упорно старался удержать их в рамках законности: победоносный натиск приведет только к анархии или к диктатуре. Он хотел спасти и завершить Революцию законными средствами.

Надо было не пренебрегать средствами, предоставляемыми конституцией, а использовать их в интересах демократии и соответственно воле нации. «Федераты, — писал он в «Дефансёр де ла Конститусьон» от 15—20 июля, — прибыли в Париж в момент, когда готов вспыхнуть самый ужасный заговор против отечества. Они могут расстроить этот заговор. Для выполнения этой задачи у них нет недостатка ни в мужестве, ни в любви к отчизне, но им требуется еще вся мудрость и вся осмотрительность, необходимые, чтобы выбрать верные средства спасения свободы и избежать всех ловушек, которые враги народа будут неустанно расставлять их чистосердечию. Эмиссары и сообщники двора приложат все усилия к тому, чтобы возбудить их нетерпение и толкнуть их на крайние и опрометчивые решения. Пусть они действуют столь же осторожно, сколь и энергично. Пусть они начнут с уяснения механизма интриг. Пусть они бережно относятся к мнению слабых, пробуждая патриотизм. Пусть они вооружатся самой Конституцией для спасения свободы. Пусть принимаемые ими меры будут мудрыми, прогрессивными и смелыми.

Было бы нелепо думать, что Конституция не дает Национальному собранию средств для ее защиты, между тем очевидно, что Национальное собрание далеко не использует всех средств, предоставляемых ему Конституцией. Было бы в высшей степени неразумно в политическом отношении требовать чего-то большего, чем Конституция, когда не могут добиться осуществления самой Конституции. Было бы еще более неразумно в политическом отношении требовать, прибегая к неконституционным с виду средствам,

того, чего вправе требовать в силу формального текста самой Конституции.

Следуя этому принципу, вы привлечете на свою сторону робких и неосведомленных людей, заставите умолкнуть клеветников и разоблачите всю гнусность преступных уполномоченных, которые не перестают ссылаться на законы, попирая их ногами.

Зачем я стал бы уверять, будто надлежит прибегнуть к чрезвычайным мерам, которые разрешены во имя общественного спасения, чтобы потребовать наказания плетущего заговоры двора, генералов — изменников и мятежников, смещения контрреволюционных директорий, исполнения всех законов, которые должны защищать общественную свободу и свободу личности, когда все это — самые неукоснительные обязанности, кои Конституция возложила на наших представителей?.. Граждане федераты, сражайтесь с нашими общими врагами только мечом законов... Нетерпение и негодование могут подсказать меры, более быстрые и по видимости более сильные, интересы общественного спасения и права человека могут их узаконить. Но только законные меры признаются разумной политикой и отвечают тем обстоятельствам, в которых мы находимся.

*Не всегда надлежит делать все то, что законно... Судьба государства отнюдь не связана с той или иной личностью. Она связана с самим образом правления, со свободой политических учреждений. В обширном государстве, среди партий общественные бедствия не исчезают вместе с несколькими зловерными личностями и тирания не падает вместе с тиранами. Частичные неистовые движения часто оказываются лишь смертельными кризисами. Прежде чем отправиться в путь, надлежит знать цель, которой хочешь достигнуть, и путь, которым следует идти. Для выполнения великого дела необходим план и руководители.*

Такова за двадцать дней до 10 августа политика, рекомендуемая Робеспьером бурлящим федератам: политика выжидания, осторожности и законности. Никаких уличных выступлений, никакого восстания, никаких штурмов Тюильри, никаких посягательств на личность короля и даже никаких неконституционных акций против его конституционной власти. Спасения надлежит ожидать от энергичных действий Собрания и в отсутствие таковых — от энергичных законных действий всей Франции. Но каким образом? Робеспьер остается загадочным и неясным.

Ибо каким образом Собрание сможет принять все меры спасения, без которых свобода и отечество погибнут, если король может парализовать эти меры с помощью *вето*, предусмотренного конституцией? Каким образом сможет Собрание наказать генералов-изменников и передать командование верным генералам, если министры, назначенные королем согласно конституции, упорно покрывают измену и связывают отечество по рукам и ногам? Самым верным средством было бы, конечно, навязать королю

энергичными и твердыми действиями Собрания министров-патриотов. Но не означало ли бы это возвращения к политике Жиронды? И разве Робеспьер не заявлял неоднократно, что считает все эти министерские комбинации подозрительными и развращающими? Казалось, что между революцией улицы и политикой Жиронды среднего пути не было. Или свергнуть королевское правительство, или водворить в нем Революцию — казалось, такую дилемму повелительно ставила жизнь. Робеспьер не хочет ни того, ни другого: какой же исход оставляет он для событий?

А это обращение к законным действиям всей страны, на которые он как будто указывает в неопределенных выражениях как на последнее средство, как он его понимает? Он еще остерегается сказать это. Возможно, у него еще не было на этот счет того четкого плана, который он развернет спустя несколько дней, будучи как бы прижат событиями. Возможно также, что по привычной для него осторожности он не хотел открыться до времени и усилить волнение преждевременными указаниями.

Какая искусная расстановка! Как, отговаривая от применения революционной силы, он в то же время провозглашает ее законность, чтобы иметь возможность принять без помех ее результаты! Но, конечно, в этом не было силы импульса<sup>8</sup>.

Еще более колебалась Жиронда. После грозной, но все еще неопределенной речи Верньо 9 июля выступил Бриссо с требованием провести расследование, чтобы выяснить, действительно ли воспротивился король иностранным державам путем формального акта, требуемого конституцией. Это значило начать процедуру, ведущую к отрешению от престола. Но речь Бриссо, совпавшая по времени с поцелуем Ламурета, не возымела никакого действия.

И казалось, что Жиронда и сам Бриссо затем отступили. Штурмовать Тюильри? Но тогда Жиронда теряла руководство движением, которое перешло бы к революционным силам секций. Предоставить королю свободу действий? Но тогда отечество подвергнется нашествию и свобода будет задушена. Провозгласить в законном порядке низложение? Это значит дать сигнал к уличным волнениям. Опять навязать королю министров-патриотов? На сей раз, если король будет вынужден терпеть их, после того как он их прогнал, это было бы для него таким унижением, таким умалением его власти, что верховными властителями под именем короля были бы Жиронда и Революция. И отечество было бы спасено без великого резкого потрясения для конституции. Исходя из этого, жирондисты направили сначала свои усилия на решение вопроса о составе министерства.

8. Нам кажется, что Жорес здесь слишком суров к Робеспьеру. Если в этом тексте Робеспьер остается в границах благоразумия и законности, то не следует забы-

вать, что в это же время он представлял федератов в Якобинском клубе и сам составил петицию, которую они представили Собранию 17 июля.



И если Бриссо после своей воинственной речи 9 июля внезапно прекратил огонь, то, несомненно, потому, что коллективная отставка министров 10 июля подала Жиронде мысль, что она могла бы от имени Революции вновь овладеть министерством<sup>9</sup>.

Коллективная отставка была подана с целью доказать стране, что при том состоянии анархии, в котором оказалась Франция, конституция не может действовать. И король не замечал ушедших в отставку министров, то ли желая подчеркнуть это состояние анархии и бессилия, то ли потому, что в этот момент опасности ему нелегко было найти слуг. Несомненно, именно в это время Гюаде, Верньо и Жансонне, которых художник Боз, близкий ко двору, настойчиво просил изложить их мнение о кризисе и о средствах его преодоления, написали своего рода политическую консультацию, впрочем вполне лояльную и соответствовавшую их публичным заявлениям, которая была найдена впоследствии в железном шкафу и использована против Жиронды<sup>10</sup>.

«Выбор министров, — писали они, — был во все времена одной из важнейших функций той власти, которой облечен король: *это термометр, по которому общественное мнение всегда судило о намерениях двора*, и понятно, каков может быть сегодня эффект этого выбора, который в любое другое время вызвал бы сильнейший ропот. *Определенно патриотическое министерство явилось бы следовательно, одним из важных средств, которые король может применить для восстановления доверия*». Выступая 21 июля с трибуны Законодательного собрания Верньо от имени Комиссии двенадцати, ставшей за несколько дней до того Комиссией двадцати одного, потребовал от короля произвести выбор министров.

«Собрание заявляет королю, что спасение отечества настоятельно требует формирования нового министерства, что это обновление не может быть отсрочено, не вызвав неисчислимого роста опасностей, угрожающих свободе и Конституции, и декретирует, что настоящий декрет будет сегодня же представлен королю».

Надеялась ли Жиронда на то, что это сочетание угроз и авансов так подействует на короля, что он доверится ей и предоставит в ее распоряжение, на этот раз без всякой задней мысли, все силы Франции для спасения Революции? Надежда безрассудная, но она льстила этим отважным и изощренным людям. В этой атмосфере ожидания, в котором, несмотря на все, было мало надежды, они избегали непоправимых слов. Они старались многое смягчить, они откладывали решения.

Между тем события развивались, все нарастая, страсти накалялись, они все настоятельнее требовали решительных действий. И все возраставшее патриотическое и революционное возбуждение не позволило бы долго продолжать эти уклончивые и неопределенные комбинации. Пламенное солнце поднималось все выше и суетные тени государственных деятелей становились все короче у их ног.

## РЕВОЛЮЦИОННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

С тех пор как 11 июля Собрание провозгласило отечество в опасности, души людей пребывали в состоянии какого-то трепета и подъема. В Париже муниципалитет обнародовал в воскресенье 22 и понедельник 23 июля акт Законодательного корпуса и приступил к проведению патриотического набора граждан<sup>1</sup>. Муниципалитет придумал величественный и простой церемониал, один из тех великолепных праздников, созданий художественного гения, воспламененного свободой. Что представлял бы собою этот церемониал, не будь энтузиазма и национального пыла? Но не следует недооценивать и тех торжественных и широких форм, в которые вдохновенная и обдуманная мысль облекала стихийную мощь национального чувства. В своей бьющей через край жизни Революция обладала удивительным чувством театра. В то самое время, когда она действовала, жила, боролась, дисциплинировала толпы и воспламеняла души, она была и для себя самой и для мира величественным зрелищем, и она придавала широким народным движениям благородные очертания.

9. После того как 10 июля 1792 г. министерство ушло в отставку, оставалось добиться, чтобы Людовик XVI призвал обратно министров-жирондистов. В связи с этим начались секретные переговоры руководителей жирондистов. Король не доверил им министерство, но оставил надежду на это, чем связал им руки. «Из нападающих, — пишет Жорж Лефевр, —

они внезапно превратились в защитников престола» («La Révolution française», p. 256).

10. Верньо, Гюаде и Жансонне тайно стоворились с Людовиком XVI и 20 июля вручили ему письмо через художника Боза, связанного с Тьерри, первым камердинером короля. Верньо написал еще одно письмо 29 июля 1792 г.  
1. «Moniteur», XIII, 198.

### Прокламация

«В 7 часов утра Генеральный совет соберется в ратуше.

Все шесть легионов парижской национальной гвардии со своими знаменами построятся в 6 часов утра на Гревской площади.

Вестовая пушка артиллерийского парка у Нового моста произведет в 6 часов утра три выстрела, чтобы возвестить о прокламации, и будет повторять это каждый час до 7 часов вечера. Такие же выстрелы будут произведены из пушки Арсенала.

Во всех кварталах города ударят сбор и вооруженные граждане соберутся на своих постах.

Ровно в 8 часов два кортежа двинутся в следующем порядке:

Отряд кавалерии с трубачами, саперами, барабанщиками, музыкантами, отряд национальной гвардии, шесть орудий, трубачи.

Четыре конных муниципальных пристава с эмблемами, к которым будет подвешена цепь патриотических венков и на каждом из которых будет одна из следующих надписей: Свобода, Равенство, Конституция, Отечество, а под этими последними: Гласность, Ответственность. Эти четыре эмблемы и будут впредь носить на всех церемониях, где будет присутствовать муниципалитет.

Двенадцать муниципальных должностных лиц с шарфами через плечо, нотабли, члены Совета — все верхом.

Конный национальный гвардеец с большим трехцветным знаменем, на котором будут написаны следующие слова: *Граждане, отечество в опасности.*

Шесть орудий, второй отряд национальной гвардии, отряд кавалерии.

Обе процессии построятся в одинаковом порядке на Гревской площади и отправятся в одно и то же время в указанном направлении.

На каждой из площадей, указанных в прокламации, процессия остановится. Один из ее участников подаст народу знак соблюдать тишину, помахав трехцветным вымпелом. Прозвучит барабанная дробь, после чего муниципальное должностное лицо, стоя впереди своих коллег, громким голосом прочтет акт Законодательного корпуса, оповещающий о том, что отечество в опасности.

Процессии в том же порядке вернутся на Гревскую площадь. Два знамени с объявлением отечества в опасности будут водружены, одно над ратушей, другое — в артиллерийском парке у Нового моста и будут оставаться там до тех пор, пока Национальное собрание не объявит о том, что отечеству более не угрожает опасность.

Во время шествия музыка будет исполнять только величавые и строгие мелодии.

### Патриотический набор

На некоторых площадях будут сооружены амфитеатры, на которых будут помещены палатки, украшенные трехцветными флагами и венками из листьев дуба; на авансцене амфитеатра стол, поставленный на два барабана, будет служить столом для приема и записи граждан, которые будут являться.

Три муниципальных должностных лица, разместившись на этом амфитеатре, будут выдавать при содействии шести нотаблей записавшимся гражданам свидетельства об их приеме на военную службу; рядом с муниципальными должностными лицами будут помещены знамена округа, охраняемые национальными гвардейцами.

Волонтеры образуют у амфитеатра большой круг, внутри которого будут помещены две пушки и оркестр. Записавшиеся граждане будут спускаться в центр этого круга и останутся там до окончания церемонии; после чего муниципальные должностные лица и национальная гвардия проводят их до штаб-квартиры, откуда каждый направится на свой пост».

Это было похоже на античную постановку, которой гром пушки придавал новую мощь, а свобода, ставшая наконец достоянием всех людей, — новое величие. Революция заимствовала у Греции и Рима возвышенное искусство придавать самой опасности некую торжественную суровость и окружать самую смерть, принимаемую во имя свободы и отечества, таким энтузиазмом, что она становилась как бы высшим восторгом жизни.

Впечатление было глубоким и порыв — восхитительным. В течение нескольких дней на восьми сооруженных в Париже амфитеатрах, у палаток, увенчанных дубовыми венками, записалось 15 тыс. добровольцев<sup>2</sup>. Увы, этот чистый порыв к борьбе за свободу должен был привести в дальнейшем к военному порабощению, а под столом, на котором лежали реестры записей добровольцев, трепету общего энтузиазма вторили барабаны. Но в тот момент ничто механическое и рабское не примешивалось еще к священному порыву. Тщетно Марат, низводя великую революционную прозорливость до судорожного недоверия, язвительно заклинал добровольцев не идти к границам, прежде чем туда не будут отправлены линейные войска, национальные гвардейцы-роялисты, все вооруженные приспешники тирании. Тщетно, как рассказывает газета Прюдома, которая хотя и нападала на Марата, но часто вторила ему, как приглушенное, педантичное и многословное эхо, тщетно «некоторые граждане, чьи мотивы заслуживают уважения», зывали: «Эх, несчастные! Куда вы спешите? Подумали ли вы

2. См.: Ch.-L. Chassin et L. Henne t. Les Volontaires nationaux pendant la Révolution.

Paris, 1899—1906, 3 vol. Фактически речь идет только о парижских волонтерах.

о том, с какими командирами вам придется идти на врага? Ваши офицеры почти все дворяне. Какой-нибудь Лафайет поведет вас на бойню. Эх, да разве вы не видите, как за жалюзи Тюильрийского дворца злорадствуют и смеются над вашим благородным, но слепым рвением? Подумайте же!» «Бесполезные речи, — добавляет несколько напыщенный свидетель, — неспособные умерить общий пыл. *Наэлектризованная молодежь ничего не желала слушать*».

И она была права. Права были и революционные секции, воодушевляя всех граждан, даже не считаясь с возрастом: особенность великих событий в том и состоит, что даже дети внезапно взрослеют, а юноши мужают. Пыл преображенного детства озаряет великие надежды нации.

«Если бы я судил только по внешнему виду, — воскликнул офицер, приведший 78 юношей из секции Четырех наций, — то рост некоторых из них не допускал их приема, но я положил свою руку не на их головы, а на их сердца: они все пылали патриотизмом».

### КАМПАНИЯ ЗА НИЗЛОЖЕНИЕ КОРОЛЯ

Да, эти молодые люди были правы, не прислушиваясь к советам ложной революционной мудрости. Спеша к границе, чтобы схватиться с захватчиком, они сокрушали измену внутри страны. Ибо какой же гражданин, видя их идущими навстречу опасности, а может быть, и смерти во имя общей свободы, не поклялся в душе не допустить, чтобы они стали жертвой происков предателей и интриг «главного предателя» — короля?

Действительно, так назвал короля Дюэм, выступая 24 июля с трибуны Собрания<sup>3</sup>. Начали прибывать адреса, требовавшие низложения Людовика XVI. Когда генералы Рейнской армии Ламорльер, Бирон, Виктор Брольи и Вимиффен сообщили Собранию письмом от 25 июля, что для прикрытия границы, оказавшейся под угрозой, они были вынуждены по долгу службы затребовать отряды национальной гвардии Эльзаса; когда командующий Южной армией Монтескью прибыл лично на следующий день, чтобы доложить Собранию, что с имевшимися в его распоряжении слабыми силами он не смог помешать войскам короля Сардинии вторгнуться на французскую территорию и дойти до департамента Ардеш и до Лиона, чтобы поддержать там контрреволюционные движения, война, которая с апреля до конца июля, по-видимому, представлялась французскому народу всего лишь далеким и легким призраком, едва различимым на горизонте, внезапно обрела реальные очертания. И встал вопрос: как сражаться с иностранными тиранами под руководством короля, который желает их победы и подготавливает ее?

Первым с требованием низложения выступил с трибуны 23 июля Шудьё, решительный революционер из департамента Мен и Луа-

ра<sup>4</sup>. Это была петиция, прибывшая из Анжера и заканчивавшаяся десятью страницами подписей. Она была страшна в своей краткости. Время жирондистских фраз, угрожающих и мягкотелых, прошло.

*«Законодатели, Людовик XVI изменил нации, закону и своим присягам. Его суверен — народ. Провозгласите низложение, и Франция будет спасена».*

Это вызвало горячие аплодисменты крайне левой и трибун. Но для значительного большинства Собрания шок был еще слишком сильным. Некоторые требовали отправить Шудьё в тюрьму Аббатства. Он ответил с грубоватой гордостью: «Я хочу быть отправленным в Аббатство за такой адрес», и петиция была переслана в Комиссию двенадцати. На следующий день наступление повел Дюэм. С севера, из Валансьенна, пришли дурные вести.

«Вы приняли, — воскликнул он, — меры, необходимые для восстановления порядка, для защиты королевства. Но кому вы доверили осуществление этих мер? Исполнительной власти, главному предателю в королевстве».

Собрание привыкло таким образом к звукам набата, требовавшего низложения. Дюэм торопит Комиссию двадцати одного разоблачить наконец подлинный источник бед отечества, то есть измену короля.

Верньо, председатель этой комиссии, еще уклоняется<sup>5</sup>. Он предлагает много побочных мер, выдвигает проекты военной организации, различные предложения о коллективной ответственности и солидарности министров, чтобы выиграть время и не обвинять прямо перед Собранием короля и королевскую власть. Он с досадой отвечает Дюэму:

«Комиссия начала с представления вам мер, касающихся армии, потому что одна из причин угрожающих отечеству опасностей заключается в неудовлетворительном состоянии наших армий. *Что же касается причины, о которой говорят непрерывно, я сказал бы, пожалуйста, слишком...* (Ропот справа, горячие аплодисменты слева), то ваша чрезвычайная комиссия ею занимается, но она не может предаваться беспорядочным движениям, могущим стать источником гражданской войны».

Ясно, Жиронда все еще уклоняется от решения. Чего же она ждала? Неужто она все еще лелеяла надежду, отныне химерическую и запоздалую, решить все путем образования патриотиче-

3. Дюэм (1760—1807) — врач, мировой судья в Лилле в 1790 г., депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Нор.

4. Шудьё (1761—1833) — товарищ прокурора при президиальном суде Анжера, общественный обвинитель при суде дистрикта, депу-

тат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Мен и Луара.

5. «Moniteur», XIII, 228. Когда встал вопрос о резолюции Дюэма, Собрание, по предложению Верньо, проголосовало значительным большинством за переход к очередным делам.

ского министерства, которое исчезло бы в бездне подозрений, в которой суждено было погибнуть королевской власти, исчезло бы, так и не заполнив ее?

23 июля король назначил военного министра. Он выбрал д'Абанкура. Стало быть, он не ориентировался на Жиронду и Революцию. Но жирондисты, одно время задумавшие и проводившие политику проникновения и сотрудничества, как будто потеряли силу и энергию, необходимые для того, чтобы решительно избрать другую политику.

25 июля Дюэм, возобновляя наступление с той горячностью, которая передавалась ему от его доверителей из департамента Нор, оказавшихся под угрозой неприятелиского нашествия, вновь обвиняет короля в измене и разоблачает бессилие жирондистской системы в этот час кризиса, требующий полного обновления.

«Все, кто поддерживает достаточно регулярные связи с департаментом Нор и со всеми другими пограничными областями, вполне убеждены и готовы голову в том дать на отсечение, что двор и исполнительная власть предают нас. Между тем до сих пор не только не смеют дойти до источника зла, но еще провозглашают некую промежуточную систему, гермафродитскую систему, систему, посредством которой можно было бы овладеть исполнительной властью, хотя и не осмеливаются заявить, что собираются это сделать. Господа, мы отнюдь не можем овладеть исполнительной властью. Вам скажут, что мы дадим полномочия генералам. Мы этого не можем сделать. Их должна назначать исполнительная власть, а если глава исполнительной власти нас предает, мы должны иметь мужество изобличить его перед лицом нации и даже покарать его...

Но никак не следует тешить нас какими-то частичными мерами. Не следует окольным путем овладевать властью...»

А между тем жирондисты, по-видимому, стремились именно к такому окольному и завуалированному упразднению королевской власти, которую заменила бы фактически, если не юридически, власть Собрания или власть министров.

В тот же день, 25 июля, граждане секции Круа-Руж заявили у барьера:

«Законодатели, отечество в опасности. Примите меру, простую, легкую, осуществимую. Объявите низложение исполнительной власти, вы можете это сделать, руководствуясь Конституцией».

И трибуны приветствовали петиционеров. Секция Моконсей писала в тот же день в том же духе. Жиронда, все еще сопротивляясь, попыталась произвести последнюю диверсию. От имени Комиссии двадцати одного Гюаде предложил обратиться к королю с посланием, которое было бы последним категорическим требованием. Левая Собрания сначала встретила ироническим смехом эту новую отсрочку. Но Гюаде удалось несколькими резкими словами на короткое время воздействовать на умы: «Нация хорошо

знает, что спасение короля зависит от спасения народа, а спасение народа не зависит от спасения короля». И в заключении предлагаемого послания опять-таки шла речь о том, что король должен призвать министров-патриотов.

«Вы еще можете спасти отечество и вместе с ним Вашу корону. Отважьтесь же наконец решиться на это. Пусть имена Ваших министров, пусть облик окружающих Вас людей внушают доверие обществу! Пусть все в Ваших личных действиях, в энергии и деятельности Вашего совета возвещает о том, что нация, ее представители и Вы одушевлены единой волей, единым желанием, желанием общественного спасения.

Конечно, нация и одна сможет отстоять и сохранить свою свободу. Но она в последний раз предлагает Вам, государь, объединиться с ней ради спасения Конституции и трона».

Это был последний призыв и последняя отсрочка. После Гюаде выступил Бриссо, бесполезно и тяжеловесно. Похоже было на то, что, после того как ему удалось создать первое жирондистское министерство, он уже не способен был мечтать ни о чем ином, кроме невозможного повторения того, что было лишь переходной стадией к республике и не могло быть спасением королевской власти. С этим намерением и как бы желая склонить короля на сторону Жиронды, он переселил в консервативном духе. Он заявил, что было бы опасно провозгласить отрешение от престола в обстановке волнения умов, что оно имело бы видимость акта, продиктованного страстью и, пожалуй, незаконного, что таким образом оно предоставило бы коалиции держав опасный аргумент, а злонамеренным и недовольным лицам во Франции — предлог для протестов.

Он добавил, что, с другой стороны, обращение к стране путем созыва первичных собраний было бы опасным. Ибо кто знает, не одержал ли бы верх в условиях общей смуты аристократический дух и не оказалась ли бы новая конституция более роялистской, чем та, которую хотят уничтожить? Наконец, он дошел до того, что сказал, что нельзя трогать конституцию, пока продолжается война.

«В доме пожар. Надо сначала его потушить, а политические дискуссии лишь усилят его. Повторяю, не может быть никаких успехов в войне, если мы не будем вести ее под знаменем Конституции».

И в заключение он предложил обратиться «к французскому народу, чтобы предостеречь его против мер, которые могли бы погубить дело свободы». Его речь была покрыта аплодисментами правой и центра и вызвала крики осуждения на трибунах, которые называли его новым Барнавом. Его речь была столь неразумной в политическом отношении, столь странной, что она почти непостижима. Бриссо не мог желать сохранения status quo, то есть королевской власти с министрами — сообщниками ее измены.

Он мог желать по меньшей мере, наряду с сохранением номинальной власти короля, назначения министров, которые были бы смелыми и искренними патриотами. Но осталось ли еще какое-либо средство навязать королю этих министров-патриотов? Только одно: страх. Следовательно, надо было королю показать, что низложение неизбежно, если он не уступит. И это уже сделал Верньо.

Это только что повторил в своем проекте послания к королю Гюаде. Бриссо же, наоборот, успокаивал короля. Если низложение опасно, если призыв к первичным собраниям невозможен, если любое изменение конституции пагубно, пока идет война, король может, не опасаясь за свою корону, продолжать свою политику.

Эта речь Бриссо была самоубийством. Как ее объяснить? Неужели он был настолько заигнотизирован своей системой создания революционного министерства, что считал полезным, дабы найти путь к сердцу короля, опуститься до некоего псевдомодерантизма? Или он боялся, что низложение повлечет за собой обновление всех властей и новое Собрание не захочет, как нынешнее, мириться с растущим влиянием Жиронды? Во всяком случае, пал он низко. Единственное извинение для Бриссо, дерзко развязавшего войну, состояло в том, что он вызвал бурю, которая вырвет с корнем королевскую власть. Но сослаться на эту самую бурю, чтобы сохранить королевскую власть, значило отречься от всего, что могло оправдать воинственную затею Жиронды.

В этот день Жиронда показала меру своих возможностей. Она показала, что неспособна руководить вызванными ею великими событиями, что, способная на смелые взгляды и даже на дерзкие вылазки, она была лишена того духа последовательности, того постоянства, той широты дерзания, которые одни способны построить дух человека в унисон с революциями.

В течение почти месяца со времени речи Верньо Жиронда уже не обнаруживает, как если бы политическая мысль жирондистов вся истощилась в молниеносной вспышке красноречия, ни ясной мысли, ни твердой воли. Она довольствуется тем, что старается выиграть время. Она не знает, что сказать надвигающемуся валу, или же она глупо журит его, равно неспособная ни направить его, ни остановить.

Пусть король остается, пусть Собрание не расходится, и пусть король решится наконец призвать обратно министров-патриотов. Жиронда как бы застыла на этой мысли, с каждым днем все более абсурдной. И когда ей открывается пустота этого замысла, она даже не ищет другой комбинации. Это какое-то странное состояние политического оупения у людей столь живого ума<sup>6</sup>.

## РОБЕСПЬЕР ТРЕБУЕТ СОЗЫВА КОНВЕНТА

Тактика Жиронды и еще больше движение секций, требовавших низложения, заставили Робеспьера отрешиться от той неопределенности, в которой он пребывал еще 20 июля, и выступить с четким планом<sup>7</sup>. Он состоит прежде всего в том, что надо покончить с Законодательным собранием и созвать Национальный Конвент. Робеспьер направляет свои удары не столько против Людовика XVI, сколько против Законодательного собрания, где жирондисты, будучи хозяевами Комиссии двенадцати, занимали господствующее положение.

Он слишком осторожен, чтобы выступать против низложения. Он хорошо знает, что это желание самой активной части народа, выражаемое с каждым днем все более отчетливо. Но он так умаляет значение этого вопроса, с такою настойчивостью заявляет, что сама по себе эта мера либо не даст результатов, либо даже окажется вредной, что становится ясно, что с его стороны это была скорее уступка революционному общественному мнению, чем некий политический план.

Главное, он не хочет, чтобы после провозглашения низложения короля Законодательное собрание сохранило власть. Законодательное собрание без короля, Законодательное собрание, превратившееся в короля, представляется ему более опасным, чем жалкое сочетание Законодательного собрания с Людовиком XVI. Если король виновен, то Собрание еще более виновно, ибо

6. Жорес недостаточно подчеркивает, что в этот решающий момент жирондисты были пленниками той тайной интриги, которую они вели с королем с целью вернуться в правительство. Этим объясняется их маневр, направленный против народного движения, федератов и секций, решивших положить конец неопределенному положению: 26 июля Бриссо угрожал республиканцам мечом закона и выступил против низложения. Жирондисты, таким образом, порывали связь с революционным народом как раз в тот момент, когда он собирался дать их политике ее логическое завершение. Были еще и другие, более глубокие причины «внезапной слабости» жирондистов: эти «государственные люди» инстинктивно отшатывались от санкюлотов, охваченные страхом перед восстанием, которое могло поставить под угрозу преобладающую роль богатства, а, может

быть, даже и собственности. Жирондисты сменяли фейянов в роли, которую последние играли годом раньше.

7. Жорес забывает, что еще 11 июля Робеспьер, обращаясь к федератам с воззванием, составленным им от имени Якобинского клуба, писал: «Вы прибыли сюда отнюдь не для того, чтобы явить пустое зрелище для столицы и Франции. Ваша миссия — спасти государство...» Он советовал им также присягать только отечеству, а не королю. В связи с этим воззванием министр юстиции донес на Робеспьера государственному обвинителю. Движение секций за низложение короля последовало за этим воззванием, и оно было вызвано Робеспьером. В своей петиции от 17 июля, тоже написанной Робеспьером, федераты потребовали от Собрания временного отрешения короля от власти. [Примечание А. Матьеза.]

вовремя не оказало сопротивления и допустило возникновение «опасности для отечества». В № 11 «Дефансёр де ла Конститусьон», написанном в первые дни августа, он заявляет:

«Выявим корень зла. Многие усматривают его исключительно в том, что называют *исполнительной властью*. Они требуют или низложения, или временного отрешения короля от власти и думают, что только от этой меры зависит судьба государства. Эти люди весьма далеки от полного понимания нашего действительного положения.

Главная причина наших бед находится как в исполнительной, так и в законодательной власти, в исполнительной власти. Желающей гибели государства, и в законодательной, неспособной или не желающей спасти его... Счастье Франции действительно было в руках ее представителей... Нет такой необходимой для блага государства меры, которая не была бы признана самой Конституцией. Достаточно лишь желать ее честно истолковывать и отстаивать.

Меняйте, сколько вам угодно, главу исполнительной власти; если вы этим ограничитесь, вы ничего не сделаете для отечества. Только судьба народа-раба зависит от одной личности или одной семьи. Разве царствует Людовик XVI? Нет. Сегодня, как и всегда, и более чем когда-либо царствуют интриганы, завладевающие им по очереди. Лишенный общественного доверия, которое одно лишь составляет силу королей, он сам по себе уже ничто.

Ныне королевская власть всего лишь добыча честолюбцев, разделивших то, что от нее осталось. Ваши настоящие короли — это ваши генералы и, пожалуй, генералы объединившихся против вас деспотов; это все мошенники, заключившие союз, чтобы поработить французский народ. Низложение или временное отрешение Людовика XVI, следовательно, мера недостаточная для осушения источника наших бед. Что толку в том, что призрак, именуемый королем, исчезнет, если деспотизм останется? В чьи руки перейдет королевская власть после низложения Людовика XVI? В руки регента? Или в руки другого короля или какого-нибудь совета? Что выиграет свобода, если интрига и честолюбие будут по-прежнему держать в своих руках бразды правления? И что гарантирует мне обратное, если полномочия исполнительной власти останутся столь же обширными?

Может быть, исполнительную власть будет осуществлять Законодательное собрание? В таком смещении всех властей я вижу лишь самый невыносимый деспотизм<sup>8</sup>. Будь у деспотизма одна голова или семь голов, он все равно останется деспотизмом. Я не знаю ничего более ужасного, чем идея неограниченной власти, предоставленной многочисленному собранию, стоящему выше законов».

Итак, временное отрешение или даже низложение не имеют никакого значения и ничего не исцеляют. Они не изменяют самой

природы исполнительной власти, если сохраняется королевская власть с другим главой. А если королевское всемогущество наследует Собрание, особенно если это бездарное Собрание, доведшее отчизну до края бездны, то все погибло.

В чем же исцеление? Надо созвать первичные собрания, которые изберут Конвент, и этот Конвент переделает конституцию таким образом, чтобы установить справедливые пределы исполнительной власти и обеспечить верховную власть нации. И тут Робеспьер резко, с ненавистью отвергает возражения Бриссо против созыва первичных собраний:

«Исходя из этого, вы, пожалуй, придете к выводу, что Национальный Конвент, безусловно, необходим. Уже кое-кто прилагает все усилия к тому, чтобы заранее настроить умы против этой меры. Её боятся или по крайней мере делают вид, будто боятся, поскольку она якобы опасна для самой свободы... Но если рассмотреть выдвигаемые против этой системы возражения, то вскоре обнаруживаешь, что это просто пугала, какие обычно изобретает макиавеллизм, чтобы отвергнуть спасительные меры. Утверждают, будто в первичных собраниях будет господствовать аристократия. Кто может этому поверить, раз сам созыв этих собраний будет сигналом объявления войны аристократии? Как можно поверить, что огромное множество секций может быть соблазнено или подкуплено?.. Какая дерзость или какая косность со стороны людей, избранных нацией, отрицать и ее здравый смысл, и ее неподкупность при вынесении тех критических решений, когда речь идет о ее спасении и ее свободе?»

Сколь прискорбное зрелище для друзей отечества! Как должны злорадствовать наши чужеземные враги при виде того, как несколько интриганов, столь же вздорных, сколь честолюбивых, отталкивают всемогущую руку французского народа, явно необходимую для поддержания здания Конституции, хотя им самим грозит опасность быть раздавленными под его развалинами! Ах, поверьте, единственное, что их тревожит, — это страх потерять их постыдное влияние на общественные бедствия; это страх увидеть, как французская нация расстроит их замыслы поработить ее или предать, в осуществлении которых они уже немало преуспели!

Интриганы утверждают, что австрийцы и пруссаки будут хозяевами в первичных собраниях. Не сговорились ли они уже предать Францию армиям Австрии и Пруссии?»

8. Критика бесконтрольного осуществления исполнительной власти занимает важное место в политическом мышлении Робеспьера. Но она не соответствовала тезису, отстаиваемому в 1789 г. Сиейесом

и послужившему основой неограниченной суверенной власти Конвента, подобно тому как этот тезис был основой суверенной власти Учредительного собрания.

И Робеспьер, едкий, беспощадный, продолжает таким образом разделяваться с речью Бриссо.

Итак, Национальный Конвент будет создан. Но что он будет делать? Он должен выполнить две задачи. Он ограничит исполнительную власть. Он обеспечит контроль нации над ее полномоченными. Но для того чтобы этот новый Конвент мог авторитетно выступать от имени нации, необходимо, чтобы он получил свои полномочия от всей нации. Стало быть, все граждане примут участие в выборах:

«Когда могущество двора будет сломлено, представительство нации возрождено и главное — нация соберется, общественное спасение будет обеспечено.

Остается лишь принять правила, столь же простые, сколь и справедливые, для обеспечения успеха этих великих предприятий.

В час великих опасностей, угрожающих отечеству, все граждане должны быть призваны на его защиту. Надлежит, следовательно, заинтересовать всех в его сохранении и в его славе. Каким образом случилось так, что единственные верные друзья Конституции, подлинная опора свободы — это именно тот трудолюбивый и великодушный класс людей, который первая легислатура лишила права гражданства!<sup>9</sup>

Искупите же это преступление против нации и против человечества, упразднив эти оскорбительные различия, измеряющие добродетели и Права Человека долей уплачиваемых им налогов. Пусть все французы, проживающие в округе каждого первичного собрания в течение времени, достаточного для установления постоянного местожительства, например одного года, получают право голосовать там. Пусть все граждане получают право быть избираемыми на любые общественные должности, в соответствии с самыми священными статьями самой Конституции, без каких-либо иных преимуществ, кроме добродетелей и талантов.

Одним этим постановлением вы поддержите, вы оживите патриотизм и энергию народа. Вы бесконечно умножите ресурсы отечества. Вы уничтожите влияние аристократии и интриг и подготовите подлинный Национальный Конвент, единственно законный, единственно полный, какого Франция еще никогда не видела.

Собравшиеся французы, несомненно, захотят навсегда обеспечить свободу, счастье своей страны и всего мира. Они исправят или поручат своим новым представителям исправить некоторые законы, поистине противоречащие основным принципам французской Конституции и любой возможной конституции. Эти новые конституционные положения столь просты, столь соответствуют общим интересам и общественному мнению, *столь легко уязвляются к тому же с нынешней Конституцией*, что достаточно будет предложить их первичным собраниям или Национальному Конвенту, чтобы они были единодушно приняты.

Эти статьи могут быть сгруппированы в двух разделах. Одни касаются широты того, что в высшей степени справедливо было названо прерогативами главы исполнительной власти. *Вопрос сводится к умалению огромных средств коррупции, накопленных благодаря самой коррупции.* Уже вся нация придерживается этого мнения. И вследствие одного этого эти постановления уже почти можно было бы рассматривать как подлинные законы, согласно самой Конституции, гласящей, что закон есть выражение общей воли.

Другие статьи касаются национального представительства, а именно его взаимоотношений с сувереном.

Нация выразит свое пожелание, чтобы первичным собраниям была предоставлена основным государственным законом возможность в определенные и достаточно близкие сроки, дабы это право не стало иллюзорным, выносить свое суждение о поведении своих представителей или по крайней мере отзываться, следуя установленным правилам, тех из них, кто злоупотребит их доверием<sup>10</sup>. Нация пожелает также, чтобы, когда она соберется, никакая власть не смела запретить ей свободно выражать свою волю относительно всего, что касается общественного благоденствия.

...Мне также нет надобности говорить, что первым делом следует обновить директории, суды и заменить государственных должностных лиц, вздыхающих о возвращении деспотизма, тайно связанных с двором и с иностранными державами».

Таков в конце июля политический план Робеспьера. Я привел главные места из этой обширной программы, потому что Робеспьер так тщательно рассчитывает каждое свое слово и столь осторожно соразмеряет все оттенки своей мысли, что необходимо дать по воз-

9. Нельзя переоценить важность этого пункта программы Робеспьера. Верный той позиции, которую он отстаивал осенью 1789 г., он хочет покончить с ценовой системой, установленной Конституцией 1791 г., предоставить право голоса пассивным гражданам и, стало быть, ввести всеобщее избирательное право. Фактически к этому времени, конец июля 1792 г., пассивные граждане наводнили собрания парижских секций и стихийно установили на этом уровне политическую демократию.

10. Робеспьер воспроизводит здесь критику представительной системы в том виде, как ее дал Руссо в своем «Общественном договоре»: «...как только народ дает себе представителей, он уже

более не свободен; его более нет» (книга III, глава XV). Исходя из этого, для устранения недостатков представительной системы, впрочем неизбежных в большой стране, предлагаются средства, отвечающие народным концепциям и практике демократии: императивный мандат, право первичных собраний контролировать своих избранников и отзываться их. Этого права уже добились парижские округа, в тот момент его требовали секции, а в 1793 г. оно стало требованием санкюлотов. Монтаньяры и якобинцы выдвигали это требование в борьбе с жирондистами. Но, придя к власти, после 2 июня 1793 г., они об этом и слышать не захотели и не вписали этого права в Конституцию 1793 г.

возможности их буквальное выражение. В это время его политические взгляды гораздо выше взглядов Жиронды. Последняя во время этого кризиса проявила только свое бессилие, и, пребывая, если можно так выразиться, в состоянии оцепенения и выжидания, она занималась лишь интригами.

Робеспьер указывает выход развитию событий. Законодательное собрание, непоследовательное и выдохшееся, исчезнет, и Национальный Конвент, избранный всеобщим голосованием, воплотивший в себе всю национальную энергию, исправит конституцию. Эта великая идея будет усвоена Революцией. Первые обращения секций ограничивались требованием низложения, и, очевидно, революционная сила народа вначале была направлена исключительно к достижению этой цели, самой неотложной из всех.

Отчасти под влиянием Робеспьера парижские секции не замедлили дополнить свою программу низложения требованием созыва Национального Конвента. Эта концепция Робеспьера обнаруживает большой революционный смысл.

Робеспьер еще сохранял надежду свести таким образом к минимуму предстоящее Франции потрясение. Он вовсе не имеет в виду упразднить королевскую власть, он хочет *по возможности меньше* изменять конституцию. И он особо подчеркивает, что необходимые изменения могут быть «увязаны с нынешней Конституцией». Он остается верным основной идее, столь часто высказываемой им со времени Учредительного собрания, — идее суверенной демократии, но осуществляющей свою суверенную власть под традиционным прикрытием королевской власти, строго ограниченной и контролируемой.

И он не только не хочет упразднить королевскую власть, но если внимательно прочитать его программу, то видно, что, по существу, он не решает и на низложение и замещение Людовика XVI. Царствует не он, говорит Робеспьер, царствуют его именем группы, овладевшие тем, что осталось от королевской власти. Но что это означает? И не становится ли таким образом Людовик XVI в какой-то мере неответственным? Если нация, завершив наконец организацию своей суверенной власти, устранил группы, похитившие королевскую власть, то что мешает оставить Людовику XVI очищенную власть, которая впредь будет только достоянием нации? Я очень склонен думать, что для Робеспьера идея Национального Конвента была не только средством революционного спасения и ударом по Жиронде, но вместе с тем и отвлечением от идеи низложения.

Как знать, если низложение представляется уже только поверхностной и второстепенной мерой, не согласится ли народ отсрочить его? Какой смысл оттягивать созыв Национального Конвента, занимаясь длительным и трудным рассмотрением поведения короля? Лучше приступить сразу к выборам, и пусть новое Собрание, суверенный Конвент рассмотрит, удобно ли или опасно

оставлять Людовику XVI исполнительную власть, ограниченную и поставленную под контроль новой конституции.

Таким образом, как и в первые дни Революции и Учредительного собрания, нация опять оказалась бы лицом к лицу с королем, решив еще раз, руководствуясь благоразумием и снисхождением к привычкам, сообразовать свою суверенную власть с сохранением традиционной монархии и династии, но умудренная на сей раз мучительным опытом трех лет и исполненная решимости обеспечить верховной власти нации надежные гарантии.

Это была великая мысль, ибо в момент беспрецедентного кризиса мысль Робеспьера была направлена к тому, чтобы призвать на помощь все силы народа и в то же время избежать всякого слишком резкого потрясения, всякого бесполезного покушения на традиции и предрассудки. Это была великая мысль, и, несмотря на примесь язвительной неприязни и искажение истины, когда речь идет о Жиронде, которую он обвиняет в готовности затеять вместе с королем даже его низложение, с тем чтобы вернуть ему затем его власть возросшей, его мысль была бескорыстной.

Но слабым местом программы Робеспьера было то, что в страшный час, когда кажется, что законность стала бессильной и пагубной, когда революционная сила всюду готова бить через край, он замыкается в узкие рамки законной процедуры.

Тщетно указывает он на величественный образ грядущего уже Национального Конвента. Вопрос о низложении короля остается на первом плане, и необходимо его решать. Сам Робеспьер не осмеливается открыто требовать отложить этот вопрос и предоставить его решение Конвенту. Как можно сладить посредством намеков, путем отвлекающих маневров с могучим движением народа?

К тому же, если бы выборы были проведены без предварительного формального объявления о низложении короля, то, кто знает, не парализовало ли бы создавшееся таким образом тягостное, ложное положение цорыва самих первичных собраний?

С другой стороны, если низложение неотвратимо, то очевидно, что Законодательное собрание, в котором сопротивление фейянов усиливается инертностью жирондистов, декретирует его только под давлением народных сил. Но не опасно ли допускать, чтобы эти народные силы принудили Собрание, которое является, несмотря на все, носителем духа Революции против всех тиранов? И не лучше ли будет, чтобы революционный народ, оставив в стороне Собрание, прямо атаковал королевскую власть в ее крепости, в Тюильри?

Итак, этот решающий кризис получит свое разрешение не благодаря жирондистам и не благодаря Робеспьеру, а благодаря революционному инстинкту народа и революционному чутью Дантона.



## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАНТОНА

В эти решающие дни реальная деятельность Дантона была гораздо более значительна, чем его зримые действия. Он не мог дать гласный сигнал к восстанию, ибо народные движения имеют шансы на успех лишь тогда, когда они, так сказать, взрываются под напором общей, стихийной страсти. Но события 20 июня, нерешительность Жиронды, чересчур мудреные и несколько искусственные комбинации Робеспьера — все это указывало Дантону, что запутанный узел будет разрублен народной силой. Он был убежден в необходимости низложения и в том, что настал час добиваться этого всеми средствами. И в той мере, в какой это зависело от него, он побуждал к достижению этой цели секции предместий, уже охваченные страстным волнением.

В этом огромном и грозном движении трудно отыскать верные следы его личной деятельности<sup>11</sup>. В результате репрессий, последовавших за событиями на Марсовом поле, состав клуба Кордельеров значительно сократился и многие члены этого клуба, когда гроза миновала, примкнули к Якобинскому клубу. Но во многих умах Дантон оставил отпечаток своей силы и напора своей воли. Недаром он в течение двух лет во всех опасных положениях распространял вокруг себя дух дерзаний, накануне событий 5—6 октября в борьбе против *вето*, затем в борьбе против незаконного декрета об аресте Марата, а также против бежавшего короля и против самой королевской власти после Вареннского дела.

С тех пор он полностью сохранил всю свою энергию. Он не допустил, чтобы ее опутали множеством тончайших уз, как это случилось с жирондистами. Он также не допустил, чтобы ее охладил несколько абстрактный дух законности Робеспьера. И сейчас он был готов к прямым и решительным действиям. Надлежало нанести королевской власти открытый удар. Поэтому он не побоялся броситься лично в схватку в первой шеренге бойцов. Именно по его инициативе и под его председательством секция Французского театра приняла 30 июля знаменитое решение, коим она упразднила аристократическое разделение граждан на активных и пассивных и призывала к себе всех граждан<sup>12</sup>. По существу, это было первое нарушение конституции. Это был акт восстания. Дантон и его секция объявляли этим, что они хотят прежде всего восстановить народ в его правах, нацию — в ее верховной власти и что лицемерные конституционные формулы, которые исказило и как бы наполнило ложью нечестное поведение двора, их не остановят. И если во имя спасения отечества от угрожающей ему опасности, требовавшего содействия всех граждан, можно было упразднить избирательный закон, построенный на привилегии, то тем более во имя тех же высших интересов свободы и отечества должна была пасть монархия, делающая ставку на измену.

«Граждане секции Французского театра, именуемые активными, принимая во внимание, что все люди, родившиеся или имеющие постоянное местожительство во Франции, суть французы; что Национальное Учредительное собрание доверило охранение и защиту свободы и Конституции мужеству всех французов; что французы могут эффективно проявлять свое мужество только с оружием в руках и в больших политических дебатах; что, следовательно, сама Конституция позволяет всем французам вооружаться для защиты их отечества и обсуждать все касающиеся их вопросы;

Принимая во внимание, что мужество и знания граждан никогда не бывают столь необходимы, как в моменты опасности, грозящих государству; принимая во внимание, что эти опасности сейчас таковы, что корпус народных представителей счел своим долгом объявить об этом в торжественной декларации;

Принимая во внимание, что после объявления народными представителями отечества в опасности народ вполне естественно вновь берет в свои руки осуществление функций верховного надзора, что декрет, объявляющий заседания секций непрерывными, является лишь следствием, неизбежно вытекающим из этого вечного принципа<sup>13</sup>;

*Принимая во внимание, что один класс граждан не может присвоить себе исключительное право на спасение отечества;*

Объявляет, что, поскольку отечество находится в опасности, все мужчины-французы фактически призваны к его защите; что граждане, вульгарно и в духе аристократов именуемые пассивными гражданами, суть повсюду мужчины-французы, что они должны быть призваны и призываются как к оружию на службе в национальной гвардии, так и к участию в обсуждениях в секциях и в первичных собраниях;

Вследствие этого граждане, ранее только одни составлявшие секцию Французского театра, заявляют во всеуслышание

11. Об этом нет никаких упоминаний в заслуживающих наибольшего доверия документах, как, например, в мемуарах Шометта. В данном случае Жорес стал жертвой легенды. [Примечание А. Матьеза.]

12. Решение секции Французского театра было вдохновлено речью, произнесенной накануне Робеспьером. [Примечание А. Матьеза.] «Отдельный класс граждан,— заявляет в своем адресе секция Французского театра 30 июля 1792 г.,— не может присвоить себе исключительное право на спасение отечества»; поэто-

му секция призывает граждан, «которых в духе аристократов именуют пассивными гражданами», служить в национальной гвардии, участвовать в обсуждениях, происходящих в общих собраниях, короче говоря, участвовать в осуществлении той доли суверенитета, которая принадлежит секции». (Tourneux, № 8913.)

13. Законодательное собрание, уступая давлению народа, декретировало 25 июля 1792 г. непрерывность заседаний секций («Moniteur», XIII, 248).

о своем отвращении к их прежней привилегии, призывают к себе всех мужчин-французов, имеющих какое-либо местожительство на территории секции, обещают разделить с ними ту долю верховной власти, которая принадлежит секции, рассматривать их как братьев-сограждан, солидарно заинтересованных в общем деле, и как необходимых защитников декларации прав, свободы, равенства и всех неотъемлемых прав народа и каждого человека в отдельности».

Под этим стояли подписи Дантона, *председателя*; Анаксагора Шометта, *заместителя председателя*; Моморо, *секретаря*.

Я узнаю в этом постановлении стиль Дантона<sup>14</sup>. Он был, если можно так выразиться, замечательным юристом революционного дерзания. Он умел превосходно интерпретировать саму конституцию в вольном духе народа и его прав. Он выявлял смысл ее, создавал или преобразовывал ее дух. Смелым ходом легиста, путем интерпретации и расширительного толкования он использовал последнюю декларацию Учредительного собрания, вверяющую мужеству всех защиту конституции, чтобы призвать всех французов к осуществлению гражданских прав. Но главное, следуя высокому вдохновению, он выводит из грозящей отечеству опасности права для всех французов. Он требует политического равенства для всех граждан не от имени бедных, а от имени отечества. Отечество и свобода, которым грозит опасность, вправе рассчитывать на мужество всех, на энергию всех, на познания всех; и не дать всем гражданам равных прав для их защиты — значит оставить беззащитным отечество, оставить беззащитной свободу.

Подобно тому как распределяют между всеми пикки, надлежит распределить и политическую власть, которая тоже есть оружие. самое грозное из всех в борьбе с врагами свободы, то есть с врагами отечества. Так Дантон, увязывая друг с другом самые возвышенные слова, самые высокие мысли Учредительного и Законодательного собраний, извлекает из них великолепную революционную юриспруденцию. Наряду с ним подписали Моморо, типограф-демократ, чьи аграрные концепции вскоре придут в противоречие с правом собственности<sup>15</sup>, и Анаксагор Шометт, который после 10 августа станет председателем, а затем прокурором Парижской коммуны<sup>16</sup>. Это был молодой энтузиаст двадцати девяти лет. Будучи почти ребенком, после конфликтов со своими хозяевами в Невере он поступил на судно юнгой. Затем в качестве матроса, рулевого он колесил по всему свету и, делая свое дело, отдавал свое свободное время чтению, учебе, мечтаниям. В 1784 г. он отправился в Марсель с намерением сесть на корабль, идущий в Египет, «неизменно движимый, — рассказывает он, — страстным желанием изучать природу и памятники древности. Мне не удалось устроиться на корабль, и я вернулся в родные места, где постоянно был занят изучением растений и чтением книг. Я провел там все время, предшествовавшее Революции, совершив лишь несколько поездок

из Мулена в Париж, из Парижа к побережью океана, мечтая о счастье, вздыхая о свободе»<sup>17</sup>.

Это был своего рода самоучка, с пылкой и чистой душой, более любознательный, нежели образованный, но подлинно великодушный и нежный. В эти дни оживления, опасностей и надежд душа его чудесно просветлялась, как если бы сквозь грозные тучи над волнами, поднятыми неведомым волнением, всходило новое солнце. На экземпляре декларации секции Французского театра Шометт сделал надпись: *Пример, коему надлежит следовать*. И в самом деле, эта смелая инициатива подняла революционный дух во всех секциях.

## МАРСЕЛЬСКИЙ БАТАЛЬОН

Подготавливавшаяся демократическая и народная революция имела два органа, которые образовались стихийно. Один — Комитет федератов, другой — Собрание делегатов секций. Сила и накал страстей федератов особенно возросли в связи с прибытием 30 июля батальона марсельских федератов<sup>18</sup>.

Ребекки и Барбару прибыли в Париж раньше их<sup>19</sup>. Известно

14. В своих автобиографических записках Шометт пишет, что он был инициатором и автором этого постановления. («Papiers de Chaumette», publiés par F. Вгаesch, p. 135.) [Примечание А. Матьеза.]

15. Моморо (1765—1794) — типограф, активный член клуба Корделлеров и секции Французского театра, член дирекции Парижского департамента после 10 августа, был замешан в деле Эбера и казнен одновременно с ним в жерминале II г. Жорес намекает здесь на некий проект декларации прав, который Моморо опубликовал в сентябре 1792 г. («De la Convention nationale... Déclaration des droits». Imp. in-4°).

16. Шометт (1763—1794) — в 1789 г. студент медицинского факультета, сотрудник «Révolutions de Paris» Приюдама в 1790 г., член Коммуны 10 августа, генеральный прокурор-синдик 5 декабря 1792 г., затем национальный агент Парижской коммуны, был казнен в жерминале II г. О Шометте см.: «Mémoires ... sur la révolution du 10 Août 1792», pu-

bliés par F.-A. Aulard, Paris, 1893; «Papiers de Chaumette», publiés par F. Вгаesch, Paris, 1908.

17. «Moniteur», XVI, 458 (25 mai 1793). Обращение Шометта, прокурора Коммуны, к своим согражданам; «Mémoires de Chaumette», p. V.

18. См.: J. Polio et A. Marcell. Le bataillon du 10 Août. Paris, 1881. Барбару, находившийся в то время в Париже, потребовал от своих земляков прислать 500 человек, способных умереть. Якобинцы Монпелье послали Мирёра, будущего генерала Республики, договориться с их братьями в Марселе. Он познакомил их с «Боевой песней» Руже де Лилля, которую они потом пели во время перехода к Парижу.

19. Барбару (1767—1794) — адвокат, чрезвычайный делегат Марселя в 1792 г., депутат Конвента от департамента Буш-дю-Рон. Ребекки (1744—1794) — марсельский негодичант, депутат Конвента от департамента Буш-дю-Рон.

было о борьбе, которую уже выдержали за дело Революции на юге марсельские федераты. Было известно, что знойный южный город весь охвачен республиканским духом и ненавистью к королевской власти, и Сент-Антуанское предместье восторженно встретило вступивший в Париж батальон.

Он пел боевую песню свободы, которую совсем незадолго до этого в Страсбурге бросил в мир как вызов шедшему к Рейну неприятелю Руже де Лиль<sup>20</sup>. По правде говоря, эта песня не была созданием одного человека, он лишь облек в слова и одушевил прекрасным ритмом гнев и надежды, которые вот уже несколько месяцев рвались из сердец повсюду во Франции:

«Вперед, сыны отчизны милой,  
Мгновенье славы настает!  
К нам тирания черной силой  
С кровавым знаменем идет!  
Вы слышите, уже в равнинах  
Солдаты злобные ревут.  
Они и к нам, и к нам придут,  
Чтоб задушить детей невинных.  
К оружию, граждане!  
Вас батальон зовет.  
Вперед! Вперед! Пускай земля кровию гадов пьет!

Что означает сговор гнусный  
Предателей и королей?  
Где замышляется искусно  
Позор для родины твоей?  
Французы! Что за оскорбленье!  
Ужели дрогнет ваш отпор?  
Пусть рабства долгого позор  
Младые смоят поколенья!  
Как! Интервенции доступно  
Хозяинничать в чужом краю?  
Или наемники преступно  
Над нами верх возьмут в бою?  
Мы никогда не склоним выи  
Под чужестранное ярмо!  
Пускай предательство само  
Ожесточит сердца живые!»

Эти слова гремели как против подлого деспота внутри страны, так и против подлых иностранных деспотов. В город, уже охваченный пламенем, ворвался как бы огненный поток<sup>21</sup>.

Центральный комитет федератов обосновался в зале корреспонденции Якобинского клуба на улице Сент-Оноре. Он состоял из 43 человек, собиравшихся каждый день с начала июля.

Федераты были людьми действия, они быстро поняли, что только повстанческое движение может разрешить кризис, и они избрали из числа 43 делегатов Центрального комитета Тайную директорию в составе 5 человек, которой было поручено следить за ходом событий и подготовить штурм.

«Эти пять членов,— говорит Карра<sup>22</sup>,— были: Вожуа, главный викарий епископа Блуаского; Дебес, из департамента Дром; Гийом, профессор в Кане; Симон, журналист из Страсбурга, и Галиссо из Лангра. Меня присоединили к этим пяти членам в самый момент образования Директории, а несколько дней спустя туда пригласили: Фурнье-Американца, Вестермана, Риёлена (из Страсбурга); Сантера, Александра, командира Национальной гвардии предместья Сен-Марсо; Лазовского, капитана канониров предместья Сен-Марсо; Антуана из Меца, бывшего члена Учредительного собрания; Лагрэ и Гарена, выборщиков 1789 г.

Первое заседание этой Директории состоялось в маленьком кабачке «Золотое Солнце», на улице Сент-Антуан, около Бастилии, в ночь с четверга на пятницу 26 июля, после гражданского праздника, устроенного для федератов на том месте, где находилась прежде Бастилия...»

Прибытие марсельского батальона дало, так сказать, сигнал к началу военных действий. Сантер устроил гражданский банкет в честь марсельцев на Елисейских полях, и к его окончанию произошло столкновение между федератами и национальными гвардейцами из Пти-Пэр и Фий-Сен-Тома, преданными монархии. Это была первая стычка, предвещавшая приближение большого сражения. Повстанческая Директория опять собралась на второе «активное заседание» 4 августа.

«Примерно те же лица участвовали в этом заседании и, кроме того, Камиль Демулен. Оно происходило в «Синем циферблате», на бульваре. А вечером, часов в восемь, оно было перенесено в комнату Антуана, бывшего члена Учредительного собрания, на улице

20. См.: F. Chailleу. La Marsellaise. Etude critique sur ses origines - «Annales historiques de la Révolution française», 1960, p. 268. 26 апреля 1792 г. в Страсбурге Руже де Лиль сочинил «Боевую песню Рейнской армии». Впервые она была исполнена фаетистом Дитрихом, мэром Страсбурга, в салоне его жены. В этом отношении хорошо известная картина Пилля «Руже де Лиль, поющий «Марсельезу» (1849) не точна.

21. Национальный и революционный пыл этой песни, ныне основательно забытый, несомненен. В сознании тех, кто ее пел, революция и нация были связаны неразрывно. Она клеймит как тиранов и «подлых деспотов», замышляющих вернуть Францию к «прежнему рабству», так и

аристократию, эмигрантов, «эту орду рабов и предателей», этих «отцеубийц», этих «сообщников Буйе». Отчизна, «священную любовь» к которой эта песня прославляет,— это та, которая создавалась в 1789 г. в борьбе с аристократией. Нельзя отделать то, что вскоре станет «Гимном марсельцев», от его исторического контекста: национальный порыв и революционный натиск неотделимы один от другого; классовый конфликт особенно обостряет чувство патриотизма.

22. Карра (1742—1793) — служащий Королевской библиотеки, ставшей Национальной библиотекой, журналист, сотрудник Мерсье в «Annales patriotiques», депутат Конвента от департамента Соны и Луара.

Сент-Оноре... На этом-то втором, активном заседании, — продолжает Карра, чей рассказ не был опровергнут, — я и набросал своей рукой весь план восстания, движения колонн и штурм дворца. Симон снял копию с этого плана, и к полуночи мы послали его Сантеру и Александру. Но наш план во второй раз сорвался, потому что Александр и Сантер еще не были готовы, а другие хотели дожидаться дискуссии по вопросу о временном отрешении от власти короля, отложенной до 10 августа».

Итак, оставляя в стороне детали этого рассказа, мы видим, и это вполне естественно, что органом действия были Комитет федератов и их повстанческая Директория. Но что могли бы сделать эти собравшиеся со всех концов революционной Франции бойцы, если бы не было общего движения народа Парижа? Это движение было создано секциями.

## ПАРИЖСКИЕ СЕКЦИИ

Начиная со второй половины июля секции выбирают делегатов, собирающихся в рагуше, именуемой ныне, с марта месяца, Общим домом<sup>23</sup>. Эти делегаты секций не просто орган повстанческого движения, подобно Центральному комитету федератов. Они рассматривают себя как подлинных выразителей воли суверена, обязанных отстоять Францию и свободу от грозящих им опасностей, и они обращаются к Законодательному собранию с политическими планами и требованиями, с каждым днем все более высокомерными. Они создают и представляют собой новую законность, революционную и дерзновенную, которая противостоит лицемерной, одряхлевшей и путаной законности, продукту законодательной слабости и королевской измены, и эта новая законность придет на смену старой. В формулировках Дантона, принятых секцией Французского театра, эта новая законность находит свое юридическое выражение.

Чтобы хорошо понять великое народное движение, которое развертывается в июле и августе 1792 г., чтобы выявить его многочисленные, бьющие ключом источники, надо было бы проследить день за днем в ходе этих драматических недель бурлящую, полную кипения страстей жизнь 48 секций Парижа. Надо было бы иметь возможность отметить все революционные предложения, все детали и перипетии борьбы, завязавшейся во многих секциях между умеренными элементами и революционными элементами<sup>24</sup>. Иногда в зависимости от случайностей — отсутствия или присутствия активных граждан на том или ином собрании секции — принимались сокрушительные обращения; в других случаях, перейдя в контраступление, умеренные добивались отмены принятых накануне обращений. Так, в секции Арсенала великий химик Лавуазье, в прошлом генеральный откупщик, ныне поставленный во главе

Управления производством селитры и пороха, составил протест против обращения в республиканском духе, которое поначалу секция как будто одобрила. Однако вопреки столкновениям и сопротивлению революционная сила развивалась, и, за исключением некоторых секций центра, где преобладало умеренное влияние богатой буржуазии, граждане высказывались против королевской измены и за немедленное низложение.

Помещение каждой секции было в каждом квартале своего рода крепостью народа и Революции. Часто это бывало обширное помещение, оно должно было вмещать не общие собрания активных граждан, происходившие в церквях, но ежедневные собрания секционных комитетов, а также обеспечивать деятельность мирового суда, избранного секционными собраниями, и военного комитета. В эти тревожные дни это было как бы законное обиталище духа Революции, и исходившие оттуда обращения, даже когда они сокрушали вырождающуюся конституцию, обладали как бы законной силой.

Я сожалею, что не могу привести здесь полностью список этих помещений секций, составленный в начале 1793 г. Управлением государственных имуществ (за исключением переименования некоторых секций, он действителен для июля 1792 г.). Читая его, как бы соприкасаешься с революционной силой, упрочившейся и организованной<sup>25</sup>.

*«Секция Св. Женевьевы* (вскоре затем переименованная в секцию *Французского Пантеона*) — второй этаж здания, расположенного на улице Карм, насчитывает четыре комнаты и кабинет, а также две каморки. Общее собрание граждан происходит в церкви Наваррского коллежа.

*Секция Ботанического сада* (вскоре затем переименованная в секцию *Санкюлотов*). — Одна комната на антресолях, пять на втором, четыре — на третьем и две — в четвертом этаже; Сен-Фирмен, на улице Сен-Виктор. Общее собрание происходит в церкви Сен-Никола-дю-Шардонне.

*Секция Обсерватории*. — Комитет этой секции занимает главный корпус, расположенный между двумя дворами и служивший жилищем для бывших викариев при монахинях, состоит из четырех этажей по две комнаты в каждом; монастырь урсулинок на улице Сен-Жак. Общее собрание происходит в церкви монастыря.

23. Центральное бюро 48 секций было учреждено постановлением муниципалитета от 27 июля 1792 г. (F. V r a e s c h, La Commune du 10 Août). [Примечание А. Матъеза.]

24. Эта программа работ была выполнена Ф. Брешем (см.: F. V r a e s c h. La Commune de Paris). См. также: E. M e l l i é. Les

Sections de Paris pendant la Révolution française 21 mai 1790—19 vendémiaire an IV. Organisation. Fonctionnement. Paris, 1898.

25. Жорес следует здесь сведениям, приведенным в работе: E. M e l l i é. Les Sections de Paris..., p. 47, и в работе: T o u r n e u x. Bibliographie de l'histoire de Paris.

*Секция Арсенала* — Комитет этой секции занимает две комнаты на втором этаже, выходящие окнами в сад. Общее собрание происходит в церкви Сен-Поль-Сен-Луи-ла-Кюльгюр на улице Сент-Антуан.

*Секция Гобеленов* (вскоре затем *секция Финистер*) — Комитет занимает две комнаты, примыкающие к церкви Сен-Мартен и служившие для собраний церковных старост. Общее собрание — в церкви Сен-Мартен.

*Секция Терм Юлиана* (позднее *секция Борнепер*) — Маленькая комната на первом этаже дома во дворе монастыря ордена тринитариев и другая комната рядом, служащая местом хранения оружия вооруженной секции. Общие собрания — в залах Сорбонны.

*Секция Королевской площади* (вскоре затем *секция Федератов*). — Две комнаты на первом этаже для комитета. Общие собрания — в бывшей трапезной монастыря минимов.

*Секция Ратуши* (позднее *секция Мезон-Коммюн*) — Эта секция занимает: 1) две комнаты в первом этаже и одну оранжерею для комитета на улице Барр; 2) один дом на улице Жоффруа-л'Анье, служащий штаб-квартирой для вооруженной секции. Общие собрания — в церкви Сен-Жерве.

*Секция Вандомской площади* (вскоре затем *секция Пик*) — Эта секция занимает для своего гражданского комитета, мирового суда и т. д. трехэтажное, выходящее на улицу здание, второй и третий этажи насчитывают по пяти комнат, а также две комнаты в первом этаже, в глубине двора, для своего военного комитета. Общие собрания — в церкви капуцинов.

*Секция Гренельского фонтана* — Эта секция занимает как для своих общих собраний, так и для своих комитетов, гражданского и военного, четыре залы в нижнем этаже, вход через монастырь.

*Секция Французского театра* (вскоре затем *секция Марселя*) — Эта секция занимает для своего наблюдательного комитета комнату, ранее служившую ризницей; для своих общих собраний — так называемый зал Сен-Мишель, пока не будет перестроена зала, составляющая часть большой трапезной, для военного комитета — одну комнату и один кабинет, для благотворительного комитета — зал, называемый малой трапезной; кордегардия на улице Кордельеров. Общие собрания — в церкви Сент-Андре дез-Арк.

*Секция Гравилье* — Эта секция занимает для своего военного комитета комнату в нижнем этаже, справа, у входа во второй двор, а также зал, называемый капитул, для общих собраний».

Этих подробностей достаточно, чтобы представить себе, так сказать, материальные черты жизни секций. Для более полного знакомства с ней я рекомендую весьма полезную работу г-на Мелле о парижских секциях. Каждая из этих секций, таким образом, обосновавшихся часто в помещениях, вырванных у церкви в результате великой революционной экспроприации, представ-

ляла большую силу, живую и деятельную. И с июля месяца под угрозой вражеского нашествия, перед фактом измены короля революционные силы отдельных секций сближались, объединялись вокруг 'единого центра' вокруг ратуши (*Maison commune*). Законный муниципалитет, несмотря на добрую волю Петиона, не мог служить связующим звеном для сил восстания. Он был слишком неоднородным, в нем было слишком много раздоров, а сам Петион был робким и неловким человеком. Но рядом с законным муниципалитетом делегаты секций, собравшиеся в ратуше, образуют своего рода незаконный муниципалитет, которому суждено, по мере того как разгорались события, подчинить себе и, наконец, заменить собой тот, другой.

23 июля комиссары, избранные парижскими секциями, собрались для обсуждения обращения к армии. Само по себе это собрание было законным. Ибо по закону каждая секция имела 16 комиссаров, и эти комиссары могли собираться для сравнения решений, принятых в разных секциях, и выработки общих решений. Но если собрание само по себе было законным, то цель его обсуждений была революционной, поскольку речь шла о том, чтобы предостеречь армию относительно коварных действий исполнительной власти. 32 секции из 48 поддержали проект обращения к армии, принятый секцией Рынка невинных.

Но секции решают предпринять гораздо более важный шаг. Комиссары секций, собравшись в ратуше, констатируют в протоколах от 26, 28, 29 июля и 1, 2 и 3 августа, что все секции Парижа присоединились к пожеланию секции Гренель составить адрес, требующий изложения, и представить этот адрес Законодательному собранию от имени всех секций, поручив это сделать мэру Петиону. Таким образом, сама законная власть вовлекалась в действия, которые, являясь конституционными по форме, по существу были революционными.

что национальные гвардейцы должны временно надзирать за спокойствием в городах и деревнях, за личной безопасностью и безопасностью имущества всех французов до прибытия Их Величеств, Императорского и Королевского..., под страхом их личной ответственности за это; что в противном случае с теми национальными гвардейцами, которые будут сражаться против войск двух союзных дворов и будут захвачены с оружием в руках, будет поступлено как с врагами и они будут наказаны как бунтовщики, восставшие против своего короля, и как нарушители общественного спокойствия; что генералы, офицеры, унтер-офицеры и солдаты французских линейных войск равным образом должны вновь доказать свою верность и немедленно подчиниться королю, их законному суверену; что члены [административных властей] департаментов, дистриктов и муниципалитетов равным образом будут отвечать своей головой и своим имуществом за любые преступления, пожары, убийства, грабежи и насильственные действия, кои они допустят или совершению коих на своей территории они не постараются открыто воспрепятствовать.

*Что жители городов, местечек и деревень, которые попытаются защищаться против войск Их Императорского и Королевского Величеств и стрелять по ним как в открытом поле, так и через окна, двери и отверстия их домов, будут наказаны немедленно по всей строгости законов военного времени, а их дома будут разрушены или сожжены».*

Наконец, самые страшные угрозы были адресованы городу Парижу.

«Городу Парижу и всем его жителям без различия предлагается немедленно и без проволочек подчиниться королю, вернуть этому государю полную и неограниченную свободу и обеспечить ему, а равно и всем королевским особам неприкосновенность и уважение, которые естественное и международное право обязывает подданных оказывать государям; Их Императорское и Королевское Величества объявляют, что на всех членов Национального собрания, административных властей департамента, дистрикта, муниципалитета, на всех национальных гвардейцев Парижа, мировых судей и на всех надлежащих лиц будет возложена личная ответственность за все события, они будут отвечать своей головой, их будут судить по законам военного времени без всякой надежды на помилование; помимо этого, вышеназванные Величества объявляют и заверяют своим императорским и королевским словом, что если Их Величествам королю и королеве и королевскому семейству будет учинено хоть малейшее оскорбление, хоть малейшее насилие, если не будут приняты немедленные меры к обеспечению их безопасности, их сохранности и их свободы, то они ответят на это местью примерной и навеки памятной, предав город Париж военной расправе и полному разрушению, а бунтовщиков, повинных в преступлениях, заслуженной ими каре. И наоборот, Их Импе-

## МАНИФЕСТ ГЕРЦОГА БРАУНШВЕЙГСКОГО

В то время как парижские секции договаривались между собой о коллективной манифестации, герцог Брауншвейгский, командующий прусской армией, обнаружил в Кобленце наглый, полный угроз манифест, вызвавший крайнее раздражение Франции и окончательно погубивший короля. Датированный 25 июля, этот манифест стал известен в Париже 1 августа, когда экземпляр его был вручен председателю Собрания. Согласно манифесту, австрийский император и король Пруссии собирались вторгнуться в пределы Франции, попятить и поработить ее, и все это во имя Людовика XVI и его интересов. Какой страшный посев гнева!..

«Оба государя равно озабочены и полагают важным положить конец анархии внутри Франции, пресечь нападки на трон и алтарь, восстановить законную власть, вернуть королю безопасность и свободу, коих он лишен, и дать ему возможность осуществлять законную власть, которая ему принадлежит».

И затем от имени короля Франции иностранные государи объявляли вне закона, вне международного права Революцию и революционеров.

Они заявляли, «что армии коалиции не имеют в виду вмешиваться во внутреннее правление Франции, что они единственно хотят освободить короля, королеву и королевскую семью из их неволи и обеспечить Его Христианнейшему Величеству необходимую безопасность, дабы он мог, не подвергаясь опасности, беспрепятственно заключать соглашения, кои он сочтет уместными, и позаботиться о счастье своих подданных...».

Что армии союзников возьмут под свою защиту города, местечки и села, а также лиц и имущество всех, кто подчинится королю;

раторское и Королевское Величества обещают жителям города Парижа ходатайствовать перед Его Христианейшим Величеством о прощении их вин и заблуждений и принять самые энергичные меры для обеспечения их личной безопасности и безопасности их имущества, если они быстро и точно подчинятся вышеизложенному приказанию».

Итак, союзники угрожали повесить или расстрелять всю революционную Францию, ее солдат, ее представителей, ее администраторов, ее граждан. Они не собирались соблюдать в отношении французов законов ведения войны. Они считали их не приятелем, а мятежниками. И, став на точку зрения короля Франции, во имя его законной власти они готовятся грабить, жечь, разрушать.

Угроза ребяческая уже по своим масштабам. Ибо они не могли бы ее осуществить, не превратив Францию в огромную бойню, откуда дыхание чумы и смерти распространилось бы по всей Европе, отравив сначала кровь захватчиков!

Но эта угроза была роковой для Людовика XVI, поскольку в конечном счете он становился в глазах французской нации ответственным за все совершаемые или задуманные насилия над нею! Этот манифест мог иметь только два результата: или одним ударом повергнуть всю революционную Францию в самый постыдный страх, или до крайности возбудить ненависть народа к королю. Но чтобы хоть на мгновение допустить, что новая Франция испугается, для этого нужно было все легкомыслие эмигрантов, все ослепление контрреволюционеров.

Следовательно, манифест был нелепостью, но он являлся логическим и неизбежным следствием самой войны. С того момента, как король призвал иностранные державы для восстановления своей власти, это сам король вел войну против своего народа, под прикрытием иностранных держав и их руками. Потому-то люди Революции и рассматривались не как воюющая сторона, а как мятежники.

Напрасно умеренные роялисты, испугавшись задним числом страшной ответственности, которую этот манифест навсегда возлагал на монархию, утверждали, что он превысил намерения короля, что он противоречил инструкциям, данным королем в июне своему доверенному Малле дю Пану, уполномоченному согласовать текст манифеста с Пруссией и Австрией. Напрасно сам Малле дю Пан и герцог Брауншвейгский приписывают вину за самые оскорбительные, самые гнусные части этого документа влиянию, оказанному эмигрантами на государей.

Бесполезно заниматься критикой этих утверждений. Ибо тот манифест, какой был задуман и затребован Людовиком XVI, мог отличаться только оттенками от того, который был составлен и обнародован. Правда, в инструкциях, врученных Малле дю Пану, Людовик XVI писал <sup>1</sup>:

«Король увещевает и умоляет принцев и французских эмигрантов не лишать нынешнюю войну своим враждебным и деятельным участием *характера внешней войны, ведомой одной державой с другой державой*. Он недвусмысленно рекомендует им предоставить ему и вступившимся дворам обсуждение и защиту их интересов, когда придет пора трактовать эти вопросы».

Но напрасно король советовал эмигрантам проявлять сдержанность; они не следовали его советам. Каким образом, даже если бы не было компрометирующего участия эмигрантов, эта война могла бы иметь характер войны державы с державой?

Ведь коалиция монархов в их походе против Франции и Парижа руководствовалась не территориальными интересами и не политическим соперничеством. Они шли сражаться с определенной партией, они шли раздвигать Революцию, враждебную королю. Чем более они говорили о своем бескорыстии и отрицали всякую мысль о посягательстве на целостность французской территории, тем более они сводили войну к крупной полицейской мере, проводимой королевской властью против угрожавших ей мятежных подданных. А из этого вытекало и все остальное. Впрочем, в самих инструкциях, данных королем Малле дю Пану, можно прочесть следующее:

«Не навязывать и не предлагать никакой системы правления, *но заявить, что вооружаются для восстановления монархии и законной королевской власти, такой, какую Его Величество сам полагает ее определить*».

Решительно также заявить Национальному собранию, административным властям, министрам, муниципалитетам, отдельным индивидуумам, что на них будет возложена личная и особая ответственность, что они будут отвечать своей жизнью и имуществом за все посягательства, учиненные против личности короля, против личности королевы и их семьи, против жизни и собственности всех граждан, кто бы они ни были».

На эту тему нельзя было сочинить иного манифеста, чем тот, который появился, и в лучшем случае возможны были кое-какие стилистические нюансы редакции, которые ни в чем не изменили бы ни смысла, ни действия этого документа, если бы он был написан самим королем. В самом деле, подобно тому как сообщение, посланное Собранию австрийским императором в апреле, было почти точным воспроизведением мемуара, адресованного Леопольду Марией Антуанеттой, точно так же знаменитый манифест герцога Брауншвейгского, за изъятием нескольких деталей, исходил из Тюильри и вернулся из Кобленца в виде эха. Это фран-

1. Секретные инструкции для Малле дю Пана были написаны самим королем. Они приводятся в работе: Bertrand de Molle-

vill e. Histoire de la Révolution française. T. VIII, p. 39, и воспроизведены у: Buchez et Roux, t. XIV, p. 422.

цузская королевская власть совершала нашествие на Францию, это французская королевская власть ей угрожала.

Манифест произвел сильное впечатление, но не страх он вызвал, а гнев. Манифест герцога Брауншвейгского не вызвал Революцию 10 августа, открыто подготавливавшуюся до того, как он стал известен. И не этот манифест побудил секции к их настойчивому коллективному демаршу перед Собранием, поскольку он стал известен лишь 1 августа, когда секции уже приняли решение. Но он еще более усилил лихорадочное возбуждение умов и дал Революции дополнительное основание требовать низложения и навязать его.

Между 1 августа, когда манифест появился, и 3 августа, когда Петигон выступил у барьера Собрания, манифест побудил колебавшихся наконец решиться, преодолел в секциях сопротивление умеренных, интриги роялистов и поднял до высшей точки воодушевление, моральную силу Собрания комиссаров секций, заседавших в ратуше.

### КОМИССАРЫ СЕКЦИЙ ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ШОМЕТТА

Шометт рассказывает с очевидной искренностью и пылким чистосердечием об этом энтузиазме секций, о том, как все более возрастало у них сознание предстоявшей им роли освободителей.

«В то время, — пишет он в мемуарах, опубликованных Оларом [но есть ли какой-либо раздел истории Революции, на который г-н Олар не пролил бы новый свет?], — в то время большинство секций Парижа собралось в ратуше комиссаров, чтобы обсудить важный вопрос о низложении короля, и представило Национальному собранию петицию, требовавшую этого низложения.

Роялисты пустили в ход все средства, чтобы распустить это собрание или по крайней мере нейтрализовать, расколов его. Но здравый смысл подавляющего большинства этих комиссаров, их твердость и принятое ими решение спасти отечество свели на нет все усилия аристократов, путаников и трусов, которые пробрались в их среду.

Сколь величественно было это Собрание! Свидетелем каких возвышенных порывов патриотизма был я во время дискуссии о низложении короля! *Что такое Национальное собрание с его мелкими страстями, с его сторонниками короля, с его гладиаторами, с его защитниками Лафайета, с его постоянной нерешительностью, с его мелочными мерками, с его декретами, урезанными мимоходом, а затем раздавленными посредством вето, что такое, говорю я, это Собрание по сравнению с собранием комиссаров секций Парижа?*

Можно было подумать, что там [в Законодательном собрании. — *Ред.*] собрались легисты, бесконечно и ожесточенно спорящие, подстегиваемые учителями школ правоведения, не осмеливающимися восстать, чтобы сбросить свои цепи и решиться, наконец, хоть раз настоять на своем. Здесь [в Собрании комиссаров секций], наоборот, спорили по-братски, часто с жаром, обнаруживая великодушное красноречие, и всегда честно, обсуждая соображения за и против низложения. Здесь, так сказать, закладывали основы республики. В ходе этих столь интересных дискуссий происходили события, характеризующие членов этого собрания.

Среди них мы видели таких, которые подвергали себя опасности быть заколотыми кинжалом или обрекали себя на юридическую смерть, предлагая напечатать, самим расклеить и охранять от срыва афиши, которые могли бы помочь сложиться верному общественному мнению и разоблачить преступления двора.

Я не обойду молчанием следующий факт, он заслуживает быть отмеченным. Двор, договорившись с гнусной директорией Парижского департамента, заговорил о введении военного положения. В зале, где происходили дебаты комиссаров, находилось несколько знамен в футлярах. Отважный Лазовский, в дальнейшем павший жертвой новых разбойников, пришедших на смену двору<sup>2</sup>, и Шометт обнаруживают среди этих знамен красное знамя. «*О небо! — восклицают они, — вот оно! да, вот оно, красное знамя! Оно еще окрашено кровью патриотов, убитых на Марсовом поле!*» Мгновенно все собрание встает и кричит, охваченное единодушным порывом: «*Они будут отомщены! Долой военное положение и тех, кто его придумал!*»

Двум гражданам, обнаружившим это знамя, было поручено отнести его в муниципалитет, в то время заседавший, и заставить его убрать это знамя в другое место. Войдя в зал муниципалитета, оба посланца, движимые внезапным порывом негодования, разорвали это знамя, воскликнув: «*Смотрите, вот оно, это отцеубийство, пусть его зашьют в мешок и бросят в реку.*»

Этот муниципалитет, состоявший большей частью из контрреволюционеров, приверженцев Лафайета и особенно военного положения, этот муниципалитет, который дерзко противился гласности заседаний Генерального совета [Коммуны!] и, вопреки воле граждан Парижа, имел бесстыдство сохранять в месте своих заседаний бюсты Байи, Лафайета и Людовика XVI как символы ожидания контрреволюции, этот муниципалитет, говорю я, буквально оцепенел от изумления.

Итак, эти люди, в своем революционном гневе и восторге, всегда готовые отдать свою жизнь за свободу, чувствовали себя

2. Лазовский умер внезапно в апреле 1793 г.; жирондистов обви-

няли в том, что они его отравили.



как бы вознесенными самой своей искренностью над всеми законными властями, над Законодательным собранием, болтливым, разношерстным и немощным, над муниципалитетом, проникнутым фэйянским духом.

И если они еще соблюдают законные формы и прибегают к посредничеству мэра Петиона, чтобы сообщить Законодательному собранию свою волю низложить короля, то делают они это с твердым намерением не останавливаться на ставшей отныне подозрительной законности и не связывать себя с колебаниями самого Петиона.

## ПЕТИЦИЯ О НИЗЛОЖЕНИИ КОРОЛЯ

Итак, Петион объявил от имени возбужденных секций, что Парижская коммуна пришла обвинить главу исполнительной власти перед Национальным собранием. Он напомнил, «без горечи, но и без малодушных предосторожностей», о благодеяниях, оказанных нацией Людовику XVI, и о неблагодарности и коварстве последнего. В довольно удачной форме он обвинил директорию департаментов, которые стали сообщниками Людовика XVI и, «разглагольствуя против республиканцев, по-видимому, хотят организовать Францию в виде Федеративной Республики».

И, перейдя к внешней опасности, он сказал: «Вражеские армии угрожают нашей территории извне. Два деспота обнародовали направленный против французской нации манифест, столь же абсурдный, сколь наглый. Французы-отцеубийцы, ведомые братьями, родственниками, союзниками короля, готовятся терзать лоно отчизны...»

И во имя Людовика XVI бесстыдно оскорбляют верховную власть нации, и, чтобы отомстить за Людовика XVI, ненавистный Австрийский королевский дом добавляет новую главу к истории своих жестокостей...»

Наконец, он уточняет, в чем состоит личная и прямая ответственность короля. *«Глава исполнительной власти является главным звеном контрреволюционной цепи. Он, по-видимому, участвовал в пильницких заговорах, о которых столь поздно сообщил. Его имя отныне противостоит имени нации... Он отделил свои интересы от интересов нации. Мы так же отделим их, как это сделал он... Пока у нас будет подобный король, свободу невозможно упрочить, а мы хотим оставаться свободными. Побуждаемые все еще какой-то снисходительностью, мы хотели было просить вас о временном отрешении Людовика XVI от власти, пока отечество будет пребывать в опасности; но это противоречит конституции.. и мы требуем его низложения.»*

*Когда эта важная мера будет принята, ибо очень сомнительно, чтобы Нация могла доверять нынешней династии, мы требуем,*

*чтобы министры, несущие солидарную ответственность, избранные Национальным собранием, но не из числа своих членов, согласно конституционному закону, а избранные свободными людьми путем открытой подачи голосов, временно осуществляли исполнительную власть в ожидании того дня, когда воля народа, нашего и вашего суверена, будет законно выражена в Национальном Конвенте, как только интересы безопасности государства это позволят.*

Однако пусть все наши враги, каковы бы они ни были, располагаются по ту сторону наших границ; пусть трусы и клятвопреступники покинут землю свободы; пусть 300 тыс. рабов наступают, их встретят 10 млн. свободных людей, готовых как к смерти, так и к победе, сражающихся за равенство, за землю отцов, за своих жен, детей и стариков. Пусть каждый из нас в свой черед станет солдатом, и, если выпадет честь умереть за родину, пусть каждый из нас, прежде чем испустить последний вздох, прославит свою память, поразив раба или тирана».

Любопытный документ, в котором нашли отражение различные влияния. В нем можно разглядеть и пламенный революционный патриотизм федератов и секций, и дорожку для Дантона идею немедленного учреждения новой исполнительной власти, идею Национального Конвента, столь энергично отстаиваемую Робеспьером, и, наконец, колебания, робость самого Петиона и части жирондистов, которыми отмечено странное место, касающееся временного отрешения короля от власти.

Так ли уж он виновен, и не жертва ли он несчастного рока, превратившего его вопреки его воле в предлог для вмешательства иностранных держав, в их знамя и символ, поскольку ведь сразу после великого кризиса ему собираются вернуть власть? Но это странное и противоречивое поползновение исчезает в результате двух решительных утверждений: необходимо провозгласить низложение Людовика XVI и апеллировать к нации, которая, несомненно, выскажется за отрешение от власти всей династии. Необходимо созвать Национальный Конвент.

Под этим обращением стояли подписи комиссаров, делегированных 47 секциями. Кто на меня посетует, если я приведу их длинный перечень, несмотря на его внешнюю монотонность? Слишком часто в общих историях Революции, даже когда они проникнуты демократическим и народным духом, весь свет сконцентрирован на людях первого плана, а между тем они не воплощают в себе все движение. Луи Блан, говоря об огромном движении, приведшем к 10 августа, едва касается вскользь, в нескольких местах секций. В его описании главным действующим органом предстает Центральный комитет федератов.

Луи Блан недооценил движение секций, гораздо более широкое и исполненное в гораздо большей мере мысли. Мишле, обладающий поразительным пониманием народной жизни, глубоких источников, рождающих великие события, лучше Луи Блана увидел

и отметил деятельность секций, однако он оставил их как бы в полумраке. Он готовится быть столь беспощадно суровым к повстанческой Коммуне, которая в августе станет хозяином Парижа, он столь несправедлив к Шометту, что, проявляя свою недоверчивость и сдержанность в отношении секций, он, по-видимому, возлагает отчасти на секции ответственность за дела революционной Коммуны, зародышем которой было Собрание секций.

Поэтому долг справедливости и восстановления истины, особенно для каждого историка-социалиста, показать, по мере возможности, в свете великих исторических событий этих людей, чье неведомое бесстрашие спасло отечество. Только увидев под решающими документами эту длинную вереницу подписей людей, почти сплошь неизвестных, получаешь верное представление о широком участии народа в великих событиях. Все эти люди отважно принимали на себя ответственность, и завтра, когда нам придется судить об их делах и делах их товарищей в Парижской коммуне, разве можно забывать, что они только что рисковали своей свободой, своей жизнью и что они еще были охвачены возбуждением боя и опасности?

Подписали в качестве комиссаров: *Демарсенэ*, секретарь; *Колло д'Эрбуа*, комиссар секции Библиотеки; *Жоли*, комиссар секции Ломбар; *Ксавье Одуен*, секция Гренельского фонтана; *Коллен*, секция Пале-Руаяля; *Пепен Дегруэтт*, секция Предместья Монмартр; *Жобер*, секция Рынка невинных; *Пифине*, *Марешаль*, *Панье*, секция Гранж-Батальер; *Коандэ*, секция Предместья Монмартр; *Тиркур*, из той же секции; *Ресту*, секция Тюильри; *Тришон*, секция Гравилье; *Шепр*, секция Лувра; *Буен*, секция Рынка невинных; *Реаль*, секция Хлебного рынка; *Шевалье*, секция Руля; *Доннэ*, из той же секции; *Невез*, комитет секции Бонн-Нувель; *Дюпон*, секция Предместья Сен-Дени; *Тьерар*, из той же секции; *Мэз*, секция Арси; *Тиссо*, секция Моконсей; *Кольмар*, секция Круа-Руж; *Лебуа*, секция Французского театра; *Фабр д'Эглантин*, секция Французского театра; *Ж. Н. Паш*, секция Люксембургского дворца; *Теофиль Манбар*, *Данезо*, секция Ратуши; *Деффо*, секция Елисейских полей; *Мари Жозеф Шенье*, *Деводиша*, секция Пуассоньер; *Гарнерэн*, секция Моконсей; *Лурдэй*, секция Французского театра; *Ренуар*, секция Понсо; *Дебуш-Фонтен*, секция Ратуши; *Мате*, секция Елисейских полей; *Дезескель*, секция Кенз-Вен; *Пари*, секция Обсерватории; *Доjson*, секция Бонди; *Франсэ*, секция Острова; *Жан Батист Луве*, секция Пале-Руаяля; *Анаксагор Шометт*, секция Французского театра; *Ион*, секция Пале-Руаяля; *Кено*, секция Гобеленов; *Латурнель*, секция Бонн Нувель; *Данжон*, секция Арси; *Бернар*, секция Монтрёй; *Лаво*, *Профине*, секция Оратуар; *Мишель*, секция Улицы Бобур; *Дюма*, из той же секции; *Борье*, секция Вандомской площади; *Кложье*, секция Гренельского фонтана; *Мати*, секция Четырех наций; *Тальен*, секция Королевской площади; *Нарте*, из той же секции;

*Шамбон*, секция Хлебного рынка; *Горе*, секция Св. Женевьевы; *Озотт*, секция Сицилийского короля; *Гайон*, секция Анфан-Руж; *Минье*, секция Генриха IV; *Бодрон*, из той же секции; *Ле Ганвер*, секция Четырех наций; *Бодри*, секция Св. Женевьевы; *Куртуа*, секция Гобеленов; *Матье*, секция Терм Юлиана; *Шарль Жам*, секция Почты; *Леонар Бурдон*, секция Гравилье.

Это был как бы зародыш повстанческой Коммуны, еще облаченный в законные покровы. Но уже многие секции ясно возвестили, что они готовы нарушить законность ради спасения Революции; или даже прямо ее нарушали. Еще 31 июля секция Моконсей, за подписью председателя Лешенара и секретаря Берго, посылает всем гражданам Парижского департамента повстанческий адрес. Эта секция сообщает им текст постановления, в котором она, «считая невозможным спасти свободу с помощью Конституции», объявляет, «что не признает больше Людовика XVI королем французов, и заявляет, что, подтверждая столь дорогую ее сердцу клятву жить и умереть свободной и быть верной нации, она отрекается от остальных своих клятв, которые вырвали, злоупотребив общественным доверием».

4 августа секция Гравилье предупредила Законодательное собрание, направив к его барьеру депутацию, что если оно не свергнет Людовика XVI с престола, то это сделает народ.

«Мы еще предоставляем вам, законодатели, честь спасти отечество. Но если вы откажетесь спасти его, то нам придется принять решение самим спасти его».

Итак, Революция нарастала. Неустрашимый Шудье в своих интересных мемуарах, опубликованных Виктором Баррюканом, отрицает деятельность Комитета федератов; он заявляет, что утверждения жирондиста Карра представляют собой хвастовство<sup>3</sup>. «Последний опубликовал некий исторический очерк, в котором он по-своему излагает события 10 августа; он даже утверждает, что в значительной мере руководил ими вместе с пятью или шестью другими личностями, столь же незначительными, как и он, составившими в Шарантоне так называемый Руководящий комитет. Карра был слишком мелкой фигурой, чтобы обладать во время этих событий тем влиянием, которое он себе приписывает. Победа была главным образом делом парижских секций, за исключением одной, секции Фий-Сен-Тома, а также делом доблестных федератов, всего населения Сент-Антуанского предместья и предместья Сен-Марсо и мужественных граждан, захвативших власть в муниципалитете в ночь с 9 на 10 августа».

Но если весьма возможно, что Карра хвастун и что он преувеличил свою личную роль, остается все же несомненным, что

3. S h o u d i e u. Mémoires et notes, Paris, 1897. Мемуары Шудье опубликованы по бумагам автора с пре-

дисловием и замечаниями В. Баррюкана.

федераты не были рассеяны, что они образовали Центральный комитет и что этот Центральный комитет, в состав которого вошли такие деятели, как Сантер и особенно Лазовский и Вестерман, был одной из пружин движения. Но деятельность делегатов секций была более широкой.

Дантон поддерживал связь с обеими революционными организациями. Подписанным им постановлением секции Французского театра он дал толчок повстанческому движению секций. Кроме того, на следующий день после банкета марсельцев федераты Марсея были приглашены секцией Французского театра разместиться у нее. Таким образом, Дантон являлся как бы связующим звеном между обеими революционными организациями. Робеспьер, по-видимому, чувствовал себя выбитым из колеи бурным течением событий. С первых же дней августа ему пришлось отказаться от надежды на законную революцию, которая короткое время представлялась ему возможной. Проницательный, сдержанный, он выжидал развития событий.

Национальное собрание, казалось, совершенно утратило способность принимать решения, и его декреты носили чисто негативный характер. Оно отменило постановление секции Моконсей, но само не указало никакого выхода из кризиса. В области военной его взгляды и действия отличались широтой. Оно пыталось вооружить весь народ. 1 августа оно одобрило прекрасный доклад Карно о производстве пик, о всеобщем вооружении<sup>4</sup>: «Ваша комиссия предложила вам пики, потому что пика — это, так сказать, оружие свободы, потому что это лучшее оружие в руках французов, наконец, потому что оно недорогое и его можно быстро изготовить.

К тому же во Франции нет и еще долгое время не может быть огнестрельного оружия в достаточном количестве, чтобы снабдить им всех граждан, а между тем их имуществу, их жизни, их свободе со всех сторон грозят опасности, и они оставлены почти без помощи на милость врагов.

Есть одна правда, которая должна наконец стать очевидной для каждого, кто хочет видеть, а именно что все окружающие нас правительства хотят нашей гибели; что те, кто говорит нам о своей дружбе, делают это только с целью обмануть нас; что в настоящий момент для нас не может быть другой политики, как быть сильнее их.

Но нынешняя опасность, та, что бросается в глаза большинству, пожалуй, наименее серьезная. *Самая реальная и самая неизбежная опасность заключается в самой организации вооруженных сил, тех сил, которые, будучи созданы для защиты свободы, содержат в себе коренной порок, который должен их погубить.*

В самом деле, всюду, где какая-то особая часть народа пребывает постоянно вооруженной, тогда как другая не вооружена,

последняя неизбежно поработается первой, или, вернее, та и другая поработаются теми, кто сумел захватить командование в свои руки. Следовательно, в свободной стране необходимо, чтобы каждый гражданин был солдатом или чтобы никто не был им. Но Франция, окруженная честолюбивыми и воинственными нациями, очевидно, не может обойтись без вооруженных сил. Поэтому необходимо, по выражению Жан Жака Руссо, чтобы каждый гражданин был солдатом по долгу и никто не был солдатом по ремеслу. Поэтому необходимо, чтобы ко времени восстановления мира все батальоны линейных войск стали батальонами национальной гвардии; чтобы те и другие имели одинаковый режим, одинаковое жалованье, одинаковое обмундирование... Тогда каждая воинская часть будет выбирать своих офицеров и не придется больше видеть, как офицеры, продавшиеся исполнительной власти, переходят на сторону неприятеля и изменяют отечеству, осыпавшему их благодеяниями.

Тогда новая военная система будет самой простой, самой сильной, самой экономной, наиболее отвечающей духу Конституции. В мирное время границы будут охраняться батальонами, поочередно поставляемыми каждый год различными департаментами. Граждане будут проходить обучение в своих кантонах и соответствующих дистриктах, как в Швейцарии, по отделениям, ротам и батальонам. Каждый заранее получит полное военное снаряжение. Состоятельные молодые люди будут почитать за честь иметь обученных лошадей для формирования кавалерийских частей и будут собираться, чтобы обучаться маневрам. В разных департаментах будет создаваться ежегодные лагеря, там будут устраиваться военные празднества с той пышностью, которая была присуща турнирам и конным состязаниям, победителям будут выдаваться призы».

Итак, Дантону, призывавшему всех граждан, в интересах отечества, к осуществлению политических прав, отвечал Карно, призывавший их всех к оружию. Как могла бы устоять буржуазная олигархия перед лицом всеобщего вооружения народа? Но Законодательное собрание, непоследовательное и раздражаемое противоречивыми чувствами, было столь же робким в подходе к конституционному вопросу, сколь оно было отважным и смелым

4. «Archives parlementaires», XLVII, 361; «Moniteur», XIII, 241 et 304. Лазар Карно (1753—1823) — капитан инженерных войск в 1783 г., депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Па-де-Кале, член Комитета общественного спасения. Ла-

зар Карно в это время отсутствовал, он находился с миссией в Суассоне. Его доклад был зачитан его братом Карно де Феланом (1755—1836), также капитаном инженерных войск, депутатом Законодательного собрания от департамента Па-де-Кале.

в организации военной защиты отечества, которому угрожала опасность. Оно не смогло даже наказать Лафайета за его мятежные действия, и 8 августа вопреки настойчивым требованиям жирондистов Собрание декретировало, что нет оснований для возбуждения обвинения против Лафайета.

Народ был сильно взволнован, и все рассуждали так: если Собрание не может ударить по Лафайету, ставшему мятежным защитником двора, то как оно осмелится ударить по самому двору? Как оно осмелится потребовать от самой королевской власти отчета в ее изменах? И так, не было другого выхода, как прибегнуть к силе.

### ЖИРОНДА НЕ ХОЧЕТ ВОССТАНИЯ

К этой повстанческой акции, заранее предусмотренной и возвещенной, жирондисты даже в этот крайний срок, 8 августа, отказываются присоединиться.

«С июля месяца, — утверждает Шудьё, — многие члены Национального собрания и сами члены Жиронды были убеждены, что без кризиса нам не выйти из того состояния маразма, в котором мы прозябали, и каждый чувствовал его неминуемость. Члены Жиронды, боявшиеся кризиса, старались оттянуть его, чтобы обеспечить себе руководство им. Члены Горы, считавшие кризис необходимым, вызывали его, не компрометируя себя однако. Трое из них, Мерлен из Тионвиля, Шабо и Базир<sup>5</sup>, которых среди нас рассматривали как разведчиков, передовой отряд, каждый вечер отправлялись в секции предместий, где они пользовались большим влиянием. Со своей стороны другие члены Горы собирались в частном доме на улице Сент-Опоре.

Вечером 8 августа наиболее видные члены Жиронды пришли к нам, одни — чтобы узнать наши планы, другие потому, что полагали невозможным спастись без нас. Будучи предупрежден об этом демарше, я сговорился со старым генералом Калонем<sup>6</sup>, нашим председателем, и воспользовался случаем, чтобы поставить жирондистов в ложное положение и заставить их и их сторонников объясниться насчет решения, которое они примут, если борьба завяжется всерьез, как все предвещало. Я знал, что завтра ночью ударят в набат, но я, конечно, не стал говорить этого людям, которым не следовало этого знать. Я предложил направить к Петтиону депутацию из шести человек, чтобы узнать, какой линии поведения станет он придерживаться, если дворец подвергнется нападению. Председатель, который обычно назначал членов такого рода депутатий, выбрал, как мы заранее договорились, трех членов Жиронды и трех членов Горы. Из жирондистов он выбрал Жапсонне, Инара и Гранженёва; среди представителей Горы — Дюэма, Альбитта и Гране, из Марселя<sup>7</sup>.

Петтион ответил категорически, что он отправился бы во дворец и, если бы его атаковали, он отразил бы силу силой. Три члена Жиронды, вернувшись, заявили, что они разделяют мнение Петтиона и что насилие — средство слишком рискованное, чтобы они считали должным прибегнуть к нему. Это заседание было последним».

Шудьё честный и храбрый человек. Вспомним, что он первый представил Собранию петицию о низложении. Но он ненавидел жирондистов, и, конечно, чтобы лишить их всякой заслуги в событиях 10 августа, он придал слишком четкое выражение их неопределенной мысли. Были среди них такие, как Барбару, которые хотели идти на штурм, и их, несомненно, было достаточно, чтобы внести смущение даже в души тех, кто возражал против насильственных действий.

Можно предположить, что Петтион ответил так категорически только потому, что нашел самый демарш недискретным и неосторожным. Как мэр, он мог содействовать повстанческому движению снисходительным молчанием и намеренно двусмысленным и слабым сопротивлением, но не открытым сотрудничеством. Сам демарш жирондистов, явившихся 8 августа к монтаньярам и отправившихся вместе с ними задать Петтиону вышеупомянутый вопрос, определенно показывает, что у них не было твердого решения ни относительно сопротивления, ни относительно выступления. Но они, конечно, сознавали, что кризис неизбежен. Уже в течение ряда недель Революция и королевская власть открыто бросали друг другу вызов<sup>8</sup>.

5. Базир (1764—1794) — адвокат, член директории Дижонского дистрикта, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Кот-д'Ор. Шабо (1759—1794) — настоятель монастыря капуцинов в Родезе, епископальный викарий конституционного епископа в Блуа, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Луар и Шер. Мерлен из Тионвиля (1762—1833) — адвокат, член муниципалитета Тионвиля, депутат Законодательного собрания, затем Конвента от департамента Мозель.

6. Калон (1726—1807) — генерал инженерных войск, член администрации департамента Уаза в 1791 г., депутат Законодательного собрания, затем Конвента.

7. Гране (1758—1821) — бочар в Марселе, член администрации департамента Буш-дю-Рон в 1790 г., депутат Законодательного собрания, а затем Конвента.

8. Восстание должно было вспыхнуть 30 июля. Петтион, который представил 3 августа петицию секций, добился того, чтобы подождали. Сент-Антуанское предместье, секция Кенз-Вен, дало Собранию последнюю отсрочку до 9 августа. Мы не можем не отметить здесь еще раз снисходительность Жореса к жирондистам. О глубоких причинах этой «внезапной слабости» жирондистов, а именно о страхе перед народом и народной властью, см. выше, с. 555, прим. 6.

## БЕССОННАЯ НОЧЬ ДВОРА

Со дня праздника Федерации двор думал только об одном: поторопить иностранные державы с манифестом и укрепить Тюильри, чтобы отразить штурм народа. Он не знал толком, каковы намерения Собрания, очень разделенного и очень неуверенного. Но опасность была неминуема. 24 июля королева писала Ферзену:

«На этой неделе Собрание должно декретировать перенесение своих заседаний в Блуа и временное отрешение короля от власти. Каждый день — новый спектакль, но все направлено к уничтожению короля и его семьи. Петиционеры заявили у барьера Собрания, что, если его не сместят, они его убьют. Они были удостоены чести присутствовать на заседании в качестве почетных гостей. Скажите же господину де Мерси, что жизнь короля и королевы в величайшей опасности; что затяжка на один день может причинить неисчислимые беды; что необходимо немедленно послать манифест, что его ждут с крайним нетерпением; что он непременно объединит многих вокруг короля и обеспечит ему безопасность; что иначе никто не может ручаться за его безопасность даже в течение суток, шайка убийц растет непрерывно».

Но какая анархия, какой хаос в мыслях этого обезумевшего двора! В то время как Людовик XVI направляет Малле дю Пана в качестве своего доверенного лица при монархах, в то время как Малле дю Пан старается добиться сравнительно умеренной по тону редакции манифеста, Ферзен, друг и наперсник королевы, настаивает на резком манифесте и в письме к королеве сообщает даже, как о досадной интриге, о демаршах Малле дю Пана. Вот что он пишет Марии Антуанетте 26 июля из Брюсселя:

«Мы неустанно торопим с обнародованием манифеста и с началом операций, последние начнутся 2 или 3 августа. Манифест составлен, и вот что сказал о нем барону де Бретей г-н де Буйе, который видел его: «В отношении манифеста и общего плана полностью следуют вашим и, смею сказать, нашим принципам вопреки интригам. свидетелем коих я был и над которыми хорошо посмеялся, будучи уверен на основании того, что мне было известно, что они не одержат верх». Мы настояли на том, чтобы манифест был угрожающим, особенно в том, что касается ответственности за безопасность королевских особ, и чтобы там не было и речи о Конституции или об образе правления».

В тот же день новая записка Ферзена к королеве:

«Только что получил декларацию герцога Брауншвейгского, она очень хороша; это экземпляр г-на де Лимона, и именно он прислал мне его».

И он добавляет, охваченный тревогой при мысли об опасностях, грозящих королеве:

«Сейчас критический момент, и душа моя содрогается. Да сохранит вас Господь всех, это мое единственное желание. Если б

понадобилось на время скрыться, не раздумывайте, прошу вас, и примите это решение. Это может оказаться необходимым, чтобы выиграть время, пока мы успеем прибыть к вам. На этот случай в Лувре есть погреб, примыкающий к квартире г-на де Лапорта; я думаю, что он мало кому известен и надежен. Вы могли бы им воспользоваться.

Сегодня герцог Брауншвейгский выступает, ему потребуется от восьми до десяти дней, чтобы достигнуть границы».

Но в тех же письмах, в которых проглядывали его опасения, Ферзен передавал королеве соображения барона де Бретей относительно состава министерства. Есть что-то трагическое и вместе с тем шутовское в этом распределении портфельей:

«Вот проект барона касательно состава министерства; он хочет держать его в своих руках во избежание противоречий. *Военным министром* он предлагает Ла Галиссоньера, который, по его словам, высказал ему очень хорошие идеи; *морским* — Дю Мутье; *министром юстиции* — Барантена; *иностранных дел* — Бомбеля; *министром для Парижа* — Лапорта и *финансов* — епископа Памьерского».

Де Бретей был человеком с головой; он и в бурю не забывал о себе. К тому же он был уверен в победе.

Королева была менее уверена в этом. 1 августа она писала клером Ферзену:

«Происшествие, случившееся 30 июля [столкновение между марсельцами и батальоном национальной гвардии], усилило тревожные настроения, вызвало раздражение одной части национальной гвардии и обескуражило другую ее часть. Ждут близкой катастрофы; эмиграция удвоилась. Слабые люди с чистыми намерениями, люди недостаточно мужественные, люди честные прячутся; только злонамеренные смело показываются. Необходим кризис, чтобы столица вышла из того состояния напряжения, в котором она находится; *каждый этого желает, каждый хочет этого соответвенно своим взглядам, но никто не осмеливается подсчитать его возможные последствия, опасаясь обнаружить, что результатом будет в пользу злодеев.* Что бы ни случилось, король и порядочные люди не позволят нанести никакого ущерба Конституции, и, если она будет ниспровергнута, они погибнут вместе с ней».

И она добавляет симпатическими чернилами:

«Жизни короля уже давно явно угрожает опасность, равно как и жизни королевы. Прибытие около 600 марсельцев и множества других представителей от всех якобинских клубов резко усиливает наши тревоги, к сожалению весьма обоснованные. Принимаются всякого рода предосторожности для обеспечения безопасности Их Величеств, но убийцы постоянно бродят вокруг дворца; народ возбуждают. Большая часть национальной гвардии проявляет злонамеренность, а остальная — слабость и трусость... Среди всех этих опасностей трудно думать о выборе министров. Если

выдастся спокойный момент, я вам сообщу, что мы думаем о тех, кого вы предлагаете. Пока что надо думать о том, как избежать кинжалов и провести заговорщиков, кишачих вокруг трона, готового рухнуть. Мятежники уже давно не считают нужным скрывать свое намерение уничтожить королевскую семью. На двух последних ночных заседаниях Собрания расхождения касались только средств, какими следует это осуществить. Вы могли судить по моему предыдущему письму, как важно выиграть двадцать четыре часа. Сегодня я вам только повторяю это, добавляя, что если не придут вовремя, то только провидение может спасти короля и его семью».

Конечно, в этом письме, имевшем своей целью ускорить прибытие помощи, Мария Антуанетта показывает только мрачную сторону событий. Но я все же думаю, что Мишле преувеличивает, говоря о безопасности двора. Правда, двор вызвал в Тюильрийский дворец тысячу швейцарских солдат, и много дворян присоединилось к ним, а Манда обещал помощь нескольких батальонов национальной гвардии.

Правда и то, что батальоны федератов насчитывали всего только от 5 до 6 тыс. человек и что никто не мог сказать наперед, будет ли движение предместий массовым. Таким образом, двор имел некоторые основания надеяться, что ему удастся раздавить восстание; и в том состоянии нервного ожидания, в котором жили король и королева, они, в конце концов, желали наступления решающего дня. Однако он вызывал у них страх, и они чувствовали, что широкая и мрачная волна вскоре обрушится на королевскую власть.

## ЗАСЕДАНИЕ 9 АВГУСТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Законодательное собрание назначило на 9 августа обсуждение петиций, требующих временного отрешения от власти или низложения короля. Но, установив таким образом дату дебатов, оно тем самым назначило и день восстания.

В самом деле, оно могло бы умерить гнев народа, только приняв великое и смелое решение. Но на это оно не было способно. Шудье заявил ему с мужественной откровенностью, что поскольку оно накануне не посмело осудить Лафайета, то оно не осмелится «доползти до ступеней трона, чтобы поразить преступный двор». Шудье пригрозили тюрьмой Аббатства. С трибуны Собрания умеренные рассказывали о насилии, которому они подверглись накануне на улицах Парижа, за их голосование в пользу Лафайета. А Виенно-Воблан дошел до того, что заявил, что Собранию лучше покинуть Париж и отправиться в Руан, чем заниматься обсуждением дел, подвергаясь угрозам «некоей группы». Это была бы гибель Революции и отечества.

Выступая от имени Комиссии двенадцати, Кондорсе ограничился предложением обратиться к французскому народу относительно осуществления права суверенитета. По-видимому, это предложение имело своей единственной целью защитить дебаты Собрания против всякого незаконного давления извне.

Важная проблема низложения в нем даже не ставилась, и Комиссия двенадцати указывала в качестве предмета своего доклада «предварительные меры, которые надлежит принять прежде, чем обсуждать вопрос о низложении короля». При том состоянии возбуждения умов и напряжения сил всякая дальнейшая отсрочка была невозможна.

## ВОССТАНИЕ<sup>1</sup>

Наконец революционная пружина сработала. Ударили общий сбор: ударили в набат, и в ясную ночь с 9 на 10 августа народ предместий, хватаясь за ружья, снаряжая упряжки для пушек, готовился дать на заре великий бой. Эти люди были воодушевлены отнюдь не мыслью об узких и непосредственных выгодах.

Рабочие, пролетарии, шедшие на бой вместе с самой смелой частью революционной буржуазии, не выдвигали никаких экономических требований. Даже тогда, когда они вели борьбу против скупщиков и монополистов, вздувавших цены на сахар и другие продукты, парижские рабочие говорили: «Мы протестуем не ради сластей, подобно женщинам, а потому что не хотим оставить Революцию в лапах новой эгоистичной и угнетательской касты».

Полная политическая свобода, полная демократия — вот чего они требовали прежде всего. Они были уверены в том, что в ней они обретут гарантии для своих интересов, своей заработной платы и самого своего существования. Закон Ле Шапелье был уже фактически отменен в ходе широкого народного движения, лихорадочного возбуждения в июле и августе, и фейянская буржуазия жаловалась 7 августа, что рабочие устраивали собрания, чтобы сообща добиваться повышения заработной платы.

Пролетарии хорошо знали, что всякий подъем национальной жизни и расширение свободы будут сопровождаться ростом их сил, и в них рождались неясные социальные предчувствия. Но их непосредственная и сознательная мысль была об отечестве, которому угрожал чужеземец, о свободе, предаваемой коварным королем. Свергнем короля-предателя, чтобы наверняка отразить, отбросить

иностранных королей. Стало быть, восстание пролетариев не было вызвано определенным и непосредственным классовым движением.

И все же если 14 июля и 5—6 октября [1789 г.] рабочие борлись совместно с буржуазией только против королевского деспотизма, то ныне, в этот день 10 августа, они борются одновременно против королевской власти и против всей той части буржуазии, которая присоединилась к ней. Свергая короля, они собираются также взять реванш над этой умеренной буржуазией, которая в июле 1791 г. расстреливала народ на Марсовом поле, чтобы защитить королевскую власть<sup>2</sup>.

## КРАСНОЕ ЗНАМЯ

И революционеры 10 августа овладевают тем красным знаменем, которое было знаменем военного положения, символом буржуазных репрессий. Они его превращают в сигнал восстания иль, вернее, в эмблему новой власти<sup>3</sup>.

*В какой именно момент революционному народу пришла мысль сделать знамя военного положения своим знаменем и повернуть его против своих врагов? По-видимому, это произошло 20 июня. Когда Шометт рассказывает в своих мемуарах о приготовлениях к 20 июня, когда он показывает, что граждане Сент-Антуанского предместья и предместья Сен-Марсо, «гордясь тем, что аристократы в кружевах называют их санкюлотами», готовились отправиться к королю, чтобы заставить его утвердить декреты, он добавляет<sup>4</sup>:*

«С другой стороны, самые пылкие и самые просвещенные патриоты отправлялись в клуб Кордельеров и сговаривались там, ночи напролет.

В числе других был один комитет, где изготовили красное знамя с такой надписью: **Военное положение народа против мяте-**

1. О восстании 10 августа и свержении монархии см.: Mortimer Ternaux. Histoire de la Terreur. T. II, Paris, 1863; J. Pöllio et A. Marcel. Le Bataillon du 10 Août. Paris, 1881; A. Tuetey. Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution française. T. IV, Introduction. Paris 1889; Ph. Sagnac. La Chute de la royauté. Paris, 1909; F. Braesch. La Commune du 10 Août. Paris, 1911; A. Mathiez. Le 10 Août. Paris, 1931; M. Reinhard. 10 août 1792. La chute de la royauté. Paris, 1969.
2. Жорес недостаточно подчеркивает общенациональный характер событий 10 августа. Вследствие участия федератов из департаментов, особенно марсельцев и бретонцев, события 10 августа были явлением не только парижским, как 14 июля, но и общенациональным.
3. Относительно появления красного знамени во время восстания 10 августа 1792 г. см. уточнение в работе: M. Dommanget. Histoire du drapeau rouge. Paris, s.d., p. 31.
4. «Mémoires de Chaumette sur la révolution du 10 août 1792» (с введением и комментариями Ф. А. Олара). Paris, 1893, p. 13.

жа двора, и под этим знаменем должны были объединиться свободные люди, подлинны республиканцы, которые должны были отомстить за друга, за сына, за родственника, убитого на Марсовом поле 17 июля 1791 г.»

С другой стороны, Карра, рассказывая о приготовлениях уже не к 20 июня, а к 10 августа, пишет:

«То было в кабачке «Золотое солнце» [где собиралась повстанческая Директория], куда Фурнье-Американец принес нам красное знамя, идею которого я подал и на котором я велел написать следующие слова: *Военное положение суверенного народа против мятежа исполнительной власти*. В этот же кабачок я принес 500 экземпляров афиши, на которой были следующие слова: *Те, кто будет стрелять по колоннам народа, будут тут же преданы смерти*».

Итак, идея сделать красное знамя своим знаменем, по-видимому, пришла народу до 20 июня, с того момента, когда начался период народных движений против королевской власти. Но, по-видимому, 20 июня красное знамя не было развернуто, то ли потому, что не хватило времени изготовить в достаточном количестве эти знамена с революционными надписями, то ли потому, что Петион, старавшийся легализовать движение 20 июня, добился от своих друзей, чтобы они не развертывали его. Но мысль эта запала, и 10 августа красное знамя развернулось там и сям над революционными колоннами. Оно означало:

«Теперь мы, народ, представляем право. Теперь мы представляем закон. В нас пребывает законная власть. А король, двор, умеренная буржуазия, все коварные люди, которые под именем конституционалистов в действительности предают Конституцию и отчизну, все они мятежники. Оказывая сопротивление народу, они оказывают сопротивление истинному закону, и против них мы объявляем военное положение. Мы не бунтовщики. Бунтовщики находятся в Тюильри, и во имя отечества и свободы мы поднимаем против мятежников двора и мятежников-умеренных знамя законных репрессий».

Итак, это было нечто большее, нежели знак мести. Красное знамя не было знаменем репрессий. Это было великолепное знамя новой власти, воодушевленной сознанием своего права. И вот почему всякий раз, когда пролетариат будет утверждать свою силу и свою надежду, он будет поднимать красное знамя.

В царствование Луи Филиппа рабочие Лиона, изнуренные голодом, поднимают черное знамя, знамя нищеты и отчаяния. Но после февраля 1848 г., когда пролетарии хотят ознаменовать своим символом новую Революцию, они требуют от Временного правительства принять красное знамя.

Для того чтобы оно таким образом вновь поднялось, точно высокое пламя, долго таившееся под золой, нужно было, чтобы революционная традиция 10 августа сохранялась в течение полувека в бедных домишках предместьев и передавалась от отца

к сыну, доходя до самого сердца. И Ламартин допустил странную забывчивость, когда, обращаясь к народу, собравшемуся перед ратушей, сказал: «Красное знамя лишь прошло сквозь Марсово поле, обогрившись потоками крови народной».

Почему народ не ответил ему: «Да, но это знамя, обогрившее кровью народной 17 июля 1791 г., реяло над народом, штурмовавшим Тюильри 10 августа 1792 г. И в его блеске надежда рабочих слилась с победой республики».

## НАБАТ

Вечером 9 августа, около полуночи, гул набата, барабанный бой<sup>4</sup> возвестили рассеянным по Парижу законодателям, что готовится большое выступление. Они поспешили в Собрание, и в полночь открылось заседание. Это было, если можно так выразиться, заседание выжидания. Собрание решило следить за ходом событий, но не вмешиваться непосредственно в борьбу, завязавшуюся между народом и королем.

Тщетно министры, желая заставить Собрание разделить ответственность, заявляли ему, что необходимо срочно принять меры для охраны дворца и защиты конституции. Собрание ответило, что это дело административных властей. Так же тщетно некоторые депутаты предлагали своим коллегам отправиться к королю, как это было сделано 20 июня. Шудё воскликнул, что в этот час опасности подлинный долг представителей народа — оставаться на своем посту. Собрание встретило его слова аплодисментами.

Между тем дворец устроил ловушку Петиону. Его вызвали во дворец, и мэр, не желая себя серьезно скомпрометировать, ответил отказом на этот призыв, отправился в Тюильри. Там стало очевидно, что его хотели задержать главным образом как заложника. Испуганные его долгим отсутствием, администраторы Парижской коммуны написали в Собрание, и последнее, желая спасти его, затребовало его к своему барьеру. Манда, командовавший национальной гвардией и преданный двору, не посмел задерживать Петиона. Мэр явился к барьеру Собрания и в осторожных выражениях дал понять, что ему пришлось выслушать оскорбительные слова. Он сообщил, что для обороны дворца приняты весьма серьезные меры, достаточные, чтобы остановить любое движение. Хотел ли Петион дать парижскому народу последний совет осторожности? Или дать Собранию предлог не вмешиваться, в котором оно нуждалось? Или же освободить таким образом самого себя от обязанности усилить защиту дворца? Между тем общее Собрание секций заседало в ратуше. И самые смелые секции, секция Французского театра и секция Гравилье, около 3—4 часов утра высказали мнение, что надлежит заменить установленные власти новыми революционными органами власти.



На рассвете, в то время как во всех предместьях, Сент-Антуанском и Сен-Марсо, федераты, рабочие строились в колонны и направлялись к Тюильри, Собрание секций заняло место законной Коммуны и организовалось в революционную Коммуну.

Это был ход смелый и, пожалуй, решающий. Ибо благодаря этому сражающийся народ обеспечил себе поддержку организованной государственной силы. Благодаря этому и штаб национальной гвардии, ее начальника Манда удалось застигнуть врасплох и сместить. И революционная Коммуна посеяла сомнения и растерянность в рядах врагов. Новая Коммуна сразу же приняла постановление, учреждавшее ее власть:

«Собрание комиссаров большинства секций, уполномоченных принять меры для спасения общественного дела, постановило, что первое, чего требуют общественные интересы, это овладение всей властью, переданной Коммуной, и лишение штаба того опасного влияния, кое он до сего дня оказывал на судьбу свободы. Мотивировка постановления: эта мера могла быть осуществлена лишь постольку, поскольку муниципалитет, который всегда и при всяких обстоятельствах может действовать только в рамках установленных форм, был бы отстранен от исполнения своих функций, а г-н мэр и генеральный прокурор Коммуны и 16 администраторов продолжали бы исполнять свои административные функции».

Это было подписано Югеноном, председателем, и Мартеном, секретарем. Все эти люди рисковали своей головой. И так, именно потому, что установленные власти не могли освободиться от легальных форм, секции их устраняли. Петион и Манюэль, которых сохранили, были вновь облечены властью. Но так как опасались, как бы Петион, все еще связанный легальными формами, не парализовал народное движение, революционная Коммуна подвергла его домашнему аресту. Она таким образом обеспечивала свободу народных действий. И с самого начала этого великого дня она ясно обозначила его характер: речь шла не о предъявлении требования королю. Речь шла о перемене власти, и народ обосновался в ратуше в качестве суверена, чтобы решительно изгнать из Тюильри суверенную власть измены.

Как отнесется Законодательное собрание к этой новой власти, революционному выражению воли народа? О событиях в ратуше оно было уведомяно около 7 часов утра хнычущей депутацией бывшего муниципалитета. Но что делать? Некоторые депутаты предложили было упразднить новую власть как незаконную. Но уже завязалась борьба вокруг дворца, и это предложение отпало. К тому же новая власть действовала и весьма решительно помогала усилиям народа. Еще до того, как объявить себя Коммуной, делегаты секций добились от законного муниципалитета, чтобы он вызвал к себе командующего национальной гвардией Манда, преданного королю.

К утру, то есть как раз тогда, когда его присутствие в Тюильри было особенно необходимо, Манда подчинился наконец приказу муниципалитета. И, прибыв в ратушу, он оказался перед лицом новой власти. Революционная Коммуна обращалась с ним как с обвиняемым, она потребовала у него отчета об отданных им без ясного разрешения мэра незаконных приказах о вооружении национальной гвардии против народа. И в тот момент, когда после допроса он собирался вернуться в Тюильри, она распорядилась арестовать его.

## КОРОЛЬ ИЩЕТ УБЕЖИЩА В СОБРАНИИ

Тем самым сопротивление Тюильри было сразу дезорганизовано. Двор лишился всякой законной поддержки; национальная гвардия уже не оказывала больше ни малейшей помощи швейцарцам и дворянам. Король ясно заметил это, когда около 6 часов вышел ненадолго из дворца, чтобы произвести смотр постов на площади Карусели и у Тюильри. Канониры национальной гвардии встретили его угрюмым молчанием или криками: «Да здравствует нация!»

Людовик XVI мучительно остро почувствовал, что он один против народа. Он вернулся во дворец в состоянии почти полного отчаяния. Между тем мало-помалу подходили атакующие и начинали, пока еще вяло, окружать со стороны площади Карусели и Тюильрийского сада дворец. Станут ли король и королева, отныне почти совсем покинутые, выдерживать случайности осады? Собрание было охвачено тревогой. Что случится, если в ярости штурма король и королева будут убиты? Не поднимется ли Франция, которая уже выразила 20 июня свое сочувствие оказавшемуся под угрозой королю, не поднимется ли она против тех, кто его убьет, а также против тех, кто своим бездействием помог бы убийству? Некоторые депутаты потребовали, чтобы Собрание вызвало короля к себе. Но это значило бы не только взять под защиту жизнь короля, но и некоторым образом взять под защиту нации его власть. Это, пожалуй, означало обратить революционные силы против самого Собрания, ставшего с виду солидарным с королем.

Собрание поняло это и не пошло на риск. Тогда было сделано менее четкое предложение, не столь рискованное для Собрания: оно не вызовет короля, но даст ему знать, что оно заседает и что он может, если пожелает, прийти на заседание Собрания. Но это все еще означало связать ответственность Собрания с ответственностью короля. Оно продолжало колебаться, несмотря на явное волнение Камбона, который воскликнул, что бездействие Собрания было бы по меньшей мере столь же опасным, как и действия, и что надлежит «спасти славу народа», то есть, очевидно, сохранить жизнь короля. В то время как Собрание все еще колебалось и как

бы застыло перед тем, как разразиться буре, король, побуждаемый прокурором-синдиком департамента Рёдерером, решился покинуть Тюильри и отправиться в Собрание.

<sup>45</sup> По центральной аллее сада, затем по аллее Тюильри, уже сплошь усыпанной к концу сухого и знойного лета опавшими листьями, королевская семья с трудом пробиралась через толпу, настроенную отчасти неопределенно, отчасти враждебно, до дверей Собрания. Людовику XVI не суждено уже было вернуться в обитель королей. В эту пятницу, ставшую для благочестивых роялистов Страстной пятницей, начались его *Страсти*. Какой-то мировой судья появился у барьера Собрания и сказал: «Господа, я пришел сообщить вам, что король, королева и королевская семья сейчас явятся в Национальное собрание».

Был ли то король, который пришел в Собрание, одна из властей, установленных конституцией, соединяющаяся с другой? Или то был изгнанник, искавший у алтаря закона, который он тщетно пытался низвергнуть своей изменой, последнего прибежища? Для Собрания это все еще был король или по меньшей мере тень короля, и 24 депутата, из тех, что были ближе к двери, пошли ему навстречу среди все возраставшего волнения и замешательства. Таким образом сохранялся по крайней мере предусмотренный конституцией церемониал. В тот момент председательствовал Верньо. Собрание, если можно так выразиться, выдвинуло его перед собой, как некий сверкающий щит, щит славы, красноречия и мудрости. Оно знало, что в Комиссии двенадцати он проявлял рассудительность и осторожность, и поэтому полагало, что в условиях этого острейшего кризиса он не пойдет дальше того, чего потребует сама сила вещей. А народ сохранил еще воспоминание о его могучей, пророческой речи 3 июля и даже ощущение внутреннего трепета, который она вызвала в нем. И Собрание надеялось, что отблеск популярности, озарявшей чело великого оратора, успокоит бурлившую вдали толпу. Престиж славы восполнит, быть может, на короткое время недостаточный авторитет закона.

Когда король вошел и в соответствии с протоколом занял место рядом с председательствующим, он сказал Собранию:

«Я пришел сюда во избежание тяжкого преступления, и я всегда буду считать себя и свою семью в безопасности среди представителей нации».

Верньо ответил ему, как свидетельствуют «Монитёр», «Логограф» и «Журнал де деба э декре»:

«Национальное собрание знает все свои обязанности. Оно поклялось охранять права народа и *установленные власти*».

Стало быть, призрак королевской власти все еще существовал. Ведь в конечном счете сама конституция позволяла принять решение о низложении или временном отрешении короля, и Верньо ничем себя не связывал. Через несколько минут Собрание

официально признало «установленные» власти, но установленные этой же ночью Революцией. Окружение Тюильри после ухода королевской семьи стало более тесным. Федераты и народ предместий, вооруженные штыками, пиками и пушками, все подходили, число их росло. Неужели нельзя будет избежать кровавого столкновения? Собрание спешит составить воззвание к народу. Но кто доведет его до его сведения? Старый муниципалитет распущен и бессилен. Тюрио прямо предлагает Собранию признать фактически новый муниципалитет, революционную Коммуну<sup>5</sup>:

«Я предлагаю разрешить уполномоченным, которые сейчас отправятся в город, совещаться со всеми, в чьих руках сейчас пребывает, *будь то легально, будь то нелегально*, какая-либо власть и кто пользуется хотя бы видимостью общественного доверия».

Собрание приняло предложение Тюрио, и таким образом с помощью Коммуны был забит первый клин республиканской революции во все еще монархическую Конституцию 1791 г.

## ШТУРМ ТЮИЛЬРИ

Через несколько минут Собрание приняло решение предоставить революционной Коммуне, по крайней мере временно, назначение нового командующего национальной гвардии. Тем временем в покинутом королем Тюильри как будто кто-то дал приказ разоружаться. Из окон дворца швейцарцы обращались к народу с дружелюбными словами. Открылась дверь, ведущая на большую лестницу. Народ предместий и федераты радостно устремились туда. Но со всех ступеней лестницы доверчивую Революцию встретила ужасная ружейная пальба. Что это, гнусная западня, обман? Или же среди анархии, вопарившейся в этой маленькой армии, брошенной своим королем и оказавшейся во власти противоречивых приказов, возникло роковое недоразумение? Страшный крик боли, смерти и гнева вырвался из рядов оттесненного народа. Он направил свои пушки на стены, свои ружья на окна, откуда доносился треск ружейных залпов швейцарцев. Примыкавшие к стенам дворца вдоль всей площади Карусели бараки загорелись. И «гул пушек», глубокий, гневный и мрачный, раздраженный и острый треск оружейной стрельбы, вспышки пламени, бледневшие при свете дня, весь этот рев, вся эта сумятица разрушения и боя заполнили двор Карусели, и отзвуки их достигали Собрания. Был момент, около 9 часов, когда с порога зала заседаний раздался панический вопль: «Швейцарцы! К нам ворвались!»

5. Тюрио (1753—1829) — адвокат, судья в трибунале дистрикта Сезанн, депутат Законодательного

собрания, а затем Конвента от департамента Марна.

Собрание думает, затаив дыхание, что наемные солдаты монархии сейчас захватят его, что предательская королевская власть, одержав победу над народом, сейчас поразит представителей народа и что ему останется лишь умереть, дабы по крайней мере завещать грядущим поколениям героическое воспоминание о бесстрашном протесте свободы.

При первых пушечных залпах все находившиеся на трибунах граждане встали: «Да здравствует Национальное собрание! Да здравствует нация! Да здравствуют свобода и равенство!» Собрание немедленно решает, что все депутаты останутся на своих местах в ожидании свершения рока, чтобы спасти отечество или погибнуть вместе с ним.

«Швейцарцы! — вновь кричат граждане на трибунах, величественные в своем мужестве и вместе с тем до крайности взволнованные неопределенными слухами. — Мы не покинем вас. Мы умрем вместе с вами!»

И они применяют к самим себе декрет Собрания. Подобно ему, они обязуются быть свободными или умереть. То была героическая и величественная минута, когда все расхождения, все недоверие на время растаяли в едином порыве к свободе, в общем презрении к смерти, когда сердца людей на трибунах бились в унисон с сердцами жирондистов, «государственных людей». В этом вихре, где она председательствовала только что в лице Верньо, а теперь в лице Гюаде, Жиронда опять приобщила к великой революционной страсти народа.

Тревога патриотов длилась недолго. Швейцарцы, о которых кричали, уже были побеждены. Из захваченного народом дворца они отступали через сад Тюильри, падая под пулями, пиками и штыками победителей. Каково было во время этой драмы душевное состояние короля? Это непостижимая тайна. Не возникла ли у него в какой-то момент надежда, что дворец удастся отстоять и что Революция будет побеждена? Он присутствовал на заседании Собрания, находясь в ложе «Логографа». Крики о приближении швейцарцев, наверно, вызвали радостный отзвук в его душе. Возможно также, что, слыша гром пушек, треск стрельбы, он пожалел, что не остался среди своих солдат, чтобы воодушевлять их своим присутствием. Шудьё, внимательно наблюдавший за ним, утверждает, что, пока шло сражение, лицо его оставалось бесстрастным и что волнение его проявилось лишь тогда, когда он узнал о поражении его последних защитников. Когда уже было поздно, он распорядился передать швейцарцам приказ прекратить огонь. Победивший народ захватил Тюильри, обыскал дворец снизу доверху, и ежеминутно в Собрание входили люди с окровавленными или почерневшими от пороха лицами, неся документы, золотые монеты, драгоценности королевы и восклицая: «Да здравствует нация!»

## ПОВСТАНЧЕСКАЯ КОММУНА УКАЗЫВАЕТ СОБРАНИЮ, В ЧЕМ СОСТОИТ ЕГО ДОЛГ

Это была победа Революции и Отечества. Это была также победа революционной Коммуны. Это она, заняв место законной Коммуны, взорвала, так сказать, мосты за движущейся вперед Революцией. Надтежало победить или умереть. Это опять она, посадив под домашний арест Петиона и арестовав Манда, обеспечила свободу действий народной силы. Уже утром 10 августа, как только дворец был взят, Коммуна предстала перед Собранием, но не для того, чтобы потребовать законного признания власти, полученной ею от самой Революции, а для того, чтобы диктовать законы. От ее имени Югенен, которого сопровождали Леонар Бурдон, Трюшон, Берье, Виго и Бюлье, заявил следующее:

«Перед вами новые должностные лица народа. Наше назначение было вызвано новыми опасностями, нависшими над отчизной. Оно было подсказано обстоятельствами, а наш патриотизм позволит нам быть достойными этого избрания. Народ, бывший в течение четырех лет игрушкой коварного двора и всяческих интриг, наконец устал, он понял, что пора удерживать страну на краю пропасти. Законодатели, остается только помочь народу: *мы пришли сюда от его имени, чтобы договориться с вами относительно мер общественного спасения.* Петион, Манюэль, Дантон остаются нашими коллегами. Сантер во главе вооруженных сил.

Пусть изменники погибнут в свой черед. Этот день — день торжества гражданских добродетелей. Законодатели, пролита кровь народа. Иностранные войска, которые смогли остаться в наших стенах лишь вследствие нового преступления исполнительской власти, стреляли по нашим гражданам. Наши несчастные братья оставили вдов и сирот.

*Народ, посылая нас к вам, поручил нам объявить вам, что он вновь облекает вас своим доверием,* но в то же время он поручил нам объявить вам, что только французский народ, ваш и наш суверен, собравшийся в первичных собраниях, он может признать правомочным выносить свое суждение о чрезвычайных мерах, которые он принял под давлением необходимости и для сопротивления угнетению».

Собрание не протестовало против этой победоносной Коммуны, притязавшей разговаривать с ним, как равная, или даже вновь облекавшей его властью от имени народа, но только для того, чтобы оно созвало сам народ.

Этой-то революционной Коммуне Собрание поручило довести до сведения народа декреты, призывавшие его к спокойствию. В тот же день оно без прений приняло по докладам Верньо, Гюаде и Жана Дебри ряд декретов решающего значения.

Первым декретом оно призывало французский народ образовать Национальный Конвент, указав, что в следующий день будут определены способ и время его созыва; одновременно оно объявило «главу исполнительной власти временно отрешенным от своих функций до тех пор, пока Национальный Конвент не решит, какие меры надлежит принять для обеспечения верховной власти народа и царства свободы и равенства».

Вторым декретом Собрание объявляло, что нынешние министры не пользуются его доверием, и постановляло, что временно министры будут назначаться Национальным собранием по индивидуальному выбору; и их нельзя выбирать из среды членов Собрания.

Наконец, третьей группой декретов Собрание постановило, что как ранее принятые, но не получившие санкции короля декреты, так и те, которые будут приняты впредь, но не смогут получить санкции ввиду временного отрешения от власти короля, будут тем не менее именоваться законами и иметь силу закона на всем протяжении королевства.

В общем, это был конец монархии. Правда, речь шла даже не о низложении, а только о временном отрешении короля. Был момент, когда народ возроптал; раздались прямые протесты. Верньо обратился к петиционерам с торжественной речью. Он сказал, что Собрание приняло лишь меры временного характера именно из уважения к суверенитету народа. А заявление о предстоящем в ближайшее время созыве Национального Конвента смывало все тревоги и жалобы волной энтузиазма. Народу казалось, что это новое Собрание, рожденное его победой, покончит с хитростями, ложью, изменами и теми полумерами, которые в условиях, когда отечеству грозит опасность, равносильны измене. В этом новом Собрании он предчувствовал, он надеялся увидеть свою собственную силу, твердую и справедливую. Произшедшее утром сражение оставило в сердцах великий гнев и возбуждение. Неожиданная стрельба швейцарцев в сочетании с угрозами манифеста герцога Брауншвейгского породила самые мрачные слухи. По свидетельству Шометта, ходили разговоры, что против патриотов собираются возродить самые жестокие изобретения тирании, что, если бы король оказался победителем, патриотов истребляли бы тысячами на эшафоте, подобном тому, что придумал Людовик XI, и их сыновей, поставленных под эшафотом, орошал бы кровавый ливень. Народ преследовал тех, в ком подозревал участников сражения, ловушки, устроенной ему утром. И Людовик XVI не мог бы в этот день безопасно пересечь Париж, даже под конвоем, даже как пленник.

Коммуна продолжала весь день раздавать патроны, как если бы еще приходилось опасаться какого-то ужасного заговора. Но мало-помалу при мысли о том, что вскоре народ, весь народ будет осуществлять свою верховную власть и выберет великое

Собрание, которое организует борьбу и обеспечит спасение, гнев начал стихать. И казалось, утасажное Законодательное собрание в какой-то мере приобщалось к популярности того нового и неведомого Собрания, которое оно только что обещало дать Франции.

Этот Конвент, хотя это ясно не возвещали, означал наступление Республики и, главное, наступление демократии. Никаких больше цензов, никаких привилегий, никаких оскорбительных и буржуазных различий между активными гражданами и пассивными. По докладу Жана Дебри, депутата от департамента Эна, прочитанному от имени Комиссии двенадцати, Собрание вотировало без прений, на том же заседании 10 августа, что право голоса будет предоставлено всем гражданам, достигшим 25 лет.

«Национальное собрание, желая в тот момент, когда оно торжественно присягнуло свободе и равенству, санкционировать в тот же день применение принципа, столь же священного для народа, декретирует, что впредь, и особенно для образования будущего Национального Конвента, каждый французский гражданин, достигший двадцатипятилетнего возраста, проживающий на одном месте в течение года и живущий своим трудом, будет допущен к голосованию в коммунальных собраниях и в первичных собраниях, как всякий другой активный гражданин, и без каких-либо иных различий».

Так было введено всеобщее избирательное право, и не только для выборов грядущего Национального Конвента, но и для всех проявлений национальной жизни на вечные времена. А с 12 августа Собрание еще более расширило народную базу, снизив возраст избирателя с 25 лет до 21 года. Оно сохранило двадцатипятилетний возраст для лиц, могущих быть избранными, но устранило всякое деление на активных и пассивных граждан как для избирателей, так и для избираемых. Оно сохранило систему двухстепенных выборов, посредством первичных собраний, но скорее в порядке совета, чем в императивной форме. Оно назначило созыв избирательных собраний на 26 августа, а избрание депутатов на 2 сентября.

## НОВЫЕ МИНИСТРЫ

10 августа было образовано министерство под названием Временного исполнительного совета. По предложению Инара, всегда склонного к несколько театральным жестам, Собрание, отказавшись от индивидуальных выборов, назначило разом Ролана, Клавьера и Сервана, трех министров-жирондистов, уволенных королем в отставку. Но Жиронда не могла одна пожать все плоды движения, в котором она принимала лишь довольно слабое и только эпизодическое участие. Собрание поняло, что оно сможет оказывать некоторое влияние на революционный народ и удовлет-

ворить Парижскую коммуну лишь в том случае, если призовет к власти деятеля Революции. И Дантон был избран на пост министра юстиции 222 голосами из 284 участвовавших в голосовании. Монж был избран на пост морского министра, а Лебрен — на пост министра иностранных дел<sup>6</sup>.

Дантон не принимает личного участия в штурме дворца Тюильри. Но в течение ночи он активно участвовал в приготовлениях, готовый нести ту страшную ответственность, с которой были сопряжены рискованные события этого дня для выдающихся деятелей Революции. Победив с народом, он сразу же стал думать о великодушии и милосердии. Прекрасны были его первые слова в Законодательном собрании 11 августа:

«События, только что происшедшие в Париже, доказывают, что не могло быть соглашения с угнетателями народа. Против французской нации со всех сторон составляли новые заговоры. Народ проявил всю свою энергию. Национальное Собрание поддержало его, и тираны исчезли. Но теперь я обязуюсь перед вами погибнуть, но спасти от народного мщения, слишком затянувшегося, тех людей [швейцарцев], что нашли убежище в вашем Собрании (*Горячие аплодисменты.*) Я сказал только что Парижской коммуне: где начинается деятельность уполномоченных нации, там народная месть должна прекратиться. Господа, нет сомнения в том, что народ сознает ту великую истину, что он не должен осквернять свое торжество! Собрание Коммуны, по-видимому, проникнуто этим чувством, все, кто нас слушает, разделяют его. Я беру на себя обязательство идти во главе этих людей, которых народ в своем негодовании счел должным осудить, но которых он простит, ибо ему нечего больше опасаться своих тиранов. (*Продолжительные аплодисменты.*)»

11 августа Людовик XVI был препровожден со своей семьей в Люксембургский дворец, а спустя несколько дней — в Тампль; он был уже только узником.

## ПОСЛЕДСТВИЯ 10 АВГУСТА

Но если в Париже эту Революцию надо было умерять и предохранять от кровавого безумия репрессий, то, с другой стороны, надо было добиться ее принятия страной, несомненно застигнутой врасплох событиями и смущенной. Надо было также добиться принятия этой Революции армиями, где можно было опасаться, вследствие усилий Лафайета и Люкнера, преобладания «конституционалистского» духа.

Чтобы достигнуть присоединения Франции к Революции 10 августа, Собрание прибегло к двум важным средствам. Найденные в Тюильри бумаги доказывали измену короля, подкупы благодаря цивильному листу. Эти бумаги еще не раскрывали всего того, что нам известно сегодня; но соучастие короля с иностранными державами было очевидно.

Собрание опубликовало эти бумаги. Оно приказало своим комиссарам в армиях распространить их в военных лагерях. Якобинские общества всюду комментировали эти документы, и вся патриотическая Франция, щедро поставлявшая для службы королю свою молодежь, цвет своей жизни, огласилась воплем негодования против предательской королевской власти.

6. Монж (1746—1818) — создатель начертательной геометрии, морской министр с 10 августа 1792 г. до 13 апреля 1793 г., один из основателей Центральной школы общественных работ (позднее Политехнической школы). Лебрен, он же Лебрен-Тондю (1754—

1793) — типограф и журналист в Нидерландах, вернулся во Францию в начале Революции, чиновник министерства иностранных дел, с 10 августа 1792 г. — министр, арестован по декрету Конвента от 22 июня 1793 г.

## УПРАЗДНЕНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ РЕНТ БЕЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ

Но Собрание поняло, что оно должно также привлечь к себе сердца крестьян, упразднив наконец действительно феодальный порядок. Начиная историю Законодательного собрания с очерка крестьянского движения, я уже отмечал, что Собрание было вынуждено под давлением сельской Франции затронуть феодальный порядок гораздо серьезней, чем это сделало Учредительное собрание. В июне оно упразднило без возмещения случайные повинности, те, что не лежали ежегодным бременем на держателях, а выплачивались в связи с продажей участка или смерти его владельца. Но сеньоры еще сохранили право требовать уплаты и этих повинностей, если могли доказать, что они являлись ценой первоначальной уступки земли. Кроме того, обязанный этими повинностями в случае выкупа их обязан был выкупать одновременно самые разнообразные феодальные ренты, коими он был обременен; когда несколько владельцев бывших фьефов или земельных участков солидарно уплачивали определенную повинность, ни один из них не мог выкупить свою долю отдельно от других. Наконец, и это главное, ежегодные повинности, такие, как ценз, оброк, шампар, продолжали обременять крестьян.

Но последние, подобно тому как они пришли в движение после 14 июля и вырвали декреты 4 августа 1789 г., поняли, что Революция 10 августа 1792 г. дает им отличную возможность сбросить с себя повинности. Таким образом, пролетарии Парижа, пролив свою кровь 10 августа за дело свободы, одновременно освободили крестьян от остатков феодальной зависимости.

Через несколько дней после взятия дворца Тюильри в Собрание начали поступать крестьянские петиции. 16 августа земледельцы из «бывшей провинции Пуату» являются к барьеру Собрания и от имени многочисленных граждан прихода Руйе, департамента Вьенна, жалуются на судебные преследования, возбуждаемые с целью взыскания феодальных повинностей.

«Они по-прежнему жертвы остатков феодального порядка. Прокурор-синдик Люизиньяна (Вьенна) учинил против них иск, требуя уплаты некоей повинности, которую он выдает за терраж, но которая в действительности не что иное, как подлинная десятина. Они требуют, чтобы Собрание защитило их от последствий несправедливого процесса, угрожающего им разорением».

Собрание отвечает на обращение крестьян почти сразу же тремя важными декретами. Оно немедленно декретирует приостановление всех исков, возбужденных в судах по делам о бывших феодальных повинностях. Вместе с тем оно понимает, что обязано наконец решить проблему во всем ее объеме, и оно решает, что дискуссия об остатках феодального порядка будет включена в порядок дня ближайшего заседания<sup>1</sup>.

В тот же день, 16 августа, делегат сельских коммун округа Лаониз Каньяр требует «во имя законов, свободы и социального равенства» упразднения всех феодальных повинностей, относительно которых не будет доказано первоначальными титулами, что они являются ценой уступки земли. И Собрание немедленно, словно не желая терять ни единой минуты и дать крестьянскому нетерпению время принять слишком острую форму, с революционной внезапностью декретирует, «что феодальные и сеньориальные повинности **всякого рода упраздняются без возмещения**, когда они не являются ценой первоначальной уступки земли». И Собрание возлагает на свой Феодальный комитет заботу об уточнении без отлагательств условий доказательства.

Так феодальные повинности, словно паразитические растения обвившие ствол старой монархии и усугублявшие ее смертоносную тень, пали в один день с королевской властью.

20 августа от имени Феодального комитета Лемаллио вносит проект декрета, который не доходил еще до самых корней, но однако был чреват важными последствиями. Этот декрет касался феодальных повинностей, для которых сохранялся выкуп потому, что сеньор мог доказать первоначальными титулами, что эти повинности были ценой уступки земли. Целью декрета было облегчение выкупа. Для этого надо было сначала постановить, что различные повинности могут выкупаться порознь, и затем, что лица, обязанные солидарной повинностью, могут выкупать порознь каждый свою долю.

Декрет был принят без каких-либо возражений. Статья 1 гласила:

«Каждому владельцу фьефа или земельного участка, бывшего прежде зависимым от фьефа, будь то цензива или неблагородное держание, будет разрешено выкупать раздельно как случайные повинности, относительно которых будет доказано представлением первоначальных титулов, что они являются ценой уступки земли, так и ценз и другие ежегодные и постоянные повинности, каковы бы они ни были и как бы они ни именовались, и он не будет обязан выкупать одновременно те и другие. Он сможет также выкупать раздельно и последовательно различные случайные повинности, подтвержденные предъявлением первоначального титула».

Статья 2 резко снижала цену выкупа:

«Выкуп случайных повинностей будет производиться только на основе стоимости необработанной земли и без учета стоимости строений, разве что в изначальном документе об инфеодации будет указано, что земля была обработанной и что строения существова-

1. Декрет о приостановлении всех судебных исков по взысканию бывших феодальных повинностей (16 августа 1792 г.). Собрание от-

ложило до субботы 18 августа обсуждения проекта декрета об остатках феодального порядка вообще.

ли в ту пору, в таком случае выкуп будет произведен только на основе стоимости строений и земли в момент инфеодации».

Статья 3 полностью ставила момент выкупа в зависимость от воли нового лица, обязанного этими повинностями:

«Каждый покупатель сможет непосредственно после приобретения потребовать от бывшего сеньора предъявления его первоначального титула. Если тот его предъявит, покупатель будет обязан выкупить случайные повинности в соответствии с предшествующими законами. Если же бывший сеньор не предъявит этого документа в течение трех месяцев со дня требования, то покупатель будет навечно освобожден от уплаты и выкупа всех цензуальных повинностей, пошлины при переходе имущества в другие руки, как бы они ни именовались, и бывший сеньор будет лишен безвозвратно права доказывать впоследствии, что эти поборы ему причитаются».

И статья 4 добавляла:

«Каждый собственник сможет предъявить такое же требование бывшему сеньору; если первоначальный документ окажется в порядке, он будет обязан внести выкуп только в случае продажи».

Эти статьи достаточно характеризуют дух проекта. Он облегчал всеми средствами выкуп тех случайных повинностей, которые, будучи обоснованы первоначальными титулами, не упразднялись безвозмездно.

Проект отменял также солидарную ответственность:

«Всякая солидарность в уплате ценза, рент, поставок натурой и повинностей, каковы бы они ни были и как бы ни именовались, отменяется без возмещения. Следовательно, каждый из обязанных этими повинностями будет волен выкупать свою долю ренты, и его нельзя принудить оплатить долю других обязанных».

Но вот перед нами окончательный текст декрета, который Майль предложил 25 августа от имени Феодального комитета. Он не ограничивается облегчением выкупа. Он постановляет, что все феодальные повинности, решительно все, как цензуальные и ежегодные, так и случайные повинности, *упраздняются без возмещения*, разве что будет предъявлено доказательство посредством первоначального документа, подтверждающего, что они являются ценой уступки земли.

Законы, изданные Учредительным собранием, упразднили без возмещения лишь повинности, связанные с личной зависимостью. Что касается тех, значительно более многочисленных повинностей, которые представляли собой реальный мэнморт или смешанный мэнморт, то есть полуреальный, полурличный, то их надлежало выкупать. Законодательное собрание разрушило этот узел рабства и отменило все повинности без возмещения.

«Все следствия, могущие проистекать из правила *«нет земли без сеньора»*, из рабства, из статутов, кутюмов и правил, связанных с феодальным порядком, считаются недействительными.

Всякая земельная собственность считается вольной и свободной от всяких повинностей, как феодальных, так и цензуальных, если те, кто их требует, не докажут обратного в порядке, изложенном ниже.

Всякие акты освобождения от реального или смешанного мэнморта и всякие прочие равноценные акты отменяются и аннулируются. Все повинности, десятины или какие бы то ни было платежи натурой, установленные вышеуказанными актами, как замена мэнморта, упраздняются без возмещения.

Все наследственные участки, уступленные в качестве цены за освобождение от мэнморта, будь то общинами или частными лицами, и еще находящиеся в руках бывших сеньоров, будут возвращены тем, кто их уступил, и с них нельзя будет требовать денежных сумм, обещанных за это и еще не уплаченных бывшим сеньорам.

Постановления предыдущей статьи будут равным образом иметь силу в бывших провинциях Булоннэ, Нивернэ и Бретани для всех актов, касающихся бывших держаний в порядке борделажа, мота и кевеза<sup>2</sup>.

Затем феодальный комитет перечисляет во всем их невероятном разнообразии, провинциальном и локальном, все феодальные повинности, повинности обременительные или повинности унижительные, он приглашает их, так сказать, предстать перед лицом победоносной Революции. И, называя их все их различными и странными именами, так чтобы уши и сердце каждого крестьянина открылись, он их вдруг уничтожает бесследно. Все повинности отменены без возмещения. Взгляните на эту живописную вереницу и, хотя мне не хватает времени и места, чтобы передать точный смысл каждого из этих слов, вспомните, что каждое из них представляло для какого-то числа крестьян некое бремя или притеснение. И согласитесь, что Законодательное собрание, решившись наконец под влиянием потрясения 10 августа покончить со старым миром, нашло поистине гениальный способ побудить французского крестьянина одобрить все более и более смелые действия Революции. Падение короля и падение феодальных повинностей — именно эту всемогущую ассоциацию идей создало Законодательное собрание.

2. Борделаж (Bordelage) — сеньориальное право, особенно в Нивернэ, в силу которого сеньор взимал часть доходов с наследства. Кевез (quevaise) — вид держания, практикуемый в некоторых церковных сеньориях Бретани, в частности в епархии Трегье, в силу которого если держатель кевеза умирал, не оставив пря-

мого наследника, прожигающего с ним на началах общего хозяйства, то держание возвращалось к сеньору. Держатель кевеза не мог его продать и отчуждать без разрешения сеньора, который в таких случаях взимал четверть, а иногда треть продажной цены; с него полагался шампар в виде седьмого снопа.

«Все полезные феодальные или цензуальные повинности, все ежегодные сеньориальные повинности деньгами, зерном, птицей, воском, продуктами или плодами земли, выплачиваемые под наименованием ценза, оброка, сверхценза (*sur-cens*), капказалья \*, сеньориальных или эмфитевтических рент, шампара, таска, терража, арража, агрье, комплана, соета, инфеодированных десятиц в той мере, в какой они принадлежат к феодальным или цензуальным повинностям...»

«Все повинности, сохраненные [различными] статьями декрета от 15 марта 1790 г. и известные под наименованиями: сбор с дыма, подымная подать, подать с очага, фуаж, монеаж, буржуази, конже, шьеннаж \*\*, обязательство предоставлять помещение для собак сеньора, гет э гард, стаж или эстаж, шассиполери \*\*\*, подать на ремонт изгородей и укреплений местечек и замков, пюльвераж, банвен, вэ-дю-вен, этанш, санс де команд, гав, гавенн или голь, пурсуэн, совман или совгард, авуэри или вуэри, эталонаж, минаж, мяняж, менаж, лёд, лэд, пюньер, бишенаж, леваж, малый кутюм, секстераж, копонаж, копаль, куп, картелаж, стеллаж, сьяж, палетт, онаж, эталь, эталаж, кэнталаж \*\*\*\*, право сеньора на установление мер и весов, баналитеты и барщины;

Поборы, сохранившиеся под наименованиями права отдельного стада, блери или вен патюр \*\*\*\*\*,

Повинности кет, колект и двадцатина \*\*\*\*\*, не упомянутые в предыдущих декретах;

**И вообще все сеньориальные права, как феодальные, так и цензуальные, сохраненные или объявленные предыдущими законами подлежащими выкупу, каковы бы ни были их природа и наименование, в том числе и те, которые могли быть не упомянуты в вышеуказанных законах или в настоящем декрете, а равно и все абонементы, пенсии и любые поставки натурой, их заменяющие, — упраздняются без возмещения, разве что будет доказано, что они имеют своим источником первоначальную уступку земли, причем этот источник будет считаться установленным, только если о нем будет ясно заявлено в первоначальном акте об инфеодации, уступке земли во владение на условиях уплаты ценза, или цензуального договора, который должен быть представлен».**

Таким образом, раскаты народного грома 10 августа отозвались в самой глубине отдаленных долин словами освобождения. Защищайте, крестьяне, Революцию и отечество, чтобы защитить себя. Когда Собрание обнародовало этот великий декрет, граждане начали друг с другом советоваться и расспрашивать о предстоящем в ближайшее время созыве первичных собраний. Так возникали повсюду разбросанные центры, которые распространяли, как эхо, весть об освободительных законах.

## ВОПРОС ОБ ОБЩИННЫХ ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЛЯХ ЭМИГРАНТОВ

По-видимому, сразу после 10 августа и как бы для того, чтобы сделать невозможной всякую попытку совершения контрреволюции, Законодательное собрание захотело одним ударом разрешить

\* Капказаль (*capcasal*) — редкое название чинша. — *Прим. ред.*

\*\* Фуаж (*foUAGE*), монеаж (*monEage*), конже (*congE*) — различные наименования подати с очага.

Буржуази (*bourgeoisie*) — чинш с дома, начало этому налогу было положено при освобождении сервов; с этого времени все горожане или мещане, бывшие до того сервами, были обязаны платить определенный ежегодный налог своему бывшему господину.

Шьеннаж (*chiennage*) — ежегодный оброк овсом, предназначавшийся первоначально на корм собакам сеньора. — *Прим. ред.*

\*\*\* Гет э гард (*guet et garde*) — ежегодный оброк деньгами или хлебом вместо существовавшего ранее обязательства охранять замок сеньора.

Стаж, эстаж — ежегодный умеренный денежный налог взамен существовавшего ранее обязательства вассалов оставаться во время войны в пределах сеньории для охраны земли сеньора.

Шассиполери (*chassipolerie*) — то же, что гет э гард. — *Прим. ред.*

\*\*\*\* Вэ-дю-вен (*vêt-du-vin*), этанш (*étanche*) — то же, что банвен.

Санс де команд (*sens de commande*) — ежегодный налог с вдов сервов во время вдовства, для сохранения сервальной зависимости.

Гав (*gavo*), гавенн (*gavenn*), голь (*gaule*), пурсуэн (*poursuin*) — налог за покровительство сеньора, имевший целью в период частных войн гарантировать церкви, находившиеся в пределах фео-

или цензив, от нападений врагов.

Совман (*sauvement*), совгард (*sauvegarde*), авуэри (*avouerie*), вуэри (*vouerie*) — то же, что гет э гард.

Эталонаж (*étalonage*) — право сеньора на установление мер и весов в пределах сеньории.

Минаж (*minage*), мяняж (*myage*), менаж (*ménage*), лед (*leude*), лэд (*leyde*), пюньер (*pugnière*), бишенаж (*bichénage*) — рыночные пошлыны.

Леваж (*levage*) — особый вид дорожной повинности, платившейся со всех товаров, провозившихся через сеньорию с остановкой в пределах последней не менее 8 дней.

Малый кутюм — вид дорожной пошлыны.

Секстераж (*sexterage*) — пошлына, взимавшаяся в пользу сеньора на рынке за измерение привозившегося для продажи хлеба в зерне.

Копонаж (*coponage*) — пошлына, взимавшаяся капитулом св. Иоанна Лионского с зернового хлеба, предназначенного для продажи в городе Лионе.

Копаль (*copal*), куп (*coupe*) — виды рыночных пошлын.

Картелаж (*cartelage*) — рыночная пошлына, взимавшаяся решительно со всех товаров.

Стеллаж (*stellage*) — рыночная пошлына, взимавшаяся только с зерна и хлеба.

Сьяж (*sciage*), онаж (*aunage*), кэнталаж (*quintalage*) — рыночные пошлыны.

Эталаж (*étalage*), эталь (*éta-le*) — рыночные пошлыны за место, занимаемое торговцем на рынке. — *Прим. ред.*



все вопросы, интересовавшие сельскую Францию. Выше я отметил его великое усилие, направленное против феодальных повинностей, против «этих обломков рабства, покрывающих и пожирающих земельные владения», как сказано в преамбуле декрета, который представил Майль. 14 августа Франсуа де Нёшато поднял один за другим вопрос об общинных землях и об эмигрантских землях.

Сначала он заявил: «Расширив милость или, вернее, акт справедливости, начало которому положило Учредительное собрание, когда приступило к упразднению феодальных повинностей, Собрание, однако, еще не освободило народ полностью от угнетавшего его бремени. Существуют общинные владения, которые никому не принадлежат, ибо они принадлежат всем. Но богатые присваивают их себе. Настало время прекратить эту несправедливость и разделить эти владения между более бедными. Итак, я предлагаю, чтобы начиная с этого года, сразу же после сбора урожая, все общинные земли были разделены между гражданами. Граждане смогут пользоваться на правах собственности своими соответствующими наделами. Для установления порядка раздела обязать Комитет земледелия безотлагательно представить проект декрета».

Я не задаю здесь вопросом, было ли предложенное Нёшато решение наилучшим для того времени, и не лучше ли было бы уже тогда организовать коллективную, научную и эгалитарную эксплуатацию общинных земель. Но верно, что выгоды от пользования этими землями в то время извлекали главным образом богатые и что немедленное распределение земель между более бедными жителями способствовало бы созданию еще одного связующего звена между Францией и Революцией.

Собрание сразу же приняло декрет, соответствовавший предложениям Франсуа де Нёшато<sup>3</sup>.

А последний сразу же внес другое решающее предложение. «Продажа земель эмигрантов представляет собой средство привязать сельских жителей к Революции. Я предлагаю, чтобы эти владения с сего дня поступили в продажу и отдавались за годовую ренту небольшими участками в два, три, четыре арпана, для того чтобы бедные могли этим воспользоваться».

Таким образом, переданные в распоряжение нации владения эмигрантов должны были немедленно поступить в продажу, быть разделены и распределены между революционной буржуазией и крестьянами. Собрание встретило предложение Франсуа де Нёшато самыми горячими аплодисментами и тут же, без прений, приняло следующий декрет, выстреленный, если можно так выразиться, из пушки 10 августа<sup>4</sup>:

«Национальное собрание по предложению одного из своих членов, признав вопрос неотложным, декретирует поэтому, имея в виду увеличить число мелких собственников: 1) что в нынешнем

году и непосредственно после сбора урожая земли, виноградники и луга, бывшие собственностью эмигрантов, будут разделены на мелкие участки по два, три и самое большее четыре арпана, которые будут продаваться с торгов и отчуждаться в бессрочное владение за ренту в деньгах, каковая всегда сможет быть выкуплена; 2) что Национальное собрание отменяет в этом отношении свой декрет, предписывавший немедленную продажу земель эмигрантов<sup>5</sup>, но указанный декрет остается в силе для движимого имущества и для замков, зданий и лесов, которые не могут быть разделены в интересах земледелия; 3) что тем, кто предложит приобрести за наличные деньги земли, виноградники и луга, будет разрешено набавлять на торгах цену на любой надел по их желанию, все это в соответствии с порядком, который немедленно будет разработан на совместном заседании Комитетом земледелия и Комитетом государственных имуществ».

Итак, не исключая немедленной уплаты, в которой Революция нуждалась, не запрещая буржуазии и богатым крестьянам набавлять цену при этих немедленных платежах по сравнению с ценой, предлагаемой на аукционе бедным крестьянином, покупавшим землю на условиях внесения ежегодной ренты, Собрание все же намерено было в то время создать множество мелких собственни-

\*\*\*\*\* Право отдельного стада (troupeau à part) — право сеньора посылать на общинные угодья своего пастуха и свой скот, но не более 1/3 голов, допускаемых плодородием поля. Это право приводило к опустошению общинных выпасов.

Блери и вен патюр — оброк, выплачиваемый крестьянами сеньору за уступленные им крестьянам в общее пользование общинные угодья, луга, болота, выгоны и т. п. — Прим. ред.

\*\*\*\*\* Кер (quête), колект (collecte) — разновидности фуажа.

Двадцатина (vingtaine) — налог, равнявшийся 1/20 урожая и имевший своим назначением постройку и ремонт стен городов, местечек и замков. — Прим. ред.

3. Декрет от 14 августа 1792 г. воспроизводит дословно предложение Франсуа де Нёшато. Декрет был составлен наспех, общо, и был трудно применим. Поэтому Конвент приостановил его действие (11 октября 1792 г.) до того

дня, когда будут проведены все необходимые предварительные меры. 10 июня 1793 г. Конвент принял декрет о порядке раздела общинных земель. См. G. B o u r g i n. Les communaux et la Révolution française. — «Nouvelle revue historique du droit français et étranger», 1908.

4. 30 марта 1792 г. Законодательное собрание объявило о передаче земель эмигрантов в распоряжение нации; 27 июля оно опять объявило эти земли конфискованными. Декрет от 14 августа 1792 г., принятый по предложению Франсуа де Нёшато, предусматривал отчуждение их небольшими участками в бессрочное владение за уплату ежегодной ренты деньгами. Эти положения перешли в декрет от 2 сентября 1792 г., детально излагавший порядок продажи: но при этом покупателям за наличные деньги отдавалось предплатенное перед покупателями за ренту.

5. Имеется в виду декрет от 27 июля 1792 г., который предписывал немедленную продажу земель эмигрантов.

ков посредством обязательного раздела имений на мелкие участки и замены уплаты капитала уплатой ренты.

По вопросу об общинных землях Собрание не довело дела до конца. 8 сентября Франсуа де Нёшато, докладчик, довел до сведения Собрания, что комитет, принявшись за разработку порядка раздела угодий, столкнулся с величайшими трудностями и предпочел предоставить общинам свободу действий и не представлять законопроект по этому вопросу. Камбон энергично выступил против этого отрицательного вывода. Он воскликнул, что «надлежит настоятельно предписать равный раздел общинных земель между обездоленными гражданами, не имеющими собственности». Собрание приняло декрет, соответствовавший мысли Камбона, но это был лишь принципиальный декрет. Камбон потребовал передачи вопроса в комитет, которому он изложит свои взгляды на способ раздела.

И он добавил:

«Но если угодно обсудить этот вопрос сегодня, я требую, чтобы раздел производился по числу лиц без различия. Если вы примете мое предложение, то отец семейства, у которого восемь детей, получит девять долей, а холостяк получит только одну долю. Такой порядок раздела представляется мне самым справедливым».

Другой депутат потребовал, «чтобы раздел производился обратно пропорционально размерам имеющейся у граждан собственности, то есть чтобы более богатый гражданин получил меньшую долю, а более бедный — большую».

Вопрос был передан в комитет. Законодательное собрание, деятельность которого приближалась к концу, не решил его. Он будет решен Конвентом, но уже с этого момента свет новой, осуществимой в близком будущем надежды засиял крестьянам. Вопрос об общинных землях породил другое предложение. Недостаточно было обеспечить бедным, безземельным раздел общинных земель. Надлежало также вернуть коммунам все земли, узурпированные у них на протяжении столетий сеньорами.

Это стало предметом очень важного и широкого предложения, которое Майль внес в Собрание 28 августа от имени Феодального комитета. Оно содержало отмену всех постановлений ординаса 1669 г.<sup>6</sup> и обязывало сеньора вернуть коммунам (за исключением случаев предъявления точного и обоснованного документа, удостоверяющего право собственности сеньора) все невозделанные земли и пустоши. Предложенный закон отменял все судебные решения, принимавшиеся на протяжении веков и противоречившие правам и интересам коммун и крестьян. И этот закон уже не мог быть принят Законодательным собранием, завещавшим его Конвенту<sup>7</sup>. Но путь был открыт, и крестьяне знали, что, идя в направлении, указанном Революцией, они будут обретать, так сказать, на каждом шагу новые благодеяния.

Что касается продажи земель эмигрантов, то претворение ее в жизнь уже началось. Опасаясь, как бы многие эмигранты, стремясь избежать реквизиции их имений нацией, не превратили свою земельную собственность в движимые ценности и в векселя на предъявителя, Собрание издало 23 августа декрет, которым всех должников эмигрантов обязывали заявить о своих долгах. Кроме того, «всем нотариусам, поверенным, секретарям судов, приемщикам имущества, сдаваемого на хранение, управляющим, главам и директорам акционерных компаний и всем прочим общественным должностным лицам и депозиторам предписывается в течение недели со дня опубликования сего декрета представить в муниципалитет по месту их жительства декларацию о ценностях, наличных деньгах, акциях, счетах и других ценных бумагах на предъявителя, документах, удостоверяющих право собственности, о договорах на получение ренты, об облигациях, платежи по которым производятся в определенные сроки, о векселях и вообще о всех находящихся у них на руках» предметах, принадлежащих эмигрантам. Эти декларации должны подтверждаться присягой.

25 августа Собрание приняло решительный декрет, распространивший этот закон об имуществах эмигрантов на колонии.

«На имущества, принадлежащие несомненным эмигрантам в колониях, составляющих часть [французского] государства, будет наложен арест, и они будут проданы в пользу казны, и полученные за них деньги пойдут на возмещение убытков нации. — Для облегчения распродажи административные власти могут отдать имущества с торгов, причем платежи могут осуществляться годичными взносами в течение 12 лет или выкупными рентами. — Немедленно после обнародования настоящего декрета в каждой из колоний прокурор каждой коммуны распорядится запретить по его требованию всякому управляющему именьями, владельцу которых в них не проживает или не сможет доказать свое местожительство, производить в пользу этого собственника выплату каких-либо сумм; он принудит его в установленном законом порядке внести доход от вверенной ему плантации в кассу колонии... кроме сумм, необходимых для ведения хозяйства и поддержания его в исправном виде; суммы эти будут определены муниципалитетами по просьбе управляющего».

6. Статья 4 части XXV ординаса 1669 г. разрешала *триаж* общинных угодий в пользу сеньора (право *триажа* — обычай, в силу которого сеньор присваивал себе право владения частью общинных земель прихода, как правило одной третью, если традиция подтверждала, что эти земли были

уступлены общине его предками).  
7. Фактически Законодательное собрание приняло этот декрет 28 августа 1792 г. Ошибка Жореса, вероятно, объясняется тем, что этот закон был обнародован не Законодательным собранием, а спустя год, 8 сентября 1793 г., Конвентом.

Это был сильнейший удар, нанесенный по той колониальной аристократии, которая столь страстно стремилась вызвать во Франции контрреволюцию.

Наконец, 2 сентября Законодательное собрание приняло окончательный текст декрета, постановления которого регулировали вплоть до мельчайших деталей продажу имуществ эмигрантов в соответствии с принципами, установленными 10 августа. Декрет предусматривал возмещение кредиторов эмигрантов: но в случае несостоятельности обеспечением долговых обязательств должно служить только имущество должника, а не общая выручка от продажи всех имуществ эмигрантов.

Статья 10 гласила: «Имения будут либо *продаваться*, либо *отчуждаться на условии выплаты ежегодной ренты*».

Статья 11: «С целью увеличения числа собственников, земли, луга и виноградники будут при продаже или при заключении договоров об уплате ренты как можно более полезным образом дробиться на мелкие участки. Что же касается лесов, равно как и прежних замков, домов, заводов и других объектов, не поддающихся делению для использования в земледелии, то они будут продаваться или сдаваться в аренду целиком или порознь, смотря по тому, что административные органы признают более выгодным».

Обратите внимание, что максимум в 4 арпана, установленный в августе для участков, здесь не сохранен, и, таким образом, часто будет легко не производить «раздела» продаваемых владений. В данном случае финансовые и буржуазные расчеты сдерживают тот порыв демократии, который проявился на следующий день после 10 августа. Тем не менее тенденция к разделу нашла по-прежнему выражение в законе.

*Статья 12.* В случае конкуренции на публичных торгах между лицом, предлагающим заключить договор об уплате ренты, и лицом, предлагающим купить за наличные, *при равенстве после надбавок* между суммой, предлагаемой в случае продажи, и тем капиталом, соответствующую которому выкупную ренту предложено уплачивать, предпочтение будет отдаваться покупателю, предлагающему заплатить наличными деньгами».

И в данном случае закон вновь оказывает предпочтение состоятельным покупателям, тем, кто может немедленно заплатить.

*Статья 13.* Если лицо, приобретшее с торгов земельный участок на основе заключения договора об уплате им ежегодной ренты, не внесет в течение двух лет земельной ренты, определенной при сдаче с торгов, то он будет законным образом лишен собственности на основании простого уведомления его об этом, и не потребуются ни под каким предлогом судебного решения».

Наконец, чтобы покупатели продаваемых имуществ могли свободно располагать ими, статья 16 предусматривала, что «лицо, приобретшее с торгов участок, в какой бы то ни было форме, сможет удалить арендатора, вознаградив его за убытки, причем

для этого вознаграждения необходимо, чтобы арендный договор был заключен до 9 февраля прошлого года».

Впрочем, это было неизбежное следствие дробления имений.

Несмотря на ограничения, которые претерпели первоначальные демократические тенденции закона в его окончательном проекте, это объявление о продаже земель эмигрантов привлекло на сторону Революции бесчисленное множество людей, возбудив их страсти и интересы. Совокупностью принятых или провозглашенных мер, касающихся феодальных повинностей, общинных земель и имущества эмигрантов, Законодательное собрание вызвало в августе и сентябре по всей сельской Франции неодолимое движение.

## МИССИИ В АРМИЯХ

В то же время посредством энергичных и ловких мероприятий Собрание обеспечивало себе сочувствие в армиях. В каждую армию оно посылало комиссаров, которым поручалось объяснять события и добиваться повиновения суверену-нации со стороны всех генералов и солдат. По пути комиссары останавливались в главных городах, рассказывали о событиях 10 августа. Они были хорошо приняты почти всюду. В Реймсе город встретил их иллюминацией, были зажжены костры в честь федератов, одержавших победу в Париже. В Лионе порыв национального чувства тоже был сильным. В Рейнской армии настроения генералов были очень смешанные. Келлерман и Бирон были преданы Революции. Брольи, Каффарелли отмалчивались. Карно и его коллеги временно отстранили их. В Северной армии, куда Дюмурье прибыл недавно, настроение было хорошее, и сам Дюмурье написал Собранию письмо с выражением полной преданности.

Но в армии Центра, которой командовал Лафайет, одно время пришлось столкнуться с серьезными трудностями. Лафайет убедил войска, что события 10 августа — это лишь налет марсельских мятежников; что Собрание постановило отрешить временно короля от власти только под угрозой штыков; что муниципалитет организовал систематическое истребление всех швейцарцев, всех честных граждан; что существовал сговор между парижскими бунтовщиками и иностранными державами, которые использовали их для дезорганизации Франции; что вместо Людовика XVI мятежники собираются посадить на трон мэра Парижа, «короля Петигона». Неужто они пойдут проливать свою кровь за корону короля Петигона?

Лафайет внушил также директории департамента Арденны и администраторам Седана, что три комиссара Собрания, Антонель, Перальди, Керсэн, могли быть только орудием мятежников и сами тоже мятежники. Сразу по прибытии они были арестованы и заключены в замок.

Но что мог сделать Лафайет? Он хотел бы идти на Париж и увлечь за собой свою армию. Но уже большие города, такие, как Реймс, решили преградить ему дорогу. С другой стороны, его солдаты были смущены и встревожены в лагере, в котором их изолировали, у них создалось впечатление, что им не говорят всю правду, и, когда Лафайет прибыл провести смотр, чтобы увериться в их повиновении, они встретили его, пока еще робкими, возгласами «Да здравствует Национальное собрание! Да здравствует нация!»

«Как,— говорили волонтеры,— мы стоим у самой границы, и вместо того, чтобы сражаться против врага, для борьбы с которым мы пришли из наших деревушек, мы двинемся против Парижа!»

Собрание послало трех новых комиссаров, Кинета, Инара, Бодена, чтобы передать свои требования Северной армии и администраторам. Оно декретировало, что они ответят Собранию головой за жизнь комиссаров. Оно приняло обвинительный декрет против Лафайета и приказало его армии не повиноваться ему более. Лафайет, обескураженный, в ночь с 19 на 20 августа пересек границу. К счастью для его славы, враг продолжал еще видеть в нем одного из деятелей Революции. Он был арестован и брошен на ряд лет в австрийские тюрьмы. Дюмурье был назначен на пост командующего армией Центра, и он сразу вдохнул в нее свою уверенность, свою бодрость и активность «Наконец-то,— говорили солдаты,— мы двинемся!»

## ПУТЬ, ПРОЙДЕННЫЙ С 1789 г.

Итак, Революция 10 августа была вскоре принята и даже одобрена. Конституция 1791 г. отжила свой век, рождалась республика. Какой долгий путь был пройден за три года! В 1789 г. все депутаты, все члены Учредительного собрания были роялистами. Все хотели примирить идеальное и вечное право человека и суверенное право нации с историческим правом монархии.

Среди них были умеренные, которых пугала мысль о возможности слишком легко поколебать королевскую власть. На правом крыле этой группы был Малуэ, на левом — Лафайет. Были такие, которых можно было бы назвать радикалами-конституционалистами; ради того, чтобы окончательно уничтожить привилегии дворянства и окончательно обеспечить правление революционной буржуазии, они одно время как бы полностью отдались страстям народа, не давали покоя королевской власти и стремились, по английскому выражению, возможно больше ограничить ее прерогативу. Эта группа, включавшая деятелей от Барнава до Дюпора, распатывала монархию; но она не хотела вырвать ее с корнем. Она кокетничала с демократией, и Дюпор дошел даже до того, что предложил всеобщее избирательное право. Но в целом группа была озабочена прежде всего упрочением власти буржуазии. Она обращалась к народу лишь постольку, поскольку нужно было напугать монархию и сдерживать ее. Она хотела сохранить от монархии ровно столько, сколько было нужно, чтобы охранять от «анархических» элементов нарождающееся правление просвещенной буржуазии.

Дальше идет партия демократов во главе с Робеспьером. Эти не стараются, если можно так выразиться, дозировать полномочия королевской власти и нации. Они думают о нации. Ей они хотят

обеспечить ее полные права: всем гражданам — по ружью, всем гражданам — право голоса; и никакое *вето*, запретительное или приостанавливающее, не должно ограничивать верховную власть народа, представленного своими делегатами.

Что касается королевской власти, то она сохранит всю ту власть, которая совместима с полным осуществлением демократического права: она будет хранительницей, исполнительницей народной воли. И сохраняющийся, несмотря на все, вес ее исторической привилегии будет иметь только один результат: предотвращение захвата власти опрометчивыми партиями или популярными узурпаторами.

Одно время казалось, что над партиями парил гений Мирабо, пытавшегося примирить полноту королевской власти с полнотой народного права. Он надеялся в своем парении охватить, так сказать, весь горизонт и связать воедино его противоположные края. Тревожный и одинокий орел, возносивший столь высоко, к солнцу и славе, свои честолюбивые устремления и свои терзания, внезапно упал, сраженный смертью и отягченный тайными пороками. И парадокс гения перестал нарушать ход нормальных комбинаций.

Но все, от Малуэ до Робеспьера, в 1789—1791 гг. были монархистами. А во второй половине 1791 г. в Учредительном собрании произошло как бы некоторое усиление монархического чувства вследствие отхода тех, кого я назвал радикалами-конституционалистами, на позиции модерантизма. В то время, от марта до октября, Барнав и его друзья составляли критическую и решающую силу Революции.

Если бы, осведомленные об упорном сопротивлении двора революционному делу и встревоженные тайными интригами короля за границей, они поняли бы непрочность Конституции 1791 г. и если бы они сблизилась с демократической партией, то, быть может, королевская власть была бы устранена после бегства в Варенн. Но Барнав и его друзья, далекие от желания идти к демократическому идеалу, сначала остановились и вскоре отступили.

Не объясняется ли это восходящей популярностью Робеспьера, вызывающей ревность у этих тщеславных и легкомысленных людей? Или, быть может, смерть Мирабо, единственным соперником которого на трибуне казался одно время Барнав, внушила последнему мысль занять его место и сыграть роль руководителя Революции, которую великий трибун оставил вакантной? Или могущественные колониальные интересы, с которыми он оказался связанным, навязали ему политику консерватизма и буржуазной олигархии? Показалось ли ему, что движение Революции, которая, по его социальной философии, должна была заменить могущество земельной собственности движимой собственностью, уже достигло своего предела? Со второй половины 1791 г. Барнав становится человеком сопротивления [революции]. Его друзья,

те, кого я назвал радикалами-конституционалистами, сближаются с друзьями Лафайета, модерантистами. И после Варенна у Барнава только одна забота — спасти короля и монархию.

Итак, по странному парадоксу истории, королевская власть как будто бы расширяет свое влияние на партии Революции по мере того, как грехи и преступления самой монархии против Революции множатся.

В этих-то условиях замешательства и лжи родилось Законодательное собрание, и не приходится удивляться его неуверенности и его слабости. Было сказано, что причиной колебаний и оплошностей Законодательного собрания был декрет, коим Учредительное собрание постановило, что его члены не могут быть переизбраны. Это неверно. Конечно, этому совсем новому Собранию недоставало, если можно так выразиться, профессионального опыта, но у него был достаточный политический опыт. В течение трех лет Революция была замечательной воспитательницей. К тому же Собрание не было единственным центром влияния, и люди, вовсе не входившие в состав Законодательного собрания, могли оказывать влияние извне на ход дела.

Робеспьер руководил частью общественного мнения через Общество якобинцев, как если бы он был депутатом. А Барнав, Ламеты, Дюпор интриговали при дворе, ввязывались в опасные дипломатические комбинации и управляли тайной политикой фейянов так, как если бы они были явными руководителями их партии в Законодательном собрании. Нет, нерешительность и непоследовательность Собрания объясняются вот чем: руководящие классы Революции были еще монархическими, а монарх упорно изменял Революции. Историческая функция Законодательного собрания заключалась в том, чтобы положить конец этому скандальному и грозящему гибелью противоречию. Задача была трудной, ибо измена короля была тайной: он притворялся исполненным уважения к конституции, в то же время парализуя ее, а его тайные сношения с иностранными державами прикрывались непрерывной ложью его патриотических деклараций.

Я был очень строг к тем, кто, поддавшись нетерпению и тщеславию, не нашли другого средства, кроме внешней войны, чтобы сделать явной королевскую измену. Я в этом не раскаиваюсь: ибо не доказано, что рассудительная, твердая и терпеливая политика не заставила бы короля открыться без того, чтобы была развязана страшная опасность войны.

Верно, конечно, и то, что иностранные деспоты рано или поздно образовали бы коалицию против Революции, сияющий пример которой был бы всюду угрозой для тирании. Все же было крайне важно отнюдь не давать повода для этой коалиции, не оживлять ее. Кто знает, не была ли бы позиция Англии другой в 1793 г., если бы Жиронда не совершила неосторожных действий в 1792 г.? Но я спешу сказать, что нетерпение жирондистов, а также их иллю-

зия могут быть объяснены и их можно извинить по ряду соображений. Чувствовать, как скрытая измена короля словно яд проникает в кровь страны, и не иметь возможности ни разоблачить, ни устранить эту измену — это невыносимая пытка.

Как препарат в анатомическом кабинете вводит некоторые вещества в организм, коего скрытые черты он хочет выявить, как химик изучает неизвестное и подозрительное вещество посредством реактивов, так жирондисты впрыснули Революцию войну, чтобы выявить скрытый яд королевских измен. Бриссо не побоялся сказать это и повторить, и еще раз, 20 сентября 1792 г., выступая как бы с общим обзором деятельности Законодательного собрания, он скажет с особенным ударением:

*«Чтобы все французы увидели коварство двора, надлежало подвергнуть его большому испытанию, и этим испытанием была война с Австрийским домом. Как мы уже сказали, Францию мы спасли только тем, что привили ей измену. Не будь войны, ни Лафайет, ни Людовик не были бы полностью разоблачены. Не будь войны, не было бы Революции 10 августа. Не будь войны, Франция не стала бы республикой; сомнительно даже, чтобы она стала ею через двадцать лет».*

Страшная прививка. Чудовищный опыт, и люди никогда не решатся вынести окончательное суждение относительно него. Жиронда частично ошиблась относительно настроений народов: она сочла их более сочувственно расположенными к Французской революции, чем это было на самом деле. Но сколь естественна была эта ошибка! Как! Франция провозглашает полную свободу совести и ума! Она провозглашает, что никого нельзя будет беспокоить за его верования. Она открывает Вселенную любознательности и дерзаниям всех умов! И неужели она не встретит всюду восторженной симпатии людей, чье сознание угнетено, чьи умы наполовину скованы? Как! Революция провозглашает Права Человека, она объявляет всем человеческим существам об их достоинстве, она им напоминает, что это достоинство неотъемлемо, что это право неотчуждаемо, что века и века рабства не могли уничтожить его и что миллионы людей, крепостных и дворян, этих рабов королей, могут осуществлять свою суверенную свободу, как если бы они никогда от нее не отрекались. И неужели со всех сторон поработанные не ответят на ее призыв? Как! Революция сломала старую феодальную систему; она отменила десятину, отменила барщину, отменила крепостную зависимость, упразднила феодальные права, а крестьяне Бельгии, Голландии, Германии, Италии, изнемогающие под игом крепостной зависимости, барщины, под бесчисленными сеньориальными повинностями, не выпрямятся при первом призыве Революции? Как! Впервые промышленная буржуазия, производящая и руководящая производством, призвана контролировать государственные дела; Революция предоставляет ей гораздо большее, гораздо более решающее влияние, чем то, кото-

рым обладает английская буржуазия, еще зажата между королевской прерогативой и могуществом лендлордов; и неужели повсюду буржуазия не встретит сочувственно Революцию? Таковы были пламенные надежды жирондистов.

Они были далеки от точного расчета силы сопротивления предрассудков и привычек, чувствительности национальных самолюбий. Но тем не менее после многих задержек и испытаний их надежда оправдалась. Французская революция стала наконец Революцией европейской: их мысль не искажала хода событий, она только ускорила его. И быть может, эта доля иллюзии была необходима великой Франции, щедрой, дерзновенной и одинокой.

По крайней мере, несмотря на свои ошибки, жирондисты сумели в это время вдохнуть в страну тот высокий энтузиазм, который смягчил опасность. А их тактика в борьбе с королевской властью имела решающее значение. Как только фактом стала война с Европой, королевская измена также стала фактом. С этого момента восстание народа должно было все смести. Последние колебания Жиронды не должны мешать нам признать, что это она развязала поток событий. И через год после монархистского и буржуазного террора, последовавшего за возвращением из Варенна, народ 10 августа сверг королевскую власть<sup>1</sup>.

Ход событий был столь быстрым, и удар, нанесенный 10 августа, был столь сокрушительным, что свершения этого дня были восприняты современниками как новая революция или по меньшей мере как истинная Революция. Для фейянов, для Барнава это была новая Революция, разрушившая созданное прежней революцией. Падение конституции представляется ему как событие, достойное сожаления, но равное по своему революционному значению падению старого порядка.

Для демократов, и для самих жирондистов, это, наконец, великий день Революции, воссиявший после бледного и сомнительного рассвета.

«Время, протекшее после Революции 1789 г., — писала газета Бриссо, — уже не было старым порядком, но это не была еще и свобода. Это было похоже на то время, что следует за окончанием ночи и предшествует восходу солнца».

10 августа с края горизонта брызнул первый луч Республики.

1. Нельзя полностью согласиться с этим суждением Жореса о жирондистах. В конце июля 1792 г. они порвали связь с революционным народом в тот момент, когда он решил дать логическое завершение их политике. 26 июля Бриссо грозил республиканцам мечом закона и высказался против отрешения от престола. 4 августа Верньо добился аннулиро-

вания постановления секции Моконсей, объявившей, что «она не признает больше Людовика XVI королем французам». Инак говорил о том, что следует декретировать арест Робеспьера. Жирондисты отступили в момент высшего подъема движения и этим вынесли смертный приговор своей партии и самим себе.

Величие Законодательного собрания, несмотря на проявления то нерешительности, то дерзновения, то слабости, заключается в том, что оно наполовину подготовило и целиком приняло эту яркую развязку опасного и темного кризиса. Это оно, в конечном счете, расчистило путь от Марсова поля, где в июле 1791 г. введенная в заблуждение Революция расстреливала народ во имя короля, и до Тюильри, где 10 августа народ сокрушил монархию.

С любезностью, к которой примешивался оттенок грусти, Бриссо подвел итог работе Собрания, в котором его друзья и он играли столь важную роль и извели, как все, кто действует, много радостей и много страданий.

«Так кончается, после года существования, эта бурная легислатура, при которой общественное мнение столь быстро прогрессировало и французская Нация гигантскими шагами шла к Республике. О ней будут судить по-разному, соответственно различию страстей, интересов и мнений. Роялизм оценит ее как собрание упорных врагов этого идола, с первого заседания и до момента роспуска скрытно подрывавших трон, который они якобы уважали, скрупулезно блюдя Конституцию. Анархизм выдаст ее за собрание людей развращенных или робких, которые принесли народ в жертву двору и свободу — в жертву Конституции. Чистый, но недостаточно просвещенный патриотизм, не учитывающий ни обстоятельств, ни характеров, сочтет ее шатким и беспринципным Собранием, которое то нападало на двор, то раболепно потворствовало ему, расшатывало Конституцию и хотело ее сохранить, благоприятствовало прогрессу общественного мнения и задерживало его. Но патриот-философ, истинный республиканец, который судит о произведенных усилиях с учетом обстоятельств, о результатах — с учетом имевшихся средств, он сравнит то, что сделано Национальным собранием, с тем, что оно могло сделать, и, не умаляя его грехов, не скрывая его ошибок, он решит, что оно вполне заслужило благодарность родины, ибо если она нуждалась во второй революции для свержения заговорщического двора, то именно оно, Национальное собрание, поддержало эту революцию и обеспечило ее расцвет».

И Бриссо, охарактеризовав политическую деятельность Законодательного собрания, резюмирует его работу в области социальной:

«С другой стороны, когда потомство будет обзирать дела этого второго Собрания, оно с благодарностью увидит, что это Собрание свергло неконституционную церковь, построенную на развалинах национального культа; что оно ввело развод; что оно уничтожило отвратительное различие между белым человеком и его черным или смуглым согражданином; что оно приказало провести продажу имущества эмигрантов малыми участками и подушный раздел общинных угодий; что оно уничтожило аристократический барьер, отделявший одних французов от других французов посред-

ством звания активного гражданина; что оно поклялось ненавидеть королей и монархию и бороться с ними; что оно мужественно объявило войну Австрийскому дому — жестокому врагу свободы Европы и бичу рода человеческого — и гвердо ведет эту войну; наконец, что, будучи зажатым между деспотизмом, стремившимся возродиться, и анархией, желавшей его заменить, оно полностью сохранило и даже значительно увеличило объем национальной свободы».

В самом деле, благодаря Законодательному собранию демократия освободилась от бесчисленных уз, грубых или тонких, коими ее опутала Конституция 1791 г., и к концу 1792 г. социальная мощь народа, движения которого она не всегда открыто поддерживала, но и не противодействовала им, заметно выросла.

Всеобщее вооружение, всеобщее избирательное право, национальный суверенитет без противовеса, эффективное и почти полное упразднение феодального порядка, широко проведенная экспроприация дворян, последовавшая за экспроприацией церкви, — таковы те живые силы, которые Законодательное собрание оставило в наследство Конвенту. Но последнему суждено схватиться врукопашную с опасностью. Ему придется уже не готовиться к войне, а вести ее. Ему придется не отстранять временно короля, а судить его и создать новое управление.

Выборы в первичных собраниях были назначены на 26 августа, выборы депутатов — на 2 сентября. Законодательное собрание заседало до того дня, когда Конвент смог собраться, то есть до 21 сентября. И в последние недели Законодательного собрания происходят значительные и страшные события: сентябрьские избиения, Арденнская кампания. Но ясно видно, что с августа месяца все политические события как бы ориентированы на предстоящее открытие Конвента. Партии стараются использовать эти события, руководить ими, то ли для того, чтобы повлиять в определенном направлении на выбор народа, то ли для того, чтобы создать у вновь избранных, еще до того как они соберутся, определенное направление мыслей. Трибуна Законодательного собрания чаще всего выглядит как трибуна избирательного собрания. Политическая борьба, происходящая в августе и сентябре, принадлежит, стало быть, больше к приближающейся жизни Конвента, нежели к отмирающей жизни Законодательного собрания. Эта борьба — пролог великой драмы, действие которой начнется с открытия Конвента.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

### (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

С тех пор как писал Жорес, были уточнены некоторые детали истории Законодательного собрания (1791—1792), но она не подверглась пересмотру. Поэтому мы ограничимся здесь простыми библиографическими указаниями.

#### I. КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Жорес справедливо придавал большое значение крестьянским проблемам в 1791—1792 гг. Следует признать, что с тех пор ни один историк не последовал его примеру и не уделил большого внимания крестьянскому движению времен Законодательного собрания. Этот обширный раздел истории Революции ждет изу-

Для знакомства с общей историей Законодательного собрания следует смотреть общие работы по Французской революции, указанные в томе I этого издания, с. 41—43.

чения в направлении, указанном Жоресом. Что касается библиографии, отсылаем читателя к работам, указанным в томе I этой публикации, в книге 1, с. 464, в том что касается «отмены» феодального порядка, и в книге второй, с. 120, в том что касается продажи национальных имуществ.

#### II. ВОЙНА ИЛИ МИР (ОКТАБРЬ 1791—АПРЕЛЬ 1792)

##### 1. Фейяны и жирондисты

Список депутатов Законодательного собрания имеется в работе А. Кусцински. Les Députés à l'Assemblée législative de 1791. Listes par départements et par ordre alphabétique. Paris, 1900.

О фейянах см.: G. Michon. Essai sur l'histoire du parti feuillant: Adrien Duport. Correspondance inédite de Barnave en 1792. Paris, 1924.

Удовлетворительной общей работы о жирондистах не существует. Устарели или носят полемический

характер следующие работы: J. Guadet. Les Girondins. Paris, 1861, 2 vol.; E. Biré. La Légende des Girondins. Paris, 1881. Можно обращаться к работам: A. Aulard. Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la Démocratie et de la République, 1789—1804. Paris, 1901, deuxième partie, chap. VII и «Les orateurs de la Législative et de la Convention». Paris, 1885, 2 vol.; 2<sup>e</sup> éd., 1906, t. I, liv. II—V; t. II, liv. VI—VII. Работа J. Sydenham. The Girondins. London, 1961 не внесла ничего нового. Что касается социального аспекта, см.: A. Soboul. Sur la fortune des Girondins.—«Annales historiques de la Révolution française», 1951, p. 181 (Бюзо) et p. 298 (Петивон); 1954, p. 257 (Инар) et p. 259 (Кервелеган).

Биографии.— Miss E. Ellegren. Brissot. Cambridge, Mass., 1915; E. Lintilhac. Vergniaud. Paris, 1920; E. Charuisat. Figures et choses d'autrefois. Genève, 1925, p. 9—170, работа о Клавьере; Клавьер часто фигурирует в связи со своими финансовыми операциями в трех томах работы: A. Boucharry. Les manieurs d'argent à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle. Paris, 1939, 1940, 1943; в этом же плане см.: H. Luthy. La Banque protestante en France de la révocation de l'édit de Nantes à la Révolution, t. II; De la banque aux finances, 1730—1794. Paris, 1961.

О г-же Ролан, Эгерии Жиронды, нет ни одной удовлетворительной общей работы. Можно обращаться к публикациям Перру (Cl. Perroud): «Mémoires de Madame Roland». Paris, 1905, 2 vol.; «Lettres de Madame Roland, 1780—1793». Paris, 1900—1903, 2 vol.; «Roland et Marie Philon: Lettres d'amour 1777—1780».

Paris, 1909; Edith Bernardin. Les idées religieuses de Madame Roland. Paris, 1933.

2. На пути к войне  
(зима 1791 г.—20 апреля 1792 г.)

О переговорах Людовика XVI с иностранными державами см.: J. Flammermont. Négociations secrètes de Louis XVI et du baron de Breteuil, décembre 1791—juillet 1792. Paris, 1885.

О министерстве Нарбонна см.: E. Dard. Le comte de Narbonne. Paris, 1943; J. Poperen et G. Lefebvre. Études sur le ministère Narbonne.—«Annales historiques de la Révolution française», 1947, p. 1—36, p. 193—217, et p. 292—321. Можно также обращаться к работам, посвященным г-же де Сталь, например: Lady Blennerhassett. Madame de Staël et son temps. Paris, 1890, 3 vol., переведено Дитрихом с немецкого издания, опубликованного в Берлине в 1887—1889 гг. в двух томах. См. также: D.-G. Lang. Madame de Staël. La vie dans l'œuvre, Paris, 1924.

О Дюмурье см.: A. Schuquet. Dumouriez, Paris, 1914. Внешнюю политику Дюмурье исследовал: A. Soré. L'Europe et la Révolution française, Paris, 1885—1904, 8 vol., t. II, liv. IV, chap. I.

О беженцах и их роли см.: A. Mathiez. La Révolution française et les étrangers. Paris, 1918, где указано много публикаций по отдельным вопросам; O. Lee. Les comités et les clubs des patriotes belges et liégeois, 1791 — an III, Paris, 1931.

О контрреволюции см.: J. Godécho. La Contre-révolution, Doctrine et action, 1789—1804. Paris, 1961; Jacqueline Cha-



u m i é. Le réseau d'Antraignes et la contre-révolution. Paris, 1965.

О выступлениях Робеспьера против войны см. биографии: E. H a m e l. Histoire de Robespierre. Paris, 1865, 3 vol.; J. M. T h o m p s o n. Robespierre. Oxford, 1935, 2 vol.; G. W a l t e r. Robespierre. Paris, 1936—1939, 2 vol.; éd. revue et augmentée en 1 vol., 1946; nouv. éd. 1961; J. M a s s i n. Robespierre. Paris, 1956. Особого внимания заслуживают: G. M i c h o n. Robespierre et la guerre.—«Annales révolutionnaires», 1920, p. 265; «Robespierre et la guerre révolutionnaire», Paris, 1937; M. E u d e, La politique de Robespierre en 1792, d'après, «Le Défenseur de la Constitution».—«Annales historiques de la Révolution française», 1956, p. 1—28 et p. 113—138.

По вопросу об ответственности за войну см.: H. v o n S y b e l. Geschichte der Revolutionszeit. Düsseldorf, 1853—1879, 5 vol. (французский перевод под названием «Histoire de l'Europe pendant la Révolution française. Paris, 1869—1888, 6 vol.); A. S o r e l. L'Europe et la Révolution française. Paris, 1885—1904, 8 vol. Зибель и А. Сорель сходятся в том, что ответственность за войну лежит исключительно на жирондистах: «Первым руководила его враждебность к Франции, вторым — его антипатия к демократической партии, какой была Жиронда» (G. L e f e b v r e. La Révolution française, p. 244). Стремясь обосновать свое мнение, оба автора стараются доказать, что Пильницкая декларация была лишь пустой угрозой; они не придают значения ни интригам эмигрантов, ни усилиям Леопольда, на-

правленным к восстановлению согласия между монархами; они не считаются также с реакцией французов, как сторонников, так и противников Революции, на эти демарши и интриги. Этот тезис повторил без всяких нюансов: A. W a h l. Geschichte des europäischen Staatensystems im Zeitalter der französischen Revolution und der Freiheitkriege. München und Berlin, 1912, p. 31.— Еще раз этот тезис повторен, без использования новых документов, в работе: Н. А. G o e t z - B e r n s t e i n. La Diplomatie de la Gironde. Jacques-Pierre Brissot, Paris, 1912. Для этой работы характерно антижирондистское предубеждение. Жорес разоблачил воинственные устремления Жиронды, и это бесспорно. Однако надо подчеркнуть также значение Пильницкой декларации, политики запугивания, проводимой Леопольдом и Кауницем, и не забывать об агрессивных намерениях Фридриха-Вильгельма II, жаждавшего расширить свои владения. О различных аспектах этого вопроса напоминает: J. A. C l a r k. The Causes of the war of 1792. Cambridge, 1899, и особенно: H. G l a g a u. Die französische Legislative und der Ursprung der Revolutionskriege, Berlin, 1896. Любопытно, что в ходе этой дискуссии историки обращали главное внимание на традиционную политику силы, проводимую монархами старого порядка, и упускали из виду контрреволюционную ярость этих монархов, их стремление раздвинуть Революцию ради сохранения своего социального и политического господства, а также господства европейской аристократии.

### III. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В 1792 г.

Здесь тоже следует отметить пробел в историографии; со времени Жореса ни один историк не рассматривал этой проблемы столь широко. Работа Матьева (A. M a t h i e z) «La Vie chère et le mouvement social sous la Terreur» (Paris, 1927) затрагивает этот период бегло и часто повторяет Жореса. Можно обращаться к работам, касающимся продовольственного вопроса: С. h. P o r g e e. Les Subsistances dans l'Yonne et particulièrement dans le district d'Auxerre pendant la Révolution, Auxerre, 1903; особенно см. введение

Лефевра (t. I, p. I — СХХIV) к «Documents relatifs à l'histoire des subsistances dans le district de Bergues, 1789 — an V». Lille, 1913 et 1921, 2 vol; G a s t o n - M a r t i n. La Politique nantaise des subsistances sous la Constituante et la Législative. Paris, 1924; G. S a n g n i e r. La Crise du blé à Arras à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, 1788—1796. Fontenay-le-Comte, 1943; R. W e r n e r. L'Approvisionnement en pain de la population du Bas-Rhin et de l'armée du Rhin pendant la Révolution, 1789—1797. Strasbourg — Paris, 1951.

### IV. 10 АВГУСТА

#### 1. Военные неудачи (весна 1792 г.)

О положении французской армии в 1792 г. см.: A. C h u q u e t. Les Guerres de la Révolution et de l'Empire. Paris, 1886—1895, 11 vol. T. I; «La première invasion prussienne». Paris, 1886. Общий обзор военной проблемы в целом см. в работе: A. S o b o u l. Les Soldats de l'An II. Paris, 1959.

Есть ряд монографий о волонтерах. Для Парижа см.: С. h. — L. C h a s s i n et L. H e n n e t. Les Volontaires nationaux pendant la Révolution. Paris, 1899—1901, 3 vol. Попытку целостного описания см. у: E. D e r g e z. Les Volontaires nationaux. Paris, 1908; она подверглась обстоятельной критике в работе: A. C h u q u e t. Historiens et marchands d'histoire. Paris, 1914, p. 42—109 и в «Revue critique» от 12 ноября 1908 г.

Было опубликовано немало воспоминаний и писем солдат Революции. Заслуживают внимания: «Journal de marche du sergent Fricasse,

1792—1802», édité par L o r é d a n L a r c h e r, Paris, 1881; «Journal du canonier Bricard, 1792—1802», édité par ses petits-fils A. e t J. B r i c a r d, Paris, 1891; Lieutenant-colonel P i c a r d. Au service de la nation, 1792—1798, Paris, 1914.

О военной организации эмигрантов см.: J. P i n a s s e a u. L'émigration militaire, Campagne de 1792. Armée royale. T. I: «Composition, Ordres de batailles, Notices de A à C». Paris, 1957; t. II: «Notices de D à Z». Paris, 1964.

#### 2. День 20 июня 1792 г.

Единственная монография на эту тему принадлежит Miss L. B. P f e i f f e r. The Uprising of June 20th 1792. Lincoln, Nebraska, 1913. Более широко события 20 июня и 10 августа освещены во «Fragments des Mémoires de Charles-Alexis Alexandre sur les journées révolutionnaires de 1791 et 1792», extraits des amples mémoires d'Alexandre, par J. G o -

de chot, — «Annales historiques de la Révolution française», 1952, p. 113—251.

О событиях 20 июня, а также об их непосредственных последствиях см.: Mortimer-Ternaux. Histoire de la Terreur, t. I, Paris 1962; особенного внимания заслуживает: F. Braesch. La Commune du 10 Août 1792. Etude sur l'histoire de Paris du 20 juin au 2 décembre 1792. Paris, 1911.

### 3. Восстание 10 августа 1792 г.

О переговорах жирондистов с двором накануне 10 августа см. отчеты о заседаниях Конвента 3 января 1793 г. («Moniteur», t. XV, p. 41) и процесса жирондистов (Bushez et Roux. Histoire parlementaire de la Révolution française. Paris, 1834—1838, 40 vol., t. XXIX et XXX).

О событиях 10 августа см.: Mortimer-Ternaux. His-

toire de la Terreur, t. II, Paris, 1863; J. Pollio et A. Marcel. Le bataillon du 10 Août. Paris, 1881; A. Tuetey. Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution, t. IV, introduction, Paris, 1889; Ph. Sagnac. La Chute de la royauté. Paris, 1909; F. Braesch. La Commune du 10 Août. Paris, 1911; A. Mathiez. La 10 Août. Paris, 1931; J.-P. Coindet. Le Bataillon des Filles-Saint-Thomas et le 10 Août. — «Annales historiques de la Révolution française», 1965, № 4, p. 450; M. Reinhard. 10 Août 1792. La chute de la royauté. Paris, 1969.

О непосредственных политических последствиях восстания 10 августа см.: A. Aulard. Histoire politique de la Révolution française. Paris, 1901, deuxième partie, chap. I; P. Mautouchet. Le gouvernement révolutionnaire. Paris, 1912 (документы и введение).

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абанкур д' 552

Александр, III. А., командир национальной гвардии Сен-Марсельского предместья 502, 503, 567, 568

Альбитт, адвокат, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Нижняя Сена 121, 122

Анне Л. 452

Аври, депутат Законодательного собрания от департамента Верхняя Марна 46, 47

Ансон, депутат Учредительного собрания от города Парижа 129

Антиох IV Эпифан, царь Сирии 143

Антонель 615

Антуан Франсуа Поль, из Меца, член Учредительного собрания 567

Аранда, граф, испанский министр 513, 514

Арена, член департаментской директории Корсики, депутат Законодательного собрания 319

Арнет Альфред, граф д' 94, 175

Артуа, граф д' 75

Бабёф Грах (Франсуа Ноэль) 290, 337, 401, 410

Базир Клод, член Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Кот-д'Ор 252, 253, 584, 585

Байи Жан Сильвен, мэр Парижа 53, 577

Бальзак Онопоре де 388

Банкаль Дезиссар, депутат Конвента от департамента Пюи-де-Дом 459, 461

Барантен, хранитель государственной печати (министр юстиции) 587

Барбару Шарль Жан Мари, депутат Конвента от департамента Буш-дю-Рон 459, 461, 565, 585

Барнав Жозеф 53, 92—96, 99, 128, 129, 152, 153, 174, 175, 177, 178, 210, 212, 221, 240, 271, 272, 276, 277, 387, 452, 453, 553, 617—619, 621

Баррюкан Виктор 581

Баррюэль-Боввер, граф де, командир национальной гвардии в 1790 г. 336, 337

Бастиа, экономист и политический деятель, член Учредительного собрания 1848 г. 46, 47

- Бекке, депутат Законодательного собрания от департамента Верхняя Марна 234
- Бельвю-Бланшетьер, колонист с Мартиники 265
- Бендер, маршал де 173, 176, 178
- Беньо, депутат Законодательного собрания от департамента Об 317
- Бернар, депутат Законодательного собрания от департамента Йонна 404, 405, 407, 409
- Бернар де Мариньи, комендант Бреста 103
- Бертран, из секции Гобеленов 504
- Бертран де Мольвиль Антуан Франсуа, морской министр в 1791 г. 99, 102, 103, 214, 215, 230
- Берье, член Парижской коммуны 599
- Бирон Арман Луи, герцог, командующий Рейнской армии, а затем Итальянской армии 514, 540, 550, 615
- Блан Луи 12, 148—149, 579
- Блан-Жилли, негодник из Марселя, депутат Законодательного собрания от департамента Буш-дю-Рон 266, 267
- Бланки Луи Огюст 424
- Бланшеланд, губернатор Сан-Доминго 258, 259
- Блондель Антуан, член дирекции Парижского департамента в 1791 г. 129
- Боден, депутат Законодательного собрания от департамента Арденны 616
- Боз Жозеф, придворный художник 546, 547
- Болье, министр государственных налогов с марта по июль 1792 г. 508, 509, 537
- Болье, австрийский генерал 514, 515
- Бомбель, маркиз де 587
- Бомец, депутат Учредительного собрания 129
- Бонсерф Пьер Франсуа, автор брошюры «О неудобствах феодальных прав» 381
- Боскари, негодник, банкир, депутат Законодательного собрания от Парижа 287, 288, 291, 292, 482, 483
- Брауншвейгский, герцог (Карл Вильгельм Фердинанд) 482, 484, 515, 529, 539, 572, 574—576, 586, 600
- Бретей Луи Огюст, барон де 67, 74, 76, 157, 219, 237, 238, 538, 586, 587
- Бреш Ф. 341, 569
- Бриссо Жак Пьер 52, 53, 57, 59—65, 69, 77, 78, 80, 81, 88, 89, 97, 98, 105, 107, 108, 114, 132—134, 142, 143, 145, 155—159, 161—167, 171, 173, 177—180, 183, 185, 187, 203, 211—218, 223—225, 229, 233, 234, 236, 241, 243—245, 251, 253, 257—259, 262, 264, 265, 278, 299, 309, 310, 335, 336, 460—463, 474, 488, 489, 496, 499, 519, 541, 545, 546, 553—555, 558, 620—622
- Брольи Виктор Франсуа, маршал де 200, 227, 550, 615
- Брусс де Фошре, член Парижского муниципалитета в 1789 г. и член дирекции Парижского департамента в 1791 г. 129
- Брут Луций Юний, основатель республики в Риме 109
- Буйе Франсуа Клод, маркиз де 98, 221, 237, 567
- Буленвилле Анри, граф де 35
- Бурдон Леонар, депутат Конвента от департамента Луаре 599
- Бюзю Франсуа Никола Леонар, адвокат, депутат Конвента от департамента Эр 332, 336, 398, 459, 461
- Бюлье, член Парижской коммуны 10 августа 1792 г. 599
- Бюро де Пюзи, член Учредительного собрания, адвокат Лафайета, эмигрировал после 10 августа 1792 г. 519, 541

- Вайц Г., историк 23
- Варле Жан Франсуа, активный деятель секции Прав человека, «бешеный» 507
- Вассон, из секции Кенз-Вен 504
- Вашингтон Джордж 541
- Верак, виконт де 218
- Верньо Пьер Викторье, адвокат, депутат Законодательного собрания от департамента Жиронда 56, 57, 107, 109, 118, 122, 133, 161, 180, 185, 217, 225, 243, 258, 269, 261, 266, 269, 276, 296, 297, 309, 330, 371, 471, 498, 506, 508, 521—523, 527—529, 541, 545—547, 551, 554, 596, 598—600, 621
- Верье, депутат Законодательного собрания от департамента Верхняя Гаронна 118, 119
- Вестерман Франсуа Жозеф, генерал 567, 582
- Виктор Амедей III, король Сардинии 69
- Вильмен 148
- Вимффен Луи Феликс, барон де, член Учредительного собрания, командовал армией «федералистов» в Нормандии в 1793 г. 550
- Воблан Венсен Мари, граф де Вьено, депутат Законодательного собрания от департамента Сена и Марна 118, 119, 142, 274, 588
- Вожуа, член тайной Дирекции Центрального комитета федератов 567
- Вожье, депутат Законодательного собрания от департамента Вогезы 375
- Волгин В. П. 471
- Вольтер Франсуа Мари Аруэ 85, 428, 448, 449
- Вонк Жан Франсуа, бельгийский политический деятель, лидер либеральной партии «вонкистов» 63
- Вюйе, депутат Законодательного собрания от департамента Юра 375, 376
- Гавернер Моррис, американский политический деятель, находился во Франции в качестве агента Вашингтона (1788—1790), а затем посланника Соединенных Штатов 280, 281
- Галиссо, член тайной Дирекции Центрального комитета федератов 567
- Галуа 227
- Гарен, выборщик 1789 г., администратор по продовольственной части 567
- Георг III, король Англии 69
- Гёте Иоганн Вольфганг 424
- Гибер Жак 483
- Гиз Шарль, кардинал Лотарингский 522
- Гизо Франсуа Пьер Гийом 187
- Гийом, член тайной Дирекции Центрального комитета федератов 567
- Гийом, главный управляющий «Кэсс де секур» 329, 330
- Глагау 167
- Гогела, барон де, доверенное лицо королевы Марии Антуанетты 218, 237, 238, 483
- Гоие Луи Жером, депутат Законодательного собрания от департамента Иль и Вилен, в 1793 г. министр юстиции 48, 49
- Гольц Август Фредерик, граф фон, чрезвычайный посланник прусского короля во Франции 211
- Гомар, негодник 300
- Гомер 425
- Гоншо, комиссар Исполнительного совета в департаментах в 1793 г. 507
- Горгеро, депутат Законодательного собрания 112, 113
- Горса Антуан Жозеф, депутат Конвента от департамента Сена и Уаза 289
- Грав Пьер Мари, маркиз де, военный министр в 1792 г. 215, 222, 223, Грандьер де ла 103

Гранженёв Жан Антуан, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Жиро́нда 56, 57

Грегуар Аври, аббат 244, 245, 249

Гуи д'Арси Луи Март, маркиз де, депутат Учредительного собрания 272, 273

Густав III, король Швеции 67, 69, 227

Гюаде Маргерит Эли, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Жиро́нда 56, 57, 122, 191, 259, 261, 266, 269—273, 276—278, 285, 460, 498, 506, 516, 546, 547, 552—554, 596, 598—600, 621

Гюго Виктор 425

Даверу, депутат Законодательного собрания от департамента Арденны 78, 134, 136—139, 144, 183, 185, 186, 285

Даву, член дирекции Парижского департамента в декабре 1791 г. 129

Дюгомье — см. Кокий-Дюгомье

Д'Андре, член Учредительного собрания 283, 300, 301, 347

Дантон Жорж Жак 49, 52, 53, 56, 173, 460, 461, 463, 465, 467, 469—472, 501, 502, 561, 562, 564, 568, 579, 582, 583, 599, 602

Дебес, член тайной Дирекции Центрального комитета федератов 567

Дебри Жан, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Эна 521, 599, 601

Дёзи, депутат Законодательного собрания от департамента Па-де-Кале 36, 42—44

Дезиль, офицер гарнизона Нанси 496, 497

Делакруа Жан Франсуа, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Эр и Луар 49

Делессар Антуан, министр внутренних дел, затем иностранных дел 102, 103, 146, 172, 199, 203—206, 209—211, 213—219, 222, 223, 230, 231, 349

Делоне из Анжера, депутат Законодательного собрания, затем Конвента от департамента Мен и Луара 314—316, 322

Дельбе Жозеф Франсуа, имя, служившее, возможно, коллективным псевдонимом для группы неогизантов 290—292, 299

Дельен, из секции Гобеленов 504

Демёнье, член дирекции Парижского департамента в 1791 г. 129

Демосфен 181, 438

Демулен Камиль 52, 53, 85—87, 130, 131, 173, 567

Дзелада, кардинал 152, 281

Дийон Теобальд, де, генерал, убитый 29 апреля 1792 г. в Лилле своими солдатами 462, 463

Дитрих, мэр Страсбурга 567

Доден, г-жа 225

Доливье Пьер, аббат, кюре Мошана 390—393, 401

Дониоль 8

Донмартен — см. Гогела 237

Дорлиак, депутат Законодательного собрания от департамента Верхняя Гаронна 11, 37—41

Дюбуа-Крансе Эдмон Луи, депутат Учредительного собрания, затем Конвента от департамента Арденны 451

Дюбюк-отец, генеральный интендант колониального ведомства 265, 266

Дюбюк, сын предыдущего 265

Дюваль, братья, парижские неогизанты 300

Дюкастель, адвокат, депутат Законодательного собрания от департамента Нижняя Сена 110, 111, 114, 252, 253

Дюкло, активист секции Кенз-Вен 504

Дюко Жан Франсуа, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Жиро́нда 261, 277, 288, 293, 295—298, 303

Дюма Матьё, депутат Законодательного собрания от департамента Сена и Уаза 182, 274, 279, 529

Дюмолар Жозеф Венсен, депутат Законодательного собрания от департамента Изер 48, 49

Дюмурье Шарль Франсуа 171, 222—230, 233, 234, 238, 458, 460, 488—490, 494, 496—499, 513, 540, 615, 616

Дю Мутье 587

Дюпор Адриан 53, 93, 94, 128, 129, 152, 153, 174, 175, 199, 210, 212, 221, 231, 539, 617, 619

Дюпор-Дютертр, министр юстиции 98, 117, 230

Дюпортай, военный министр в 1790 и 1791 гг. 102, 103, 146, 231

Дюрантон, адвокат, генеральный прокурор-синдик департамента Жиро́нда, министр юстиции в 1792 г. 511, 536

Дюфенё, депутат Законодательного собрания от департамента Ло 378

Дюфрен де Сен-Леон, директор ликвидационной службы 308

Дюфренуа, офицер линейных войск, участник подавления антифеодалных восстаний в дистрикте Немур 19

Дюэм Пьер Жозеф, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Нор 121, 550—552

Екатерина II 62, 69, 70, 73, 107, 196, 197, 481

Елизавета, принцесса, сестра Людовика XVI 67

Жакоб Л. 341

Жансонне Арман, адвокат, депутат Законодательного собрания от де-

партаменту Жиро́нда 57, 178, 225, 227, 258, 269, 273, 274, 517, 518, 541, 546, 547

Женэ, из секции Гобеленов 504

Жирмен-Гарнье, член дирекции Парижского департамента в 1791 г. 129

Жире-Дюпре Жозеф Мари, сотрудник газеты Бриссо «Патриот франсэ» 157, 477

Жюли де, министр юстиции в 1792 г. 537

Журдан, по прозвищу Головорез 55, 496, 497

Зибель Г., фон 99, 101

Инар Анри Максимен, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Вар 56, 57, 79, 80, 98, 119—121, 140, 142—144, 167, 330, 457, 508, 601, 616, 621

Кабанис, парижский неогизант 300

Кабе Этьенн 186—188

Кайассон, депутат Законодательного собрания от департамента Верхняя Гаронна 324, 325

Каше де Жервиль, министр внутренних дел в 1791 г. 146, 147, 230, 315—318

Калонн Шарль Александр де 349

Калон, генерал, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Уаза 584

Камбон Пьер Жозеф, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Эро 117, 276, 277, 307, 309—311, 320, 355, 505, 506, 595, 599

Камине, неогизант, депутат Законодательного собрания от департамента Рона и Луара 327

Кампан, мадам, лектрисса дочерей Людовика XV, а затем первая камеристка Марии Антуанетты 529

- Камю Арман Гастон, депутат Учредительного собрания, а затем Конвента 55
- Каньяр, делегат сельских коммун округа Лаонне в Законодательном собрании (16 августа 1792 г.) 605
- Кареев Н. И. 15
- Карл Великий 37, 471
- Карл II, король Англии 178
- Карл IV, король Испании 67, 69
- Карно Лазар, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Па-де-Кале, член Комитета общественного спасения 582, 583, 615
- Карно де Фёлен, брат Лазара Карно, депутат Законодательного собрания от департамента Па-де-Кале 583
- Каролинги, династия 38
- Карон П. 11, 15, 17
- Карра Жан Луи, журналист, депутат Конвента от департамента Сена и Луара 163, 567, 568, 581, 592
- Кастри Шарль, маркиз де, морской министр 265
- Катилина 108
- Кауниц Венцель Антон, князь фон, канцлер 70, 172, 198, 199, 206, 210, 212, 213, 219, 229, 233, 234
- Кафарелли дю Фальга Максимилиен, генерал 615
- Келлерман Франсуа Кристоф, генерал 615
- Керсен Арман, депутат Законодательного собрания от Парижа, а затем Конвента от департамента Сена и Уаза 615
- Кинет де Рошмон Никола, член Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Эна 616
- Клавьер Этьенн, министр 167, 222, 223, 308—310, 318, 322, 481, 485, 486, 488—491, 601
- Клоотс Жан Батист (Анахарсис), депутат Конвента от департамента Уаза 157
- Клошток Фредерик, немецкий поэт 425
- Кокии-Дюгомье, делегат города Сен-Пьер (с Мартиники) в Законодательном собрании в декабре 1791 г. 264, 265
- Конде Луи Жозеф де Бурбон, принц 135
- Кондорсе Антуан, маркиз де, депутат Законодательного собрания от Парижа, а затем Конвента от департамента Эна 147, 159—161, 167, 186, 187, 214, 215, 235—237, 245, 325, 408—411, 414, 428—432, 435—437, 439—449, 589
- Корнуоллис Чарльз, лорд 62
- Кох, депутат Законодательного собрания от департамента Верхний Рейн 107, 133, 138
- Крассу, делегат Мартиники, посланный в Законодательное собрание, в дальнейшем депутат Конвента 264, 265
- Кретэн, депутат Законодательного собрания от департамента Верхняя Сона 328, 329
- Кромвель Оливер 178, 198
- Кропоткин П. А. 15, 369
- Крузе Альфред 437
- Кутон Жорж, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Пуи-де-Дом, член Комитета общественного спасения 29—34, 55, 111, 112, 182, 511
- Кюнен Этьенн, депутат Законодательного собрания от департамента Мёрт 377
- Лаборд Жан Жозеф, банкир, член Учредительного собрания, член Якобинского клуба 301
- Лавуазье Антуан Лоран 568
- Ла Галиссоньер 587
- Лагрэ, член тайной Директории Центрального комитета федератов 567

- Лажар, военный министр в 1792 г. 494, 495, 508, 518, 537
- Лазовский Клод, поляк, капитан кавониров секции Гобеленов 502—504, 567, 577, 582
- Лакост Жан, барон де, морской министр в 1792 г. 223
- Ламарк (Ла Марк), граф де, член Учредительного собрания 98
- Ламарк, адвокат, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Дордонь 368, 369, 371
- Ламартин Альфонс 53, 593
- Ламет, братья 92, 93, 151—153, 174, 177, 212, 240, 493, 520, 521, 619
- Ламет Александр, барон де, член Учредительного собрания 53, 93, 94, 128, 175, 199, 210, 277, 450, 451, 520
- Ламет Теодор, граф де, депутат Законодательного собрания 277
- Ламет Шарль, граф де, член Учредительного собрания 277
- Ламорльер, генерал 550
- Ламурет, конституционный епископ в департаменте Рона и Луара в 1791 г., депутат Законодательного собрания, а затем Конвента 535, 536, 538, 545
- Лантена Франсуа Ксавье, врач, депутат Конвента от департамента Рона и Луара 225
- Лапоннерэ 186, 188, 189
- Лапорт де, интендант гражданского листа 225, 587
- Ларошфуко д'Анвиль, герцог де, член Учредительного собрания, а затем глава директории Парижского департамента 129
- Лассаль Фердинанд 390
- Ласурс Марк Давид, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Тарн 462, 463, 491
- Лафайет Мари Жозеф, маркиз де (Мотье) 52, 53, 93, 103, 147, 148, 151, 153, 154, 171, 173, 214, 215, 221, 227, 238, 395, 461—463, 469, 476, 493, 494, 496—501, 503, 509, 515—520, 529, 538—541, 550, 576, 577, 584, 588, 615—617, 619, 620
- Лаффон-Ладеба, член директории департамента Жиронда в 1790 г., депутат Законодательного собрания от этого департамента 329
- Лашапелль, из секции Кенз-Вен 504
- Лашез, иезуит, духовник Людовика XIV 522, 523
- Лебон, из секции Кенз-Вен 504
- Лебрен Пьер Мари (он же Лебрентондю), министр иностранных дел 602, 603
- Лебретон, член Генерального совета Парижской коммуны в июне 1792 г. 504
- Лежандр, депутат Конвента от Парижа 146, 147, 502, 503
- Лежен, из секции Кенз-Вен 504
- Лейбниц Готфрид Вильгельм 426
- Лекиньо, адвокат, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Морбиан 352, 353, 359, 399—401
- Лекульё, банкир 301
- Лекуэнтр Лоран, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Сена и Уаза 491, 517
- Лелё, братья, владельцы мельниц в Корбее 300, 301
- Лемаллио, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Морбиан 605
- Леопольд II, австрийский государь, император «Священной Римской империи» 62, 65, 67, 69, 70, 71, 79, 135, 138, 143, 151, 153, 163, 174, 182, 184, 185, 191, 192, 194—196, 198, 206, 216, 218, 219, 496, 499, 575
- Лескойе, патриот из Авиньона, убитый 16 октября 1791 г. 54, 55

Летелье Мишель, иезуит, духовник Людовика XIV 522, 523  
 Лефевр Жорж 171, 351, 547  
 Ле Шапелле И. Р. Г., член Учредительного собрания 19, 400, 590  
 Лимон де, эмигрант 586  
 Лисандр, спартанский полководец 526, 527  
 Лобанов-Ростовский А. Б., князь, министр иностранных дел России в 1895—1896 гг. 239  
 Лоро, депутат Законодательного собрания от департамента Йонна 378  
 Лотарингский, кардинал — см. Гиз Шарль  
 Лотур дю Шатель, депутат Законодательного собрания от департамента Орн, член Феодального комитета 11, 34, 37  
 Луа Ж. Б., член Учредительного собрания 16, 17  
 Луве, адвокат, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Сомма 45—47  
 Луве де Кувре Жан Батист, литератор, депутат Конвента от департамента Луаре 160, 161  
 Луи Филипп, король Франции 435, 592  
 Лукин Н. М. 197  
 Лукреций Кар Тит 425  
 Людовик XIV, король Франции 140, 523  
 Людовик XV, король Франции 529  
 Людовик XVI, король Франции 7, 65, 68—74, 89, 96, 97, 100, 109, 117, 118, 128, 129, 131, 146, 148, 151, 154, 157, 161, 169, 186—188, 194, 200, 212—214, 219, 221, 231, 234, 235, 237, 238, 313, 346, 449, 481, 484, 485, 489, 491, 492, 508—513, 515, 520, 521, 528, 550, 551, 555, 556, 560, 572, 574, 577—579, 581, 586, 595, 596, 600, 602, 615, 620, 621

Людовик Жозеф де Бурбон — см. Конде  
 Людовик XVIII (Станислав Ксаверий) — см. Прованский, граф  
 Люкнер Никола, маршал Франции 154, 155, 214, 215, 462, 482, 509, 513, 517—521, 539—541  
 Майль, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Верхняя Гаронна 44, 45, 610, 612  
 Макферсон Дж., шотландский поэт 461  
 Малле дю Пан Жак 99, 100, 102, 384—386, 456, 477, 574, 575, 586  
 Малюз Пьер Виктор, член Учредительного собрания 99, 100, 231, 277, 617, 618  
 Манда де Гранье Жан Антуан, командующий национальной гвардии в 1792 г. 588, 593—595, 599  
 Манюэль Луи Пьер, депутат Конвента от Парижа, прокурор Коммуны 53, 536, 594, 599  
 Маран, негодник, депутат Законодательного собрания от департамента Вогезы 319, 493  
 Марат Жан Поль 64, 79, 81, 82, 84—86, 90, 115—117, 121, 134, 144, 145, 151, 245, 339—341, 344, 348, 349, 462, 473, 474, 480, 518, 541—543, 549, 562  
 Маршалль Сильвен 115  
 Мария Антуанетта, королева Франции 53, 65—67, 71—75, 90, 92—94, 96, 101, 135, 147, 149, 174, 175, 191, 194, 196—198, 202, 206, 210, 218, 219, 237, 238, 481—484, 513, 529, 538, 540, 575, 586, 588  
 Маркс Карл 390  
 Массе, депутат Конвента от департамента Сомма 298, 319  
 Матъез Альбер 129, 151, 157, 163, 167, 171, 175, 209, 225, 351, 391, 465, 475, 517, 555, 563, 569  
 Медичи Екатерина 522

Меж Ф. 31  
 Мелье Эрнест 570  
 Мерлен из Дуэ Филипп Огюст, секретарь Комитета феодальных прав Учредительного собрания 29  
 Мерлен из Тионвиля Антуан Кристоф, юрист, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Мозель 243, 276, 311, 326, 584, 585  
 Мервинги, династия 38  
 Мерси д'Аржанто Флоримон, граф де, австрийский посол во Франции 65, 67, 68, 70, 73—76, 98—100, 148, 161, 175, 177, 190, 192, 196, 198, 199, 201—203, 238, 483, 517, 529, 538, 539, 540, 586  
 Мерсье Луи Себастиан 281  
 Мерсье дю Роше, член департаментской администрации Вандеи 226  
 Мирабо Огюре Габриель Рикети, граф де 80, 85, 96, 98, 107, 217, 223, 249, 308, 309, 340, 341, 383, 464, 465, 492, 618  
 Митридат 143  
 Мишле Жюль 12, 89, 106, 107, 131, 145, 428, 429, 579, 588  
 Мишон, депутат Законодательного собрания от департамента Рона и Луара 373, 375  
 Моморо Антуан Франсуа, активный член клуба Кордельеров, член директории Парижского департамента после 10 августа 564, 565  
 Монж Гаспар, морской министр с 10 августа 1792 г. до 13 апреля 1793 г. 602, 603  
 Монморен Арман Марк, граф де, министр иностранных дел 98—101, 103, 115, 146, 231  
 Монверон, негодник, депутат Законодательного собрания от города Парижа 293, 350, 351  
 Монсьель де 539  
 Монтень Мишель де 425  
 Монтескье Шарль Луи 140, 428

Монтескью-Фезансак Анн Пьер, депутат Законодательного собрания от Парижа 306, 307  
 Мори Жан Сиффрен, аббат 340, 347, 381  
 Мортимер-Терно 505  
 Муиссе, депутат Законодательного собрания от департамента Ло и Гаронна 221  
 Мунье Жан Жозеф 231  
 Мурай, мэр Марселя 537  
 Мутье, маркиз де 66, 67, 100  
 Наполеон I Бонапарт 73, 103, 435, 513  
 Нарбонн Луи, граф де, военный министр 146—149, 151—157, 159, 161, 162, 164, 167, 173—175, 187, 203, 214, 215, 221, 222, 226, 227, 461—463, 488, 491  
 Неккер Жак 97—99, 147, 230  
 Ноай Луи Марм, маркиз де, посол 70  
 Ован де Перри, маркиз д' 227  
 Оже, мулат из Сан-Доминго 273  
 Олар Альфонс 13, 17, 474, 475, 591  
 Орлеанский, герцог — см. Филипп Эгалите 187  
 Осман, член администрации департамента Сена и Уаза в 1791 г., депутат Законодательного собрания 326, 327  
 Оссиан, легендарный герой кельтского народного эпоса и бард в III в. 460, 461  
 Пави, из секции Кенз-Вен 504  
 Пасторе Клод Эмманюэль, маркиз де, генеральный прокурор-синдик Парижского департамента в 1791 г. депутат Законодательного собрания 54, 55  
 Пенье де, начальник эскадры в Бресте 103  
 Перальди Мариус, депутат Законодательного собрания от Корсики 615

Перру Кл. 459  
 Петрон де Вильнёв Жером, мэр Парижа 52, 53, 93, 285, 288, 289, 330, 331, 334—338, 343, 398, 502, 504, 508, 515, 517, 536, 571, 576, 578, 579, 582, 592—594, 599, 615  
 Питт Уильям 250, 251  
 Плутарх 459, 460, 527 (англ.)  
 Популий, римский консул 143  
 Прекур 89  
 Прованский, граф де 67, 110, 119  
 Прувер, депутат Законодательного собрания от департамента Нор 46, 47  
 Приюдом Луи Мари, основатель газеты «Революсьон де Пари» 64, 87, 88, 114, 115, 145, 161, 167, 188, 299, 302, 303, 330, 469, 536, 540  
 Рабле Франсуа 425  
 Рамон, депутат Законодательного собрания от Парижа 506  
 Ребекки Франсуа, марсельский негониант, депутат Конвента от департамента Буш-дю-Рон 565  
 Ревельон 289  
 Рёдерер Пьер Луи, член Учредительного собрания, затем генеральный прокурор-синдик Парижского департамента 502, 503, 596  
 Ретиф де ла Бретон 388, 389  
 Ривароль 227  
 Риёлен, член тайной Директории Центрального комитета федератов 567  
 Ричардсон Самюэл, английский писатель 464  
 Робеспьер Максимильен Мари Изидор де 9, 30, 43, 45, 114, 115, 117, 134, 143—145, 151, 161—167, 169—171, 173, 182, 187—189, 209, 222, 229, 230, 233, 273, 296, 297, 323, 339, 343, 374, 394—401, 425, 460—462, 469, 470, 472—474, 476, 477, 480, 481, 485, 486, 488, 490—494, 499, 500, 509, 537, 543—545, 555, 557—563, 579, 582, 617, 619, 621

Роган Луи Рене Эдуард, кардинал де 134  
 Ролан де ла Платьер Жан Мари, министр внутренних дел с 23 марта до 13 июня 1792 г. и с 10 августа 1792 г. до 23 января 1793 г. 41, 42, 147, 222—225, 230, 331, 458, 460, 478, 481, 484—486, 488—490, 601  
 Ролан де ла Платьер Манон Жанна 224, 459, 478, 480  
 Россиньоль Жан Антуан, рабочий — золотых дел мастер, капитан в роте Победителей Бастилии, главнокомандующий в Вандее во II г. 502, 503  
 Рошамбо Жан Батист, маркиз де, маршал Франции 154, 155, 190, 214, 215, 462  
 Ру Жак, «бешеный» 287  
 Руайе-Коллар Пьер Поль 187, 504  
 Руайу Томас Мари, аббат, основатель газеты «Ами дю руа» 462, 463  
 Руже де Лиль Клод Жозеф, автор «Боевой песни Рейнской армии» («Марсельезы») 565—567  
 Руйе, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Эро 210, 211, 214  
 Руссо Жан Жак 46, 47, 389, 393, 397, 406, 459, 460, 475, 559, 583  
 Рюль, протестантский пастор, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Верхний Рейн 78, 134, 135, 139, 144 517  
 Саламон, папский интернунций в Париже с 1790 по 1801 г. 149, 152, 181, 325  
 Салтановская Т. Г. 341  
 Сантер Антуан Жозеф, главнокомандующий парижской национальной гвардии после 10 августа 1792г. 502, 503, 506, 567, 568, 599  
 Саньяк Ф. 11, 12, 15, 17, 21, 41, 379  
 Сегюр, граф де 100

Сегье Антуан Луи, заместитель прокурора в Парижском парламенте 381, 383, 384  
 Седийе, депутат Законодательного собрания от департамента Сена и Марна 371  
 Сент-Бев Шарль Огюстен 341  
 Сент-Круа Биго де 101, 102  
 Сент-Фуа, банкир 225, 233  
 Сент-Юрюж Виктор Амедей, маркиз де 502, 503  
 Серван Жозеф, военный министр 472—474, 481, 484—486, 488—490  
 Сиейес Эмманюэль Жозеф, аббат, член Учредительного собрания, депутат Конвента от департамента Сарта 47, 557  
 Симолин И. М., посол России во Франции 196—199  
 Симон, журналист из Страсбурга, член тайной Директории Центрального комитета федератов 567, 568  
 Симонно, мэр Этампа 384, 389  
 Сказкин С. Д. 25  
 Собуль Альбер 381  
 Сталь Жермен, мадам де 147, 148, 167, 187, 237  
 Стединг, барон де, посол Швеции в России 70  
 Талейран-Перигор Шарль Морис де, епископ Отёнский, член Учредительного собрания 129, 411—426, 428, 429, 437—439, 441—443, 447  
 Тардиво, депутат Законодательного собрания от департамента Иль и Виле 360, 362, 364  
 Тарквиний Гордый Луций, согласно преданию, последний царь Древнего Рима 109  
 Таубе, барон де, министр короля Швеции 67  
 Тацит Публий Корнелий 425  
 Террье де Монсьель, министр внутренних дел 494, 495, 508

Тион де ла Шом, член директории Парижского департамента в 1791 г. 129  
 Типу, правитель Майсора 62  
 Тридон Г. 341  
 Трюшон, секция Гравилье, член Парижской коммуны 10 августа 599  
 Тугут Франц де Паула, барон, австрийский дипломат 219  
 Тьерри де Вилль-д'Авре, первый камердинер короля Людовика XVI 547  
 Тьерри Огюстен 428  
 Тэн Ипполит 18, 257, 349, 352, 359, 366, 385, 424  
 Тюрго Анн Робер Жак 448, 449  
 Тюрно де ла Розьер, адвокат, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Марна 597  
 Тюрпентэн, адвокат, депутат Законодательного собрания от департамента Луара 376  
 Тютте Александр 505, 511  
 Удальцова З. В. 25  
 Уилберфорс Уильям 250, 251  
 Фабр д'Эглантин, депутат Конвента от Парижа 115  
 Фаллу Фредерик, граф де 435  
 Фарж Р. 327  
 Ферзен Аксель, граф де 65—67, 69—72, 76, 90, 92—94, 97, 98, 101, 148, 149, 151, 163, 174, 175, 177, 197, 199—201, 218, 481—485, 513—515, 519, 529, 540, 541, 586, 587  
 Филипп II, царь Македонии 181  
 Филипп Красивый, король Франции 387  
 Форфе, морской инженер, депутат Законодательного собрания от департамента Нижняя Сена 319, 353, 354  
 Фоше Клод, аббат, редактор «Буш де фер», депутат Законодательного

- собрания, а затем Конвента от департамента Кальвадос 289
- Франсуа де Нешато, адвокат, депутат Законодательного собрания 121, 123, 240, 241, 471, 610—612
- Франц II, император «Священной Римской империи», австрийский государь 41, 219, 233, 237, 238
- Фридрих II (Фридрих Великий), прусский король 62, 63, 158
- Фридрих Вильгельм II, прусский король 62, 63, 69
- Фурнье Клод (Фурнье-Американец), один из руководителей клуба Кордельеров 502, 503, 567, 592
- Фюстель де Куланж Ньюма Дени, французский историк 23
- Цицерон Марк Туллий 108
- Черутти Жозеф, сотрудник Мирабо, один из издателей газеты «Фей виллажуа», член администрации Парижского департамента, депутат Законодательного собрания 85
- Шабо Франсуа, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Луар и Шер 584, 585
- Шамбона, маркиз де, министр в 1792 г., эмигрировал после 10 августа 1792 г. 493, 495, 537
- Шарлье, адвокат, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Марна 214, 215
- Шассен Ш. Л., французский историк 226, 227, 452
- Шатобриан Франсуа Рене, виконт де 427
- Шекспир Уильям 425, 426, 464
- Шенье Андре 221
- Шенье Мари Жозеф, депутат Конвента от департамента Сена и Уаза 580
- Шерон-Лабрюйер, депутат Законодательного собрания от департамента Сена и Уаза 50, 51, 376, 377
- Шиллер Фридрих 425
- Шверб Р. 31
- Шоль, негоциант, член Якобинского клуба 287, 288, 483
- Шометт Пьер Гаспар (Анаксагор) 115, 563—567, 580, 591, 600
- Шудье, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента от департамента Мен и Луара 551, 581, 584, 585, 588, 598
- Шуазель Этьенн Франсуа, герцог де **481**
- Эбер Жак Рене 325, 327, 338—341, 344, 346—348
- Эгинон, герцог де 227
- Эммери, негоциант, депутат Законодательного собрания от департамента Нор 319, 321
- Эренсварт, барон, посланник Швеции в Мадриде 514
- Эро де Сешель Мари Жан, депутат Законодательного собрания, а затем Конвента 159, 533, 534, 541
- Эргаль, барон, архиепископ-курфюрст Майнцский 134
- Эстергази, граф 70
- Юа, депутат Законодательного собрания от департамента Сена и Уаза 49
- Югенен, временный председатель революционной Коммуны 10 августа 507, 594, 599